

А.К.ТОЛСТОЙ

Алексей Константинович Толстой

**Том 3. Художественная  
проза. Статьи**

(Собрание сочинений в четырех томах #3)

Алексей Константинович Толстой (1817–1875) — классик русской литературы. Диапазон жанров, в которых писал А.К. Толстой, необычайно широк: от яркой сатиры («Козьма Прутков») до глубокой трагедии («Смерть Иоанна Грозного» и др.). Все произведения писателя отличает тонкий психологизм и занимательность повествования. Многие стихотворения А.К. Толстого были положены на музыку великими русскими композиторами.

Третий том Собрания сочинений А.К. Толстого содержит художественную прозу и статьи.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

# Содержание

Художественная проза . . . . .	0005
Упырь . . . . .	0005
Семья вурдалака . . . . .	0144
Встреча через триста лет . . . . .	0199
Два дня в киргизской степи . . . . .	0246
Волчий приёмьш . . . . .	0274
Артемий Семёнович Бервенковский . . . . .	0276
Амена . . . . .	0296
Князь Серебряный . . . . .	0339
Статьи . . . . .	0969
Письмо к издателю . . . . .	0969
Проект постановки на сцену трагедии «Смерть Иоанна Грозного» . . . . .	0980
«Смерть Иоанна Грозного» на веймарской сцене . . . . .	1073
Письмо к г. Ростиславу по поводу появления г. Нильского в роли Иоанна Грозного . . . . .	1098
Проект постановки на сцену трагедии «Царь Федор Иоаннович» . . . . .	1105
Приложение . . . . .	1185
Басня о том, что, дискать, как один философ остался без огурцов . . . . .	1185
О том, как юный президент Вашингтон в скором времени сделался человеком . . . . .	1188

**Алексей Константинович  
Толстой  
Собрание сочинений в  
четырёх томах  
Том 3. Художественная  
проза. Статьи**

# Художественная проза

## Упырь

Бал был очень многолюден. После шумного вальса Руневский отвел свою даму на ее место и стал прохаживаться по комнатам, поглядывая на различные группы гостей. Ему бросился в глаза человек, по-видимому, еще молодой, но бледный и почти совершенно седой. Он стоял, прислонясь к камину, и с таким вниманием смотрел в один угол залы, что не заметил, как пола его фрака дотронулась до огня и начала куриться. Руневский, возбужденный странным видом незнакомца, воспользовался этим случаем, чтоб завести с ним разговор.

— Вы, верно, кого-нибудь ищете, — сказал он, — а между тем ваше платье скоро начнет гореть.

Незнакомец оглянулся, отошел от камина и, пристально посмотрев на Руневского, отвечал:

— Нет, я никого не ищу; мне только стран-

но, что на сегодняшнем бале я вижу упырей!

— Упырей? — повторил Руневский, — как упырей?

— Упырей, — отвечал очень хладнокровно незнакомец. — Вы их, Бог знает почему, называете вампирами, но я могу вас уверить, что им настоящее русское название: упырь а так как они происхождения чисто славянского, хотя встречаются во всей Европе и даже в Азии, то и неосновательно придерживаться имени, исковерканного венгерскими монахами, которые вздумали было все переверачивать на латинский лад и из упыря сделали вампира. Вампир, вампир! — повторил он с презрением, — это все равно что если бы мы, русские, говорили вместо привидения — фантом или ревенант!

— Но однако, — спросил Руневский, — каким бы образом попали сюда вампиры или упыри?

Вместо ответа незнакомец протянул руку и указал на пожилую даму, которая разговаривала с другою дамою и приветливо поглядывала на молодую девушку, сидевшую возле нее. Разговор, очевидно, касался до девушки,

ибо она время от времени улыбалась и слегка краснела.

— Знаете ли вы эту старуху? — спросил он Руневского.

— Это бригадирша Сугробина, — отвечал тот. — Я ее лично не знаю, но мне говорили, что она очень богата и что у нее недалеко от Москвы есть прекрасная дача совсем не в бригадирском вкусе.

— Да, она точно была Сугробина несколько лет тому назад, но теперь она не что иное, как самый гнусный упырь, который только ждет случая, чтобы насытиться человеческою кровью. Смотрите, как она глядит на эту бедную девушку; это ее родная внучка. Послушайте, что говорит старуха: она ее расхваливает и уговаривает приехать недели на две к ней на дачу, на ту самую дачу, про которую вы говорите; но я вас уверяю, что не пройдет трех дней, как бедняжка умрет. Доктора скажут, что это горячка или воспаление в легких; но вы им не верьте!

Руневский слушал и не верил ушам своим.

— Вы сомневаетесь? — продолжал тот. — Никто, однако, лучше меня не может дока-

зять, что Сугробина упырь, ибо я был на ее похоронах. Если бы меня тогда послушались, то ей бы вбили осиновый кол между плеч для предосторожности; ну, да что прикажете? Наследники были в отсутствии, а чужим какое дело?

В эту минуту подошел к старухе какой-то оригинал в коричневом фраке, в парике, с большим Владимирским крестом на шее и с знаком отличия за сорок пять лет беспорочной службы. Он держал обеими руками золотую табакерку и еще издали протягивал ее бригадирше.

— И это упырь? — спросил Руневский.

— Без сомнения, — отвечал незнакомец. — Это статский советник Теляев; он большой приятель Сугробиной и умер двумя неделями прежде ее.

Приблизившись к бригадирше, Теляев улыбнулся и шаркнул ногой. Старуха также улыбнулась и опустила пальцы в табакерку статского советника.

— С донником, мой батюшка? — спросила она.

— С донником, сударыня, — отвечал слад-

ким голосом Теляев.

— Слышите? — сказал незнакомец Руневскому. — Это слово в слово их ежедневный разговор, когда они еще были живы. Теляев всякий раз, встречаясь с Сугробиной, подносил ей табакерку, из которой она брала щепотку, спросив наперед, с донником ли табак? Тогда Теляев отвечал, что с донником, и садился возле нее.

— Скажите мне, — спросил Руневский, — каким образом вы узнаете, кто упырь и кто нет?

— Это совсем немудрено. Что касается до этих двух, то я не могу в них ошибаться, потому что знал их еще прежде смерти, и (мимоходом буди сказано) немало удивился, встретив их между людьми, которым они довольно известны. Надобно признаться, что на это нужна удивительная дерзость. Но вы спрашиваете, каким образом узнавать упырей? Заметьте только, как они, встречаясь друг с другом, щелкают языком. Это по-настоящему не щелканье, а звук, похожий на тот, который производят губами, когда сосут апельсин. Это их условный знак, и так они друг друга узна-

ют и приветствуют.

Тут к Руневскому подошел один щеголь и напомнил ему, что он его *vis-a-viz*. Все пары уже стояли на месте, и так как у Руневского еще не было дамы, то он поспешил пригласить ту молодую девушку, которой незнакомец пророчил скорую смерть, ежели она согласится ехать к бабушке на дачу.

Во время танца он имел случай рассмотреть ее с примечанием. Она была лет семнадцати; черты лица ее, уже сами по себе прекрасные, имели какое-то необыкновенно трогательное выражение. Можно было подумать, что тихая грусть составляет ее постоянный характер; но когда Руневский, разговаривая с нею, касался смешной стороны какого-нибудь предмета, выражение это исчезало, а на место его появлялась самая веселая улыбка. Все ответы ее были остроумны, все замечания разительны и оригинальны. Она смеялась и шутила без всякого злословия и так чистосердечно, что даже те, которые служили целью ее шуткам, не могли бы рассердиться, если б они их слышали. Видно было, что она не гоняется за мыслями и не изыскивает выражений, но

что первые рождаются внезапно, а вторые приходят сами собою. Иногда она забывалась, и тогда опять облако грусти помрачало ее чело. Переход от веселого выраженья к печальному и от печального к веселому составлял странную противоположность. Когда стройный и легкий стан ее мелькал между танцующими, Руневскому казалось, что он видит не существо земное, но одно из тех воздушных созданий, которые, как уверяют поэты, в месячные ночи порхают по цветам, не сгибая их под своей тяжестью. Никогда никакая девушка не производила на Руневского такого сильного впечатления; он тотчас после танца попросил, чтоб его представили ее матери.

Вышло, что дама, разговаривавшая с Сугробиной, была не мать ее, а какая-то тетка, которую звали Зориной и у которой она воспитывалась. Руневский узнал после, что девушка уже давно сирота. Сколько он мог заметить, тетка ее не любила; бабушка ее ласкала и называла своим сокровищем, но трудно было угадать, от чистого ли сердца происходили ее ласки? Сверх этих двух родственниц у нее никого не было на свете. Одинокое по-

ложение бедной девушки еще более возбудило участие Руневского, но, к сожалению его, он не мог продолжать с ней разговора. Толстая тетка, после нескольких пошлых вопросов, представила его своей дочери, жеманной барышне, которая тотчас им завладела.

— Вы много смеялись с моей кузиной, — сказала она ему. — Кузина любит смеяться, когда бывает в духе. Я чаю, всем от нее досталось?

— Мы мало говорили о присутствующих, — отвечал Руневский. — Разговор наш более касался французского театра.

— Право? Но признайтесь, что наш театр не заслуживает даже, чтоб его бранили. Я всегда страх как скучаю, когда туда езжу, но я это делаю для кузины; маменька по-французски не понимает, и для нее равно, есть ли театр или нет, а бабушка и слышать про него не хочет. Вы еще не знаете бабушки; это в полном смысле слова — бригадирша. Поверите ли, она сожалеет, что мы более не пудримся?

Софья Карповна (так называли барышню), посмеявшись насчет бабушки и желая ослепить Руневского своею колкостью, перешла и

к прочим гостям. Более всех от нее доставалось одному маленькому офицеру с черными усами, который очень высоко прыгал, танцуя французскую кадрили.

— Посмотрите, пожалуйста, на эту фигуру, — говорила она Руневскому. — Можно ли видеть что-нибудь смешнее ее и можно ли для нее придумать фамилию приличнее той, которой она гордится: ее зовут Фрышкин! Это самый несносный человек в Москве, и, что всего досаднее, он себя считает красавцем и думает, что все в него влюблены. Смотрите, смотрите, как его эполеты хлопают о плечи! Мне кажется, он скоро проломает паркет!

Софья Карповна продолжала злословить всех и каждого, а Фрышкин между тем, приняв сердитый вид и закручивая усы, прыгал самым отчаянным образом. Руневский, глядя на него, не мог удержаться от смеха. Софья Карповна, ободренная его веселостью, удвоила свое злословие насчет бедного Фрышкина. Наконец Руневскому удалось избавиться от докучливой собеседницы. Он подошел к ее толстой матери, попросил позволения ее навещать и завел разговор с бригадиршей.

— Смотри ж, мой батюшка, — сказала ему ласково старуха, — к Зориной-то ходи, к Федосье Акимовне, да и меня, грешную, не забывай. Ведь не все ж с молодежью-то балагурить! В наше время не то было, что теперь: тогда молодые люди меньше франтили да больше слушали стариков; куцых-то фраков не носили, а не хуже вашего одевались. Ну, не в укор тебе сказать, а на что ты похож, мой батюшка, с своими хвостиками-то? Птица не птица, человек не человек! Да и обхождение-то было другое; учтивее люди были, нечего сказать! А офицеры-то не ломались на балах, вот как этот Фрышкин, а дрались-то не хуже ваших. Вот как покойный мой Игнатий Савельич, бывало, начнет рассказывать, как они под турку-то ходили, так индо слушать страшно. Мы, говорит, стоим себе на Дунае, говорит, с графом Петром Александровичем, а на той стороне турка стоит; наших-то немного, да и все почти новички, а ихних-то тьма-тьмуца. Вот от матушки-государыни повеленье пришло к графу: перейди, дискать, через Дунай да разбей басурмана! Нечего делать, не хотелось графу, а послушался, перешел через

Дунай, с ним и мой Игнатий Савельич. В наше время не рассуждали, мой батюшка: куда велят идти, туда и шли. Вот стали осаждать крепость-то басурманскую, что зовут Силистрией, да силы не хватило; начал отступать граф Петр Александрович, а они-то, некрести, и заслонили ему дорогу. Прищемили его между трех армий; тут бы ему и живот кончить, да и моему Игнатию Савельичу с ним, если б немец-то, Вейсман, не выручил. Напал он на тех, что переправу-то стерегли, да и разбил в пух супостата, даром что немец. Тут же и Игнатий Савельич был, и ногу ему прострелили басурманы, а Вейсмана-то убили совсем. Что ж, мой батюшка? Граф-то переправился на свою сторону, да тотчас и начал готовиться опять к бою с некрестями! Не уступлю, дискать; знай наших! Вот каковы, мой батюшка, в старину люди-то были, не вашим чета, даром что куцых-то фраков не носили, не в укор тебе буди сказано!

Старуха еще много говорила про старину, про Игнатья Савельича и про Румянцева.

— Вот приехал бы ты ко мне на дачу, — сказала она ему под конец, — я бы тебе пока-

зала портрет и графа Петра Александровича, и князя Григория Александровича, и моего Игнатья Савельича. Живу я не так, как жили прежде, не то теперь время; а гостям всегда рада. Кто меня вспомнит, тот и завернет ко мне в Березовую Рощу, а мне-то оно и любо. Семен Семенович, — прибавила она, указывая на Теляева, — меня также не забывает и через несколько дней обещался ко мне приехать. Вот и моя Дашенька у меня погостит; она доброе дитя и не оставит своей старой бабушки; не правда ли, Даша?

Даша молча улыбнулась, а Семен Семенович поклонился Руневскому и, вынув из кармана золотую табакерку, обтер ее рукавом и поднес ему обеими руками, сделав притом шаг назад, вместо того чтоб сделать его вперед.

— Рад служить, рад служить, матушка Марфа Сергеевна, — сказал он сладким голосом бригадирше, — и даже... если бы... в случае... то есть... — Тут Семен Семенович щелкнул точно так, как описывал незнакомец, и Руневский невольно вздрогнул. Он вспомнил о странном человеке, с которым разговаривал

в начале вечера, и, увидев его на том же месте, возле камина, обратился к Сугробиной и спросил ее: не знает ли она, кто он? Старуха вынула из мешка очки, протерла их платком, надела на нос и, поглядев на незнакомца, отвечала Руневскому:

— Знаю, мой батюшка, знаю; это господин Рыбаренко. Он родом малороссиянин и из хорошей фамилии, только он, бедняжка, уж три года, как помешался в уме. А все это от модного воспитания. Ведь кажется, еще молоко на губах не обсохло, а надо было поехать в чужие край! Пошатался там года с два, да и приехал с умом наизнанку. — Сказав это, она своротила разговор на кампании Игнатья Савельича.

Вся тайна обращения г. Рыбаренки объяснилась теперь в глазах Руневского. Он был сумасшедший, бригадирша Сугробиная добрая старушка, а Семен Семенович Теляев не что иное, как оригинал, который щелкал только потому, что заикался или что у него недоставало зубов.

Прошло несколько дней после бала, и Руневский короче познакомился с тетужкой Да-

ши. Сколько Даша ему нравилась, столько же он чувствовал отвращения к Федосье Акимовне Зориной. Она была женщина лет сорока пяти, замечательно толстая, очень неприятной наружности и с большими притязаниями на щегольство и на светское обращение. Недоброжелательство ее к племяннице, которое, несмотря на свои старания, она часто не могла скрыть, Руневский приписал тому, что собственная ее дочь, Софья Карповна, не имела ни Дашиной красоты, ни молодости. Софья Карповна, казалось, сама это чувствовала и старалась всячески отомстить своей сопернице. Она была так хитра, что никогда открыто ее не злословила, но пользовалась всеми случаями, когда могла неприметно послать об ней невыгодное мнение; между тем Софья Карповна притворялась ее искреннею приятельницею и с жаром извиняла ее мнимые недостатки.

Руневский заметил с самого начала, что ей очень хочется его пленить, и сколько это ни было ему неприятно, но он почел за нужное не показывать, до какой степени она ему противна, и старался обходиться с нею как мож-

но учтивее.

Общество, посещавшее дом Зориной, состояло из людей, которых не встречали в высших кругах и из коих большая часть, по примеру хозяйки дома, проводила время в сплетнях и злословии. Среди всех этих лиц Даша являлась как светлая птичка, залетевшая из цветущей стороны в темный и неопрятный курятник. Но, хотя она не могла не чувствовать пред ними своего превосходства, ей и в мысль не приходило чуждаться или пренебрегать людьми, коих привычки и воспитание так мало согласовались с тем родом жизни, для которого она была рождена. Руневский удивлялся ее терпению, когда из снисхождения к старикам она слушала их длинные рассказы, не занимающие ее нисколько; он удивлялся ее постоянной приветливости к этим барыням и барышням, из коих большая часть не могла ее терпеть. Не раз также он был свидетелем, как она, со всею приличною скромности, иногда одним только взглядом, удерживала молодых франтов в границах должной почтительности, когда в разговорах с нею им хотелось забыться.

Мало-помалу Даша привыкла к Руневскому. Она уже не старалась скрыть своей радости при его посещениях; казалось, внутреннее чувство говорило ей, что она может положиться на него, как на верного друга. Доверенность ее с каждым днем возрастала; она уже поверяла ему иногда свои маленькие печали и наконец однажды призналась, как она несчастлива в доме своей тетки.

— Я знаю, — говорила она, — что они меня не любят и что я им в тягость; вы не поверите, как это меня мучит. Хотя я с другими смеюсь и бываю весела, но зато как часто, наедине, я горько плачу!

— А ваша бабушка? — спросил Руневский.

— О, бабушка совсем другое дело! Она меня любит, всегда меня ласкает и не иначе со мной обходится, когда мы одни, как и при чужих. Кроме бабушки и еще старой маменькиной гувернантки, я думаю, нет никого, кто бы меня любил! Эту гувернантку зовут Клеопатрой Платоновной; она меня знала еще ребенком, и только с ней я и могу разговаривать про маменьку. Я так рада, что увижу ее у бабушки на даче; не правда ли, вы также туда

приедете?

— Непременно приеду, если это вам не будет неприятно.

— О, напротив! Не знаю почему, хотя я с вами знакома только несколько дней, но мне кажется, будто бы я вас знаю уж так давно, так давно, что я и не припомню, когда мы в первый раз виделись. Может быть, это оттого, что вы мне напоминаете двоюродного брата, которого я люблю как родного и который теперь на Кавказе.

Однажды Руневский застал Дашу с заплаканными глазами. Боясь ее еще более расстроить, он притворился, будто ничего не замечает, и начал разговаривать об обыкновенных предметах. Даша хотела отвечать, но слезы брызнули из ее глаз, она не могла выговорить ни слова, закрыла лицо платком и убежала из комнаты.

Через несколько времени вошла Софья Карповна и стала извинять Дашу в странности ее поступка.

— Мне самой стыдно за сестрицу, — сказала она, — но это такой ребенок, что малейшая безделица может привести ее в слезы. Сего-

дня ей очень хотелось ехать в театр, но, к несчастью, никак не могли достать ложи, и это ее так расстроило, что она еще долго не утешится. Впрочем, ежели бы вы знали все ее хорошие качества, вы бы ей охотно простили эти маленькие слабости. Я думаю, нет на свете существа добрее ее. Кого она любит, тот хоть сделай преступление, она найдет средство его извинить и уверить всех, что он прав. Зато уж об ком она дурного мнения, того она не оставит в покое и всем расскажет, что она об нем думает.

Таким образом, Софья Карповна, расхваливал бедную Дашу, успела намекнуть Руневскому, что она малодушна, пристрастна и несправедлива. Но слова ее не сделали на него никакого впечатления. Он в них видел одну только зависть и вскоре удостоверился, что не ошибся в своем предположении.

— Вам, вероятно, показалось странным, — сказала ему на другой день Даша, — что и от вас ушла, когда вы со мной говорили; но, право, я не могла сделать иначе. Я нечаянно нашла письмо от моей бедной маменьки. Теперь уж девять лет, как она скончалась; я бы-

ла еще ребенком, когда его получила, и оно мне так живо напомнило время моего детства, что я не могла удержаться от слез, когда при вас об нем подумала. Ах, как я тогда была счастлива! Как я радовалась, когда получила это письмо! Мы тоща были в деревне, маменька писала из Москвы и обещалась скоро приехать. Она в самом деле приехала на другой день и застала меня в саду. Я помню, как я вырвалась из рук нянюшки и бросилась к маменьке на шею.

Даша остановилась и несколько времени молчала, как бы забывшись.

— Вскоре потом, — продолжала она, — маменька вдруг, без всякой причины, сделалась больна, стала худеть и чахнуть и через неделю скончалась. Добрая бабушка до самой последней минуты от нее не отходила. Она по целым ночам сидела у ее кровати и за ней ухаживала. Я помню, как в последний день ее платье было покрыто маменькиной кровью. Это на меня сделало ужасное впечатление, но мне сказали, что маменька умерла от чахотки и кровохарканья. Вскоре я переехала к тетушке, и тогда все переменилось!

Руневский слушал Дашу с большим участием. Он старался превозмочь свое смущение; но слезы показались на его глазах, и, не будучи в состоянии удержать долее порыва своего сердца, он схватил ее руку и сжал ее крепко.

— Позвольте мне быть вашим другом, — вскричал он, — положитесь на меня! Я не могу вам заменить той, которую вы потеряли, но, клянусь честью, буду вам верным защитником, доколе останусь жив!

Он прижал ее руку к горячим устам, она приклонила голову к его плечу и тихонько заплакала. Чьи-то шаги слышались в ближней комнате.

Даша легонько оттолкнула Руневского и сказала ему тихим, но твердым голосом:

— Оставьте меня; я, может быть, дурно сделала, что предалась своему чувству, но я не могу себе представить, что вы чужой; внутренний голос мне говорит, что вы Достойны моей доверенности.

— Даша, любезная Даша! — Вскричал Руневский, — еще одно слово! Скажите мне, что вы меня любите, и я буду самый счастливый

смертный!

— Можете ли вы в этом сомневаться? — от-вечала она спокойно и вышла из комнаты, оставя его пораженным этим ответом и в недоумении, поняла ли она точный смысл его слов?

В тридцати верстах от Москвы находится село Березовая Роща. Еще издали виден большой каменный дом, выстроенный по-старинному и осененный высокими липами, главным украшением просторного сада, который расположен на покатом пригорке, в регулярном французском вкусе.

Никто, видя этот дом и не зная его истории, не мог бы подумать, что он принадлежит той самой бригадирше, которая рассказывает про походы Игнатия Савельича и нюхает русский табак с донником. Здание было вместе легко и величественно; можно было с первого взгляда угадать, что его строил архитектор италиянский, ибо оно во многом напоминало прекрасные виллы в Ломбардии или в окрестностях Рима. В России, к сожалению, мало таких домов; но они вообще отличаются своею красотою как настоящие образцы хорошего

вкуса прошедшего века, а дом Сутробиноой можно бесспорно назвать первым в этом роде.

В один теплый июльский вечер окна казались освещенными ярче обыкновенного, и даже, что редко случалось, в третьем этаже видны были блуждающие огни, переходящие из одной комнаты в другую.

В это время на дороге показалась коляска, которая, поравнявшись с дачею, въехала через длинную аллею на господский двор и остановилась перед подъездом дома. К ней подбежал казачок в изорванном платье и помог выйти Руневскому.

Когда Руневский вошел в комнату, он увидел множество гостей, из которых иные играли в вист, а другие разговаривали между собою. К числу первых принадлежала сама хозяйка, и против нее сидел Семен Семенович Теляев. В одном углу комнаты накрыт был стол с огромным самоваром, и за ним заседала пожилая дама, та самая Клеопатра Платоновна, о которой Руневскому говорила Даша. Она казалась одних лет с бригадиршей, но бледное лицо ее выражало глубокую горечь,

как будто бы ее тяготила страшная тайна.

При входе Руневского бригадирша ласково его приветствовала.

— Спасибо тебе, мой батюшка, — сказала она, — что ты не забыл меня, старуху. А я уж начинала думать, что ты совсем не приедешь; садись-ка возле нас, да выпей-ка чайку, да расскажи нам, что у нас нового в городе?

Семен Семенович сделал Руневскому очень оригинальный поклон, коего характер невозможно выразить словами, и, вынув из кармана свою табакерку, сказал ему сладким голосом:

— Не прикажете ли? Настоящий русский, с донником. Я французского не употребляю; этот гораздо здоровее, да и к тому ж... в рассуждении насморка...

Громкий удар языком окончил эту фразу, и щелканье старого чиновника обратилось в неопределенное сосанье.

— Покорно благодарю, — отвечал Руневский, — я табаку не нюхаю.

Но бригадирша бросила недовольный взгляд на Теляева и, обратившись к соседке, сказала ей вполголоса:

— Что за неприятная привычка у Семена Семеновича вечно щелкать. Уж я бы на его месте вставила себе фальшивый зуб да говорила бы, как другие.

Руневский очень рассеянно слушал и бригадиршу, и Семена Семеновича. Взоры его искали Даши, и он увидел ее в кругу других девушек возле чайного стола. Она приняла его с обыкновенной своей приветливостью и со спокойствием, которое могло бы показаться равнодушием. Что касается до Руневского, ему было трудно скрыть свое смущение, и неловкость, с которой он отвечал на ее слова, можно было принять за замешательство. Вскоре, однако, он оправился; его представили некоторым дамам, и он стал с ними разговаривать как будто ни в чем не бывало.

Все в доме бригадирши ему казалось необычайным. Богатое убранство высоких комнат, освещенных сальными свечами; картины италиянской школы, покрытые пылью и паутиной; столы из флорентийского мозаика, на которых валялись недовязанные чулки, ореховая скорлупа и грязные карты, — все это, вместе с простонародными приемами го-

стей, со старосветскими разговорами хозяйки и со щелканьем Семена Семеновича, составляло самую странную смесь.

Когда приняли самовар, девушки захотели во что-нибудь гадать и предложили Руневскому сесть за их стол.

— Давайте гадать, — сказала Даша. — Вот какая-то книга; каждая из нас должна по очереди ее раскрыть наудачу, а другая назвать любую строчку с правой или с левой стороны. Содержание будет для нас пророчеством. Например, я начинаю; господин Руневский, назовите строчку.

— Седьмая на левой стороне, считая снизу. Даша прочитала:

— Пусть бабушка внучкину высосет кровь.

— Ах, боже мой! — вскричали девушки, смеясь, — что это значит? Прочитайте это сначала, чтобы можно было понять!

Даша передала книгу Руневскому. Это был какой-то манускрипт, и он начал читать следующее:

*Как филин поймал летучую  
мышь,  
Копями ехал ее кости,*

Как рыцарь Амвросий с толпой  
удальцов  
К соседу собирается в гости.  
Хоть много цепей и замков у во-  
рот,  
Ворота хозяйка гостям отперет.  
Что ж, Марфа, веди нас, где спит  
твой старик?  
Зачем ты так побледнела?  
Под замком кипит и клубится  
Дунай,  
Ночь скроет кровавое дело.  
Не бойся, из гроба мертвец не  
встает,  
Что будет, то будет, — веди нас  
вперед!  
Под замком бежит и клубится  
Дунай,  
Бегут облака полосою;  
Уж кончено дело, зарезан старик,  
Амвросий пирует с толпою.  
В кровавые воды глядится луна,  
С Амвросьем пирует злодейка-же-  
на.  
Под замком бежит и клубится  
Дунай,  
Над замком пламя пожара.  
Амвросий своим удальцам гово-

рит:

*Всех резать от мала до стара!  
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей!  
Сама ж ты впустила веселых го-  
стей!*

*Сверкая, клубясь, отражает Ду-  
най*

*Весь замок, пожаром объятый;  
Амвросий своим удальцам гово-  
рит:*

*Пора уж домой нам, ребята!  
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей,  
Сама ж ты впустила веселых го-  
стей!*

*Над Марфой проклятие мужа гре-  
мит,*

*Он проклял ее, умирая:*

*Чтоб сгинула ты и чтоб сгинул  
твой род,*

*Сто раз я тебя проклинаяю!*

*Пусть вечно иссякнет меж вами  
любовь,*

*Пусть бабушка внучкину высосет  
кровь!*

*Ирод твой проклятье мое да гне-  
тет,*

*И места ему да не станет*

*Дотоль, пока замуж портрет не*

пойдет,  
Невеста из гроба не встанет,  
И, череп разбивши, не ляжет в  
крови  
Последняя жертва преступной  
любви!  
Как филин поймал летучую  
мышь,  
Когтями сжал ее кости,  
Как рыцарь Амвросий с толпой  
удальцов  
К соседу нахлынули в гости.  
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей,  
Сама ж ты впустила веселых го-  
стей!

Руневский замолчал, и ему опять пришли в голову слова того человека, которого он видел несколько времени тому на бале и который в свете слыл сумасшедшим. Пока он читал, Сугробина, сидя за карточным столом, со вниманием слушала и сказала ему, когда он кончил:

— Что ты, мой батюшка, там за страсти читаешь? Уж не вздумал ли ты пугать нас, отец мой?

— Бабушка, — отвечала Даша, — я сама не

знаю, что это за книга. Сегодня в моей комнате передвигали большой шкал, и она упала с самого верху.

Семен Семенович Теляев мигнул бригадирше и, повернувшись на стуле, сказал:

— Это должна быть какая-нибудь аллегория, что-нибудь такое метафорическое, гм! фантазия!..

— То-то, фантазия! — проворчала старуха. — В наше время фантазий-то не писали, да никто бы их и читать не захотел! Вот что вздумали! — продолжала она с недовольным видом. — Придет же в голову писать стихи про летучих мышей! Я их смерть боюсь, да и филинов тоже. Нечего сказать, не трус был и мой Игнатий Савельич, как под турку-то ходил, а мышей и крыс терпеть не мог; такая у него уж натура была; а все это с тех пор, как им в Молдавии крысы житья не давали. И провизию-то, мой батюшка, и амуницию — все поели. Бывало, заснешь, говорит, в палатке-то, ан крысы придут да за самую косу теребят. Тогда-то косы еще носили, мой батюшка, не то что теперь, взъероша волосы, ходят.

Даша шутила над предсказанием, а Рунев-

ский старался прогнать странные мысли, теснившиеся в его голове, и ему удалось себя уверить, что ответственность читанных им стихов с словами г. Рыбаренки не что иное, как случай. Они продолжали гадать, а старики между тем кончили вист и встали из-за столов.

К крайней досаде Руневского, ему ни разу не удалось поговорить с Дашей так, чтобы их не слышали другие. Его мучила неизвестность; он знал, что Даша на него смотрит как на друга, но не был уверен в ее любви и не хотел просить руки ее, не получив на то позволения от ее самой.

В продолжение вечера Теляев несколько раз принимался щелкать, с значительным видом посматривая на Руневского.

Около одиннадцати часов гости начали расходиться. Руневский простился с хозяйкою, и Клеопатра Платоновна, позвав одного лакея, коего пунцовый нос ясно обнаруживал пристрастие к крепким напиткам, приказала отвести гостя в приготовленную для него квартиру.

— В зеленых комнатах? — спросил пито-

мец Бахуса.

— Разумеется, в зеленых! — отвечала Клеопатра Платоновна. — Разве ты забыл, что в других нет места?

— Да, да, — проворчал лакей, — в других нет места. Однако с тех пор как скончалась Прасковья Андреевна, в этих никто еще не жил!

Разговор этот напомнил Руневскому несколько сказок о старинных замках, обитаемых привидениями. В этих сказках обыкновенно путешественник, застигнутый ночью на дороге, останавливается у одинокой корчмы и требует ночлега; но хозяин ему объявляет, что корчма уже полна проезжими, но что в замке, коего башни торчат из-за густого леса, он найдет покойную квартиру, если только он человек нетрусливого десятка. Путешественник соглашается, и целую ночь привидения не дают ему заснуть.

Вообще, когда Руневский вступил в дом Сугробиной, странное чувство им овладело, как будто что-то необыкновенное должно с ним случиться в этом доме. Он приписал это влиянию слов Рыбаренки и особенному располо-

жению духа.

— Впрочем, мне все равно, — продолжал лакей, — в зеленых так в зеленых!

— Ну, ну, возьми свечку и не умничай! Лакей взял свечку и повел Руневского во второй этаж. Прощедши несколько ступенек, он оглянулся и, увидев, что Клеопатра Платоновна ушла, стал громко сам с собой разговаривать:

— Не умничай! Да разве я умничаю? Какое мне дело до их комнат? Разве с меня мало передней? Гм, не умничай! Вот кабы я был генеральша, так я бы, разумеется, их не запирал, велел бы освятить, да и принимал бы в них гостей или сам жил. А то на что они? Какой от них прок?

— А что это за комнаты? — спросил Руневский.

— Что за комнаты? Позвольте, я вам сейчас растолкую. Блаженной памяти Прасковья Андреевна, — сказал он набожным голосом, остановясь среди лестницы и подымая глаза кверху, — дай Господь ей царство небесное...

— После, после расскажешь! — сказал Руневский, — прежде проводи меня.

Он вошел в просторную комнату с высо-

ким камином, в котором ухе успели разложить огонь. Предосторожность эта, казалось, была взята не столько против холода, как для того, чтобы очистить спертый воздух и дать старинному покою более жилой вид. Руневского поразила женский портрет, висевший над диваном, близ небольшой затворенной двери. То была девушка лет семнадцати, в платье на фижмах с короткими рукавами, обшитыми кружевом, напудренная и с розовым букетом на груди. Если бы не старинное одеяние, он бы непременно принял этот портрет за Дашин. Тут были все ее черты, ее взгляд, ее выражение.

— Чей это портрет? — спросил он лакея.

— Это она-то и есть, покойница Прасковья Андреевна. Господа говорят, что они похожи на Дарью Васильевну-с; но, признательно сказать, я тут сходства большого не вижу: у этой волосы напудренные-с, а у Дарьи Васильевны они темно-русого цвета. К тому же Дарья Васильевна так не одеваются, это старинный манер!

Руневский не считал за нужное опровергать логические рассуждения своего чичероне, но

ему очень хотелось знать, кто была Прасковья Андреевна, и он спросил об ней у лакея.

— Прасковья Андреевна, — отвечал тот, — была сестрица бабушки теперешней генеральши-с. Они, извольте видеть, были еще невесты какого-то... как бишь его!.. ну, провал его возьми!.. Приехал он из чужих краев, скряга был такой престрашный!.. Я-то его не помню, а так понаслышке знаю, Бог с ним! Он-то, изволите видеть, и дом этот выстроил, а наши господа уже после всю дачу купили. Вот для него да для Прасковьи Андреевны приготовили эти покои, что мы называем зелеными, отделали их получше, обили полы коврами, а стены обвешали картинами и зеркалами. Вот уже все было готово, как за день перед свадьбою жених вдруг пропал. Прасковья Андреевна тужили, тужили, да с горя и скончались. А матушка, вишь, их, это выходит бабушка нашей генеральши, купили дом у наследников, да и оставили комнаты, приготовленные для их дочери, точь-в-точь как они были при их жизни. Прочие покои несколько раз переделывали да обновляли, а до этих никто не смел и дотронуться. Вот и

наша генеральша их до сих пор запирали, да, вишь, много наехало гостей, так негде было бы вашей милости ночевать.

— Но ты, кажется, говорил, что на месте генеральши велел бы освятить эти комнаты?

— Да, оно бы, сударь, и не мешало; куда лет шестьдесят никто крещеный не входил, там мудрено ли другим хозяевам поселиться?

Руневский попросил красноносого лакея, чтобы он теперь его оставил; но тот, казалось, был не очень расположен исполнить эту просьбу. Ему все хотелось рассказывать и рассуждать.

— Вот тут, — говорил он, указывая на заворенную дверь возле дивана, — есть еще целый ряд покоев, в которых никто никогда не жил.

Если б их отделать по-нынешнему да вынести из них старую мебель, так они были бы еще лучше тех, где живет барыня. Ну, да что прикажете, сами господа не догадаются, а у нашего брата совета не спросят!

Чтобы от него скорее избавиться, Руновский всунул ему в руку целковый и сказал, что ему теперь хочется спать и что он желает

остаться один.

— Чувствительнейше благодарим, — отвечал лакей, — желаю вашей милости спокойной ночи. Ежели вам что-нибудь, сударь, понадобится, извольте только позвонить, и я сейчас явлюсь к вашей милости. Ваш камердинер не то, что здешний человек, им дом неизвестен, а мы, слава Богу, впотьмах не споткнемся.

Он удалился, и Руневский еще слышал, как он, уходя с его человеком, толковал ему, сколь бы выгодно было, если бы бригадирша не запирала зеленых комнат.

Оставшись один, он заметил углубление в стене и в нем богатую кровать с штофными занавесами и высоким балдахином; но либо из почтения к памяти той, для кого она была назначена, либо оттого, что ее считали беспокойною, ему приготовили постель на диване, возле маленькой затворенной двери.

Сбираясь лечь, Руневский бросил еще взгляд на портрет, столь живо напоминавший ему черты, врезанные в его сердце.

Вот, — подумал он, — картина, которая по всем законам фантастического мира должна

ночью оживиться и повесть меня в какое-нибудь подземелье, чтобы показать мне неотпечтанные свои кости! Но сходство с Дашей дало другое направление его мыслям. Потушив свечку, он старался заснуть, но никак не мог. Мысль о Даше не давала ему покою; он долго ворочался с боку на бок и наконец погрузился в какой-то полусон, ще, как в тумане, вертелись перед ним старая бригадирша, г. Рыбаренко, рыцарь Амвросий и Семен Семенович Теляев.

Тяжелый стон, вырвавшийся как будто из стесненной сильным отчаяньем груди, его внезапно пробудил. Он открыл глаза и при свете огня, еще не погасшего в камине, увидел подле себя Дашу. Вид ее очень его удивил, но его еще более поразило ее одеяние. На ней было совершенно такое платье, как на портрете Прасковьи Андреевны; розовый букет был приколот к ее груди, и в руке она держала старинное опахало.

— Вы ли это? — вскричал Руневский, — об эту пору, в этом наряде!

— Мой друг, — отвечала она, — если я вам мешаю, я уйду прочь.

— Останьтесь, останьтесь! — возразил он. — Скажите, что вас сюда привело и чем я могу вам служить?

Она опять застонала, и стон этот был так странен и выразителен, что он пронзил ему сердце.

— Ах, — сказала она, — мне немного времени остается с вами говорить; я скоро должна возвратиться туда, откуда пришла; а там так жарко!

Она опустилась на кресла подле дивана, где лежал Руневский, и стала обмахивать себя опахалом.

— Где жарко? откуда вы пришли? — спросил Руневский.

— Не спрашивайте меня, — отвечала она, вздрогнув при его вопросе, — не говорите со мной об этом! Я так рада, что вас вижу, — прибавила она с улыбкой. — Вы долго здесь пробудете?

— Как можно дольше!

— И всегда будете здесь ночевать?

— Я думаю. Но зачем вы меня об этом спрашиваете?

— Для того чтобы мне можно было гово-

рить с вами наедине. Я всякую ночь сюда прихожу, но в первый раз вас здесь вижу.

— Это не мудрено, я только сегодня приехал.

— Руневский, — сказала она, помолчав, — окажите мне услугу. В углу, возле дивана, на этажерке есть коробочка; в ней вы найдете золотое кольцо; возьмите его и завтра обручитесь с моим портретом.

— Боже мой! — воскликнул Руневский, — чего вы от меня требуете!

Она в третий раз застонала еще жалобнее, нежели прежде.

— Ради Бога, — закричал он, не в силах удержаться от внутреннего содрогания, — ради Бога, не шутите надо мной! Скажите мне, что вас сюда привело? Зачем вы так нарядились? Сделайте милость, поверьте мне свою тайну!

Он схватил ее руку, но сжал только холодные костяные пальцы и почувствовал, что держит руку остова.

— Даша, Даша! — закричал он в исступлении, — что это значит?

— Я не Даша, — отвечало насмешливым го-

лосом привидение, — отчего вы приняли меня за Дашу?

Руневский чуть не упал в обморок; но в эту минуту послышался сильный стук в дверь, и знакомый его лакей вошел со свечою в руках.

— Чего изволите, сударь? — спросил он.

— Я тебя не звал.

— Да вы изволили позвонить. Вот и снурок еще болтается! Руневский в самом деле увидел снурок от колокольчика, которого прежде не заметил, и в то же время понял причину своего испуга. То, что он принял за Дашу, был портрет Прасковьи Андреевны; когда он ее хотел взять за руку, он схватил жесткую кисть снурка, и ему показалось, что он держит костяные пальцы скелета.

Но он с нею разговаривал, она ему отвечала; он принужден был внутренне сознаться, что истолкование его не совсем естественно, и решил, что все виденное им — один из тех снов, которым на русском языке нет, кажется, приличного слова, но которые французы называют *cauchemar*. Сны эти обыкновенно продолжаются и после пробуждения и часто, но не всегда, бывает сопряжены с давлением в

груди. Отличительная их черта — ясность и совершенное сходство с действительностью.

Руневский отослал лакея и готовился уснуть, как вдруг лакей опять явился в дверях. Пионы на его носу уступили место смертельной бледности; он дрожал всем телом.

— Что с тобой случилось? — спросил Руневский.

— Воля ваша, — отвечал он, — я не могу ночевать в этом этаже и ни за что не войду опять в свою комнату!

— Да говори же, что в твоей комнате?

— Что в моей комнате? А то, что в ней сидит портрет Прасковьи Андреевны!

— Что ты говоришь! Это тебе показалось, оттого что ты пьян!

— Нет, нет, сударь, помилуйте! Я только что хотел войти, как увидел, что она там, сердечная; прости меня, Боже! Она сидела ко мне спиной, и я бы умер со страха, если б она оглянулась, да, к счастью, я успел тихонько уйти, и она меня не заметила.

В эту минуту вошел слуга Руневского.

— Александр Андреевич, — сказал он дрожащим голосом, — здесь что-то нехорошо!

На вопрос Руневского он продолжал:

— Мы было поговорили с Яковом Антипычем да и легли спать, как Яков Антипыч мне говорят: ваш барин звонит! Я, признаться, засылая, да к тому ж Яков Антипыч не совсем были в пропорции, так я и думаю себе, что им так показалось; перевернулся на другой бок, да и захрапел. Чуть только захрапел, слышу — кто-то шарк, шарк, да как будто каблучками постукивает. Я открыл глаза, да уж не знаю, увидел ли что или нет, а так холодом и обдало; вскочил и пустился бежать по коридору, теперь уж как прикажете, а позвольте мне ночевать где-нибудь в другом месте, хоть на дворе!

Руневский решился исследовать эту загадку. Надев халат, он взял в руку свечу и отправился туда, где, по словам Якова, была Прасковья Андреевна. Яков и слуга Руневского следовали за ним и дрожали от страха. Дойдя до полурастворенной двери, Руневский остановился. Всех его сил едва достало, чтобы выдержать зрелище, представившееся его глазам.

То самое привидение, которое он видел у

себя в комнате, сидело тут на старинных креслах и казалось погружено в размышления. Черты лица его были бледны и прекрасны, ибо то были черты Даши, но оно подняло руку — и рука ее была костяная! Привидение долго на нее смотрело, горестно покачало головой и застонало.

Стон этот проник в самую глубину души Руневского.

Он, сам себя не помня, отворил дверь и увидел, что в комнате никого нет. То, что казалось ему привидением, была не что иное, как пестрая ливрея, повешенная через спинку кресел и которую издали можно было принять за сидящую женщину. Руневский не понимал, как он до такой степени мог обмануться. Но товарищи его все еще не решались войти в комнату.

— Позвольте мне ночевать поближе к вам, — сказал лакей, — оно все-таки лучше; да и к тому ж, если вы меня потребуете, я буду у вас под рукою. Извольте только крикнуть: Яков!

— Позвольте уж и мне остаться с Яковом Антипычем, а то неравно...

Руневский воротился в свою спальню, а слуга его и лакей расположились за дверьми в коридоре. Остаток ночи Руневский провел спокойно; но когда проснулся, он не мог забыть своего приключения.

Сколько он ни заговаривал об зеленых комнатах, но всегда бригадирша или Клеопатра Платоновна находили средство своротить разговор на другой предмет. Все, что он мог узнать, было то же, что ему рассказывал Яков: тетушка Сугробиной, будучи еще очень молода, должна была выйти за богатого иностранца, но за день перед свадьбою жених исчез, а бедная невеста занемогла от горести и вскоре умерла. Многие даже в то время уверяли, что она отравила себя ядом. Комнаты, назначенные для нее, остались в том же виде, как были первоначально, и никто до приезда Руневского не смел в них входить. Когда он удивлялся сходству старинного портрета с Дашей, Сугробиная ему говорила:

— И немудрено, мой батюшка; ведь Прасковья-то Андреевна мне родная тетка, а я родная бабушка Даши. Так что ж тут необыкновенного, если они одна на другую похожи? А

что с Прасковьей-то с Андреевной несчастье случилось, так и этому нечего удивляться. Вышла бы за нашего, за русского, так и теперь бы еще жива была, а то полюбился ей бродяга какой-то! Нечего сказать, и в наше время иногда затмение на людей находило; только не прогневайся, мой батюшка, а все-таки умнее люди были теперешних!

Семен Семенович Теляев ничего не говорил, а только потчевал Руневского табаком и щелкал и сосал попеременно.

В этот день Руневский нашел случай объясниться с Дашей и открыл свое сердце старой бригадирше. Она сначала очень удивилась, но нельзя было заметить, чтобы его предложение ей было неприятно. Напротив того, она поцеловала его в лоб и сказала ему, что, с ее стороны, она не желает для своей внучки жениха лучше Руневского.

— А что касается до Даши, — прибавила она, — то я давно заметила, что ты ей понравился. Да, мой батюшка, даром что старуха, а довольно знаю вашу братью молодежь! Впрочем, в наше время дочерей-то не спрашивали; кого выберет отец или мать, за того они и вы-

ходили, а право, женитьбы-то счастливее были! Да и воспитание было другое, не хуже вашего. И в наше время, отец мой, науками-то не брезгали, да фанаберии-то глупой девкам в голову не вбивали; оттого и выходили они поскромнее ваших попрыгуний-то. Вот и я, мой батюшка, даром что сама по-французски не говорю, а взяла же гувернантку для Дашиной матери, и учителя-то к ней ходили, и танцмейстер был. Всему научилась, нечего сказать, а все-таки скромной и послушной девушкой осталась. Да и сама-то я за Игнатя Савельича по воле отцовской вышла, а уж любила-то его как! Не наплачусь, бывало, как в поход ему идти придется, да нечего делать, сам, бывало, рассердится, как плакать-то начну. Что ты, говорит, Марфа Сергеевна, расхныкалась-то? На то я и бригадир, чтоб верой и правдой матушке-государыне служить! Не за печкой же сидеть мне, пока его сиятельство граф Петр Александрович будет с турками воевать! Ворочусь — хорошо! не ворочусь — так уж, по крайней мере долг свой исполню по-солдатски! А мундир-то какой красивый на нем был! весь светло-зеленый, шитый золо-

том, воротник алый, сапоги как зеркало!.. Да что я, старуха, заболталась про старину-то! Не до того тебе, мой батюшка, не до того; поезжай-ка в Москву да попроси Дашиной руки у тетки ее, у Зориной, Федосьи Акимовны; от нее Даша зависит, она опекунша. А когда Зорина-то согласится, тогда уж приезжай сюда женихом да поживи с нами. Надобно ж тебе покороче познакомиться с твоей будущей бабушкой!

Старуха еще много говорила, но Руневский уж ее не слушал. Он бросился в коляску и поспешил в Москву.

Уже было поздно, когда Руневский приехал домой, и он почел за нужное отложить до другого утра свой визит к Дашиной тетушке. Между тем сон его убежал, и он, пользуясь лунной ночью, пошел ходить по городу без всякой цели, единственно чтоб успокоить волнение своего сердца.

Улицы были уже почти пусты, лишь изредка раздавались на тротуарах поспешные шаги, или сонно стучали о мостовую дрожки извозчиков. Вскоре и эти звуки утихли, и Руневский остался один посреди огромного го-

рода и самой глубокой тишины. Прошед всю Моховую, он повернул в Кремлевский сад и хотел идти еще далее, как на одной скамье увидел человека, погруженного в размышления. Когда он поравнялся со скамьей, незнакомец поднял голову, месяц осветил его лицо, и Руневский узнал г. Рыбаренко.

В другое время встреча с сумасшедшим не могла бы ему быть приятна, но в этот вечер, как будто нарочно, он все думал о Рыбаренке. Напрасно он сам себе повторял, что все слова этого человека не что иное, как бред расстроенного рассудка; что-то ему говорило, что Рыбаренко не совсем сумасшедший, что он, может быть, не без причины облекает здравый смысл своих речей в странные формы, которые для непосвященного должны казаться дикими и несвязными, но коими он, Руневский, не должен пренебрегать. Его даже мучила совесть за то, что он оставил Дашу одну в таком месте, где ей угрожала опасность.

Увидев его, Рыбаренко встал и протянул к нему руку.

— У нас, видно, одни вкусы, — сказал он, улыбаясь. — Тем лучше! Сядем вместе и по-

болтаем о чем-нибудь.

Руневский молча опустился на скамью, и несколько времени оба сидели, не говоря ни слова.

Наконец Рыбаренко прервал молчание.

— Признайтесь, — сказал он, — что, когда мы познакомились на бале, вы приняли меня за сумасшедшего?

— Не могу скрыть от вас, — отвечал Руневский, — что вы мне показались очень странными. Ваши слова, ваши замечания...

— Да, да; я думаю, что я вам показался странным. Меня рассердили проклятые упыри. Да, впрочем, и было за что сердиться, я никогда не видывал такого бесстыдства. Что, вы после никого из них не встречали?

— Я был на даче бригадирши Сугробиной и видел там тех, которых вы называли упырями.

— На даче у Сугробиной? — повторил Рыбаренко. — Скажите, поехала ли к ней ее внучка?

— Она теперь у нее, я видел ее недавно.

— Как, и она еще жива?

— Конечно, жива. Не прогневайтесь, по-

чтенный Друг, во мне кажется, что вы сильно наклепали на бедную бригадиршу. Она предобрная старушка и любит свою внучку от чистого сердца.

Рыбаренко, казалось, не слышал последних слов Руневского. Он приставил палец к губам с видом человека, ошибшегося в своем расчете.

— Странно, — сказал он наконец, — упыри обыкновенно так долго не мешкают. И Теляев там?

— Там.

— Это меня еще более удивляет. Теляев принадлежит к самой лютой породе упырей, и он еще гораздо кровожаднее Сугробиной. Но это так недолго продолжится, и если вы принимаете участие в бедной девушке, я вам советую взять свои меры как можно скорей.

— Воля ваша, — отвечал Руневский, — я никак не могу думать, чтоб вы говорили серьезно. Ни старая бригадирша, ни Теляев мне не кажутся упырями.

— Как, — возразил Рыбаренко, — вы в них ничего не заметили необыкновенного? Вы не слышали, как Семен Семенович щелкает?

— Слышал; но, по мне, это еще не есть достаточная причина, чтоб обвинять человека, почтенного летами, служащего уже более сорока пяти лет беспорочно и пользующегося общим уважением.

— О, как вы мало знаете Теляева! Но положим, что он щелкает без всякого намерения, неужели вас ничто не поразило во всем быту бригадирши. Неужели, проведши ночь у нее в доме, вы не почувствовали ни одного содрогания, ни одного из тех минутных недугов, которые напоминают нам, что мы находимся, вблизи существ, нам антипатических и принадлежащих другому миру?

— Что касается до такого рода ощущений, то я не могу сказать, чтобы их не имел; но я все приписал своему воображению и думаю, что почувствовал их у Сугробиной, как мог бы почувствовать и во всяком другом месте. К тому ж характер и приемы бригадирши; столь противоположные с архитектурой и убранством ее дома, без сомнения, много содействуют к особенному расположению духа тех, которые ее посещают.

Рыбаренко улыбнулся.

— Вы заметили архитектуру ее дома? — сказал он. — Прекрасный фасад! совершенно в италиянском вкусе! Только будьте уверены, что не одно устройство дома на вас подействовало. Послушайте, — продолжал он, схватив руку Руневского, — будьте откровенны, скажите мне как другу, не случилось ли с вами чего-нибудь особенного на даче у старой Сугробиной?

Руневский вспомнил о зеленых комнатах, и так как Рыбаренко внушал ему невольную доверенность, то он не почел за нужное что-либо от него скрывать и все ему рассказал так точно, как оно было. Рыбаренко слушал его со вниманием и сказал ему, когда он кончил:

— Напрасно вы приписываете воображению то, что действительно с вами случилось. История покойной Прасковьи Андреевны мне известна. Если хотите, я вам когда-нибудь ее расскажу; впрочем, самые любопытные подробности могла бы вам сообщить Клеопатра Платоновна, если б она только захотела. Но, ради Бога, не говорите легкомысленно о вашем приключении; оно имеет довольно сходства и более связи, нежели вы теперь можете

подозревать, с одним обстоятельством моей жизни, которое я должен вам сообщить, чтобы вас предостеречь.

Рыбаренко несколько времени помолчал, как бы желая собраться с мыслями, и, прислонившись к липе, возле которой стояла скамья, начал следующим образом:

— Три года тому назад предпринял я путешествие в Италию для восстановления расстроенного здоровья, в особенности чтобы лечиться виноградным соком.

Прибыв в город Комо, на известном озере, куда обыкновенно посылают больных для этого рода лечения, услышал я, что на площади piazza Volta есть дом, уже около ста лет никем не обитаемый и известный под названием чертова дома (la casa del diavolo). Почти всякий день, идучи из предместья Borgo Vico, где была моя квартира, в albergo del Angelo, чтобы навещать одного приятеля, я проходил мимо этого дома, но, не зная об нем ничего особенного, никогда не обращал на него внимания. Теперь, услышав странное его название и несколько любопытных о нем преданий, вовсе одно на другое не похожих, я на-

рочно пошел на piazza Volta и с особенным примечанием начал его осматривать. Наружность не обещала ничего необыкновенного: окна нижнего этажа с толстыми железными решетками, ставни везде затворены, стены обклеены объявлениями о молитвах по умершим, а ворота заперты и ужасно запачканы.

В стороне была лавка цирюльника, и мне пришло в голову туда зайти, чтобы спросить, нельзя ли осмотреть внутренность чертова дома?

Входя, увидел я аббата, развалившегося в креслах и обвязанного грязным полотенцем. Толстый цирюльник, засучив рукава, тщательно и проворно мылил ему бороду и даже, в жару действия, нередко мазал его по носу и по ушам, что, однако, аббат сносил с большим терпением.

На вопрос мой цирюльник отвечал, что дом всегда заперт и что едва ли хозяин дозволит для кого-либо отпереть его. Не знаю почему, цирюльник принял меня за англичанина и, делая руками пояснительные знаки, рассказал очень красноречиво, что уже несколько из моих соотечественников старались по-

лучить позволение войты в этот дом, но что попытки их оставались тщетными, ибо дон Пьетро д'Урджина им всегда отвечал наотрез, что дом его не трактир и не картинная галерея.

Пока цирюльник говорил, аббат слушал его со вниманием, и я не раз заметил, как под толстым слоем мыльной пены странная улыбка показывалась на его губах.

Когда цирюльник, окончив свою работу, обтер ему бороду полотенцем, он встал, и мы вместе вышли из лавки.

— Могу вас уверить, синьор, — сказал он, обращаясь ко мне, — что вы напрасно так беспокоитесь и что чертов дом нисколько не заслуживает вашего внимания. Это совершенно пустое строение, и все, что вы могли о нем слышать, не что иное, как выдумка самого дон Пьетро.

— Помилуйте, — возразил я, — зачем бы хозяину клепать на свой дом, когда он, при таком стечении иностранцев, мог бы отдавать его внаймы и получать большой доход?

— На это есть более причин, чем вы думаете, — отвечал аббат.

— Как, — спросил я с удивлением, вспомнив известный анекдот про Тюренна, — неужели он делает фальшивую монету?

— Нет, — возразил аббат, — дон Пьетро — большой чудак, но честный человек. Говорят про него, что он торгует запрещенными товарами и что даже он в сношениях с известным контрабандистом Титта Каннелли; но я этому не верю.

— Кто такой Титта Каннелли? — спросил я.

— Титта Каннелли был лодочником на нашем озере, но раз на рынке он поспорил с товарищем и убил его на месте. Совершив преступление, он убежал в горы и сделался начальником контрабандистов. Говорят, будто ввозимые им из Швейцарии товары он складывает в одной вилле, принадлежащей дону Пьетро; еще говорят, что, кроме товаров, он в той же вилле сохраняет большие суммы денег, Приобретенные им вовсе не торговлею; но, повторяю вам, я не верю этим слухам.

— Скажите же, ради Бога, что за человек ваш дон Пьетро и что значит вся эта история про чертов дом?

— Это значит, что дон Пьетро, чтобы

скрыть одно событие, случившееся в его семействе, и отвлечь внимание от настоящего места, где случилось это событие, распустил о городском доме своем множество слухов, один нелепее другого. Народ с жадностью бросился на эти рассказы, возбуждающие его любопытство, и забыл о приключении, которое первоначально дало им повод.

Надобно вам знать, что хозяину чертова дома с лишком восемьдесят лет. Отец его, который также назывался дон Пьетро д'Урджина, не пользовался уважением своих сограждан. В неурожайные годы, когда половина жителей умирала с голоду, он, имея огромные запасы хлеба, продавал его по необыкновенно высокой цене, несмотря на несметные свои богатства. В один из таких годов, не знаю для чего, предпринял он путешествие в ваше отечество. Я давно заметил, — продолжал аббат, — что вы не англичанин, а русский, несмотря на то, что синьор Финарди, мой цирюльник, уверен в противном. Итак, в один из самых несчастных годов старый дон Пьетро отправился в Россию, поручив все дела своему сыну, теперешнему дон Пьетро.

Между тем настала весна, новые урожаи обещали обильную жатву, и цена на хлеб значительно спала. Пришла осень, жатва кончилась, и хлеб стал ничем. Сын дон Пьетро, которому отец, уезжая, оставил строгие наставления, сначала так дорожился, что не много сбывал своего товара; потом ему не стали уже давать цены, назначенной его отцом, и, наконец, перестали к нему приходить вообще. В нашем краю, слава богу, неурожаи очень редки, и потому весь барыш, на который надеялся старый Урджина, обратился в ничто. Сын его несколько раз к нему писал, но перемена в цене произошла так быстро, что он не успел получить от отца разрешения ее убавить.

Многие уверяют, что покойный дон Пьетро был скуп до невероятности, но я скорее думаю, что он был большой злодей и притом такой же чудак, как и его сын. Письма сего последнего заставили его поспешно покинуть Россию и воротиться в Комо. Если бы дон Пьетро был так скуп, как говорят, то он бы или продал свой хлеб по существующей цене, или оставил его в магазинах; но он распустил

в городе слух, что раздаст его бедным, а вместо того приказал весь запас вывалить в озеро. Когда же в назначенный день бедный народ собрался перед его домом, то он, высунувшись из окошка, закричал толпе, что хлеб ее на дне озера и что кто умеет нырять, может там достать его. Такой поступок еще более унижил его в глазах жителей Комо, и они дали ему прозвание злого, *il cattivo*.

В городе давно уже ходил слух, что он продал душу черту и что черт вручил ему каменную доску с кабалистическими знаками, которая до тех пор должна доставлять ему все наслаждения земные, пока не разобьется. С уничтожением ее магической силы черт, по договору получил право взять душу дон Пьетро.

Тогда дон Пьетро жил в загородном доме, недалеко от *villa d'Este*. В одно утро приор монастыря св. Севастиана, стоя у окошка и смотря на дорогу, увидел человека на черной лошади, который остановился у окна и ему сказал: Знай, что я черт и еду за Пьетро д'Урджина, чтобы отвести его в ад. Расскажи это всей братии! Через несколько времени приор уви-

дел того же человека, возвращающегося с дон Пьетро, лежащим поперек седла.

Он скакал во весь опор, покрыв жертву свою черным плащом. Сильный ветер раздувал этот плащ, и приор мог заметить, что старик был в халате и в ночном колпаке: черт, посетивший его неожиданно, застал его в постеле и не дал ему времени одеться.

Вот что говорит предание. Дело в том, что дон Пьетро, вскоре по возвращении своем из России, пропал без вести. Сын его, чтоб прекратить неприятные толки, объявил, что он скоропостижно умер, и велел для формы похоронить пустой гроб. После погребения, пришедши в спальню отца, он увидел на стене картину *al fresco*, которой никогда прежде не знал. То была женщина, играющая на гитаре. Несмотря на красоту лица, в глазах ее было что-то столь неприятное и даже страшное, что он немедленно приказал ее закрасить. Через несколько времени увидели ту же фигуру на другом месте; ее опять покрасили; но не прошло двух дней, как она еще явилась там же, где была в первый раз. Молодой Урджина так был этим поражен, что навсегда покинул

свою виллу, приказав сперва заколотить двери и окна. С тех пор лодочники, проезжавшие мимо нее ночью, несколько раз слышали в ней звук гитары и два поющие голоса, один старого дон Пьетро, другой неизвестно чей; но последний был так ужасен, что лодочники не долго останавливались под окнами.

Вы видите, синьор, — продолжал аббат, — что хотя и есть нечто необыкновенное в истории дон Пьетро, но оно все относится к загородному дому, на берегу озера, недалеко от villa d'Esti, по ту сторону Capriccio, а не к тому строению, которое вам так хотелось видеть.

— Скажите мне, — спросил я, — что, слышны ли еще в вилле дон Пьетро голоса и звук гитары?

— Не знаю, — отвечал аббат. Но если это вас интересует, — прибавил он с улыбкой, — то кто вам мешает, когда сделается темно, пойти под окна виллы или, что еще лучше, провести в ней ночь?

Этого-то мне и хотелось.

— Но как туда войти? — спросил я. — Ведь вы говорите, что сын дон Пьетро велел заколотить двери и окна? Аббат призадумался.

— Правда, — сказал он наконец. — Но если не ошибаюсь, то можно, влезши на утес, к которому прислонен дом, спуститься в незаконное слуховое окно.

Разговаривая таким образом, мы, сами того не замечая, прошли весь Bordo Vico и очутились на шоссе, ведущей вдоль озера к villa d'Este. Аббат остановился перед одним palazzo, которого фасад казался выстроен по рисункам славного Палладия. Величественная красота здания меня поразила, и я не мог понять, как, живучи столько времени в Комо, я ничего не слыхал о таком прекрасном дворце.

— Вот вилла дон Пьетро, — сказал аббат, — вот утес, а вот то окно, в которое вы можете влезть, если вам угодно.

В голосе аббата было что-то насмешливое, и мне показалось, что он сомневается в моей смелости. Но я твердо решил, во что бы то ни стало проникнуть в тайну, сильно возбуждавшую мое любопытство.

В этот день мне не сиделось дома. Я рыскал по городу без цели, заходил в готический собор и без удовольствия смотрел на прекрас-

ные картины Bernardino Luini. Я спотыкался на корзины с фигами и вино-градом и раз даже опрокинул целый лоток горячих каштанов. Надобно вам знать, что в Комо каштаны жарят на улицах; обычай этот существует и в других италийских городах, но нигде я не видел столько жаровен и сковород, как здесь. Добрые ломбардцы на меня не сердились, но только смеялись от всего сердца и даже провожали благода-рениями, когда за причиненный им убыток я им бросал несколько цванцигеров.

Вечером было собрание villa Salazar. Большая часть общества состояла из наших соотечественников, прочие почти все были австрийские офицеры или италийцы, приехавшие из Милана посетить прелестные окрестности Комо.

Когда я рассказал свое намерение провести следующую ночь в villa Urgina, надо мной сначала начали смеяться, потом мысль моя показалась оригинальною, а напоследок вызвалось множество охотников разделить со мной опасности моего предприятия. Замечательно, что не только я, но и никто из жите-

лей Милана не знал о существовании этойвиллы.

— Позвольте, господа, — сказал я, — если мы все пойдем туда ночевать, то экспедиция наша потеряет всю свою прелесть, и я уверен, что черт не захочет петь в присутствии такого общества знатоков; но я согласен взять с собой двух товарищей, которых назначит судьба.

Предложение было принято, и жребий пал на двух моих приятелей, из коих один был русский и назывался Владимиром, другой италиянец, по имени Антонио. Владимир был мой искренний друг и товарищ моего детства. Он, так же как и я, приехал в Комо лечиться виноградом и вместе со мной должен был, по окончании лечения, ехать во Флоренцию и провести там зиму. Антонио был наш общий приятель, и хотя мы познакомились с ним только в Комо, но образ наших мыслей и вообще нравы наши так были сходны, что мы невольно сблизились. Мы поклялись вечно любить друг друга и не забывать до самой смерти. Антонио уже исполнил свою клятву.

Но я напрасно предаюсь печальным воспо-

минаниям и преждевременно намекаю на трагический оборот, который приняла наша необдуманная шалость.

Любезный друг! Вы молоды и имеете пылкий характер. Послушайте человека, узнавшего на опыте, что значит пренебрегать вещами, коих мы не в состоянии понять и которые, слава Богу, отделены от нас темной, непроницаемой завесой. Горе тому, кто покусится ее поднять! Ужас, отчаянье, сумасшествие будут наградою его любопытства. Да, любезный друг, я тоже молод, но волосы мои седы, глаза мои впалы, я в цвете лет сделался стариком — я приподнял край покрывала, я заглянул в таинственный мир. Я так же, как и вы, тогда не верил ничему, что люди условились называть сверхъестественным; но, несмотря на то, нередко в груди моей раздавались странные отголоски, противоречившие моему убеждению. Я любил к ним прислушиваться, потому что мне нравилась противоположность мира, тогда передо мною открывшегося, с холодной прозою мира настоящего; но я смотрел на картины, которые развивались передо мною, как зритель смотрит на

интересную драму. Живая игра актеров его увлекает, но между тем он знает, что кулисы бумажные и что герой, покинув сцену, снимет шлем и наденет колпак. Поэтому, когда я затеял ночевать в villa Urgina, я не ожидал никаких приключений, но только хотел возбудить в себе то чувство чудесного, которого искал так жадно. О, сколь жестоко я обманулся! Но если мое несчастье послужит уроком для других, то это мне будет утешением и пребывание мое в доме дон Пьетро принесет хотя какую-нибудь пользу.

На другой день, едва лишь смерклось, Владимир, Антонио и я уже шли на ночлег в таинственный palazzo. Малейшие обстоятельства этого вечера врезались в моей памяти, и хотя с тех пор прошло три года, но я так живо помню все подробности нашего разговора и наших неосторожных шуток, в которых мы так скоро раскаялись, что мне кажется, будто все это происходило не далее, как вчера.

Проходя мимо villa Remondi, Антонио остановился. В правом флигеле слышно было несколько женских голосов, поющих какую-то веселую песнь. Мелодия ее до сих пор

раздается в моих ушах!

— Подождем, — сказал Антонио, — теперь еще рано, мы успеем вовремя туда прийти.

Сказав это, он хотел подойти к окну, чтобы лучше слышать, но, нагнувшись вперед, споткнулся на камень и упал на землю, разбив окно головой. На шум его падения выбежала молодая девушка со свечою. То была дочь сторожа villa Remondi. Лицо Антонио было покрыто кровью. Девушка казалась очень испуганною; она бегала, суетилась, принесла ручной мыльницы с водою и, восклицая беспрестанно: *O dio! poverino! maladetta strada!*[1] — омыла ему лицо.

— Это дурной знак! — сказал, улыбаясь, Антонио, как скоро он оправился от своего падения.

— Да, — отвечал я, — не лучше ли нам воротиться и отложить до другого раза нашу шалость.

— О нет, нет! — возразил он, — это совершенно ничего, и я не хочу чтобы вы после смеялись надо мной и думали, что мы, жители Юга, нежнее вас, русских!

Мы пошли далее. Минут через десять нас

догнала та самая девушка, которая из villa Remondi вышла на помощь к Антонио. Она и теперь к нему обратилась и долго с ним говорила вполголоса. Я заметил, что она с трудом удерживалась от слез.

— Что она тебе сказала? — спросил его Владимир, когда девушка удалилась.

— Бедная Пепина, — отвечал Антонио, — просит меня, чтобы я через отца моего выхлопотал прощение ее брату. Она говорит, что уже несколько раз ко мне приходила, но никогда меня не заставала дома.

— А кто ее брат? — спросил я.

— Какой-то контрабандист, по имени Титта.

— А как фамилия этой девушки?

— Каннелли. Но что тебе до этого?

— Титта Каннелли! — воскликнул я и вспомнил аббата и рассказ его про старого Урджина. Воспоминание это очень неприятно на меня подействовало. Все, что я тогда считал выдумками, бреднями или плутовством каких-нибудь мошенников, теперь в воображении моем приняло характер страшной истины, и я бы непременно воротился, если б

мне не было стыдно. Я сказал своим товарищам, что уже прежде слышал о Титта Каннелли, и мы продолжали идти. Вскоре в стороне показался свет лампы. Она освещала одну из тех часовен, которых так много в северной Италии и которые служат хранилищем человеческих костей. Я всегда имел отвращение от этого рода часовен, где в симметрическом порядке и как будто в насмешку расставлены и развешаны узорами печальные останки умерших. Но в этот вечер я почувствовал невольный страх, когда мимоходом заглянул за железную решетку. Я ничего, однако, не сказал, и мы молча дошли до виллы Urgina.

Нам было очень легко влезть на утес и оттуда посредством веревки спуститься в слуховое окно. Там мы зажгли одну из принесенных с собою свеч и, нашедши проход из-под крыши в верхний этаж, очутились в просторной зале, убранной по-старинному. Несколько картин, представлявших мифологические предметы, развешаны были на стенах, мебели обтянуты шелковой тканью, а пол составлен из разноцветного мрамора. Мы прошли пять или шесть подобных покоев; в одном из

них увидели маленькую лестницу и спустились по ней в большую комнату со старинной кроватью под золоченым балдахином. На столе, возле кровати, была гитара, на полу лежали дребезги от каменной доски. Я поднял один из этих обломков и увидел на нем странные, непонятные знаки.

— Это должна быть спальня старого дон Пьетро, — сказал Антонио, приблизив свечу к стене. — Вот та фигура, о которой тебе говорил аббат!

В самом деле, между дверью, ведущей на узкую лестницу, и кроватью виден был фреск, представляющий женщину необыкновенной красоты, играющую на гитаре.

— Как она похожа на Пепину, — сказал Владимир, — я бы это принял за ее портрет!

— Да, — отвечал Антонио, — черты лица довольно схожи, но у Пепины совсем другое выражение. У этой в глазах что-то такое зверское, несмотря на ее красоту. Заметь, как она косится на пустую кровать; знаешь ли что, мне, при взгляде на нее, делается страшно!

Я ничего не говорил, но вполне разделял чувство Антонио.

Комната возле спальни была большая круглая зала с колоннами, а примыкавшие к ней с разных сторон покои были все прекрасно убраны и обтянуты гобеленами, почти как на даче у Сугробиной, только еще богаче. Везде отсвечивали большие зеркала, мраморные столы, золоченые карнизы и дорогие материи. Гобелены представляли сюжеты из мифологии и из Ариостова Orlando. Здесь Парис сидел в недоумении, которой из трех богинь вручить золотое яблоко, а там Ангелика с Медором обнимались под тенистым деревом, не замечая грозного рыцаря, выглядывающего на них из-за кустов.

Пока мы осматривали старинные ткани, оживленные красноватым отблеском свечи, остальные части комнаты терялись в неопределенном мраке, и когда я нечаянно поднял голову, то мне показалось, что фигуры на потолке шевелятся и что фантастические формы их отделяются от потолка и, сливаясь с темнотою, исчезают в глубине залы.

— Я думаю, мы теперь можем лечь спать, — сказал Владимир, — но чтобы уже все сделать по порядку, то вот мой совет: ля-

жем в трех разных комнатах и завтра поутру расскажем друг другу, что с нами случится в продолжение ночи.

Мы согласились. Мне, как предводителю экспедиции, дали спальню дон Пьетро; Владимир и Антонио расположились в двух отдаленных комнатах, и вскоре во всем доме воцарилась глубокая тишина.

Здесь г. Рыбаренко остановился и, обращаясь к Руневскому, сказал:

— Я вас, может быть, утомляю, любезный друг, теперь уже поздно, не хочется ли вам спать?

— Нисколько, — отвечал Руневский, — Вы меня обяжете, если будете продолжать.

Рыбаренко немного помолчал и продолжал следующим образом:

— Оставшись один, я разделся, осмотрел свои пистолеты, лег в старинную кровать; под богатый балдахин, накрыл себя штофным одеялом и готовился потушить свечу, как дверь медленно отворилась и вошел Владимир. Он поставил свечу свою на маленький комод возле кровати и, подошедши ко мне, сказал:

— Я целый день не нашел случая поговорить с тобой о наших делах. Антонио уже спит; мы можем немного поболтать, и я опять уйду дожидаться приключений. Я тебе еще не сказывал, что получил письмо от матушки. Она пишет, что обстоятельства ее непременно требуют моего присутствия. Поэтому я не думаю, что проведу с тобою зиму во Флоренции.

Известие это меня крайне огорчило. Владимир тоже казался невесел. Он сел ко мне на постель, прочитал мне письмо, и мы долго разговаривали о его семейных делах и о наших взаимных намерениях. Пока он говорил, меня несколько раз в нем поражало что-то странное, но я не мог дать себе отчета, в чем именно оно состояло. Наконец он встал и сказал мне растроганным голосом:

— Меня мучит какое-то предчувствие; кто знает, увидимся ли мы завтра? Обними меня, мой друг... может быть, в последний раз!

— Что с тобой! — сказал я, засмеявшись, — с которых пор ты веришь предчувствиям?

— Обними меня! — продолжал Владимир, необыкновенным образом возвыся голос.

Черты лица его переменялись, глаза налились кровью и горели, как уголья. Он простер ко мне руки и хотел меня обнять.

— Поди, поди, Владимир, — сказал я, скрывая свое удивление, — дай Бог тебе уснуть и забыть свои предчувствия!

Он что-то проворчал сквозь зубы и вышел. Мне показалось, что он странным образом смеется; но я не был уверен, его ли я слышу голос или чужой.

Между тем глаза мои мало-помалу сомкнулись, и я заснул. Не знаю, что я увидел во сне, но, вероятно, это было что-нибудь страшное, ибо я вскоре с испугом проснулся и начал протирать глаза. В ушах моих раздавались аккорды гитары, и я сначала думал, что звуки эти не что иное, как продолжение моего сновидения; но кто опишет мой ужас, когда между моею кроватью и стеною я увидел женщину — фреску, вперившую в меня какой-то страшный, нечеловеческий взгляд. В одной руке держала она гитару, другою трогала струны. Ужас мною овладел, я схватил со стола пистолет и только что хотел в нее выстрелить, как она уронила гитару и упала на коле-

ни. Я узнал Пепину.

— Пощадите меня, синьор, — кричала бедная девушка, — я ничего не хотела у вас украсть; будьте милосерды, не убивайте меня!

Мне очень было стыдно, что я в глазах ее обнаружил свой страх, и я всячески старался ее успокоить, спросив ее, однако, зачем она ко мне пришла и чего от меня хочет?

— Ах, — отвечала Пепина, — после того как я догнала синьора Антонио и с ним говорила, я тихонько пошла за вами и видела, что вы влезли в окно. Но я знала другой вход, ибо этот дом служит иногда убежищем брату моему Титта, об котором вы, верно, слышали. Я из любопытства пошла за вами и когда хотела воротиться, то увидела, что в торопливости захлопнула за собою потаенную дверь и что мне невозможно выйти. Я пришла к вам в комнату и, не смея вас разбудить, стала играть на гитаре, чтобы вы проснулись. Ах, не сердитесь на меня; любовь к моему брату заставила меня вас беспокоить. Я знаю, что вы друг синьора Антонио, так спасите, если можете, моего брата! Я вам клянусь всем, что до-

рого моему сердцу, он давно хочет сделаться честным человеком; но если его будут преследовать, как дикого зверя, он поневоле останется разбойником, убийствами отяготит свою душу и погубит себя навсегда! О, достаньте ему прощение, умоляю вас, на коленях умоляю вас, сжальтесь над его раскаянием, сжальтесь над его бедною сестрою!

И, говоря это, она обнимала мои колена, и крупные слезы катились по ее щекам. Огненного цвета лента, опоясывавшая ее голову, развязалась, и волосы, извиваясь как змеи, упали на ее плечи. Она так была прекрасна, что в эту минуту я забыл о своем страхе, о вилле Urgina и об ее преданиях. Я вскочил с кровати, и уста наши соединились в долгий поцелуй. Знакомый голос в ближней зале нас пробудил.

— С кем ты там, Пепина? — сказал кто-то, отворяя дверь.

— Ах, это мой брат! — вскричала девушка и, вырвавшись из моих объятий, убежала прочь.

В комнату вошел человек в плаще и в шляпе с черным пером. Увидя меня, он остано-

вился, и каково было мое удивление, когда, взглядевшись в черты его лица, я в нем узнал моего аббата!

— А, это вы, signor Russo! — сказал он, за-тыкая за пояс большой пистолет, которым готовился меня приветствовать. — Добро пожаловать! Не удивляйтесь перемене моего одеяния. Вы меня видели аббатом, в другой раз вы меня увидите ветурином или трубочистом. Увы, я до тех пор должен скрываться, пока не получу прощенья от правительства!

Сказав это, Титта Каннелли глубоко вздохнул; потом, приняв веселый вид, подошел ко мне и ударил меня по плечу.

— Я вас нарочно, — сказал он, — зазвал в виллу друга моего дон Пьетро для небольшо-го дельца. Я нуждаюсь в деньгах, а у меня здесь спрятано множество дорогих вещей, между прочим целый ящик колец, ожерелий, серег и браслет. За все я с вас возьму только семьдесят семь наполеонов. — Он нагнулся под мою кровать, вытащил оттуда большой ящик, и я увидел кучу золотых уборов, один прекраснее другого. Несколько фермуаров были украшены самыми редкими камнями, и

все работало с таким вкусом, как я никогда еще не видывал. Цена, которую он требовал, мне показалась очень необыкновенною, и хотя она очевидно доказывала, что эти вещи достались ему даром, но теперь было не время входить в разбирательство; к тому ж Пепинин брат, стоя между моим оружием и мною, так красноречиво играл своим пистолетом, что я почел за нужное тотчас согласиться и, раскрыв свой кошелек, нашел в нем ровно семьдесят семь наполеонов, которые отдал разбойнику.

— Благодарю вас, — сказал он, — вы сделали доброе дело! Теперь мне только остается предупредить вас, что, если вы вздумаете открыть полиции, откуда вы получили эти вещи, я вам непременно размозжу голову. Желаю вам покойной ночи.

Он мне дружески пожал руку и исчез так скоро, что я не мог видеть, куда он скрылся. Я только слышал, как в стене повернулись потаенные петли, и потом все погрузилось в молчание. Взоры мои нечаянно упали на изображение на стене, и я невольно вздрогнул. Мне опять показалась, что это была не

Пепина, а нарисованная женщина, которая несколько минут тому назад выступила из стены и которую я целовал. Я стал сожалеть, что в то время не догадался посмотреть на стену, чтобы увидеть, там ли она или нет. Но я превозмог свою боязнь и принялся шарить в ящике. Между разными цепочками, флакончиками и прочими вещами нашел я одну склянку рококо, величиною с большое яблоко и оправленную в золото с необыкновенным вкусом. Работа была так нежна, что я, боясь, чтобы склянка не исцарапалась в ящике, тщательно завернул ее в платок и поставил подле себя на стол. Потом, закрыв ящик, л опять лег и вскоре заснул. Во сне я всю ночь видел Пепину и женщину-фреск, и часто, среди самых приятных картин моего воображения, я вскакивал в страхе и опять засыпал. Меня также беспокоило какое-то болезненное чувство в шее. Я думал, что простудился на сквозном ветру. Когда я проснулся, солнце уже было высоко, и я, наскоро одевшись, спешил отыскать своих товарищей.

Антонио лежал в бреду. Он, как сумасшедший, махал руками и беспрестанно кричал:

— Оставьте меня! Разве я виноват, что Венера — прекраснейшая из богинь? Парис человек со вкусом, и я его непременно сделаю совестным судьей в Пекине, как скоро въеду в свое Китайское государство на крылатом грифоне!

Я употреблял все силы, чтобы привести его в себя, как вдруг дверь отворилась, и Владимир, бледный, расстроенный, вбежал в комнату.

— Как, — вскричал он радостно, увидев Антонио, — он жив? я его не убил? Покажи, покажи, куда я его ранил?

Он бросился осматривать Антонио; но раны нигде не было видно.

— Вот видишь, — сказал Антонио, — я тебе говорил, что бог Пан так же искусно играет на свирели, как и стреляет из пистолета.

Владимир не переставал щупать Антонио и наконец, удостоверившись, что он жив и не ранен, вскричал с восторгом:

— Слава Богу, я его не убил, это был только дурной сон!

— Друзья мои, — говорил я, — ради Бога, объяснитесь, я ничего не могу понять!

Наконец мне и Владимиру удалось привести Антонио в память; но он так был слаб, что я ничего не хотел у него спрашивать, а попросил Владимира, чтобы он нам рассказал, что с ним случилось ночью.

— Вошедши в свою комнату, — сказал Владимир, — я воткнул свечу в один из ветвистых подсвечников, которые, как огромные пауки, держались на золотой раме зеркала, и тщательно осмотрел свои пистолеты. Мне удалось отворить заколоченную ставню, и с неизъяснимым удовольствием я стал дышать чистым воздухом ночи. Все вокруг меня было тихо. Луна была уже высоко, а воздух так прозрачен, что я мог различать все изгибы самых отдаленных гор, между которыми башня замка Baradello величественно подымала голову. Я погрузился в размышления и уже около получаса смотрел на озеро и на горы, как легкий шорох за моими плечами заставил меня оглянуться. Свеча очень нагорела, и я сначала ничего не мог различить, но, взглядевшись хорошенько в темноту, я увидел в дверях большую белую фигуру.

Кто там? — закричал я. Фигура испустила

жалобный вопль я, как будто на невидимых колесах, приблизилась ко мне. Я никогда не видал лица страшнее этого. Привидение подняло обе руки, как бы желая завернуть меня в свое покрывало. Я не знаю, что я почувствовал в эту минуту, но в руке моей был пистолет, раздался выстрел, и призрак упал на землю, закричав: Владимир! что ты делаешь? я Антонио! Я бросился его подымать, но пуля пролетела ему сквозь грудь, кровь била фонтаном из раны, он хрипел, как умирающий.

Владимир, — сказал он слабым голосом, — я хотел испытать твою храбрость, ты меня убил; прости мне, как я тебе прощаю!

Я начал кричать, ты прибежал на мой крик; мы оба перенесли Антонио в его комнату.

— Что ты говоришь? — прервал я Владимира, — я всю ночь не выходил из спальни. После того как ты мне прочитал письмо твоей матери и от меня ушел, я остался в постели и ничего не знаю про Антонио. К тому ж ты видишь, что он жив и здоров, стало быть, ты все это видел во сне!

— Ты сам говоришь во сне! — отвечал с до-

садою Владимир, — никогда я к тебе не приходил и не читал тебе никакого письма от матушки!

Тут Антонио встал со стула и к нам подошел.

— О чем вы спорите? — сказал он. — Вы видите, что я жив. Клянусь честью, что я никогда и не думал стращать Владимира. Впрочем, мне и не до того было. Когда я остался один, я, так же как Владимир, сначала осмотрел свои пистолеты. Потом я лег на диван, и глаза мои невольно устремились на расписанный потолок и высокие карнизы, украшенные золотыми арабесками. Звери и птицы странным образом сплетались с цветами, фруктами и разного рода узорами. Мне показалось, что узоры эти шевелятся, и, чтобы не дать воли своему воображению, я встал и начал прохаживаться по зале. Вдруг что-то сорвалось с карниза и упало на пол. Хотя в зале так было темно, что я ничего не увидел, но я рассудил по звуку, что упавшее тело было мягкое, ибо оно совсем не произвело стуку, а только глухой шум. Через несколько времени я услышал за собою шаги, как будто животное-

го. Я оглянулся и увидел золотого грифона величиною с годовалого теленка. Он смотрел на меня умными глазами и повертывал своим орлиным носом. Крылья его были подняты, и концы их свернуты в кольца. Вид его меня удивил, но не испугал. Однако, чтобы от него избавиться, я на него закричал и притопнул ногою. Грифон поднял одну лапу, опустил голову и, пошевелив ушами, сказал мне человеческим голосом: Напрасно вы беспокоитесь, синьор Антонио; я вам не сделаю никакого вреда. Меня нарочно прислал за вами хозяин, чтобы я вас отвез в Грецию. Наши богини опять поспорили за яблоко. Юноша уверяет, что Парис только потому отдал его Венере, что она обещала ему Елену. Минерва тоже говорит, что Парис покривил душой, и обе они обратились с жалобою к старику; а старик им сказал: пусть вас рассудит синьор Антонио. Теперь, если вам угодно, садитесь на меня верхом, я вас мигом привезу в Грецию.

Мысль эта мне так показалась забавна, что я уже подымал ногу, чтобы сесть на грифона, но он меня остановил. Каждая земля, — сказал он, — имеет свои обычаи. Все над вами бу-

дут смеяться, если вы приедете в Грецию в сюртуке. — А как же мне ехать? — спросил я. Не иначе, как в национальном костюме: разденьтесь донага и обдрапируйтесь плащом. Все боги и даже богини точно так одеты. Я послушался грифона и сел к нему на спину. Он пустился бежать рысью, и мы долго ехали по разным коридорам, через длинные ряды комнат, спускались и подымались по лестницам и наконец прибыли в огромную залу, освещенную розовым светом. Потолок залы был расписан и представлял небо с летающими птицами и купидонами, а в конце ее возвышался золотой трон, и на нем сидел Юпитер. Это наш хозяин, дон Пьетро д'Урджина! — сказал мне грифон.

У ног трона протекала прозрачная река, и в ней купалось множество нимф и наяд, одна прекраснее другой. Реку эту, как я узнал после, называли Ладонем. На берегу ее росло очень много тростнику, у которого сидел аббат и играл на свирели. Это кто такой? — спросил я у грифона. Это бог Пан, — отвечал он. Зачем же он в сюртуке? — спросил я опять. Затем, что он принадлежит к духовно-

му сословию, и ему бы неприлично было ходить голым. — Но как же он может сидеть на берегу реки, в которой купаются нимфы? — Это для того, чтобы умерщвлять свою плоть; вы видите, что он от них отворачивается. — А для чего у него за поясом пистолеты? — Ох, — отвечал с досадою грифон, — вы слишком любопытны; почему я это знаю!

Мне показалось странным видеть в комнате реку, и я заглянул за китайские ширмы, из-за которых она вытекала. За ширмами сидел старик в напудренном парике и, по-видимому, дремал. Подошед к нему на цыпочках, я увидел, что река бежала из урны, на которую он опирался. Я начал его рассматривать с большим любопытством; но грифон подбежал ко мне, дернул меня за плащ и сказал мне на ухо:

Что ты делаешь, безрассудный? Ты разбудишь Ладона, и тогда непременно сделается наводнение. Ступай прочь, или мы все погибнем! Я отошел. Мало-помалу зала наполнилась народом. Нимфы, дриады, ореады прогуливались между фавнами, сатирами и пастухами. Няяды вышли из воды и, накинув на се-

бя легкие покрывала, стали также с ними прохаживаться. Боги не ходили, а чинно сидели с богинями возле Юпитерова трона и смотрели на гуляющих. Между последними заметил я одного человека в домино и в маске, который ни на кого не обращал внимания, но которому все давали место. Это кто? — спросил я у грифона. Грифон очевидно смешался. Это так, кто-нибудь! — отвечал он, поправляя носом свои перья, — не обращайтесь на него внимания! Но в эту минуту к нам подлетел красивый попугай и, сев ко мне на плечо, проговорил гнусливым голосом:

Дуррак, дуррак! ты не знаешь, кто этот человек? Это наш настоящий хозяин, и мы его почитаем более, нежели дон Пьетро! Грифон с сердцем посмотрел на попугая и значительно мигнул ему одним глазом, но тот уже слетел с моего плеча и исчез в потолке между купидонами и облаками.

Вскоре в собрании сделалась суматоха. Толпа расступилась, и я увидел молодого человека в фригийской шапке, с связанными руками, которого вели две нимфы. Парис! — сказал ему Юпитер или дон Пьетро д'Урджи-

на (как называл его грифон), — Парис! говорят, что ты золотое яблоко несправедливо присудил Венере. Смотри, ведь я шутить не люблю. Ты у меня как раз полетишь вверх ногами! — О могущий громовержец! — отвечал Парис, — клянусь Стиксом, я судил по чистой совести. Впрочем, вот синьор Антонио; он, я знаю, человек со вкусом. Вели ему произвести следствие; и если он не точно так решит, как я, то я согласен полететь вверх ногами! — Хорошо! — сказал Юпитер, — быть по-твоему!

Тут меня посадили под лавровое дерево и дали мне в руки золотое яблоко. Когда ко мне подошли три богини, свирель аббата зазвучала сладостнее прежнего, тростник реки Ладона тихонько закачался, множество блестящих птичек вылетели из его середины, и песни их были так жалобны, так приятны и странны, что я не знал; плакать ли мне или смеяться от удовольствия. Между тем старик за ширмами, вероятно, пробужденный песнями птичек и гармоническим шумом тростника, начал кашлять и произнес слабым голосом и как будто впросонках: О Сиринга! о дочь моя!

Я совсем забылся, но грифон очень больно

ущипнул меня за руку и сердито сказал мне: Скорей за дело, синьор Антонио! Богини вас ждут; решайте, пока старик не проснулся! Я превозмог сладостное волнение, увлекшее меня далеко от виллы Urgina в неведомый мир Цветов и звуков, и, собравшись с мыслями; устремил глаза на трех богинь. Они сбросили с себя покрывала. О мои друзья! как вам описать, что я тогда почувствовал! Какими словами дать вам понятие об остром летучем огне, который в одно мгновение пробежал по всем моим жилам! Все мои чувства смутились, все понятия перемешались, я забыл о вас, о родных, о самом себе, обо всей своей прошедшей жизни; я был уверен, что я сам Парис и что мне предоставлено великое решение, от которого пала Троя. В Юноне я узнал Пепину, но она была сто раз прекраснее, нежели когда она вышла ко мне на помощь из виллы Remondi. Она держала в руках гитару и тихонько трогала струны. Она так была обворожительна, что я уже протягивал руку, чтобы вручить ей яблоко, но, бросив взгляд на Венеру, внезапно переменил намерение. Венера, сложив небрежно руки и при-

клонив голову к плечу, смотрела на меня с упреком. Взоры наши встретились, она покраснела и хотела отвернуться, но в этом движении столько было прелести, что я, не колеблясь, подал ей яблоко.

Парис восторжествовал; но человек в домино и в маске подошел к Венере и, вынув из-под полы большой бич, начал немилосердно ее хлыстать, приговаривая при каждом ударе: Вот тебе, вот тебе; вперед знай свою очередь и не кокетничай, когда тебя не спрашивают; сегодня не твой день, а Юнонин; не могла ты подождать? вот же тебе за то, вот тебе, вот тебе! Венера плакала и рыдала, но незнакомец не переставал ее бить и, обратившись к Юпитеру, сказал: Когда я с ней расправлюсь, то и до тебя дойдет очередь, проклятый старикашка! Тогда Юпитер и все боги соскочили с своих мест и бросились незнакомцу в ноги, жалобно вопия: Умилосердись, наш повелитель! В другой раз мы будем исправнее! Между тем Юнона или Пепина (я до сих пор не знаю, кто она была) подошла ко мне и сказала мне с очаровательной улыбкой: Не думай, мой милый друг, чтобы я была на тебя сердита за то,

что ты не мне присудил яблоко. Верно, так было написано в неисповедимой книге судьбы! Но чтобы ты видел, сколь я уважаю твое беспристрастие, позволь мне дать тебе поцелуй. Она обняла меня прелестными руками и жадно прижала свои розовые губы к моему щеку. В ту же минуту я почувствовал в ней сильную боль, которая, однако, тотчас прошла. Пепина так ко мне ласкалась, так нежно меня обнимала, что я бы вторично забылся, если бы крики Венеры не отвлекли от нее моего внимания. Человек в домино, запустив руку в ее волосы, продолжал ее сечь самым бесчеловечным образом. Жестокость его меня взорвала. Скоро ли ты перестанешь! — закричал я в негодовании и бросился на него. Но из-под черной маски сверкнули на меня невыразимым блеском маленькие белые глаза, и взгляд этот меня пронзил как электрический удар. В одну секунду все боги, богини и нимфы исчезли.

Я очутился в Китайской комнате, возле круглой залы. Меня окружила толпа фарфоровых кукол, фаянсовых мандаринов и глиняных китаек, которые с криком: Да здрав-

ствует наш император, великий Антонио-Фу-Цинг-Танг! — бросились меня щекотать. Напрасно я старался от них отделаться. Маленькие их ручонки влезали мне в нос и в уши, я хохотал как сумасшедший. Не знаю, как я от них избавился, но когда я очнулся, то вы оба, друзья мои, стояли подле меня. Стократ вас благодарю за то, что вы меня спасли!

И Антонио начал нас обнимать и целовать, как ребенок. Когда прошел его восторг, то я, обратившись к нему и к Владимиру, сказал им очень серьезно:

— Я вижу, друзья мои, что вы оба бредили нынешнюю ночь. Что касается до меня, то я удостоверился, что все чудесные слухи про этот palazzo не что иное, как выдумка контрабандиста Титта Каннелли. Я сам его видел и с ним говорил. Пойдем со мною, я вам покажу, что я у него купил.

С сими словами я пошел в свою спальню, Антонио и Владимир за мною последовали. Я открыл ящик, всунул в него руку и вытащил человеческие кости! Я их с ужасом отбросил и побежал к столу, на который накануне поставил склянку рококо. Развернув платок, я

остолбенел. В нем был череп ребенка. Пустой кошелек мой лежал подле него.

— Это ты купил у твоего контрабандиста? — спросили меня в один голос Антонио и Владимир.

Я не знал, что отвечать. Владимир подошел к окну и воскликнул с удивлением:

— Ах, Боже мой! где же озеро?

Я также подошел к окну. Передо мной была piazza Volta, и я увидел, что смотрю из окна чертова дома.

— Как мы сюда попали? — спросил я, обращаясь к Антонио. Но Антонио не мог мне отвечать. Он был чрезвычайно бледен, силы его покинули, и он опустился в кресла. Тогда я только заметил, что у него на шее маленькая синяя ранка, как будто от пиявки, но немного более. Я тоже чувствовал слабость и, подошел к зеркалу, увидел у себя на шее такую же ранку, как у Антонио. Владимир ничего не чувствовал, и ранки у него не было. На вопросы мои Владимир признался, что когда он выстрелил в белый призрак и потом узнал своего друга, то Антонио умолял его, чтобы он с ним в последний раз поцеловался; но Влади-

мир никак не мог на это решиться, потому что его пугало что-то такое во взгляде Антонио.

Мы еще рассуждали о наших приключениях, как кто-то сильно стал стучаться в ворота. Мы увидели полицейского офицера с шестью солдатами.

— Господа! — кричал он снаружи, — отворите ворота; вы арестованы от имени правительства!

Но ворота были так крепко заколочены, что их принуждены были сломать. Когда офицер вошел в комнату, мы его спросили, за что мы арестованы?

— За то, — отвечал он, — что вы издеваетесь над покойниками и нынешнюю ночь перетаскали все кости из Комской часовни. Один аббат, проходивший мимо, видел, как вы ломали решетку, и сегодня утром на вас донес.

Мы тщетно протестовали, офицер непременно хотел, чтобы мы шли за ним. К счастью, я увидел комского подесту (известного археолога R...i), с которым был знаком, и призвал его на помощь. Узнав меня и Антонио,

он очень перед нами извинялся и велел привести аббата, сделавшего на нас донос; но его нигде не могли отыскать. Когда я рассказал подесте, что с нами случилось, он нисколько не удивился, но пригласил меня в городской архив. Антонио был так слаб, что не мог за нами следовать, а Владимир остался, чтобы проводить его домой. Когда мы вошли в архив, подеста раскрыл большой *in folio* (книга большого формата) и прочитал следующее:

Сего 1679 года сентября 20-го дня казнен публично на городской площади разбойник *Girombatista Cannelli*, около двадцати лет с шайкою своею наполнявший ужасом окрестности Комо и Милана. Родом он из Комо, лет ему по собственному показанию 50. Пришедши на место казни, он не хотел приобщиться святых тайн и умер не как христианин, а как язычник.

Сверх того, подеста (человек во всех отношениях заслуживающий уважение и который скорее бы дал себе отрезать руку, нежели бы согласился сказать неправду) открыл мне, что чертов дом построен на том самом месте, где некогда находился языческий храм, посвя-

ценный Гекате и ламиям. Многие пещеры и подземельные ходы этого храма, как гласит молва, и поныне сохранились. Они ведут глубоко в недра земли, и древние думали, что они имеют сообщение с тартаром. В народе ходит слух, что ламии, или эмпузы, которые, как вам известно, имели много сходства с нашими упырями, и поныне еще бродят около посвященного им места, принимая всевозможные виды, чтобы заманивать к себе неопытных людей и высасывать из них кровь. Странно еще то, что Владимир через несколько дней в самом деле получил письмо от своей матери, в котором она его просила возвратиться в Россию.

Рыбаренко замолчал и опять погрузился в размышления.

— Что ж, — спросил его Руневский, — и вы не делали никаких розысканий о вашем приключении?

— Делал, — отвечал Рыбаренко. — Сколько я ни уважал подесту, но истолкование его мне не казалось вероятным.

— И что ж вы узнали?

— Пепина ничего не понимала, когда ее

спрашивали о брате ее Титта. Она говорила, что у нее никогда не бывало брата. На наши вопросы она отвечала, что она действительно вышла из виллы Remondi на помощь к Антонио, но что никогда она нас не догоняла и не просила Антонио, чтобы он выхлопотал прощение ее брату. Никто также ничего не знал о прекрасном дворце дон Пьетро между виллою Remondi и виллою d'Ests, и когда я нарочно пошел его отыскивать, я ничего не нашел. Происшествие это сделало на меня сильное впечатление. Я выехал из Комо, оставив Антонио больным. Через месяц я узнал в Риме, что он умер от изнеможения. Я сам так был слаб, как будто после сильной и продолжительной болезни; но наконец старания искусных врачей возвратили мне, хотя не совсем, потерянное здоровье.

Прожив еще год в Италии, я возвратился в Россию и вступил в круг своих прежних занятий. Я работал с усердием, и труды мои меня развлекали; но каждое воспоминание о пребывании моем в Комо приводило меня в содрогание. Поверите ли вы мне, что я и теперь часто не знаю, куда мне деваться от этого вос-

поминания! Оно повсюду меня преследует, как червь подтачивает мой рассудок, и бывают минуты, что я готов лишиться себя жизни, чтобы только избавиться от его присутствия! Я бы ни за что не решился об этом говорить, если бы не думал, что рассказ мой вам послужит предостережением. Вы видите, что похождения мои несколько похожи на то, что с вами случилось на даче у старой бригадирши. Ради Бога, берегитесь, любезный друг, а особенно не вздумайте шутить над вашим приключением.

Пока Рыбаренко говорил, заря уже начала освещать горизонт.

Сотни башен, колоколен и позолоченных глав заиграли солнечными лучами. Свежий ветер повеял от востока, и громкий, полновзвучный удар в колокол раздался на Иване Великом. Ему отвечали, один после другого, все колокола соборов кремлевских, потом всех московских церквей. Пространство наполнилось звуком, который, как будто на незримых волнах, колебался, разливаясь по воздуху. Москва превратилась в необъятную гармонику.

В это время странное чувство происходило в груди Руневского. С благоговением внимал он священному звону колоколов, с любовью смотрел на блестящий мир, красующийся перед ним. Он видел в нем образ будущего счастья и чем более увлекался этою мыслью, тем более страшные видения, вызванные из мрака рассказами Рыбаренки, бледнели и исчезали.

Рыбаренко также был погружен в размышления, но глубокая грусть омрачала его лицо. Он был смертельно бледен и не сводил глаз с Ивана Великого, как будто бы желал измерить его высоту.

— Пойдем, — сказал он наконец Руневскому, — вам нужно отдохнуть!

Они оба встали со скамьи, и Руневский, простившись с Рыбаренкой, отправился домой.

Когда он вошел в дом Дашиной тетушки, Федосьи Акимовны Зориной, то и она и дочь ее, Софья Карповна, приняли его с большою приветливости. Но обхождение матери тотчас с ним переменилось, как скоро он объявил, зачем к ней приехал.

— Как, — вскричала она, — что это значит? а Софья-то? Разве вы для того так долго ездили в мой дом, чтобы над нею смеяться? Позвольте вам сказать: после ваших посещений, после всех слухов, которыми наполнен город о вашей женитьбе, поведение это мне кажется чрезвычайно странным! Как, милостивый государь? обнадежив мою дочь, когда уже все ее считают невестой, вы вдруг сватаетесь к Другой и просите ее руки — у кого же? у меня, у матери Софьи!

Слова эти как гром поразили Руневского. Он только теперь догадался, что Зорина давно уже на него метила как на жениха для своей Дочери, а вовсе не для племянницы, и в то же время понял ее тактику.

Пока еще она питала надежду, все ее действия были рассчитаны, чтобы удержать Руневского в кругу ее общества, она старалась отгадывать и предупреждать все его желания; но теперь, при неожиданном требовании, она решилась прибегнуть к последнему средству и чрез трагическую сцену надеялась вынудить у него обещание. К несчастью своему, она ошиблась в расчете, ибо Руневский

весьма почтительно и холодно отвечал ей, что он никогда и не думал жениться на Софье Карповне, что он приехал просить руки Даши и надеется, что она не имеет причин ему отказать. Тогда Дашина тетушка позвала свою дочь и, задыхаясь от злости, рассказала ей, в чем дело. Софья Карповна не упала в обморок, но залилась слезами, и с ней сделалась истерика.

— Боже мой, Боже мой, — кричала она, — что я ему сделала? За что хочет он убить меня? Нет, я не снесу этого удара, лучше тысячу раз умереть! Я не могу, я не хочу теперь жить на свете!

— Вот в какое положение вы привели бедную Софью, — сказала ему Зорина. — Но это не может так остаться!

Софья Карповна так искусно играла свою роль, что Руневскому стало ее жалко.

Он хотел отвечать, но ни матери, ни Софьи Карповны уже не было в комнате. Подождав несколько времени, он отправился домой с твердым намерением не прежде возвратиться на дачу к бригадирше, как попытавшись еще раз получить от Дашиной тетушки удо-

влетворительный ответ.

Он сидел у себя задумавшись, когда ему пришли доложить, что ротмистр Зорин желает с ним говорить. Он приказал просить и увидел молодого человека, коего открытое и благородное лицо предупреждало в его пользу. Зорин был родной брат Софьи Карповны; но так как он только что приехал из Тифлиса, то Руневский никогда его не видал и не имел об нем никакого понятия.

— Я пришел с вами говорить о деле, касающемся до нас обоих, — сказал Зорин, учтиво поклонившись.

— Прошу садиться, — сказал Руневский.

— Два месяца тому назад вы познакомились с моею сестрою, начали ездить в дом к матушке, и скоро распространились слухи, что вы просите руки Софьи.

— Не знаю, распространились ли эти слухи, — прервал его Руневский, — но могу вас уверить, что не я был тому причиной.

— Сестра была уверена в вашей любви, и с самого начала обхождение ваше с нею оправдывало ее предположения. Вам удалось внушить ей участие, и она вас полюбила. Вы

даже с нею объяснились...

— Никогда! — воскликнул Руневский.

Глаза молодого Зорина засверкали от негодования.

— Послушайте, милостивый государь, — вскричал он, выходя из пределов холодной учтивости, в которых сначала хотел остаться, — Вам, верно, неизвестно, что когда я еще был на Кавказе, то Софья мне об вас писала; от нее я знаю, что вы обещали просить ее руки, и вот ее письма!

— Если Софья Карповна в них это говорит, — отвечал Руневский, не дотрагиваясь до писем, которые Зорин бросил на стол, — то я сожалею, что должен опровергнуть ее слова. Я повторяю вам, что не только никоцца не хотел просить ее руки, но и не давал ей малейшего повода думать, что я ее люблю!

— Итак, вы не намерены на ней жениться?

— Нет. И доказательством тому, что я нарочно приехал в Москву просить у вашей матушки руки ее племянницы.

— Довольно. Я надеюсь, что вы не откажете мне в удовлетворении за оскорбление, которое нанесли моему семейству.

— Я всегда к вашим услугам, но прежде прошу вас обдумать ваш поступок. Может быть, при хладнокровном размышлении, вы убедитесь, что я никогда и не помышлял наносить оскорблений вашему семейству.

Молодой ротмистр бросил гордый взгляд на Руневского.

— Завтра в пять часов я вас ожидаю на Владимирской дороге, на двадцатой версте от Москвы, — сказал он сухо.

Руневский поклонился в знак согласия.

Оставшись один, он начал заниматься приготовлениями к следующему утру. У него мало было знакомых в Москве; к тому ж почти все были на дачах; итак, не удивительно, что выбор его пал на Рыбаренку.

На другой день, в три часа утра, он и Рыбаренко уже ехали по Владимирской дороге и на условленном месте нашли Зорина с его секундантом.

Рыбаренко подошел к Зорину и взял его за руку.

— Владимир, — сказал он, сжав ее крепко, — ты не прав в этом деле: помирись с Руневским! Зорин отвернулся.

— Владимир, — продолжал Рыбаренко, — не шути с судьбою, вспомни виллу Урджина!

— Полно, братец, — сказал Владимир, освобождая свою руку из рук Рыбаренки, — теперь не время говорить о пустяках!

Они углубились в кустарник.

Секундант Зорина был маленький офицер с длинными черными усами, которые он крутил непрерывно. С самого начала лицо его показалось Руневскому знакомым; но когда, размеряя шаги для барьера, маленький офицер начал особенным родом подпрыгивать, Руневский тотчас узнал в нем Фрышкина, того самого, над которым Софья Карповна так смеялась на бале, где Руневский с ней познакомился.

— Друзья мои, — сказал Рыбаренко, обращаясь к Владимиру и к Руневскому, — помиритесь, пока еще можно; я чувствую, что один из вас не воротится домой!

Но Фрышкин, приняв сердитый вид, подскочил к Рыбаренке.

— Позвольте объяснить, — сказал он, уставив на него большие красные глаза, — здесь оскорбление нестерпимое-с... примирение

невозможно-с... здесь обижено почтенное семейство-с, весьма почтенное-с... я до примирения не допущу-с... а если бы приятель мой Зорин и согласился; то я сам, Егор Фрышкин, буду стреляться вместо его-с!

Оба противника уже стояли один против другого. Вокруг их царствовала страшная тишина, прерванная на одну секунду щелканьем курков.

Фрышкин не переставал горячиться; он был красен как рак.

— Да, — кричал он, — я сам хочу стреляться с господином Руневским-с! Если приятель мой Зорин его не убьет, так я его убью-с!

Выстрел прервал его речь, и от головы Владимира отлетел клочок черных кудрей. Почти в ту же минуту раздался другой выстрел, и Руневский грянулся на землю с окровавленной грудью. Владимир и Рыбаренко бросились его поднимать и перевязали его рану. Пуля пробила ему грудь; он был лишен чувств.

— Это твое видение в вилле Урджина! — сказал Рыбаренко на ухо Владимиру. — Ты убил друга.

Руневского перенесли в коляску, и так как

дом бригадирши был самый ближний и хозяйка всем известна как добрая и человеколюбивая старушка, то его отвезли к ней, несмотря на сопротивление Рыба-ренки.

Долго Руневский пролежал без памяти. Когда он начал приходить в себя, первое, что ему бросилось в глаза, был портрет Прасковьи Андреевны, висящий над диваном, на котором он лежал. В нише стояла старинная кровать с балдахином, а посреди стены виден был огромный камин.

Руневский узнал свою прежнюю квартиру, но он никак не мог понять, каким образом в нее попал и отчего он так слаб. Он захотел встать, но сильная боль в груди удержала его на диване, и он стал вспоминать свои похождения до поединка. Он также вспомнил, как дрался с Зориным, но не знал, когда это было и сколько времени продолжался его обморок. Пока он размышлял о своем положении, вошел незнакомый доктор, осмотрел его рану и, пощупав пульс, объявил, что у него лихорадка. Ночью несколько раз приходил Яков и давал ему лекарство.

Таким образом прошло несколько дней, в

продолжение коих он никого не видал, кроме доктора и Якова. С этим последним он иногда разговаривал о Дарье Александровне; но он мог от него только узнать, что Даша еще находилась у своей бабушки и что она совершенно здорова. Доктор, посещая Руневского, говорил, что ему нужно как можно более спокойствия, и на вопрос его, скоро ли ему можно будет встать, отвечал, что он еще должен пролежать, по крайней мере, неделю. Все это еще более усилило беспокойство и нетерпение Руневского, и лихорадка его, вместо того чтобы уменьшиться, значительно увеличилась.

В одну ночь, когда сильный жар никак не давал ему заснуть, странный шум раздался близ него. Он стал прислушиваться, и ему показалось, что шум этот происходит в покоях, смежных с его комнатою. Вскоре он начал различать голоса бригадирши и Клеопатры Платоновны.

— Подождите хоть один день, Марфа Сергеевна, — говорила Клеопатра Платоновна, — подождите хоть до утра!

— Не могу, мать моя, — отвечала Сугроби-

на. — Да и ожидать-то к чему? Немного раньше, немного позже, а все тем же кончится. А ты, сударыня, уж всегда расхныкаешься, как девчонка какая. И в тот раз та же была история, как до Дашиной-то матери дело дошло. Какая бы я и бригадирша-то была, если б крови-то видеть не могла?

— Вы не хотите? — вскричала Клеопатра Платоновна, — вы не хотите один раз отказаться от...

— Рыцарь Амвросий! — закричала Сутробина.

Руневский не мог удержаться, чтобы при этих словах не привстать и не приложить глаза к ключевой дыре.

Среди комнаты стоял Семен Семенович Теляев, одетый с ног до головы в железные латы. Перед ним на полу лежал какой-то предмет, закрытый красным сукном.

— Чего тебе надобно, Марфа? — спросил он грубым голосом.

— Пора, мой батюшка! — прошептала старуха.

Тут Руневский заметил, что на бригадирше было платье яркого красного цвета, с вы-

шитою на груди большою черною летучею мышью. На латах Теляева изображен был филин, и на шлеме его торчали филиновы крылья.

Клеопатра Платоновна, коей черты обнаруживали ужасное внутреннее борение, подошла к стене и, сорвав с нее небольшую доску со странными, непонятными знаками, бросила ее на пол и разбила вдребезги.

Внезапно обои раздвинулись, и из потаенной двери вошел в комнату высокий человек в черном домино и в маске, при виде коего Руневский тотчас догадался, что это тот самый, которого видел Антонио в вилле дон Пьетро д'Урджина.

Сугробина и Теляев обмерли от страха, когда он вошел.

— Ты уж здесь? — сказала, дрожа, бригадирша.

— Пора! — отвечал незнакомец.

— Подожди хоть один день, подожди хоть до утра! Отец ты мой, кормилец, голубчик мой, благодетель!

Старуха упала на колени; лицо ее стало страшным образом кривляться.

— Не хочу ждать! — отвечал незнакомец.

— Еще хоть часочек! — простонала бригадирша. Она уже не говорила ни слова, но губы еще судорожно шевелились.

— Три минуты! — отвечал тот. — Воспользуйся ими, если можешь, старая ведьма!

Он подал знак Теляеву. Семен Семенович нагнулся, поднял с полу красное сукно, и Руневский увидел Дашу, лежащую без чувств, со связанными руками. Он громко вскрикнул и рванулся соскочить с дивана, но на него сверкнули маленькие белые глаза черного домино и пригвоздили его на месте. Он ничего более не видал; в ушах его страшно шумело; он не мог сделать ни одного движения. Вдруг холодная рука провела по его лицу, и оцепенение исчезло. За ним стояло привидение Прасковьи Андреевны и обмахивало себя опахалом.

— Хотите жениться на моем портрете? — сказала оно. — Я вам дам свое кольцо, и вы завтра его наденете моему портрету на палец. Не правда ли, вы это сделаете для меня?

Прасковья Андреевна обхватила его костяными руками, и он упал на подушки, лишен-

ный чувств.

Долго был болен Руневский, и почти все время он не переставал бредить. Иногда он приходил в себя, но тогда мрачное отчаянье блистало в его глазах. Он был уверен в смерти Даши; и хотя он ни в чем не был виноват, но проклинал себя за то, что не мог ее спасти. Лекарства, которые ему подносили, он с бешенством кидал далеко от себя, срывал перевязи с своей раны и часто приходил в такое иступление, что Яков боялся к нему подойти.

Однажды страшный пароксизм только что миновался, природа взяла верх над отчаяньем, и он неприметно погружался в благодетельный сон, как ему показалось, что он слышит голос Даши. Он раскрыл глаза, но в комнате не было никого, и он вскоре заснул крепким сном.

Во сне он был перенесен в виллу Урджина. Рыбаренко водил его по длинным залам и показывал ему места, где с ним случились те необыкновенные происшествя, которые он ему рассказывал. Сойдем вниз по этой лестнице, — говорил Рыбаренко, — я вам покажу ту залу, куда Антонио ездил на грифоне. Они

начали спускаться, но лестнице не было конца. Между тем воздух становился все жарче и жарче, и Руневский заметил, как сквозь щели стен по обеим сторонам лестницы время от времени мелькал красный огонь. Я хочу воротиться, — говорил Руневский, но Рыбаренко дал ему заметить, что, по мере того как они подвигались вперед, лестница за ними заваливалась огромными утесами. Нам нельзя воротиться, — говорил он, — надобно идти далее! И они продолжали сходить вниз. Наконец ступени кончились, и они очутились перед большою медною дверью. Толстый швейцар молча ее отворил, и несколько слуг в блестящих ливреях проводили их через переднюю; один лакей спросил, как об них доложить, и Руневский увидел, что у него из рта выходит огонь. Они вошли в ярко освещенную комнату, в которой толпа народа кружилась под шумную музыку. Далее стояли карточные столы, и за одним из них сидела бригадирша и облизывала свои кровавые губы; но Теляева не было с нею; вместо его напротив старухи сидело черное домино.

Ох! — вздыхала она, — скучно стало с этой

чучелой! Когда-то к нам будет Семен Семенович! — и длинная огненная струя выбежала из ее рта. Руневский хотел обратиться к Рыбаренке, но его уже не было; он находился один среди незнакомых лиц. Вдруг из той комнаты, где танцевали, вышла Даша и подошла к нему. Руневский, — сказала она, — зачем вы сюда пришли? Если они узнают, кто вы, то вам будет беда! Руневскому сделалось страшно, он сам не знал отчего. Следуйте за мной, — продолжала Даша, — я вас выведу отсюда, только не говорите ни слова, а то мы пропали. Он поспешно пошел за нею, но она вдруг воротилась. Пойдите, — сказала она, — я вам покажу наш оркестр! Даша подвела его к одной двери и, отворив ее, сказала: Посмотрите, вот наши музыканты. Руневский увидел множество несчастных, скованных цепями и объятых огнем. Черные дьяволы с козлиными лицами хлопотливо раздували огонь и барабанили по их головам раскаленными молотками. Вопли, проклятия и стук цепей сливались в один ужасный гул, который Руневский сначала принял за музыку. Увидев его, несчастные жертвы протянули к нему

длинные руки и завывли: К нам! ступай к нам! — Прочь, прочь! — закричала Даша и повлекла Руневского за собою в темный узкий коридор, в конце которого горела только одна лампа. Он слышал, как в зале все заколыхалось. Где он? где он? — блеяли голоса, — ловите его, ловите его! — За мной, за мной! — кричала Даша, и он, запыхаясь, бежал за нею, а позади их множество копыт стучало по коридору. Она отворила боковую дверь и, — втащив в нее Руневского, захлопнула за собою. Теперь мы спасены! — сказала Даша и обняла его холодными костяными руками. Руневский увидел, что это не Даша, а Прасковья Андреевна. Он громко закричал и проснулся. Возле его постели стояли Даша и Владимир.

— Я рад, — сказал Владимир, пожав ему руку, — что вы проснулись; вас тяготил неприятный сон, но мы боялись вас разбудить, чтоб вы не испугались. Доктор говорит, что наша рана не опасна, и никто ему за это так не благодарен, как я. Я бы никогда себе не простил, если б вы умерли. Простите же меня; я признаюсь, что погорячился!

— Любезный друг! — сказала Даша, улыба-

сь, — не сердись на Владимира; он предобрый человек, только немножко вспылчив. Ты его непременно полюбишь, когда с ним короче познакомишься!

Руневский не знал, верить ли ему своим глазам или нет. Но Даша стояла перед ним, он слышал ее голос, в первый раз она ему говорила ты. С тех пор как он был болен, воображение столько раз его морочило, что понятия его совершенно смешались, и он не мог различить обмана от истины. Владимир заметил его недоверчивость и продолжал:

— С тех пор как вы лежите в постеле, много произошло перемен. Сестра моя вышла замуж за Фрышкина и уехала в Симбирск; старая бригадирша... но я вам слишком много рассказываю; когда вам будет лучше, вы все узнаете!

— Нет, нет, — сказала Даша, — ему никогда не будет лучше, если он останется в недоумении. Ему надобно знать все. Бабушка, — продолжала она, обратившись со вздохом к Руневскому, — уже два месяца, как скончалась!

— Сама Даша, — прибавил Владимир, — была опасно больна и поправилась только

после смерти Сутробиною. Постарайтесь и вы поскорей выздороветь, чтобы нам можно было сыграть свадьбу!

Видя, что Руневский смотрит на них, ничего не понимая, Даша улыбнулась.

— Самое главное, — сказала она, — мы и забыли ему сказать: тетушка согласна на наш брак и меня благословляет!

Услыша эти слова, Руневский схватил Дашину руку, покрыл ее поцелуями, обнял Владимира и спросил его, точно ли они дрались?

— Я бы не думал, — отвечал, смеясь, Владимир, — что вы можете в этом сомневаться.

— Но за что ж мы дрались? — спросил Руневский.

— Признаюсь вам, я и сам не знаю, за что. Вы были совершенно правы, и сказать правду, я рад, что вы не женились на Софье. Скоро я сам увидел ее неоткровенность и дурной нрав, особенно когда узнал, что из мщения к вам она пересказала Фрышкину, как вы над ним смеялись; но тогда уже было поздно, и вы лежали в постеле с простреленною грудью. Не люблю я Софьи; но, впрочем, Бог с нею! Желая, чтобы она была счастлива с

Фрышкиным, а мне до нее нет дела!

— Как тебе не стыдно, Владимир, — сказала Даша, — ты забываешь, что она твоя сестра!

— Сестра, сестра! — прервал ее Владимир, — хороша сестра, по милости которой я чуть не убил даром человека и чуть не сделал несчастною тебя, которую люблю, уж верно, больше Софьи.

Еще месяца три протекли после этого утра. Руневский и Даша уже были обвенчаны. Они сидели вместе с Владимиром перед пылающим камином, и Даша, в красивом утреннем платье и в чепчике, разливала чай. Клеопатра Платоновна, уступившая ей эту должность, сидела молча у окошка и что-то работала. Взор Руневского нечаянно упал на портрет Прасковьи Андреевны.

— До какой степени, — сказал он, — воображение может овладеть человеческим рассудком! Если б я не был уверен, что во время моей болезни оно непростительным образом меня морочило, я бы поклялся в истине странных видений, связанных с этим портретом.

— История Прасковьи Андреевны в самом деле много имеет странного, — сказал Владимир. — Я никогда не мог добиться, как она умерла и кто был этот жених, пропавший так внезапно. Я уверен, что Клеопатра Платоновна знает все эти подробности, но не хочет нам их открыть!

Клеопатра Платоновна, до этих пор ни на кого не обращавшая внимания, подняла глаза, и лицо ее приняло выражение еще горестнее обыкновенного.

— Если бы, — сказала она, — смерть старой бригадирши не разрешала моей клятвы, а женитьба Руневского и Даши не разрушила страшной судьбы, обременявшей ее семейство, вы бы никогда не узнали этой ужасной тайны. Но теперь обстоятельства переменились, и я могу удовлетворить вашему любопытству. Я подозреваю, об каких видениях говорит господин Руневский, и могу его уверить, что в этом случае он не должен обвинять своего воображения.

Чтобы объяснить многие обстоятельства, для вас непонятные, я должна вам объявить, что Дашина бабушка, урожденная Островиче-

ва, происходит от древней венгерской фамилии, ныне уже угасшей, но известной в конце пятнадцатого столетия под именем Ostoroviczy. Герб ее был: черная летучая мышь в красном поле. Говорят, что бароны Ostoroviczy хотели этим означать быстроту своих ночных набегов и готовность проливать кровь своих врагов. Враги эти назывались Tellara и, чтоб показать свое преимущество над прадедами бригадирши, приняли в герб свой филина, величайшего врага летучей мыши. Другие утверждают, что филин этот намекает на происхождение фамилии Tellara от рода Тамерлана, который также имел в гербу своем филина.

Как бы то ни было, но обе фамилии вели беспрестанную войну одна с другою, и война эта долго бы не кончилась, если б измена и убийство не ускорили ее развязки. Марфа Ostoroviczy, супруга последнего барона этого имени, женщина необыкновенной красоты, но жестокого сердца, пленилась наружностью и воинскою славой Амвросия Tellara, прозванного Амвросием с широким мечом. В одну ночь она впустила его в замок и с его по-

мощью задушила мужа. Злодеяние ее, однако, не осталось без наказания, ибо рыцарь Амвросий, видя замок Ostoroviczy в своей власти, последовал голосу врожденной ненависти и, потопив в Дунае всех приверженцев своего врага, предал его замок огню. Сама Марфа с трудом могла спастись. Все эти обстоятельства подробно рассказаны в древней хронике фамилии Ostoroviczy, которая находится здесь в библиотеке.

Сказать вам, как и когда эта фамилия очутилась в России, я, право, не могу; но уверяю вас, что преступление Марфы было наказано почти на всех ее потомках. Многие из них уже в России умерли насильственной смертью, другое сошли с ума, а наконец, тетушка бригадирши, та самая, коей вы видите пред собою портрет, будучи невестою ломбардского дворянина Пьетро д'Урджина...

— Пьетро д'Урджина? — прервали Клеопатру Платоновну в один голос Руневский и Владимир.

— Да, — отвечала она, — жених Прасковьи Андреевны назывался Дон Пьетро д'Урджина. Хотя это было давно, но я его хорошо помню.

Он был человек уже не молодой и к тому же вдовец; но большие черные глаза его так горели, как будто бы ему было не более лет двадцати. Прасковья Андреевна была молодая девушка, и учтивые приемы Ловкого иностранца легко ее обворожили. Она страстно в него влюбилась. Мать ее не имела той ненависти ко всему иностранному, которую покойная бригадирша, может быть, лишь для того так часто обнаруживала, чтобы тем лучше скрыть свое собственное происхождение. Она желала выдать дочь за дон Пьетро, ибо он был богат, приехал с большою свитой и жил как владетельный князь. К тому же он обещался навсегда поселиться в России и уступить ломбардские свои имения сыну, находившемуся тогда в городе Комо.

Дон Пьетро привез с собою множество отличных художников. Архитекторы его выстроили этот дом, живописцы и ваятели украсили его с истинно италиянским вкусом. Но, несмотря на необыкновенную роскошь дон Пьетро, многие замечали в нем черты самой отвратительной скупости. Когда он проигрывал в карты, лицо его видимо изменялось, он

бледнел и дрожал; когда же он был в выигрыше, жадная улыбка показывалась на его устах и он с судорожным движением пальцев загребал добытое золото. Низкий его нрав, казалось, должен был переменить к нему расположение Прасковьи Андреевны и ее матери, но он так хорошо умел притворяться перед ними обеими, что ни та, ни другая ничего не заметили, и день свадьбы был торжественно объявлен.

Накануне он дал в своей новой даче блистательный ужин, и никогда его любезность не показывалась с таким блеском, как в этот вечер. Умный и живой разговор его занимал все собрание, и все были в самом веселом расположении духа, как хозяину дома подали письмо с иностранным клеймом. Прочитав содержание, он поспешно встал из-за стола и извинился перед обществом, говоря, что неожиданные дела непременно требуют его присутствия. В ту же ночь он уехал, и никто не знал, куда он скрылся.

Невеста была в отчаянии. Мать ее, употребив все средства, чтобы отыскать след жениха, начала приписывать поведение его одной

уловке, чтобы отделаться от брака с ее дочерью, тем более что дон Пьетро, несмотря на поспешность своего отъезда, успел оставить поверенному письменное наставление, как распорядиться с его домом и находящимися в нем вещами, из чего ясно можно было видеть, что дон Пьетро, если бы он только хотел, мог бы найти время уведомить Прасковью Андреевну о причине и назначении неожиданного своего путешествия.

Прошло несколько месяцев, а о женихе все еще не было известия. Бедная невеста не переставала плакать и как похудела, что золотое кольцо, которое подарил ей дон Пьетро, само собой спало с ее руки. Все уже потеряли надежду что-нибудь узнать о дон Пьетро, как мать Прасковьи Андреевны получила из Комо письмо, где ее уведомляли, что жених вскоре по приезде своем из России скоропостижно умер. Письмо было от сына умершего. Но один дальний родственник невесты, только что приехавший из Неаполя, рассказывал, что в тот самый день, когда, по словам молодого Урджина, отец его скончался в Комо, он, родственник, собираясь влезть на Везувий, ви-

дел в корчме местечка Torre del Greco двух путешественников, из коих один был в халате и в ночном колпаке, а другой в черном домино и маске. Оба путешественника спорили между собой: человеку в халате не хотелось идти далее, а человек в домино его торопил, говоря, что им еще много дороги осталось до кратера и что на другой день праздник св. Антония. Наконец человек в домино схватил человека в халате и с исполинской силой потащил его за собой. Когда они скрылись, родственник спросил, кто эти чудаки? и ему отвечали, что один из них дон Пьетро д'Урджина, а другой какой-то англичанин, приехавший с ним нарочно, чтобы видеть извержение Везувия, и из странности никогда не снимающий с себя маски. Встреча эта, заключал родственник, ясно доказывает, что дон Пьетро не умер, а только отлучился на время из Комо в Неаполь.

К несчастью, другие известия подтвердили справедливость письма молодого Урджина. Несколько очевидцев уверяли, что они присутствовали при погребении дон Пьетро, и божились, что сами видели, как гроб его опу-

цен был в землю. Итак, не осталось сомнения в участии жениха Прасковьи Андреевны.

Сын дон Пьетро, не желавший удалиться из Италии, поручил своему поверенному продать отцовскую дачу с публичного торга. Продажа состоялась довольно беспорядочно, и мать Прасковьи Андреевны купила Березовую Рощу за бесценок.

Сколько Прасковья Андреевна сначала горевала и плакала, столько она теперь казалась спокойною. Ее редко видали в покоях матери, но по целым дням она бродила в верхнем этаже из комнаты в комнату. Часто слуги, проходившие по коридору, слышали, как она сама с собой разговаривала. Любимое ее занятие было — припоминать малейшие подробности своего знакомства с дон Пьетро, малейшие обстоятельства последнего вечера, который она с ним провела. Иногда она без всякой причины смеялась, иногда так жалобно стонала, что нельзя было ее слышать без ужаса.

В один вечер с ней сделались конвульсии, и не прошло двух часов, как она умерла в страшных мучениях. Все полагали, что она се-

бя отравила, и, со всем почтением к памяти покойницы, нельзя не думать, что это предположение справедливо. Иначе что бы значили эти звуки, которые вскоре после ее смерти начали раздаваться в ее комнатах? Чему приписать эти шаги, вздохи и даже несвязные слова, которые я сама не раз слышала, когда в бурные осенние ночи беспрестанный стук окон не давал мне заснуть, а ветер свистел в трубы, как будто бы наигрывал какую-то жалобную песнь. Тогда волосы мои становились дыбом, зубы стучали один об другой, и я громко молилась за упокой бедной грешницы.

— Но, — сказал Руневский, слушавший с возрастающим любопытством рассказ Клеопатры Платоновны, — можете ли вы нам сказать, какие именно слова произносила покойница?

— Ах, — отвечала Клеопатра Платоновна, — в то время в словах ее мне многое казалось странным. Смысл их всегда состоял в том, что ей до тех пор не будет покою, пока кто-нибудь не обручится с ее портретом и не наденет ему на палец ее собственного кольца. Слава Всевышнему, теперь желание ее испол-

нилось, и ничто уже более не будет тревожить ее праха. Кольцо, которым обручалась Даша, есть то самое, которое дон Пьетро подарил своей невесте; а разве Даша не живой портрет Прасковьи Андреевны?

— Клеопатра Платоновна! — сказал Руневский после некоторого молчания, — вы не все мне открыли. В этой истории о фамилии Ostorowicz, от которой, как вы говорите, происходит покойная бригадирша, есть какая-то непостижимая тайна, окружающая меня с самого того времени, как я вступил в этот дом. Что делала Сугробина вместе с Теляевым в одну ночь, когда они оба перерядились, одна в красную мантию, другой в старинные латы? Все это я считал сном или бредом моей горячки, но в вашем рассказе есть подробности, которые так хорошо соответствуют происшествиям той ужасной ночи, что их невозможно принять за игру воображения. Вы сами, Клеопатра Платоновна, присутствовали при каком-то страшном преступлении, от которого у меня осталось одно темное воспоминание, но коего главные участники были бригадирша и Семен Семенович Теляев. Мне само-

му стыдно, — продолжал Руневский, видя, что все на него смотрят с удивлением, — мне самому стыдно, что я еще думаю об этом. Рассудок мой говорит мне, что это бред, но это такой страшный бред, что я не могу не желать удостовериться в его ничтожности.

— Что ж вы видели? — спросила Клеопатра Платоновна с беспокойством.

— Я видел вас, видел Сугробину, Теляева и этого таинственного незнакомца в домино и в маске, который увлекал дон Пьетро д'Урджина в кратер Везувия и о котором мне уже рассказывал Рыбаренко.

— Рыбаренко! — вскричал, смеясь, Владимир, — твой секундант! Ну, любезный Руневский, если он тебе рассказывал похождения свои в Комо, то я не удивляюсь, что это тебе вскружило голову.

— Но ты сам и еще этот Антонио, вы вместе с Рыбаренкой ночевали в чертовом доме?

— Так точно, и все трое мы видели Бог знает что во сне, с тою только разницею, что Антонио и я скоро обо всем забыли, а бедный Рыбаренко через несколько дней сошел с ума. Впрочем, ему, надобно отдать справедли-

вость, было от чего помешаться. Я сам не понимаю, как уцелел. Если бы я только знал, кто подмешал нам опиума в этот пунш, который мы пили, прежде нежели пошли в чертов дом, он бы мне дорого заплатил за эту шутку.

— Но Рыбаренко мне ни слова не говорил про пунш.

— Оттого что он до сих пор не верит, что бред его был следствием пунша. Я ж в этом вполне уверен, ибо у меня от одного стакана закружилась голова, а Антонио начал шататься и даже упал на совершенно ровном месте.

— Но ведь Антонио умер от последствий вашей шалости?

— Правда, что он вскоре после нее умер, но правда и то, что он еще прежде страдал неизлечимой хронической болезнью.

— А кости, а череп ребенка, а казненный разбойник?

— Не прогневайся, любезный Руневский, но в ответ на все это я тебе скажу только, что Рыбаренко, которого я, впрочем, очень люблю, помешался в Комо со страха. Все, что он

видел во сне и наяву, все это он смешал, перепутал и прикрасил по-своему. Потом он рассказал это тебе, а ты, будучи в горячке, всю его чепуху еще более спутал и, сверх того, уверил себя в ее истине.

Руневский не довольствовался этим истолкованием.

— Отчего же, — сказал он, — история этого дон Пьетро, в дом которого вы забрались ночью, смешана с историею Прасковьи Андреевны, в которой, однако, мне кажется, никто из вас не сомневается.

Владимир пожал плечами.

— Все, что я тут вижу, — сказал он, — заключается в том, что дон Пьетро был жених Прасковьи Андреевны. Но из этого нисколько не следует, что он был унесен чертом в Неаполь и что все, что об нем снилось Рыбаренке, есть правда.

— Но родственник Прасковьи Андреевны говорил о человеке в черном домино, Рыбаренко также говорил об этом человеке, и я сам готов побожиться, что видел его своими глазами. Неужели бы три лица, не согласившись друг с другом, захотели сами себя обма-

нывать?

— На это я тебе скажу, что черное домино вещь такая обыкновенная, что о ней могли бы говорить не три, а тридцать человек, вовсе между собою не согласившись. Это все равно, что плащ, карета, дерево или дом — предметы, которые несколько раз в день могут быть в устах каждого. Заметь, что согласие слов Рыбаренки с словами родственника состоит только в том, что они оба говорят о черном домино; но обстоятельства, в которых оно является у каждого из них, ничего не имеют между собою схожего. Что ж касается до твоего собственного видения, то воображение твое просто воссоздало лицо, уже знакомое тебе по рассказам Рыбаренки.

— Но я ничего не знал ни о фамилии Ostoroviczy, ни о фамилии Tellara, а между тем ясно видел на Сугробиной красное платье с летучей мышью, а на латах Теляева изображение филина.

— А пророчество? — сказала Даша. — Ты разве забыл, что в первый день, когда ты сюда приехал, ты сам прочитал род баллады, в которой говорилось о Марфе и о рыцаре Ам-

вросии, о филине и о летучей мыши. Только я не знаю, что может быть общего у Теляева с филином или с рыцарем Амвросием!

— Эту балладу, — прибавила Клеопатра Платоновна, — извлек Рыбаренко из старинной хроники, о которой я вам уже говорила, но после того, как вы ее прочитали, Марфа Сергеевна мне приказала сжечь свою рукопись.

— И после этого вы полагаете, — продолжал Руневский, обращать к Владимиру и к Даше, — что она была не упырь?

— Как не упырь?

— Что она не вампир?

— Что ты, помилуй! отчего бабушке быть вампиром?

— И Теляев не упырь?

— Да что с тобой? С какой стати ты хочешь, чтобы все были упырями или вампирами?

— Отчего ж он щелкает?

Даша и Владимир посмотрели друг на друга, и наконец Даша так чистосердечно захохотала, что она увлекла за собой и Владимира. Оба начали кататься со смеху, и когда одна

переставала, другой начинал снова. Они смеялись так откровенно, что Руневский, сколько это ему ни казалось некстати, сам не мог удержаться от смеха. Одна Клеопатра Платоновна осталась по-прежнему печальною.

Веселье Владимира и Даши, вероятно, еще долго бы продолжалось, если б не вошел Яков и не произнес громогласно: Семен Семенович Теляев!

— Просить, просить! — сказала радостно Даша. — Упырь! — повторяла она, помирая со смеху, — Семен Семенович упырь! Рыцарь Амвросий! Ха-ха-ха!

В передней послышались шаги, и все замолчали. Дверь отворилась, и знакомая фигура старого чиновника представилась их очам. Коричневый парик, коричневый фрак, коричневые панталоны и никогда не изменяющаяся улыбка были отличительными чертами этой фигуры и тотчас бросались в глаза.

— Здравия желаю, сударыня Дарья Александровна, мое почтение, Александр Андреевич! — сказал он сладким голосом, подходя к Даше и к Руновскому. — Душевно сожалею, что не мог ранее поздравить молодых супру-

гов, но отлучка... семейные обстоятельства...

Он начал неприятным образом щелкать, всунул руку в карман и, вытащив из него золотую табакерку, поднес ее прежде Даше, а потом Руневскому, приговаривая:

— С донником... настоящий русский... покойница Марфа Сергеевна другого не употребляли...

— Посмотри, — шепнула Даша Руневскому, — вот откуда ты взял, что он рыцарь Амвросий!

Она указывала на табакерку Семена Семеновича, и Руневский увидал, что на ее крышке изображен ушастый филин.

Приметив, что он смотрит на это изображение, Семен Семенович странным образом на него взглянул и проговорил, повертывая головою:

— Гм! Это так-с, фантазия... аллегория... говорят, что филин означает мудрость... Он опустился в кресла и продолжал с необыкновенно сладкой улыбкой: — Много нового-с! Карлисты претерпели значительные поражения. Вчера некто известный вам бросился с колокольни Ивана Великого, коллежский асессор

Рыбаренко...

— Как, Рыбаренко бросился с колокольни?

— Как изволите говорить... вчера в пять часов...

— И убился до смерти?

— Как изволите говорить...

— Но что его к этому побудило?

— Не могу доложить... причины неизвестны... Но смею сказать, что напрасно... коллежский асессор!.. далеко ли до коллежского советника... там статский советник... действительный...

Семен Семенович впал в щелканье; и во все остальное время его визита Руневский ничего более не слышал.

— Бедный, бедный Рыбаренко! — сказал он, когда ушел Теляев. Клеопатра Платоновна глубоко вздохнула.

— Итак, — сказала она, — пророчество исполнилось вполне. Проклятие не будет более тяготить этот род!

— Что вы говорите? — спросили Руневский и Владимир.

— Рыбаренко, — отвечала она, — был незаконнорожденный сын бригадирши!

— Рыбаренко? сын бригадирши?

— Он сам этого не знал. В балладе, которую вы читали, он странным образом предсказал свою смерть. Но это предсказание не есть его выдумка; оно в самом деле существовало в фамилии Ostoroviczy.

Веселое выражение на лицах Даши и Владимира уступило место печальной задумчивости. Руневский погрузился также в размышления.

— О чем ты думаешь, мой друг? — сказала наконец Даша, прерывая общее молчание.

— Я думаю о Рыбаренке, — отвечал Руневский, — и еще думаю о том, что видел во время своей болезни. Оно не выходит у меня из головы, но ты здесь, со мною, и, стало быть, это был бред!

Сказав эти слова, он побледнел, ибо в то же время заметил на шее у Даши маленький шрам, как будто от недавно зажившей ранки.

— Откуда у тебя этот шрам? — спросил он.

— Не знаю, мой милый. Я была больна и, верно, обо что-нибудь укололась. Я сама удивилась, когда увидела свою подушку всю в крови.

— А когда это было? Не помнишь ли ты?

— В ту самую ночь, когда скончалась бабушка. Несколько минут перед ее смертью. Это маленькое приключение было причиной, что я не могла с нею проститься: так я вдруг сделалась слаба!

Клеопатра Платоновна в продолжение этого разговора что-то про себя шептала, и Руневскому показалось, что она тихонько молится.

— Да, — сказал он, — теперь я все понимаю. Вы спасли Дашу... вы, Клеопатра Платоновна, разбили каменную доску... такую же доску, какая была у дон Пьетро...

Клеопатра Платоновна смотрела на Руневского умоляющими глазами.

— Но нет, — сказал он, — я ошибаюсь, не будем более об этом говорить! Я уверен, что это был бред!

Даша не совсем поняла смысл его слов, но она охотно замолчала. Клеопатра Платоновна бросила благодарный взгляд на Руневского и стерла две крупные слезы со своих бледных ланит.

— Ну, что ж мы все четверо повесили голо-

вы? — сказал Владимир. — Жаль бедного Рыбаренки, но помочь ему нельзя. Пойдите, я вас сейчас развеселю: не правда ли, Теляев славный упырь?

Никто не засмеялся, а Руневский дернул за шнурок колокольчик и сказал вошедшему Якову:

— Когда бы ни приехал Семен Семенович, нас никогда для него нет дома. Слышишь ли? никогда!

— Слушаю-с! — отвечал Яков.

С этих пор Руневский не говорил более ни про старую бригадиршу, ни про Семена Семеновича.

# Семья вурдалака

## Неизданный отрывок из записок неизвестного

**П***римечание: Оригинал написан по-немецки.*

В 1815 году в Вене собрался цвет европейской образованности, дипломатических дарований, всего того, что блистало в тогдашнем обществе. Но вот — Конгресс окончился.

Роялисты-эмигранты намеревались уже окончательно водвориться в своих замках, русские воины — вернуться к покинутым очагам, а несколько недовольных поляков — искать приюта своей любви к свободе в Кракове под сомнительной тройственной эгидой независимости, уготованной для них князем Меттернихом, князем Гарденбергом и графом Нессельроде.

Как это бывает к концу шумного бала, от общества, в свое время столь многолюдного, остался теперь небольшой кружок лиц, которые, все не утратив вкуса к развлечениям и очарованные прелестью австрийских дам,

еще не торопились домой и откладывали свой отъезд.

Это веселое общество, к которому принадлежал и я, собиралось два раза в неделю у вдовствующей княгини Шварценберг в нескольких милях от города за местечком Гитцинг. Истинная светскость хозяйки дома, еще более выигрывавшая от ее милой приветливости и тонкого остроумия, делала чрезвычайно приятным пребывание у нее в гостях.

Утро у нас бывало занято прогулкой; обедали мы все вместе либо в замке, либо где-нибудь в окрестностях, а вечером, усевшись у пылающего камина, беседовали и рассказывали всякие истории. Говорить о политике было строго запрещено. Все от нее устали, и содержание наших рассказов мы черпали либо в преданиях родной старины, либо в собственных воспоминаниях.

Однажды вечером, когда каждый из нас успел что-то рассказать и мы находились в том несколько возбужденном состоянии, которое обычно еще усиливают сумерки и тишина, маркиз д'Юрфе, старик эмигрант, поль-

зовавшийся всеобщей любовью за свою чисто юношескую веселость и ту особую остроту, которую он придавал рассказам о былых своих любовных удачах, воспользовался минутой безмолвия и сказал:

— Ваши истории, господа, конечно, весьма необыкновенны, но я думаю, что им недостает одной существенной черты, а именно — подлинности, ибо — насколько я уловил — никто из вас своими глазами не видел те удивительные вещи, о которых повествовал, и не может словом дворянина подтвердить их истинность.

Нам пришлось с этим согласиться, и старик, поглаживая свое жабо, продолжал:

— Что до меня, господа, то мне известно лишь одно подобное приключение, но оно так странно и в то же время так страшно и так достоверно, что одно могло бы повергнуть в ужас людей даже самого скептического склада ума. К моему несчастью, я был и свидетелем и участником этого события, и хотя вообще не люблю о нем вспоминать, но сегодня готов был бы рассказать о случившемся со мною — если только дамы ничего не будут

иметь против.

Слушать захотели все. Правда, несколько человек с робостью во взгляде посмотрели на светящиеся квадраты, которые луна уже чертила по паркету, но тут же кружок наш сомкнулся теснее и все приумолкли, готовясь слушать историю маркиза. Господин д'Юрфе взял щепотку табаку, медленно потянул ее и начал:

— Прежде всего, милостивые государыни, попрошу у вас прощения, если в ходе моего рассказа мне придется говорить о моих сердечных увлечениях чаще, чем это подобает человеку в моих летах. Но ради полной ясности мне о них нельзя не упоминать. К тому же старости простительно забываться, и право же, это ваша, милостивые государыни, вина, если, глядя на таких красивых дам, я чуть ли сам уже не кажусь себе молодым человеком. Итак, начну прямо с того, что в тысяча семьсот пятьдесят девятом году я был без памяти влюблен в прекрасную герцогиню де Грамон. Эта страсть, представлявшаяся мне тогда и глубокой и долговечной, не давала мне покоя ни днем, ни ночью, а герцогиня,

как это часто нравится хорошеньким женщинам, еще усиливала это терзание своим кокетством. И вот, в минуту крайнего отчаяния, я в конце концов решил просить о дипломатическом поручении к господарю молдавскому, ведшему тогда переговоры с версальским кабинетом о делах, излагать вам которые было бы столь же скучно, сколь и бесполезно, и назначение я получил. Накануне отъезда я явился к герцогине. Она отнеслась ко мне менее насмешливо, чем обычно, и в голосе ее чувствовалось некоторое волнение, когда она мне сказала:

— Д'Юрфе, вы делаете очень неразумный шаг. Но я вас знаю, и мне известно, что от принятого решения вы не откажетесь. Поэтому прошу вас только об одном — возьмите вот этот крестик как залог моей дружбы и носите его, пока не вернетесь. Это семейная реликвия, которой мы очень дорожим.

С учтивостью, неуместной, быть может, в подобную минуту, я поцеловал не реликвию, а ту очаровательную руку, которая мне ее протягивала, и надел на шею вот этот крестик, с которым с тех пор не расставался.

Не стану утомлять вас, милостивые государины, ни подробностями моего путешествия, ни моими впечатлениями от венгерцев и от сербов — этого бедного и непросвещенного, но мужественного и честного народа, который, даже и под турецким ярмом, не забыл ни о своем достоинстве, ни о бывшей независимости. Скажу вам только, что, научившись немного по-польски еще в те времена, когда я жил в Варшаве, я быстро начал понимать и по-сербски, ибо эти два наречия, равно как русское и чешское, являются — и это вам, наверно, известно не чем иным, как ветвями одного и того же языка, именуемого славянским.

Итак, я уже знал достаточно для того, чтобы быть в состоянии объясниться, когда мне однажды случилось попасть проездом в некую деревню, название которой не представило бы для вас никакого интереса. Обитателей дома, в котором я остановился, я нашел в состоянии подавленности, удивившей меня тем более, что дело было в воскресенье, — день, когда сербы предаются обычно всяческому веселью, забавляясь пляской, стрель-

бой из пищали, борьбой и т. п. Расположение духа моих будущих хозяев я приписал какой-нибудь недавно случившейся беде и уже думал удалиться, но тут ко мне подошел и взял за руку мужчина лет тридцати, роста высокого и вида внушительного.

— Входи, — сказал он, — входи, чужеземец, и пусть не пугает тебя наша печаль; ты ее поймешь, когда узнаешь ее причину.

И он мне рассказал, что старик отец его, по имени Горча, человек нрава беспокойного и неуступчивого, поднялся однажды с постели, снял со стены длинную турецкую пищаль и обратился к двум своим сыновьям, одного из которых звали Георгием, а другого — Петром:

— Дети, — молвил он им, — я иду в горы, хочу с другими смельчаками поохотиться на поганого пса Алибека (так звали разбойника-турка, разорывшего последнее время весь тот край). Ждите меня десять дней, а коли на десятый день не вернусь, закажите вы обедню за упокой моей души — значит, убили меня. Но ежели, — прибавил тут старый Горча, приняв вид самый строгий, — ежели (да не попустит этого бог) я вернусь позднее, ради

вашего спасения, не впускайте вы меня в дом. Ежели будет так, приказываю вам — забудьте, что я вам был отец, и вбейте мне осиновый кол в спину, что бы я ни говорил, что бы ни делал, — значит, я теперь проклятый вурдалак и пришел сосать вашу кровь.

Здесь надо будет вам сказать, милостивые государыни, что вурдалаки, как называются у славянских народов вампиры, не что иное в представлении местных жителей, как мертвецы, вышедшие из могил, чтобы сосать кровь живых людей. У них вообще те же повадки, что у всех прочих вампиров, но есть и особенность, делающая их еще более опасными. Вурдалаки, милостивые государыни, сосут предпочтительно кровь у самых близких своих родственников и лучших своих друзей, а те, когда умрут, тоже становятся вампирами, так что со слов очевидцев даже говорят, будто в Боснии и Герцеговине население целых деревень превращалось в вурдалаков. В любопытном труде о привидениях аббат Огюстен Кальме приводит тому ужасающие примеры. Императоры германские не раз назначали комиссии для расследования случаев

вампиризма. Производились допросы, извлекались из могил трупы, налитые кровью, и их сжигали на площадях, но сперва пронзали им сердце. Судебные чиновники, присутствовавшие при этих казнях, уверяют, что сами слышали, как выли трупы в тот миг, когда палач вбивал им в грудь осиновый кол. Они дали об этом показания по всей форме и скрепили их присягой и подписью.

После всего этого вам легко будет вообразить себе, какое действие слова старого Горчи произвели на его сыновей. Оба они упали к его ногам и умоляли, чтобы он позволил им отправиться вместо него, но тот, ничего не ответив, только повернулся к ним спиной и пошел прочь, повторяя припев старинной песни. День, в который я приехал сюда, был тот самый, когда кончался срок, назначенный Горчей, и мне было нетрудно понять волнение его детей.

То была дружная и хорошая семья. Георгии, старший сын, с чертами лица мужественными и резкими, был, по-видимому, человек строгий и решительный. Был он женат и имел двух детей. У брата его Петра, красиво-

го восемнадцатилетнего юноши, лицо носило выражение скорее мягкости, чем отваги, и его, судя по всему, особенно любила младшая сестра, Зденка, в которой можно было признать тип славянской красоты. В ней, кроме этой красоты, во всех отношениях бесспорной, меня прежде всего поразило отдаленное сходство с герцогиней де Грамон. Главное — была у нее та особенная складочка над глазами, которую за всю мою жизнь я не встречал ни у кого, кроме как у этих двух женщин. Эта черточка могла и не понравиться с первого взгляда, но стоило увидеть ее несколько раз, как она с неодолимой силой привлекала вас к себе.

То ли потому, что был я тогда очень молод, то ли в самом деле неотразимое действие производило это сходство в сочетании с каким-то своеобразным и наивным складом ума Зденки, но стоило мне две минуты поговорить с нею — и я уже испытывал к ней симпатию настолько живую, что она неминуемо превратилась бы в чувство еще более нежное, если бы мне подольше пришлось остаться в той деревне.

Мы все сидели во дворе за столом, на котором для нас были поставлены творог и молоко в кринках. Зденка пряла; ее невестка готовила ужин для детей, игравших тут же в песке; Петр с наигранной беззаботностью что-то насвистывал, занятый чисткой ятагана — длинного турецкого ножа; Георгий, облокотившись на стол, сжимал голову ладонями, был озабочен, глаз не сводил с дороги и все время молчал.

Я же, как и все остальные, поддавшись тоскливому настроению, меланхолично глядел на вечерние облака, обрамлявшие золотую полосу неба, и на очертания монастыря, поднимавшегося над сосновым лесом.

Этот монастырь, как я узнал позднее, славился некогда чудотворной иконой богородицы, которую, по преданию, принесли ангелы и оставили ее на ветвях дуба. Но в начале минувшего века в те края вторглись турки, они перерезали монахов и разорили монастырь. Оставались только стены и часовня, где службу совершал некий отшельник. Он водил посетителей по развалинам и давал приют богомольцам, которые по пути от одной святыни

к другой охотно останавливались в монастыре «божьей матери дубравной». Все это, как я уже упомянул, мне стало известно лишь впоследствии, а в тот вечер занимала меня уж никак не археология Сербии. Как это нередко бывает, если только дашь волю своему воображению, я стал вспоминать прошлое, светлые дни детства, мою прекрасную Францию, которую я покинул ради далекой и дикой страны. Я думал о герцогине де Грамон и — не буду этого скрывать — думал также о некоторых современницах ваших бабушек, чьи образы невольно проскользнули в мое сердце вслед за образом прелестной герцогини.

Вскоре я позабыл и о моих хозяевах, и о предмете их тревоги.

Георгий вдруг нарушил молчание:

— Скажи-ка, жена, в котором часу ушел старик?

— В восемь часов, — ответила жена, — я слышала, как в монастыре ударили в колокол.

— Хорошо, — проговорил Георгий, — сейчас половина восьмого, не позднее.

И он замолчал, опять устремив глаза на

большую дорогу, которая исчезала в лесу.

Я забыл вам сказать, милостивые государины, что когда сербы подозревают в ком-нибудь вампира, то избегают называть его по имени или упоминать о нем прямо, ибо думают, что так его можно вызвать из могилы. Вот почему. Георгий, когда говорил об отце, уже некоторое время называл его не иначе, как «старик».

Молчание продолжалось еще несколько минут. Вдруг один из мальчиков, дернув Зденку за передник, спросил:

— Тетя, а когда дедушка придет домой?

В ответ на столь неуместный вопрос Георгий дал ребенку пощечину.

Мальчик заплакал, а его младший брат, и удивленный и испуганный, спросил:

— А почему нам нельзя говорить о дедушке? Новая пощечина — и он тоже примолк. Оба мальчика заревели, а взрослые перекрестились.

Но вот часы в монастыре медленно пробили восемь. Едва отзвучал первый удар, как мы увидели человеческую фигуру, появившуюся из лесу и направившуюся в нашу сторо-

ну.

— Он! — воскликнули в один голос Зденка, Петр и их невестка. — Слава тебе, господи!

— Господи, сохрани и помилуй нас! — торжественно проговорил Георгий. — Как знать, прошло ли уже или не прошло десять дней?

Все в ужасе посмотрели на него. Человек между тем все приближался к нам. Это был высокий старик с белыми усами, с лицом бледным и строгим; двигался он с трудом, опираясь на палку. По мере того как он приближался, Георгий становился все мрачней. Подойдя к нам, старик остановился и обвел свою семью взглядом как будто не видящих глаз — до того они были у него тусклые и впалые.

— Что ж это, — сказал он, — никто не встанет, никто не встречает меня? Что вы все молчите? Иль не видите, что я ранен?

Тут я заметил, что у старика левый бок весь в крови.

— Да поддержи отца, — сказал я Георгию, — а ты, Зденка, напоила бы его чем-нибудь, ведь он, того гляди, упадет.

— Отец, — промолвил Георгий, подойдя к

Горче, — покажи свою рану, я в этом знаю толк, перевяжу тебя...

Он только взялся за его одежду, но старик грубо оттолкнул его и обеими руками схватился за бок:

— Оставь, коли не умеешь, больно мне!

— Так ты в сердце ранен! — вскричал Георгий и весь побледнел. — Скорей, скорей разделись, так надо — слышишь!

Старик вдруг выпрямился во весь рост.

— Берегись, — сказал он глухо, — дотронешься до меня — прокляну! — Петр встал между отцом и Георгием.

— Оставь его, — сказал он, — ты же видишь, больно ему.

— Не перечь, — проговорила жена, — знаешь ведь, он этого никогда не терпел.

В эту минуту мы увидели стадо, возвращающееся с пастбища в облаке пыли. То ли пес, сопровождавший стадо, не узнал старика хозяина, то ли другая была причина, но едва только он завидел Горчу, как остановился, оцетинился и начал выть, словно бы ему что-то показалось.

— Что с этим псом? — спросил старик, сер-

чая все более. — Что все это значит? За десять дней, что меня не было, неужто я так переменялся, что и собственный пес меня не узнал?

— Слышишь? — сказал своей жене Георгий.

— А что?

— Сам говорит, что десять дней прошло!

— Да нет же, ведь он в срок воротился!

— Ладно, ладно, я уж знаю, что делать. Пес не переставая выл.

— Застрелить его! — крикнул Горча. — Это я приказываю — слышите!

Георгий не пошевелился, а Петр со слезами на глазах встал, взял отцовскую пицаль и выстрелил в пса — тот покатился в пыли.

— А был он мой любимец, — проговорил он совсем тихо. — С чего это отец велел его застрелить?

— Он того заслужил, — ответил Горча. — Ну, стало свежо, в дом пора!

Тем временем Зденка приготовила питье для старика, вскипятив водку с грушами, с медом и с изюмом, но он с отвращением его оттолкнул. Точно так же он отверг и блюдо с пловом, которое ему подал Георгий, и усел-

ся около очага, бормоча сквозь зубы что-то невнятное.

Потрескивали сосновые дрова, и дрожащие отблески огня падали на его лицо, такое бледное, такое изможденное, что, если бы не это освещение, его вполне можно было принять за лицо покойника. Зденка к нему подсе-  
ла и сказала:

— Ты, отец, ни есть не хочешь, ни спать не ложишься. Может, расскажешь, как ты охотился в горах.

Девушка знала, что эти слова затронут у старика самую чувствительную струну, так как он любил поговорить о боях и сражениях. И в самом деле, на его бескровных губах появилось что-то вроде улыбки, хотя глаза смотрели безучастно, и он ответил, глядя ее по чудесным белокурым волосам:

— Ладно, дочка, ладно, Зденка, я тебе расскажу, что со мной было в горах, только уж как-нибудь в другой раз, а то сегодня я устал. Одно скажу — нет в живых Али-бека, и убил его я. А ежели кто сомневается, — прибавил старик, окидывая взглядом свою семью, — есть чем доказать!

И он развязал мешок, висевший у него за спиной, и вытащил окровавленную голову, с которой, впрочем, его собственное лицо могло поспорить мертвенно-бледным цветом кожи! Мы с ужасом отвернулись, а Горча отдал ее Петру и сказал:

— На, прицепи над нашей дверью — пусть знает всякий, кто пройдет мимо дома, что Алибек убит и никто больше не разбойничает на дороге, кроме разве султанских янычар!

Петр, подавляя отвращение, исполнил, что было приказано.

— Теперь понимаю, — сказал он, — бедный пес выл от того, что почуял мертвечину!

— Да, почуял мертвечину, — мрачно повторил Георгий, который незадолго перед тем незаметно вышел, а теперь вернулся: в руке он держал какой-то предмет, который тут же поставил в угол — как мне показалось, это был кол.

— Георгий, — вполголоса сказала ему жена, — да неужто ты...

— Брат, что ты затеял? — заговорила и сестра. — Да нет, нет, ты этого не сделаешь, верно?

— Не мешайте, — ответил Георгий, — я знаю, что мне делать, и что надо — то сделаю.

Тем временем настала ночь, и семья ушла спать в ту часть дома, которую от моей комнаты отделяла лишь тонкая стенка. Признаюсь, что все, чему я вечером был свидетель, сильно на меня подействовало. Свеча уже не горела, а в маленькое низенькое окошко возле самой моей постели всюду светила луна, так что на пол и на стены ложились белые пятна вроде тех, что падают сейчас здесь, в гостиной, где мы с вами сидим, милостивые государины. Я хотел заснуть, но не мог. Свою бессонницу я приписал влиянию лунного света и стал искать, чем бы завесить окно, но ничего не нашел. Тут за перегородкой глухо слышались голоса, и я прислушался.

— Ложись, жена, — сказал Георгий, — и ты, Петр, ложись, и ты, Зденка. Ни о чем не беспокойтесь, я посижу за вас.

— Да нет, Георгий, — отвечала жена, — уж скорее мне сидеть, ты прошлую ночь работал, — наверно, устал. Да и так мне надо приглядеть за старшим мальчиком, — ты же знаешь, ему со вчерашнего нездоровится!

— Будь спокойна и ложись, — говорил Георгий, — я посижу и за тебя!

— Да послушай, брат, — промолвила теперь нежным, тихим голосом Зденка, — по мне, так нечего и сидеть. Отец уже уснул, и смотри, как мирно и спокойно он спит.

— Ничего-то вы обе не понимаете, — возразил Георгий тоном, не допускающим противоречия. — Говорю вам — ложитесь, а я спать не буду.

Тут воцарилась полная тишина. Вскоре же я почувствовал, как отяжелели мои веки, и сон меня одолел.

Но вдруг дверь в комнату как будто медленно отворилась, и на пороге встал Горча. Я, впрочем, скорее догадывался об этом, чем видел его, потому что там, откуда он вышел, было совершенно темно. Его погасшие глаза, — так мне чудилось, — старались проникнуть в мои мысли и следили за тем, как подымается и опускается моя грудь. Потом он сделал шаг, еще-другой, затем, с чрезвычайной осторожностью, неслышно ступая, стал подходить ко мне. Вот одним прыжком он очутился у моей кровати. Я испытывал невыразимое чувство

гнета, но неодолимая сила сковывала меня. Старик приблизил ко мне свое мертвенно-бледное лицо и так низко наклонился надо мною, что я словно ощущал его трупное дыхание. Тогда я сделал сверхъестественное усилие и проснулся весь в поту. В комнате не было никого, но, бросив взгляд на окно, я ясно увидел старика Горчу, который снаружи прильнул лицом к стеклу и не сводил с меня своих страшных глаз. У меня хватило силы, чтобы не закричать, и самообладания, чтобы не подняться с постели, как если бы я ничего и не видел. Старик, однако, приходил, по-видимому, лишь удостовериться, что я сплю, по крайней мере, он и не пытался войти ко мне и, внимательно на меня поглядев, отошел от окна, но я услышал, как он ходит в соседней комнате. Георгий заснул и храпел так, что стены чуть не сотрясались. В эту минуту кашлянул ребенок, и я различил голос Горчи, он спрашивал:

— Ты, малый, не спишь?

— Нет, дедушка, — отвечал мальчик, — мне бы с тобой поговорить.

— А, поговорить со мной? А о чем погово-

ритель?

— Ты бы мне рассказал, как ты воевал с турками — я бы тоже пошел воевать с турками!

— Я, милый, так и думал и принес тебе маленький ятаган — завтра дам.

— Ты, дедушка, лучше дай сейчас — ведь ты не спишь.

— А почему ты, малый, раньше не говорил, пока светло было?

— Отец не позволил.

— Бережет тебя отец. А тебе, значит, скорее хочется ятаганчик?

— Хочется, да только не здесь, а то вдруг отец проснется!

— Так где же?

— А давай выйдем, я буду умный, шуметь не стану. Мне словно послышался отрывистый глухой смех старика, а ребенок начал, кажется, вставать. В вампиров я не верил, но после кошмара, только что посетившего меня, нервы у меня были напряжены, и я, чтобы ни в чем не упрекать себя позднее, поднялся и ударил кулаком в стену. Этим ударом можно было бы, кажется, разбудить всех семерых

спящих, но хозяева, очевидно, и не услышали моего стука. С твердой решимостью спасти ребенка я бросился к двери, но она оказалась запертой снаружи, и замки не поддавались моим усилиям. Пока я еще пытался высадить дверь, я увидел в окно старика, проходившего с ребенком на руках.

— Вставайте, вставайте! — кричал я что было мочи и бил кулаком в перегородку. Тут только проснулся Георгий.

— Где старик? — спросил он.

— Скорей беги, — крикнул я ему, — он унес мальчика!

Георгий ударом ноги выломал дверь, которая, так же как моя, была заперта снаружи, и побежал к лесу. Мне наконец удалось разбудить Петра, невестку его и Зденку. Мы все вышли из дому и немного погодя увидели Георгия, который возвращался уже с сыном на руках. Он нашел его в обмороке на большой дороге, но ребенок скоро пришел в себя, и хуже ему как будто не стало. На расспросы он отвечал, что дед ничего ему не сделал, что они вышли просто поговорить, но на воздухе у него закружилась голова, а как это было — он не

помнит. Старик же исчез.

Остаток ночи, как нетрудно себе представить, мы провели уже без сна.

Утром мне сообщили, что по Дунаю, перекававшему дорогу в четверти мили от деревни, начал идти лед, как это всегда бывает здесь в исходе осени и ранней весной. Переправа на несколько дней была закрыта, и мне было нечего думать об отъезде. Впрочем, если бы я и мог ехать, меня удержало бы любопытство, к которому присоединялось и более могущественное чувство. Чем больше я видел Зденку, тем сильнее меня к ней влекло. Я, милостивые государыни, не из числа тех, кто верит в страсть внезапную и непобедимую, примеры которой нам рисуют романы, но я полагаю, что есть случаи, когда любовь развивается быстрее, чем обычно. Своеобразная прелесть Зденки, это странное сходство с герцогиней де Грамон, от которой я бежал из Парижа и которую вновь встретил здесь в таком живописном наряде, говорящую на чуждом и гармоничном наречии, эта удивительная складочка на лбу, ради которой я во Франции тридцать раз готов был поставить жизнь на

карту, все это, вместе с необычностью моего положения и таинственностью всего, что происходило вокруг, повлияло, должно быть, на зреющее в моей душе чувство, которое при других обстоятельствах проявилось бы, может быть, лишь смутно и мимолетно.

Днем я услышал, как Зденка разговаривала со своим младшим братом:

— Что же ты обо всем этом думаешь, — спрашивала она, — неужто и ты подозреваешь отца?

— Подозревать не решусь, — отвечал ей Петр, — да к тому же и мальчик говорит, что он ему плохого не сделал. А что нет его — так ты ведь знаешь, он всегда так уходил и отчета не давал.

— Да, знаю, — сказала Зденка, — а коли так, надо его спасти: ведь ты знаешь Георгия...

— Да, да, верно. Говорить с ним нечего, но мы спрячем кол, а другого он не найдет: в горах с нашей стороны ни одной осины нет!

— Ну да, спрячем кол, только детям об этом — ни слова, а то они еще начнут болтать при Георгии.

— Нет, ни слова им, — сказал Петр, и они расстались. Пришла ночь, а о старике Горче ничего не было слышно. Я, как и накануне, лежал на кровати, а луна всю освещала мою комнату. Уже когда сон начал туманить мне голову, я вдруг словно каким-то чутьем уловил, что старик приближается. Я открыл глаза и увидел его мертвенное лицо, прижавшееся к окну.

Теперь я хотел подняться, но это оказалось невозможным. Все мое тело было словно парализовано. Пристально оглядев меня, старик удалился, и я слышал, как он обходил дом и тихо постучал в окно той комнаты, где спали Георгий и его жена. Ребенок в постели заворочался и застонал во сне. Несколько минут стояла тишина, потом я снова услышал стук в окно. Ребенок опять застонал и проснулся.

— Это ты, дедушка? — спросил он.

— Я, — ответил глухой голос, — принес тебе ятаганчик.

— Только мне уйти нельзя, отец запретил!

— Тебе и не надо уходить, открой окошко да поцелуй меня!

Ребенок встал, и было слышно, как открывается окно. Тогда, призвав на помощь все мои силы, я вскочил с постели и начал стучать в стену. Мгновенье спустя Георгий уже был на ногах. Он выругался, жена его громко вскрикнула, и вот уже вся семья собралась вокруг ребенка, лежавшего без сознания. Горча исчез, как и накануне. Мы общими стараниями привели мальчика в чувство, но он очень был слаб и дышал с трудом. Он, бедный, не знал, как случился ним обморок. Мать его и Зденка объясняли это тем, что ребенок испугался, когда его застали вместе с дедом. Я молчал. Но мальчик успокоился, и все, кроме Георгия, опять улеглись.

Незадолго до рассвета я услышал, как Георгии будит жену; и они заговорили шепотом. К ним пришла и Зденка, и я услышал, как она и ее невестка плачут.

Ребенок лежал мертвый.

Не стану распространяться о горе семьи. Никто, однако, не обвинял в случившемся старика Горчу. По крайней мере, открыто об этом не говорили.

Георгий молчал, но в выражении его лица,

всегда несколько мрачном, теперь было и что-то страшное. В течение двух дней старик не появлялся. В ночь на третьи сутки (после похорон ребенка) мне послышались шаги вокруг дома и старческий голос, который звал меньшого мальчика. Мне также показалось на мгновение, что старик Горча прижался лицом к окну, но я не смог решить, было ли это в действительности или то была игра воображения, потому что в ту ночь луна скрывалась за облаками. Все же я счел своим долгом сказать об этом Георгию. Он расспросил мальчика, и тот ответил, что и вправду слышал, как его звал дед, и видел, как он глядел в окошко. Георгий строго приказал сыну разбудить его, если старик покажется еще.

Все эти обстоятельства не мешали мне чувствовать к Зденке нежность, которая все больше усиливалась.

Днем мне не привелось говорить с нею наедине. Когда же настала ночь, у меня при мысли о скором отъезде сжалось сердце. Комната Зденки была отделена от моей сенями, которые с одной стороны выходили на улицу, с другой — во двор.

Мои хозяева уже легли спать, когда мне пришло в голову — пойти побродить вокруг, чтобы немного рассеяться. Выйдя в сени, я заметил, что дверь в комнату Зденки приотворена.

Невольно я остановился. Шорох платья, такой знакомый, заставил биться мое сердце. Потом до меня донеслись слова песни, напеваемой вполголоса. То было прощание сербского короля со своей милой, от которой он уходил на войну:

*«Молодой ты мой тополь, — говорил старый король, — я на войну ухожу, а ты забудешь меня.*

*Стройны и гибки деревья, что растут у подножья горы, но стройнее и гибче юный твой стан!*

*Красны ягоды рябины, что раскачивает ветер, но ягод рябины краснее губы твои!*

*А я-то — что старый дуб без листьев, и пены Дуная моя борода белей!*

*И ты, сердце мое, меня забудешь, и умру я с тоски, потому что враг не посмеет убить старого короля!»*

*И промолвила ему красавица: «Кля-*

*нусь — не забуду тебя и останусь верна тебе. А коли клятву нарушу, приди ко мне из могилы и высоси кровь моего сердца».*

*И сказал старый король: «Пусть будет так!» И ушел на войну. И скоро красавица его забыла!..*

Тут Зденка остановилась, словно ей было боязно кончать песню. Я не в силах был сдержаться. Этот голос, такой нежный, такой задушевный, был голос самой герцогини де Грамон... Я, не раздумывая, толкнул дверь и вошел. Зденка только что сняла с себя нечто вроде казакина, какой в тех местах носят женщины. На ней оставалась теперь шитая золотом и красным шелком сорочка и стянутая у талии простая клетчатая юбка. Ее чудесные белокурые косы были расплетены, и вот так, полуодетая, она была еще краше, чем обычно. Не рассердившись на мое внезапное появление, она все же, казалось, была смущена и слегка покраснела.

— Ах, — сказала она мне, — зачем ты пришел, — ведь коли нас увидят — что обо мне подумают?

— Зденка, сердце мое, — отвечал я ей, — не бойся: лишь кузнечик в траве да жук на лету могут услышать, что я скажу тебе.

— Нет, милый, иди скорей, иди! Застанет нас мой брат — я тогда погибла.

— Нет, Зденка, я уйду только тогда, когда ты мне пообещаешь, что будешь меня любить всегда, как красавица обещала королю в той песне. Я скоро уеду, Зденка, и как знать, когда мы опять увидимся? Зденка, ты дороже мне моей души, моего спасения... И жизнь моя и кровь — твои. Неужели ты за это не подаришь мне один час?

— Всякое может случиться за один час, — задумчиво ответила Зденка, но не отняла у меня своей руки. — Не знаешь ты моего брата, — прибавила она и вздрогнула, — уж я чувствую — придет он.

— Успокойся, моя Зденка, — сказал я в ответ, — брат твой устал от бессонных ночей, его убаюкал ветер, что играет листвой. Сон его глубок, ночь длинна, и я прошу тебя — побудь со мной час! А потом — прости... может быть, навсегда!

— Нет, нет, только не навсегда! — с жаром

сказала Зденка и тут же отпрянула от меня, словно испугавшись своего же голоса.

— Ах, Зденка, — воскликнул я, — я вижу одну тебя, слышу одну тебя, я уже себе не господин, а покорен какой-то высшей силе — прости мне, Зденка!

И я, как безумный, прижал ее к сердцу.

— Ах нет, ты мне не друг, — проговорила она, вырвавшись из моих объятий, и заби-лась в дальний угол. Не знаю, что я ей отве-тил, так как. и сам испугался своей смелости — не потому, чтобы иногда в подобных обстоятельствах она не приносила мне удачи, а потому, что мне даже и в пылу страсти чи-стота Зденки продолжала внушать глубокое уважение.

Вначале я, правда, вставил было несколь-ко галантных фраз из числа тех, которые встречали невраждебный прием у красавиц минувшего времени, но, устыдившись тут же, отказался от них, видя, что девушка в просто-те своей не может понять тот смысл, который вы, милостивые государыни, судя по вашим улыбкам, угадали с полуслова.

Так я и стоял перед ней и не знал, что ска-

зять, как вдруг заметил, что она вздрогнула и в ужасе глядит на окно. Я посмотрел в ту же сторону и ясно различил лицо Горчи, который, не двигаясь, следил за нами.

В тот же миг я почувствовал, как чья-то тяжелая рука опускается мне на плечо. Я обернулся. Это был Георгий.

— Ты что тут делаешь? — спросил он меня. Озадаченный этим резким вопросом, я только показал рукой на его отца, который смотрел на нас в окно и скрылся, как только Георгий его увидал.

— Я услышал шаги старика, — сказал я, — и пошел предупредить твою сестру.

Георгий посмотрел на меня так, словно хотел прочитать мои сокровеннейшие мысли. Потом взял меня за руку, привел в мою комнату и, ни слова не сказав, ушел.

На следующий день семья сидела у дверей дома за столом, уставленным всякой молочной снедью.

— Где мальчик? — спросил Георгий.

— На дворе, — ответила мать, — играет себе один в свою любимую игру, будто воюет с турками.

Не успела она проговорить эти слова, как перед нами, к нашему величайшему удивлению, появилась высокая фигура Горчи; он, выйдя из лесу, медленно подошел к нам и сел к столу, как это уже было в день моего приезда.

— Добро пожаловать, батюшка, — еле слышно пролепетала невестка.

— Добро пожаловать, — тихо повторили Зденка и Петр.

— Отец, — голосом твердым, но меняясь в лице, произнес Георгий, — мы тебя ждем, чтоб ты прочел молитву! Старик, нахмутив брови, отвернулся.

— Молитву, и тотчас же! — повторил Георгий. — Перекрестись — не то, клянусь святым Георгием...

Зденка и невестка склонились к старику, умоляя прочесть молитву.

— Нет, нет, нет, — сказал старик, — не властен он мне приказывать, а коли потребует еще раз, прокляну!

Георгий вскочил и побежал в дом. Он сразу же и вернулся — взгляд его сверкал бешенством.

— Где кол? — крикнул он. — Где вы спрятали кол? Зденка и Петр переглянулись.

— Мертвец! — обратился тогда Георгий к старику. — Что ты сделал с моим старшим? Отдай мне сына, мертвец!

И он, пока говорил, все более и более бледнел, а глаза его разгорались все ярче.

Старик смотрел на него злым взглядом и не двигался.

— Кол! Где кол? — крикнул Георгий. — Кто его спрятал, тот и в ответе за все горе, что нас ждет!

В тот же миг мы услышали веселый звонкий смех меньшого мальчика, и он тут же появился верхом на огромном колу, который волочил за собой, слабеньким детским голоском испуская тот воинственный клич, с каким сербы бросаются на неприятеля.

Глаза у Георгия так и вспыхнули. Он вырвал у мальчика кол и ринулся на отца. Тот дико завыл и побежал в сторону леса с такой быстротой, которая для его возраста казалась сверхъестественной.

Георгий гнался за ним по полю, и мы скоро потеряли их из виду.

Уже зашло солнце, когда Георгий возвратился домой, бледный как смерть и с взъерошенными волосами. Он сел у очага, и зубы у него, кажется, стучали. Никто не решался расспросить его. Но вот настал час, когда семья обыкновенно расходилась; он теперь, по-видимому, вполне овладел собою и, отведя меня в сторону, сказал как ни в чем не бывало:

— Дорогой гость, был я на реке. Лед прошел, помехи в дороге нет, теперь ты можешь ехать. Прощаться с нашими нечего, — прибавил он, бросив взгляд на Зденку. — Дай тебе бог всякого счастья (так они велели тебе сказать), да и ты, даст бог, не помянешь нас лихом. Завтра чуть свет уж лошадь твоя будет стоять оседланная и проводник тебя будет ждать. Прощай, может, вспомнишь когда своих хозяев, и уж не сердись, коли жилось тут не так покойно, как бы надо было.

Жесткие черты лица Георгия в ту минуту выражали почти что дружелюбие. Он проводил меня в комнату и в последний раз пожал мне руку. Потом он снова вздрогнул, и зубы у него застучали, словно бы от холода.

Оставшись один, я, как вы легко можете

себе представить, и не подумал лечь спать. Меня одолевали мысли. В жизни я любил уже не раз. Знал я и порывы нежности, приступы досады и ревности, но никогда еще, даже расставаясь с герцогиней де Грамон, я не испытывал такой скорби, какая сейчас терзала мне сердце. Не взошло и солнце, а я уже оделся по-дорожному и хотел было попытаться в последний раз увидеть Зденку. Но Георгий ждал меня в сенях. Исчезла всякая возможность даже взглянуть на нее.

Я вскочил на лошадь и пустил ее во весь опор. Я давал себе обещание на обратном пути из Ясс заехать в эту деревню, и такая надежда, пусть самая отдаленная, мало-помалу рассеяла мои заботы. Я уже с удовольствием думал о том, как вернусь, и воображение рисовало мне всякие подробности, но вдруг резким движением лошадь чуть не выбила меня из седла. Тут она стала как вкопанная, вытянула передние ноги и тревожно фыркнула, как бы давая знать о близкой опасности. Я внимательно осмотрелся кругом и в сотне шагов увидел волка, который рылся в земле. Так как я его вспугнул, он побежал, а я вонзил

шпоры в бока лошади и заставил ее тронуться с места. А там, где стоял волк, я теперь увидел свежевырытую могилу. Мне также показалось, что из земли, разрытой волком, на несколько вершков выступал кол. Этого, однако, я не утверждаю с уверенностью, так как быстро проскакал мимо того места.

Маркиз замолк и взял щепотку табаку.

— И это все? — спросили дамы.

— Увы, нет! — ответил г-н д'Юрфе. — То, что осталось досказать вам, — мое мучительнейшее воспоминание, и я дорого бы дал, чтобы расстаться с ним.

Дела, по которым я приехал в Яссы, задержали меня там дольше, чем я предполагал. Я завершил их лишь через полгода. И что же? Печально сознавать, и все же нельзя не признать ту истину, что нет на свете долговечных чувств. Успех моих переговоров, одобрения, которые я получал от версальского кабинета, словом, политика, та противная политика, что так надоела нам за последнее время, в конце концов приглушила для меня воспоминание о Зденке. К тому же и супруга молдавского господаря, женщина очень красивая и в

совершенстве владевшая нашим языком, с первых же дней моего приезда удостоила меня чести, оказывая мне особое предпочтение перед другими молодыми иностранцами, находившимися тогда в Яссах. Меня, воспитанного в правилах французской галантности, с гальской кровью в жилах, просто возмутила бы самая мысль о том, чтобы ответить неблагодарностью на выражаемую мне благосклонность. И я со всей учтивостью принимал знаки внимания, проявляемого ко мне, а чтобы получить возможность лучше защищать права и интересы Франции, я и на все права, и на все интересы господаря начал смотреть как на свои собственные.

Когда меня отозвали в Париж, я избрал ту же дорогу, какой и прибыл в Яссы.

Я не думал уже ни о Зденке, ни о ее семье, как вдруг однажды вечером, проезжая полями, услышал звук колокола, ударившего восемь раз. Этот звон мне был как будто знаком, и проводник сообщил мне, что звонили неподалеку в монастыре. Я спросил, как он называется, и узнал, что это — монастырь «божьей матери дубравной». Я пришпорил коня, и

немного спустя мы уже стучали в монастырские ворота. Монах впустил нас и повел в помещение, отведенное для путешественников. В нем оказалось столько паломников, что у меня пропала всякая охота ночевать здесь, и я спросил, удастся ль мне найти пристанище в деревне.

— Пристанище-то найдется, — ответил с глубоким вздохом отшельник, — пустых домов там вдоволь — а все проклятый Горча!

— Как это понимать? — спросил я. — Старик Горча все еще жив?

— Да нет, он-то похоронен взаправду, и в сердце — кол! Но он у Георгиева сына высосал кровь. Мальчик и вернулся ночью, плакал под дверью, ему, мол, холодно и домой хочется. У дуры-матери, хоть она сама его и хоронила, не хватило духа прогнать мальчика на кладбище, — она и впустила его. Тут он набросился на нее и высосал у нее всю кровь. Когда ее тоже похоронили, она вернулась и высосала кровь у меньшого мальчика, потом — у мужа, а потом у деверя. Всем — один конец.

— А Зденка? — спросил я.

— Ах, она от горя с ума сошла, бедняжка, — уж лучше и не говорить!

В этом ответе была какая-то неопределенность, но переспросить я не решился.

— Вурдалаки — это как зараза, — продолжал отшельник и перекрестился, — сколько уж семей в деревне пострадало, сколько их вымерло до последнего человека, и вы меня послушайте и переночуйте в монастыре, а не то, даже коли вас в деревне не съедят вурдалаки, вы от них вес равно такого страху потерпите, что поседете прежде, чем я прозвоню к заутрене. Я, — продолжал он, — всего лишь бедный монах, но путешественники сами от щедрот своих дают столько, что и я могу позаботиться о них. Есть у меня отменный сыр, изюм такой, что посмотреть на него — слюнки потекут, да несколько бутылок токайского — не хуже того, что изволит пить сам святейший патриарх

В эту минуту на моих глазах отшельник словно превращался в трактирщика. Он, как мне подумалось, нарочно порассказал мне небылиц, чтобы дать мне случай сделать нечто угодное небесам и уподобиться щедро-

тами тем путешественникам, которые святому мужу столько дают, что и он может позаботиться о них.

Да и самое слово «страх» производило на меня то же действие, что звуки трубы на боевого коня. Мне себя было бы стыдно, если бы я не отправился немедленно Проводник мой, весь дрожа, просил позволения остаться здесь — это я охотно разрешил.

Мне потребовалось с полчаса, чтобы доехать до деревни Она, как выяснилось, была безлюдна. Ни в одном окошке не блестел огонь, нигде не слышалась песня. В тишине проехал я мимо всех этих домов, по большей части знакомых мне и остановился перед домом Георгия. То ли поддавшись чувствительным воспоминаниям, то ли движимый своей молодой смелостью, но я решил переночевать тут.

Я соскочил с лошади и постучал в ворота. Никто не отзывался. Я толкнул ворота, они под визг петель открылись, и я вошел во двор.

Не расседывая лошадь, я привязал ее под навесом, где оказался достаточный для ночи

запас овса, и направился прямо в дом.

Ни одна дверь не была затворена, а между тем все комнаты казались нежилыми. Только комната Зденки имела такой вид, как будто ушли из нее лишь вчера. На постели были брошены платья. На столе в лунном свете блестело несколько драгоценных вещей, подаренных мною, и среди них я заметил эмалевый крестик, который я купил в Пеште. Сердце у меня невольно сжалось, хотя любовь уже и прошла. Как бы то ни было, я закутался в плащ и улегся на постель. Скоро меня одолел сон. Того, что мне снилось, я не помню в подробностях, но знаю, что видел Зденку, прелестную, простодушную, любящую, как прежде. Глядя на нее, я упрекал себя в черствости и в непостоянстве. Как я мог, спрашивал я себя, как я мог бросить это милое дитя, которое меня любило, как мог я ее забыть? Вскоре мысль о ней слилась с мыслью о герцогине де Грамон, и в этих двух образах мне уже представлялась одна и та же женщина. Я пал к ногам Зденки и молил ее о прощении. Все мое существо, всю мою душу охватило невыразимое чувство грусти и любви.

Вот это мне и снилось, как вдруг меня наполовину пробудил некий гармоничный звук, подобный шелесту нивы, по которой пробегает ветерок. Мне будто слышался мелодичный звон колеблемых колосьев, и пение птиц сливалось с рокотом водопада и с шепотом листвы. Потом все эти неясные звуки мне представились не чем иным, как шорохом женского платья, и на этой догадке я остановился. Открыв глаза, я увидел Зденку около своего ложа. Луна сверкала так ярко, что теперь я до мельчайших подробностей мог во всей их прелести различить дорогие мне когда-то черты, а что они значили для меня — это впервые мне дал почувствовать мой сон. Зденка, оказывается, и похорошела и развилась. Она точно так же была полуодета, как и в прошлый раз, когда я видел ее одну, — в простой сорочке, вышитой золотом и шелком, и в юбке, туго стянутой у талии.

— Зденка! — сказал я, подымаясь с постели. — Зденка, ты ли это?

— Да, это я, — отвечала она голосом тихим и печальным, — это я, твоя Зденка, которую ты забыл. Ах, зачем ты не вернулся раньше?

Теперь всему конец, тебе надо скорее уезжать; еще минута и ты пропал! Прощай, милый, прощай навсегда!

— Зденка, — сказал я, — у тебя, мне говорили, много было горя. Иди ко мне, побеседуем — так тебе станет легче!

— Ах, милый, — промолвила она, — не всему надо верить, что про нас говорят, но только поезжай, поезжай скорей, а коли останешься — гибели не миновать.

— Да что это за беда мне угрожает, Зденка? И неужели нельзя мне пробыть и часа, одного только часа, чтобы поговорить с тобой?

Зденка вздрогнула, и какая-то странная перемена совершилась в ней.

— Да, — произнесла она, — час, один только час — верно ведь? — как в тот раз, когда я пела песню про старого короля, а ты пришел вот в эту комнату? Ты про то говоришь? Хорошо же, пускай, пробудь со мной час! Нет, нет, — опомнилась она вдруг, — уходи, уходи! Уходи скорей, слышишь, беги!.. Да беги же, пока не поздно!

Черты ее одушевляла какая-то дикая энергия.

Я не мог объяснить себе причину, которая заставляла ее так говорить, но Зденка была так хороша, что я решил, не слушаясь ее, остаться. Она же, уступив наконец моим просьбам, уселась рядом со мной, заговорила о прошлом и, краснея, призналась, что полюбила меня сразу, как увидела. Мне между тем становилась постепенно заметной огромная перемена, которая с ней произошла. Ее былая сдержанность сменилась какой-то странной вольностью в обращении. Во взгляде ее, когда-то таком застенчивом, появилось что-то дерзкое. И по тому, как она держалась со мной, я с изумлением понял, что в ней мало осталось от той скромности, которая отличала ее некогда.

«Неужели же, — думал я, — Зденка не была той чистой и невинной девушкой, какой она казалась два года тому назад? Неужели она только притворялась из страха перед братом? Неужели я так грубо был обманут добродетельной внешностью? Но тогда почему же она уговаривала меня уехать? Или это, чего доброго, какое-то утонченное кокетство? А я еще думал, что знаю ее! Но все равно! Если

Зденка и не Диана, какую я воображал ее себе, то я могу сравнить ее с другой богиней, не менее очаровательной и, ей-богу же, роль Адониса я предпочту роли Актеона!»

Если эта классическая фраза, с которой я обратился к самому себе, покажется вам старомодной, милостивые государыни, то примите в соображение, что я рассказываю вам о делах, случившихся в лето господне тысяча семьсот пятьдесят девятое. Мифология занимала тогда все умы, а я не имел притязаний на то, чтобы опередить свой век. Все с тех пор изменилось, а в не столь давние времена революция, упразднив воспоминания язычества, равно как и христианскую веру, поставила на их место богиню Разума. Богиня эта, милостивые государыни, никогда не покровительствовала мне, если я находился в обществе, подобном вашему, а в то время, о котором я повествую, я был менее чем когда-либо склонен приносить ей жертвы. Я всецело отдался чувству, которое влекло меня к Зденке, а она заигрывала со мной, и я весело отвечал ей в том же духе. Прошло уже некоторое время, как мы находились в такой упоительной

близости друг к другу, но вот, примерив Зденке забавы ради все ее драгоценности, я собрался надеть ей на шею эмалевый крестик, который нашел на столе. Зденка вздрогнула и отшатнулась.

— Милый, довольно ребячиться, — сказала она, — оставь эти побрякушки, поговорим лучше о тебе, о твоих делах!

Ее замешательство навело меня на всякие мысли. Внимательней приглядываясь к ней, я заметил, что на шее у нее не было, как раньше, всех тех образков, ладанок, которые сербы в великом множестве носят с детства до самой смерти.

— Зденка, — спросил я, — где образки, что ты носила на шее?

— Потеряла, — с раздражением в голосе ответила она и тотчас заговорила о другом.

Во мне заговорило какое-то темное предчувствие, я не сразу его и осознал. Я уже собрался уходить, но Зденка удерживала меня.

— Как же это, — сказала она, — ты просил меня побыть с тобой час, а уж хочешь ехать!

— Ты права была, Зденка, что уговаривала меня ехать, я как будто слышу шум, боюсь,

как бы нас не застали!

— Не бойся, милый, все кругом спит, лишь кузнечик в траве да жук на лету могут услышать, что я скажу тебе!

— Нет, Зденка, нет, надо мне ехать!

— погоди, погоди, — сказала Зденка, — ты дороже мне души моей, спасения моего, а ты говорил мне, что жизнь твоя и кровь — мои!..

— Но брат твой, Зденка, брат — чувствую я, что он придет.

— Успокойся, сердце мое, брат мой спит, его убаюкал ветер, что играет листвою. Сон его глубок, ночь длинна, а я тебя прошу — побудь со мной час!..

Зденка, когда говорила эти слова, была так хороша, что безотчетный ужас, томивший меня, уже уступил желанью остаться с ней. Все мое существо наполнило чувство, которое невозможно изобразить, — какая-то смесь боязни и вожделения. По мере того как моя воля ослабевала, Зденка становилась все нежнее, и я наконец решился уступить, вместе с тем давая себе слово быть настороже. Однако же я, как говорил вам только что, бывал всегда благодарен лишь наполовину, и когда Зденка,

заметив мою сдержанность, предложила прогнать ночной холод несколькими стаканами благородного вина, которое, по ее словам, достала у доброго отшельника, я согласился с такой готовностью, что она даже улыбнулась. Вино произвело свое действие. Неприятное впечатление, вызванное пропажей образков и ее нежеланием надеть крестик, совершенно рассеялось уже на втором стакане. Зденка в своем небрежном наряде, с чудесными полураспущенными волосами, с драгоценностями, блестевшими при лунном свете, показалась мне неотразимой. Я уже не сдерживал себя и крепко ее обнял.

Тут, милостивые государыни, мне было одно из тех таинственных откровений, объяснить которое я не сумею, но в которые я поневоле уверовал — в силу жизненного опыта, хотя раньше я и не склонен был признавать их.

Зденку я обвил руками с такой силой, что от этого движения крестик, который я вам показывал и который перед моим отъездом мне дала герцогиня де Грамон, острием вонзился мне в грудь. Острая боль, которую я ощутил в

этот миг, явилась для меня как бы лучом света, пронизавшего все вокруг. Я посмотрел на Зденку, и мне стало ясно, что черты ее, все еще, правда, прекрасные, искажены смертной мукой, что глаза ее не видят и что ее улыбка — лишь судорога агонии на лице трупа. В тот же миг я почувствовал в комнате тлетворный запах — как из непритворенного склепа. Страшная истина предстала мне теперь во всем своем безобразии, и я, хоть и слишком поздно, вспомнил о предостережениях монаха. Я понял всю опасность своего положения и осознал, что все будет зависеть от моей отваги и самообладания. Я отвернулся от Зденки, чтобы не дать ей заметить ужас, написанный, должно быть, на моем лице. Тут взгляд мой упал на окно, и я увидел страшно-го Горчу, который опирался на окровавленный кол и, не отрываясь, смотрел на меня глазами гиены. За другим окном вырисовывалось бескровное лицо Георгия, который в эту минуту до ужаса похож был на отца. Оба они, казалось, следили за каждым моим движением, и я не сомневался, что при первой же моей попытке бежать они набросятся на меня.

Поэтому я не показал вида, что их заметил, и огромным усилием воли заставил себя, милостивые государыни, да, заставил себя расточать Зденке такие же ласки, как и до этого страшного открытия. В то же время я с тоской и тревогой думал о том, как вырваться отсюда. Я заметил, что Горча и Георгий переглядываются со Зденкой и что им уже надоедает ждать. За стеной мне послышался также и голос женщины и крик детей, но такой ужасный, что его скорее можно было принять за вой диких кошек.

«Пора убираться, — подумал я, — и чем быстрее, тем лучше».

Обратившись к Зденке, я сказал погромче, — так, чтобы меня услышала ее страшная родня:

— Я, дитя мое, очень устал, хочется лечь и поспать несколько часов, но сперва надо мне сходить посмотреть, не съел ли мой конь свой овес. Ты, пожалуйста, не уходи и дождись меня.

Я коснулся губами ее холодных, безжизненных губ. Лошадь моя, вся в пене, так и рвалась со своей привязи. Она и не дотронулась

до овса, а от ржания, которым она меня встретила, я весь похолодел: я боялся, как бы оно не выдало мои намерения. Однако вампиры, слышавшие, наверно, мой разговор со Зденкой, еще не встревожились. Я посмотрел, открыты ли ворота, вскочил в седло и дал коню шпоры.

Выезжая из ворот, я успел заметить, что сборище вокруг дома было весьма многочисленно и что большинство пришельцев прижималось глазами к стеклам окон. Кажется, мое внезапное бегство озадачило их сперва, так как некоторое время я не различал в ночном безмолвии иных звуков, кроме мерного топота моего коня. Я уже почти поздравлял себя с удачей, к которой привела моя хитрость, как вдруг услышал позади некий шум — точно рев урагана, разбушевавшегося в горах. Кричали, выли и как будто спорили друг с другом тысячи голосов. Потом все они, точно по уговору, умолкли, и слышен стал только быстрый топот ног, как если бы отряд пехотинцев приближался беглым шагом.

Я погонял своего коня, немилосердно вонзая ему в бока шпоры. В крови моей разли-

вался лихорадочный огонь, я напрягся, делал над собой невероятные усилия, чтобы сохранить присутствие духа, и вдруг услышал позади себя голос:

— погоди, погоди, милый! Ты дороже мне души моей, спасения моего! погоди, погоди! Твоя кровь — моя!

И меня сразу же коснулось холодное дыхание, и Зденка сзади меня прыгнула на лошадь.

— Сердце мое, милый мой! — говорила она. — Вижу одного тебя, одного тебя хочу, я уже себе не госпожа, надо мной — высшая сила, — прости мне, милый, прости!

И, обвиняя руками, она пыталась опрокинуть меня назад и укусить за горло. Между нами завязалась страшная и долгая борьба. Защищался я с трудом, но в конце концов мне удалось схватить Зденку одной рукой за пояс, другою — за косы, и, приподнявшись на стременах, я бросил ее на землю.

Тут силы оставили меня, и начался бред. Тысячи безумных и ужасных образов, кривляющихся личин преследовали меня. Сперва Георгий и брат его Петр неслись по краям доро-

ги и пытались перерезать мне путь. Это им не удавалось, и я уже готов был возрадоваться, как вдруг, обернувшись, увидел старика Горчу, который, опираясь на свой кол, делал прыжки, подобно тирольцам, что у себя в горах таким путем переносят через пропасти. Горча тоже остался позади. Тогда его невестка, тащившая за собой своих детей, швырнула ему одного из мальчиков, а он поймал его на острие кола. Действуя колом, как пращой, он изо всех сил кинул ребенка мне вслед. Я уклонился от удара, но гаденыш вцепился — не хуже настоящего бульдога — в шею моего коня, и я с трудом оторвал его. Другого ребенка мне таким же образом кинули вслед, но он упал прямо под копыта лошади и был раздавлен. Не помню, что произошло еще, но когда я пришел в себя, было уже вполне светло, я лежал на дороге, а рядом издыхал мой конь.

Так кончилось, милостивые государыни, любовное увлечение, которое должно было бы навсегда отбить у меня охоту продолжать в том же духе. А стал ли я впоследствии более благоразумным — об этом вам могли бы рассказать некоторые из ровесниц ваших бабу-

шек.

Как бы то ни было, я и сейчас содрогаюсь при мысли, что если бы враги одолели меня, то и я тоже сделался бы вампиром, но небо того не допустило, и вот, милостивые государи-ни, я не только ничуть не жажду вашей крови, но и сам, хоть старик, всегда буду счастлив пролить свою кровь за вас!

## Встреча через триста лет

**Примечание:** *Оригинал написан по-немецки.*

Мы сидели чудесной летней ночью у нашей бабушки в саду, одни — собравшись вокруг стола, на котором горела лампа, другие же — расположившись на ступенях террасы. Время от времени легкое дуновение ветерка доносило до нас волну воздуха, напоенного благоуханием цветов, или дальний отголосок деревенской песни, а потом все опять затихало, и слышно было только, как о матовый колпак лампы бьются крыльями ночные мотыльки.

— Ну, что ж, дети мои, — проговорила бабушка, — вы не раз просили меня рассказать

какую-нибудь старую историю о привидениях... Если есть охота, садитесь в кружок, а я вам расскажу один случай из времен моей молодости, от которого вас всех бросит в дрожь, едва только вы останетесь одни и ляжете в постели.

Недаром эта ночь, такая тихая, напоминает мне доброе старое время, а ведь вот — можете, если угодно, смеяться надо мной — мне уже много лет кажется, что и природа стала не так хороша, как была когда-то. Нет больше тех чудесных, теплых и светлых дней, таких свежих цветов, таких сочных плодов; да, кстати, по поводу плодов, — не забыть мне никогда корзинку персиков, что прислал мне однажды маркиз д'Юрфе, молодой безумец, ухаживавшей за мной потому, что на лице у меня он нашел какую-то необыкновенную черточку, от которой и потерял голову.

По правде сказать, я недурна была в то время, и тот, кто сейчас видит мои морщины и седые волосы, не подозревает, что король Людовик Пятнадцатый прозвал меня розой Арденн, — имя, которое я вполне заслуживала, ибо вонзила немало шипов в сердце его вели-

чества.

А что до маркиза д'Юрфе, то могу вас уверить, дети мои, что, если бы он только захотел, я не имела бы удовольствия быть вашей бабушкой или, во всяком случае, вы носили бы другую фамилию. Но мужчинам совершенно недоступен смысл нашего кокетства: они либо приходят в неистовство, которым возмущают нас, либо, как дети, впадают в отчаянье и со всех ног бросаются в бегство ко двору какого-нибудь господаря Молдавии, как оно и было с этим сумасшедшим маркизом, с которым я потом встречалась много лет спустя, и он, замечу мимоходом, не сделался более благоразумным.

Возвращаясь к корзинке персиков, подаренной маркизом, скажу вам, что получила ее незадолго до его отъезда, в день святой Урсулы, то есть в мои именины, а они, как вам известно, приходятся на самую середину октября, когда раздобыть персиков почти невозможно. Этот знак внимания явился следствием того, что д'Юрфе держал пари с вашим дедом, который уже начинал ухаживать за мною и так был смущен удачей своего сопер-

ника, что на целых три дня занемог.

У этого д'Юрфе была благороднейшая внешность, какую мне вообще приходилось видеть, за исключением одного лишь короля, который, не будучи уже молодым, по праву считался самым красивым дворянином Франции. Ко всем внешним достоинствам у маркиза присоединялось еще одно преимущество, которое — могу признаться в этом теперь — имело для нас, молодых женщин, не менее притягательную силу. Он был величайший в мире шалопай, и я часто задавала себе вопрос, почему такие люди помимо нашей воли привлекают нас к себе. Единственное, по-моему, объяснение состоит в том, что, чем непостояннее у человека нрав, тем нам приятнее бывает привязать его к себе. И вот с обеих сторон задето самолюбие — кто кого перехитрит. Высшее искусство в этой игре заключается, дети мои, в том, чтобы уметь вовремя остановиться и не доводить своего партнера до крайности. Это я говорю, Элен, главным образом, для вас. Если вы кого-нибудь любите, дитя мое, не поступайте с ним так, как я поступила с д'Юрфе: знает бог, как я оплакивала

его отъезд и как укоряла себя за свое поведение. От этого признания не должна страдать память вашего деда, женившегося на мне полгода спустя, а это, без сомнения, был достойнейший и благороднейший человек, какого только можно встретить.

В то время я вдовела после смерти моего первого мужа, господина де Грамона, которого почти и не успела узнать, а вышла я за него, только чтобы не послушаться моего отца, единственного из людей, кого я боялась на земле. Вы легко можете догадаться, что дни моего вдовства не показались мне долгими; я была молода, хороша собой и могла делать решительно все, что хотела. Я и воспользовалась своей свободой, а как только кончился траур, очертя голову устремилась в водоворот балов и собраний, которые, замечу мимоходом, были куда веселее тогда, чем нынче.

На одном из таких собраний маркиз д'Юрфе и был мне представлен командором де Бельевром, старинным другом моего отца, никогда не покидавшего свой замок в Арденнах и поручившего меня его чисто родственным заботам. Всяким увещаниям со стороны по-

чтенного командора просто не было конца, но, будучи с ним как можно обходительнее и ласковее, я не очень-то поддавалась его уговорам, как вы вскоре сами увидите. Мне уже много приходилось слышать о господине д'Юрфе и не терпелось узнать, окажется ли он таким неотразимым, как мне его рисовали.

Когда он с очаровательной непринужденностью подходил ко мне, я посмотрела на него так пристально, что он смутился и даже не мог окончить только что начатую фразу.

— Сударыня, — сказал он мне потом, — у вас над глазами, чуть повыше бровей, есть чуть заметная складочка, которую я не сумел бы описать, но она придает вашему взгляду необыкновенное могущество...

— Сударь, — ответила я ему, — говорят, я очень похожа на портрет моей прапрабабушки, а от одного ее взгляда, как гласит предание в наших краях, упал в ров некий самонадеянный рыцарь, затеявший ее похитить и уже перемахнувший через стену замка.

— Сударыня, — сказал с учтивым поклоном маркиз, — если у вас те же черты лица, что и у вашей прапрабабушки, то я охотно по-

верю преданию; позволю себе лишь заметить, что на месте рыцаря я не считал бы себя побежденным и, как только выбрался бы из рва, так сразу бы снова взобрался на стену.

— Неужто, сударь?

— Без сомнения, сударыня.

— Неудача не повергнет вас в отчаянье?

— Смутиться иной раз я могу, но отчаяться в успехе — никогда!

— Что ж, посмотрим, сударь!

— Что ж, сударыня, посмотрим!

С этого часа между нами началась ожесточенная война: с моей стороны то было притворное безразличие, со стороны маркиза — все усиливающаяся нежная внимательность. Кончилось тем, что эта игра привлекла к нам всеобщее внимание, и командор де Бельевр сделал мне серьезный выговор.

Своеобразная была личность этот командор де Бельевр, и пора сказать о нем несколько слов. Вообразите себе человека высокого, сухощавого и важного, весьма учтивого, весьма речистого и никогда не улыбающегося. В молодости он показал на войне чудеса храбрости, граничащей с безумством, но он нико-

гда не знал, что такое любовь, и с женщинами был крайне робок. Когда мне случилось особенно приласкаться к нему (а это бывало всякий почтовый день, поскольку он добросовестно посылал отцу отчеты о моем поведении, как если бы я была еще маленькая девочка), у него едва разглаживались морщины на лбу, но он строил при этом такую забавную гримасу, что я тут же смеялась прямо ему в лицо, рискуя с ним поссориться. Мы оставались, однако, наилучшими друзьями, если не считать того, что сразу же вцеплялись друг в друга, как только речь заходила о маркизе.

— Герцогиня, я в отчаянии, ибо долг требует от меня, чтобы я сделал вам замечание...

— Да сделайте одолжение, милый командор.

— Вчера вечером у вас опять был маркиз д'Юрфе.

— Справедливо, милый командор, да и третьего дня тоже, и нынче вечером он тоже будет у меня, равно как завтра и послезавтра.

— Вот по поводу этих частых посещений я и хотел бы с вами поговорить. Вам небезыз-

вестно, сударыня, что отец ваш, а мой уважаемый друг, поручил вас моему попечению и что я за вас отвечаю перед богом, как если бы я имел счастье видеть в вас мою дочь...

— Да неужели вы, мой милый командор, опасаетесь, что маркиз выкрадет меня?

— Я полагаю, сударыня, что маркиз относится к вам с надлежащим уважением, которое удержит его от подобного намерения. И все же мой долг — предупредить вас, что внимание, проявляемое к вам маркизом, становится при дворе предметом разговоров, что я и себя упрекаю за это тем более, что именно я имел несчастье представить вам маркиза, и если вы немедленно не отдалите его от себя, то, к великому моему сожалению, я вынужден буду, как и подобает, вызвать его на дуэль!

— Но вы же шутите, милый мой командор, да и подобает ли вам такая дуэль! Вы забыли, что вы втрое старше его.

— Я никогда не шучу, сударыня, и все будет так, как я имел честь сказать.

— Да это же, сударь, просто оскорбительно! Это тиранство, которому нет имени! Если

мне нравится быть в обществе господина д'Юрфе, кто имеет право запретить мне встречаться с ним? Кто может запретить ему жениться на мне, если я дам согласие?

— Сударыня, — отвечал, грустно покачивая головой, командор, — поверьте мне, не это входит в намерения маркиза. Я достаточно знаю жизнь и вижу, что господин д'Юрфе, отнюдь не собираясь связывать себя, лишь гордится и хвастается своим непостоянством. И что бы случилось с вами, бедный цветок Арденн, если бы вы дали ему насладиться медом, заключенным между ваших лепестков, а этот красивый мотылек вдруг предательски упорхнул бы от вас?

— Ну, вот, теперь пошли оскорбительные обвинения! Знаете ли, милый мой командор, что если вы будете продолжать в этом духе, то заставите меня до безумия влюбиться в маркиза?

— Я знаю, сударыня, что отец ваш, а мой досточтимый друг, поручил вас моим попечениям, и что я готов даже досаждать вам, лишь бы только оказаться достойным его доверия и вашего уважения.

Так всякий раз кончались эти споры. Я остерегалась сообщать о них д'Юрфе, чтобы не дать ему еще более возомнить о себе, но вот в один прекрасный день командор явился ко мне с известием, что получил от моего отца письмо, в котором тот просит его быть моим провожатым и ехать со мной в наши поместья в Арденнах. Командор передал и письмо, адресованное мне. Отец выражал в нем желание повидаться со мной, а чтобы меня не слишком пугала осень, которую предстояло провести в лесной глуши, он сообщал мне, что несколько семейств из нашего соседства решили устроить празднество в замке Обербуа в четырех лье от нас.

Речь шла ни более ни менее, как о большом костюмированном бале, и отец советовал поторопиться с приездом, если я хочу принять в нем участие.

Имя Обербуа воскресило во мне множество воспоминаний. То были слышанные в детстве рассказы о старинном заброшенном замке и о лесе, окружавшем его. В народе жило одно предание, от которого меня всегда мороз подирал по коже: будто бы в том лесу пу-

тешественников иногда преследовал некий человек гигантского роста, пугающе бледный и худой, на четвереньках гонявшийся за экипажами и пытавшийся ухватиться за колеса, причем он испускал вопли и умолял дать ему поесть. Последнему обстоятельству он был обязан прозвищем «голодный». Называли его также «священник из Обербуа». Не знаю почему, но образ этого изможденного существа, передвигающегося на четвереньках, превосходил в моем воображении все самое ужасное, что только можно было представить себе. Часто вечером, возвращаясь с прогулки, я невольно вскрикивала и судорожно сжимала руку моей няни: мне мерещилось в сумраке, будто по земле между деревьями ползет отвратительный священник.

Отец не раз бранил меня за эти фантазии, но я невольно поддавалась им. Вот и все, что относится к лесу. А что до замка, то его история в некотором смысле была связана с историей нашего рода. Во времена войн с англичанами он принадлежал господину Бертрану д'Обербуа, тому самому рыцарю, который, так и не добившись руки моей прапрабабушки,

решил похитить ее силой и от одного ее взгляда сорвался с веревочной лестницы и свалился в ров. Господин Бертран получил только то, чего заслуживал, ибо это был, как рассказывают, рыцарь безбожный и вероломный, исполненный всяческой скверны, которая вошла в пословицу. Тем замечательней бесстрашие, выказанное моей прапрабабушкой, и вы можете себе представить, насколько мне льстило, что во мне видят сходство с портретом госпожи Матильды. Вы, впрочем, знаете этот портрет, дети мои, он висит в большой зале прямо над портретом сенешаля Бургундского, вашего внучатного прадеда, и рядом с портретом сеньора Гюга де Монморанси, породнившегося с нами в тысяча триста десятом году.

Глядя на лицо этой девушки, такое кроткое, можно бы усумниться в правдивости предания или отказать художнику в умении улавливать сходство. Как бы то ни было, если я когда-то и напоминала ее портрет, теперь бы вы с превеликим трудом нашли в нем что-нибудь общее со мной. Да не об этом и речь сейчас. Итак, я сказала, что господин Бертран

поплатился за свою дерзость, выкупавшись во рву нашего замка. Не знаю, исцелил ли его от любви подобный афронт, но говорят, что он пытался утешиться с шайкой греховодников, таких же распутников и нечестивцев, как и он сам. И он предавался сластолюбию и чревоугодию в обществе некой госпожи Жанны де Рошэгу, которая, дабы угодить ему, умертвила своего супруга. Я вам, дети мои, пересказываю то, что сама слышала от няни, и пересказываю лишь затем, чтобы лучше дать понять, как меня всегда пугал этот гадкий замок Обербуа и какой диковинной мне показалась мысль — устроить там костюмированный бал.

Письмо отца причинило мне ужасное расстройство. Хотя мои детские страхи тут были ни при чем, но мне очень не по вкусу пришелся отъезд из Парижа — тем более что командор де Бельевр, как я догадывалась, в немалой степени был причастен к тому приказанию, которое он же мне и принес. Самая мысль о том, что со мной обращаются как с девочкой, возмущала меня; я догадалась, что господин де Бельевр, навязывая мне путеше-

ствие в Арденны, хотел только одного — помешать моим частым встречам с д'Юрфе. Я дала себе слово расстроить эти планы, и вот как я принялась за дело.

Когда ко мне явился маркиз, я повела с ним разговор в насмешливом тоне и дала ему понять, что, поскольку сама я покидаю Париж, а он моего благорасположения не завоевал, тем самым он может считать себя проигравшим игру.

— Сударыня, — отвечал мне д'Юрфе, — один из моих замков (так уж угодно случаю) расположен в одном лье от дороги, которой вам предстоит ехать. Смею ли я надеяться, что вы не откажете в утешении бедному побежденному и позволите оказать вам гостеприимство в пути?

— Сударь, — холодно возразила я, — как-никак это будет крюк, да к тому же — на что вам вновь встречаться со мной?

— Умоляю вас, сударыня, не доводите меня до отчаяния — не то, клянусь вам, я решусь на какой-нибудь безумный шаг!

— Может быть, похитите меня?

— Я и на это способен, сударыня. Я громко

расхохоталась.

— Вы отрицаете такую возможность?

— Отрицаю, сударь, и предупреждаю вас, что для такой затеи нужна смелость необыкновенная — ведь я поеду с командором де Бельевром и под очень сильной охраной!

Маркиз улыбнулся и замолчал.

Мне, само собою разумеется, было небезызвестно, что у господина д'Юрфе есть имение в сторону Арденн, и это обстоятельство я принимала в расчет. Однако, чтобы вы не составили себе слишком уж дурного мнения о вашей бабушке, прежде всего вам скажу, что мой вызов маркизу был не чем иным, как шуткой, и что я только хотела подразнить командора, давая маркизу случай увидеться со мной в дороге.

Если бы при всем том господин д'Юрфе отнесся всерьез к моим словам, в моей власти было бы рассеять его заблуждение, а по правде сказать, мысль о том, что меня будут пытаться похитить, не заключала в себе ничего особенно неприятного для молодой женщины, жаждущей сильных ощущений и кокетливой сверх всякой меры.

Когда настал день нашего отъезда, я не могла не изумиться, увидав, насколько меры предосторожности, принятые командором, превосходили все то, что в те времена полагалось для путешествий. Кроме повозки, в которой помещалась кухня, имелась еще и другая — для моей постели и принадлежностей туалета. Два лакея на запятках вооружены были саблями, а мой камердинер, сидевший рядом с кучером, держал в руках мушкетон, дабы наводить страх на грабителей. Чтобы достойным образом подготовить для ночлега те комнаты, где мне предстояло отдыхать, был заранее послан обойщик, а впереди нас ехали верхом двое слуг, которые днем кричали встречным, чтобы они сторонились, а с наступлением темноты освещали наш путь факелами.

Щепетильнейшая учтивость не покидала командора в путешествии, как не изменяла она ему и в гостиных. Началось с того, что он задумал усесться напротив меня и без конца стал разводить церемонии — как это он расположится в карете рядом со мной на заднем сиденье?

— Да что это вы, командор, неужели вы меня боитесь, что хотите устроиться спереди?

— Вы не можете сомневаться, сударыня, в том, что мне приятно было бы сидеть подле дочери моего лучшего друга, но я бы нарушил мой долг, если бы доставил хоть самое маленькое неудобство той, которую в эту минуту призван охранять!

К своей задаче — охранять меня — он относился до того серьезно, что не проходило и пяти минут, чтобы он не спросил меня, хорошо ли мне сидеть и не дует ли на меня.

— Да оставьте вы меня, пожалуйста, в покое, командор, — вы просто невозможны!

Тогда он выпускал глубокий вздох и строго окликал кучера, наказывая ему — приложить все старания, чтобы избавить меня от тряски и толчков.

За день мы проезжали немного, и командор настаивал, чтобы я что-нибудь ела на каждой остановке. Помогая мне выйти из кареты, он всегда снимал шляпу, прежде чем подать мне руку, а ведя меня к столу, всякий раз рассыпался в извинениях, что кушанья здесь подаются совсем не такие, как в моем

доме на улице Варенн.

Как-то раз, когда я имела неосторожность сказать, что люблю музыку, он велел принести себе гитару и исполнил воинственную песнь мальтийских рыцарей с такими громовыми руладами и так выкатывая глаза, что делалось просто страшно. По струнам он ударял до тех пор, пока не порвал их. Тут он стал рассыпаться в учтивостях и замолчал.

Так как моих слуг с нами было столько же, сколько и слуг командора, то он всем приказал носить ливрею с моим гербом, чтобы не могло и показаться, будто я путешествую в его карете. Но вся эта внимательность не трогала меня, ибо в господине де Бельевре я видела не столько друга, сколько ментора и скучного педанта.

Заметив, что в карманах у него полно булавок, мотков шелка и прочих мелочей, которые могли бы потребоваться для моего туалета, я забавы ради спрашивала у него всякую всячину, будто бы понадобившуюся мне, — лишь бы застать его врасплох.

Мне это долго не удавалось.

Как-то раз я вскрикнула:

— Ах, меня мутит!

Командор тотчас же опустил руку в один из карманов, извлек оттуда бонбоньерку с какими-то лепешками и молча подал мне ее.

Другой раз я притворилась, что у меня болит голова.

Командор поискал в карманах и, достав флакон «Эликсира королевы», попросил разрешения попрыскать мне на волосы.

Я чуть не упала духом.

Наконец, мне пришлось на ум сказать, что я потеряла румяна, и нетерпеливо спросила господина де Бельевра, подумал ли он захватить с собой несколько баночек.

Предусмотрительность командора так далеко не простиралась. Он густо покраснел и стал рассыпаться в извинениях.

У меня хватило злости притвориться, будто я плачу, и я сказала, что меня доверили человеку, ничуть не заботящемуся обо мне.

Я почувствовала себя наполовину отомщенной: командор счел себя опозоренным, горько грустил и весь тот день молчал. Мне, однако, в конце концов, мало уже было и удовольствия мучить своего ментора. Не

знаю, что бы я придумала еще, если бы случай иного рода не нарушил однообразие нашего путешествия.

Однажды вечером, когда мы ехали вдоль опушки леса, из-за поворота дороги внезапно появился всадник, окутанный плащом, наклонился к окну кареты и тотчас же скрылся. Все произошло так быстро, что я почти и не заметила, как всадник бросил мне на колени записочку. А командор и вовсе ничего не увидел. В записке было всего несколько строк: «В одном лье отсюда вам придется заночевать. Когда все уснут, под вашими окнами остановится карета. Если вы разбудите ваших людей, я лучше погибну у вас на глазах, чем откажусь от попытки, на которую вы меня считаете неспособным и успех которой только и придаст для меня цену жизни».

Узнав почерк маркиза, я глухо вскрикнула — командор обернулся в мою сторону.

— Что с вами, сударыня? — спросил он, крайне удивленный.

— Да ничего, — ответила я, пряча записку, — ногу вдруг свело судорогой.

Эта ложь, к которой я прибегла за тридцать

цать лет до появления «Севильского цирюльника», доказывает вам, что она впервые пришла в голову мне, а не Бомарше, как вы могли бы подумать.

Командор тотчас же опустил руку в один из карманов, вынул магнит и подал его мне, чтобы я приложила его к больному месту.

Чем больше я размышляла о дерзости маркиза, тем больше я восхищалась его рыцарской смелостью. Я почувствовала благодарность к моде того времени, требовавшей, чтобы женщина знатная носила в путешествии черную полумаску, ибо иначе от командора не ускользнуло бы мое волнение. Я ни одного мгновения не сомневалась, что маркиз осуществит свое намерение, и не стану скрывать, что, зная фанатизм господина де Бельевра по части долга, я в то время гораздо больше опасалась за жизнь господина д'Юрфе, чем за свое доброе имя.

Вскоре оба лакея, ехавшие впереди верхом, вернулись и сообщили, что из-за повреждения моста мы не сможем отдыхать в селении, выбранном господином де Бельевром для ночлега, но что наш квартирмейстер уже

приготовил ужин в охотничьем домике, расположенном у большой дороги и принадлежащем господину маркизу д'Юрфе.

Я увидела, как при этом имени командор нахмурил брови, и испугалась, как бы он не разгадал планы маркиза.

Этого, однако, не произошло, мы доехали до охотничьего домика, а у командора никаких подозрений, как видно, не возникало. После ужина, как это и бывало каждый вечер, он отвесил мне низкий поклон, испросил разрешения удалиться и пожелал спокойной ночи.

После его ухода я отослала горничных и не стала раздеваться, ожидая скорого появления господина д'Юрфе, с которым я, впрочем, намерена была обойтись так, как он того заслуживал, стараясь, однако, не навлечь на него гнев командора.

Едва прошел час, как я услышала на дворе легкий шум. Я отворила окно и увидела маркиза, поднимавшегося по веревочной лестнице.

— Сударь, — сказала я ему, — удаляйтесь немедленно, или я позову людей!

— Сжальтесь, сударыня, выслушайте меня!

— Я ничего не хочу слушать, и если вы только попробуете войти сюда, я позвоню, клянусь вам!

— Тогда велите меня убить — ведь я же поклялся, что похитить вас помешает мне только смерть!

Не знаю, что мне было делать или отвечать, как вдруг быстро отворилось окно соседней комнаты, и в нем показался командор со светильником в руке.

Господин де Бельевр переоделся в халат темно-красного цвета, а парик сменил на остроконечный ночной колпак; теперь в его облике было что-то причудливо внушительное, он казался похож на волшебника.

— Маркиз! — вскричал он громовым голосом. — Благоволите удалиться отсюда!

— Господин командор, — ответил маркиз, все еще держась на лестнице, — я счастлив видеть вас в моем доме.

— Господин маркиз, — продолжал командор, — я в отчаянии от того, что должен вам объявить, но если вы не спуститесь точас же, я буду иметь честь застрелить вас!

Тут он поставил светильник на подоконник и направил на маркиза дула двух огромных пистолетов.

— Да что вы, командор! — закричала я, высовываясь из окна. — Это же будет убийство!

— Герцогиня, — ответил господин де Бельевр, учтиво кланяясь из окна, — сделайте милость, извините меня, что я предстаю пред вами в столь неподходящем виде, но в этих чрезвычайных обстоятельствах я надеюсь на снисхождение, о котором не решился бы просить вас во всякое иное время: Благоволите также извинить меня, что на этот раз я не спешу повиноваться вам с тем слепым рвением, которое я всегда вменяю себе в закон, но ваш отец, а мой почитаемый друг, доверил вас моему попечению, и его доверие столь для меня лестно, что я готов заслужить его любой ценой, не отступая даже и перед убийством.

При этих словах командор снова поклонился и зарядил пистолеты.

— Пускай, — сказал маркиз, — это будет дуэль в новом роде!

И, не спускаясь с лестницы, он тоже вынул

из кармана пару пистолетов.

— Командор, — проговорил он, — погасите светильник, ведь он делает мое положение более выгодным, чем ваше, а я не желал бы воспользоваться этим преимуществом.

— Господин маркиз, — отвечал командор, — благодарю вас за любезность и могу только порадоваться, что вижу в ваших руках пистолеты, ибо для меня было бы невыносимо стрелять в безоружного.

После этого он погасил свечу и стал целиться в маркиза.

— Да вы оба с ума сошли! — закричала я. — Вы же погубите меня — разбудите весь дом! Маркиз, — продолжала я, — прощаю ваше безрассудство с тем условием, что вы немедленно же спуститесь. Слышите, сударь, я приказываю вам спуститься!

Мой взгляд должен был дать ему понять, что всякое промедление только сильнее рассердит меня.

— Сударыня, — произнес тогда маркиз, намекая на слова, которыми мы обменялись при первом нашем знакомстве, — своим взглядом вы сбрасываете меня с лестницы, но

владетельная красавица Матильда может быть уверена, что рыцарь Бертран станет всеми средствами искать встречи с ней хотя бы лишь затем, чтобы умереть у ее ног!

И, завернувшись в свой плащ, он исчез в темноте.

Командор на следующий день ни слова не проронил о случившемся, и не было у нас об этом больше речи и потом.

Когда же до замка моего отца оставалось всего только полдня пути, нас под вечер застигла ужасная гроза. Гром грохотал с неслыханной силой, а молнии следовали с такой стремительностью, что даже сквозь опущенные веки их сверкание ослепляло меня.

Вы, дети мои, знаете, что я никогда не выносила грозу. Мной овладел какой-то непонятный страх, я дрожала как лист и прижималась к командору, который счел себя обязанным принести мне извинения.

Мы двигались крайне тихо — мешали деревья, поваленные грозой на дорогу. Уже совсем стемнело, как вдруг кучер резко остановил лошадей и обратился к командору со словами:

— Виноват, сударь, я не туда заехал. Мы в лесу Обербуа, узнаю его по тому старому дубу с обрубленными ветвями!

Не успел от произнести эти слова, как удар грома потряс весь лес, молния упала у самой кареты, и напуганные лошади закусили удила.

— Матерь божия, смилуйся над нами! — воскликнул кучер, наматывая вожжи на руку. Но лошади ему уже не повиновались.

Мы неслись во весь опор, то справа, то слева о что-то ударяясь и каждый миг ожидая, что вот-вот разобьемся о деревья.

Я была ни жива ни мертва и ничего не понимала в речах господина де Бельевра, ибо к свисту ветра и раскатам грома, как мне казалось, примешивались некие странные звуки. Я уже несколько раз слышала совсем близко душераздирающие стенания, а потом раздавался вопль: «Есть хочу, есть хочу!»

Внезапно кучер, все время сдерживавший лошадей, отпустил вожжи и с страшным криком начал их хлестать.

— Жермен, негодяй! — окликнул его командор. — С ума ты сошел?

Жермен обернулся, и при свете молнии мы увидели его смертельно-бледное лицо.

— Это священник! — произнес он сдавленным голосом. — Священник за нами гонится.

— Останови, дурак; твоя вина, если герцогиня голову сломает! Останови — или я тебя застрелю.

Не успел господин де Бельевр договорить, как мы почувствовали страшный толчок, меня выбросило из кареты, и я потеряла сознание.

Не знаю, сколько времени продолжался этот обморок, но очнулась я от звуков музыки, игравшей неподалеку.

Я открыла глаза, и оказалось, что кругом — лес, а я лежу на мху.

Гроза кончилась. Гром еще погромыхивал в отдалении, а на деревьях тихонько шевелилась листва, и над их верхушками проплывали облака причудливой формы. Воздух напоен был благоуханиями, от которых я вновь погрузилась бы в сладостное оцепенение, как вдруг на лицо мне упало, стекая с листьев, несколько капель дождевой воды, сразу освеживших меня.

Я села и, осмотревшись, увидела примерно в ста шагах ярко освещенные сводчатые окна. Вскоре я различила за деревьями остроконечные башенки некоего замка, который, как я тут же установила, не был замком моего отца. «Где же это я нахожусь?» — подумала я. Понемногу я вспомнила, как понесли лошади и как меня выбросило из кареты. Но в голове у меня все еще была такая слабость, что эти обрывки воспоминаний вскоре же сливались с другими мыслями, и я, очутившись внезапно в таком одиночестве, даже не удивлялась, что не вижу подле себя ни господина де Бельевра, ни кого бы то ни было из моих слуг.

Музыка, заставившая меня очнуться, все продолжала звучать. Тогда меня осенило, что, может быть, я нахожусь около замка Обербуа и что гости собрались там на тот самый костюмированный бал, о котором упоминалось в письме отца. Тут же мне припомнились и последние слова господина д'Юрфе, сказанные им в охотничьем домике, и я подумала, что при том упорстве, с которым он всюду следует за мной, он непременно должен оказаться на этом балу.

Я поднялась и, не чувствуя ни малейшей боли, быстрыми шагами направилась к замку.

Это было обширное здание сурового облика и в значительной части разрушенное. В лучах луны я могла заметить, что стены поросли мохом и покрыты плющом, ветки которого гирляндами свисали кое-где с высоких башен, живописно раскачиваясь и темными очертаниями выделяясь на серебристо-синем фоне ночного неба.

Я остановилась, чтобы полюбоваться этим зрелищем.

Мыслями я в тот миг, не знаю уж как и почему, унеслась далеко-далеко. Передо мною, словно в свете волшебного фонаря, пронеслись давно забытые картины детства. С необыкновенной яркостью возникли в моей памяти отдельные черты из времен ранней моей юности. И среди этих образов я вдруг увидела мою мать, которая грустно мне улыбалась. Мне захотелось плакать, и я несколько раз поцеловала крестик, ее подарок, с которым не расставалась никогда.

Вдруг мне послышался где-то вдали голос

командора, который звал меня.

Я стала прислушиваться, но тут флюгер на крыше, поворачиваясь, закрипел, и этот звук, подобный скрежету зубов, помешал мне уловить звавший меня голос.

Я решила, что мне это померещилось, и вошла во двор. Там не видать было ни карет, ни слуг, однако туда доносились откуда-то и громкий смех, и нестройный гул голосов. Я поднялась по лестнице весьма крутой, но ярко освещенной когда я достигла верхней площадки, в лицо мне подул холодный ветер, а в воздухе, вспорхнув, заметалась испуганная сова, ударяясь крыльями о светильники, прикрепленные к стенам.

Чтобы ночная птица меня не задела, я нагнула голову. Когда же я снова выпрямилась, передо мной стоял высокий рыцарь в полном вооружении.

Он подал мне руку, одетую в броню, и из-под спущенного забрала до меня донесся глухой голос:

— Прекрасная госпожа моя, дозвольте верному вашему слуге принять вас в своем замке и почитайте оный за вашу собственность, как

и все его добро.

Я вспомнила слова, брошенные господином д'Юрфе, когда я ему приказала спуститься с лестницы, и, будучи уверена, что незнакомый рыцарь — не кто иной, как любезный маркиз, я ответила ему в том же тоне:

— Не изумляйтесь, пресветлый государь мой, что узрели меня в сих местах, ибо, заблудившись в лесу, пришла я к вам, дабы приютили меня, как всякому доброму и храброму рыцарю поступать надлежит.

Затем я вошла в обширную залу, где много было народу, и все эти люди, собравшись за накрытым столом, смеялись и пели. Одеты они все были как знатные господа времен Карла Седьмого, а так как в церкви Сен-Жермен в Оксерре я видела живопись той поры, то и могла по достоинству оценить историческую точность, соблюденную в малейших деталях их одежды. Сильнее же всего мое внимание привлекла прическа одной высокой и красивой дамы, по-видимому, хозяйки на этом пиршестве. Волосы ее были покрыты сеткой, весьма искусно и безукоризненно изящно сплетенной из золотых нитей с жем-

чугом. Но меня, несмотря на красоту этой женщины, прежде всего поразило злое выражение ее лица.

Как только я вошла, она с любопытством, совершенно неприличным, принялась меня рассматривать и сказала так, чтобы я могла слышать:

— Коли не ошибаюсь, так это и есть прекрасная Матильда, а за ней волочился господин Бертран, пока со мной не спознался!

Потом, обратившись к рыцарю, едким тоном проговорила:

— Сердце мое, велите увести ту даму, ежели не хотите, чтобы я вас ревновала!

Шутка показалась мне весьма грубой, тем более что я не была знакома с женщиной, позволившей себе такие слова. Я хотела дать ей почувствовать все их неприличие и уже собиралась обратиться к господину д'Юрфе (на этот раз прибегая к речи более современной), но мне помешал шум и ропот, поднявшийся вдруг среди гостей.

Они что-то говорили друг другу, многозначительно переглядывались и перемигивались, указывая друг другу на меня.

Внезапно дама, заговаривавшая с рыцарем, схватила светильник и приблизилась ко мне так стремительно, что, казалось, она скорее летит, а не идет.

Она высоко подняла светильник и обратила внимание присутствующих на тень, отбрасываемую мною.

Тут со всех сторон раздались крики возмущения, и я слышала слова, которые повторялись в толпе:

— Тень-то! Тень-то! Не наша она!

Сперва я не поняла смысла этих слов, но, осмотревшись кругом, чтобы разгадать их значение, со страхом увидела, что ни у кого из окружавших меня не было тени: все они скользили мимо факелов, не заслоняя собою их свет.

Мной овладел невыразимый ужас. Чувствуя, что я лишаюсь сил, я поднесла руку к сердцу. Мои пальцы коснулись крестика, который я недавно целовала, и мне вновь слышался голос командора, зовущий меня. Я хотела бежать, но рыцарь сжал мне руку своей железной дланью и принудил меня остаться.

— Не страшитесь, — проговорил он, — клянусь погибелью души моей — не потерплю, чтобы кто обидел вас, а дабы никто и не помышлял о том, сейчас же священник благословит нас и повенчает!

Толпа расступилась, и к нам подполз на четвереньках длинный францисканец, бледный и худой.

Его как будто мучили жестокие боли, но в ответ на все его стоны дама с жемчугами в волосах как-то неестественно засмеялась и, повернувшись к рыцарю, сказала:

— Вот видите, сударь, видите, наш приор опять кобенится, как триста лет назад.

Рыцарь приподнял забрало. Лицо его, несколько не напоминавшее д'Юрфе, было мертвенно-бледно, а взгляд носил печать такой зверской жестокости, что я не могла его выдержать. Глаза его выступали из орбит и были устремлены на меня, а приор, ползая по полу, гнусавил между тем молитвы, которые время от времени прерывались такими страшными проклятиями и криками боли, что волосы у меня дыбом вставали на голове. Холодный пот выступал у меня на лбу, но я не

в состоянии была и пошевелиться, ибо своим рукопожатием господин Бертран отнял у меня всякую способность к действию, и мне оставалось только смотреть и слушать.

Когда, наконец, францисканец, обращаясь к присутствующим, стал возвещать о моем бракосочетании с господином Бертраном д'Обербуа, страх и негодование придали мне вдруг силу сверхъестественную. Сделав резкое усилие, я высвободила руку и, держа в ней крест, подняла его над призраками:

— Кто бы вы ни были, — воскликнула я, — именем бога живого приказываю вам: исчезните.

При этих словах лицо господина Бертрана совершенно посинело. Он покачнулся, и я услышала, как гулко, словно бы это был железный чан, ударились о плиты пола рыцарские латы.

В то же мгновение исчезли и все остальные призраки, налетел ветер и погасил огни.

Теперь кругом меня были развалины обширного здания. При свете луны, проникавшем в одно из сводчатых окон, мне почудилось, будто передо мной еще мечется целая

толпа францисканцев, но и это видение исчезло, как только я осенила себя крестом. До меня еще донеслись замирающие звуки молитвы, еще различила я и слова: «Есть хочу, есть хочу!» — а потом уже только шумело в ушах.

Меня одолела усталость, и я впала в дремоту.

Когда я очнулась, меня уже нес какой-то человек, широкими шагами перемахивавший через пни деревьев и кусты. Я открыла глаза и при лучах утренней зари узнала командора; одежда его была разорвана и запачкана кровью.

— Сударыня, — сказал он мне, когда увидел, что я в состоянии его слушать, — если самое жестокое мгновение в моей жизни было то, когда я потерял вас, то уверяю, что ничто бы сейчас не могло сравниться с моим счастьем, если бы его не отравляла мысль о том, что мне не удалось предотвратить ваше падение.

Я ответила ему:

— Да бросьте вы сокрушаться, командор, и положите меня на землю: я чувствую себя

разбитой, а судя по тому, как вы меня несете, из вас, пожалуй, хорошей няньки не получится!

— Если так, сударыня, — сказал господин де Бельевр, — то вините не мое рвение, а сломанную левую руку!

— Боже мой! — вскричала я. — Как же это вы сломали себе руку?

— Когда бросился за вами, сударыня, как мне повелевал мой долг, едва только я увидел, что дочь моего почитаемого друга выпала из кареты.

Тронутая самоотверженностью господина де Бельевра, я уговорила его позволить мне идти самой. Я предложила ему также сделать из моего платка повязку, но он ответил, что состояние его не требует таких забот и что он более чем счастлив, имея здоровую руку, которой готов мне служить.

Мы еще не успели выбраться из леса, как встретили слуг с портшезом — их выслал в эту сторону мой отец, узнав о несчастном случае от наших лакеев. Сам он продолжал еще поиски в другом направлении. Вскоре мы соединились. Он, как меня увидел, очень встре-

вожился и сразу же начал хлопотать около меня. Потом ему захотелось обнять и господина де Бельевра, с которым он не видался много лет. Но командор отступил на один шаг и сказал моему отцу тоном весьма серьезным:

— Милостивый государь и любезнейший друг! Доверив мне вашу дочь, то есть самое драгоценное, что есть у вас на свете, вы дали мне такое доказательство дружбы, которым я был глубоко тронут. Но я оказался недостойн этой дружбы, ибо, несмотря на все мои старания, я не мог помешать тому, чтобы гром напугал наших лошадей, чтобы карета разбилась, а дочь ваша упала посреди леса, где и оставалась до утра. Итак, вы видите, милостивый государь и дорогой друг, что я не оправдал вашего доверия, а поелику справедливость требует, чтобы я дал вам удовольствие, то я и предлагаю вам либо драться на шпагах, либо стреляться; сожалею, что состояние моей левой руки делает для меня невозможной дуэль на кинжалах, которой, быть может, вы бы отдали предпочтение, но вы — человек слишком справедливый, чтобы упрекнуть меня в недостатке доброй воли, а для всякой

иной дуэли я — к вашим услугам в тот час и в том месте, какие вам угодно будет указать.

Моего отца весьма удивило такое заключение, и лишь с величайшим трудом удалось нам убедить командора, что он сделал все возможное для человека в подобных обстоятельствах и что для смертоубийства нет никаких оснований.

Тогда он с жаром обнял моего отца и сказал ему, что очень обрадован таким исходом дела, ибо ему было бы горестно убить лучшего своего друга.

Я попросила господина де Бельевра рассказать, как он меня нашел, и узнала от него, что, бросившись вслед за мною, он ударился головою о дерево и от этого на время потерял сознание. Придя в себя, он обнаружил, что левая рука у него сломана, но это не помешало ему отправиться на мои поиски, в течение которых он неоднократно звал меня. В конце концов после долгих стараний он нашел меня в обмороке среди развалин замка и унес, обхватив правой рукой.

Я, в свою очередь, рассказала, что со мною случилось в замке Обербуа, но отец отнесся к

моим словам так, как будто все это мне приснилось и пригрезилось. Я выслушивала его шутки, но в глубине души была вполне уверена, что видела не сон, — к тому же я ощущала и сильную боль в руке, которую своей железной дланью сжал рыцарь Бертран.

Все перенесенные тревобления так на меня подействовали, что вызвали лихорадку, которой я проболела больше двух недель.

В течение этого времени отец и командор (руку которого лечил здешний хирург) постоянно играли в шахматы у меня в комнате либо рылись в большом шкафу, набитом всякими бумагами и старинными пергаментами.

Однажды, когда я лежала, закрыв глаза, я услышала, как отец говорил командору:

— Вот прочитайте, друг мой, и скажите, что вы об этом думаете.

Мне стало любопытно, и, приоткрыв глаза, я увидела, что отец держит в руках совершенно пожелтевший пергамент с несколькими привешенными к нему восковыми печатями, какие в былое время полагалось прикреплять к парламентским указам и королевским эдиктам.

Командор взял пергамент и принялся читать вполголоса, часто оборачиваясь в мою сторону, послание короля Карла Седьмого ко всем баронам в Арденнах, коим сообщалось и объявлялось об изъятии в казну поместий рыцаря Бертрана д'Обербуа и госпожи Жанны де Рошэгу, обвиненных в без-божии и всякого рода преступлениях.

Послание начиналось в обычных выражениях:

«Мы Карл Седьмой, милостию божиею король Франции, шлем благоволение свое всем, кто читать будет сии письма. Всем вассалам нашим, баронам, владетельным господам, рыцарям и дворянам да будет ведомо, что чиновники наши, владетельные господа и дворяне донесли нам о бароне нашем господине рыцаре Бертроне д'Обербуа, каковой рыцарь злокозненно и злонравно непокорство оказывал нам и власти нашей королевской противоборствовал», и прочая, и прочая, и прочая. Следовал длинный список прегрешениям рыцаря Бертрана, который, как было сказано, «о благе святой церкви нашей не радел, оной не почитал, постов и вовсе не со-

блюдал, как если бы так и подобало, годы многие во грехах не исповедовался и плоти и крови господа нашего и спасителя Иисуса Христа не причащался».

«И столь премерзостно сотворил выше реченный рыцарь, — гласил далее пергамент — что мерзостней того и сотворить невозможно, понеже в ночь успения пресвятой владычицы нашей богородицы, веселясь на пире буйном и богопротивном, господин тот Бертран рек: „Погибелью души моей клянусь! Жизни вечной не бывать и в жизнь оную не верю нисколько, а коли она есть, так я, хоть бы и душу за то отдать сатане, ворочусь через триста лет с сего дня в замок мой, дабы веселиться и пировать, и в том поклясться и побожиться готов!“»

Как говорилось далее в послании, эти дерзкие слова столь понравились прочим сотрапезникам, что все они тоже дали клятву встретиться ровно через триста лет, в такой же точно день и час в замке рыцаря Бертрана, за какое деяние они объявлялись вероотступниками и безбожниками.

Так как вскоре после произнесения столь

ужасных слов рыцарь Бертран был найден «удавленным, сиречь удушенным» в своих доспехах, его тем самым уже не могло коснуться возмездие за совершенные преступления, но его поместья были взяты в казну, равно как и владения его доброй приятельницы госпожи Жанны де Рошэю, которая обвинялась — милая забавница! — еще и в том, что сгубила приора одного францисканского монастыря, воспользовавшись сперва его помощью для убийства своего супруга. То, как она умертвила этого недостойного священника, было чудовищно: она велела перерезать ему оба подколенка и бросить искалеченного в лесу Обербуа, «и на сие горестно было взирать, ибо выше реченный священник ползал и корчился прежалостно, доколе не умре с голоду в том лесу».

В конце послания не заключалось ничего существенного, кроме того, что одному из наших предков повелевалось именем короля вступить во владение замками рыцаря Бертрана и госпожи Жанны.

Когда командор дочитал, отец спросил его, в какой именно день мы приехали.

— Это было в ночь на усенье божьей матери, — отвечал господин де Бельевр. — В ту ночь я имел несчастье потерять и счастье вновь найти госпожу герцогиню, вашу дочь.

— Послание помечено тысяча четыреста пятьдесят девятым годом, — продолжал мой отец, — а у нас сейчас год тысяча семьсот пятьдесят девятый. В ночь на усенье с тех пор прошло, значит, ровно триста лет. Не надо, командор, говорить про это моей дочери — пусть лучше она думает, что видела сон.

При этих словах я вся побледнела от ужаса. Отец и командор это заметили и обменялись беспокойным взглядом. Но я сделала вид, что только сейчас проснулась, и сказала, что чувствую необычайный упадок сил.

Несколько дней спустя я совершенно выздоровела.

Вскоре же я уехала в Париж опять в сопровождении господина де Бельевра. Я снова встретила с д'Юрфе, который оказался еще более, чем прежде, влюбленным в меня, но я по проклятой привычке к кокетству держалась с ним еще более холодно, продолжая его мучить и шутить над ним, в особенности по

поводу его неудавшейся попытки похитить меня.

Во всем этом я так преуспела, что в одно прекрасное утро он пришел сообщить о своем решении уехать в Молдавию — так он устал от этой игры.

Я достаточно хорошо знала маркиза и поняла, что теперь уже он не откажется от своего намерения. Удерживать его я не стала, а так как мне бог весть почему казалось, что с ним может случиться несчастье, то и дала ему — чтобы предохранить — мой крестик, который, как он мне рассказал впоследствии, спас его от страшной беды.

Через полгода после отъезда маркиза я вышла замуж за вашего деда и должна вам признаться, дети мои, что сделала этот шаг, хоть отчасти, с горя. Но все же правду говорят, что браки по любви — не самые удачные: ведь ваш дед, к которому я всегда чувствовала только уважение, сделал меня, конечно, гораздо более счастливой, чем я была бы с маркизом д'Юрфе, который, в конце концов, был всего-навсего шалопай, что, впрочем, не мешало мне находить его весьма приятным.

## Два дня в киргизской степи

Уже около месяца жили мы на кочевке, верстах в полутора от Оренбурга, а охота, от которой мы обещали себе столько удовольствия, почти ничего не представляла занимательного. Лето было самое жаркое, все болота высохли; со дня на день ожидали соколов, чтобы поохотиться на уток и стрепетов, но соколов не привозили, и нам оставалось только ходить с лягавой за тетеревами.

Во всяком другом месте эта охота была бы для меня занимательна, но здесь она мне скоро надоела. Кочевка расположена между высокими холмами, составляющими начало Уральского хребта и покрытыми дубняком и березником. Мимоходом можно сказать, что холмы эти совершенно между собою схожи и что ничего нет легче, как в них заблудиться. Почти все они имеют ту же оригинальную форму, почти все увенчаны стенообразным гребнем сланцеватого камня, и в каждой долине протекает небольшой ручей, с обеих сторон скрытый кустарником. Долины эти изобилуют разными ягодами, а более всего

особенным родом диких вишен, растущих в высоком ковыле едва приметными кустами. Им-то, кажется, должно приписать невероятное множество тетеревей, водящихся в этих местах. Каждый день мы стреляли штук по шестидесяти и даже по сто, но уменьшения их вовсе не было заметно. Обыкновенно мы уезжали верхами рано поутру и часа через три возвращались домой, обвешанные добычей. Каждый из нас убивал столько, что невозможно было поместить всего в обыкновенном ягдташе, и, чтобы помочь этому неудобству, один опытный охотник того края изобрел ремни, которые, не занимая лишнего места, могли поместить на себе множество дичи. С начала охоты ремни эти мы носили через плечо, а под конец навьючивали ими лошадь. Случалось, что мы принуждены были воротиться единственно потому, что у нас истощался весь запас пороха и дроби. Чтобы дать некоторое понятие о числе тамошних тетеревей, я приведу только один пример. В течение часа мы однажды втроем убили шестьдесят три штуки.

Правда, что у нас была отличная собака:

бедный Буффон был глух и крив, но имел такое чутье и такую стойку, каких я никогда не видывал. Я помню, однажды он стал над куропаткой. «Пиль!» — сказал я. Буффон ни с места. «Пиль, Буффка!» Буффон не шевелится. «Пиль, дурак!» — закричал я и пихнул его ногой. Буффон перекувырнулся и стал ко мне лицом, нисколько не теряя ни хладнокровия, ни стойки. Куропатка сидела между им и мною, и я поймал ее руками. Таков был бедный Буффон, но даже и без него мы бы настреляли пропасть тетеревей: стоило только отойти шагов двести от кибиток, чтобы поднять несколько выводов. Охота эта могла позабавить сначала, но у нее недоставало главной прелести охоты: ожидания неизвестного, которое так же приятно охотнику, как и игроку. Если б сей последний знал наперед, что он не может проиграть, игра для него, вероятно, лишилась бы всей занимательности. Так точно и я, уверенный заранее, что убью непременно столько-то штук, не находил в том никакого удовольствия. Тетеревиная стрельба наша напомнила мне кровопролитные охоты в немецких парках, охоты, которых, откоро-

венно сказать, я терпеть не могу.

После этого сознания легко себе можно представить, как я обрадовался, когда пришло на кочевку известие, что за Уралом, в Киргизской степи, показались сайгаки. Я вспомнил об описаниях Этого животного в натуральных историях, где об нем всегда говорится как об одном из быстрейших и недоступнейших антилопов. Некоторые из охотников, бывшие в Хивинской экспедиции, рассказывали нам, как на возвратном пути, весною, им случалось встречать сайгаков и как они тщетно старались догнать <их> лучшими скакунами. Однажды им удалось окружить целый табун и вогнать его в середину обоза, но сайгаки без всякого усилия перепрыгнули через навьюченных верблюдов и тотчас скрылись из виду.

Подобные рассказы еще более возбудили мое любопытство, и я горел нетерпением увидеть сайгака, почти не смея надеяться на удачу охоты; Целый день мы выливали пули, пробовали штуцера и делали патроны. От кочевки до Сухореченской крепости, где нам надлежало ночевать и потом переехать через

Урал, было верст двести. Езда в Оренбургской губернии неимоверно быстра, степные дороги гладки, как паркет, а башкирские лошади неутомимы.

Часов в четырнадцать мы на двух тарантасах проскакали двухсотверстное пространство и еще нашли время выкупаться в Сакмаре и пообедать в одной из линейных станиц. Места, чрез которые мы проезжали, были очень разнообразны и живописны; сначала такие же холмы, как и на кочевке, потом широкие долины, Сакмара, отсвечивающая сквозь лес серебряных тополей, зеленая, цветущая степь, а вдали голубые Губерлинские горы.

Стаи витютней пролетали над нами; по дороге прохаживались степные кулики, с красным носом и красными ногами, называемые сороками по цвету их перьев; время от времени вспархивал из-под тарантаса испуганный стрепет, и поминутно выскакивали из нор своих суслики и свистели, сидя на задних лапках. На все это мы почти не обращали внимания, будучи заняты лишь мыслию о сайгаках. Часов в девять вечера мы приехали

В Сухореченскую крепость и остановилась у станичного атамана. Перед его домом казаки забавлялись стрельянием в цель из длинных винтовок с крошечным калибром и с присошкой о двух остриях, приделанной к ложу. Настрелявшись с ними вдоволь и выкупавшись в Урале, мы легли на дворе на свежем сене и заснули под говор атамана, рассказывавшего нам, как его взяли в плен киргизы и как он от них убежал.

Солнце едва начинало всходить, а тарантас наш уже ехал по берегу Урала, окруженный конвоем башкирцев. Переезд через реку был как нельзя более живописен. Крутые берега, утесы, тарантас, до половины колес погруженный в воду, прыгающие лошади, башкирцы, вооруженные луками, наши ружья и сверкающие кинжалы, все это, освещенное восходящим солнцем, составляло прекрасную и оригинальную картину. Урал в этом месте не широк, но так быстр, что нас едва не унесло течением. На другой стороне степь приняла совершенно новый вид. Дорога скоро исчезла, и мы ехали целиком по крепкой глинистой почве, едва покрытой сожженной солн-

цем травую. Степь рисовалась перед нами во всем своем необъятном величии, подобная слегка взволнованному морю. Тысяча разноцветных оттенков бороздили ее в разных направлениях; в иных местах стлался прозрачный пар, через другие бежали тени облаков, и все казалось в движении, хотя ничего не поражало нашего слуха, кроме стука колес и конского топота. Вдруг один башкирец остановил коня и протянул руку. Последовав глазами направлению его пальца, я увидел несколько светло-желтых точек, движущихся на горизонте: то были сайгаки. Один из нас сел на башкирскую лошадь, в надежде, что успеет как-нибудь к ним подъехать, но едва сайгаки увидели эти приготовления, как пустились бежать, несмотря, что нас разделяло несколько верст. Мы продолжали путь и вскоре стали различать кибитки, расположенные у подножия высокого и длинного утеса синего и лилового цвета, который, как я узнал после, назывался *Кук-Таш*, то есть *синий камень*, и состоял из яшмы. Тут был приготовленный для нас стан. Несколько казаков выехали к нам навстречу, и между ними хорунжий

Иван Иванович, заведовавший на кочевке всеми охотами. Известия о сайгаках были самые удовлетворительные. Казаки говорили, что им нет и числа и что не помнят, когда бы их приходило на линию такое множество. Они полагали, что засухи вытеснили их из самой глубины степей и заставили искать прохлады вблизи от Урала.

Когда мы вошли в кибитку, Иван Иванович, к удивлению нашему, показал нам десять сайгачьих голов, с красивыми рогами и с безобразными горбатыми носами, напоминающими своею длиною и мягкостью носы индейских петухов.

— Что вы сделали? — сказал я ему. — Вы напугали сайгаков, они опять уйдут в степи, и вся наша охота пропадет!

— Что ж делать? — отвечал он. — Никак ребят не удержу. Еще казаков пристрастил кое-как, а башкирцев ничем не остановишь, так и рвутся! Вчера убили тридцать штук, сегодня еще не успели поохотиться; впрочем, не беспокойтесь, довольно останется для всех!

Мы хотели тотчас же ехать на охоту, но

нам советовали подождать, чтобы сделалось пожарче. Поутру сайгаки бродят табунами и никого не подпускают, но к полдню они ложатся порознь, и тогда есть возможность к ним подползти. Подождав немного, мы сели на лошадей и рассеялись в степи партиями человека по четыре.

Дорогой я завел разговор с своими проводниками и спросил их: часто ли видно на линии киргизцов?

— Теперь не так часто, ваше благородие, — отвечал один из них, — а все-таки случается; и через Урал даже переходят табуны угонять!

— А как ты думаешь, увидим мы их сегодня?

— Куда! Они уже давно пронюхали, что мы на охоте, и ни одна собака сюда не покажется!

— А я слышал, что они не всегда вас боятся?

— Да, тогда не боятся, когда их десять на одного: дрянной народ, нечего сказать, а плетьюми бить умеют! Меня чуть живого оставили, как попался я им, года два тому; да добро бы один бил, а то кто подъедет, тот и ударит, да один другого крепче, по чему ни попа-

ло; а сидел я на лошади нагишом; лишь только поймали, собаки, так всего и раздели дочиста. Дрянной народ, ваше благородие!

— Как же ты ушел от них?

— Двух лучших коней высмотрел, ваше благородие, да и ускакал ночью одвуконь. Два дня, почитай, скакал без остановки, на третий совсем проголодался, да не дал бог умереть: нашел мертвого сайгака, поел немного да взял с собою на дорогу, а без него пропал бы, наверно; верст было с пятьсот от линии.

— Что ж тебя заставляли делать киргизы?

— Что там заставлять? Табуны стерег, кобыл доил да сыр делал из козьего молока. Только били каждый день, собаки; да добро бы уж одни мужчины, а то и бабы и мальчишки! А плети-то у них с доброе полено!

Разговаривая таким образом, мы проехали верст десять, не встретив ничего, кроме сурков, которые, выскакивая из нор, стояли над ними как будто на часах, но не подпускали нас на ружейный выстрел. Изредка, как желтые точки, виднелись вдали сайгаки, но мгновенно исчезали, не давая нам даже различить их формы. Вдруг казак, ехавший возле меня,

прилег к конской шее и круто повернул назад. Я и другие казаки последовали его примеру.

— Слезайте проворнее! — сказал он мне, — вон, за этим бугром, лежат сайгаки! Ты, Решетаев, оставайся с лошадьми да поглядывай по сторонам, а вы ложитесь на землю и ползите за мною.

Мы оба легли на землю и начали ползти на локтях и на коленях. В одной руке у меня была тяжелая одноствольная винтовка, в другой не менее тяжелое двуствольное ружье, заряженное картечью.

Глинистая, засохшая почва, уж и без того жесткая как камень, была еще покрыта маленькими острыми камешками, которые причиняли мне ужасную боль; солнце жгло мою спину как будто огонь, и пот градом с меня катился. Несмотря на то, я полз, не останавливаясь; но, не предвидя этому конца, спросил тихонько у казака: где лежат сайгаки?

— А вот, извольте видеть кустик с красными ягодами?

— Вижу.

— А там, полевее, прямая травинка?

— Вижу; так что ж?

— Следите глазом все прямо между ягодами и травинкой; ступенях в пятидесяти оттоль торчит как будто сучок: то сайгачьи рога.

Я напряг свое зрение и действительно увидел что-то похожее на сучок.

— Скоро ли мы туда доползем? — спросил я.

— А вот надобно дать немного круга, чтоб подлезть из-под ветра, а то как раз почуют. Да не извольте головы подымать, ваше благородие, тотчас заметят!

Мы опять стали ползти и описали такой большой круг, что я почти выбился из сил.

— Теперь уж близко! — сказал казак, — шагов сто, не больше! Не подымайтесь на коленях, ползите на брюхе! Да ради бога, тише, не стучите ружьями о землю!

Я совсем растянулся и полз, как лягавая собака.

— Что, скоро ли?

— Тс! вон, стал голову подымать, что-нибудь да заметил... ради бога, тише... ну, теперь пора!.. Кладите ружье ко мне на плечо!..

Не успел я взвести курка, как сайгак вскочил и вихрем умчался в степь. Другие, лежавшие вблизи, последовали за ним.

Казак и я посмотрели друг на друга, встали на ноги и побрели навстречу к лошадям.

— Я вам говорил, что надобно более нагибаться! — сказал он, покачивая головой.

Мы пустились рысью, и вскоре Репников (так звали казака) опять увидел сайгаков.

Этот раз мне удалось доползти к ним шагов на восемьдесят, но руки мои дрожали, пот катился в глаза и мешал мне смотреть, и целился минуты с две, наконец выстрелил и дал промах. К счастью, сайгак нас не увидел; он вскочил, посмотрел на все стороны, отошел шагов на сорок и опять лег. Я лежа зарядил ружье, подполз опять на выстрел, по, прежде чем стрелять, отдохнул несколько минут, не спуская с глаз сайгака. Я мог различить его большие, красиво выгнутые рога с черными кончиками, глубокие морщины на горбатом носу и огромные раздутые ноздри, которыми он шевелил во все стороны.

Когда я собрался стрелять, сердце мое так сильно забилося, что мне казалось, будто сай-

так услышит его стук. Я вынул из-за пояса ятаган и воткнул его в землю; потом с величайшею осторожностью положил на него винтовку и крепко прижал ее к плечу. Мне видна была только голова и шея. Я прицелился в шею и, удержав дыхание, тронул шнеллер.

Сначала ничего нельзя было различить за дымом, но, когда я встал и посмотрел вокруг себя, сайгака нигде не было.

Я побежал вперед, и кто опишет мою радость, когда он представился моим глазам, лежащий с простреленною шеей: я попал как раз куда целил!

Казаки скоро ко мне подоспели, сайгака выпотрошили и привязали за седло. Он был ростом более дикой козы, светло-бурого цвета и с шестнадцатью кольцами на рогах.

Эта удача нас развеселила. Мы поскакали далее, соображая направление пути с течением солнца. Я опять вступил в разговор с казаками.

— Правда ли, — спросил я между прочим, — что киргизцы переносят боль с необыкновенным терпением и никогда не

жалуются, как бы тяжело они ни были ранены?

— Правда, ваше благородие, — отвечал Репников. — Намедни я откусил одному киргизцу ухо, так нисколько и не поморщился, собака!

— Откусил ухо! — вскричал я. — Каким это образом?

— Да вот будет скоро две недели, как они угнали ночью табун из станицы. Мы собрались сам-восемь и пустились в погоню. Едем час, едем другой, не видать ничего; а след на солончаках знатен, ошибиться нельзя. Что за черт! По моему расчету, нам бы давно пора их увидеть: след идет небольшой рысью, а мы едем верст по пятнадцати на час. «Смотрите, ребята, — говорю я, — тут какая-нибудь да штука, — они, должно быть, запали вон в той лощине. Ступайте шагом да приготовьте винтовки, — мне что-то сдается, что они выскочат, собаки, вон из-за этого камня!» Не успели мы еще поравняться с камнем, как слышим: ззз!.. — и стрела воткнулась мне прямо в ногу. Тут как завизжат они да как посыплются один за другим из-за камня, я думаю, человек

с двадцать пять было, все с копьями, да еще двое панцирников! Ребята было смешались, да я говорю: «Не робеть!» Вытащил стрелу из ноги, соскочил с коня, приложился, бац! Так один и покатился. Решетаев ссадил другого, а они, шельмы, как увидели, что мы стоим за себя, повернули коней, да и давай тягу!

— Ну, братцы, — говорю я, — теперь за ними! — Тут ребята ударили на мошенников, кто кого догоняет, а Решетаев гонится за панцирником. Уж он было доставал его плетью, вдруг тот в сторону. Я вижу, что уйдет, разбойник, а панцирь на нем рублей во сто, я и стал норовить наперехват. Под ним конь хорош, а подо мной лучше. Скачем, скачем, только тот как обернется на всем скаку да как пустит стрелу прямо в горло моему коню, так у него и дух вон; покатился, сердечный, и я вместе с ним. Досадно стало, да и коня, признаться, жаль. «Не упустить же разбойника!» — говорю я. Взял у товарища коня, да и давай опять догонять, собаку. Только куда! Пока я поднялся на ноги, тот уж успел ускакать чуть ли не на версту, а я остался за всеми последний. Смотрю, он скачет ровным бе-

гом, что стрела летит, а Решетаев чем дальше, тем более отстает. «Эх, жаль, уйдет!» — думаю я, только, глядь, лошадь его как летела, так со всех ног и ударилась о землю: знать, наткнулась на сурочью яму. Тут Решетаев с ребятами навалились на молодца и скрутили ему руки, а я как подскакал к ним да как увидел эту киргизскую рожу, так сердце и закипело, — бросился на него и отхватил зубами ухо...

Тут рассказчик остановился и, заслонившись рукою от солнца, начал всматриваться в даль.

— Э, э, э — сказал он, — да их тут несколько сотен!

— Кого? — спросил я, — киргизов?

— Нет, сайгаков! — отвечал он.

В самом деле, последовав направлению его нагайки, я увидел множество светло-желтых точек, которые с разных сторон бежали к зеленой полосе, ясно отделявшейся от бурого цвета степи. Зеленою полосою казались издали берега небольшого ручья, впадающего в Урал. Сайгаки, мучимые жаром, бежали на водопой.

— Что? — спросил я, — убьем ли мы хоть одного из них?

— Нет, — отвечал Репников, — кабы заранее залечь в траве, так, может, и набежал бы один-другой, а теперь не подъехать.

Число сайгаков приметным образом увеличивалось. Они бежали к ручью огромными стадами. Чем более я всматривался в даль, тем более открывал их на горизонте: они тянулись отовсюду. Вся степь, исключая какого-нибудь десятиверстного пространства вокруг нас, была ими покрыта. Я думаю, тут было несколько тысяч.

— Экое богатство! — говорили казаки. — Видит глаз? да зуб неймет!

Между тем мы ехали далее и вскоре наткнулись на лежащий табун. Вероятно, его уже прежде нас подсмотрела другая партия, ибо мы увидели верстах в двух четырех всадников, осторожно объезжающих холм, на котором лежали сайгаки; но мы были к ним ближе и к тому ж под ветром. Я слез с лошади, начал было ползти, но сайгаки тотчас вскочили, не допустив меня на несколько выстрелов. Охотники другой партии поскакали,

чтобы перерезать им дорогу, а мы погнались за ними с другой стороны, так что они бежали между двумя партиями, как будто в клетках.

Мы были от них довольно далеко и не имели никакой надежды догнать их; но товарищи наши, скрытые холмом, успели их перехватить. Табун остановился, и нам видно было, какое произошло в нем смятение. Старый самец, бежавший впереди, бросился было в сторону, но один из охотников соскочил с лошади и застрелил его на лету в то самое время, как он делал отчаянный прыжок. Выстрел этот возбудил удивление казаков, никогда не стреляющих иначе, как с подлаза, и то с помощью приделанных к их ружьям присошек.

— *Джигит! Джигит!* — закричали они, поглядывая друг на друга, то есть молодец, молодец! Здесь можно заметить, что татарский язык употребляется у казаков линейных станций почти столько же, как и русский, а мои проводники беспрестанно на нем болтали.

Мы съехались с своими товарищами, сравнили наших сайгаков и нашли, что убитый ими гораздо более моего. Между тем солнце

так пекло и мы чувствовали такую жажду, что решились воротиться в свои кибитки.

Охотник, застреливший сайгака, убил дорогой сурка из винтовки. Бывший с ним калмык тотчас слез с лошади, чтобы его взять.

— Что это, самец или самка? — спросил мой товарищ.

— *Жеребец*, ваше благородие! — отвечал калмык, сняв фуражку.

Мы от души захохотали, и кто видал смешную фигуру сурка, тому этот ответ, вероятно, покажется столь же забавным, как и нам.

— Смотрите, ваше благородие! — сказал мне Репников, — ведь калмык теперь подобрал сурка, а потом его съест. Это такой народ, — хуже киргизцов, всякую гадость едят, а еще называют себя христианами!

И казак, незадолго перед тем откусивший киргизское ухо, с омерзением плюнул в сторону.

Мне также удалось заслужить название *джигита*, застрелив пулей, на довольно большом расстоянии, сидячего *карагуша*, род орла, которого бывшие с нами башкирцы тотчас ощипали, чтобы перьями его оклеить се-

бе стрелы.

Когда, после продолжительной езды, мы увидели вдали свои кибитки, то, вместе с ними, нам представилось необыкновенное и великолепное зрелище. Вместо степи, сожженной солнцем, у подножия синего утеса Кук-Таш расстилалось прекрасное озеро, отражавшее, как светлое зеркало, и утес, и расположенные близ него кибитки.

— Что это за озеро? — спросил я с удивлением, — это не наши кибитки?

— Наши! — отвечали, смеясь, казаки. — Это не озеро, а марево[2].

Несмотря на это объяснение, я не мог поверить, что вижу не что иное, как призрак; и мне казалось, что я различаю все оттенки воды и отраженных в ней облаков. Я поскакал прямо к кибиткам; но по мере того, как к ним приближался, вода делалась все более и более прозрачною, превращалась в струящийся пар и наконец совсем исчезла.

В кибитках был приготовлен для нас вкусный обед; но мы предпочли пить чай. Никогда я не забуду, с каким удовольствием выпил я одиннадцать стаканов горячего чаю,

несмотря на то, что на мне не было ни одной сухой нитки и что даже в тени было более тридцати градусов.

Остальную часть дня мы провели в бездейственном отдыхе. Рассеянные партии возвращались одна после другой; но башкирцы остались в степи и приехали только поздно вечером, обремененные добычей. У многих было по два, а у иных даже по три сайгака за седлом. Всего-навсего в этот день было убито более пятидесяти штук, а всех нас было только сорок человек.

Большая часть наших оренбургских охотников, утомленных ездой и ползанием, в тот же вечер уехали на кочевку; но я остался, чтобы еще на другой день поохотиться с казаками.

Целую ночь перед кибиткою горел костер из сухой травы и привезенного нами хвороста. Казаки окликали друг друга на пикетах. Звезды сквозь круглое отверстие кибитки смотрели мне прямо в лицо; но ни поэтический свет их, ни треск пылающего хвороста, ни клики казаков не помешали мне заснуть крепким сном. Я спал как убитый и проснул-

ся только тогда, как солнце было уже высоко и наставало время ехать на охоту.

Репников с своими товарищами повели меня этот раз по другому направлению. Опять я увидел тысячи сайгаков, опять имел случай любоваться чудесным освещением и бесчисленными оттенками степи; но места, по которым мы проезжали, являли более разнообразить, чем вчера. Холмы были выше, лощины глубже, а местами синели обломки яшмовых утесов или краснели большие груды железняка. Но, кроме редкой сожженной травы, мы ни вчера, ни сегодня не встречали никакого следа прозябения.

После долгой езды и многих неудачных попыток я застрелил одного сайгака с подлаза, а другого, раненного казаком, мы догнали на лошадях. Довольные этой добычей, мы уже возвращались домой, как увидели вдали большой бегущий табун.

Репников несколько секунд следил за ним взглядом, ударил коня и поскакал совсем в другое направление, сказав только: «За мной, не отставайте!»

Мы примчались к глубокому оврагу, бро-

сились на самое дно и продолжали скакать во весь опор, не обращая внимания на большие острые камни, лежавшие на дороге. Овраг, похожий на узкий коридор, поворачивал то направо, то налево и, наконец, начал постепенно уравниваться с поверхностью земли. Как скоро она стала видна, Репников велел нам слезть с лошадей и бежать за ним пешком, согнувшись как можно более.

Таким образом мы достигли до утеса, из-за которого могли свободно обозревать степь, сами не будучи видимы. Чего ожидал Репников, то и случилось. Не прошло двух минут, как показались сайгаки, бегущие рысью прямо ка нас. Впереди их был прекрасный самец с большими лирообразными рогами нежного желтого цвета, которые на солнце казались прозрачно-золотыми. Он раздувал широкие ноздри и подымал голову кверху, как будто чуя опасность.

Мы притаили дыхание и взвели курки. Когда табун, шагах в шестидесяти, поравнялся с утесом, я приложился и выстрелил с передового сайгака. Он перевернулся колесом и упал вверх ногами. Весь табун взволновался, под-

нялась ужасная пыль и скрыла его на минуту. Казаки также выстрелили по бегущему табуну, но дали промах. У меня еще оставалось двуствольное ружье, заряженное картечью. Я выстрелил из обоих стволов, почти не надеясь на удачу. Табун продолжал бежать, но один сайгак отделился от прочих и бросился в сторону. Он бежал скоро, но по временам спотыкался, взрывая облака пыли.

— Подбит, подбит! — говорили казаки, смотря ему вслед.

Мы сели на лошадей, оставили одного казака, чтобы взять убитого сайгака, и пустились догонять раненого. Вскоре мы его настигли, и Репников, подскакав к нему сбоку, убил его наповал одним ударом нагайки.

Этот случай дал ему повод рассказать мне, каким образом башкирцы и киргизцы ездят осенью на волков. «Лишь только упадет пороша, — говорил он, — они садятся на коней и ищут волчьего следа. Попав на тропу, они едут ею до тех пор, пока не увидят зверя; а как скоро он покажется, то преследуют его в узерку небольшою рысью. Сначала зверь бежит скоро, иногда даже скрывается из виду,

но мало-помалу устает, останавливается и оглядывается на охотников. Случается, что они таким образом едут верст пятьдесят. Наконец волк выбьется из сил, высунет язык и пойдет шагом: тогда охотники к нему подскакивают и убивают его нагайками. Удар по носу считается вернейшим».

Разговаривая про киргизцов, про степь и охоту, мы приехали к своим кибиткам. Вскоре возвратились и прочие стрелки, а как накануне прибыл в стан *дистаночный начальник* с тридцатью новыми казаками, то и добыча этот раз была гораздо более. Несмотря на то что охота кончилась ранее вчерашнего, мы застрелили с лишком сто сайгаков.

Обед наш состоял большею частью из сайгачины. Мясо это довольно вкусно и несколько похоже на баранину; но я ел его не без отвращения: у всех сайгаков под кожей на спине были большие белые черви; и хотя места эти тщательно вырезывались, но мысль о них не придавала особенного вкуса ни соусу, ни жаркому. Черви эти происходят от яиц, которые кладут к ним в шерсть какие-то насекомые. Все кожи, нами снятые, были на спине

как будто прострелены крупною дробью; но зимою у сайгаков червей не бывает.

После обеда началась между башкирцами стрельба из лука, борьба и пробование силы. Мне удалось, на расстоянии пятидесяти шагов, пронзить стрелою татарскую шляпу; но после этого случайного выстрела я не переставал давать промахи. В борьбе, требующей столько же силы, сколько и ловкости, башкирцы без труда бросали меня на землю, так же как и казаков; но в пробовании силы я несколько раз одерживал над ними верх, и они меня честили именем *джигита*. Когда настала ночь, мы все вместе отправились верхами в Сухореченскую крепость. Казаки затянули песни, и голоса их терялись в необъятном пространстве, не повторяемые ни одним отголоском... Песни эти отзывались то глубоким унынием, то отчаянною удалью и время от времени были приправляемы такими энергическими словами, каких нельзя и повторить. Поезд этот запечатлелся в моей памяти со всеми его подробностями.

Как теперь вижу я небо, усеянное звездами, и степь, похожую на открытое море; как

теперь слышу слова:

*Дай нам бог, казаченкам, пожить  
да послужить,  
На своей сторонущке головки по-  
ложить!*

Слышу глухой топот и фыркание коней, бряцание стремян, шум и плеск воды, когда мы переезжали через Урал...

На другой день мы прибыли опять на кочевку; началась наша прежняя тихая жизнь, стрельяние в цель, и купанье, и бесконечная тетеревиная охота.

<1842>

## Волчий приёмш

**1839** года, весною, был я свидетелем такого странного случая, какому в летописях охоты едва ли отыщется подобный. В Черниговской губернии, Мглинского уезда, в селе Красном Рогу лесничие донесли мне, что нашли убитую волчицу. Охотиться без ведома моего у меня запрещено, и я тотчас отправился в означенное лесничими урочище удостовериться, не чужими ли охотниками убита волчица.

При осмотре оказалось, что она не застрелена, но зарублена топором или другим каким-нибудь острым орудием; сосцы ее наполнены были молоком, и по всему было видно, что она недавно издохла. Я упоминаю об этих подробностях не потому, что считаю их важными, но чтобы не пропустить ни одного из обстоятельств, сопровождавших необыкновенное явление, которое мне случилось видеть.

Переворачивая волчицу с боку на бок, услышал я недалеко от себя сильный писк и вскоре заметил, что он выходит из волчьей

норы или (по тамошнему местному выражению) язвы. Бывшие со мной охотники, по приказанию моему, раскопали язву и вытащили из нее, одного за другим, шесть маленьких, едва прозревших волчат. Я уже хотел удалиться с этой добычей, как услышал в той же язве еще другой, совсем особенный писк. Мы продолжали копать и, к величайшему удивлению своему, нашли в самой глубине маленькую лисичку, которая казалась немного старше волчат и была почти одного с ними роста. Я пустил всех семерых на землю, возле убитой волчицы, и они все семеро стали по ней ползать.

Волчата и лисичка жили у меня довольно долго в большой дружбе; они ели и спали вместе. Иногда только лисичка, будучи старше и проворнее, обижала волчат.

Сколько я ни старался узнать, каким образом она очутилась в волчьей норе, я не мог придумать для сего удовлетворительного истолкования. Ясные признаки показывали, что нора была первоначально лисья. Известно, что волки часто выгоняют лисиц из их жилищ и сами селятся на их месте.

Может быть, волчица изо всех маленьких лисичек, бывших в завоеванной норе, выбрала одну и вскормила ее со своими детьми; может быть, она пощадила ее по ошибке; может быть еще, она нарочно оставила всех найденных ею лисичек, вскармливала их собственным молоком и сама понемногу ими питалась. Предоставляю естествоиспытателям и старым опытным охотникам решение этого вопроса.

Кем и как была убита волчица, осталось мне также неизвестным.

## **Артемий Семёнович Бервенковский**

**Я** вспомнил, как двадцать лет тому назад, когда я спешил по большой дороге в Кириллов, передняя ось моей брички переломилась, и я принужден был остановиться. Оглядываясь во все стороны, в надежде найти какое-нибудь пристанище, увидел я верстах в двух от дороги какое-то странное здание, похожее на ветряную мельницу, но необыкновенно сложного механизма. Я направил к нему шаги и вскоре очутился перед красивым господским домом со многими флигелями и

просторным садом; тут же показалось мне скрытое доселе высоким холмом красивое село. Странное здание непонятной архитектуры находилось на самом холме, в близком расстоянии от дома. Старый дворецкий, стоявший у входа, сказал мне, что имение это принадлежит Артемию Семеновичу Бервенковскому. Просьба моя — послать людей для починки брички — тотчас была исполнена; но когда я спросил: нет ли в селе постоянного дома, где бы мне остановиться, дворецкий всплеснул руками.

— Батюшки! — вскричал он, — да господский-то дом на что? Да Артемий Семенович меня изволит прогнать вподзатыльцы, если я вас теперь отсюда выпущу. Нет, сударь, извините, а уж вы у нас должны денька два погостить.

— Как, — спросил я, удивленный таким радушным приемом, — да ты меня, верно, за кого-нибудь другого принимаешь?

— Как за другого? — сказал старик, и морщины его лица несколько сгладились под добродушной улыбкой. — Да за кого ж другого мне вас принимать, сударь: ведь вы, верно,

проезжий?

— Именно проезжий.

— Так уж не прогневайтесь, а у нас такой обычай: извольте неделку здесь прожить, а потом, пожалуй, ступайте себе с богом!

Я попросил, чтоб обо мне доложили хозяину.

— Вот-та! — сказал дворецкий, — что ж тут докладывать! Ступайте себе в гостиную; только теперь Артемий Семенович изволят гулять нагишом, так не угодно ли отдохнуть на диване или чего-нибудь покушать? Они скоро воротятся.

— Артемий Семенович гуляет нагишом? — спросил я.

— Точно так, — отвечал хладнокровно дворецкий. Я невольно засмеялся; но дворецкий продолжал, как будто ничего не замечая:

— Теперь четверть шестого. До шести часов Артемий Семенович будет гулять; от шести до половины седьмого они изволят кричать; а потом, — прибавил дворецкий с тяжелым вздохом, — они будут заниматься механикой.

— Как? — спросил я с возрастающим любо-

пытством, — Артемий Семенович кричит всякий день от шести часов до половины седьмого: ровно полчаса?

— Не всегда, сударь; иногда они изволят кричать целый час, но только в сырую погоду.

— Но разве, — спросил я, несколько запинаясь, — Артемий Семенович немного... того? — Я повертел пальцем над головою.

— Что вы, что вы, батюшка! бойтесь бога! что вы это говорите... еще этого нам недоставало!.. — И на глазах старика навернулись слезы.

«Чудак же твой барин!» — подумал я.

Мы вошли в гостиную. Дворецкий меня оставил и побежал за чаем, а я подошел к окну. Оно отворялось в сад. Не прошло пяти минут, как мимо окна пробежал человек средних лет, которого вся одежда заключалась в парике и в башмаках; у него, сверх того, были часы на золотой цепочке. Увидев меня, он мне дружески кивнул головою и сделал рукою успокоительный знак, как будто говоря: не беспокойтесь, любезный друг, я скоро возвращусь.

Он исчез между деревьями; но через несколько времени явился с противоположной стороны, прикрывая этот раз наготу свою большим подсолнечником. Он вторично пробежал мимо окна, кивнул мне головою и скрылся. Явление это повторялось довольно часто. Наконец Артемий Семенович остановился, посмотрел на часы и стал кричать самым ужасным голосом. Я думал, что весь дом сбежится на его крик, и сам не мог утерпеть, чтоб не двинуться вперед, спеша к нему на помощь; но Артемий Семенович сделал известный уже мне успокоительный знак рукою и продолжал кричать. Иногда он посматривал на часы и наконец замолчал, почти выбившись из сил. Кряхтя и запыхаясь, вошел он в комнату, бросился в мои объятия и крепко прижал меня к сердцу.

— Извините, — сказал он, — извините, почтеннейший, что заставил вас так долго дожидаться! Не угодно ли вам чаю или не прикажете ли чего другого? Ух, утомился! Трепетинский! — продолжал он, обращаясь к вошедшему с подносом дворецкому, — давай скорей чаю! Что ж это ты, братец, голодом мо-

ришь дорогого гостя! Ух, устал! Ух, боже мой!.. Не сердитесь, почтеннейший, дайте дух пере- вести!

— Несу, сударь, несу! — отвечал Трепетинский, ставя на стол поднос с чайным прибором, — несу, батюшка, несу, несу!

Между тем Артемий Семенович осыпал меня учтивостями и расположился возле меня на диване. Он был высокого роста, хорошо сложен и глаза имел быстрые и умные.

— Представьте себе, почтенный друг, — сказал он, скрестив одну ногу на другую и облокотясь на подушки дивана, — представьте себе, что я этак каждый день осужден утомляться! Боже мой! что за жизнь, что за жизнь, как подумаешь...

— Но позвольте спросить, — заметил я, — для чего вы...

— Для чего? Для здоровья, почтеннейший, для здоровья! Человеку нужен моцион, вольный воздух, регулярная жизнь. Сильный крик расширяет легкие, — это всякий знает, но никто на это не обращает внимания. Когда вы у меня несколько поживете, мы будем вместе бегать в саду и кричать: вы увидите,

как это полезно.

— Покорно благодарю, — сказал я, — но мне никак нельзя остаться у вас долее завтрашнего дня; я так спешу...

— Пустое, почтеннейший, пустое! Мне еще нужно обо многом с вами потолковать. Вот, например, что вы скажете об этом?

Тут Артемий Семенович отворил большой шкаф и стал вынимать из него какие-то запыленные модели, похожие на то необыкновенное здание, которое я видел на холме возле дома. По мере того как он вынимал эти модели, он ставил их на стол под ранжир и вскоре совсем его загромоздил.

— Что это такое? — спросил я.

— А как бы вы думали? — сказал Артемий Семенович.

— Мельница?

— Как бы не так!

Тут вошел Трепетинский с какими-то наливками; увидел модели, вздохнул и печально покачал головою.

— Это, сударь мой, — продолжал с довольным видом Артемий Семенович, — это, сударь мой, коли вы слышали, все разные перпе-

туум мобиле!

Я не мог утерпеть, чтоб не улыбнуться.

— Мне кажется, — сказал я, — что перпетуум мобиле значит вечное движение; а модели ваши стоят неподвижно.

— Вот то-то и штука, — отвечал Артемий Семенович, нисколько не смешавшись, — они стоят неподвижно, потому что я еще не отыскал для них удобного движителя; но дайте срок, у меня здесь (он ударил себя по лбу), у меня здесь сидит такая выдумка, о которой вскоре заговорят в Европе! А *propos*[3], «вы сочинитель»?

— Нет, я живописец.

— Живописец! — вскричал радостно Артемий Семенович. — Пойдемте со мною.

Он схватил меня за руку и потащил в другую половину дома. Она была убрана прекраснейшими картинами италийской и фламандской школы. Артемий Семенович начал говорить о живописи, и я был удивлен его здравым суждением и глубокими познаниями. Он говорил с жаром истинного любителя; но заключение его разговора меня удивило.

— Все это, однако, — сказал он, — дрянь в

сравнении с механикой! Я вам сейчас покажу изобретенную мною водоочистительную машину.

Он схватил меня за руку и опять потащил за собою.

— Посмотрите, — сказал он, подымая крышу машины, — посмотрите, какая в ней грязная вода. Я нарочно велел влить в нее воды погрязнее. Теперь смотрите, какая выйдет вода из крана: кристалл, чистый кристалл!

Он повернул кран, но из него выбежала такая же грязная вода, какая была в машине.

— Это ничего, — сказал Артемий Семенович, — если ее раза два процедить, она будет совершенный кристалл! Но не хотите ли посмотреть на мой вертел?

Мы пошли в кухню. Какие-то колеса и шестерни сцеплялись вместе и занимали почти всю комнату. Три человека с большим трудом вертели огромный цилиндр и приводили в движение железный прут, на котором перед огнем жарился цыпленок.

— Каково? — сказал хозяин дома, потирая руки.

— Кажется, — заметил я, — механизм

немного сложен. Этим бедным поваренкам, должно быть, несколько тяжело!

— Помилуйте! тем лучше, что тяжело. Моцион, почтеннейший, моцион! О! у меня ничего не забыто, одно истекает из другого. А посмотрите-ка сюда: пока цыпленок жарится, здесь сбивается масло, а тут рубится зелень. У меня на риге есть веялка, которая вместе и веялка и орган! Но это еще ничего; пойдете-ка в мою спальню. Что, вы думаете, это такое?

— Треугольная шляпа?

— Совсем нет: рукомойник! А это?

— Скрышка.

— Как бы не так! Это дорожный ящик с бритвами. А это?

— Пистолет.

— Хорош пистолет! Это чернильница, чернильница, милостивый государь, чернильница!

Артемий Семенович еще много показывал мне предметов вроде скрышки и рукомойника. Когда подали ужин, он наскоро надел парик и шитый кафтан и сел со мною за стол. Не знаю, вся ли его кухонная посуда была

устроена вроде вертела, но ужин показался мне отличным. Артемий Семенович был очень веселого нрава. Он много в своей жизни читал; знал несколько иностранных языков, и разговор его, когда он касался механики, был как нельзя более занимателен.

Мы расстались уже поздно. Отведенная мне комната была чиста и покойна; белье на постеле тонко и бело; перина раздувалась очень приманчиво; но, признаюсь, я лег на нее не без боязни: мне казалось, что при первом прикосновении она превратится или в воздушный шар, или в какую-нибудь водочистительную машину. Опасение мое, однако, было напрасно, и я уже предавался приятному сну, как меня разбудил вошедший на цыпочках Трепетинский.

— Извините, сударь, — сказал он, — я пришел просить вас о важном деле!

— Меня?

— Да; о таком важном, — продолжал старик, упав на колени и целуя мою руку, — о таком важном, что я отдал бы остаток жизни, лишь бы вы, батюшка, исполнили мою просьбу.

Я смотрел на него с удивлением.

— Вот, извольте видеть, сударь, — продолжал он, — прогневили мы, видно, господа бога! Покойный Семен Артемьевич, — дай бог ему царство небесное, — оставил нам имение порядочное: семьсот душ, батюшка, да капиталу тысяч триста в ломбарде; кажется, всего довольно! Только уж разорит нас проклятая механика, вижу, что разорит! Особенно эти распроклятые петумебели, провалиться бы им сквозь землю, прости меня господи! Знаю, батюшка, что грешу, а не могу не ругать этих петумебелей! Не знаю, кто их выдумал! Ви-данное ли это дело, сударь, чтоб молодой, богатый барин день и ночь просиживал над этими колесиками? и какой от них прок? Уж добро бы Артемий Семенович делал машинки для воды или вертелы, ну, скажут, страсть, — вот и все! А то что за петумебели? к чему они? Да уж пусть бы они делали одни маленькие, а то изволили видеть, — на горе стоит, словно мельница ветряная.

— Как, — спросил я, — и это...

— И это петумебель, и в селе есть петумебель, и в хуторе петумебель, и везде-везде пе-

тумебели! Сто тысяч на них убили! сто тысяч, батюшка, легко сказать! Ах, боже мой, боже мой! прогневили мы господа!..

Старик закрыл лицо руками и горько заплакал.

— Что же ты хочешь, чтоб я сделал?

— Батюшка! — вскричал Трепетинский, — отец родной! сделайте божескую милость, уговорите Артемия Семеновича, чтоб они бросили свою механику. Не доведет она нас до добра, ей-богу, не доведет! Пусть лучше играет он в карты, прости меня господи! Пусть заведут псовую охоту или что другое, только не механику! Артемий Семенович вас полюбили, я по всему вижу; может быть, они вас послушаются; а коли послушаются, так я вам буду вечный слуга, и бог наградит вас на том свете!

Я обещался бедному старику исполнить его просьбу. Он вышел, осыпая меня благодареньями; но через несколько времени опять воротился.

— Уж если, — сказал он всхлипывая, — вам не удастся уговорить Артемия Семеновича, чтоб они совсем бросили механику, так пусть,

по крайней мере, обещают вам делать одни только сюрпризы. Мало ли какие можно выдумать? Намедни они изволили сделать сапоги с флейточками: как наденешь, так и заиграют; это, по крайней мере, сюрприз.

И старик вышел, утирая глаза кулаками. На другой день, за кофе, я покусился было уговаривать Артемия Семеновича, но он меня перебил:

— Вы видите этот кофейник? — сказал он. — Я изобрел его в прошлом году и довольно над ним промучился; зато посмотрите, какой кофе!

К несчастью, кофе никак не хотел протекать, и Артемий Семенович принужден был велеть подать обыкновенный кофейник. Впрочем, это его нисколько не смутило.

— Надобно будет, — сказал он, — придумать только третье сито. Я уж знаю, как это сделать, и тогда вы увидите, что будет за кофейник!

После кофе Артемий Семенович повел меня в село и заставил любоваться на крыши, построенные таким образом, что они при первом толчке распадались на части. Это, гово-

рил Артемий Семенович, сделано на случай пожара. Правда, что во время дождя сквозь крыши эти вода протекает прямо в хаты; но Артемий Семенович говорил, что это ничего и что свежесть воды весьма полезна для здоровья.

Таким образом, добрый мой хозяин толковал в свою пользу все неудобства, сопряженные с его выдумками. От крыш пошли мы смотреть мельницу, и тут-то изобретательный ум Артемия Семеновича показался во всем своем блеске. Ничто в его мельнице не походило на обыкновенную: жернова, вместо того чтобы лежать горизонтально, стояли перпендикулярно; водяное колесо снабжено было каким-то черпательным снарядом, потому что Артемий Семенович хотел, чтоб оно вместе и мололо, и проводило воду в какой-то отдаленный хутор, который, впрочем, в воде не нуждался.

— Видите этот пруд? — сказал Артемий Семенович, — хотите, я в две минуты его выпущу?

Он дернул за веревку — и действительно, не прошло двух минут, как весь пруд выбе-

жал через несколько шлюз и явилось тинистое дно, на котором запрыгали караси и окуни, показывая свои белые брюшки. Этот опыт был изо всех самый удачный. Артемий Семенович от радости потирал руки. Он предложил мне также в пять минут разобрать мельницу, но я попросил позволения еще раз взглянуть на его картины, и мы возвратились домой.

После обеда Артемий Семенович бегал по саду в одном парике и башмаках и кричал полчаса. Потом мы вместе пили чай и весело провели вечер. Я намекнул на свой отъезд, но он не хотел о нем и слышать.

На другой день я принужден был осматривать разные перпетуум мобиле, кроме одного, большого, стоявшего на горе. Его мне Артемий Семенович не показал, вероятно, чтобы я сам не воспользовался его мыслью прежде, чем она приведена будет в исполнение.

Следующий день во всем подобен был предшествовавшему. Но лишь только я заговорил о своей бричке, Артемий Семенович показывал мне какую-нибудь машину и перебивал мою речь.

Я решился уехать тихонько; но попытки мои отыскать свой экипаж были тщетны: мне всегда отвечали, что он еще чинится.

Однажды Артемий Семенович объявил мне, что бричка готова и что я могу ехать.

— Но прежде чем отпущу вас, — прибавил он, — я хочу показать вам свой лабиринт. Пойдемте со мною.

Мы пришли в сад к круглому месту, где множество дорожек сплетались, путались и пересекали одна другую. Пространство между дорожками засажено было кустами; но так как лабиринт только что заводился, то кусты не успели разрастись и можно было, стоя в середине, видеть конец лабиринта.

— А ну-ка, почтеннейший, попробуйте-ка сюда войти, — сказал мне Артемий Семенович.

— Но уж я велел закладывать, — отвечал я.

— Ничего, ничего, почтеннейший; сделайте милость, посмотрите мой лабиринт.

— Да я его и так вижу.

— Ну, уж сделайте милость, войдите!

— Зачем? — сказал я, предчувствуя какую-нибудь измену.

— Ну, я вас прошу!

— Право, не хочется!

— Душенька, миленький, пожалуйста!

Я не захотел огорчить Артемия Семеновича и, собравшись с духом, вошел в его лабиринт. Артемий Семенович стоял у входа, и только что я добрался до середины, он захлопал в ладони.

— А ну-ка, почтеннейший, — сказал он, — посмотрю я, как вы отсюда выберетесь!

— Полноте шутить, Артемий Семенович, я, право, спешу; сделайте милость, покажите мне дорогу!

— Чтоб я показал вам дорогу! Нет, почтеннейший, посидите-ка здесь до вечера; а завтра, после кофе, поедете. Я теперь поправил свой кофейник: вам надобно его посмотреть.

— Не хочу я смотреть на ваш кофейник! — сказал я, теряя терпение. — Вот уж неделя, как вы держите меня здесь бог знает зачем! Скажите мне, как отсюда выйти, или я сам найду дорогу!

— А ну-тка, ну-тка!

Тут я, без всякого уважения к замысловатому лабиринту, начал шагать через кусты по-

перек дорожек и вскоре очутился на чистом месте, подле Артемия Семеновича.

При виде решительного моего поступка Артемий Семенович очень смешался, и сильная досада изобразилась на добродушном лице его.

— Ну уж, почтеннейший, — сказал он, — этого я никак от вас не ожидал, никак-таки не ожидал! Могу сказать, что вы первый таким образом выходите из моего лабиринта! Скажите, после этого к чему же лабиринт? Кажется, я довольно долго ломал над ним голову; дорожки спутаны, как гордиев узел. Вы бы до завтра их не распутали...

— Александр Великий разрубил гордиев узел, — отвечал я, направляя шаги к дому.

— Признаюсь, я никак, никак этого не ожидал, и от кого же? от вас, которого я любил как брата!

Во всю дорогу Артемий Семенович был очень печален. Глядя на него, мне стало его жалко. Однако выражение его лица делалось все веселее по мере того, как мы приближались к дому. Глаза его устремлены были на мою бричку, уже заложенную и стоявшую у

крыльца. Меня поразили в ней какие-то странные прибавления, вроде ящичков, приделанных к колесам. Рассмотрев их внимательно и не понимая, что они значат, я обратился с вопросом к кучеру.

Артемий Семенович взялся за него отвечать.

— Это вам сюрприз, почтеннейший! — сказал он с довольным видом. — Доселе вы ездили в вашей бричке без всякой пользы; теперь у вас с одной стороны кофейная мельница, с другой — орган, и оба приводятся в движение круговращением оси. Примите эти две машины в знак моего уважения и в доказательство, что я забываю вашу обиду.

Отговариваться было не время. Я радовался, что получил свободу, поблагодарил Артемия Семеновича и после многих объятий и гигиенических советов сел в свою бричку. Кофе в мельнице уже был насыпан, лошади тронулись с места, и орган заиграл:

*Гром победы, раздавайся;  
Веселися, храбрый росс!*

При проезде через село мужики почти-

тельно снимали передо мной шапки, мальчишки бежали за мною, и я с триумфом выехал из поместья Артемия Семеновича. Не нужно прибавлять, что в тот же день кофейная мельница сломалась, а орган перестал играть «Гром победы, раздавайся»; ось, к которой они были приделаны, покривилась, — и я принужден был остановиться в одной деревне для ее починки.

<1845>

## Амена

**(отрывок из романа «Стебловский»)**

Солнце уже было на закате, когда я, со стилетом в кармане, пришел в Колизей; но чудное освещение древнего амфитеатра не привлекало моего внимания; жажда мщенья кипела в груди моей и вытесняла все другие мысли. Передо мной проходили одно за другим все обстоятельства, приведшие меня в эти развалины; я вспомнил свое знакомство с Пепиной; вспомнил все ядовитые шутки Мореля, который, как злой дух, не переставал преследовать меня во все пребывание мое в Риме; наконец, вспомнил его последнюю оби-

ду и задрожал от ярости...

Вдруг послышалось знакомое пение, раздался звон колокольчика, и длинный ряд людей с завешенными лицами вошел в ворота и потянулся вокруг арены, останавливаясь у каждой часовни и читая вполголоса молитвы. Обошел все до одной и преклонив колени перед крестом, на середине арены, братья милосердия в прежнем порядке вышли из амфитеатра; лишь один остался неподвижен, распростертый у подножия креста.

— О друзья мои, прощаете ли вы меня? — произнес он глухо и таким странным голосом, что я невольно затрепетал.

Незнакомец поднял голову, и сквозь прорезанные дыры его покрывала устремились на меня выразительные глаза его.

— Молодой человек, — сказал он, — я знаю, кого ты ожидаешь и с каким намерением, и я затем здесь, чтоб остановить тебя на краю бездны и удержать от преступления.

— Кто ты? — спросил я с изумлением, — и отчего тебе известны мои сокровеннейшие мысли?

— Кто бы я ни был, — отвечал он торже-

ственно, — благодарю Бога, что Он дозволил тебе встретить меня, и внемли моим словам: на этом самом месте, где мы теперь стоим, совершилось некогда ужасное преступление, и жестоко за него наказан преступник! Слушай, — продолжал незнакомец, облокотясь на капитель древней колонны, которой обломки разбросаны были по арене, — я расскажу тебе нечто, случившееся давно, очень давно:

Во времена императора Максимиана жили в Риме два друга, Виктор и Амвросий, и оба они были христиане. Сестра Виктора была помолвлена за Амвросия, и день их свадьбы уже приближался; но де брачный венец провидение назначало Леонии.

В то время кесарь стал преследовать нашу святую веру. и целыми тысячами погибали его жертвы, иные растерзанные зверями, другие сверженные со скалы Тарпейской. Братья, дети и друзья этих несчастных собрались в отдаленнейшей части Рима и принесли перед крестом торжественный обет: скорее умереть в мучениях еще ужаснейших, чем хотя единым словом отречься от истинного Бога.

Виктор и Амвросий были между давшими сей обет. Они бросились в объятия друг друга и подкрепили слезами умиления священную клятву. Дабы существенным символом ознаменовать свой духовный союз, Амвросий снял с себя тогу, надел ее на Виктора, а сам покрылся тогою своего друга.

— Можем ли мы быть счастливее? — сказал он Виктору. — Сестра твоя скоро будет моею женою; а есть ли в языческой древности хотя один пример такой дружбы, как наша?

— Будем благодарить всевышнего, — отвечал Виктор, — даровавшего тебе любовь, а мне дружбу, как прекрасное предчувствие ожидающего нас в той жизни блаженства, но не забудем, что велика власть врага человеческого и что козни его неисчислимы. Счастье наше не от мира сего, и мы не должны ему предаваться вполне, но бдеть и молиться, дабы враг не раскинул нам сетей в самую минуту упоения.

Амвросий не отвечал ни слова, но внутренне упрекнул своего друга в излишней боязливости.

В тот самый вечер Амвросий, проходя ми-

мо храма Венеры, которого развалины видны через эти ворота, услышал пронзительные вопли, смешанные с неистовыми криками; несколько факелов блеснули перед ним. Выхватив меч, он бросился вперед и увидел четырех преториянцев, влекущих за собою девушку с распущенными волосами, в растерзанной одежде. Несколько ударов меча рассеяли хищников. Амвросий поднял брошенный одним из них факел и хотел помочь девушке встать, но она была в обмороке. Он стал перед нею на колени и начал тереть ее виски, ладони и подошвы. Вскоре она раскрыла глаза, и лицо ее покрылось румянцем стыдливости, когда она взглянула на свою одежду. Амвросий хотел прикрыть девушку своей тогой, но лишь только сбросил ее с плеч, как услышал опять дикие крики и увидел блеск факелов. Преториянцы возвращались в сопровождении новых товарищей. Крики становились громче, проклятия внятнее, и факелы уже освещали их зверские лица, а Амвросий все еще стоял в недоумении, не зная, как скрыть их беззащитную жертву. Вдруг девушка приподняла голову и указала ему на стену храма,

где было проделано, вроде двери, узкое, едва заметное отверстие. Потушив факел, Амвросий взял девушку на руки, вошел в отверстие и, ощупав ногою крутую лестницу, начал спускаться в подземелье.

Ступени уже кончились, он чувствовал под ногами мягкие ковры, но незнакомка все еще обвивала его руками и крепко к нему прижималась.

— Не страшись ничего. — сказал ей Амвросий, — похитители твои далеко, и ты можешь отдохнуть в этом безопасном месте.

— Ах, — отвечала она, — я теперь совершенно спокойна и обнимаю тебя единственно из благодарности.

Сказав это, она ударила в ладони, и две лампы зажглись как будто волшебством. Амвросий увидел богато убранную залу, среди которой стоял бронзовый стол с сосудами и плодами. У стола находился широкий триклиний, высеченный из красного мрамора и покрытый пурпуровыми подушками. Вдоль стен стояли седалища из бронзы и мрамора, также покрытые пурпуром.

Когда, по приглашению неизвестной, Ам-

вросий выпил бокал душистого фалерна, она села на триклиний к его ногам и начала следующим образом:

— Тебе, конечно, кажется странным твое приключение, но чтобы объяснить его, я должна тебе рассказать, кто я и где ты находишься. Я родом из Греции, мое имя Анадиомена, но отец и мать зовут меня просто: Амена.

В Греции жизнь моя текла тихо и спокойно, но лишь только я вступила в Рим, как начались мои несчастья, а виною тому ваш кесарь, изверг Максимиан...

Тут Амвросий остановил Амену и приложил палец к губам.

— Не бойся, — отвечала она, улыбаяся, — стены эти так толсты, что снаружи невозможно слышать ни одного слова. Максимиан, — продолжала она, — увидел меня однажды в храме и решил похитить. Несколько раз избегала я его сетей; но, видя наконец, что мне нельзя показаться на улице без того, чтобы два или три преториянца на меня не напали, я не стала выходить вовсе. В одну ночь толпа сих злодеев ворвалась ко мне в спальню и

именем кесаря требовала, чтобы я шла за ними. Я от них ускользнула, нашла случайно это убежище и решила в нем остаться. Я тайно уведомила отца о своей участи, и он доставляет мне все потребности жизни и присылает поочередно несколько девушек для моей прислуги. Сегодня неизъяснимая грусть мною овладела, и, считая окрестности этого подземелья безопасными, я не вытерпела и вышла подышать свежим воздухом ночи; но едва сделала несколько шагов, как ненавистные преториянцы схватили меня и, несмотря на мое сопротивление и крики, повлекли за собою... Если бы ты не подоспел ко мне на помощь, Я бы теперь была во дворце Максимиана... О, я не могу подумать об этом без ужаса!

Амена закрыла лицо руками, и Амвросий видел, как она покраснела. Оставшись несколько мгновений в этом положении, красавица взглянула на Амвросия и сказала ему с замешательством:

Рассказывая тебе мои похождения, я и забыла, что платье мое в беспорядке. Если позволишь, я оденусь в твоём присутствии, потому что жилище мое очень тесно...

Она ударила в ладони — и вошли три девушки с разными принадлежностями женского наряда. Сперва Амена дала расчесать себе длинные волосы, потом приказала одной из них держать пред собою покрывало в виде ширм и, сняв тунику, велела освежить себя водою и натереть ароматным маслом. Пока девушки ей прислуживали, Амвросий чувствовал какое-то странное беспокойство; ему казалось, что не кровь, а огонь течет в его жилах. Он решился уйти, не простясь с Аменой, но лишь только сделал несколько шагов по ступеням, как услышал голос одного из преторянцев:

— Клянусь Геркулесом, — говорил он, — я не отойду отсюда, пока не отыщу этого проклятого молокососа и не отрублю ему ушей!

— Этого мало, — отвечал другой, — с ним должно поступить, как Улисс поступил с неверным пастырем коз!

Услыша эти слова, Амвросий счел, что было бы неосторожно показаться кровожадным грабителям, и возвратился к Амене.

— Друг мой, — сказала она, — теперь уж поздно: если тыпустишься в путь об эту пору,

то непременно будешь убит. Останься здесь на ночь, а завтра чем свет возвратишься домой. Ты можешь лечь на этой кровати, я же буду спать с своими девушками.

Амвросий чувствовал непреодолимое влечение ко сну и, не отвечая ни слова, опустился на триклиний и вскоре забылся. Сквозь сон он слышал голос Амены, разговаривавшей со своими прислужницами, и шум воды, когда они выжимали грецкие губки в серебряные сосуды. Потом звуки эти так смешались, что ему показалось, будто бы то звон бокалов и гармоническое пение, сопровождаемые арфой. Ему представилось, что он сидит за столом, покрытым дорогими яствами и душистыми винами. Седой слепец, стоя перед ним, ударял в струны и пел ту самую песнь, которую в «Одиссее» поет Демодок и где описывается, как Марс и Венера пойманы были сетями Вулкана. Человек в блестящей короне, сидевший подле него, спросил его, улыбаясь: «Хотел бы ты быть на месте Марса, с тем чтобы тебя, подобно ему, накрыли сетями?» Амвросий вспомнил о своей невесте и хотел сказать: «Нет!» — но язык его нечаянно повер-

нулся, и он невольно произнес: «Да, если бы Венера походила на Амену!» Тут звуки арфы сделались гораздо сладостнее, зала наполнилась облаками, и он почувствовал, что возносится кверху. Когда облака рассеялись, Амвросий находился на высокой горе, откуда виднелись ему цветущие нивы, зеленые леса, светлые реки и необъятное голубое море с бесчисленными островами. Человек в золотой короне сидел пред ним на высоком престоле, окруженный множеством людей в светлых одеждах. Когда он шевелил бровями или потрясал черные кудри, то вся гора дрожала и молнии рассекали гнездившиеся вокруг нее тучи. «Друг мой, — шепнул ему знакомый голос, — ты теперь на Олимпе и видишь перед собою собрание бессмертных, готовых принять тебя в свой круг, если ты отречешься от христианства!» Амвросий оглянулся и увидел Амену, но он догадался, что то была сама Венера, потому что у ног ее ворковали два голубя. «Согласен ли ты для меня забыть свою веру? — спросила она опять. — Муж мой стар и хром, ты же, как Марс, и красив и молод: я охотно променяю на тебя мужа. скажи толь-

ко, что ты согласен!» Амвросий опять вспомнил о Леонии и хотел сказать: «Нет, ни за что на свете!» — но язык его вторично повернулся, и он чуть было не проговорил: «Согласен!» — как вдали увидал друга своего Виктора и сестру его Леонию, которые манили его к себе, показывая мученический венец. В эту минуту Амвросий нечаянно поднял глаза, увидел, что над ним раскинута тонкая сеть из огненных ниток. Амена показалась ему уже не столь прекрасною, а вместо голубей из-под ног ее вспорхнули две летучие мыши. Он сотворил внутреннюю молитву и проснулся.

Вокруг него было темно; но что-то горячее причиняло ему сильную боль в голове, и, ощутив лоб, он почувствовал на нем руку Амены. Он вскочил с кровати и бросился из подземелья; но едва успел пройти несколько шагов, как опять услышал голоса преториянцев.

— Клянусь Геркулесом, — говорил один, — если мне попадется этот мальчишка, то я его растерзаю на части!

— Этого мало, — отвечал другой, — с ним должно поступить, как Тезей поступил с Про-

крустом!

Слова эти показались так ужасны Амвросию, что он не решился выйти из подземелья и возвратился ощупью на свое место. Лишь только глаза его сомкнулись, он увидел себя в очаровательной стране, на берегу ручья, где вокруг серебряных тополей вился изумрудный виноградник, скрывая под широкими листьями спелые золотистые грозды. Нимфы играли на мягкой траве с резвыми сатирами, в ручье плескались наяды, а в зелени деревьев пели красивые птицы, Из рощи выходили центавры в дубовых венках и, вмешавшись в толпу сатиров и нимф, начинали с ними веселую пляску. Амвросий чувствовал нестерпимую жажду, но, подобно Танталу, он не мог ни напиться из ручья, ни достать рукою гроздий. В то время как он тщетно нагибался и протягивал руки, сладкий голос произнес близ него:

«Сними с себя крест, хотя на одно мгновение, и ты тотчас утолишь свою жажду!» Он оглянулся и в кругу нимф узнал Амену; но он догадался, что это не Амена, а Венера, ибо на ней был золотой пояс необыкновенной рабо-

ты, придававший ей удивительную красоту. Он не мог противостоять ее словам и уже дотронулся до креста, как ему показалось, что вдали он видит толпу народа. Вглядевшись в нее пристально, он узнал Виктора; несколько людей клали его на деревянный станок, и палач, с обнаженной грудью, готовился истязать его раскаленными клещами, между тем как четверо других привязывали Леонию к большому колесу. «Прощай, Амвросий, — кричали ему друг и невеста, — мы умираем за нашу веру и будем молиться У престола всевышнего, чтобы он избавил тебя от ослепления!» —

«Нет, мои друзья, и я хочу умереть с вами!» — вскричал Амвросий и внезапно проснулся.

Он вскочил с одра и опрометью побежал из подземелья; но лишь только очутился на ступенях, как услышал два грубые голоса:

— Клянусь Геркулесом. — говорил один из них. — если бы теперь попался мне этот повеса, я бы отрубил ему ноги и руки.

— Этого мало, — отвечал другой, — я бы с ним поступил, как Апполон с Марсиасом!

— Я не боюсь ваших угроз! — вскричал Амвросий, — умереть от пук ваших или от палачей Максимиана для меня все равно!

Он выбежал на свежий воздух и увидел, что уже настало утро. У храма Венеры не было ни одного преториянца, и он спокойно дошел до своего жилища. Слуги Амвросия уведомили его, что ночью стража кесаря вломилась в дом Виктора, наложила на него цепи и увела с собою. Начальник стражи обвинял его в сопротивлении законной власти и в нападении на исполнителей Максимиановых повелений; уликою была тога с именем Виктора, которую преступник, по словам его, сбросил во время бегства. Амвросий поспешил в дом своего друга, чтобы от его сестры узнать подробности этого происшествия. Он застал ее на коленях перед образом спасителя. Крупные слезы блистали в ее глазах, но лицо ее не показывало никакого отчаяния.

— Амвросий, — сказала она с ангельскою улыбкою, — все несчастья ниспосылаются нам свыше! Сегодня друг твой без всякой вины брошен в темницу; завтра, может быть, погибнет твоя невеста; но да будет воля гос-

подня!

Тут брат милосердия остановился и, помолчав немного, спросил меня, известны ли тебе картины Рафаэля?

— Да, — отвечал я, — и ни на одну из его Мадонн я не могу смотреть без сердечного умиления.

— Так, — продолжал незнакомец, — я вижу, что ты понимаешь великого художника. Но если бы ты знал Леонию, ты бы уверился, что в чертах ее было не менее кротости, не менее небесной чистоты, чем в Рафаэлевых Мадоннах.

— Но, — прервал я рассказчика, — ты говоришь об ней, как будто бы сам ее видел?

Не прерывай меня, — отвечал он торжественно, — и слушай далее:

Свидание с Леонией произвело на Амвросия странное действие. Ночное происшествие оставило в нем тягостное впечатление, а все, что он думал и ощущал в подземелье Амены, показалось ему так презренно, так нечисто в сравнении с чувством, проникавшим его в Присутствии Леонии, что он сам не понимал, как мог забыть ее хотя на одну минуту. Ему

хотелось пасть к ее ногам, признаться в своем заблуждении и просить прощения, но ложный стыд удержал его. С другой стороны, он боялся огорчить Леонию, открыв ей, что тога, послужившая уликой Виктору, была брошена им самим и что он не может спасти ее брата, не погибнув вместо его. Однако он решился, не теряя времени, отыскать начальника стражи, освободить Виктора и обвинить себя в преступлении, которое приписывали его другу. Пока он бегал по всему Риму, чтобы узнать, кто именно предводительствовал преторианцами, схватившими Виктора, и в какой темнице он заключен, Прошел целый день. Было уже поздно, когда он, собрав нужные сведения, шел по дороге в темницу. Ему надлежало проходить мимо храма Венеры. Лишь только он поравнялся с местом, где накануне спас Амену, кто-то тихонько назвал его по имени. Он остановился и услышал, что голос выходит из подземелья.

— Сойди ко мне на минуту, — говорил голос, — ты устал, и тебе надобно подкрепить свои силы!

— Не нужно, — отвечал Амвросий доволь-

но сухо и продолжал свой путь.

— Амвросий, Амвросий! — закричал голос, — я знаю, куда ты спешишь; но ты не спасешь своего друга, а только погибнешь с ним вместе. Есть другое средство его спасти, сойди ко мне, и я тебя научу, что должно делать!

Слова эти показались Амвросию так убедительны, что он спустился в подземелье. Ковры на этот раз были усыпаны свежими розами, и благоухание их было так сильно, что Амвросию показалось, будто бы он от него пьянеет. Амена с полураскрытыми глазами лежала на подушках.

— Я тебя ожидала, — сказала она ему, — и нарочно велела убрать свое жилище как можно лучше. Выпей немного вина и омой себя водою: смотри, как ты устал и запылился! — Она ударила в ладони, и прислужницы внесли несколько сосудов холодной воды и разные ароматы.

Когда Амвросий выпил чашу вина, они сняли с него обувь и, освежив его ноги, окатили ему голову и плечи.

— Теперь ложись и отдохни, — сказала Амена, — а я покамест уйду к своим девушкам.

кам.

Амвросий давно хотел ее спросить, каким образом ему спасти Виктора; но лишь только он начинал говорить, Амена его прерывала. Наконец он, не обращая внимания на ее речи, спросил, что ему надобно делать?

— Ты очень нетерпелив, — отвечала Амена, — но чтобы скорее тебя успокоить, я скажу тебе, как ты должен поступить, чтобы избавить друга твоего от смерти, не подвергая себя опасности. Если ты теперь явишься к тюремному начальнику и скажешь ему, что ты настоящий преступник, а что Виктор невинен, то хотя тебя и посадят в темницу, но Виктора из нее не выпустят; напротив, претор почтет его твоим сообщником, — и вместо одной жертвы погибнут две. Вы принадлежите, — продолжала Амена с видом соболезнования, — к такому сословию, которое всякий может губить безнаказанно и для второго нет ни суда, ни законов. Подумай только, что будет с твоей невестой, когда ни брата ее, ни тебя не останется для ее защиты? Каждый хищник, каждый кровопийца станет на нее смотреть как на свою добычу, которую никто не

осмелится и не захочет у него отнять! О, если бы вы не так были упрямы и согласились возвратиться к вашим прежним богам, тогда еще все бы можно поправить!

Амвросия это заключение чрезвычайно поразило, и когда он нечаянно поднял голову, ему снова показалось, что над ним раскинута тонкая сеть из огненных ниток. Однако он не мог не сознаться, что доводы Амены справедливы, и спросил ее, что ему остается делать?

— Во-первых, — отвечала Амена, — ты должен сколь можно менее показываться: связь твоя с Виктором так известна, что рано или поздно она тебя погубит, если ты не будешь осторожен. Во-вторых, никто не может спасти твоего друга, кроме его сестры. Пусть она завтра же пойдет во дворец кесаря, бросится перед ним на колени и молит его о помиловании ее брата. Максимиан изверг, но ему случается показывать проблески великодушия; я уверена, что молодость и красота твоей невесты тронут его каменное сердце...

Тут ужасная мысль поразила Амвросия.

— Как! — вскричал он, — но если эта самая молодость и красота...

— Я понимаю, что ты хочешь сказать, — прервала его Амена. — Ты боишься, чтобы грубая чувственность тирана не побудила его к какому-нибудь насилию; но будь спокоен. Максимиан теперь занят одною мною, а неудача вчерашнего предприятия так раздражила его любовь, что никакая другая мысль не войдет в его голову. Впрочем, если бы даже это и было возможно, то такой случай одно предположение; а когда ты своею опрометчивостью лишишь Леонию брата и жениха, тогда в каждом воине кесаревой стражи она найдет Максимиана!

Амвросий согласился с справедливостию этих слов; но, несмотря на просьбы Амены, непременно хотел продолжать путь свой и посетить Виктора в его темнице. Лишь только он приблизился к выходу из подземелья, как услышал снаружи разговор двух преторианцев.

— Я уверен, — говорил один из них, — что человек, скрывшийся около этого храма, сообщник того негодяя, который вчера помешал нам похитить Амену и которого завтра утром прибьют ко кресту!

— В том нет никакого сомнения, — отвечал другой, — и я позволю назвать себя бабой, если отойду отсюда, не дождавшись этого бездельника!

Услышав, что друга его казнят на другое утро, Амвросий очень испугался, Ему хотелось прорваться сквозь толпу преториянцев и силой освободить Виктора; но, после краткого размышления, он Увидел, что мысль его безрассудна и что он погибнет без всякой пользы для своего друга. Он решился возвратиться к Амене и раскатать ей подслушанный разговор.

— Ты видишь, — сказала Амена, — что совет мой всего вернее. Так как опасность, угрожающая Виктору, гораздо ближе, чем я полагала, то и ты должен поспешить его спасением. Вот пергамен, напиши сейчас к Леонии, чтобы она чем свет шла ко дворцу и ожидала появления кесаря. Скажи ей, что ты ручаешься за успех. Ты можешь ее смело в этом уверить, ибо могла ли бы я, обязанная твоему мужеству более чем жизнью, дать тебе дурной совет. Одна из моих прислужниц выберет удобную минуту и выйдет с твоим посланием из подземелья. Преториянцы ее не увидят, а

если бы и заметили, то пропустят без затруднения.

Амвросий хотел сделать еще какое-то возражение, но почувствовал, что сон его одолевает. Он взял пергамен, написал, что проговорила Амена, и, склонив голову на стол, крепко заснул. Этот раз он ничего не видал во сне, но его пробудил горячий поцелуй Амены.

Встань, — говорила она ему, — теперь уже утро, Преториянцы ушли, ты можешь безопасно дойти до дома.

Амвросий чувствовал большую усталость, но он вскочил с триклиния, куда, вероятно, его перенесли во время сна, и вышел из жилища Амены. Солнце было уже высоко, и он поспешил в дом Леонии, чтобы узнать об успехе ее поступка. На дворе встретили его слуги; — они плакали и рвали на себе одежду. Двое из них рассказали ему, что Леония, получив его письмо, очень была им поражена, но тотчас велела им следовать за собою и пошла ко дворцу Максимиана. Она бросилась перед ним на колени и стала умолять его о прощении брата. «Клянусь Юпитером, — сказал кесарь, — я ничего не знаю о ее брате! Что он за

человек?» — «Он? — отвечал один центурион, — он христианин, которого за разные дерзкие поступки и, между прочим, за сопротивление твоим приказаниям я велел посадить в тюрьму». — «Ты хорошо сделал, — отвечал кесарь, — и можешь поступить с этим христианином как заблагорассудишь; но сестра его мне нравится, и я хочу составить ее счастье». Тут, по знаку Максимиана, подвели к нему Леонию. «Хочешь ли меня полюбить?» — спросил он ее. «У меня есть жених и брат, — отвечала Леонид с кротостию, — и, после Бога, я люблю их одних!» Услыша такой ответ, продолжали слуги, мы побледнели; ибо глаза кесаря налились кровью и белая пена показалась на его устах, однако ж он удержался и продолжал довольно ласково: «Полюби меня, и я осыплю тебя золотом и прощу твоего брата». — «Жизнь его в твоих руках, — отвечала Леония, — но если ты его погубишь, то на это будет воля Божия; любить же тебя я не могу!»

«Послушай, — продолжал кесарь, — если ты будешь упрямиться, то я обойдусь и без твоего согласия, а брата твоего и жениха за-

ставлю умереть пред твоими глазами в ужаснейших мучениях!» Здесь твердость Леонии ее покинула. Она упала к ногам Максимиана и, заливаясь слезами, обняла его колени. «Сжался надо мной, — вопияла она, — могу ли я любить тебя, пролившего безвинно столько христианской крови! Будь великодушен, отпусти меня и прости моего брата!» Кесарь долго молчал, и смотрел на Леонию ужасными глазами. «Есть одно средство, — сказал он наконец. — Если ты и брат твой откажетесь от вашей веры и согласитесь поклоняться богам, то я вас обоих отпущу, не сделав вам ни малейшего вреда; если же нет, то брат твой погибнет. Твои единоверцы доселе так были упрямы, что все приносили в жертву своему Богу. Мне любопытно знать, до какой степени доходит это упорство!» Леония опять бросилась на колени, но кесарь подал знак, и ее отвели в темницу. Услыша этот рассказ, Амвросий впал в отчаяние.

— О Амена! — кричал он в исступлении, — ты виновница этого несчастья! Твои хитрости и лукавые советы причиною, что я погубил друга и невесту! Но если я не в силах их

спасти, то, по крайней мере, умру вместе с ними!

Он побежал к префекту, рассказал все, что с ним случилось в последние два дня, и просил, чтоб его подвергли казни, но освободили бы Виктора и Леонию. Что предсказывала Амена, случилось. Префект велел отвести его, скованного, в глубокую темницу и засмеялся ему в глаза, когда он упомянул об освобождении друга и невесты.

Амвросий провел ночь в мучительном беспокойстве. На другой день пришел тюремный страж и предложил ему свободу от имени префекта, с тем, чтобы он отказался от христианства. Амвросий с негодованием отвергнул это предложение. Прошел день, тюремщик явился с прежним вопросом. Ответ Амвросия был тот же. Таким образом, он недели две провел в темнице, получая пищи ровно сколько было нужно, чтоб не умереть с голоду, и не видя никого, кроме тюремного стража, приходившего каждое утро с тем же предложением и уходившего в глубоком молчании. Была уже ночь, как Амвросий, лежа на мокрой земле, услышал под собою глухие ша-

ги. Вскоре яркий луч осветил темницу, и он увидел Амену, с лампою в одной руке и с амфорою в другой.

— Можно ли быть столько неосторожным! — сказала она ему, и слезы блистали в ее глазах. — О, если бы ты меня послушался!

— Горе мне! — отвечал Амвросий, — что я тебя послушался! Если бы не ты, Леония не была бы теперь в руках Максимиана. Но удались отсюда и не обольщай меня более!

— О, как ты мало меня знаешь! — сказала Амена. — Я ли виновата, что невеста твоя так гордо отвечала кесарю? Он вспыльчив и когда войдет в ярость, то бешенству его нет пределов. Но я уверена, что он бы смягчился, если б Леония отказала ему с большею кротостью. Впрочем, надежда еще не потеряна, и если ты последуешь моему совету, то можешь завтра же выйти из тюрьмы и спасти твоих друзей.

— Что ж мне делать? — спросил Амвросий.

— Выпей немного вина, — отвечала Амена, — и я тебе сейчас скажу.

Амвросий приблизил амфору к губам, и, по мере того как он втягивал в себя душистую

влагу, странное чувство разливалось по его жилам.

Цепи перестали его тяготить; ему казалось, что темница наполняется золотистыми облаками и что перед ним мелькают нимфы, сатиры, центавры и наяды. Все блестящие картины языческой мифологии постепенно развивались в его воображении, и сердце его трепетало от сладострастной неги.

— Я бы могла, — продолжала Амена, — тебя освободить теперь же. Цепи твои распилить мне нетрудно, а подземный ход, чрез который я вошла, имеет сообщение с моим жилищем; но это бы значило совершить только половину дела, и товарищи твои осталось бы в темнице. Чтобы действовать благоразумно, ты должен непременно, хотя на несколько дней, притвориться, будто переходишь в нашу веру. Когда об этом узнает кесарь, он захочет тебя наградить и, по своему обыкновению, велит спросить, чего ты желаешь? Ты потребуешь прощения Виктора и Леонии, и когда они будут освобождены, вы убежите из Италии и в отдаленной Испании дождетесь кончины Максимиана.

Амвросию казалось, что отречься от своего Бога, хотя только для виду, смертельный грех; к тому ж он не был уверен, что Максимиан будет так великодушен, как предполагала Амена; но он подумал о мучениях, ожидающих его друзей, и решился принять на себя ответственность поступка, не одобряемого его совестью. Когда настало утро и тюремщик вошел к нему с обыкновенным вопросом, Амвросий отвечал, по наставлению Амены, что во сне ему предстал Меркурий и убедил его перейти к поклонению богов олимпийских. Тюремщик удалился, и вскоре несколько человек кесаревой стражи вошли в темницу, сняли с него цепи и повели к префекту.

— Кесарь знает о твоём похвальном намерении, — сказал ему префект, и приказал мне вручить тебе этот знак его благоволения. — Он подал Амвросию богатый перстень с редкою жемчужиной. — Однако, — продолжал он, — чтобы доказать, что обращение твое чистосердечно, ты должен сегодня же совершить всенародное жертвоприношение во храме Юпитера. Теперь ступай домой и приготовься.

Пришедши к себе, Амвросий увидел в комнатах множество золотой посуды. Мешки с золотом лежали на полу, а на дворе стояли колесницы с прекрасными конями в богатых сбруях.

— Что это значит? — спросил Амвросий.

— Это прислал тебе кесарь! — отвечали слуги, не радуясь его приходу и поглядывая на него исподлобья. Сердце Амвросия болезненно сжалось. В полдень он всенародно принес жертву Юпитеру и отважился просить помилования Виктору и Леонии. Ему отказали и дали золота; он в отчаянии побежал к Амене.

— Еще не все потеряно, мой друг! — сказала она. — Напиши к своим друзьям, чтобы они, подобно тебе, на время притворились. Прислужница моя найдет средство доставить им твое письмо и к утру принесет ответ. Не пренебрегай также подарками кесаря; они тебе пригодятся для спасения друзей, если нам не останется другого средства, а отказом ты только раздражишь Максимиана.

Амвросий послушался Амены и старался утопить в вине угрызения совести.

— Не будь так печален! — сказала ему Аме-

на. — Если ложное зазрение не удержит твоего друга и невесты, то их простят так же, как простили тебя. а с твоим золотом вы можете бежать на край света. Впрочем, я уверена, что они поймут всю цену твоего самоотвержения и не откажутся последовать твоему совету!

Она взяла в руки лиру, и тихие ее звуки погрузили его неприметно в сладостный сон. Ему представилось, что он древний герой, презиравший все труды и опасности и жертвующий собою для спасения других. В воображении своем он уже могучею рукою и хитрым умом одолевал все препятствия и преграды. Виктор и Леония были освобождены и со слезами благодарности обнимали его колени.

— Если бы ты не был христианин, — шептала ему Амена, — ты бы вступил в число полубогов!

Он предавался упоению гордости, но его разбудил поцелуй Амены. Она подала ему ответ Виктора и Леонии.

«Неверный брат! — писали они, — слухи о твоём отступничестве до нас дошли, но мы не хотели им верить. Нас нарочно вывели из темницы, дабы мы собственными глазами

увидели, как ты преклоняешь голову перед идолом и приносишь ему нечестивую жертву; мы сочли это адским наваждением. Но ты сам к нам пишешь, ты хочешь, чтобы мы следовали твоему примеру; да оградит нас сила Господня! Напрасно ты нас уверяешь, что поклонялся ложным богам только для вида и чтобы в награду за свою измену получить наше освобождение. Ты бы не должен принять тогда золота от Максимиана, а мы не хотим быть спасены этою ценою? Покайся, пока еще время, искупи кровию свое заблуждение, или я, Виктор, отрекаюсь от твоей дружбы, а я, Леония, перестану быть твоей невестой. Ты уже и так изменил своему слову: мы знаем, что ты проводишь время с презренной женщиной, совращающей тебя с пути веры и обязанностей!»

Когда Амвросий кончил чтение, Амена закрыла лицо руками и горько заплакала.

— О, я несчастная! — сказала она, — вот как они толкуют мою благодарность и преданность к тебе! Теперь ты меня возненавидишь, и я умру с тоски.

— Амена, — отвечал Амвросий, чувствуя

сильную досаду на Виктора и Леонию, хотя он сам себе не признавался, что причиною этой Досады было лишь оскорбленное самолюбие, — Амена, я знаю, что Дружба твоя чисто-сердечна и что ревность к вере соделала друзей моих несправедливыми.

— Нет, мой друг, — сказала Амена, горько рыдая, — они говорят Правду, я одна виною твоего несчастья, я виною, что они тебя отринули; но все это я сделала, желая спасти их, ибо не только для тебя, «о и для всех, которые дороги твоему сердцу, я готова пролить до последней капли крови. Амвросий! — вскричала она, упав перед ним на колени, — прости меня, я страстно люблю тебя! Да, я люблю тебя, — продолжала она, не давая ему времени отвечать, — я умру, если ты меня покинешь; но покинь, забудь меня, я сама тебя о том умоляю, у тебя есть невеста, мы сыщем другое средство спасти ее, мы подкупим стражей, вы убежите из Италии и будете счастливы; вот все, что я желаю; у меня же останется воспоминание счастливых дней, проведенных с тобою, и сознание, что я содействовала вашему счастью!

Столько любви, столько самоотвержения в сравнения с строгими словами Виктора и Леонии, отвергавших его любовь и дружбу в то самое время, когда он ожидал их благодарности, поколебали разум Амвросия. Признательность и удовлетворенное самолюбие, с одной стороны, досада, и гордость — с другой, сострадание к Амене. ее обворожительная красота — все это затмило в его душе образ невесты и друга. Он без сопротивления предался ласкам Амены и вспомнил о Леонии только на другой день; в нем пробудились угрызения совести; но, по странному противоречию сердца человеческого, он вместо раскаяния чувствовал негодование к Леонии за то, что мысль об ней вырывала его из сладостного забвения и напоминала ему вину его. Амена всячески старалась развлекать его и так в том успела, что он в продолжение нескольких дней не выходил из ее подземелья и наконец перестал вовсе думать о Леонии и Викторе. Однажды Амена предложила ему прогуляться по Риму.

— Мы можем показаться без всякой опасности, — сказала она. — Тебя, который теперь

в милости у кесаря, никто не тронет, а обо мне он уже давно забыл. Прихоти Максимиана так же скоро проходят, как и рождаются.

Амвросий согласился, и они пошли на Форум. Все им давали место, все на них глядели с почтением. Около полудня Амена почувствовала усталость и пожелала отдохнуть. Дом Амвросия был близок, и они вошли под его портик и расположились у фонтана.

— Ах, — сказала Амена, — как бы обрадовались мои родные, если б они могли меня видеть! Не позволишь ли ты послать за ними? — Амвросий хотел отвечать, но в эту минуту прекрасный юноша, в легкой одежде, с посохом в руке, подошел к Амене и что-то ей шепнул на ухо.

— Родные мои, — сказала Амена, — предупредили мое желание. Вот Гермес, служитель моего отца, пришел тебя просить, чтобы ты им позволил прийти.

Амвросий согласился и, позвав слугу, приказал ему приготовить богатое угощение. Когда солнце зашло, гости стали собираться. Один из них был высокий мужчина с кудрявой, черной бородой и с длинными волосами,

похожими на львиную гриву. Важное его лицо показалось Амвросию знакомым, и он вспомнил, что уже видел его во сне. Другие обоего пола гости были все прекрасны собою, кроме одного, запачканного сажей и сильно хромавшего. Когда они улеглись вокруг стола, то, кроме Амвросия и Амены, было всех-навсе одиннадцать человек. Вскоре между ними завязался разговор. Они говорили очень увлекательно, особенно мужчина с кудрявой бородой.

Пока Амвросий его слушал, в нем разверзались совершенно новые понятия, и он стал смотреть на жизнь, на веру и на добродетель совсем другими глазами. Собеседники его все более или менее придерживались философии Эпикура, и спор состоял только в том, что должно почитать высшим удовольствием в мире? Один превозносил любовь, другой вино, а третий славу. Амвросий несколько раз пытался им противоречить, но они легко опровергали его убеждения и так умно шутили над любовью Платона, учением Сократа и воздержанием Сципиона, что самому Амвросию мнения его показались смешными.

Чтобы веселее провести время, кто-то предложил послать за плясунами и танцовщицами. Они вскоре явились, и искусство их так понравилось Амвросию, что он начал бросать им мешки золота, один за другим; потом стали играть в кости, и Амвросий проиграл большую часть богатства, недавно ему доставшегося.

С первым криком петуха гости удалились, и с Амвросием осталась одна Амена. Он только что хотел отдохнуть от проведенной в шумных удовольствиях ночи, как услышал сильный стук у дверей.

— Отвори нам, проклятый обманщик, — кричали грубые голоса. — Ты притворился, будто поклоняешься Юпитеру, а между тем носишь на себе крест и еще обратил знаменитую римлянку в свою нечестивую веру! Но вы от нас не уйдете и завтра же будете сожжены живые!

И, говоря это, множество людей стучали в двери так, что она трещала.

— Сбрось с себя крест! — шепнула ему побледневшая Амена, — иначе мы оба пропали: я узнаю голоса преториянцев!

Между тем удары сыпались градом на дверь, и одна веревка уже отскочила.

— Сбрось крест, сбрось крест! — умоляла Амена, упав перед ним на колени...»

Здесь незнакомец замолчал.

— Что ж сделал Амвросий? — спросил я.

— Он сбросил с себя крест! — отвечал незнакомец с тяжелым вздохом.

— Что ж было после? — спросил я опять, видя, что брат милосердия хранит глубокое молчание. — Ты, честный отец, так принимаешь рассказ свой к сердцу, как будто бы сам знал Амвросия.

— Не мешай мне, — отвечал брат милосердия, — и слушай, что Мне остается тебе сказать:

«Вломившись в дом, преториянцы обыскали Амвросия и Амену, обшарили все комнаты, углы и застенки и, не нашел креста, удалились, не сделав никому вреда. Настало утро. и Амвросий забыл об этом происшествии.

Прежде хотя редко, но случалось, что он, среди наслаждений и пума, вдруг вспоминал о друзьях и как будто с испугом просыпался

от продолжительного сна. Амена обыкновенно его уверяла, что друзей его скоро выпустят из темницы, что невинность их открыта и что гесарь намерен богато вознаградить их.

Тогда угрызения его совести умолкали, и он вновь утопал в удовольствиях. Теперь же, после потери креста, никакое воспоминание его более не тревожило, и он постоянно оставался в каком-то чадy, в приятном опьянении, мешающем ему замечать, как проходило время. Дни он проводил в театрах, ночи в шумных оргиях с родными Амены. Между тем время текло; золото уменьшалось, и однажды он с ужасом заметил, что от прежнего богатства у него не осталось ничего. Кони, колесницы и дорогая посуда давно уже были проиграны.

— Не печалься, — говорила ему Амена, — на что тебе деньги, разве мы и без них не довольно счастливы? В моем жилище найдешь ты все, что нужно для тихой и беззаботной жизни, а любовь моя заменит нам потерянную роскошь! — И Амвросий опять погружался в удовольствия и не помышлял о будущем.

Однажды он услышал, что два преступни-

ка осуждены на съедение зверям в этом самом Колизее, где мы теперь находимся. Ужасное предчувствие в первый раз им овладело, и он вмешался в толпу народа, бежавшую с криками радости по дороге к амфитеатру. Амена за ним последовала. Когда они поместились на ступенях, он обратился к своему соседу и спросил его, знает ли он имена преступников?

— Их зовут Виктор и Леония, — отвечал сосед, — они оба христиане и умирают за упорство в своей вере.

Тут один человек продрался сквозь толпу и, приблизясь к Амвросию, сказал ему на ухо:

— Через четверть часа друзья твои должны быть растерзаны зверями. Я тюремный страж; дай мне тысячу сестерций, и я им помогу убежать!

— Амена, — вскричал Амвросий, — ты слышишь, что говорит этот человек?

— Слышу, — отвечала Амена, — но какое тебе до них дело? Они христиане, а ты поклонник богов олимпийских!

— Как, Амена, — продолжал Амвросий в отчаянье, — разве я не христианин.

— Ты? — отвечала Амена, — разве ты не приносил жертвы Юпитеру? Разве ты не сбросил с себя креста?

— Дай мне пятьсот сестерций! — продолжал тюремный страж, — и я освобожу твоих друзей!

— Ты слышишь, Амена, — умолял ее Амвросий, — достань мне пятьсот сестерций, только пятьсот!

— У тебя были горы золота, — отвечала Амена. — куда ты его дел?

— Слушай, — продолжал тюремщик, — дай мне один асе, и друзья твои свободны!

— О, я несчастный! — вопиял Амвросий, — у меня нет и обола!

— Так ты, видно, не хочешь спасти друга и невесты! — сказал тюремщик и скрылся в толпе.

— Амена! — вскричал тогда Амвросий, и холодный пот градом побежал с его лица, — ты одна всему виною: по твоим советам я сделался богоотступником, для тебя забыл невесту и друга; спаси же их теперь, на коленях умоляю тебя, спаси их!

— Как, — сказала Амена, странно улыба-

сь, — ты все это сделал для меня и по моим советам? Разве ты, прежде чем меня увидел, не поклялся своему Богу, что никакие мучения не заставят тебя от него отречься? Какие же ты испытал мучения? Ты от Него отрекся добровольно, ты принял в награду золото и подарки от Максимиана и истратил их на свои прихоти! Разве не я сама тебя просила, чтобы ты меня покинул и остался верен своей невесте? Но невеста и друг приняли твои советы не с такою благодарностью, как ты ожидал, они тебя справедливо упрекали в клятвенном преступлении, и ты на них вознегодовал и предал их Максимиану. Во всем этом я не виновата нисколько; я наслаждалась твоею любовью, но ее не вынуждала. У тебя был свой рассудок и своя совесть, — пеняй же теперь сам на себя!

В эту минуту ввели в арену Виктора и Леонию. Лица их были спокойны, поступь тиха и величественна. Пришедши на середину арены, они преклонили колена и устремили к небу глаза, исполненные умиления и восторга.

— Виктор! Леония! — закричал отчаянным

голосом Амвросий; но они его не слышали. Ничто земное уже не могло коснуться праведников: казалось, они в предсмертный час внимали небесной гармонии и пению серафимов.

— Римляне! — закричал Амвросий, — бросьте меня в арену, я вас обманывал: я христианин и хочу умереть за свою веру!

— Он сумасшедший, — сказала Амена, — не слушайте его, он сумасшедший!

Тут Амвросий встал со ступеней, выступил вперед и сотворил крестное знамение.

— Кто бы ни была ты, ужасная женщина, — сказал он, обращаясь к Амене, — я отрекаюсь от тебя, отрекаюсь от твоих богов, отрекаюсь от ада и сатаны! — Услыша эти слова, Амена испустила пронзительный визг, черты ее лица чудовищным образом исказились, изо рта побежало синее пламя; она бросилась на Амвросия и укусила его в щеку. В эту минуту из-за железной решетки впустили в арену четырех львов. Амвросий упал без чувств на ступени амфитеатра».

Незнакомец опять замолчал, и я долго не смел прервать его молчания.

— Кто ты, таинственный человек? — спросил я наконец, видя, что он хочет удалиться.

Вместо ответа брат милосердия отбросил покрывало: страшно бледное лицо устремило на меня выразительный взгляд, и на его щеке я увидел глубокий шрам, как будто из нее мясо было вырвано острыми зубами. Он опять закрыл лицо и, не сказав ни слова, медленными шагами вышел из арены и исчез между развалинами.

## Князь Серебряный

*At nunc patientia servilis tantumque sanguinis domi perditum fatigant animum et moestitia restringunt, neque aliam defensionem ab iis, quibus ista noscentur, exegerim, quam ne oderim tam segniter pereuntes.*

*Tacitus. Annales. Liber XVI[5]*

## Повесть времен Иоанна Грозного Предисловие

Представляемый здесь рассказ имеет целью не столько описание каких-либо событий, сколько изображение общего характера целой эпохи и воспроизведение понятий,

верований, нравов и степени образованности русского общества во вторую половину XVI столетия.

Оставаясь верным истории в общих ее чертах, автор позволил себе некоторые отступления в подробностях, не имеющих исторической важности. Так, между прочим, казнь Вяземского и обоих Басмановых, случившаяся на деле в 1570 году, помещена, для сжатости рассказа, в 1565 год. Этот умышленный анахронизм едва ли навлечет на себя строгое порицание, если принять в соображение, что бесчисленные казни, следовавшие за низвержением Сильвестра и Адашева, хотя много служат к личной характеристике Иоанна, но не имеют влияния на общий ход событий.

В отношении к ужасам того времени автор оставался постоянно ниже истории. Из уважения к искусству и к нравственному чувству читателя он набросил на них тень и показал их, по возможности, в отдалении. Тем не менее он сознается, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук и он бросал перо в негодовании, не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколь-

ко от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования. Это тяжелое чувство постоянно мешало необходимой в эпическом сочинении объективности и было отчасти причиной, что роман, начатый более десяти лет тому назад, окончен только в настоящем году. Последнее обстоятельство послужит, быть может, некоторым извинением для тех неровностей слога, которые, вероятно, не ускользнут от читателя.

В заключение автор полагает нелишним сказать, что чем вольнее он обращался со второстепенными историческими происшествиями, тем строже он старался соблюдать истину и точность в описании характеров и всего, что касается до народного быта и до археологии.

Если удалось ему воскресить наглядно физиономию очерченной им эпохи, он не будет сожалеть о своем труде и почтет себя достигшим желанной цели.

1862

## **Глава 1. Опричники**

Лета от сотворения мира семь тысяч семьдесят третьего, или по нынешнему счислению 1565 года, в жаркий летний день, 23 июня, молодой боярин князь Никита Романович Серебряный подъехал верхом к деревне Медведевке, верст за тридцать от Москвы.

За ним ехала толпа ратников и холопей.

Князь провел целых пять лет в Литве. Его посылал царь Иван Васильевич к королю Жигимонту подписать мир на многие лета после бывшей тогда войны. Но на этот раз царский выбор вышел неудачен. Правда, Никита Романович упорно отстаивал выгоды своей земли и, казалось бы, нельзя и желать лучшего посредника, но Серебряный не был рожден для переговоров. Отвергая тонкости посольской науки, он хотел вести дело начистоту и, к крайней досаде сопровождавших его дьяков, не позволял им никаких изворотов. Королевские советники, уже готовые на уступки, скоро воспользовались простодушием князя, вывели от него наши слабые стороны и увеличили свои требования. Тогда он не вытерпел: среди полного сейма ударил кулаком по столу и разорвал dokonчальную грамоту, пригото-

ленную к подписанию. «Вы-де и с королем вашим вьюны да оглядчики! Я с вами говорю по совести; а вы всё норовите, как бы меня лукавством обойти! Так-де чинить неповадно!» Этот горячий поступок разрушил в один миг успех прежних переговоров, и не миновать бы Серебряному опалы, если бы, к счастью его, не пришло в тот же день от Москвы повеление не заключать мира, а возобновить войну. С радостью выехал Серебряный из Вильно, сменил бархатную одежду на блестящие бахтерцы и давай бить литовцев, где только бог посылал. Показал он свою службу в ратном деле лучше, чем в думном, и прошла про него великая хвала от русских и литовских людей.

Наружность князя соответствовала его нраву. Отличительными чертами более приятного, чем красивого лица его были простосердечие и откровенность. В его темно-серых глазах, осененных черными ресницами, наблюдатель прочел бы необыкновенную, бессознательную и как бы невольную решительность, не позволявшую ему ни на миг задуматься в минуту действия. Неровные взъерошенные брови и косая между ними складка

указывали на некоторую беспорядочность и непоследовательность в мыслях. Но мягко и определительно изогнутый рот выражал честную, ничем не поколебимую твердость, а улыбка — беспритязательное, почти детское добродушие, так что иной, пожалуй, почел бы его ограниченным, если бы благородство, дышащее в каждой черте его, не ручалось, что он всегда постигнет сердцем, чего, может быть, и не сумеет объяснить себе умом. Общее впечатление было в его пользу и рождало убеждение, что можно смело ему довериться во всех случаях, требующих решимости и самоотвержения, но что обдумывать свои поступки не его дело и что соображения ему не даются.

Серебряному было лет двадцать пять. Роста он был среднего, широк в плечах, тонок в поясе. Густые русые волосы его были светлее загорелого лица и составляли противоположность с темными бровями и черными ресницами. Короткая борода, немного темнее волос, слегка отеняла губы и подбородок.

Весело было теперь князю и легко на сердце возвращаться на родину. День был свет-

лый, солнечный, один из тех дней, когда вся природа дышит чем-то праздничным, цветы кажутся ярче, небо голубее, вдали прозрачными струями зыблется воздух, и человеку делается так легко, как будто бы душа его сама перешла в природу, и трепещет на каждом листе, и качается на каждой былинке.

Светел был июньский день, но князю, после пятилетнего пребывания в Литве, он казался еще светлее. От полей и лесов так и веяло Русью.

Без лести и кривды радел Никита Романович к юному Иоанну. Твердо держал он свое крестное целование, и ничто не пошатнуло бы его крепкого стоятельства за государя. Хотя сердце и мысль его давно просились на родину, но если бы теперь же пришло ему повеление вернуться на Литву, не увидя ни Москвы, ни родных, он без ропота поворотил бы коня и с прежним жаром кинулся бы в новые битвы. Впрочем, не он один так мыслил. Все русские люди любили Иоанна всею землею. Казалось, с его праведным царствием настал на Руси новый золотой век, и монахи, перечитывая летописи, не находили в них государя,

равного Иоанну.

Еще не доезжая деревни, князь и люди его слышали веселые песни, а когда подъехали к околице, то увидели, что в деревне праздник. На обоих концах улицы парни и девки составили по хороводу, и оба хоровода несли по березке, украшенной пестрыми лоскутьями. На головах у парней и девок были зеленые венки. Хороводы пели то оба вместе, то чередуясь, разговаривали один с другим и перекидывались шуточной бранью. Звонко раздавался между песнями девичий хохот, и весело пестрели в толпе цветные рубахи парней. Стаи голубей перелетали с крыши на крышу. Все двигалось и кипело; веселился православный народ.

У околицы старый стремянный князя с ним поравнялся.

— Эхва! — сказал он весело, — вишь, как они, батюшка, тетка их подкурятина, справляют Аграфену Купальницу-то! Уж не поотдохнуть ли нам здесь? Кони-то заморились, да и нам-то, поемши, веселее будет ехать. По сытому брюху, батюшка, сам знаешь, хоть обухом бей!

— Да, я чай, уже не далеко до Москвы! — сказал князь, очевидно не желавший остановиться.

— Эх, батюшка, ведь ты сегодня уж разов пять спрашал. Сказали тебе добрые люди, что будет отсюда еще поприщ за сорок. Вели отдохнуть, князь, право, кони устали!

— Ну добро, — сказал князь, — отдыхайте!

— Эй, вы! — закричал Михеич, обращаясь к ратникам, — долой с коней, сымай котлы, раскладывай огонь!

Ратники и холопы были все в приказе у Михеича; они спешили и стали развязывать вьюки. Сам князь слез с коня и снял служилую бронь. Видя в нем человека роду честного, молодые прервали хороводы, старики сняли шапки, и все стояли, переглядываясь в недоумении, продолжать или нет веселие.

— Не чинитесь, добрые люди, — сказал ласково Никита Романович, — кричат соколам не помеха!

— Спасибо, боярин, — отвечал пожилой крестьянин. — Коли милость твоя нами не брезгает, просим покорно, садись на завалину, а мы тебе, коли соизволишь, медку подне-

сем; уважь, боярин, выпей на здоровье! Дуры — продолжал он, обращаясь к девкам, — чего испугались? Аль не видите, это боярин с своею челядью, а не какие-нибудь опричники! Вишь ты, боярин, с тех пор как настала на Руси опричина, так наш брат всего боится; житья нету бедному человеку! И в праздник пей, да не допивай; пой, да оглядывайся. Как раз нагрянут, ни с того ни с другого, словно снег на голову!

— Какая опричина? Что за опричники? — спросил князь.

— Да провал их знает! Называют себя царскими людьми. Мы-де люди царские, опричники! А вы-де земщина! Нам-де вас грабить да обдирать, а вам-де терпеть да кланяться. Так-де царь указал!

Князь Серебряный вспыхнул.

— Царь указал обижать народ! Ах они оканные! Да кто они такие? Как вы их, разбойников, не перевяжете!

— Перевязать опричников-то! Эх, боярин! видно, ты издалека едешь, что не знаешь опричины! Попытайся-ка что с ними сделать! Ономясь наехало их человек десять на

двор к Степану Михайлову, вон на тот двор, что на запоре; Степан-то был в поле; они к старухе: давай того, давай другого. Старуха все ставит да кланяется. Вот они: давай, баба, денег! Заплакала старуха, да нечего делать, отперла сундук, вынула из тряпицы два алтына, подает со слезами: берите, только живую оставьте. А они говорят: мало! Да как хватит ее один опричник в висок, так и дух вон! Приходит Степан с поля, видит: лежит его старуха с разбитым виском; он не вытерпел. Давай ругать царских людей: бога вы не боитесь, окажанные! Не было б вам на том свету ни дна ни покрывки! А они ему, сердечному, петлю на шею, да и повесили на воротах!

Вздрогнул от ярости Никита Романович. Закипело в нем ретивое.

— Как, на царской дороге, под самую Московой, разбойники грабят и убивают крестьян! Да что же делают ваши сотские да губные старосты? Как они терпят, чтобы станичники себя царскими людьми называли?

— Да, — подтвердил мужик, — мы-де люди царские, опричники; нам-де все вольно, а вы-де земщина! И старшие у них есть; знаки но-

сят: метлу да собачью голову. Должно быть, и вправду царские люди.

— Дурень! — вскричал князь, — не смей станичников царскими людьми величать! «Ума не приложу, — подумал он. — Особые знаки? Опричники? Что это за слово? Кто эти люди? Как приеду на Москву, обо всем доложу царю. Пусть велит мне сыскать их! Не спущу им, как бог свят, не спущу!»

Между тем хоровод шел своим чередом.

Молодой парень представлял жениха, молодая девка невесту; парень низко кланялся родственникам своей невесты, которых также представляли парни и девки.

— Государь мой, тещюшка, — пел жених вместе с хором, — упари мне пива!

— Государыня теща, напеки пирогов!

— Государь свояк, оседлай мне коня!

Потом, взявшись за руки, девки и парни кружились вокруг жениха и невесты, сперва в одну, потом в другую сторону. Жених выпил пиво, съел пироги, изъездил коня и выгоняет свою родню.

— Пошел, тесть, к черту!

— Пошла, теща, к черту!

— Пошел, свояк, к черту!

При каждом стихе он выталкивал из хорова то девку, то парня. Мужики хохотали.

Вдруг раздался пронзительный крик. Мальчик лет двенадцати, весь окровавленный, бросился в хоровод.

— Спасите! спрячьте! — кричал он, хватаясь за полы мужиков.

— Что с тобой, Ваня? Чего орешь? Кто тебя избил? Уж не опричники ль?

В один миг оба хорова собрались в кучу; все окружили мальчика; но он от страха едва мог говорить.

— Там, там, — произнес он дрожащим голосом, — за огородами, я пас телят... они наехали, стали колоть телят, рубить саблями, пришла Дунька, стала просить их, они Дуньку взяли, потащили, потащили с собой, а меня...

Новые крики перебили мальчика. Женщины бежали с другого конца деревни.

— Беда, беда! — кричали они, — опричники! бегите, девки, прячьтесь в рожь! Дуньку и Аленку схватили, а Сергевну убили насмерть!

В то же время показались всадники, чело-

век с пятьдесят, сабли наголо. Впереди скакал чернобородый детина в красном кафтане, в рысьей шапке с парчовым верхом. К седлу его привязаны были метла и собачья голова.

— Гойда! Гойда! — кричал он, — колите скот, рубите мужиков, ловите девок, жгите деревню! За мной, ребята! Никого не жалеть!

Крестьяне бежали куда кто мог.

— Батюшка! Боярин! — вопили те, которые были ближе к князю, — не выдавай нас, сирот! Оборони горемычных!

Но князя уже не было между ними.

— Где ж боярин? — спросил пожилой мужик, оглядываясь на все стороны. — И след простыл! И людей его не видать! Ускакали, видно, сердечные! Ох, беда неминуемая, ох, смерть нам настала!

Детина в красном кафтане остановил коня.

— Эй ты, старый хрен! здесь был хоровод, куда девки разбежались?

Мужик кланялся молча.

— На березу его! — закричал черный. — Любит молчать, так пусть себе молчит на березе!

Несколько всадников сошли с коней и на-

кинули мужику петлю на шею.

— Батюшки, кормильцы! Не губите старика, отпустите, родимые! Не губите старика!

— Ага! Развязал язык, старый хрыч! Да поздно, брат, в другой раз не шути! На березу его!

Опричники потащили мужика к березе. В эту минуту из-за избы раздалось несколько выстрелов, человек десять пеших людей бросились с саблями на душегубцев, и в то же время всадники князя Серебряного, вылетев из-за угла деревни, с криком напали на опричников. Княжеских людей было вполвину менее числом, но нападение совершилось так быстро и неожиданно, что они в один миг опрокинули опричников. Князь сам рукоятью сабли сшиб с лошади их предводителя. Не дав ему опомниться, он спрыгнул с коня, придавил ему грудь коленом и стиснул горло.

— Кто ты, мошенник? — спросил князь.

— А ты кто? — отвечал опричник, хрипя и сверкая глазами.

Князь приставил ему пистольное дуло ко лбу.

— Отвечай, окаянный, или застрелю как собаку!

— Я тебе не слуга, разбойник, — отвечал черный, не показывая боязни, — а тебя повесят, чтобы не смел трогать царских людей!

Курок пистолы щелкнул, но кремень осекся, и черный остался жив.

Князь посмотрел вокруг себя. Несколько опричников лежали убитые, других княжеские люди вязали, прочие скрылись.

— Скрутите и этого! — сказал боярин, и, глядя на зверское, но бесстрашное лицо его, он не мог удержаться от удивления. «Нечего сказать, молодец! — подумал князь. — Жаль, что разбойник!»

Между тем подошел к князю стремянный его, Михеич.

— Смотри, батюшка, — сказал он, показывая пук тонких и крепких веревок с петлями на конце, — вишь, они какие осилы возят с собою! Видно, не впервой им душегубствовать, тетка их подкурятина!

Тут ратники подвели к князю двух лошадей, на которых сидели два человека, связанные и прикрученные к седлам. Один из них

был старик с кудрявою, седою головою и длинною бородой. Товарищ его, черноглазый молодец, казался лет тридцати.

— Это что за люди? — спросил князь. — Зачем вы их к седлам прикрутили?

— Не мы, боярин, а разбойники прикрутили их к седлам. Мы нашли их за огородами, и стража к ним была приставлена.

— Так отвяжите их и пустите на волю!

Освобожденные пленники потягивали онемелые члены, но, не спеша воспользоваться свободою, остались посмотреть, что будет с побежденными.

— Слушайте, мошенники, — сказал князь связанным опричникам, — говорите, как вы смели называться царскими слугами? Кто вы таковы?

— Что, у тебя глаза лопнули, что ли? — отвечал один из них. — Аль не видишь, кто мы? Известно кто! Царские люди, опричники!

— Окаянные! — вскричал Серебряный, — коли жизнь вам дорога, отвечайте правду!

— Да ты, видно, с неба свалился, — сказал с усмешкой черный детина, — что никогда опричников не видал? И подлинно с неба сва-

лился! Черт его знает, откуда выскочил, провалиться бы тебе сквозь землю!

Упорство разбойников взорвало Никиту Романовича.

— Слушай, молодец, — сказал он, — твоя дерзость мне было пришлась по нраву, я хотел было пощадить тебя. Но если ты сейчас же не скажешь мне, кто ты таков, как бог свят, велю тебя повесить!

Разбойник гордо выпрямился.

— Я Матвей Хомяк! — отвечал он, — стреманный Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского; служу верно господину моему и царю в опричниках. Метла, что у нас при седле, значит, что мы Русь метем, выметаем измену из царской земли; а собачья голова — что мы грызем врагов царских. Теперь ты ведаешь, кто я; скажи ж и ты, как тебя называть, величать, каким именем помянуть, когда придется тебе шею свернуть?

Князь простил бы опричнику его дерзкие речи. Бесстрашие этого человека в виду смерти ему нравилось. Но Матвей Хомяк клеветал на царя, и этого не мог снести Никита Романович. Он дал знак ратникам. Привыкшие

слушаться боярина и сами раздраженные дерзостью разбойников, они накинули им петли на шеи и готовились исполнить над ними казнь, незадолго перед тем угрожавшую бедному мужику.

Тут младший из людей, которых князь велел отвязать от седел, подошел к нему.

— Дозволь, боярин, слово молвить.

— Говори!

— Ты, боярин, сегодня доброе дело сделал, вызволил нас из рук этих собачьих детей, так мы хотим тебе за добро добром заплатить. Ты, видно, давно на Москве не бывал, боярин. А мы так знаем, что там деется. Послушай нас, боярин. Коли жизнь тебе не постыла, не вели вешать этих чертей. Отпусти их, и этого беса, Хомяка, отпусти. Не их жаль, а тебя, боярин. А уж попадутся нам в руки, вот те Христос, сам повешу их. Не миновать им осила, только бы не ты их к черту отправил, а наш брат!

Князь с удивлением посмотрел на незнакомца. Черные глаза его глядели твердо и пронизательно; темная борода покрывала всю нижнюю часть лица, крепкие и ровные зубы сверкали ослепительною белизной. Судя

по его одежде, можно было принять его за посадского или за какого-нибудь зажиточного крестьянина, но он говорил с такою уверенностью и, казалось, так искренно хотел предостеречь боярина, что князь стал пристальнее вглядываться в черты его. Тогда показалось князю, что на них отпечаток необыкновенного ума и сметливости, а взгляд обнаруживает человека, привыкшего повелевать.

— Ты кто, молодец? — спросил Серебряный, — и зачем вступаешься за людей, которые самого тебя прикрутили к седлу?

— Да, боярин, кабы не ты, то висеть бы мне вместо их! А все-таки послушай мово слова, отпусти их; жалеть не будешь, как приедешь на Москву. Там, боярин, не то, что прежде, не те времена! Кабы всех их перевешать, я бы не прочь, зачем бы не повесить! А то и без этих довольно их на Руси останется; а тут еще человек десять ихних ускакало; так если этот дьявол, Хомяк, не воротится на Москву, они не на кого другого, а прямо на тебя покажут!

Князя, вероятно, не убедили бы темные речи незнакомца, но гнев его успел простыть.

Он рассудил, что скорая расправа с злодеями немного принесет пользы, тогда как, предав их правосудию, он, может быть, откроет всю шайку этих загадочных грабителей. Расспросив подробно, где имеет пребывание ближний губной староста, он приказал старшему ратнику с товарищами проводить туда пленных и объявил, что поедет далее с одним Михеичем.

— Власть твоя посылать этих собак к губному старосте, — сказал незнакомец, — только поверь мне, староста тотчас велит развязать им руки. Лучше бы самому тебе отпустить их на все четыре стороны. Впрочем, на то твоя боярская воля.

Михеич слушал всё молча и только почесывал за ухом. Когда незнакомец кончил, старый стремянный подошел к князю и поклонился ему в пояс.

— Батюшка боярин, — сказал он, — оно тово, может быть, этот молодец и правду говорит: неравно староста отпустит этих разбойников. А уж коли ты их, по мягкосердечию твоему, от петли помиловал, за что бог и тебя, батюшка, не оставит, то дозвожь, по крайню-

сти, перед отправкой-то, на всяк случай, влить им по полсотенке плетей, чтоб вперед-то не душегубствовали, тетка их подкурятина!

И, принимая молчание князя за согласие, он тотчас велел отвезть пленных в сторону, где предложенное им наказание было исполнено точно и скоро, несмотря ни на угрозы, ни на бешенство Хомяка.

— Это самое питательное дело!.. — сказал Михеич, возвращаясь с довольным видом к князю. — Оно, с одной стороны, и безобидно, а с другой — и памятно для них будет!

Незнакомец, казалось, сам одобрял счастливую мысль Михеича. Он усмехался, поглаживая бороду, но скоро лицо его приняло прежнее суровое выражение.

— Боярин, — сказал он, — уж коли ты хочешь ехать с одним только стремянным, то дозвожь хоть мне с товарищем к тебе прижмнуться; нам дорога одна, а вместе будет веселее; к тому ж не ровен час, коли придется опять работать руками, так восемь рук больше четырех вымолотят.

У князя не было причин подозревать своих

новых товарищей. Он позволил им ехать с собою, и, после краткого отдыха, все четверо пустились в путь.

## Глава 2. Новые товарищи

Дорогой Михеич несколько раз пытался выведать от незнакомцев, кто они таковы, но те отшучивались или отделялись разными изворотами.

— Тьфу, тетка их подкурятина! — сказал наконец сам про себя Михеич, — что за народ! Словно вьюны какие! Думаешь, вот поймал их за хвост, а они тебе промеж пальцев!

Между тем стало темнеть; Михеич подъехал к князю.

— Боярин, — сказал он, — хорошо ли мы сделали, что взяли с собой этих молодцов? Они что-то больно увертливы, никак от них толку не добьешься. Да и народ-то плечистый, не хуже Хомяка. Уж не лихие ли люди?

— А хоть и лихие, — отвечал беззаботно князь, — всё же они постоят за нас, коли неравно попадутся нам еще опричники!

— А провал их знает, постоят ли, батюшка! Ворон ворону глаз не выклюет; а я слышал, как они промеж себя поговаривали черт зна-

ет на каком языке, ни слова не понять, а, кажись, было по-русски! Берегись, боярин, береженого коня и зверь не вредит!

Темнота усиливалась. Михеич замолчал. Боярин также молчал. Слышен был только лошадиный топ да изредка чуткое фыркание.

Ехали лесом. Один из незнакомцев затянул песню, другой стал подтягивать.

Песнь эта, раздающаяся ночью, среди леса, после всех дневных происшествий, странно подействовала на князя: ему сделалось грустно. Он вспомнил о прошедшем, вспомнил об отъезде своем из Москвы, за пять лет назад, и в воображении очутился опять в той церкви, где перед отъездом слушал молебен и где сквозь торжественное пение, сквозь шепот толпы, его поразили нежный и звучный голос, которого не заглушил ни стук мечей, ни гром литовских пицалей. «Прости, князь, говорил ему украдкою этот голос, я буду за тебя молиться!..» Между тем незнакомцы продолжали петь, но слова их не соответствовали размышлениям боярина. В песни говорилось про широкое раздолье степей, про матушку-Волгу, про разгульное бурлацкое житье. Голоса

то сходились, то расходились, то текли ровным током, как река широкая, то бурными волнами вздымались и опускались, и наконец, взлетев высоко, высоко, царили в небесах, как орлы с распростертыми крыльями.

Грустно и весело в тихую летнюю ночь, среди безмолвного леса, слушать размашистую русскую песню. Тут и тоска бесконечная, безнадежная, тут и сила непобедимая, тут и роковая печать судьбы, железное предназначение, одно из основных начал нашей народности, которым можно объяснить многое, что в русской жизни кажется непонятным. И чего не слышно еще в протяжной песни среди летней ночи и безмолвного леса!

Пронзительный свист прервал мысли боярина. Два человека выпрыгнули из-за деревьев и взяли лошадь его под уздцы. Двое других схватили его за руки. Сопротивление стало невозможно.

— Ах мошенники! — вскричал Михеич, которого также окружили неизвестные люди, — ах тетка их подкурятина! Ведь подвели же, окаянные!

— Кто едет? — спросил грубый голос.

— Бабушкино веретено! — отвечал младший из новых товарищей князя.

— В дедушкином лапте! — сказал грубый голос.

— Откуда бог несет, земляки?

— Не тряс яблони! Дай дрожжам взойти, сам-четверт урожаю! — продолжал спутник князя.

Руки, державшие боярина, тотчас опустились, и конь, почувствовав свободу, стал опять фыркать и шагать между деревьями.

— Вишь, боярин, — сказал незнакомец, равняясь с князем, — ведь говорил я тебе, что вчетвером веселее ехать, чем сам-друг! Теперь дай себя только до мельницы проводить, а там простимся. В мельнице найдешь ночлег и корм лошадям. Дотудова будет версты две, не боле, а там скоро и Москва!

— Спасибо, молодцы, за услугу. Коли придется нам когда встретиться, не забуду я, что долг платежом красен!

— Не тебе, боярин, а нам помнить услуги. Да вряд ли мы когда и встретимся. А если бы привел бог, так не забудь, что русский человек добро помнит и что мы всегда тебе вер-

ные холопы!

— Спасибо, ребята, а имени своего не скажете?

— У меня имя не одно, — отвечал младший из незнакомцев. — Покамест я Ванюха Перстень, а там, может, и другое прозвание мне найдется.

Вскоре они приблизились к мельнице. Несмотря на ночное время, колесо шумело в воде. На свист Перстня показался мельник. Лица его нельзя было разглядеть за темнотою, но, судя по голосу, он был старик.

— Ах ты, мой кормилец! — сказал он Перстню, — не ждал я тебя сегодня, да еще с проезжими! Что бы тебе с ними уж до Москвы доехать? А у меня, родимый, нет ни овса, ни сена, ни ужина!

Перстень сказал что-то мельнику на непонятном условном языке. Старик отвечал такими же непонятными словами и прибавил вполголоса:

— И рад бы, родимый, да гостя жду; такого гостя, боже сохрани, какой сердитый!

— А камора за ставом? — сказал Перстень.

— Вся завалена мешками!

— А кладовая? Слышь ты, брат, чтоб сейчас отыскалось место, овес лошадям и ужин боярину! Мы ведь знаем друг друга, меня не морочь!

Мельник, ворча, повел приезжих в камору, стоявшую шагах в десяти от мельницы и где, несмотря на мешки с хлебом и мукою, было очень довольно места.

Пока он сходил за лучиной, Перстень и товарищ его простились с боярином.

— А скажите, молодцы, — спросил Михеич, — где ж отыскать вас, если б, неравно, по сегодняшнему делу, князю понадобились свидетели?

— Спроси у ветра, — отвечал Перстень, — откуда он? Спроси у волны перебежной, где живет она? Мы что стрелы острые с тетивы летим: куда вонзится калена стрела, там и дом ее! В свидетели, — продолжал он, усмехаясь, — мы его княжеской милости не годимся. А если б мы за чем другим понадобились, приходи, старичина, к мельнику; он тебе скажет, как отыскать Ванюху Перстня!

— Вишь ты, тетка твоя подкурятина! — проворчал себе под нос Михеич, — какие куд-

рявые речи выговаривает!

— Боярин, — сказал Перстень, удаляясь, — послушай меня, не хвались на Москве, что хотел повесить слугу Малюты Скуратова и потом отодрал его как сидорову козу!

— Вишь, что наладил, — проворчал опять Михеич, — отпусти разбойника, не вешай разбойника, да и не хвались, что хотел повесить! Затвердила сорока Якова, видно с одного поля ягода! Не беспокойся, брат, — прибавил он громко, — наш князь никого не боится; наплевать ему на твоего Скурлатова; он одному царю ответ держит!

Мельник принес зажженную лучину и воткнул ее в стену. Потом принес щей, хлеба и кружку браги. В чертах его была странная смесь добродушия и плутовства; волосы и борода были совсем седые, а глаза ярко-серого цвета; морщины во всех направлениях раскали лицо его.

Поужинав и помолившись богу, князь и Михеич расположились на мешках; мельник пожелал им доброй ночи, низко поклонился, погасил лучину и вышел.

— Боярин, — сказал Михеич, когда они

остались одни, — сдается мне, что напрасно мы здесь остановились. Лучше было ехать до Москвы.

— Чтобы тревожить народ божий среди ночи? Слезать с коней да отмыкать рогатки на каждой улице?

— Да что, батюшка, лучше отмыкать рогатки, чем спать в чертовой мельнице. И угораздило же их, окаянных, привести именно в мельницу! Да еще на Ивана Купала. Тьфу ты пропасть.

— Да что тебе здесь худо, что ли?

— Нет, батюшка, не худо; и лежать покойно, и щи были добрые, и лошадям овес засыпан; да только то худо, что хозяин, вишь, мельник.

— Что ж с того, что он мельник?

— Как что, что мельник? — сказал с жаром Михеич. — Да разве ты не знаешь, князь, что нет мельника, которому бы нечистый не приходился сродни? Али ты думаешь, он сумеет без нечистого плотину насыпать? Да, черта с два! Тетка его подкурятина!

— Слышал я про это, — сказал князь, — мало ли что люди говорят. Да теперь не время

разбирать, бери, что бог послал.

Михеич немного помолчал, потом зевнул, еще помолчал и спросил уже заспанным голосом:

— А как ты думаешь, боярин, что за человек этот Матвей Хомяк, которого ты с лошади сшиб?

— Я думаю, разбойник.

— И я тоже думаю. А как ты думаешь, боярин, что за человек этот Ванюха Перстень?

— Я думаю, тоже разбойник.

— И я так думаю. Только этот разбойник будет почище того разбойника. А тебе как покажется, боярин, который разбойник будет почище, Хомяк или Перстень?

И, не дожидаясь ответа, Михеич захрапел. Вскоре уснул и князь.

### **Глава 3. Колдовство**

**М**есяц взошел на небо, звезды ярко горели. Полуразвалившаяся мельница и шумящее колесо были озарены серебряным блеском.

Вдруг раздался конский топот, и вскоре повелительный голос закричал под самой мельницей:

— Эй, колдун!

Казалось, новый приезжий не привык дожидаться, ибо, не слыша ответа, он закричал еще громче:

— Эй, колдун! Выходи, не то в куски изрублю!

Послышался голос мельника:

— Тише, князь, тише, батюшка, теперь мы не одни, остановились у меня проезжие; а вот я сейчас к тебе выйду, батюшка, дай только сундук запереть.

— Я те дам сундук запирать, чертова ко-черга! — закричал тот, которого мельник называл князем. — Разве ты не знал, что я буду сегодня! Как смел ты принимать проезжих! Вон их отсюда!

— Батюшка, не кричи, бога ради не кричи, всё испортишь! Я тебе говорил уже, дело боится шуму, а проезжих прогнать я не властен. Да они же нам и не мешают; они спят теперь, коли ты, родимый, не разбудил их!

— Ну, добро, старик, только смотри, коли ты меня морочишь, лучше бы тебе на свет не родиться. Еще не выдуманно, не придумано такой казни, какую я найду тебе!

— Батюшка, умиლოსердись! что ж мне делать, старику? Что увижу, то и скажу; что после случится, в том один бог властен! А если твоя княжеская милость меня казнить собирается, так лучше я и дела не начну!

— Ну, ну, старик, не бойся, я пошутил.

Проезжий привязал лошадь к дереву. Он был высокого роста и, казалось, молод. Месяц играл на запонках его однорядки. Золотые кисти мурмолки болтались по плечам.

— Что ж, князь, — сказал мельник, — выучил ты слова?

— И слова выучил, и ласточкино сердце ношу на шее.

— Что ж, боярин, и это не помогает?

— Нет, — отвечал с досадой князь, — ничего не помогает! Намедни я увидел ее в саду. Лишь узнала она меня, побледнела, отвернулась, убежала в светлицу!

— Не прогневишь, боярин, не руби невинной головы, а дозвожь тебе слово молвить.

— Говори, старик.

— Слушай, боярин, только я боюсь говорить...

— Говори! — закричал князь и топнул но-

гой.

— Слушай же, батюшка, уж не любит ли она другого?

— Другого? Кого ж другого? мужа? старика?

— А если... — продолжал мельник, запинаясь, — если она любит не мужа?...

— Ах ты леший! — вскричал князь, — да как это тебе на ум взбрело? Да если б я только подумал про кого, я б у них у обоих своими руками сердце вырвал!

Мельник отшатнулся в страхе.

— Колдун, — продолжал князь, смягчая свой голос, — помоги мне! Одолела меня любовь, змея лютая! Уж чего я не делал! Целые ночи перед иконами молился! Не вымолил себе покою. Бросил молиться, стал скакать и рыскать по полям с утра до ночи, не одного доброго коня заморил, а покоя не выездил! Стал гулять по ночам, выпивал ковши вина крепкого, не запил тоски, не нашел себе покоя в похмелье! Махнул на все рукой и пошел в опричники. Стал гулять за царским столом вместе со страдниками, с Грязными, с Басмановыми! Сам хуже их злодействовал, разорял

села и слободы, увозил жен и девок, а не залил кровью тоски моей! Боятся меня и земские и опричники, жалуется царь за молодечество, проклинает народ православный. Имя князя Афанасья Вяземского стало так же страшно, как имя Малюты Скуратова! Вот до чего довела меня любовь, погубил я душу мою! Да что мне до нее! Во дне адовом не будет хуже здешнего! Ну, старик, чего смотришь мне в глаза? Али думаешь, я помешался? Не помешался Афанасий Иванович; крепка голова, крепко тело его! Тем-то и ужасна моя мука, что не может известить меня!

Мельник слушал князя и боялся. Он опасался его буйного нрава, опасался за жизнь свою.

— Что ж ты молчишь, старик? али нет у тебя зелья, али нет корня какого приворотить ее? Говори, высчитывай, какие есть чародейные травы? Да говори же, колдун!

— Батюшка, князь Афанасий Иванович, как тебе сказать? Всякие есть травы. Есть колюка-трава, собирается в Петров пост. Обкуришь ею стрелу, промаху не дашь. Есть тирлич-трава, на Лысой горе, под Киевом, растет.

Кто ее носит на себе, на того ввек царского гнева не будет. Есть еще плакун-трава, вырежешь из корня крест да повесишь на шею, все тебя будут как огня бояться!

Вяземский горько усмехнулся.

— Меня уж и так боятся, — сказал он, — не надо мне плакуна твоего. Называй другие травы.

— Есть еще адамова голова, коло болот растет, разрешает роды и подарки приносит. Есть голубец болотный; коли хочешь идти на медведя, выпей взвару голубца, и никакой медведь тебя не тронет. Есть ревенка-трава; когда станешь из земли выдергивать, она стонет и ревет, словно человек, а наденешь на себя, никогда в воде не утонешь.

— А боле нет других?

— Как не быть, батюшка, есть еще кочедыжник, или папоротник; кому удастся сорвать цвет его, тот всеми кладами владеет. Есть иван-да-марья; кто знает, как за нее взяться, тот на первой кляче от лучшего скакуна удерет.

— А такой травы, чтобы молодушка полюбила постылого, не знаешь?

Мельник замялся.

— Не знаю, батюшка, не гневайся, родимый, видит бог, не знаю!

— А такой, чтобы свою любовь перемочь, не знаешь?

— И такой не знаю, батюшка; а вот есть разрыв-трава; когда дотронешься ею до замка али до двери железной, так и разорвет на куски!

— Пропадай ты с своими травами! — сказал гневно Вяземский и устремил мрачный взор свой на мельника.

Мельник опустил глаза и молчал.

— Старик! — вскричал вдруг Вяземский, хватая его за ворот, — подавай мне ее! Слышишь? Подавай ее, подавай ее, леший! Сейчас подавай!

И он тряс мельника за ворот обеими руками.

Мельник подумал, что настал последний час его.

Вдруг Вяземский выпустил старика и повалился ему в ноги.

— Сжался надо мной! — зарыдал он, — излечи меня! Я задарю тебя, озолочу тебя, пойду

в кабалу к тебе! Сжалюсь надо мной, старик!

Мельник еще более испугался.

— Князь, боярин! Что с тобой? Опомнись!  
Это я, Давыдыч, мельник!.. Опомнись, князь!

— Не встану, пока не излечишь!

— Князь! князь! — сказал дрожащим голо-  
сом мельник, — пора за дело. Время уходит,  
вставай! Теперь темно, не видал я тебя, не  
знаю, где ты! Скорей, скорей за дело!

Князь встал.

— Начинай, — сказал он, — я готов.

Оба замолчали. Все было тихо. Только ко-  
лесо, освещенное месяцем, продолжало шу-  
меть и вертеться. Где-то в дальнем болоте  
кричал дергач. Сова завывала порой в гущине  
леса.

Старик и князь подошли к мельнице.

— Смотри, князь, под колесо, а я стану на-  
шептывать.

Старик прилег к земле и, еще задыхаясь от  
страха, стал шептать какие-то слова. Князь  
смотрел под колесо. Прошло несколько ми-  
нут.

— Что видишь, князь?

— Вижу, будто жемчуг сыплется, будто чер-

вонцы играют.

— Будешь ты богат, князь, будешь всех на Руси богаче!

Вяземский вздохнул.

— Смотри еще, князь, что видишь?

— Вижу, будто сабли трутся одна о другую, а промеж них как золотые гривны!

— Будет тебе удача в ратном деле, боярин, будет счастье на службе царской! Только смотри, смотри еще, говори, что видишь?

— Теперь сделалось темно, вода помутилась. А вот стала краснеть вода, вот почервонела, словно кровь. Что это значит?

Мельник молчал.

— Что это значит, старик?

— Довольно, князь. Долго смотреть не годится, пойдем!

— Вот потянулись багровые нитки, словно жилы кровавые; вот будто клещи растворяются и замыкаются, вот...

— Пойдем, князь, пойдем, будет с тебя!

— Постой, — сказал Вяземский, отталкивая мельника, — вот словно пила зубчатая ходит взад и вперед, а из-под нее словно кровь брызжет!

Мельник хотел оттащить князя.

— Постой, старик, мне дурно, мне больно в суставах... Ох, больно!

Князь сам отскочил. Казалось, он понял свое видение.

Долго оба молчали. Наконец Вяземский сказал:

— Хочу знать, любит ли она другого!

— А есть ли у тебя, боярин, какая вещьца от нее?

— Вот что нашел я у калитки!

Князь показал голубую ленту.

— Брось под колесо!

Князь бросил.

Мельник вынул из-за пазухи глиняную сулею.

— Хлебни! — сказал он, подавая сулею князю.

Князь хлебнул. Голова его стала ходить кругом, в очах помутилось.

— Смотри теперь, что видишь?

— Ее, ее.

— Одною?

— Нет, не одну! Их двое: с ней русский молодец в кармазинном кафтане, только лица его

не видно. Постой! Вот они сплываются... все ближе, ближе... Анафема! они целуются! Анафема! Будь ты проклят, колдун, будь проклят, проклят!

Князь бросил мельнику горсть денег, оторвал от дерева узду коня своего, вскочил в седло, и застучали в лесу конские подковы. Потом топот замер в отдаленье, и лишь колесо в ночной тиши продолжало шуметь и вертеться.

#### **Глава 4. Дружина Андреевич и его жена**

**Е**сли бы читатель мог перенестись лет за триста назад и посмотреть с высокой колокольни на тогдашнюю Москву, он нашел бы в ней мало сходства с теперешнею. Берега Москвы-реки, Яузы и Неглинной покрыты были множеством деревянных домов с тесовыми или соломенными крышами, большею частью почерневшими от времени. Среди этих темных крыш резко белели и краснели стены Кремля, Китай-города и других укреплений, возникших в течение двух последних столетий. Множество церквей и колоколен подымали свои золоченые головы к небу. Подобные большим зеленым и желтым пятнам,

виднелись между домами густые рощи и покрытые хлебом поля. Через Москву-реку пролегали зыбкие живые мосты, сильно дрожавшие и покрывавшиеся водою, когда по ним проезжали возы или всадники. На Яузе и на Неглинной вертелись десятками мельничные колеса, одно подле другого. Эти рощи, поля и мельницы среди самого города придавали тогдашней Москве много живописного. Особенно весело было смотреть на монастыри, которые, с белыми оградами и пестрыми кучами цветных и золоченых голов, казались отдельными городами.

Надо всю эту путаницей церковей, домов, роц и монастырей гордо воздымались кремлевские церкви и недавно отделанный храм Покрова богородицы, который Иоанн заложил несколько лет тому назад в память взятия Казани и который мы знаем ныне под именем Василия Блаженного. Велика была радость москвитян, когда упали наконец леса, закрывавшие эту церковь, и предстала она во всем своем причудливом блеске, сверкая золотом и красками и удивляя взор разнообразием украшений. Долго не переставал на-

род дивиться искусному зодчему, благодарить бога и славить царя, даровавшего православным зрелище, дотоле не виданное. Хороши были и прочие церкви московские. Не щадили москвитяне ни рублей, ни трудов на благолепие домов божиих. Везде видны были дорогие цвета, позолота и большие наружные иконы во весь рост человеческий. Любили православные украшать дома божии, но зато мало заботились о наружности своих домов; жилища их почти все были выстроены прочно и просто, из сосновых или дубовых брусьев, не обшитых даже тесом, по старинной русской пословице: не красна изба углами, а красна пирогами.

Один дом боярина Дружины Андреевича Морозова, на берегу Москвы-реки, отличался особенною красотою. Дубовые бревна были на подбор круглы и ровны; все углы рублены в лапу, дом возвышался в три жилья, не считая светлицы. Навесная кровля над крутым крыльцом поддерживалась пузатыми, вычурными столбами и щеголяла мелкою резьбою. Ставни были искусно расписаны цветами и птицами, а окна пропускали свет божий не

сквозь тусклые бычачьи пузыри, как в большей части домов московских, но сквозь чистую, прозрачную слюду. На широком дворе стояли службы, кладовые, сушилы, голубятня и летняя опочивальня боярина. Ко двору примыкали с одной стороны домовая каменная церковь, с другой — просторный сад, окруженный дубовым частоколом, из-за которого подымались красивые качели также с узорами и живописью. Словом, дом выстроен был на славу. Да и было на кого строить!

Боярин Дружина Андреевич, телом дородный, нрава крутого, несмотря на свои преклонные лета, недавно женился на первой московской красавице. Все дивились, когда вышла за него двадцатилетняя Елена Дмитриевна, дочь окольного Плещеева-Очина, убитого под Казанью. Не такого жениха прочили ей московские свахи. Но Елена была на выданье, без отца и матери; а красота девушки, при нечестивых нравах новых царских любимцев, бывала ей чаще на беду, чем на радость.

Морозов, женившись на Елене, сделался ее покровителем, а все знали на Москве, что

нелегко обидеть ту, которую брал под свою защиту боярин Дружина Андреевич!

Много любимцев царских до замужества Елены старались ей понравиться, но никто так не старался, как князь Афанасий Иванович Вяземский. И подарки дорогие присылал он к ней, и в церквах становился супротив нее, и на бешеном коне мимо ворот скакал, и в кулачном бою ходил один на стену. Не было удачи Афанасью Ивановичу! Свахи приносили ему назад его подарки, а при встрече с ним Елена отворачивалась. Оттого ли она отворачивалась, что не нравился ей Афанасий Иванович, или в сердце девичьем была уже другая зазнобушка, только как ни бился князь Вяземский, а все получал отказы. Наконец осерчал Афанасий Иванович и пошел бить челом в своей неудаче царю Ивану Васильевичу. Царь обещал сам заслать свях к Елене Дмитриевне. Узнав о том, Елена залилась слезами. Пошла с мамкою в церковь, стала на колени перед божьею матерью, плачет и кладет земные поклоны.

В церкви народу не было; но когда встала Елена и оглянулась, за нею стоял боярин Мо-

розов в бархатном зеленом кафтане, в парчовом терлике нараспашку.

— О чем ты плачешь, Елена Дмитриевна? — спросил Морозов.

Узнав боярина, Елена обрадовалась.

Он был когда-то в дружбе с ее родителями, да и теперь навещал ее и любил как родную. Елена его почитала как бы отца и поверяла ему все свои мысли; одной лишь не поверила; одну лишь схоронила от боярина; схоронила себе на горе, ему на погибель!

И теперь, на вопрос Морозова, она не сказала ему той заветной мысли, а сказала лишь, что я-де плачу о том, что приедут царские свахи, приневолят меня за Вяземского!

— Елена Дмитриевна, — сказал боярин, — полно, вправду ли не люб тебе Вяземский? Подумай хорошенько. Знаю, доселе он был тебе не по сердцу; да ведь у тебя, я чаю, никого еще нет на мысли, а до той поры сердце девицье — воск: стерпится, слюбится?

— Никогда, — отвечала Елена, — никогда не люблю его. Скорей сойду в могилу!

Боярин посмотрел на нее с участием.

— Елена Дмитриевна, — сказал он, помол-

чав, — есть средство спасти тебя. Послушай. Я стар и сед, но люблю тебя как дочь свою. Поразмысли, Елена, согласна ль ты выйти за меня, старика?

— Согласна! — вскричала радостно Елена и повалилась Морозову в ноги. Тронуло боярина нежданное слово, обрадовался он восторгу Елены, не догадался, старый, что то был восторг утопающего, который хватается за куст терновый.

Ласково поднял он Елену и поцеловал в чело.

— Дитяtko, — сказал он, — целуй же мне крест, что не обесчестишь ты седой головы моей! Клянись здесь, пред спасителем!

— Клянусь, клянусь! — прошептала Елена.

Боярин велел позвать священника, и вскоре совершился обряд обручения; когда же явились к Елене царские свахи, она уже была невестою Дружины Андреевича Морозова.

Не по любви вышла Елена за Морозова; но она целовала крест быть ему верною и твердо решилась сдержать свою клятву, не погрешить против господина своего ни словом, ни мыслию.

И зачем бы не любить ей Дружины Андреевича? Правда, не молод был боярин; но господь благословил его и здоровьем, и дородством, и славою ратною, и волею твердою, и деревнями, и селами, и широкими угожьями за Москвой-рекой, и кладовыми, полными золота, парчи и мехов дорогих. Лишь одним не благословил господь Дружину Андреевича: не благословил его милостью царскою. Как узнал Иван Васильевич, что опоздали его свахи, опалился на Морозова, повершил наказать боярина; велел позвать его ко столу своему и посадил не только ниже Вяземского, но и ниже Годунова, Бориса Федоровича, еще не вошедшего в честь и не имевшего никакого сана.

Не снес боярин такого бесчестия; встал из-за стола: невместно-де Морозову быть меньше Годунова! Тогда опалился царь горшею злобою и выдал Морозова головою Борису Федоровичу. Понес боярин ко врагу повинную голову, но обругал Годунова жестоко и назвал щенком.

И, узнав о том, царь вошел в ярость великую, приказал Морозову отойти от очей своих

и отпустить седые волосы, доколе не сымется с него опала. И удалился от двора боярин; и ходит он теперь в смиренной одежде, с бородою нечесаною, падают седые волосы на крутое чело. Грустно боярину не видать очей государевых, но не опозорил он своего роду, не сел ниже Годунова!

Дом Морозова был чаша полная. Слуги боялись и любили боярина. Всяк, кто входил к нему, был принимаем с радушием. И свои и чужие хвалились его ласкою; всех дарил он и словами приветными, и одежей богатою, и советами мудрыми. Но никого так не ласкал, никого так не дарил он, как свою молодую жену, Елену Дмитриевну. И жена отвечала за ласку ласкою, и каждое утро, и каждый вечер долго стояла на коленях в своей образной и усердно молилась за его здравие.

Виновата ли была Елена Дмитриевна, что среди приветливых речей Дружины Андреевича, среди теплой молитвы перед иконами внезапно представлялся воображению ее молодой витязь, летящий на коне с поднятым шестопером, и перед ним бегущие в беспорядке литовские полки?

Виновата ли была Елена Дмитриевна, что образ этого витязя преследовал ее везде, и дома, и в церкви, и днем, и ночью, и с упреком говорил ей: «Елена! Ты не сдержала своего слова, ты не дождалась моего возврата, ты обманула меня!..»

Тысяча пятьсот шестьдесят пятого года, июня двадцать четвертого, в день Ивана Купалы все колокола московские раскачались с самого утра и звонили без умолку. Все церкви были полны. По окончании обедни народ рассыпался по улицам. Молодые и старые, бедные и богатые несли домой зеленые ветки, цветы, березки, украшенные лентами. Все было пестро, живо и весело. Однако к полуденной поре улицы стали пустеть. Мало-помалу народ начал расходиться, и вскоре на Москве нельзя было бы встретить ни одного человека. Воцарилась мертвая тишина. Православные покоились в своих опочивальнях, и не было никого, кто бы гневил бога, гуляя по улицам, ибо бог и человеку, и всякой твари велел покоиться в полуденную пору; а грешно идти против воли божией, разве уж принудит неотложное дело.

Итак, все спали; Москва казалась необитаемым городом. Только на Балчуге, в недавно выстроенном кружечном дворе, или кабаке слышны были крики, ссоры и песни. Там, несмотря на полдень, пировали ратники, почти все молодые, в богатых нарядах. Они расположились внутри дома, и на дворе, и на улице. Все были пьяны; иной, лежа на голой земле, проливал на платье чарку вина, другой силился хриплым голосом подтягивать товарищам, но издавал лишь глухие, невнятные звуки. Оседланные кони стояли у ворот. К каждому седлу привязана была метла и собачья голова.

В это время два всадника показались на улице. Один из них, в кармазинном кафтане с золотыми кистями и в белой парчовой шапке, из-под которой вились густые русые кудри, обратился к другому всаднику.

— Михеич, — сказал он, — видишь ты этих пьяных людей?

— Вижу, боярин, тетка их подкурятина! Вишь, бражники, как расходились!

— А видишь ты, что у лошадей за седлами?

— Вижу: метлы да песьи морды, как у того

разбойника. Стало, и в самом деле царские люди, коль на Москве гуляют! Наделали ж мы дела, боярин, наварили каши!

Серебряный нахмурился.

— Поди, спроси у них, где живет боярин Морозов!

— Эй, добрые люди, господа честные! — закричал Михеич, подъезжая к толпе, — где живет боярин Дружина Андреич Морозов?

— А на что тебе знать, где эта собака живет?

— У моего боярина, князя Серебряного, есть грамота к Морозову от воеводы князя Пронского, из большого полку.

— Давай сюда грамоту!

— Что ты, что ты, тетка твоя под... что ты? В уме ли? Как дать тебе князеву грамоту?

— Давай грамоту, старый сыч, давай ее! Посмотрим, уж не затеял ли этот Морозов измены, уж не хочет ли извести государя!

— Ах ты мошенник! — вскричал Михеич, забывая осторожность, с которою начал было говорить, — да разве мой господин знается с изменниками!

— А, так ты еще ругаться! Долой его с ло-

шади, ребята, в плети его!

Тут сам Серебряный подскакал к опричникам.

— Назад! — закричал он так грозно, что они невольно остановились.

— Если кто из вас, — продолжал князь, — хоть пальцем тронет этого человека, я тому голову разрублю, а остальные будут отвечать государю!

Опричники смутились; но новые товарищи подошли из соседних улиц и обступили князя. Дерзкие слова посыпались из толпы; многие вынули сабли, и несдобровать бы Никите Романовичу, если бы в это время не слышался вблизи голос, поющий псалом, и не остановил опричников как будто волшебством. Все оглянулись в сторону, откуда раздавался голос. По улице шел человек лет сорока, в одной полотняной рубахе. На груди его звенели железные кресты и вериги, а в руках были деревянные четки. Бледное лицо его выражало необыкновенную доброту, на устах, осененных реденькою бородой, играла улыбка, но глаза глядели мутно и неопределенно.

Увидев Серебряного, он прервал свое пе-

ние, подошел поспешно к нему и посмотрел ему прямо в лицо.

— Ты, ты! — сказал он, как будто удивляясь, — зачем ты здесь, между ними?

И, не дожидаясь ответа, он начал петь: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых!»

Опричники посторонились с видом почтения, но он, не обращая на них внимания, опять стал смотреть в глаза Серебряному.

— Микитка, Микитка! — сказал он, качая головой, — куда ты заехал?

Серебряный никогда не видал этого человека и удивился, что он называет его по имени.

— Разве ты знаешь меня? — спросил он.

Блаженный засмеялся.

— Ты мне брат! — отвечал он, — я тотчас узнал тебя. Ты такой же блаженный, как и я. И ума-то у тебя не боле моего, а то бы ты сюда не приехал. Я все твое сердце вижу. У тебя там чисто, чисто, одна голая правда; мы с тобой оба юродивые! А эти, — продолжал он, указывая на вооруженную толпу, — эти нам не родня! У!

— Вася, — сказал один из опричников, — не хочешь ли чего? Не надо ль тебе денег?

— Нет, нет, нет! — отвечал блаженный, — от тебя ничего не хочу! Вася ничего не возьмет от тебя, а подай Микитке, чего он просит!

— Божий человек, — сказал Серебряный, — я спрашивал, где живет боярин Морозов?

— Дружинка-то? Этот наш! Этот праведник! Только голова у него непоклонная! у, какая непоклонная! А скоро поклонится, скоро поклонится, да уж и не подыметя!

— Где он живет? — повторил ласково Серебряный.

— Не скажу! — ответил блаженный, как будто рассердившись, — не скажу, пусть другие скажут. Не хочу посылать тебя на недоброе дело!

И он поспешно удалился, затянув опять свой прерванный псалом.

Не понимая его слов и не тратя времени на догадки, Серебряный снова обратился к опричникам.

— Что ж, — спросил он, — скажете ли вы наконец, как найти дом Морозова?

— Ступай все прямо, — отвечал грубо один

из них. — Там, как поворотишь налево, там тебе и будет гнездо старого ворона.

По мере того как князь удалялся, опричники, усмиренные появлением юродивого, опять начинали буяннить.

— Эй! — закричал один, — отдай Морозову поклон от нас да скажи, чтобы готовился скоро на виселицу; больно зажился!

— Да и на себя припаси веревку! — крикнул вдогонку другой.

Но князь не обратил внимания на их ругательства.

«Что хотел сказать мне блаженный? — думал он, потупя голову. — Зачем не указал он мне дом Морозова, да еще прибавил, что не хочет посылать меня на недоброе дело?»

Продолжая ехать далее, князь и Михеич встретили еще много опричников. Иные были уже пьяны, другие только шли в кабак. Все смотрели нагло и дерзко, а некоторые даже делали вслух такие грубые замечания насчет всадников, что легко можно было видеть, сколь они привыкли к безнаказанности.

## **Глава 5. Встреча**

Проезжая верхом по берегу Москвы-реки, можно было поверх частокола видеть весь сад Морозова.

Цветущие липы осеняли светлый пруд, доставлявший боярину в постные дни обильную пищу. Далее зеленели яблони, вишни и сливы. В некошеной траве пролегали узенькие дорожки. День был жаркий. Над алыми цветами пахучего шиповника кружились золотые жуки; в липах жужжали пчелы; в траве трещали кузнечики; из-за кустов красной смородины большие подсолнечники подымали широкие головы и, казалось, нежились на полуденном солнце.

Боярин Морозов уже с час, как отдыхал в своей опочивальне. Елена с сенными девушками сидела под липами на дерновой скамье, у самого частокола. На ней был голубой аксамитный летник с яхонтовыми пуговицами. Широкие кисейные рукава, собранные в мелкие складки, перехватывались повыше локтя алмазными запястьями, или зарукавниками. Такие же серьги висели по самые плечи; голову покрывал кокошник с жемчужными наклонами, а сафьянные сапожки блестели зо-

лотою нашивкой.

Елена казалась весела. Она смеялась и шутила с девушками.

— Боярыня, — сказала одна из них, — примерь еще вот эти запястья, они повиднее.

— Будет с меня примерять, девушки, — отвечала ласково Елена, — вот уж битый час вы меня наряжаете да укручиваете, будет с меня!

— Вот еще только монисто надень! Как наденешь монисто, будешь, право слово, ни дать ни взять, святая икона в окладе!

— Полно, Пашенька, стыдно грех такой говорить!

— Ну, коли не хочешь наряжаться, боярыня, так не поиграть ли нам в горелки или в камешки? Не хочешь ли рыбку покормить или на качелях покачаться? Или уж не спеть ли тебе чего?

— Спой мне, Пашенька, спой мне ту песню, что ты намедни пела, как вы ягоды собирали!

— И, боярыня, лапушка ты моя, что ж в той песне веселого! То грустная песня, не праздничная.

— Нужды нет; мне хочется ее послушать, спой мне, Пашенька!

— Изволь, боярыня, коли твоя такая воля, спою; только ты после не пеняй на меня, если неравно тебе сгрустнется! Ну те ж, подруженьки, подтягивайте!

Девушки уселись в кружок, и Пашенька затянула жалобным голосом:

*Ах, кабы на цветы да не морозы,  
И зимой бы цветы расцветали;  
Ах, кабы на меня да не кручина,  
Ни о чем бы я не тужила,  
Не сидела б я, подпершись,  
Не глядела бы я во чисто поле...*

...

*Я по сеням шла, по новым шла,  
Подняла шубку соболиную,  
Чтоб моя шубка не прошумела,  
Чтоб мои пуговики не прозвякнули,  
Не услышал бы свекор-батюшка,  
Не сказал бы своему сыну,  
Своему сыну, моему мужу!*

Пашенька посмотрела на боярыню. Две слезы катились из очей ее.

— Ах я глупенькая! — сказала Пашенька, — чего я наделала. Вот на свою голову послушалась боярыни! Да и можно ли, боярыня,

на такие песни набиваться!

— Охота ж тебе и знать их! — подхватила Дуняша, быстроглазая девушка с черными бровями. — Вот я так спою песню, не твоей чета, смотри, коли не развеселю боярыню!

И, вскочив на ноги, Дуняша уперла одну руку в бок, другую подняла кверху, перегнулась на сторону и, плавно подвигаясь, запела:

*Пантелей-государь ходит по дво-  
ру,  
Кузмич гуляет по широкому,  
Кунья на нем шуба до земли,  
Соболья на нем шапка до верху,  
Божья на нем милость до веку.  
Сужена-то смотрит из-под поло-  
гу,  
Бояре-то смотрят из города,  
Боярыни-то смотрят из терема.  
Бояре-то молвят: чей-то такой?  
Боярыни молвят: чей-то госпо-  
дин?  
А сужена молвит: мой дорогой!*

Кончила Дуняша и сама засмеялась. Но Елене стало еще грустнее. Она крепилась, крепилась, закрыла лицо руками и зарыдала.

— Вот тебе и песня! — сказала Пашень-

ка. — Что нам теперь делать! Увидит Дружина Андреич заплаканные глазки боярыни, на нас же осердится: не умеете вы, дескать, глупые, и занять ее!

— Девушки, душечки! — сказала вдруг Елена, бросаясь на шею к Пашеньке, — пособиите порыдать, помогите поплакать!

— Да что с тобой случилось, боярыня? С чего ты вдруг раскручинилась?

— Не вдруг, девушки! Мне с самого утра грустно. Как начали к заутрене звонить да увидела я из светлицы, как народ божий весело спешит в церковь, так, девушки, мне стало тяжело... и теперь еще сердце надрывается... а тут еще день выпал такой светлый, такой солнечный, да еще все эти уборы, что вы на меня надели... скиньте с меня запястья, девушки, скиньте кокошник, заплетите мне косу по-вашему, по-девичьи!

— Что ты, боярыня, грех какой! Заплеть тебе косу по-девичьи! Боже сохрани! Да неравно узнает Дружина Андреич!

— Не узнает, девушки! Я опять кокошник надену!

— Нет, боярыня, грешно! Власть твоя, а мы

этого на душу не возьмем!

«Неужели, — подумала Елена, — грешно и вспоминать о прошлом!»

— Так и быть, — сказала она, — не сниму кокошник, только подойди сюда, моя Пашенька, я тебе заплету косу, как, бывало, мне заплетали!

Пашенька, краснея от удовольствия, стала на колени перед боярыней. Елена распустила ей волосы, разделила их на равные делянки и начала заплетать широкую русскую косу в девяносто прядей. Много требовалось на то умения. Надо было плесть как можно слабее, чтобы коса, подобно решетке, закрывала весь затылок и потом падала вдоль спины, суживаясь не приметно. Елена прилежно принялась за дело. Перекладывая пряди, она искусно перевивала их жемчужными нитками.

Наконец коса поспела. Боярыня ввязала в кончик треугольный косник и насадила на него дорогие перстни.

— Готово, Пашенька, — сказала она, радуясь своей работе, — встань-ка да пройдишь передо мною. Ну, смотрите, девушки, не правда ли, эта коса красивее кокошника? — Все в

свою пору, боярыня, — отвечали, смеясь, девушки, — а вот Дуняша не прочь бы и от кокошника!

— Полноте вы, пересмешницы! — отвечала Дуняша. — Мне бы хотя век косы не расплетать! А вот знаю я таких, что глаз не сводят с боярского ключника!

Девушки залились звонким смехом, а иные смешались и покраснели. Видно, ключник был в самом деле молодец.

— Нагнись, Пашенька, — сказала боярыня, — я тебе повяжу еще ленту с поднизями... Девушки, да ведь сегодня Иван Купала, сегодня и русалки косы заплетают!

— Не сегодня, боярыня, а в семик и троицын день заплетают русалки косы. На Ивана Купала они бегают с распущенными волосами и отманивают людей от папоротника, чтобы кто не сорвал его цвета.

— Бог с ними, — сказала Пашенька, — мало ли что бывает в Иванов день, не приведи бог увидеть!

— А ты боишься русалок, Пашенька?

— Как их не бояться! Сегодня и в лес ходить страшно, все равно что в троицын день

или на русальную неделю. Девушку защеко-  
тят, молодца любовью иссушат!

— Говоришь, а сама не знаешь! — переби-  
ла ее другая девушка. — Какие под Москвой  
русалки! Здесь их нет и заводу. Вот на Украи-  
не, там другое дело, там русалок гибель. Ска-  
зывают, не одного доброго молодца с ума све-  
ли. Стоит только раз увидеть русалку, так до  
смерти все по ней тосковать будешь; коли же-  
натый — бросишь жену и детей, коли холо-  
стой — забудешь свою ладушку!

Елена задумалась.

— Девушки, — сказала она, помолчав, —  
что, в Литве есть русалки?

— Там-то их самая родина; что на Украине,  
что в Литве — то все одно...

Елена вздохнула. В эту минуту послышал-  
ся конский топот, и белая шапка Серебряного  
показалась над частоколом.

Увидя мужчину, Елена хотела скрыться;  
но, бросив еще взгляд на всадника, она вдруг  
стала как вкопанная. Князь также остановил  
коня. Он не верил глазам своим. Тысяча мыс-  
лей в одно мгновение втеснялись в его голо-  
ву, одна другой противореча. Он видел пред

собой Елену, дочь Плещеева-Очина, ту самую, которую он любил и которая клялась ему в любви пять лет тому назад. Но каким случаем она попала в сад к боярину Морозову?

Тут только Никита Романович заметил на голове Елены жемчужный кокошник и побледнел.

Она была замужем!

«Брежу ли я? — подумал он, вперив в нее неподвижный, как будто испуганный взгляд, — во сне ли это вижу?»

— Девушки! — упрашивала Елена, — отойдите, я позову вас, отойдите немного, оставьте меня одну! Боже мой, боже мой! Пресвятая богородица! Что мне делать! Что сказать мне!

Серебряный между тем оправился.

— Елена Дмитриевна, — произнес он решительно, — отвечай мне единым словом: ты замужем? Это не обман? Не шутка? Ты точно замужем?

Елена в отчаянье искала слов и не находила их.

— Отвечай мне, Елена Дмитриевна, не морочь меня долее, теперь не святки!

— Выслушай меня, Никита Романович! —

прошептала Елена.

Князь задрожал.

— Нечего мне слушать, — сказал он, — я все понял. Не трать речей понапрасну, прости, боярыня!

И он рванул коня назад.

— Никита Романыч! — вскричала Елена, — молю тебя Христом и пречистою его матерью, выслушай меня! Убей меня после, но сперва выслушай!

Она не в силах была продолжать; голос ее замер, колени опустились на дерновую скамью; она протянула умоляющие руки к Серебряному.

Судорога пробежала по всем членам князя, но жалость зашевелилась в его сердце. Он остановился.

Елена, задыхаясь от слез, стала рассказывать, как преследовал ее Вяземский, как наконец царь взялся ее сосватать за своего любимца и как она в отчаянии отдалась старому Морозову. Прерывая рассказ свой рыданиями, она винулась в невольной измене, говорила, что должна бы скорей наложить на себя руки, чем выйти за другого, и проклинала свое ма-

лодушие.

— Ты не можешь меня любить, князь, — говорила она, — не написано тебе любить меня! Но обещай мне, что не проклянешь меня; скажи, что прощаешь меня в великой вине моей.

Князь слушал, нахмуря брови, но не отвечал ничего.

— Никита Романыч, — прошептала Елена боязливо, — ради Христа, вымолви хоть словечко!

И она устремила на него глаза, полные страха и ожидания, и вся душа ее обратилась в красноречивый умоляющий взор.

Сильная борьба происходила в Серебряном.

— Боярыня, — сказал он наконец, и голос его дрожал, — видно, на то была воля божия... и ты не так виновата... да, ты не виновата... не за что прощать тебя, Елена Дмитриевна, я не кляню тебя, — нет — видит бог, не кляню — видит бог, я... я по-прежнему люблю тебя! Слова эти вырвались у князя сами собою.

Елена вскрикнула, зарыдала и кинулась к частоколу.

В тот же миг князь поднялся на стременах и схватился за колья ограды. Елена с другой стороны уже стояла на скамье. Без размышления, без самосознания, они бросились друг к другу, и уста их соединились...

Поцеловала Елена Дмитриевна молодого боярина! Обманула жена лукавая мужа старого! Забыла клятву, что дала перед господом! Как покажется она теперь Дружине Андреичу? Догадается он обо всем по глазам ее. И не таков он муж, чтоб простил ее! Не дорога жизнь боярину, дорога ему честь его! Убьет он, старый, убьет и жену, и Никиту Романыча!

## Глава 6. Прием

Морозов знал князя еще ребенком, но они давно потеряли друг друга из виду. Когда Серебряный отправился в Литву, Морозов воеводствовал где-то далеко; они не видались более десяти лет, но Дружина Андреевич мало переменился, был бодр по-прежнему, и князь с первого взгляда везде бы узнал его, ибо старый боярин принадлежал к числу тех людей, которых личность глубоко врезывается в памяти. Один рост и дородность его уже

привлекали внимание. Он был целою головою выше Серебряного. Темно-русые волосы с сильною проседью падали в беспорядке на умный лоб его, рассеченный несколькими шрамами. Окладистая борода, почти совсем седая, покрывала половину груди. Из-под темных навислых бровей сверкал пронизательный взгляд, а вокруг уст играла приветливая улыбка, сквозь которую просвечивало то, что в просторечии называется: себе на уме. В его приемах, в осанистой поступи было что-то львиное, какая-то особенно спокойная важность, достоинство, неторопливость и уверенность в самом себе. Глядя на него, всякий сказал бы: хорошо быть в ладу с этим человеком! И вместе с тем всякий подумал бы: нехорошо с ним поссориться! Действительно, всматриваясь в черты Морозова, легко было догадаться, что спокойное лицо его может в минуту гнева сделаться страшным, но приветливая улыбка и открытое, неподдельное радушие скоро изглаживали это впечатление.

— Здравствуй, князь, здравствуй, гость дорогой! Добро пожаловать! — сказал Морозов, вводя Серебряного в большую брусяную избу

с изразцовою лежанкою, с длинными дубовыми лавками, с драгоценным оружием на стенах и со множеством золотой и серебряной посуды, красиво установленной на широких полках. — Здравствуй, здравствуй, князь! Вот какого гостя мне бог подарил! А ведь помню я тебя, Никитушка, еще маленького! Ох, удал же ты был, нечего сказать! Как, бывало, начнут ребята в городки играть, беда той стороне, что супротив тебя! Разлетишься, словно сокол ясный, да как расходится в тебе кровь молодая, так, бывало, разозлишься, словно медвежонок, прости, Никита Романыч, грубое слово! Так и начнешь валять, кого направо, кого налево, смотреть даже весело! Ну да и вышел же молодец из тебя, князь! Слышал я про дела твои в Литовской земле! Катал же ты их, супостатов, как прежде ребят катал!

И Морозов весело улыбался, и львиное лицо его сияло радушием.

— А помнишь ли, Никитушка, — продолжал он, обняв князя одною рукой за плеча, — помнишь ли, как ты ни в какой игре обмана не терпел? Бороться ли с кем начнешь али на кулачках биться, скорей дашь себя на землю

свалить, чем подножку подставишь или что против уговора сделаешь. Все, бывало, снесешь, а уж лукавства ни себе, ни другим не позволишь!

Князю сделалось неловко в присутствии Морозова.

— Боярин, — сказал он, — вот грамота к тебе от князя Пронского.

— Спасибо, князь. После прочту; время терпит; теперь дай угостить тебя! Да где же Елена Дмитриевна? Эй, кто там! Скажите жене, что у нас гость дорогой, князь Никита Романыч Серебряный, чтобы сошла попотчевать!

Тихо и плавно вошла Елена с подносом в руках. На подносе были кубки с разными винами. Елена низко поклонилась Серебряному, как будто в первый раз его видела! Она была как смерть бледна.

— Князь, — сказал Морозов, — это моя хозяйка, Елена Дмитриевна! Люби и жалуй ее. Ведь ты, Никита Романыч, нам, почитай, родной. Твой отец и я, мы были словно братья, так и жена моя тебе не чужая. Кланяйся, Елена, проси боярина! Кушай, князь, не брезгай нашей хлебом-солью! Чем богаты, тем и ра-

ды! Вот романея, вот венгерское, вот мед малиновый, сама хозяйка на ягодах сытила!

Морозов низко кланялся.

Князь отвечал обоим поклонами и осушил кубок. Елена не взглянула на Серебряного. Длинные ресницы ее были опущены. Она дрожала, и кубки на подносе звенели один о другой.

— Что с тобой, Елена? — сказал вдруг Морозов, — уж не больна ли ты? Лицо твое словно снег побелело! Оленушка, — прибавил он шепотом, — уж не опять ли проезжал Вяزمский? Так! должно быть, этот окаянный проезжал мимо саду! Не кручинься, Елена. В том нет твоей вины. Без меня не ходи лучше в сад; да утешься, мое дитяtko, я не дам тебя никому в обиду! Улыбнись скорей, будь веселее, а то гость заметит! Извини, Никита Романыч, извини, захлопотался, говорил вот же не, чтобы велела тебе кушать подать поскорее. Ведь ты не обедал, князь.

— Благодарю, боярин, обедал.

— Нужды нет, Никита Романыч, еще раз пообедаешь! Ступай, Елена, ступай, похлопочи! А ты, боярин, закуси чем бог послал, не

обидь старика опального! И без того мне горя довольно!

Морозов указал на свои длинные волосы.

— Вижу, боярин, вижу и очам веры нейму! Ты под опалою! За что? Прости вопрос нескромный.

Морозов вздохнул.

— За то, что держусь старого обычая, берегу честь боярскую да не кланяюсь новым людям!

При этих словах лицо его омрачилось и глаза приняли суровое выражение.

Он рассказал о ссоре своей с Годуновым, горько жалуясь на несправедливость царя.

— Многое, князь, многое стало на Москве не так, как было, с тех пор как учинил государь на Руси опричнину!

— Да что это за опричнина, боярин? Встречал я опричников, только в толк не возьму!

— Прогневили мы, видно, бога, Никита Романыч; помрачил он светлые царские очи! Как возложили клеветники измену на Сильвестра да на Адашева, как прогнал их от себя царь, прошли наши красные дни! Зачал вдруг Иван Васильич на нас мнение держать, на

нас, верных слуг своих! Зачал толковать про измены, про заговоры, чего и в мысль человеку не вместится! А новые-то люди обрадовались, да и давай ему шептать на бояр, кто понасердке, кто чая себе милости, и ко всем стал он приклонять слух свой. У кого была какая вражда, тот и давай доводить на недруга, будто он слова про царя говорил, будто хана или короля подымает. И в том они, окаянные, не бояся Страшного суда божия, и крест накриве целовали, и руки в письмах лживили! Много безвинных людей вожено в темницы, Никита Романыч, и с очных ставок пытано. Кто только хотел, тот и сказывал за собою государево слово. Прежде бывало, коли кто донес на тебя, тот и очищай сам свою улику; а теперь какая у него ни будь рознь в словах, берут тебя и пытаются по одной язычной молвке! Трудное настало время, Никита Романыч! Такой ужас от царя, какого искони еще не видано! После пыток пошли казни. И кого же казнили!.. Но ты, князь, уже, может, слышал про это?

— Слышал, боярин, но глухо. Не скоро вести доходят до Литвы. Впрочем, чему дивиться.

Царь волен казнить своих злодеев!

— Кто против этого, князь. На то он царь, чтобы карать и миловать. Только то больно, что не злодеев казнили, а всё верных слуг государевых: окольникового Адашева (Алексеева брата) с малолетным сыном; трех Сатиных; Ивана Шишкина с женою да с детьми; да еще многих других безвинных.

Негодование выразилось на лице Серебряного.

— Боярин, в этом, знать, не царь виновен, а наушники его!

— Ох, князь! Горько вымолвить, страшно подумать! Не по одним наветам наушническим стал царь проливать кровь неповинную. Вот хоть бы Басманов, новый кравчий царский, бил челом государю на князя Оболенского-Овчину в каком-то непригожем слове. Что ж сделал царь? За обедом своею рукою вонзил князю нож в сердце!

— Боярин! — вскричал Серебряный, вскакивая с места, — если бы мне кто другой сказал это, я назвал бы его клеветником. Я бы сам наложил руки на него!

— Никита Романыч, стар я клеветать. И на

кого же? На государя моего!

— Прости, боярин. Но что же думать о такой перемене? Уж не обошли ли царя?

— Должно быть, князь. Но садись, слушай далее. В другой раз Иван Васильевич, упившись, начал (и подумать срамно!) с своими любимцами в личинах плясать. Тут был боярин князь Михаило Репнин. Он заплакал с горести. Царь давай и на него личину надевать. «Нет! — сказал Репнин, — не бывать тому, чтобы я посрамил сан свой боярский!» — и растоптал личину ногами. Дней пять спустя убит он по царскому указу во храме божием!

— Боярин! Это бог нас карает!

— Да будет же над нами его святая воля, князь. Но слушай далее. Казням не было конца. Что день, то кровь текла и на Лобном месте, и в тюрьмах, и в монастырях. Что день, то хватали боярских холопей и возили в застенки. Многие винулись с огня и говорили со страху на бояр своих. Те же, которые, не хотя отдать души во дно адово, очищали бояр, тех самих предавали смерти. Многие потерпели в правде, многие прияли венец мученический, Никита Романыч! Временем царь как будто

приходил в себя, и каялся, и молился, и плакал, и сам назывался смертным убойцею и сыроядцем. Рассылал вклады в разные монастыри и приказывал панихиды по убитым. Каялся Иван Васильевич, но не долго, и что же придумал? Слушай, князь. Просыпаюсь я раз утром, вижу великое смятенье. Рассыпался народ по улицам, кто бежит к Кремлю, кто от Кремля. Все голосят: «Уезжает государь, неведомо куда!» Так меня холодом и обдало! Надеваю платье, сажусь на конь; со всех мест бояре спешат ко Кремлю, кто верхом, кто сам о себе, словно простой человек, даже никто о чести своей не думает! Добрались до Иверских ворот, видим, ратники выезжают; народ перед ними так и раздается. За ратниками сани, в них царь с царицею и с царевичем. За царскими санями многое множество саней, а в них все пожитки, вся казна, весь обиход царский; за санями окольничьи, и дворяне, и приказные, и воинские, и всяких чинов люди — все выезжают из Кремля. Бросились мы было к царским саням, да не допустили нас ратники, говорят: не велел государь! И потянулся поезд вдоль по Москве, и выехал за по-

сады.

Воротились мы в дома и долго ждали, не передумает ли царь, не вернется ли? Проходит неделя, получает высокопреосвященный грамоту; пишет государь, что я-де от великой жалости сердца, не хотя ваших изменных дел терпеть, оставляю мои государства и еду-де куда бог укажет путь мне! Как пронеслася эта весть, зачался вопль на Москве: «Бросил нас батюшка-царь! Кто теперь будет над нами государить!»

Нечего правды таить, грозен был Иван Васильевич, да ведь сам бог поставил его над нами, и, видно, по божьей воле, для очищения грехов наших, карал он нас. Собрались мы в Думе и порешили ехать все с своими головами за государем, бить ему челом и плакаться. Узнали мы, что остановился царь в Александровой слободе, а будет та слобода отсюда за восемьдесят с лишком верст. Помолвившись богу, поехали. Как завидели издали Слободу, остановились; еще раз помолились: страшно стало; не то страшно, что прикажет царь смерти предать, а то, что не допустит пред свои очи. Только ничего не случилось.

Допустил нас царь. Как вошли мы, так, веришь ли, боярин, не узнали Ивана Васильича! И лицо-то будто не его; и волосы, и борода, почитай, совсем вылезли. Что с ним случилось, и царь, и не царь! Долго говорил он с нами; корил нас в небывалых изменах, высчитывал нам наши вины, которых мы не ведали за собою, и наконец сказал, что я-де только по упросу богомольцев моих, епископов, беру паки мои государства, но и то на уговоре. Пожаловал нас к руке и отпустил.

— А какой же уговор он прочил себе? — спросил Серебряный.

— А вот увидишь, князь; слушай: прошло недели три, прибыл Иван Васильич на Москву. Настала радость великая; такая радость, что и в светлое Христово воскресенье не бывает такой. Вот созвал он в Думу и нас и духовенство. А когда собралися мы, объявил нам, что я-де с тем только принимаю государство, чтобы казнить моих злодеев, класть мою опалу на изменников, имать их остатки и животы, и чтобы ни от митрополита, ни от властей не было мне бездельной докуки о милости. Беру-де себе, говорит, опасную стражу и беру

на свой особый обиход разные города и пригородки и на самой Москве разные улицы. И те города и улицы и свою особную стражу называю, говорит, опричниной, а все достальное — то земщина. А боярам-де и митрополиту со властями в мой домовый особый обиход не вступаться. И на том, говорит, беру мои государства! С этого дня начал он новых людей набирать, да все таких, чтобы не были знатного роду, да чтобы целовали крест не вести хлеба-соли с боярами. Отдал им всю землю, все дома и все добро, что отрезал на свой обиход; а старых вотчинников, тысяч примерно с двенадцать, выгнал из опричнины, словно животину. Право, Никита Романыч, ведь своими глазами видел, а доселе не верится! Ездят теперь по святой Руси их дьявольские, кровоядные полки с метлами да с песьими головами; топчут правду, выметают не измену, но честь русскую; грызут не врагов государевых, а верных слуг его, и нет на них нигде ни суда, ни расправы!

— Да зачем же вы согласились на этот уговор? — заметил Серебряный.

— Что ты, князь? Разве царю можно указы-

вать? Разве он не от бога?

— Вестимо, от бога. Да ведь он сам же спрашивал вас? Зачем вы не сказали ему, что не хотите опричнины?

— А кабы он опять уехал? Что бы тогда? Без государя было оставаться, что ли? А народ что бы сказал?

Серебряный задумался.

— Так, — проговорил он, немного помолчав, — нельзя было быть без государя. Только теперь-то чего вы ждете? Зачем не скажете ему, что от опричнины вся земля гибнет? Зачем смотрите на все да молчите?

— Я-то, князь, не молчу, — отвечал Морозов с достоинством. — Я никогда не таил моей мысли; оттого-то я теперь и под опалой. Позови меня царь к себе, я не стану молчать, только он не позовет меня. наших теперь уже нет у него в приближении. Посмотри-ка, кем окружил он себя? Какие древние роды около него? Нет древних родов! Всё подлые страдники, которых отцы нашим отцам в холопство б не пригожались! Бери хоть любого на выдержку: Басмановы, отец и сын, уж не знаю, который будет гнуснее; Малюта Скуратов,

невесть мясник, невесть зверь какой, вечно кровью обрызган; Васька Грязной, — ему всякое студное дело нипочем! Борис Годунов, — этот и отца и мать продаст, да еще и детей даст в придачу, лишь бы повыше взобраться; всадит тебе нож в горло, да еще и поклонится. Один только и есть там высокого рода, князь Афанасий Вяземский. Опозорил он и себя, и нас всех, окаянный! Ну да что про него!

Морозов махнул рукой. Другие мысли заняли старика. Задумался и Серебряный. Задумался он о страшной перемене в царе и забыл на время об отношениях, в которые судьба поставила его к Морозову.

Между тем слуги накрыли на стол.

Несмотря ни на какие отговорки, Дружина Андреевич принудил своего гостя отведать многочисленных блюд: студеной разного рода, жарких, похлебок, кулебяк и буженины. А когда поставили перед ними разные напитки, Морозов налил себе и князю по стопе малвазии, встал из-за стола, откинул назад свои опальные волосы и сказал, подняв высоко стопу:

— Во здравие великого государя нашего,

царя Ивана Васильевича!

— Просвети его бог! Открой ему очи! — отвечал Серебряный, осушая стопу, и оба перекрестились.

Елена не показывалась во время стола и не присутствовала при разговоре бояр.

Многое еще рассказывал Морозов про дела государственные, про нападения крымцев на рязанские земли, расспрашивал Серебряного о литовской войне и горько осуждал Курбского за бегство его к королю. Князь отвечал подробно на все вопросы и наконец рассказал про схватку свою с опричниками в деревне Медведевке, про ссору с ними в Москве и про встречу с юродивым, не решившись, впрочем, упомянуть о темных словах последнего.

Морозов выслушал его с большим вниманием.

— Плохо, князь, — сказал он, почесывая крутой лоб свой, — больно плохо. Что они грабеж в той деревне чинили, тому нечего дивиться: деревня-то, вишь, моя; а которая вотчина опального боярина, ту теперь всякому вольно грабить. Дело знамое, что можно взять, берут, чего же не поднимут, то огнем

палят; рогатый живот насмерть колют. Это теперь их обычай. А юродивого-то я знаю. Он подлинно божий человек. Не тебя одного он при первой встрече по имени назвал; он всякого словно насквозь видит. Его и царь боится. Сколько раз он Ивана Васильевича в глаза уличал. Побольше бы таких святых людей, так, пожалуй, и опричнины-то не было бы! Скажи, князь, — продолжал Морозов, — когда хотел ты здравствовать государю?

— Завтра, чем свет, как выйдет его милость из опочивальни.

— Что ты, князь? Теперь уж смерклось, а тебе с лишком сто верст ехать!

— Как? Разве царь не в Кремле?

— Нет, князь, не в Кремле. Прогневили мы господу, бросил нас государь, воротился в Александрову слободу, живет там с своими поплечниками, не было б им ни дна ни покрышки!

— Коли так, то прости, боярин, надо спешить. Я еще и дома не был. Осмотрюсь немного, а завтра чем свет отправлюсь в Слободу.

— Не езд, князь!

— Отчего, боярин?

— Не снести тебе головы, Никита Романыч.

— На то божья воля, боярин; что будет, то будет!

— Послушай, Никита Романыч, ведь ты меня забыл, а я помню тебя еще маленького. Отец твой покойный жил со мной рука в руку, душа в душу. Умер он, царствие ему небесное; некому остеречь тебя, некому тебе совета подать, а не завидна твоя доля, видит бог, не завидна! Коли поедешь в Слободу, пропал ты, князь, с головою пропал.

— Что ж, боярин, видно, мне так на роду написано!

— Никитушка, останься, я тебя схороню. Никто тебя не сыщет, холопи мои тебя не выдадут, ты будешь у меня в доме как сын родной!

— Боярин, вспомни, что ты сам говорил про Курбского. Нечестно русскому боярину прятаться от царя своего.

— Никита Романыч, Курбский — изменник. Он ушел ко врагу государеву; а я кто же? Разве я враг государев?

— Прости, боярин, прости необдуманное слово, но чему быть, того не миновать!

— Кабы ты, Никитушка, остался у меня, может, и простыл бы гнев царский, может, мы с высокопреосвященным и уладили б твое дело, а теперь ты попадешь как смола на уголья!

— Жизнь наша в руке божией, боярин. Непригоже стараться продлить ее хитростью боле, чем богу угодно. Спасибо за хлеб-соль, — прибавил Серебряный, вставая, — спасибо за дружбу (при этих словах он невольно смутился), но я поеду. Прости, Дружина Андреич!

Морозов посмотрел на князя с грустным участием, но видно было, что внутри души своей он его одобряет и что сам не поступил бы иначе, если бы был на его месте.

— Да будет же над тобой благословение божие, Никита Романыч! — сказал он, подымаясь со скамьи и обнимая князя, — да умягчит господь сердце царское. Да вернешься ты невредим из Слободы, как отрок из печи пламенной, и да обниму тебя тогда, как теперь обнимаю, от всего сердца, от всей души!

Пословица говорится: пешего до ворот,

конного до коня провожают. Князь и боярин расстались на пороге сеней. Было уже темно. Проезжая вдоль частокола, Серебряный увидел в саду белое платье. Сердце его забилось. Он остановил коня. К частоколу подошла Елена.

— Князь, — сказала она шепотом, — я слышала твой разговор с Дружиной Андреичем, ты едешь в Слободу... Боже сохрани тебя, князь, ты едешь на смерть!

— Елена Дмитриевна! Видно, так угодно господу, чтобы приял я смерть от царя. Не на радость вернулся я на родину, не судил мне господь счастья, не мне ты досталась, Елена Дмитриевна! Пусть же надо мной воля божия!

— Князь, они тебя замучат! Мне страшно подумать! Боже мой, ужели жизнь тебе вовсе постыла?

— Пропадай она! — сказал Серебряный и махнул рукой.

— Пресвятая богородица! Коли ты себя не жалеешь, пожалей хоть других! Пожалей хоть меня, Никита Романыч! Вспомни, как ты любил меня!

Месяц вышел из-за облак. Лицо Елены, ее жемчужный кокошник, ожерелье и алмазные серьги, ее глаза, полные слез, озарились чудесным блеском. Еще плакала Елена, но уже готова была сквозь слезы улыбнуться. Одно слово князя обратило бы ее печаль в беспредельную радость. Она забыла о муже, забыла всю осторожность. Серебряный прочел в ее глазах такую любовь, такую тоску, что невольно поколебался. Счастье было для него навеки потеряно. Елена принадлежала другому, но она любила одного Серебряного. Для чего бы ему не остаться, не отложить поездки в Слободу? Не сам ли Морозов его упрашивал?

Так мыслил князь, и очаровательные картины рисовались в его воображении, но чувство чести, на миг уснувшее, внезапно пробудилось.

«Нет, — подумал он, — да будет мне стыдно, если я хотя мыслию оскорблю друга отца моего! Один бесчестный платит за хлеб-соль обманом, один трус бежит от смерти!»

— Мне нельзя не ехать! — сказал он решительно. — Не могу хорониться один от царя

моего, когда лучшие люди гибнут. Прости, Елена!

Слова эти как нож вонзились в сердце боярыни. Она в отчаянии ударилась оземь.

— Расступись же подо мной, мать сыра-земля! — простонала она, — не жилица я на белом свете! Наложу на себя руки, изведу себя отравой! Не переживу тебя, Никита Романыч! Я люблю тебя боле жизни, боле свету божьего, я никого, кроме тебя, не люблю и любить не буду!

Сердце Серебряного надрывалось. Он хотел утешить Елену; но она рыдала все громче. Люди могли ее услышать, подсмотреть князя и донести боярину. Серебряный это понял и, чтобы спасти Елену, решил от нее оторваться.

— Елена, прости! — сказал он, — прости, душа, радость дней моих! Уйми свои слезы, бог милостив, авось мы еще увидимся!

Облака задернули месяц; ветер потряс вершины лип, и благовонным дождем посыпались цветы на князя и на Елену. Закачались старые ветви, будто желая сказать: на кого нам цвести, на кого зеленеть! Пропадет даром

добрый молодец, пропадет и его полюбовница!

Оглянувшись последний раз на Елену, Серебряный увидел за нею, в глубине сада, темный человеческий образ. Почудилось ли то князю, или слуга какой проходил по саду, или уж не был ли то сам боярин Дружина Андреевич?

## **Глава 7. Александрова слобода**

Дорога от Москвы до Троицкой лавры, а от лавры до Александровой слободы представляла самую живую картину. Беспреданно скакали по ней царские гонцы; толпы людей всех сословий шли пешком на богомолье; отряды опричников спешили взад и вперед; сокольники отправлялись из Слободы в разные деревни за живыми голубями; купцы тащились с товарами, сидя на возах или провожая верхом длинные обозы. Проходили толпы скоморохов с гудками, волынками и балабайками. Они были одеты пестро, вели с собою ручных медведей, пели песни или просили у богатых проезжих.

— Пожалейте, государи, нас, — говорили они на все голоса, — вам господь дал и вотчи-

ны, и всякое достояние, а нам указал питаться вашею подачей, так не оставьте нас, скудных людей, государи!

— Отцы наши, батюшки! — пели иные протяжно, сидя у самой дороги, — дай вам господи доброе здоровье! Донеси вас бог до Сергия Троицы!

Другие прибавляли к этим словам разные прибаутки, так что иной проезжий в награду за веселое слово бросал им целый корабленник.

Нередко у скоморохов случались драки с толпами оборванных нищих, которые из городов и монастырей спешили в Слободу поживиться царскою милостыней.

Проходили также слепые гусяры и сказочники, с гусями на плечах и держась один за другого.

Все это шумело, пело, ругалось. Лошади, люди, медведи — ржали, кричали, ревели. Дорога шла густым лесом. Несмотря на ее многолюдность, случалось иногда, что вооруженные разбойники нападали на купцов и обирали их дочиста.

Разбои в окрестностях Москвы особенно

умножились с тех пор, как опричники вытеснили целые села хлебопашцев, целые посады мещан. Лишась жилищ и хлеба, люди эти пристали к шайкам станичников, укрепились в засеках и, по множеству своему, сделались не на шутку опасны. Опричники, поймав разбойников, вешали их без милосердия; зато и разбойники не оставались у них в долгу, когда случалось им поймать опричника. Впрочем, не одни разбойники грабили на дорогах. Скоморохи и нищие, застав под вечер плохо оберегаемый обоз, часто избавляли разбойников от хлопот. Купцам было всего хуже. Их грабили и разбойники, и скоморохи, и нищие, и пьяные опричники. Но они утешались пословицей, что наклад с барышом угол об угол живут, и не переставали ездить в Слободу, говоря: «Бог милостив, авось доедем». И неизвестно, как оно случалось, но только на поверку всегда выходило, что купцы оставались в барышах.

В Троицкой лавре Серебряный исповедался и причастился. То же сделали его холопи. Архимандрит, прощаясь с Никитой Романовичем, благословил его как идущего на вер-

ную смерть.

Верстах в трех от Слободы стояла на заставе воинская стража и останавливала проезжих, спрашивая каждого: кто он и зачем едет в неволю? Этим прозванием народ, в насмешку, заменил слово «слобода», значившее в прежнее время свободу. Серебряный и холопи его также выдержали подробный допрос о цели их приезда. Потом начальный человек отобрал от них оружие, и четыре опричника сели на конь проводить приезжих. Вскоре показались вдали крашенные главы и причудливые, золоченые крыши царского дворца. Вот что говорит об этом дворце наш историк, по свидетельству чужеземных современников Иоанна.

«В сем грозно увеселительном жилище Иоанн посвящал большую часть времени церковной службе, чтобы непрестанною деятельностью успокоить душу. Он хотел даже обратить дворец в монастырь, а любимцев своих в иноков: выбрал из опричников 300 человек, самых злейших, назвал их братиею, себя игуменом, князя Афанасия Вяземского келарем, Малюту Скуратова параклисиархом;

дал им тафьи, или скуфейки, и черные рясы, под коими носили они богатые, золотом блестящие кафтаны с собольею опушкою; сочинил для них устав монашеский и служил примером в исполнении оного. Так описывают сию монастырскую жизнь Иоаннову. В четвертом часу утра он ходил на колокольню с царевичами и Малютою Скуратовым благовестить к заутрене, братья спешили в церковь; кто не являлся, того наказывали осмидневным заключением. Служба продолжалась до шести или семи часов. Царь пел, читал, молился столь ревностно, что на лбу всегда оставались у него знаки крепких земных поклонов. В восемь часов опять собирались к обедне, а в десять садились за братскую трапезу, все кроме Иоанна, который, стоя, читал вслух душеспасительные наставления. Между тем братья ели и пили досыта; всякий день казался праздником: не жалели ни вина, ни меду; остаток трапезы выносили из дворца на площадь для бедных. Игумен, то есть царь, обедал после, беседовал с любимцами о законе, дремал или ехал в темницу пытаться какого-нибудь несчастного. Казалось, что сие

ужасное зрелище забавляло его: он возвращался с видом сердечного удовольствия; шутил, говаривал тогда веселее обыкновенного. В восемь часов шли к вечерне; в десятом Иоанн уходил в спальню, где трое слепых рассказывали ему сказки; он слушал их и засыпал, но ненадолго: в полночь вставал, и день его начинался молитвою! Иногда докладывали ему в церкви о делах государственных; иногда самые жестокие повеления давал Иоанн во время заутрени или обедни. Единообразие сей жизни он прерывал так называемыми объездами, посещал монастыри, и ближние и дальние, осматривал крепости на границе, ловил диких зверей в лесах и пустынях; любил в особенности медвежью травлю; между тем везде и всегда занимался делами: ибо земские бояре, мнимоуполномоченные правители государства, не смели ничего решить без его воли!»

Въехав в Слободу, Серебряный увидел, что дворец, или монастырь, государев отделен от прочих зданий глубоким ровом и валом. Трудно описать великолепие и разнообразие этой обители. Ни одно окно не походило на другое,

ни один столб не равнялся с другим узорами или краской. Множество глав венчали здания.

Они теснились одна возле другой, громоздились одна на другую, и сквозили, и пузырились. Золото, серебро, цветные изразцы, как блестящая чешуя, покрывали дворец сверху донизу. Когда солнце его освещало, нельзя было издали догадаться, дворец ли это, или куст цветов исполинских, или то жар-птицы слетелись в густую стаю и распустили на солнце свои огненные перья?

Недалеко от дворца стоял печатный двор, с принадлежащею к нему словолитней, с жилищем наборщиков и с особым помещением для иностранных мастеров, выписанных Иоанном из Англии и Германии. Далее тянулись бесконечные дворцовые службы, в которых жили ключники, подключники, сытники, повара, хлебники, конюхи, псары, сокольники и всякие дворцовые люди на всякий обиход.

Немалым богатством сияли слободские церкви. Славный храм богородицы покрыт был снаружи яркою живописью; на каждом

кирпиче блестел крест, и церковь казалась одетою в золотую сетку.

Очаровательный вид этот разогнал на время черные мысли, которые не оставляли Серебряного во всю дорогу. Но вскоре неприятное зрелище напомнило князю его положение. Они проехали мимо нескольких виселиц, стоявших одна подле другой. Тут же были срубы с плахами и готовыми топорами. Срубы и виселицы, скрашенные черною краской, были выстроены крепко и прочно, не на день, не на год, а на многие лета.

Как ни бесстрашен бывает человек, он никогда не равнодушен к мысли, что его ожидает близкая смерть, не славная смерть среди стука мечей или грома орудий, но темная и постыдная, от рук презренного палача. Видно, Серебряный, проезжая мимо места казней, не умел подавить внутреннего волнения, и оно невольно отразилось на впечатлительном лице его; вожатые посмотрели на князя и усмехнулись.

— Это наши качели, боярин, — промолвил один из них, указывая на виселицы, — видно, они приглянулись тебе, что ты с них глаз не

сводишь!

Михеич, ехавший позади, не сказал ничего, но только посвистел и покачал головою.

Подъехав к валу, князь и товарищи его спешили и привязали лошадей к столбам, в которые нарочно для того были ввинчены кольца. Приезжие вошли на огромный двор, наполненный нищими. Они громко молились, распевали псалмы и обнажали свои отвратительные язвы. Царский дворецкий, стоя на ступенях крыльца, раздавал им от имени Иоанна яства и денежные дачи. Время от времени по двору прохаживались опричники. Другие сидели на скамьях и играли в шахматы или в зернь. Так называли тогда игру в кости. Иные, собравшись в кружок, бросали свайку и громко смеялись, когда проигравший несколько раз сряду вытаскивал из земли глубоко всаженную *редьку*. Одежда опричников представляла разительную противоположность с лохмотьями нищих: царские телохранители блистали золотом. На каждом из них была бархатная или парчовая тафья, усаженная жемчугом и дорогими камнями, и все они казались живыми украшениями

волшебного дворца, с которым составляли как бы одно целое.

Один из опричников особенно привлек внимание Серебряного. То был молодой человек лет двадцати, необыкновенной красоты, но с неприятным, наглым выражением лица. Одет он был богаче других, носил, в противность обычаю, длинные волосы, бороды не имел вовсе, а в приемах выказывал какую-то женоподобную небрежность. Обращение с ним товарищей также было довольно странно. Они с ним говорили как с равным и не оказывали ему особенной почтительности; но когда он подходил к какому-нибудь кружку, то кружок раздвигался, а сидевшие на лавках вставали и уступали ему место. Казалось, его берегли или, может быть, опасались. Увидя Серебряного и Михеича, он окинул их надменным взглядом, подозвал провожатых и, казалось, осведомился об имени приезжих. Потом он прищурился на Серебряного, усмехнулся и шепнул что-то товарищам. Те также усмехнулись и разошлись в разные стороны. Сам он взошел на крыльцо и, облокотясь на перилы, продолжал насмешливо глядеть на

Никиту Романовича. Вдруг между нищими сделалось волнение. Густая толпа отхлынула прямо на князя и чуть не сбила его с ног. Нищие с криком бежали от дворца; ужас изображался на их лицах. Князь удивился, но вскоре понял причину общего испуга. Огромный медведь скоком преследовал нищих. В одно мгновение двор опустел, и князь остался один, глаз на глаз с медведем. Мысль о бегстве не пришла ему в голову. Серебряный не раз ходил на медведя один на один. Эта охота была его забавой. Он остановился, и в то мгновение, как медведь, прижав уши к затылку, подвалился к нему, загребая его лапами, князь сделал движение, чтобы выхватить саблю. Но сабли не было! Он забыл, что отдал ее опричникам перед въездом в неволю. Молодой человек, глядевший с крыльца, захохотал.

— Так, так, — сказал он, — ищи своей сабли!

Один удар медвежьей лапы свалил князя на землю, другой своротил бы ему череп, но, к удивлению своему, князь не принял второго удара и почувствовал, что его обдала струя

теплой крови.

— Вставай, боярин! — сказал кто-то, подавая ему руку.

Князь встал и увидел не замеченного им прежде опричника, лет семнадцати, с окровавленной саблей в руке. Медведь с разрубленной головою лежал на спине и, махая лапами, издыхал у ног его.

Опричник, казалось, не гордился своею победой. Кроткое лицо его являло отпечаток глубокой грусти. Уверившись, что медведь не сломал князя, и не дожидаясь спасибо, он хотел отойти.

— Добрый молодец! — сказал ему Серебряный, — назовись по имени-прозвищу, чтобы знал я, за кого богу помолиться!

— Что тебе до моего прозвища, боярин! — отвечал опричник. — Не люблю я его, бог с ним!

Такой странный ответ удивил Серебряного, но избавитель его уже удалился.

— Ну, батюшка, Никита Романыч, — сказал Михеич, обтирая полою кафтана медвежьей кровью с князя, — набрался ж я страху! Уж я, батюшка, кричал медведю: гу! гу! чтобы

бросил он тебя да на меня бы навалился, как этот молодец, дай бог ему здоровья, череп ему раскроил. А ведь все это затеял вон тот голобородый с маслеными глазами, что с крыльца смотрит, тетка его подкурятина! Да куда мы заехали, — прибавил Михеич шепотом, — виданное ли это дело, чтобы среди царского двора медведей с цепей спускали?

Замечание Михеича было основательно, но Слобода имела свои обычаи, и ничто не происходило в ней обыкновенным порядком.

Царь любил звериный бой. Несколько медведей всегда кормились в железных клетках на случай травли. Но время от времени Иоанн или опричники его выпускали зверей из клеток, драли ими народ и потешались его страхом. Если медведь кого увечил, царь награждал того деньгами. Если же медведь задирали кого до смерти, то деньги выдавались его родным, а он вписывался в синодик для поминовения по монастырям вместе с прочими жертвами царской потехи или царского гнева.

Вскоре вышли из дворца два стольника и сказали Серебряному, что царь видел его из

окна и хочет знать, кто он таков? Передав царю имя князя, стольники опять возвратились и сказали, что царь-де спрашивает тебя о здоровье и велел-де тебе сегодня быть у его царского стола.

Эта милость не совсем обрадовала Серебряного. Иоанн, может быть, не знал еще о ссоре его с опричниками в деревне Медведевке. Может быть также (и это случалось часто), царь скрывал на время гнев свой под личиною милости, дабы внезапное наказание, среди пира и веселья, показалось виновному тем ужаснее. Как бы то ни было, Серебряный приготовился ко всему и мысленно прочитал молитву.

Этот день был исключением в Александровой слободе. Царь, готовясь ехать в Суздаль на богомолье, объявил заранее, что будет обедать вместе с братией, и приказал звать к столу, кроме трехсот опричников, составлявших его всегдашнее общество, еще четыреста, так что всех званых было семьсот человек.

## **Глава 8. Пир**

**В** огромной двусветной палате, между узорчатыми расписными столбами, стояли

длинные столы в три ряда. В каждом ряду было по десяти столов, на каждом столе по двадцати приборов. Для царя, царевича и ближайших любимцев стояли особые столы в конце палаты. Гостям были приготовлены длинные скамьи, покрытые парчой и бархатом; государю — высокие резные кресла, убранные жемчужными и алмазными кистями. Два льва заменяли ножки кресел, а спинку образовал двуглавый орел с поднятыми крыльями, золоченый и раскрашенный. В середине палаты стоял огромный четвероугольный стол с поставом из дубовых досок. Крепки были толстые доски, крепки точеные столбы, на коих покоился стол; им надлежало поддерживать целую гору серебряной и золотой посуды. Тут были и тазы литые, которые четыре человека с трудом подняли бы за узорчатые ручки, и тяжелые ковши, и кубки, усыпанные жемчугом, и блюда разных величин с чеканными узорами. Тут были и чары сердоликовые, и кружки из строфокамиловых яиц, и турьи рога, оправленные в золото. А между блюдами и ковшами стояли золотые кубки странного вида, представлявшие мед-

ведей, львов, петухов, павлинов, журавлей, единорогов и строфокамилов. И все эти тяжелые блюда, суды, ковши, чары, черпала, звери и птицы громоздились кверху клинообразным зданием, которого конец упирался почти в самый потолок.

Чинно вошла в палату блестящая толпа царедворцев и разместилась по скамьям. На столах в это время, кроме солонок, перечниц и уксусниц, не было никакой посуды, а из яств стояли только блюда холодного мяса на постном масле, соленые огурцы, сливы и кислое молоко в деревянных чашах.

Опричники уселись, но не начинали обеда, ожидая государя. Вскоре стольники попарно вошли в палату и стали у царских кресел; за стольниками шествовали дворецкий и кравчий.

Наконец загремели трубы, зазвенели дворцовые колокола, и медленным шагом вошел сам царь, Иван Васильевич.

Он был высок, строен и широкоплеч. Длинная парчовая одежда его, испещренная узорами, была окаймлена вдоль разреза и вокруг подола жемчугом и дорогими каменья-

ми. Драгоценное перстяное ожерелье украшалось финифтевыми изображениями спасителя, богоматери, апостолов и пророков. Большой узорный крест висел у него на шее на золотой цепи. Высокие каблуки красных сафьянных сапогов были окованы серебряными скобами. Страшную перемену увидел в Иоанне Никита Романович. Правильное лицо все еще было прекрасно; но черты обозначались резче, орлиный нос стал как-то круче, глаза горели мрачным огнем, и на челе явились морщины, которых не было прежде. Всего более поразили князя редкие волосы в бороде и усах. Иоанну было от роду тридцать пять лет; но ему казалось далеко за сорок. Выражение лица его совершенно изменилось. Так изменяется здание после пожара. Еще стоят хоромы, но украшения упали, мрачные окна глядят зловещим взором, и в пустых покоях поселилось недоброе.

Со всем тем, когда Иоанн взирал милостиво, взгляд его еще был привлекателен. Улыбка его очаровывала даже тех, которые хорошо его знали и гнушались его злодеяниями. С такою счастливою наружностью Иоанн соеди-

нял необыкновенный дар слова. Случалось, что люди добродетельные, слушая царя, убеждались в необходимости ужасных его мер и верили, пока он говорил, справедливости его казней.

С появлением Иоанна все встали и низко поклонились ему. Царь медленно прошел между рядами столов до своего места, остановился и, окинув взором собрание, поклонился на все стороны; потом прочитал вслух длинную молитву, перекрестился, благословил трапезу и опустился в кресла. Все, кроме кравчего и шести стольников, последовали его примеру.

Множество слуг, в бархатных кафтанах фиалкового цвета, с золотым шитьем, стали перед государем, поклонились ему в пояс и по два в ряд отправились за кушаньем. Вскоре они возвратились, неся сотни две жареных лебедей на золотых блюдах.

Этим начался обед.

Серебряному пришлось сидеть недалеко от царского стола, вместе с земскими боярами, то есть с такими, которые не принадлежали к опричнине, но, по высокому сану своему, удо-

стоились на этот раз обедать с государем. Некоторых из них Серебряный знал до отъезда своего в Литву. Он мог видеть с своего места и самого царя, и всех бывших за его столом. Грустно сделалось Никите Романовичу, когда он сравнил Иоанна, оставленного им пять лет тому назад, с Иоанном, сидящим ныне в кругу новых любимцев.

Никита Романович обратился с вопросом к своему соседу, одному из тех, с которыми он был знаком прежде.

— Кто этот отрок, что сидит по правую руку царя, такой бледный и пасмурный?

— Это царевич Иоанн Иоаннович, — отвечал боярин и, оглянувшись по сторонам, прибавил шепотом:

— Помилуй нас господи! Не в деда он пошел, а в батюшку, и не по младости исполнено его сердце свирепства; не будет нам утехи от его царствованья!

— А этот молодой черноглазый, в конце стола, с таким приветливым лицом? Черты его мне знакомы, но не припомню, где я его видел?

— Ты видел его, князь, пять лет тому, рын-

дою при дворе государя; только далеко ушел он с тех пор и далеко уйдет еще; это Борис Федорович Годунов, любимый советник царский. Видишь, — продолжал боярин, понижая голос, — видишь возле него этого широкоплечего, рыжего, что ни на кого не смотрит, а убирает себе лебедя, нахмурия брови? Знаешь ли, кто это? Это Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, по прозванию Малюта. Он и друг, и поплечник, и палач государев. Здесь же, в монастыре, он сделан, прости господи, параклисиархом. Кажется, государь без него ни шагу; а скажи только слово Борис Федорыч, так выйдет не по Малютину, а по Борисову! А вон там, этот молоденький, словно красная девица, что царю наряжает вина, это Федор Алексеич Басманов.

— Этот? — спросил Серебряный, узнавая женоподобного юношу, которого наружность поразила его на царском дворе, а неожиданная шутка чуть не стоила ему жизни.

— Он самый. Уж как царь-то любит его; кажется, жить без него не может; а случись дело какое, у кого совета спросят? Не у него, а у Бориса!

— Да, — сказал Серебряный, взглядываясь в Годунова, — теперь припоминаю его. Не ездил ли он у царского саадака?

— Так, князь. Он точно был у саадака. Кажется, должность незнатная, как тут показать себя? Только случилось раз, затеяли на охоте из лука стрелять. А был тут ханский посол Девлет-Мурза. Тот, что ни пустит стрелу, так и всадит ее в татарскую шляпу, что поставили на шесте, ступней во сто от царской ставки. Дело-то было уж после обеда, и много ковшей уже прошло кругом стола. Вот встал Иван Васильевич, да и говорит: «Подайте мне мой лук, и я не хуже татарина попаду!» А татарин-то обрадовался: «Попади, бачка-царь! — говорит, — моя пошла тысяча лошадей табун, а твоя что пошла?» — то есть, по-нашему, во что ставишь заклад свой? «Идет город Рязань!» — сказал царь и повторил: «Подайте мой лук!» Бросился Борис к конюязи, где стоял конь с саадаком, вскочил в седло, только видим мы, бьется под ним конь, вздымается на дыбы, да вдруг как пустится, закусив удила, так и пропал с Борисом. Через четверть часа вернулся Борис, и колчан и на-

лучше изорваны, лук пополам, стрелы все рассыпались, сам Борис с разбитой головой. Соскочил с коня, да и в ноги царю: «Виноват, государь, не смог коня удержать, не соблюл твоего саадака!» А у царя, вишь, меж тем хмель-то уж выходить начал. «Ну, говорит, не быть же боле тебе, неучу, при моем саадаке, а из чужого лука стрелять не стану!» С этого дня пошел Борис в гору, да посмотри, князь, куда уйдет еще! И что это за человек, — продолжал боярин, глядя на Годунова, — никогда не суется вперед, а всегда тут; никогда не прямит, не перечит царю, идет себе окольным путем, ни в какое кровавое дело не замешан, ни к чьей казни не причастен. Кругом его кровь так и хлещет, а он себе и чист и бел как младенец, даже и в опричнину не вписан. Вон тот, — продолжал он, указывая на человека с недоброю улыбкой, — то Алексей Басманов, отец Федора, а там, подале, Василий Грязной, а вон там отец Левкий, чудовский архимандрит; прости ему господи, не пастырь он церковный, угодник страстей мирских!

Серебряный слушал с любопытством и с горестью.

— Скажи, боярин, — спросил он, — кто этот высокий кудрявый, лет тридцати, с черными глазами? Вот уж он четвертый кубок осушил, один за другим, да еще какие кубки! Здоров он пить, нечего сказать, только вино ему будто не на радость. Смотри, как он нахмурился, а глаза-то горят словно молонья. Да что он, с ума сошел? Смотри, как скатерть поясом порет!

— Этого-то, князь, ты, кажись бы, должен знать; этот был из наших. Правда, переменялся он с тех пор, как, всему боярству на срам, в опричники пошел! Это князь Афанасий Иванович Вяземский. Он будет всех их удалее, только не вынести ему головы! Как прикачнулась к его сердцу зазнобушка, сделался он сам не свой. И не видит ничего, и не слышит, и один с собою разговаривает, словно помешанный, и при царе держит такие речи, что индо страшно. Но до сих пор ему все с рук сходило; жалеет его государь. А говорят, он по любви и в опричники-то вписался.

И боярин нагнулся к Серебряному, желая, вероятно, рассказать ему подробнее про Вяземского, но в это время подошел к ним

стольник и сказал, ставя перед Серебряным блюдо жаркого:

— Никита-ста! Великий государь жалует тебя блюдом с своего стола.

Князь встал и, следуя обычаю, низко поклонился царю. Тогда все, бывшие за одним столом с князем, также встали и поклонились Серебряному, в знак поздравления с царскою милостью. Серебряный должен был каждого отблагодарить особым поклоном.

Между тем стольник возвратился к царю и сказал ему, кланяясь в пояс:

— Великий государь! Никита-ста принял блюдо, челом бьет!

Когда съели лебедей, слуги вышли попарно из палаты и возвратились с тремя сотнями жареных павлинов, которых распущенные хвосты качались над каждым блюдом, в виде опахала. За павлинами следовали кулебяки, курники, пироги с мясом и с сыром, блины всех возможных родов, кривые пирожки и оладьи. Пока гости кушали, слуги разносили ковши и кубки с медами: вишневым, можжевельным и черемховым. Другие подавали разные иностранные вина: романею, рейнское и

мушкатель. Особые стольники ходили взад и вперед между рядами, чтобы смотреть и вскалывать в столы.

Напротив Серебряного сидел один старый боярин, на которого царь, как поговаривали, держал гнев. Боярин предвидел себе беду, но не знал какую и ожидал спокойно своей участи. К удивлению всех, кравчий Федор Басманов из своих рук поднес ему чашу вина.

— Василий-су! — сказал Басманов, — великий государь жалует тебя чашею!

Старик встал, поклонился Иоанну и выпил вино, а Басманов, возвратясь к царю, донес ему:

— Василий-су выпил чашу, челом бьет!

Все встали и поклонились старику; ожидали себе и его поклона, но боярин стоял неподвижно. Дыхание его сперлось, он дрожал всем телом. Внезапно глаза его налились кровью, лицо посинело, и он грянулся оземь.

— Боярин пьян, — сказал Иван Васильевич, — вынести его вон! — Шепот пробежал по собранию, а земские бояре переглянулись и потупили очи в свои тарелки, не смея вымолвить ни слова.

Серебряный содрогнулся. Еще недавно не верил он рассказам о жестокости Иоанна, теперь же сам сделался свидетелем его ужасной мести.

«Уж не ожидает ли и меня такая же участь?» — подумал он. Между тем старика вынесли, и обед продолжался, как будто ничего не случилось. Гусли звучали, колокола гудели, царедворцы громко разговаривали и смеялись. Слуги, бывшие в бархатной одежде, явились теперь все в парчовых доломанах. Эта перемена платья составляла одну из роскошей царских обедов. На столы поставили сперва разные студени; потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с инбирем, бескостных куриц и уток с огурцами. Потом принесли разные похлебки и трех родов уху: курячью белую, курячью черную и курячью шафранную. За ухою подали рябчиков со сливами, гусей со пшеном и тетерок с шафраном.

Тут наступил прогул, в продолжение которого разносили гостям меды, смородинный, княжий и боярский, а из вин: аликант, бастр и малвазию.

Разговоры становились громче, хохот раздавался чаще, головы кружились. Серебряный, всматриваясь в лица опричников, увидел за отдаленным столом молодого человека, который несколько часов перед тем спас его от медведя. Князь спросил об нем у соседей, но никто из земских не знал его. Молодой опричник, облокотясь на стол и опустив голову на руки, сидел в задумчивости и не участвовал в общем веселье. Князь хотел было обратиться с вопросом к проходившему слуге, но вдруг услышал за собой:

— Никита-ста! Великий государь жалует тебя чашею!

Серебряный вздрогнул. За ним стоял, с наглою усмешкой, Федор Басманов и подавал ему чашу.

Не колеблясь ни минуты, князь поклонился царю и осушил чашу до капли. Все на него смотрели с любопытством, он сам ожидал неминуемой смерти и удивился, что не чувствует действий отравы. Вместо дрожи и холода благотворная теплота пробежала по его жилам и разогнала на лице его невольную бледность. Напиток, присланный царем, был

старый и чистый бастр. Серебряному стало ясно, что царь или отпустил вину его, или не знает еще об обиде опричнины.

Уже более четырех часов продолжалось веселье, а стол был только во полустоле. Отличились в этот день царские повара. Никогда так не удавались им лимонные кальи, верченые почки и караси с бараниной. Особенное удивление возбуждали исполинские рыбы, пойманные в Студеном море и присланные в Слободу из Соловецкого монастыря. Их привезли живых, в огромных бочках; путешествие продолжалось несколько недель. Рыбы эти едва умещались на серебряных и золотых тазах, которые вносили в столовую несколько человек разом. Затейливое искусство поваров выказалось тут в полном блеске. Осетры и шевриги были так надрезаны, так посажены на блюда, что походили на петухов с простертыми крыльями, на крылатых змеев с разверстыми пастями. Хороши и вкусны были также зайцы в лапше, и гости, как уже ни нагрузились, но не пропустили ни перепелов с чесночною подливкой, ни жаворонков с луком и шафраном. Но вот, по знаку стольни-

ков, убрали со столов соль, перец и уксус и сняли все мясные и рыбные яства. Слуги вышли по два в ряд и возвратились в новом убранстве. Они заменили парчовые доломаны летними кунтушами из белого аксамита с серебряным шитьем и собольею опушкой. Эта одежда была еще красивее и богаче двух первых. Убранные таким образом, они внесли в палату сахарный кремль, в пять пудов весу, и поставили его на царский стол. Кремль этот был вылит очень искусно. Зубчатые стены и башни, и даже пешие и конные люди были тщательно отделаны. Подобные кремли, но только поменьше, пуда в три, не более, украсили другие столы. Вслед за кремлями внесли около сотни золоченых и крашенных деревьев, на которых вместо плодов висели пряники, коврижки и сладкие пирожки. В то же время явились на столах львы, орлы и всякие птицы, литые из сахара. Между городами и птицами возвышались груды яблоков, ягод и волошских орехов. Но плодов никто уже не трогал, все были сыты. Иные допивали кубки романеи, более из приличия, чем от жажды, другие дремали, облокотясь на стол; многие

лежали под лавками, все без исключения распоясались и расстегнули кафтаны. Нрав каждого обрисовался яснее.

Царь почти вовсе не ел. В продолжение стола он много рассуждал, шутил и милостиво говорил с своими окольными. Лицо его не изменилось в конце обеда. То же можно было сказать и о Годунове. Борис Федорович, казалось, не отказывался ни от лакомого блюда, ни от братины крепкого вина; он был весел, занимал царя и любимцев его умным разговором, но ни разу не забывался. Черты Бориса являли теперь, как и в начале обеда, смесь проницательности, обдуманного смирения и уверенности в самом себе. Окинув быстрым взором толпу пьяных и сонных царедворцев, молодой Годунов неприметно улыбнулся, и презрение мелькнуло на лице его.

Царевич Иоанн пил много, ел мало, молчал, слушал и вдруг перебивал говорящего нескромною или обидною шуткой. Более всех доставалось от него Малюте Скуратову, хотя Григорий Лукьянович не похож был на человека, способного сносить насмешки. Наружность его вселяла ужас в самых неробких. Лоб

его был низок и сжат, волосы начинались почти над бровями; скулы и челюсти, напротив, были несоразмерно развиты, череп, спереди узкий, переходил без всякой постепенности в какой-то широкий котел к затылку, а за ушами были такие выпуклости, что уши казались впалыми. Глаза неопределенного цвета не смотрели ни на кого прямо, но страшно делалось тому, кто нечаянно встречал их тусклый взгляд. Казалось, никакое великодушное чувство, никакая мысль, выходящая из круга животных побуждений, не могла проникнуть в этот узкий мозг, покрытый толстым черепом и густою щетиной. В выражении этого лица было что-то неумолимое и безнадежное. Глядя на Малюту, чувствовалось, что всякое старание отыскать в нем человеческую сторону было бы напрасно. И подлинно, он нравственно уединил себя от всех людей, жил посреди их особняком, отказался от всякой дружбы, от всяких приятельных отношений, перестал быть человеком и сделал из себя царскую собаку, готовую растерзать без разбора всякого, на кого Иоанну ни вздумалось бы натравить ее.

Единственной светлой стороной Малюты казалась горячая любовь его к сыну, молодому Максиму Скуратову; но то была любовь дикого зверя, любовь бессознательная, хотя и доходившая до самоотвержения. Ее усугубляло любочестие Малюты. Происходя сам от низкого сословия, будучи человеком худородным, он мучился завистью при виде блеска и знатности и хотел, по крайней мере, возвысить свое потомство, начиная с сына своего. Мысль, что Максим, которого он любил тем сильнее, что не знал другой родственной привязанности, будет всегда стоять в глазах народа ниже тех гордых бояр, которых он, Малюта, казнил десятками, приводила его в бешенство. Он старался золотом достичь почестей, недоступных ему по рождению, и с сугубым удовольствием предавался убийствам: он мстил ненавистным боярам, обогащался их добычей и, возвышаясь в милости царской, думал возвысить и возлюбленного сына. Но независимо от этих расчетов кровь была для него потребностью и наслаждением. Много душегубств совершил он своими руками, и летописи рассказывают, что иногда, после

казней, он собственноручно рассекал мертвые тела топором и бросал их псам на съедение. Чтобы довершить очерк этого лица, надобно прибавить, что, несмотря на свою умственную ограниченность, он, подобно хищному зверю, был в высшей степени хитер, в боях отличался отчаянным мужеством, в сношениях с другими был мнителен, как всякий раб, попавший в незаслуженную честь, и что никто не умел так помнить обиды, как Малюта Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский.

Таков был человек, над которым столь неосторожно издевался царевич.

Особенный случай подал Иоанну Иоанновичу повод к насмешкам. Малюта, мучимый завистью и любочестием, издавна домогался боярства; но царь, уважавший иногда обычаи, не хотел унижить верховный русский сан в лице своего худородного любимца и оставлял происки его без внимания. Скуратов решился напомнить о себе Иоанну. В этот самый день, при выходе царя из опочивальни, он бил ему челом, исчислил все свои заслуги и в награждение просил боярской шапки. Иоанн выслушал его терпеливо, засмеялся и

назвал собакой. Теперь, за столом, царевич напоминал Малюте о неудачной его челобитне. Не напомнил бы о ней царевич, если бы знал короче Григорья Лукьяновича!

Малюта молчал и становился бледнее. Царь с неудовольствием замечал неприязненные отношения между Малютой и сыном. Чтобы переменить разговор, он обратился к Вяземскому.

— Афанасий, — сказал он полуласково, полунасмешливо, — долго ли тебе кручиниться! Не узнаю моего доброго опричника! Аль вконец заела тебя любовь — змея лютая?

— Вяземский не опричник, — заметил царевич. — Он вздыхает, как красная девица. Ты б, государь-батюшка, велел надеть на него сарафан да обрить ему бороду, как Федьке Басманову, или приказал бы ему петь с гусярами. Гусли-то ему, я чай, будут сподручнее сабли!

— Царевич! — вскричал Вяземский, — если бы тебе было годков пять поболее да не был бы ты сынок государев, я бы за бесчестие позвал тебя к Москве на Троицкую площадь, мы померялись бы с тобой, и сам бог рассудил бы,

кому владеть саблей, кому на гусях играть!

— Афонька! — сказал строго царь. — Не забывай, перед кем речь ведешь!

— Что ж, батюшка, господин Иван Васильевич, — отвечал дерзко Вяземский, — коли повинен я перед тобой, вели мне голову рубить, а царевичу не дам порочить себя.

— Нет, — сказал, смягчаясь, Иван Васильевич, который за молодечество прощал Вяземскому его выходки, — рано Афоне голову рубить! Пусть еще послужит на царской службе. Я тебе, Афоня, лучше сказку скажу, что рассказывал мне прошлою ночью слепой Филька:

«В славном Ростове, в красном городе, проживал добрый молодец, Алеша Попович. Полюбилаь ему пуще жизни молодая княгиня, имени не припомню. Только была она, княгиня, замужем за старым Тутарином Змиевичем, и как ни бился Алеша Попович, всё только отказы от нее получал. „Не люблю-де тебя, добрый молодец; люблю одного мужа мово, милого, старого Змиевича“. — „Добро, — сказал Алеша, — полюбишь же ты и меня, белая лебедушка!“ Взял двенадцать слуг своих доб-

рых, вломился в терем Змиевича и увез его молодую жену. „Исполать тебе, добрый молодец, — сказала жена, — что умел меня любить, умел и мечом добыть; и за то я тебя люблю пуще жизни, пуще свету, пуще старого поганого мужа мово Змиевича!“»

— А что, Афоня, — прибавил царь, пристально смотря на Вяземского, — как покажется тебе сказка слепого Фильки?

Жадно слушал Вяземский слова Ивана Васильевича. Запали они в душу его, словно искры в снопы овинные, загорелась страсть в груди его, запылала очи пожаром.

— Афанасий, — продолжал царь, — я этими днями еду молиться в Суздаль, а ты ступай на Москву к боярину Дружине Морозову, спроси его о здоровье, скажи, что я-де прислал тебя снять с него мою опалу... Да возьми, — прибавил он значительно, — возьми с собой, для почету, поболе опричников!

Серебряный видел с своего места, как Вяземский изменился в лице и как дикая радость мелькнула на чертах его, но не слышал он, о чем шла речь между князем и Иваном Васильевичем.

Кабы догадался Никита Романович, чему радуется Вяземский, забыл бы он близость государеву, сорвал бы со стены саблю острую и рассек бы Вяземскому буйную голову. Погубил бы Никита Романович и свою головушку, но спасли его на этот раз гусли звонкие, колокола дворцовые и говор опричников, не узнал он, чему радуется Вяземский.

Наконец Иоанн встал. Все царедворцы зашумели, как пчелы, потревоженные в улье. Кто только мог, поднялся на ноги, и все поочередно стали подходить к царю, получать от него сушеные сливы, которыми он наделял братию из собственных рук.

В это время сквозь толпу пробрался опричник, не бывший в числе пировавших, и стал шептать что-то на ухо Малюте Скуратову. Малюта вспыхнул, и ярость изобразилась на лице его. Она не скрылась от зоркого глаза царя. Иоанн потребовал объяснения.

— Государь! — вскричал Малюта, — дело неслыханное! Измена, бунт на твою царскую милость!

При слове «измена» царь побледнел и глаза его засверкали.

— Государь, — продолжал Малюта, — на-медни послал я круг Москвы объезд, для того, государь, так ли московские люди соблюдают твой царский указ? Как вдруг неведомый боярин с холопями напал на объезжих людей. Многих убили до смерти, и больно изувечили моего стремянного. Он сам здесь, стоит за дверьми, жестоко избитый! Прикажешь призвать?

Иоанн окинул взором опричников и на всех лицах прочел гнев и негодование. Тогда черты его приняли выражение какого-то странного удовольствия, и он сказал спокойным голосом:

— Позвать!

Вскоре расступилась толпа, и в палату вошел Матвей Хомяк с повязанною головой.

## Глава 9. Суд

**Н**е смыл Хомяк крови с лица, замарал ею нарочно и повязку и одежду: пусть-де увидит царь, как избивали слугу его!

Подойдя к Иоанну, он упал ниц и ожидал на коленях позволения говорить.

Все любопытно смотрели на Хомяка. Царь первый прервал молчание.

— На кого ты просишь, — спросил он, — как было дело? Рассказывай по ряду!

— На кого прошу, и сам не ведаю, надежда православный царь! Не сказал он мне, собака, своего роду-племени! А бью челом твоей царской милости, в бою моем и в увечье, что бил меня своим великим огурством незнаемый человек!

Общее внимание удвоилось. Все притаили дыхание. Хомяк продолжал:

— Приехали мы, государь, объездом в деревню Медведевку, как вдруг они, окаянные, откуда ни возьмись, напустились на нас напуском, грянули как снег на голову, перекололи, перерубили человек с десятеро, достальных перевязали; а боярин-то их, разбойник, хотел было нас всех перевешать, а двух станичников, что мы было объездом захватили, велел свободить и пустить на волю!

Замолчал Хомяк и поправил на голове своей кровавую повязку. Недоверчивый ропот пробежал между опричниками. Рассказ казался невероятным. Царь усомнился.

— Полно, правду ли ты говоришь, дети-нушка, — сказал он, пронзая Хомяка насквозь

орлиным оком, — не закачено ль у тебя в голове? Не у браги ль ты добыл увечья?

— Готов на своей правде крест целовать, государь; кладу голову порукой в речах моих!

— А скажи, зачем не повесил тебя неведомый боярин?

— Должно быть, раздумал; никого не повесил; велел лишь всех нас плетьюми избить!

Ропот опять пробежал по собранию.

— А много ль вас было в объезде?

— Пятьдесят человек, я пятьдесят первый!

— А много ль ихних было?

— Нечего греха таить, ихних было помене, примерно человек двадцать или тридцать.

— И вы дали себя перевязать и пересечь, как бабы! Что за оторопь на вас напала? Руки у вас отсохли аль душа ушла в пяты? Право, смеху достойно! И что это за боярин средь бело дня напал на опричников? Быть того не может. Пожалуй, и хотели б они извести опричину, да жжется! И меня, пожалуй, съели б, да зуб неймет! Слушай, коли хочешь, чтоб я взял тебе веру, назови того боярина, не то повинися во лжи своей. А не назовешь и не повинишься, несдобровать тебе, детинушка!

— Надёжа-государь! — отвечал стремянный с твердостью, — видит бог, я говорю правду. А казнить меня твоя воля; не боюсь я смерти, боюсь кривды, и в том шлюсь на целую рать твою!

Тут он окинул глазами опричников, как бы призывая их в свидетели. Внезапно взор его встретился со взором Серебряного.

Трудно описать, что произошло в душе Хомяка. Удивление, сомнение и, наконец, злобная радость изобразились на чертах его.

— Государь, — сказал он, вставая, — коли хочешь ведать, кто напал на нас, порубил товарищей и велел избить нас плетьюми, прикажи вон этому боярину назваться по имени, по изотчеству!

Все глаза обратились на Серебряного. Царь сдвинул безволосые брови и пристально в него вглядывался, но не говорил ни слова. Никита Романович стоял неподвижно, спокойный, но бледный.

— Никита! — сказал наконец царь, медленно выговаривая каждое слово, — подойди сюда. Становись к ответу. Знаешь ты этого человека?

— Знаю, государь.

— Нападал ты на него с товарищи?

— Государь, человек этот с товарищи сам напал на деревню...

Хомяк прервал князя. Чтобы погубить врага, он решил не щадить самого себя.

— Государь, — сказал он, — не слушай боярина. То он на меня сором лает, затем что я малый человек, и в том промеж нас правды не будет; а прикажи снять допрос с товарищей или, пожалуй, прикажи пытать нас обоих накрепко, и в том будет промеж нас правда.

Серебряный презрительно взглянул на Хомяка.

— Государь, — сказал он, — я не запираюсь в своем деле. Я напал на этого человека, велел его с товарищи бить плетьюми, затем велел бить...

— Довольно! — сказал строго Иван Васильевич. — Отвечай на допрос мой. Ведал ли ты, когда напал на них, что они мои опричники?

— Не ведал, государь.

— А когда хотел повесить их, сказались

они тебе?

— Сказались, государь.

— Зачем же ты раздумал их вешать?

— Затем, государь, чтобы твои судьи сперва допросили их.

— Отчего ж ты с самого почину не отослал их к моим судьям?

Серебряный не нашелся отвечать.

Царь вперил в него испытующий взор и старался проникнуть в самую глубь души его.

— Не затем, — сказал он, — не затем раздумал ты вешать их, чтобы передать их судьям, а затем, что сказались они тебе людьми царскими. И ты, — продолжал царь с возрастающим гневом, — ты, ведая, что они мои люди, велел бить их плетьюми?

— Государь...

— Довольно! — загремел Иоанн. — Допрос окончен. Братия, — продолжал он, обращаясь к своим любимцам, — говорите, что заслужил себе боярин князь Никита? Говорите, как мыслите, хочу знать, что думает каждый!

Голос Иоанна был умерен, но взор его говорил, что он в сердце своем уже решил участь князя и что беда ожидает того, чей

приговор окажется мягче его собственного.

— Говорите ж, люди, — повторял он, возвышая голос, — что заслужил себе Никита?

— Смерть! — отвечал царевич.

— Смерть! — повторили Скуратов, Грязной, отец Левкий и оба Басмановы.

— Так; пусть же примет он смерть! — сказал Иоанн хладнокровно. — Писано бо: приемшие нож ножом погибнут. Человеки, возьмите его!

Серебряный молча поклонился Иоанну. Несколько человек тотчас окружили его и вывели из палаты.

Многие последовали за ними посмотреть на казнь; другие остались. Глухой говор раздавался в палате. Царь обратился к опричникам. Вид его был торжествен.

— Братия! — сказал он, — прав ли суд мой?

— Прав, прав! — раздалось между ближними опричниками.

— Прав, прав! — повторили отдаленные.

— Неправ! — сказал один голос.

Опричники взволновались.

— Кто это сказал? Кто вымолвил это слово? Кто говорит, что неправ суд государев? — по-

слышалось отовсюду.

На всех лицах изобразилось удивление, все глаза засверкали негодованием. Лишь один, самый свирепый, не показывал гнева. Малюта был бледен как смерть.

— Кто говорит, что неправ суд мой? — спросил Иоанн, стараясь придать чертам своим самое спокойное выражение. — Пусть, кто говорил, выступит пред лицо мое!

— Государь, — произнес Малюта в сильном волнении, — между добрыми слугами твоими теперь много пьяных, много таких, которые говорят, не помня, не спрашаючи разума! Не вели искать этого бражника, государь! Протрезвится, сам не поверит, какую речь пьяным делом держал!

Царь недоверчиво взглянул на Малюту.

— Отец параклисиарх! — сказал он, усмехаясь, — давно ль ты умилился сердцем?

— Государь! — продолжал Малюта, — не вели...

Но уже было поздно.

Сын Малюты выступил вперед и стоял почитительно перед Иоанном. Максим Скуратов был тот самый опричник, который спас Се-

ребрянного от медведя.

— Так это ты, Максимушка, охаиваешь суд мой, — сказал Иоанн, посматривая с недоброю улыбкой то на отца, то на сына. — Ну, говори, Максимушка, почему суд мой тебе не по сердцу?

— Потому, государь, что не выслушал ты Серебряного, не дал ему очиститься перед тобою и не спросил его даже, за что он хотел повесить Хомяка?

— Не слушай его, государь, — умолял Малюта, — он пьян, ты видишь, он пьян! Не слушай его! Пошел, бражник, вишь, как нарезался! Пошел, уноси свою голову!

— Максим не пил ни вина, ни меду, — заметил злобно царевич. — Я все время на него смотрел, он и усов не омочил!

Малюта взглянул на царевича таким взглядом, от которого всякий другой задрожал бы. Но царевич считал себя недоступным Малютиной мести. Второй сын Грозного, наследник престола, вмещал в себе почти все пороки отца, а злые примеры все более и более заглушали то, что было в нем доброго. Иоанн Иоаннович уже не знал жалости.

— Да, — прибавил он, усмехаясь, — Максим не ел и не пил за обедом. Ему не по сердцу наше житье. Он гнушается батюшкиной причиной!

В продолжение этого разговора Борис Годунов не спускал глаз с Иоанна. Он, казалось, изучал выражение лица его и тихо, никем не замеченный, вышел из столовой.

Малюта повалился государю в ноги.

— Батюшка, государь Иван Васильевич! — проговорил он, хватаясь за полы царской одежды, — сего утра я, дурак глупый, деревенщина необтесанный, просил тебя пожаловать мне боярство. Где был разум мой? Куда девался смысл человеческий? Мне ли, смраднему рабу, носить шапку боярскую? Забудь, государь, дурацкие слова мои, вели снять с меня кафтан золоченый, одень в рогожу, только отпусти Максиму вину его! Молод он, государь, глуп, не смыслит, что говорит! А уж если казнить кого, так вели меня казнить, не давай я, дурак, напиваться сыну допьяна! Дозволь, государь, я снесу на плаху глупую голову! Прикажи, тотчас сам на себя руки наложу!

Жалко было видеть, как исказилось лицо

Малюты, как отчаянье написано на чертах, никогда не отражавших ничего, кроме зверства.

Царь засмеялся.

— Не за что казнить ни тебя, ни сына твоего! — сказал он, — Максим прав!

— Что ты, государь? — вскричал Малюта, — как Максим прав? — И радостное удивление его выразилось было глупою улыбкой, но она тотчас исчезла, ибо ему представилось, что царь над ним издевается.

Эти быстрые перемены на лице Малюты были так необыкновенны, что царь, глядя на него, опять принялся смеяться.

— Максим прав, — повторил он наконец, принимая свой прежний степенный вид, — я исторопился. Того быть не может, чтобы Серебряный вольною волей что-либо учинил на меня. Помню я Никиту еще до литовской войны. Я всегда любил его. Он был мне добрый слуга. Это вы, окаянные, — продолжал царь, обращаясь к Грязному и к Басмановым, — это вы всегда подбиваете меня кровь проливать! Мало еще было вам смертного убойства? Нужно было извести моего доброго боярина?

Что стоите, звери! Бегите, остановите казнь! Только нет, и не ходите! Поздно! Я чаю, уж слетела с него голова! Вы все заплатите мне за кровь его!

— Не поздно, государь, — сказал Годунов, возвращаясь в палату. — Я велел подождать казнить Серебряного. На милость образца нет, государь; а мне ведомо, что ты милостив, что иной раз и присудишь и простишь виноватого. Только уже Серебряный положил голову на плаху, палач, снём кафтан, засуча рукава, ждет твоего царского веления!

Лицо Иоанна прояснилось.

— Борис, — сказал он, — подойди сюда, добрый слуга мой. Ты один знаешь мое сердце. Ты один ведаешь, что я кровь проливаю не ради потехи, а чтоб измену вывести. Ты меня не считаешь за сыроядца. Подойди сюда, Федорыч, я обниму тебя.

Годунов наклонился. Царь поцеловал его в голову.

— Подойди и ты, Максим, я тебя к руке пожалую. Хлеб-соль ешь, а правду режь! Так и напередки чини. Выдать ему три сорока соболей на шубу!

Максим поклонился в землю и поцеловал царскую руку.

— Какое идет тебе жалованье? — спросил Иоанн.

— Против рядовых людей обычное, государь.

— Я сравняю тебя с начальными людьми. Будет тебе идти корм и всякий обиход противу начальных людей. Да у тебя, я вижу, что-то на языке мотается, говори без зазору, проси чего хочешь! — Государь! не заслужил я твоей великой милости, недостойн одежды богатой, есть постарше меня. Об одном прошу, государь. Пошли меня воевать с Литвой, пошли в Ливонскую землю. Или, государь, на Рязань пошли, татар колотить!

Что-то вроде подозрения выразилось в глазах Иоанна.

— Что тебе так воевать захотелось, молодец? Аль постыла жизнь слободская?

— Постыла, государь.

— Что так? — спросил Иоанн, глядя пристально на Максима.

Малюта не дал отвечать сыну.

— Государь, — сказал он, — хотелось бы,

вишь, ему послужить твоей милости. Хотелось бы и гривну на золотой цепочке получить из царских рук твоих. Горяча в нем кровь, государь. Затем и просится на татар да немцев.

— Не затем он просится, — подхватил царевич, — а затем, чтобы на своем поставить: не хочу-де быть опричником, так и не буду! Пусть-де выйдет по-моему, а не по-цареву!

— Вот как! — сказал Иоанн насмешливо. — Так ты, Максимушка, меня осилить хочешь? Вишь, какой богатырь! Ну где мне, убогому, на тебя! Что ж, не хочешь быть опричником, я, пожалуй, велю тебя в зорники вписать!

— Эх, государь! — поспешил сказать Малюта, — куда твоя милость ни велит вписать Максима, везде готов он служить по указу твоему! Да поди домой, Максим, поздно; скажи матери, чтобы не ждала меня; у нас дело в тюрьме: Колычевых пытаем. Поди, Максим, поди!

Максим удалился. Царь велел позвать Серебряного.

Опричники ввели его с связанными руками, без кафтана, ворот рубахи отстегнут. За

князем вошел главный палач, Терешка, засуча рукава, с блестящим топором в руках. Терешка вошел, потому что не знал, прощает ли царь Серебряного или хочет только изменить род его казни.

— Подойди сюда, князь! — сказал Иоанн. — Мои молодцы исторопились было над тобой. Не прогневайся. У них уж таков обычай, не посмотря в святцы, да бух в колокол! Того не разочтут, что казнить человека всегда успеешь, а слетит голова, не приставишь. Спасибо Борису. Без него отправили б тебя на тот свет; не у кого было б и про Хомяка спросить. Поведай-ка, за что ты напал на него?

— За то, государь, что сам он напал на безвинных людей среди деревни. Не знал я тогда, что он слуга твой, и не слыхивал до того про опричнину. Ехал я от Литвы к Москве обратным путем, когда Хомяк с товарищи нагрянули на деревню и стали людей резать!

— А кабы знал ты, что они мои слуги, побил бы ты их тогда?

Царь пристально посмотрел на Серебряного. Князь на минуту задумался.

— И тогда побил бы, государь, — сказал он

простодушно, — не поверил бы я, что они по твоему указу душегубствуют!

Иоанн вперил в князя мрачный взор и долго не отвечал. Наконец он прервал молчание.

— Добрый твой ответ, Никита! — сказал он, одобрительно кивнув головой. — Не для того поставил я на Руси опричнину, чтобы слуги мои побивали людей безвинных. Поставлены они, аки добрые псы, охранять от пыхающих волков овцы моя, дабы мог сказать я на Страшном суде божием по пророческому словеси: се аз и дети, яже дал ми бог! Добрый твой ответ. Скажу на весь мир: ты да Борис, вы одни познали меня. Другие не так мыслят; называют меня кровопийцею, а не ведают того, что, проливая кровь, я заливаюсь слезами! Кровь видят все; она красна, всякому бросается в глаза; а сердечного плача моего никто не зрит; слезы бесцветно падают мне на душу, но, словно смола горячая, проедаются, прожигают ее насквозь по вся дни! (И царь при этих словах поднял взор свой кверху с видом глубокой горести.) Яко же древле Рахиль, — продолжал он (и глаза его закатились под самый лоб), — яко же древле Рахиль,

плачуще о детях своих, так я, многогрешный, плачу о моих озорниках и злодеях. Добрый твой ответ, Никита. Отпускаю тебе вину твою. Развяжите ему руки. Убирайся, Терешка, ты нам не надобен... Или нет, погоди маленько!

Иоанн обратился к Хомяку.

— Отвечай, — сказал он грозно, — что вы неистовым своим обычаем в Медведевке чинили?

Хомяк взглянул искоса на Терешку, потом на Серебряного, потом почесал затылок.

— Потравились маленько с мужиками! — отвечал, он полухитро, полудерзко, — нечего греха таить; в том виноваты, государь, что с твоими с опальниками потравились. Ведь деревня-то, государь, боярина Морозова!

Грозное выражение Иоанна смягчилось. Он усмехнулся.

— Что ж, — сказал он, — доволен ты княжескими шелепугами? Я чай, будет с тебя? Пожалуй, так уж и быть, и тебя прощу. Убирайся, Терешка, видно, уж день такой выпал!

При милостивом обращении Иоанна к Серебряному шепот удовольствия пробежал

между земскими боярами. Чуткое ухо царя услышало этот шепот, а подозрительный ум объяснил его по-своему. Когда Хомяк и Терешка вышли из палаты, Иоанн устремил свой пронизательный взор на земских бояр.

— Вы! — сказал он строго, — не думайте, глядя на суд мой, что я вам начал мирволить! — И в то же время в беспокойной душе его зародилась мысль, что, пожалуй, и Серебряный припишет его милосердие послаблению. В эту минуту он пожалел, что простил его, и захотел поправить свою ошибку.

— Слушай! — произнес он, глядя на князя, — я помиловал тебя сегодня за твое правдивое слово и прощения моего назад не возьму. Только знай, что, если будет на тебе какая новая вина, я взыщу с тебя и старую. Ты же тогда, ведая за собою свою неправду, не захоти уходить в Литву или к хану, как иные чинят, а дай мне теперь же клятву, что, где бы ты ни был, ты везде будешь ожидать наказания, какое захочу положить на тебя.

— Государь! — сказал Серебряный, — жизнь моя в руке твоей. Хорониться от тебя не в моем обычае. Обещаю тебе, если будет на

мне какая вина, ожидать твоего суда и от воли твоей не уходить!

— Целуй же мне на том крест! — сказал важно Иоанн, и, приподымая висевший у него на груди узорный крест, он подал его Серебряному, с косвенным взглядом на земских бояр.

Среди общего молчания слышно было бряцание золотой цепи, когда Иоанн выпустил из рук изображение спасителя, к которому, перекрестившись, приложился Серебряный.

— Теперь ступай! — сказал Иоанн, — и молись милостивой троице и всем святым угодникам, чтобы сохранили тебя от новой, хотя бы и легкой вины!

— Вы же, — прибавил он, глядя на земских бояр, — вы, слышавшие наш уговор, не ждите нового прощения Никите и не помыслите печаловаться мне о нем, если он в другой раз заслужит гнев мой!

Облекши таким образом возможность будущего произвола над Серебряным в подобие нравственного права, Иоанн выразил на лице своем удовлетворение.

— Ступайте все, — сказал он, — каждый к

своему делу! Земским ведать приказы по-прежнему, а опричникам, избранным слугам и полчанам моим, помнить свое крестное целование и не смущаться тем, что я сегодня простил Никиту: несть бо в сердце моем лицепрятия ни к ближним, ни к дальним!

Стали расходиться. Каждый побрел домой, унося с собою кто страх, кто печаль, кто злобу, кто разные надежды, кто просто хмель в голове. Слобода покрылась мраком, месяц зарождался за лесом. Страшен казался темный дворец, с своими главами, теремками и гребнями. Он издали походил на чудовище, свернувшееся клубом и готовое вспрыгнуть. Одно незакрытое окно светилось, словно око чудовища. То была царская опочивальня. Там усердно молился царь.

Молился он о тишине на святой Руси, молился о том, чтоб дал ему господь побороть измену и непокорство, чтобы благословил его окончить дело великого поту, сравнять сильных со слабыми, чтобы не было на Руси одного выше другого, чтобы все были в равенстве, а он бы стоял один надо всеми, аки дуб во чистом поле!

Молится царь и кладет земные поклоны. Смотрят на него звезды в окно косячатое, смотрят светлые, притуманившись, — притуманившись, будто думая: «Ах ты гой еси, царь Иван Васильевич! Ты затеял дело не в добрый час, ты затеял, нас не спрашаючи: не расти двум колосьям в уровень, не сравнять крутых гор со пригорками, не бывать на земле безбожрщине!»

## Глава 10. Отец и сын

Была уже ночь, когда Малюта, после пытки Колычевых, родственников и друзей сведенного митрополита, вышел наконец из тюрьмы. Густые тучи, как черные горы, нависли над Слободою и грозили непогодой. В доме Малюты все уже спали. Не спал один Максим. Он вышел навстречу к отцу.

— Батюшка, — сказал Максим, — я ждал тебя; мне нужно переговорить с тобою.

— О чем? — спросил Малюта и невольно отворотил взгляд. Григорий Лукьянович никогда не дрожал перед врагом, но в присутствии Максима ему было неловко.

— Я завтра еду, — продолжал Максим, — прости, батюшка!

— Куда? — спросил Малюта и этот раз устремил тусклый взгляд свой на Максима.

— Куда глаза глядят, батюшка; земля не клином сошлась, места довольно!

— Да что, ты с ума спятил али дурь на себя напустил? И подлинно дурь напустил! Что ты сегодня за обедом наделал? Как у тебя язык повернулся царю перечить? Знаешь ли, кто он и кто ты?

— Знаю, батюшка; и знаю, что он мне за то спасибо сказал. А все же мне нельзя оставаться.

— Ах ты самодур! Да откуда у тебя своя воля взялась? Что случилось с тобой сегодня? Отчего ты теперь уезжать вздумал, когда царь тебя пожаловать изволил, с начальными людьми сравнял? Отчего именно теперь?

— Мне давно тяжело с вами, батюшка; ты сам знаешь; но я не доверял себе; с самого детства только и слышал отовсюду, что царева воля — божья воля, что нет тяжелее греха, как думать иначе, чем царь. И отец Левкий, и все попы слободские мне на духу в великий грех ставили, что я к вам не мыслю. Поневоле иногда раздумье брало, прав ли я проти-

ву всех вас? Поневоле уезжать откладывал. А сегодня, — продолжал Максим, и румянец живо заиграл на лице его, — сегодня я понял, что я прав! Как услышал князя Серебряного, как узнал, что он твой объезд за душегубство разбил и не заперся перед царем в своем правом деле, но как мученик пошел за него на смерть, — тогда забилося к нему сердце мое, как ни к кому еще не бивалось, и вышло из мысли моей колебание, и стало мне ясно как день, что не на вашей стороне правда!

— Так вот кто тебя с толку сбил! — вскричал Малюта, и без того озлобленный на Серебряного, — так вот кто тебя с толку сбил! Попадись он мне только в руки, не скорою смертью издохнет он у меня, собака!

— Господь сохранит его от рук твоих! — сказал Максим, делая крестное знамение, — не попустит он тебя все доброе на Руси погубить! Да, — продолжал, одушевляясь, сын Малюты, — лишь увидел я князя Никиту Романыча, понял, что хорошо б жить вместе с ним, и захотелось мне попроситься к нему, но совестно подойти было: очи мои на него не подымутся, пока буду эту одежду носить!

Малюта слушал сына, и два чувства спорили в нем между собою. Ему хотелось закричать на Максима, затопать на него ногами и привести его угрозами к повиновению, но невольное уважение сковывало его злобу. Он понимал чутьем, что угроза теперь не подействует, и в низкой душе своей начал искать других средств, чтоб удержать сына.

— Максимушка! — сказал он, принимая заискивающий вид, насколько позволяло зверское лицо его, — не в пору ты уезжать затеял! Твое слово понравилось сегодня царю. Хоть и напугал ты меня порядком, да заступились, видно, святые угодники за нас, умягчили сердце батюшки-государя. Вместо чтоб казнить, он похвалил тебя, и жалованья тебе прибавил, и собольею шубой пожаловал! Посмотри, коли ты теперь в гору не пойдешь! А покамест чем тебе здесь не житье?

Максим бросился в ноги Малюты.

— Не житье мне здесь, батюшка, не житье! Не по силам дома оставаться! Невмоготу слышать вой да плач по вся дни, невтерпеж видеть, что отец мой...

Максим остановился.

— Ну? — сказал Малюта.

— Что отец мой — палач! — произнес Максим и опустил взор, как бы испугавшись, что мог сказать отцу такое слово.

Но Малюта не смутился этим названием.

— Палач палачу рознь! — произнес он, покосившись в угол избы. — Ино рядовой человек, ино начальный; ино простых воров казнить, ино бояр, что подтачивают царский престол и всему государству шатанье готовят. Я в разбойный приказ не вступаюсь; мой топор только и сечет, что изменничьи боярские головы!

— Замолчи, отец! — сказал, вставая, Максим, — не возмущай мне сердца такую речью! Кто из тех, кого погубил ты, умышлял на царя? Кто из них замутил государство? Не по винам, а по злобе своей сечешь ты боярские головы! Кабы не ты, и царь был бы милостивее. Но вы ищете измены, вы пытками вымучиваете изветы, вы, вы всей крови заводчики! Нет, отец, не гневи бога, не клевети на бояр, а скажи лучше, что без разбора хочешь вконец извести боярский корень!

— Да ты-то с чего за них заступаешься? —

сказал с злобною усмешкой Малюта. — Или тебе весело видеть, что ты как ни статен, как ни красен собой, а все остаешься между ними последний? А чем любой из них не по плечу тебе? Чем гордятся они перед нами? Из другой, что ли, земли господь их вылепил? Коли богатством гордятся, так дайте срок, государи! Царь не забывает верных слуг своих; а как дойдут до смертной казни Колычевы, так животы их никому другому, а нам же достанутся. Довольно я над ними, окаянными, в застенке-то промучился; жиловаты, собаки, нечего сказать!

Злоба кипела в сердце Малюты, но он еще надеялся убедить Максима и скривил рот свой в ласковую улыбку. Не личила такая улыбка Малюте, и, глядя на нее, Максиму сделалось страшно.

Но Малюта этого не заметил.

— Максимушка, — сказал он, — на кого же я денежки-то копил? На кого тружусь и работаю? Не уезжай от меня, останься со мною. Ты еще молод, не поспел еще в ратный строй. Не уезжай от меня! Вспомни, что я тебе отец! Как посмотрю на тебя, так и прояснится на душе,

словно царь меня похвалил или к руке пожаловал, а обидь тебя кто, — так, кажется, и съел бы живого!

Максим молчал, Малюта постарался придать лицу своему самое нежное выражение.

— Ужели ты, Максимушка, вовсе не любишь меня? ужели ничего ко мне в сердце не шелохнется?

— Ничего, батюшка!

Малюта подавил свою злобу.

— А царь что скажет, когда узнает про твой отъезд, коли подумает, что ты от него уехал?

— От него-то я и еду, батюшка. Меня страх берет. Знаю, что бог велит любить его, а как посмотрю иной раз, какие дела он творит, так все нутро во мне перевернется. И хотелось бы любить, да сил не хватает. Как уеду из Слободы да не будет у меня безвинной крови перед очами, тогда, даст бог, снова царя полюблю. А не удастся полюбить, и так ему послужу, только бы не в опричниках!

— А что будет с матерью твоею? — сказал Малюта, прибегая к последнему средству. — Не пережить ей такого горя! Убьешь ты стару-

ху! Посмотри, какая она, голубушка, хворающая!

— Премилостивый бог не оставит матери моей, — ответил со вздохом Максим. — Она простит меня.

Малюта начал ходить по избе взад и вперед. Когда остановился он перед Максимом, ласковое выражение, к которому он приневолил черты свои, совершенно исчезло. Грубое лицо его являло одну непреклонную волю.

— Слушай, молокосос, — сказал он, переменив приемы и голос, — доселе я упрашивал тебя, теперь скажу вот что: нет тебе на отъезд моего благословения. Не пуццу тебя ехать. А не уймешься, завтра же заставлю своими руками злодеев царских казнить. Авось, когда сам окровавишься, бросишь быть белоручкой, перестанешь отцом гнушаться!

Побледнел Максим от речи Малюты и не отвечал ничего. Знал он, что крепко слово Григория Лукьяновича и что не переломить его отцовской воли.

— Вишь, — продолжал Малюта, — разговаривался я с тобой; скоро ночь глубокая, пора к царю, ключи от тюрьмы отнести. Вот и дождь полил! Подай мне терлик. Смотри пожалуй,

какой стал прыткий! ехать хочу, не житье мне здесь! Дай ему воли — пожалуй, и меня на свой лад переиначит! Нет, брат, рано крылышки распустил! Я и не таких, как ты, уни-мал! Я те научу слушаться! Эх, погода, погода! Подай мне шапку. А молонья-то, молонья! Ишь как небо раззевается! словно вся Слобода загорелась. Заволоки окно да ступай спать, авось к утру выкинешь дурь из головы. А уж до твоего Серебряного я доберусь! Уж я ему-то припомню!

Малюта вышел. Оставшись один, Максим задумался. Все было тихо в доме; лишь на дворе гроза шумела да время от времени ветер, ворвавшись в окно, качал цепи и кандалы, висевшие на стене, и они, ударяя одна о другую, звенели зловещим железным звоном. Максим подошел к лестнице, которая вела в верхнее жильё, к его матери. Он наклонился и стал прислушиваться. Все молчало в верхнем жильё. Максим тихонько взошел по крутым ступеням и остановился перед дверью, за которою покоилась мать его.

— Господи боже мой! — сказал Максим про себя. — Ты зришь мое сердце, ведаешь мои

мысли! Ты знаешь, господи, что я не по гордости моей, не по духу строптивому ослушаюсь батюшки! Прости меня, боже мой, аще преступаю твою заповедь! И ты, моя матушка, прости меня! Покидаю тебя без ведома твоего, уезжаю без благословения; знаю, матушка, что надорву тебя сердцем, но ты б не отпустила меня вольною волей! Прости меня, государыня-матушка, не увидишь ты меня боле!

Максим припал к порогу светлицы и облобызал его. Потом он несколько раз перекрестился, сошел с лестницы и вышел на двор. Дождь лил так сердито, как бы злился на весь люд божий. На дворе не было живой души. Максим вошел в конюшню, конюхи спали. Он сам вывел из стойла любимого коня и оседлал его. Большая цепная собака, прикованная у входа, вылезла из конуры и стала визжать и рваться, как бы чуя с ним разлуку. То был косматый пес из породы пастушьих волкодавов. Длинная жесткая шерсть дымчато-бурого цвета падала ему в беспорядке на черную морду, так что почти вовсе не было видно умных глаз его.

Максим погладил собаку, а она положила

ему свои черные лапы на плеча и стала лизать его лицо.

— Прощай, Буян, — сказал Максим, — стереги дом наш, служи верно матери! — Он вскочил в седло, выехал в ворота и ускакал от родительского дома.

Еще не доскакал он до земляного вала, как услышал громкий лай и увидел Буяна, который прыгал вокруг коня, радуясь, что сорвался с цепи и что может сопутствовать своему господину.

## **Глава 11. Ночное шествие**

**П**ока Малюта разговаривал с сыном, царь продолжал молиться. Уже пот катился с лица его; уже кровавые знаки, напечатленные на высоком челе прежними земными поклонами, яснее обозначились от новых поклонов; вдруг шорох в избе заставил его обернуться. Он увидел свою мамку, Онуфревну.

Стара была его мамка. Взял ее в Верьх еще блаженной памяти великий князь Василий Иоаннович; служила она еще Елене Глинской. Иоанн родился у нее на руках; у нее же на руках благословил его умирающий отец. Говорили про Онуфревну, что многое ей из-

вестно, о чем никто и не подозревает. В малолетство царя Глинские боялись ее; Шуйские и Бельские старались всячески угождать ей.

Много сокрытого узнавала Онуфревна посредством гаданья и никогда не ошибалась. В самое величие князя Телепнева — Иоанну тогда было четыре года — она предсказала князю, что он умрет голодною смертью. Так и сбылось. Много лет протекло с тех пор, а еще свежо было в памяти стариков это предсказанье.

Теперь Онуфревне добивал чуть ли не десятый десяток. Она согнулась почти вдвое; кожа на лице ее так сморщилась, что стала походить на древесную кору, и как на старой коре пробивается мох, так на бороде Онуфревыны пробивались волосы седыми клочьями. Зубов у нее давно уже не было, глаза, казалось, не могли видеть, голова судорожно шаталась.

Онуфревна опиралась костлявою рукой на клюку. Долго смотрела она на Иоанна, вбирая в себя пожелтевшие губы, как будто бы что-то жевала или бормотала.

— Что? — сказала наконец мамка глухим, дребезжащим голосом, — молишься, батюш-

ка? Молись, молись, Иван Васильич! Много тебе еще отмаливаться! Еще б одни старые грехи лежали на душе твоей! Господь-то милостив; авось и простил бы! А то ведь у тебя что ни день, то новый грех, а иной раз и по два и по три на день придется!

— Полно, Онуфьевна, — сказал царь, вставая, — сама не знаешь, что говоришь!

— Не знаю, что говорю! Да разве я из ума выжила, что ли?

И безжизненные глаза старухи внезапно заблестали.

— Да что ты сегодня за столом сделал? За что отравил боярина-то? Ты думал, я и не знаю! Что? чего брови-то хмуришь? Вот погоди, как пробьет твой смертный час; погоди только! Уж привяжутся к тебе грехи твои, как тысячи тысяч пудов; уж потянут тебя на дно адаво! А дьяволы-то подскочат, да и подхватят тебя на крючья!

Старуха опять принялась сердито жевать.

Усердная молитва приготовила царя к мыслям набожным. Раздражительное воображение не раз уже представляло ему картину будущего возмездия, но сила воли одолевала

страх загробных мучений. Иоанн уверял себя, что страх этот и даже угрызения совести возбуждаемы в нем врагом рода человеческого, чтоб отвлечь помазанника божия от высоких его начинаний. Хитростям дьявола царь противопоставил молитву; но часто изнемогал под жестоким напором воображения. Тогда отчаяние схватывало его как железными когтями. Неправость дел его являлась во всей наготе, и страшно зияли перед ним адские бездны. Но это продолжалось недолго. Вскоре Иоанн негодовал на свое малодушие. В гневе на самого себя и на духа тьмы, он опять, назло аду и наперекор совести, начинал дело великой крови и великого поту, и никогда жестокость его не достигала такой степени, как после невольного изнеможенья.

Теперь мысль об аде, оживленная наступающею грозой и пророческим голосом Онуфьевны, проняла его насквозь лихорадочною дрожью. Он сел на постель. Зубы его застучали один о другой.

— Ну, что, батюшка? — сказала Онуфьевна, смягчая свой голос, — что с тобой случилось? Захворал, что ли? Так и есть, захворал! Напуга-

да же я тебя! Да нужды нет, утешься, батюшка, хоть и велики грехи твои, а благодать-то божия еще больше! Только покайся, да вперед не грехи. Вот и я молюсь, молюсь о тебе и денно и ночью, а теперь и того боле стану молиться. Что тут говорить? Уж лучше сама в рай не попаду, да тебя отмолю!

Иоанн взглянул на свою мамку, — она как будто улыбалась, но неприветлива была улыбка на суровом лице ее.

— Спасибо, Онуфревна, спасибо; мне легче; ступай себе с богом!

— То-то легче! Как обнадежишь тебя, куда и страх девался; уж и гнать меня вздумал: ступай, мол, с богом! А ты на долготерпение-то божие слишком не рассчитывай, батюшка. На тебя и у самого у господина терпения-то не станет. Отречется он от тебя, посмотри, а сатана-то обрадуется, да шарх! и войдет в тебя. Ну вот, опять дрожать начал! Не худо б тебе сбитеньку испить. Испей сбитеньку, батюшка! Бывало, и родитель твой на ночь сбитень пивал, царствие ему небесное! И матушка твоя, упокой господи душу ее, любила сбитень. В сбитне-то и опоили ее проклятые Шуйские!

Старуха как будто забылась. Глаза ее померкли; она опять принялась жевать губами, непрерывно шатавая головой.

Вдруг что-то застучало в окно. Иван Васильевич вздрогнул.

Старуха перекрестилась дрожащею рукой.

— Вишь, — сказала она, — дождь полил! И молонья блистать начинает! А вот и гром, батюшка, помилуй нас господи!

Гроза усиливалась все более и скоро разыгралась по небу непрерывными перекатами, беспрестанною молнией.

При каждом ударе грома Иоанн вздрагивал.

— Вишь, какой у тебя озноб, батюшка! Вот погоди маленько, я велю тебе сбитеньку заварить...

— Не надо, Онуфревна, я здоров...

— Здоров! Да на тебе лица не видать. Ты б на постелю-то лег, одеялом-то прикрылся бы. И чтой-то у тебя за постель, право! Доски голые. Охота тебе! Царское ли это дело? Ведь это хорошо монаху, а ты не монах какой!

Иоанн не отвечал. Он к чему-то прислушивался.

— Онуфревна, — сказал он вдруг с испугом, — кто там ходит в сенях? Я слышу шаги чьи-то!

— Христос с тобой, батюшка! кому теперь ходить. Послышалось тебе.

— Идет, идет кто-то! Идет сюда! Посмотри, Онуфревна!

Старуха отворила дверь, холодный ветер пахнул в избу. За дверью показался Малюта.

— Кто это? — спросил царь, вскакивая.

— Да твой рыжий пес, батюшка, — отвечала мамка, сердито глядя на Малюту, — Гришка Скуратов; вишь, как напугал, проклятый!

— Лукьяныч! — сказал царь, обрадованный приходом любимца, — добро пожаловать; откуда?

— Из тюрьмы, государь; был у розыску, ключи принес! — Малюта низко поклонился царю и покосился на мамку.

— Ключи! — проворчала старуха, — уж припекут тебя на том свете раскаленными ключами, сатана ты этакой! Ей-богу, сатана! И лицо-то дьявольское! Уж кому другому, а тебе не миновать огня вечного! Будешь, Гришка, лизать сковороды горячие за все кле-

веты свои! Будешь, проклятый, в смоле кипеть, помяни мое слово!

Молния осветила грозящую старуху, и страшна была она с поднятою клюкой, с сверкающими глазами.

Сам Малюта несколько струсил; но Иоанна ободрило присутствие любимца.

— Не слушай ее, Лукьяныч, — сказал он, — знай свое дело, не смотри на бабьи толки. А ты ступай себе, старая дура, оставь нас!

Глаза Онуфревы снова засверкали.

— Старая дура? — повторила она, — я старая дура? Вспомняете вы меня на том свете, оба вспомняете! Все твои поплечники, Ваня, все примут мзду свою, еще в сей жизни примут, и Грязной, и Басманов, и Вяземский; комуждо воздается по делам его, а этот, — продолжала она, указывая клюкою на Малюту, — этот не примет мзды своей: по его делам нет и муки на земле; его мука на дне адовом; там ему и место готово; ждут его дьяволы и радуются ему! И тебе есть там место, Ваня, великое, теплое место!

Старуха вышла, шаркая ногами и стуча клюкой. Иоанн был бледен. Малюта не гово-

рил ни слова. Молчание продолжалось довольно долго.

— Что ж, Лукьяныч, — сказал наконец царь, — винятся Колычевы?

— Нет еще, государь. Да уж повинятся, у меня не откашляются!

Иоанн вошел в подробности допроса. Разговор о Колычевых дал его мыслям другое направление.

Ему показалось, что он может заснуть. Отослав Малюту, он лег на постель и забылся.

Его разбудил как будто внезапный толчок.

Изда слабо освещалась образными лампадами. Луч месяца, проникая сквозь низкое окно, играл на расписанных изразцах лежанки. За лежанкой кричал сверчок. Мышь грызла где-то дерево.

Среди этой тишины Ивану Васильевичу опять сделалось страшно.

Вдруг ему почудилось, что приподымается половица и смотрит из-под нее отравленный боярин.

Такие видения случались с Иоанном нередко. Он приписывал их адскому мороченью. Чтобы прогнать призрак, он перекре-

стился.

Но призрак не исчез, как то случилось прежде. Мертвый боярин продолжал смотреть на него исподлобья. Глаза старика были так же навывкате, лицо так же сине, как за обедом, когда он выпил присланную Иоанном чашу.

«Опять наваждение! — подумал царь, — но не поддамся я прелести сатанинской, сокрушу хитрость дьявольскую. Да воскреснет бог, и да расточатся врази его!»

Мертвец медленно вытянулся из-под полу и приблизился к Иоанну.

Царь хотел закричать, но не мог. В ушах его страшно звенело.

Мертвец наклонился перед Иоанном.

— Здрав буди, Иване! — произнес глухой нечеловеческий голос, — се кланяюся тебе, иже погубил еси мя безвинно!

Слова эти отозвались в самой глубине души Иоанна. Он не знал, от призрака ли их слышит или собственная его мысль выразилась ощутительным для уха звуком.

Но вот приподнялась другая половица; из-под нее показалось лицо окольного Дани-

лы Адашева, казненного Иоанном четыре года тому назад.

Адашев также вытянулся из-под полу, поклонился царю и сказал:

— Здрав буди, Иване, се кланяюся тебе, иже казнил еси мя безвинно!

За Адашевым явилась боярыня Мария, казненная вместе с детьми. Она поднялась из-под полу с пятью сыновьями. Все поклонились царю, и каждый сказал:

— Здрав буди, Иване! се кланяюся тебе!

Потом показались князь Курлятев, князь Оболенский, Никита Шереметев и другие казненные или убитые Иоанном.

Изда наполнилась мертвецами. Все они низко кланялись царю, все говорили:

— Здрав буди, здрав буди, Иване, се кланяемся тебе!

Вот поднялись монахи, старцы, инокини, все в черных ризах, все бледные и кровавые.

Вот показались воины, бывшие с царем под Казанью.

На них зияли страшные раны, но не в бою добытые, а нанесенные палачами.

Вот явились девы в растерзанной одежде и

молодые жены с грудными младенцами. Дети протягивали к Иоанну окровавленные ручки и лепетали:

— Здрав буди, здрав буди, Иване, иже погубил еси нас безвинно!

Изба все более наполнялась призраками. Царь не мог уже различить воображения от действительности.

Слова призраков повторялись стократными отголосками. Отходные молитвы и панихидное пение в то же время раздавались над самыми ушами Иоанна. Волосы его стояли дыбом.

— Именем бога живого, — произнес он, — если вы бесы, насланные вражьей силою, — сгиньте! Если вы вправду души казненных мною — дожидайтесь Страшного суда божия! Господь меня с вами рассудит!

Взвыли мертвецы и закружились вокруг Иоанна, как осенние листья, гонимые вихрем. Жалобнее раздалось панихидное пение, дождь опять застучал в окно, и среди шума ветра царю слышались как будто звуки труб и голос, взывающий:

— Иване, Иване! на суд, на суд!

Царь громко вскрикнул. Спальники вбежали из соседних покоев в опочивальню.

— Вставайте! — закричал царь, — кто спит теперь! Настал последний день, настал последний час! Все в церковь! Все за мною!

Царедворцы засуетились. Раздался благовест. Только что уснувшие опричники услышали знакомый звон, вскочили с полатей и спешили одеться.

Многие из них пировали у Вяземского. Они сидели за кубками и пели удалые песни. Услышав звон, они вскочили и надели черные рясы поверх богатых кафтанов, а головы накрыли высокими шлыками.

Вся Слобода пришла в движение. Церковь божией матери ярко осветилась. Встревоженные жители бросились к воротам и увидели множество огней, блуждающих во дворце из покоя в покой. Потом огни образовали длинную цепь, и шествие потянулось змеею по наружным переходам, соединявшим дворец со храмом божиим.

Все опричники, одетые однолично в шлыки и черные рясы, несли смоляные свечки. Блеск их чудно играл на резных столбах и на

стенных украшениях. Ветер раздувал рясы, а лунный свет вместе с огнем отражался на золоте, жемчуге и дорогих каменьях.

Впереди шел царь, одетый иноком, бил себя в грудь и взывал, громко рыдая:

— Боже, помилуй мя, грешного! Помилуй мя, смрадного пса! Помилуй мою скверную голову! Упокой, господи, души побитых мною безвинно!

У преддверия храма Иоанн упал в изнеможении.

Светочи озарили старуху, сидевшую на ступенях. Она протянула к царю дрожащую руку.

— Встань, батюшка! — сказала Онуфревна, — я помогу тебе. Давно я жду тебя. Войдем, Ваня, помолимся вместе!

Двое опричников подняли царя под руки. Он вошел в церковь.

Новые шествия, также в черных рясах, также в высоких шлыках, спешили по улицам с зажженными светочами. Храмовые врата поглощали все новых и новых опричников, и исполинские лики святых смотрели на них, негодуя, с высоты стен и глав церквей.

НЫХ.

Среди ночи, дотоле безмолвной, раздалось пение нескольких сот голосов, и далеко слышны были звон колокольный и протяжные псалмы.

Узники в темницах вскочили, гремя цепями, и стали прислушиваться.

— Это царь заутреню служит! — сказали они. — Умягчи, боже, его сердце, вложи милость в душу его!

Маленькие дети в слободских домах, спавшие близ матерей, проснулись в испуге и подняли плач. Иная мать долго не могла унять своего ребенка.

— Молчи! — говорила она наконец, — молчи, не то Малюта услышит!

И при имени Малюты ребенок переставал плакать, в испуге прижимался к матери, и среди ночного безмолвия раздавались опять лишь псалмы опричников да непрерывный звон колокольный.

## Глава 12. Клевета

Солнце взошло, но не радостное утро настало для Малюты. Возвратясь домой, он не нашел сына и догадался, что Максим навсегда

бросил Слободу. Велика была ярость Григорья Лукьяныча. Во все концы поскакала погоня. Конюхов, проспавших отъезд Максима, Малюта велел тотчас вкинуть в темницу.

Нахмуря брови, стиснув зубы, ехал он по улице и раздумывал, доложить ли царю или скрыть от него бегство Максима.

Конский топот и веселая молвь слышались за его спиною. Малюта оглянулся. Царевич с Басмановым и толпою молодых удальцов возвращался с утренней прогулки. Рыхлая земля размокла от дождя, кони ступали в грязи по самые бабки. Завидев Малюту, царевич пустил своего аргамака вскачь и обрызгал грязью Григорья Лукьяновича.

— Кланяюсь тебе земно, боярин Малюта! — сказал царевич, останавливая коня. — Встретили мы тотчас твою погоню. Видно, Максиму солоно пришлось, что он от тебя тягу дал. Али ты, может, сам послал его к Москве за боярскою шапкой, да потом раздумал?

И царевич захохотал.

Малюта, по обычаю, слез с коня. Стоя с обнаженной головой, он всею ладонью стирал

грязь с лица своего. Казалось, ядовитые глаза его хотели пронзить царевича.

— Да что он грязь-то стирает? — заметил Басманов, желая подслужиться царевичу, — добро на ком другом, а на нем не заметно!

Басманов говорил вполголоса, но Скуратов его услышал. Когда вся толпа, смеясь и разговаривая, ускакала за царевичем, он надел шапку, влез опять на коня и шагом поехал ко дворцу.

«Добро! — думал он про себя, — дайте срок, государи, дайте срок!» И побледневшие губы его кривились в улыбку, и в сердце, уже раздраженное сыновним побегом, медленно созревало надежное мщение неосторожным оскорбителям.

Когда Малюта вошел во дворец, Иван Васильевич сидел один в своем покое. Лицо его было бледно, глаза горели. Черную рясу заменил он желтым становым кафтаном, стеганным полосами и подбитым голубою бахтой. Восемь шелковых завязок с длинными кистями висели вдоль разреза. Посох и колпак, украшенный большим изумрудом, лежали перед царем на столе. Ночные видения, бес-

прерывная молитва, отсутствие сна не истощили сил Иоанновых, но лишь привели его в высшую степень раздражительности. Все испытанное ночью опять представилось ему обмороchenьем дьявола. Царь стыдился своего страха.

«Враг имени Христова, — думал он, — упорно перечит мне и помогает моим злодеям. Но не дам ему надо мною тешиться! Не устрасуся его наваждений! Покажу ему, что не по плечу он себе борца нашел!»

И решился царь карать по-прежнему изменников и предавать смерти злодеев своих, хотя были б их тысячи.

И стал он мыслию пробегать подданных и между ними искать предателей.

Каждый взгляд, каждое движение теперь казалось ему подозрительным.

Он припоминал разные слова своих приближенных и в словах этих искал ключа к заговорам. Самые родные не избежали его подозрений.

Малюта застал его в состоянии, похожем на лихорадочный бред.

— Государь, — сказал, помолчав, Григорий

Лукьянович, — ты велишь пытатъ Колычевых про новых изменников. Уж положишь на меня. Я про все заставлю Колычевых с пыток рассказать. Одного только не сумею: не сумею заставить их назвать твоего наибольшего супротивника!

Царь с удивлением взглянул на любимца.

В глазах Малюты было что-то необыкновенное.

— Оно, государь, дело такое, — продолжал Скуратов, и голос его изменился, — что и глаз видит, и ухо слышит, а вымолвить язык не поворотится...

Царь смотрел на него вопрошающим оком.

— Вот ты, государь, примерно, уже много воров казнил, а измена все еще на Руси не вывелась. И еще ты столько же казнишь и вдесятеро более, а измены всё не избудешь!

Царь слушал и не догадывался.

— Оттого, государь, не избыть тебе измены, что ты рубишь у нее сучья да ветви, а ствол-то самый и с корнем стоит здоровехонек!

Царь все еще не понимал, но слушал с возрастающим любопытством.

— Видишь, государь, как бы тебе сказать. Вот, примерно, вспомни, когда ты при смерти лежал, дай бог тебе много лет здравствовать! а бояре-то на тебя, трудного, заговор затеяли. Ведь у них был тогда старшой, примерно, братец твой Володимир Андреич!

«А! — подумал царь, — так вот что значили мои ночные видения! Враг хотел помрачить разум мой, чтоб убоился я сокрушить замыслы брата. Но будет не так. Не пожалею и брата!»

— Говори, — сказал он, обращаясь грозно к Малюте, — говори, что знаешь про Володимира Андреича!

— Нет, государь, моя речь теперь не про Володимира Андреича. В нем я уже того не чаю, чтобы он что-либо над тобой учинил. И бояре к нему теперь уже не мыслят. Давно перестал он подыскиваться под тобою царства. Моя речь не про него.

— Про кого же? — спросил царь с удивлением, и черты его судорожно задвигались.

— Видишь, государь: Володимир-то Андреич раздумал государство мутить, да бояре-то не раздумали. Они себе на уме; не удалось,

мол, его на царство посадить, так мы посадим...

Малюта замялся.

— Кого? — спросил царь, и глаза его запылали.

Малюта позеленел.

— Государь! Не все пригоже выговаривать. Наш брат думай да гадай, а язык держи за зубами.

— Кого? — повторил Иоанн, вставая с места.

Малюта медлил ответом.

Царь схватил его за ворот обеими руками, придвинул лицо его к своему лицу и впился в него глазами.

Ноги Малюты стали подкашиваться.

— Государь, — сказал он вполголоса, — ты на него не гневайся, ведь он не сам вздумал!

— Говори! — произнес хриплым шепотом Иоанн и стиснул крепче ворот Малюты.

— Ему-то и на ум бы не взбрело, — продолжал Малюта, избегая царского взора, — ну, а должно быть, подбили его. Кто к нему поближе, тот и подбил. А он, грешный человек, подумал себе: немного позже, немного ране, все

тем же кончится.

Царь начал догадываться. Он сделался бледнее. Пальцы его стали разгибаться и выпускать ворот Малюты.

Малюта оправился. Он понял, что настала пора для решительного удара.

— Государь! — сказал он вдруг резко, — не ищи измены далеко. Супротивник твой сидит супротив тебя, он пьет с тобой с одного ковша, ест с тобой с одного блюда, платье носит с одного плеча!

Замолчал Скуратов и, полный ожидания, решил устремить на царя кровавые глаза свои.

Замолчал и царь. Руки его опустились. Понял он наконец Малюту.

В это мгновение раздались на дворе радостные крики.

Еще в самое то время, как начался разговор между царем и Скуратовым, царевич с своими окольными въехал на двор, где ожидали его торговые люди черных сотен и слобод, пришедшие от Москвы с хлебом-солью и с челобитьем.

Увидев царевича, они все стали на колени.

— Чего вы просите, аршинники? — спросил небрежно царевич.

— Батюшка! — отвечали старшины, — пришли мы плакаться твоей милости! Будь нам заступником! Умилосердись над нашими головами! Разоряют нас совсем опричники, заедают и с женами и с детьми!

— Вишь, дурачье! — сказал царевич, обращаясь с усмешкой к Басманову. — Они б хотели и жен и товар про себя одних держать! Да чего вы расхныкались? Ступайте себе домой; я, пожалуй, попрошу батюшку за вас, дураков!

— Отец ты наш, дай бог тебе многие лета! — закричали торговые люди.

Царевич сидел на коне. Возле него был Басманов. Просители стояли перед ними на коленях. Старший держал золотое блюдо с хлебом-солью.

Малюта все видел из окна.

— Государь, — шепнул он царю, — должно быть, его подбил кто-нибудь из тех, что теперь с ним. Посмотри, вот уже народ ему на царстве здороваает!

И как чародей пугается недоброй силы, ко-

тору ю сам он вызвал, так Малюта испугался выражения, которое слова его вызвали на чертах Иоанна.

С лица царя исчезло все человеческое. Таким страшным никогда не видывал его Малюта.

Прошло несколько мгновений. Вдруг Иоанн улыбнулся.

— Гриша, — сказал он, положив обе руки на плеча Скуратова, — как бишь ты сейчас говорил? Я рублю сучья да ветки, а ствол-то стоит здоровешенек? Гриша, — продолжал царь, медленно выговаривая каждое слово и смотря на Малюту с какой-то страшной доверчивостью, — берешься ли ты вырвать с корнем измену?

Злобная радость скривила рот Малюты.

— Для твоей милости берусь, — прошептал он, дрожа всем телом.

Выражение Иоанна мгновенно изменилось. Улыбка исчезла, и черты приняли холодную, непреклонную неподвижность. Лицо его казалось высеченным из мрамора.

— Не надо медлить! — сказал он отрывисто и повелительно. — Никто чтобы не знал

об этом. Он сегодня будет на охоте. Сегодня же пусть найдут его в лесу. Скажут, он убился с коня. Знаешь ты Поганую Лужу?

— Знаю, государь.

— Там чтоб нашли его! — Царь указал на дверь.

Малюта вышел и в сенях вздохнул свободнее.

Царь долго оставался неподвижен. Потом он медленно подошел к образам и упал перед ними на колени.

Изо всех слуг Малютиных самый удалый и расторопный был стремянный его Матвей Хомяк. Он никогда не уклонялся от опасности, любил буйство и наездничество и уступал в зверстве лишь своему господину. Нужно ли было поджечь деревню или подкинуть грамоту, по которой после казни боярина, требовалось ли увести жену чью-нибудь, всегда посылали Хомяка. И Хомяк поджигал деревни, подкидывал грамоты и вместо одной жены привозил их несколько.

К Хомяку обратился и теперь Григорий Лукьянович. Что они толковали вместе, того никто не услышал. Но в это самое утро, когда

гончие царевича дружно заливались в окрестностях Москвы, а внимание охотников, стоявших на лазах, было поглощено ожиданием, и каждый напрягал свое зрение, и ни один не заботился о том, что делали его товарищи, — в это время по глухому проселку скакали, удаляясь от места охоты, Хомяк и Малюта, а промеж них со связанными руками, прикрученный к седлу, скакал кто-то третий, которого лицо скрывал черный башлык, надвинутый до самого подбородка. На одном из поворотов проселка примкнули к ним двадцать вооруженных опричников, и все вместе продолжали скакать, не говоря ни слова.

Охота меж тем шла своим чередом, и никто не заметил отсутствия царевича, исключая двух стремянных, которые теперь издыхали в овраге, пронзенные ножами.

Верст тридцать от Слободы, среди дремучего леса, было топкое и непроходимое болото, которое народ прозвал Поганою Лужей. Много чудесного рассказывали про это место. Дровосеки боялись в сумерки подходить к нему близко. Уверяли, что в летние ночи над водою прыгали и резвились огоньки, души лю-

дей, убитых разбойниками и брошенных ими в Поганую Лужу.

Даже среди белого дня болото имело вид мрачной таинственности. Большие деревья, лишенные снизу ветвей, поднимались из воды, мутной и черной. Отражаясь в ней, как в туманном зеркале, они принимали чудный вид уродливых людей и небывалых животных. Не слышно было вблизи болота человеческого голоса. Стаи диких уток прилетали иногда плескаться на его поверхности. В камыше раздавался жалобный крик водяной курочки. Черный ворон пролетал над вершинами деревьев, и злое карканье его повторялось отголосками. Иногда слышны были далеко-далеко стук топора, треск надрубленного дерева и глухое падение.

Но когда солнце опускалось за вершины, когда над болотом подымался прозрачный пар, стук топора умолкал, и прежние звуки заменялись новыми. Начиналось однообразное кваканье лягушек, сперва тихое и отрывистое, потом громкое, слитым хором.

Чем более сгущалась темнота, тем громче кричали гады. Голоса их составляли как бы

один непрерывный и продолжительный гул, так что ухо к нему привыкало и различало сквозь него и дальний вой волков, и вопли филина. Мрак становился гуще; предметы теряли свой прежний вид и облекались в новую наружность. Вода, древесные ветви и туманные полосы сливались в одно целое. Образы и звуки смешивались вместе и ускользали от человеческого понятия. Поганая Лужа сделалась достоянием силы нечистой.

К сему-то проклятому месту, но не в темную ночь, а в утро солнечное, Малюта и опричники его направляли бег свой.

В то самое время, как они торопились и погоняли коней, другие молодцы, недоброго вида, собирались в дремучем лесу недалеко от Поганой Лужи.

### **Глава 13. Ванюха Перстень и его товарищи**

**Н**а широкой поляне, окруженной древними дубами и непроходимым ломом, стояло несколько земляных куреней; а между ними на опрокинутых пнях, на вывороченных корнях, на кучах сена и сухих листьев лежало и сидело множество людей разных возрастов, в

разных одеждах. Вооруженные молодцы беспрестанно выходили из глубины леса и присоединялись к товарищам. Много было между ними разнообразия. Сермяги, ферязи и зипуны, иные в лохмотьях, другие блестящие золотом, виднелись сквозь ветви деревьев. У иных молодцов были привешены к бедрам сабли, другие мотали в руках кистени или опирались на широкие бердыши. Немало было тут рубцов, морщин, всклокоченных голов и бород нечесаных.

Удалое товарищество разделилось на разные кружки. В самой середине поляны варили кашу и жарили на прутьях говядину. Над трескучим огнем висели котлы; дым отделялся сизым облаком от зеленого мрака, окружавшего поляну как бы плотной стеной. Кашевары покашливали, терли себе глаза и отворачивались от дыму.

Немного подалее старик, с седою кудрявою головой, с длинною бородой, рассказывал молодежи какую-то сказку. Он говорил стоя и опершись на топор, насаженный на длинную палку. В этом положении старику было ловчее рассказывать, чем сидя. Он мог и выпря-

миться, и обернуться во все стороны, и в приличном месте взмахнуть топором, и при свистнуть по-молодецки. Ребята слушали его с истинным наслаждением. Они уши поразвесили и рты пораззевали. Кто присел на землю, кто взобрался на сучок, кто просто расставил ноги и выпучил глаза; но большая часть лежала на животах, упершись локтями оземь, а подбородком о ладони: оно-де сподручнее.

Далее двое молодцов тузили друг друга по голове кулаками. Игра состояла в том, что кто-де из нас первый попросит пощады. И ни одному не хотелось просить ее. Уже оба противника побагровели, как две свеклы, но дюжие кулаки не переставали стучать о головы, словно молоты о наковальни.

— Эй, не будет ли с тебя, Хлопко? — спросил тот, который казался послабее.

— Небошь, брат Андрюшка! когда будет, скажу. А вот тебе так сейчас плохо придется!

И кулаки продолжали стучать.

— Смотрите, братцы, вот Андрюшка тотчас свалится, — говорили зрители.

— Нет, не свалится! — отвечали другие. —

Зачем ему свалиться, у него голова здорова!

— А вот увидишь, свалится!

Но Андрюшке и подлинно не хотелось свалиться. Он изловчился и, вместо чтобы ударить противника по макушке, хватил его кулаком в висок.

Хлопко опрокинулся.

Многие из зрителей захохотали, но большая часть изъявила негодование.

— Не честно! не честно! — закричали они. — Андрюшка слукавил! Отодрать Андрюшку!

И Андрюшку тотчас же отодрали.

— Откуда молодцов бог несет? — спросил старый сказочник у нескольких парней, которые подошли к огню и робко озирались во все стороны.

Их привел ражий детина с широким ножом за поясом; на парнях не было оружия, они казались новичками.

— Слышь, вы, соколики! — сказал, обращаясь к ним, ражий детина, — дедушка Коршун спрашивает, откуда вас бог принес? Отвечайте дедушке!

— Да оно, тово, вот как будет. Я-то из-под

Москвы! — отвечал один из парней, немного запинаясь.

— А зачем из гнездышка вылетел? — спросил Коршун, — нешто морозомхватило али чересчур жарко стало?

— Стало быть, жарко! — отвечал парень. — Как опричники избу-то запалили, так сперва стало жарко, а как сгорела-то изба, так и морозомхватило на дворе!

— Вот оно как. Ты парень не глупый. Ну, а ты чего пришел?

— А родниискать!

Разбойникизахохотали.

— Вишь, что выдумал! Какой тебе родни?

— Да как убили опричники матушку да ба-тюшку, сестер да братьев, скучно стало одному на свете; думаю себе: пойду к добрым лю-дям; они меня накормят, напоят, будут мне братьями да отцами! Встретил в кружале вот этого молодца, догадался, что он ваш, да и по-просил взять с собою.

— Добрый ты парень! — сказали разбойни-ки, — садись с нами, хлеб да соль, мы тебе бу-дем братьями!

— А этот чего стоит, повеся нос, словно

несолоно хлебал? Эй ты, плакса, что губы надул? Откуда ты?

— С-под Коломны! — отвечал, лениво ворочая языком, дюжий молодой парень, стоявший с печальным видом позади других.

— Что ж, и тебя опричники обидели, что ли?

— Невесту взяли! — отвечал парень нехотя и протяжно.

— А ну-ка, расскажи!

— Да что тут рассказывать! Наехали, да и взяли!

— Ну, а потом?

— Что ж, потом? Потом ничаво!

— Зачем же ты не отбил невесты?

— Где ж ее было отбивать? Как наехали, так и взяли.

— А ты на них так и смотрел, разиня рот?

— Нет, опосля, как удрали-то, так уж так осерчал, что боже сохрани.

Разбойники опять захохотали.

— Да ты, брат, видно, тяжел на подъем!

Парень скроил глупое лицо и не отвечал.

— Эй ты, пареная репа! — сказал один разбойник, — взяли у тебя невесту, так из-за это-

го еще нечего киснуть! другую найдешь!

Парень смотрел, разиня рот, и не говорил ни слова.

Лицо его разбойникам показалось забавным.

— Слышь ты, с тобой говорят! — сказал один из них, толкая его под бок.

Парень молчал.

Разбойник толкнул его крепче.

Парень посмотрел на него так глупо, что все опять принялись хохотать.

Несколько человек подошли к нему и стали толкать его. Парень не знал, сердиться ли ему или нет; но один толчок сильнее других вывел его из сонного хладнокровия.

— Полно вам пхаться! — сказал он, — что я вам, куль муки, что ль, дался? Перестаньте, осерчаю!

Разбойники пуще стали смеяться.

Парню и в самом деле хотелось рассердиться, только лень и природная сонливость превозмогали его гнев. Ему казалось, что не стоит сердиться из-за безделицы, а важной-то причины не было!

— Серчай же, дурень! — сказали разбойни-

ки, — что ж ты не серчаешь?

— А ну-тка, толкните-ка ящó!

— Вишь, какой лакомый! На, вот тебе!

— А ну-тка крепчае!

— Вот тебе!

— Ну тяперь держитесь! — сказал парень, рассердясь наконец не на шутку.

Он засучил рукава, плюнул в кулаки и принялся катать правого и виноватого. Разбойники не ожидали такого нападения. Те, которые были поближе, в один миг опрокинулись и сшибли с ног товарищей. Вся ватага отхлынула к огню; котел упал, и щи разлились на уголья.

— Тише, ты, тише, сатана! Чего расходился! Говорят тебе, тише! — кричали разбойники.

Но парень уже ничего не слышал. Он продолжал махать кулаками вправо и влево и каждым ударом сшибал по разбойнику, а иногда и по два.

— Вишь, медведь! — говорили те, которые успевали отскочить в сторону.

Наконец парень образумился. Он перестал драться и остановился посреди опрокинутых

и разбитых горшков, почесывая затылок, как будто желая сказать: «Что ж это я, в самом деле, наделал!»

— Ну, брат, — сказали разбойники, подымаясь на ноги и потирая ребра, — кабы ты тогда в пору осерчал, не отбили бы у тебя невесты! Вишь, какой Илья Муромец!

— Да как тебя зовут, молодца? — спросил старый разбойник.

— А Митькою!

— Ну Митька! Ай да Митька!

— Вот уж Митька!

— Ребята! — сказал, подбегая к ним, один молодец, — атаман опять начал рассказывать про свое житье на Волге. Все бросили и песни петь, и сказки слушать, сидят вокруг атамана. Пойдем поскорее, а то места не найдем!

— Пойдем, пойдем слушать атамана! — раздалось между разбойниками.

На срубленном пне, под тенью огромного дуба, сидел широкоплечий детина среднего роста, в богатом зипуне, шитом золотом. Голову его покрывала мисюрка, или железная круглая шапка, вроде тафьи, называвшаяся также и наплешником. К шапке приделана

была бармица, или стальная кольчатая сеть, защищавшая от сабельных ударов затылок, шею и уши. Широкоплечий детина держал в руке чекан, молот, заостренный с задней стороны и насаженный на топорище. В этом убранстве трудно было бы узнать старого нашего знакольца, Ванюху Перстня. Глаза его бегали во все стороны. Из-под коротких черных усов сверкали зубы столь ослепительной белизны, что они, казалось, освещали все лицо его.

Разбойники молчали и слушали.

— Так вот, братцы, — говорил Перстень, — это еще не диковина, остановить обоз или божина ограбить, когда вас десятеро на одного. А вот была бы диковина, кабы один остановил да ограбил человек пятьдесят или боле!

— Эх, хватил! — отозвались разбойники, — малого захотел! Небось ты остановишь!

— Моя речь не про меня, а знаю я молодца, что и один обозы останавливал!

— Уж не опять ли твой волжский богатырь!

— Да не кто другой. Вот, примерно, тянулось раз судишко на бичеве из-под Астрахани

вверх по матушке-Волге. На судишке-то народу было немало: всё купцы молодцы с пищалями, с саблями, кафтаны нараспашку, шапки набекрень, не хуже нашего брата. А грузу-то: золота, каменьев самоцветных, жемчугу, вещиц астраханских и всякой дряни; еще, али полно! Берег-то высокий, бичевник-то узенький, а среди Волги остров: скала голая, да супротив течения, словно ножом угол вышел, такой острый, что боже упаси.

Вот проведал мой молодец, с чем бог несет судно. Не сказал никому ни слова, пошел с утра, засел в кусты, в ус не дует. Проходит час, проходит другой, идут, понатужившись, лямочники, человек двенадцать, один за другим, налегли на ремни, да и кряхтят, высунув языки. Судишко-то, видно, не легонько, да и быстрина-то народу не под силу!

Вот мой молодец и прожди, чтоб они скалу-то остроу миновали саженой на полсотни. Да как выскочит из-за кустов, да как хватит саблей поперек бичевы, так и перерубил пополам, а лямочники-то как шли, сердечные, так и шлепнулись оземь носами. Тут он кого кистенем, кого кулаком, а кто вскочил да да-

вай бог ноги! Понесло судно назад по течению, прямо на скалу. Всполошились купцы, никто и стрелять не думает, думают только, как бы миновать угол, чтобы судна-то не разбить! А мой молодец одной рукой поймай бичеву, а другой ухватись за дерево, да и останови судно:

«Эй вы, аршинники, купцы! удалые молодцы! Бросайте в воду сабли да пищали, честью прошу, не то бичеву пуцу, так вас и с грузом поминай как звали!»

Купцы навели было на богатыря стволики, да тотчас и опустили; думают: как же это? убьем его, так некому и бичевы подержать!

Нечего делать, побросали оружие в воду, да только не всё, думают, как взойдешь, молодец, на палубу грабить судно, так мы тут тебе и карачун! Да мой богатырь не промах.

«Добро, говорит, купчики голубчики, пошло оружие ко дну, ступайте ж и вы, куда кому угодно! А сказать другими словами: прыгайте с судна вниз головами!»

Они было замялись, а он, ребятушки, зацепил бичеву за дерево, схватил пищаль, да и пустил по ним пулю.

Тут все, сколько ни было их, попрыгали в воду, словно лягушки.

А он кричит:

«Не плыть сюда, приставай к тому берегу, не то всех, как уток, перестреляю!»

Что, ребята, каков богатырь?

— Молодец! — сказали разбойники, — вот уж подлинно молодец! Да что ж он с судном-то сделал?

— С судном-то? А намотал на руку бечеву, словно нитку с бумажным змеем, да и вытащил судно на мель.

— Да что ж, он ростом с Полкана, что ли?

— Нет, не с Полкана. Ростом-то он не болемово, да плечики будут поширше!

— Шире твоих! Что ж это, на что ж он похож выходит!

— Да похож на молодца: голова кудластая, борода черная, сутуловат маленько, лицо плоское, да зато глаза посмотреть — страх!

— Воля твоя, атаман, ты про него говоришь, как про чудо какое, а нам что-то не верится. Уж молодеватее тебя мы не видывали!

— Не видывали лучше меня! Да что вы, ду-

раки, видели! Да знаете ли, — продолжал Перстенъ с жаром, — знаете ли, что я перед ним ничего! Дрянъ, просто дрянъ, да и только!

— Да как же зовут твоего богатыря?

— Зовут его, братцы, Ермаком Тимофеичем!

— Вишь, какое имя! Что ж, он один, что ли, без шайки промышляет?

— Нет, не один. Есть у него шайка добрая, есть и верные есаулики. Только разгневался на них царь православный. Послал на Волгу дружину свою разбить их, голубчиков, а одному есаулику, Ивану Кольцу, головушку велел отсечь да к Москве привезти.

— Что ж, поймали его?

— Поймали было царские люди Кольцо, только проскользнуло оно у них промеж пальцев, да и покатилося по белу свету. Где оно теперь, сердечное, бог весть, только, я чаю, скоро опять на Волгу перекатится! Кто раз побывал на Волге, тому не ужиться на другой стороншке!

Замолчал атаман и задумался.

Задумались и разбойники. Опустили они буйные головы на груди могучие и поглажи-

вали молча усы длинные и бороды широкие. О чем думали удальцы разудалые, сидя на поляне, среди леса дремучего? О молодости ли своей погибшей, когда были еще честными воинами и мирными поселянами? О матушке ли Волге серебряной? или о дивном богатыре, про которого рассказывал Перстень? или думали они о хоромах высоких среди поля чистого, о двух столбиках с перекладинкой, о которых в минуту грусти думала в то время всякая лихая, забубенная голова?

— Атаман! — вскричал один разбойник, подбегая к Перстню и весь запыхавшись, — верст пять отсюда, по Рязанской дороге едут человек двадцать вершников с богатым оружием, все в золоченых кафтанах! Аргамаки и бахматы под ними рублей во сто каждый или боле!

— Куда едут? — спросил Перстень, вскакивая.

— Вот только что поворотили к Поганой Луже. Я как увидел, так напрямик сюда и прибежал болотом да лесом.

— Ну, ребята, — вскричал Перстень, — полно бобы на печи разводить! двадцать человек

чтобы шли за мной!

— Ты, Коршун, — продолжал он, обращаясь к старому разбойнику, — возьми двадцать других, да засядьте у кривого дуба, отрежьте им дорогу, коли мы, неравно, опоздаем. Ну, живо за сабли!

Перстень взмахнул чеканом и сверкнул очами. Он походил на грозного полководца среди послушного войска.

Прежнее свободное обращение разбойников исчезло и уступило место безусловной покорности.

В один миг сорок станичников отошли от толпы и разделились на два отряда.

— Эй, Митька! — сказал Коршун молодому парню из-под Коломны, — на тебе посошок, ступай с нами, да понатужься, авось осерчаешь!

Митька скроил глупую рожу, взял хладнокровно из рук старика огромную дубину, взвалил ее на плеча и пошел, переваливаясь, за своим отрядом ко кривому дубу.

Другой отряд, предводимый Перстнем, поспешил к Поганой Луже, на переём неизвестным всадникам.

## Глава 14. Оплеуха

**В** то самое время, как Малюта и Хомяк, сопровождаемые отрядом опричников, везли незнакомца к Поганой Луже, Серебряный сидел в дружеской беседе с Годуновым за столом, уставленным кубками.

— Скажи, Борис Федорыч, — говорил Серебряный, — что случилось с царем сею ночью? с чего поднялась вся Слобода на полунощницу? Аль то у вас часто бывает?

Годунов пожал плечами.

— Великий государь наш, — сказал он, — часто жалеет и плачет о своих злодеях и часто молится за их души. А что он созвал нас на молитву ночью, тому дивиться нечего. Сам Василий Великий во втором послании к Григорию Назианзину говорит: что другим утро, то трудящимся в благочестии полунощь. Среди ночной тишины, когда ни очи, ни уши не допускают в сердце вредительного, пристойно уму человеческому пребывать с богом!

— Борис Федорыч! Случалось мне видеть и прежде, как царь молился; оно было не так. Все теперь стало иначе. И опричины я в толк не возьму. Это не монахи, а разбойники.

Немного дней, как я на Москву вернулся, а столько неистовых дел наслышался и насмотрелся, что и поверить трудно. Должно быть, обошли государя. Вот ты, Борис Федорыч, близок к нему, он любит тебя, что б тебе сказать ему про опричнину?

Годунов улыбнулся простоте Серебряного.

— Царь милостив ко всем, — сказал он с притворным смирением, — и меня жалует не по заслугам. Не мне судить о делах государских, не мне царю указывать. А опричнину понять нетрудно: вся земля государева, все мы под его высокою рукою; что возьмет государь на свой обиход, то и его, а что нам оставит, то наше; кому велит быть около себя, те к нему близко, а кому не велит, те далеко. Вот и вся опричнина.

— Так, Борис Федорыч, когда ты говоришь, оно выходит гладко, а на деле не то. Опричники губят и насилуют земщину хуже татар. Нет на них никакого суда. Вся земля от них гибнет! Ты бы сказал царю. Он бы тебе поверил!

— Князь Никита Романыч, много есть зла на свете. Не потому люди губят людей, что одни опричники, другие земские, а потому, что

и те и другие люди! Положим, я бы сказал царю; что ж из того выйдет? Все на меня подымутся, и сам царь на меня ж опалится!..

— Что ж? Пусть опалится, а ты сделал по совести, сказал ему правду!

— Никита Романыч! Правду сказать недолго, да говорить-то надо умеючи. Кабы стал я перечить царю, давно бы меня здесь не было, а не было б меня здесь, кто б тебя вчера от плахи спас?

— Что дело, то дело, Борис Федорыч, дай бог тебе здоровья, пропал бы я без тебя!

Годунов подумал, что убедил князя.

— Видишь ли, Никита Романыч, — продолжал он, — хорошо стоять за правду, да один в поле не воевода. Что б ты сделал, кабы, примерно, сорок воров стали при тебе резать безвинного?

— Что б сделал? А хватил бы саблею по всем по сорока и стал бы крошить их, доколе б души богу не отдал!

Годунов посмотрел на него с удивлением.

— И отдал бы душу, Никита Романыч, — сказал он, — на пятом, много на десятом воре; а достальные все-таки б зарезали безвинного.

Нет; лучше не трогать их, князь; а как станут они обдирать убитого, тогда крикнуть, что Степка-де взял на себя более Мишки, так они и сами друг друга перережут!

Серебряному был такой ответ не по сердцу. Годунов заметил это и переменял разговор.

— Вишь, — сказал он, глядя в окно, — кто это сюда скачет, сломя шею? Смотри, князь, никак, твой стремянный?

— Вряд ли! — отвечал Серебряный, — он отпросился у меня сегодня верст за двадцать на богомолье...

Но, взглядевшись пристальнее во всадника, князь в самом деле узнал Михеича. Старик был бледен как смерть. Седла под ним не было; казалось, он вскочил на первого коня, попавшегося под руку, а теперь, вопреки приличию, влетел на двор, под самые красные окна.

— Батюшка Никита Романыч! — кричал он еще издали, — ты пьешь, ешь, прохлаждаешься, а кручинушки-то не ведаешь? Сейчас встрел я, вон за церквей, Малюту Скуратова да Хомяка; оба верхом, а промеж них, руки связаны, кто бы ты думал? Сам царевич! сам царевич, князь! Недели они на него черный

башлык, проклятые, только ветром-то сдуло башлык, я и узнал царевича! Посмотрел он на меня, словно помощи просит, а Малюта, тетка его подкурятина, подскочил, да опять и нахлобучил ему башлык на лицо!

Серебряный вспрынул с места.

— Слышишь, слышишь, Борис Федорыч! — вскричал он, сверкая глазами. — Али ждать еще, чтоб воры перессорились меж собой! — И он бросился с крыльца.

— Давай коня! — крикнул он, вырывая узду из рук Михеича.

— Да это, — сказал Михеич, — конь-то не по тебе, батюшка, это конь плохой, да и седла-то на нем нетути... да и как же тебе на таком коне к царю ехать?...

Но князь уже вскочил и полетел не к царю, а в погоню за Малютой...

Есть старинная песня, может быть, современная Иоанну, которая описывает по-своему приводимое здесь событие:

*Когда зачиналась каменна  
Москва,  
Зачинался царь Иван, государь Ва-  
сильевич.*

Как ходил он под Казань-город,  
Под Казань-город, под Астрахань;  
Он Казань-город мимоходом взял,  
Полонил царя и с царицею;  
Выводил измену из Пскова,  
Из Пскова и из Новгорода.

Как бы вывести измену из камен-  
ной Москвы!  
Что возговорит Малюта, злодей  
Скурлатович:  
«Ах ты гой еси, царь Иван Васи-  
льевич!  
Не вывести тебе изменушки дове-  
ку!  
Сидит супротивник супротив те-  
бя,  
Ест с тобой с одного блюда,  
Пьет с тобой с одного ковша,  
Платье носит с одного плеча!»  
И тут царь догадается,  
На царевича осержается.

«Ах вы гой еси, князья и бояре!  
Вы берите царевича под белы ру-  
ки,  
Надевайте на него платье черное,  
Поведите его на то болото жид-

кое,  
На тое ли Лужу Поганую,  
Вы предайте его скорой смерти!»  
Все бояре разбежались,  
Один остался Малюта-злодей,  
Он брал царевича за белы руки,  
Надевал на него платье черное,  
Повел на болото жидкое,  
Что на ту ли Лужу Поганую.

Проведал слуга Никиты Романы-  
ча,  
Садился на лошадь водовозную,  
Скоро скакал к Никите Романы-  
чу:  
«Гой еси, батюшка Никита Рома-  
ныч!  
Ты пьешь, ешь, прохлаждаешься,  
Над собой кручинушки не ведаешь!  
Упадет звезда поднебесная,  
Угасает свеча воску ярого,  
Не становится млада царевича!»

Никита Романыч испугается,  
Садится на лошадь водовозную,  
Скоро скачет на болото жидкое,  
Что на ту ли Лужу Поганую.  
Он ударил Малюту по щеке:

*«Ты, Малюта, Малюта Скурлатович!*

*Не за свой ты кус принимаешься,  
Ты этим кусом подавишься!..»*

Песня эта, может быть и несходная с действительными событиями, согласна, однако, с духом того века. Не полно и не ясно доходили до народа известия о том, что случилось при царском дворе или в кругу царских приближенных, но в то время, когда сословия еще не были разъединены правами и не жили врозь одно другого, известия эти, даже искаженные, не выходили из границ правдоподобия и носили на себе печать общей жизни и общих понятий.

Таков ли ты был, князь Никита Романович, каким воображаю тебя, — про то знают лишь стены кремлевские да древние дубы подмосковные! Но таким ты предстал мне в час тихого мечтания, в вечерний час, когда поля покрывались мраком, вдали замирал шум хлопотливого дня, а вблизи все было безмолвно, и лишь ветер шелестил в листьях, и лишь жук вечерний пролетал мимо. И грустно и больно сказывалась во мне любовь к ро-

дине, и ясно выступала из тумана наша горестная и славная старина, как будто взамен зрения, заграждаемого темнотою, открывалось во мне внутреннее око, которому столетия не составляли преграды. Таким предстал ты мне, Никита Романович, и ясно увидел я тебя, летящего на коне в погоню за Малютой, и перенесся я в твое страшное время, где не было ничего невозможного!

Забыл Серебряный, что он без сабли и пистолей, и не было ему нужды, что конь под ним стар. А был то добрый конь в свое время; прослужил он лет двадцать и на войне и в походах; только не выслужил себе покою на старости; выслужил упряжь водовозную, сено гнилое да удары палочные!

Теперь почуял он на себе седока могучего и вспомнил о прежних днях, когда носил богатырей в грозные сечи, и кормили его отборным зерном, и поили медвяною сытой. И раздул он красные ноздри, и вытянул шею, и летит в погоню за Малютой Скуратовым.

Скачет Малюта во дремучем лесу с своими опричниками. Он торопит их к Поганой Луже, поправляет башлык на царевиче, чтоб

не узнали опричники, кого везут на смерть. Кабы узнали они, отступились бы от Малюты, схоронились бы больший за меньшего. Но думают опричники, что скачет простой человек меж Хомяка и Малюты, и только дивятся, что везут его казнить так далеко.

Торопит Малюта опричников, серчает на коней, бьет их плетью по крутым бедрам.

— Ах вы волчья сыть, травяные мешки! Не одумался бы царь, не послал бы за нами пого-ни!

Скачет злодей Малюта во дремучем лесу, смотрят на него пташки, вытянув шейки, летят над ним черные вороны — уже близко Поганая Лужа!

— Эй, — говорит Малюта Хомяку, — никак, стучат за нами чужие подковы?

— Нет, — отвечает Хомяк, — то от наших коней топот в лесу раздается.

И пуще торопит Малюта опричников, и чаще бьет коней по крутым бедрам.

— Эй, — говорит он Хомяку, — никак, кто-то кричит за нами?

— Нет, — отвечает Хомяк, — то нашу молвь отголоски разносят.

И сердает Малюта на коней.

— Ах вы волчья сыть, травяные мешки!  
Ой, не было б за нами погони!

Вдруг слышит Малюта за собою:

— Стой, Григорий Лукьяныч!

Серебряный был у Скуратова за плечами.  
Не выдал его старый конь водовозный.

— Стой, Малюта! — повторил Серебряный  
и, нагнав Скуратова, ударил его в щеку рукою  
могучею.

Силен был удар Никиты Романовича. Раздалася пощечина, словно выстрел пищальный; загудел сыр-бор, посыпались листья; бросились звери со всех ног в чащу; вылетели из дупел пучеглазые совы; а мужики, далеко оттоле дравшие лыки, посмотрели друг на друга и сказали, дивясь:

— Слышь, как треснуло! Уж не старый ли дуб надломился над Поганою Лужей?

Малюта свалился с седла. Бедный старый конь Никиты Романовича споткнулся, покатился и испустил дух.

— Малюта! — вскричал князь, вскочив на ноги, — не за свой ты кус принимаешься! Ты этим кусом подавишься!

И, вырвав из ножен саблю Малюты, он замахнулся разрубить ему череп.

Внезапно другая сабля свистнула над головою князя. Матвей Хомяк прилетел господину на помощь. Завязался бой меж Хомяком и Серебряным. Опричники напали с голыми саблями на князя, но деревья и лом защитили Никиту Романовича, не дали всем вдруг окружить его.

«Вот, — думал князь, отбивая удары, — придется живот положить, не спася царевича! Кабы дал бог хоть с полчаса подержаться, авось подоспела бы откуда-нибудь подмога!»

И лишь только он подумал, как пронзительный свист раздался в лесу; ему отвечали громкие окрики. Один опричник, уже занесший саблю на князя, упал с раздробленной головой, а над трупом его явился Ванюха Перстень, махая окровавленным чеканом. В тот же миг разбойники, как стая волков, бросились на Малютиных слуг, и пошла между ними рукопашная. Хотел бы Малюта со своими дать дружный напуск на врагов, да негде было разогнаться, все пришел лес да валежник. Многие легли на месте; но другие скоро опра-

вились. Крикнули: гой-да! и потоптали уда-  
лую вольницу. Сам Перстень, раненный в ру-  
ку, уже слабее разил чеканом, как новый  
свист раздался в лесу.

— Стойте дружно, ребята! — закричал Пер-  
стень, — то дедушка Коршун идет на прибав-  
ку!

И не успел он кончить речи, как Коршун с  
своим отрядом ударил на опричников, и за-  
чался меж ними бой великий, свальный, са-  
мый красный.

Трудно было всадникам стоять в лесу про-  
тив пеших. Кони вздымались на дыбы, па-  
дали навзничь, давили под собой седоков.  
Опричники отчаялись насмерть. Сабля Хомя-  
ка свистела, как вихорь, над головой его свер-  
кала молния.

Вдруг среди общей свалки сделалось коле-  
банье. Дюжий Митька буравил толпу и лез  
прямо на Хомяка, валяя без разбору и чужих  
и своих. Митька узнал похитителя невесты.  
Подняв обеими руками дубину, он грянул ею  
в своего недруга. Хомяк отшатнулся, удар пал  
в конскую голову, конь покатился мертвый,  
дубина переломилась.

— Погоди! — сказал Митька, наваливаясь на Хомяка, — теперь не уйдешь!

Кончилась битва. Не с кем было более драться, все опричники легли мертвые, один Малюта спасся на лихом аргамаке.

Стали разбойники считать своих и многих недосчитались. Было и между ними довольно урону.

— Вот, — сказал Перстень, подходя к Серебряному и стирая пот с лица, — вот, боярин, где довелось свидеться!

Серебряный, с первым появлением разбойников, бросился к царевичу и отвел его коня в сторону; царевич был привязан к седлу. Серебряный саблею разрезал веревки, помог царевичу сойти и снял платок, которым рот его был завязан. Во все время сечи князь от него не отходил и заслонял его собою.

— Царевич, — сказал он, видя, что станичники уже принялись грабить мертвых и ловить разбежавшихся коней, — битва кончена, все твои злодеи полегли, один Малюта ушел, да я чаю, и ему несдобровать, когда царь велит сыскать его!

При имени царевича Перстень отступил

назад.

— Как? — сказал он, — это сам царевич? Сын государев? Так вот за кого бог привел постоять! Так вот кого они, собаки, связавши везли!

И атаман повалился Иоанну Иоанновичу в ноги.

Весть о его присутствии быстро разнеслась меж разбойников. Все бросили выворачивать карманы убитых и пришли бить челом царевичу.

— Спасибо вам, добрые люди! — сказал он ласково, без обычного своего высокомерия, — кто б вы ни были, спасибо вам!

— Не на чем, государь! — отвечал Перстень. — Кабы знал я, что это тебя везут, я бы привел с собою не сорок молодцов, а сотенки две; тогда не удрал бы от нас этот Скурлатыч; взяли б мы его живьем да при тебе бы вздернули. Впрочем, есть у нас, кажись, его стреманный; он же мне старый знакомый, а на безрыбье и рак рыба. Эй, молодец, у тебя он, что ли?

— У меня! — отвечал Митька, лежа на животе и не выпуская из-под себя своей жертвы.

— Давай его сюда, небось не уйдет! А вы, ребяташки, разложите-ка огоньку для допросу да приготовьте веревку, аль, пожалуй, хоть чумбур отрежь.

Митька встал. Из-под него поднялся здоровый детина; но лишь только он обернулся лицом к разбойникам, все вскрикнули от удивления.

— Хлопко! — раздалось отовсюду, — да это Хлопко! это он Хлопка притиснул вместо опричника.

Митька смотрел, разиня рот.

Хлопко насилу дышал.

— Ишь, — проговорил наконец Митька, — так это я, должно быть, тебя придавил! Чаво ж ты молчал?

— Где ж мне было говорить, коли ты у меня на горле сидел, тюлень этакий! Тьфу!

— Да чаво ж ты подвернулся?

— Чаво! чаво! Как ты, медведь, треснул коня по лбу, так седок-то на меня и свалился, а ты, болван, вместо чтобы на него, да на меня и сел, да и давай душить сдуру, знай обрадовался!

— Ишь! — сказал Митька, — вот што! — и

почесал затылок.

Разбойники захохотали. Сам царевич улыбнулся. Хомяка нигде не могли найти.

— Нечего делать, — сказал Перстень, — видно, не доспел ему час, а жаль, право! Ну, так и быть, даст бог, в другой раз не свернется! А теперь дозвожь, государь, я тебя с ребятами до дороги провожу. Совестно мне, государь! Не приходилось бы мне, худому человеку, и говорить с твоею милостью, да что ж делать, без меня тебе отселе не выбраться!

— Ну, ребята, — продолжал Перстень, — собирайтесь оберегать его царскую милость. Вот ты, боярин, — сказал он, обращаясь к Серебряному, — ты бы сел на этого коня, а я себе, пожалуй, вот этого возьму. Тебе, дядя Коршун, я чай, пешему будет сподручнее, а тебе, Митька, и подавно!

— Ништо! — сказал Митька, ухватясь за гриву одного коня, который от этого покачнулся на сторону, — и я сяду!

Он занес ногу в стремя, но, не могши попасть в него, взвалился на коня животом, проехал так несколько сажень рысью и наконец уже взобрался на седло.

— Эхва! — закричал он, болтая ногами и подкидывая локти.

Вся толпа двинулась из лесу, окружая царевича. Когда показалось наконец поле, а вдали запестрела крыша Александровой слободы, Перстень остановился.

— Государь, — сказал он, соскакивая с коня, — вот твоя дорога, вон и Слобода видна. Не пристало нам доле с твоею царскою милостью оставаться. К тому ж там пыль по дороге встает; должно быть, идут ратные люди. Прости, государь, не взыщи; поневоле бог свел!

— Погоди, молодец! — сказал царевич, который, по миновании опасности, начал возвращаться к своим прежним приемам. — Погоди, молодец! Скажи-ка наперед, какого ты боярского рода, что золоченый зипун носишь?

— Государь, — ответил скромно Перстень, — много нас здесь бояр без имени-прозвища, много князей без роду-племени. Носим что бог послал!

— А знаешь ли, — продолжал строго царевич, — что таким князьям, как ты, высокие хоромы на площади ставят и что ты сам сво-

его зипуна не стоишь? Не сослужи ты мне службы сегодня, я велел бы тем ратникам всех вас перехватать да к Слободе привести. Но ради сегодняшнего дела я твое прежнее воровство на милость кладу и батюшке-царю за тебя слово замолвлю, коли ты ему повинную принесешь!

— Спасибо на твоей ласке, государь, много тебе благодарствую; только не пришло еще мне время нести царю повинную. Тяжелы мои грехи перед богом, велики винности перед государем; вряд ли простит меня батюшка-царь, а хоча бы и простил, так не приходится бросать товарищей!

— Как? — сказал удивленный царевич, — ты не хочешь оставить воровства своего, когда я сам тебе мой упрос обещаю? Видно, грабить-то по дорогам прибыльнее, чем честно жить?

Перстень погладил черную бороду и лукавою усмешкой выказал два ряда ровных и белых зубов, от которых загорелое лицо его показалось еще смуглее.

— Государь! — сказал он, — на то щука в море, чтобы карась не дремал! Не привычен

я ни к ратному строю, ни к торговому делу. Прости, государь; вон уж пыль сюда подвигается; пора назад; рыба ищет где поглубже, а наш брат — где место покрепче!

И Перстень исчез в кустах, уводя за собою коня. Разбойники один за другим пропали меж деревьев, а царевич сам-друг с Серебряным поехали к Слободе и вскоре встретились с отрядом конницы, которую вел Борис Годунов.

Что делал царь во все это время? Послушаем, что говорит песня и как она выражает народные понятия того века.

*Что возговорит грозный царь:  
«Ах вы гой еси, князья мои и бояре!  
Надевайте платье черное,  
Собирайтесь ко заутрене,  
Слушать по царевиче панихиду,  
Я всех вас, бояре, в котле сварю!»*

*Все бояре испугались,  
Надевали платье черное,  
Собирались ко заутрене,  
Слушать по царевиче панихиду.  
Приехал Никита Романович,*

*Нарядился в платье цветное,  
Привел с собой млада царевича  
И поставил за дверьми северны.*

*Что возговорит грозный царь:  
«Ах ты гой еси, Никита Романович!*

*Что в глаза ль ты мне насмехашься?*

*Как упала звезда поднебесная,  
Что угасла свеча воску ярого,  
Не стало у меня млада царевича».*

*Что возговорит Никита Романович:*

*«Ах ты гой еси, надёжа, православный царь!*

*Мы не станем по царевиче панихиду петь,*

*А станем мы петь молебен за-  
здравный!»*

*Он брал царевича за белу руку,  
Выводил из-за северных дверей.*

*Что возговорит грозный царь:  
«Ты, Никита, Никита Романович!  
Еще чем мне тебя пожаловать?  
Или тебе полцарства дать?»*

*Или золотой казны сколько на-  
добно?»*

*«Ах ты гой еси, царь Иван Васи-  
льевич!*

*Не сули мне полцарства, ни золо-  
той казны,*

*Только дай мне злодея Скурлато-  
ва:*

*Я сведу на то болото жидкое,  
Что на ту ли Лужу Поганую!»*

*Что возговорит царь Иван Васи-  
льевич:*

*«Еще вот тебе Малюта-злодей,  
И делай с ним, что хочешь ты!»*

Так гласит песня; но не так было на деле. Летописи показывают нам Малюту в чести у Ивана Васильевича еще долго после 1565 года. Много любимцев в разные времена пали жертвою царских подозрений. Не стало ни Басмановых, ни Грязного, ни Вяземского, но Малюта ни разу не испытал опалы. Он, по предсказанию старой Онуфьевны, не приял своей муки в этой жизни и умер честною смертью. В обиходе монастыря св. Иосифа Волоцкого, где погребено его тело, сказано, что

он убит на государском деле под Найдюю.

Как оправдался Малюта в клевете своей — мы не знаем.

Может быть, Иоанн, когда успокоилась встревоженная душа его, приписал поступок любимца обманутому усердию; может быть, не вполне отказался от подозрений на царевича. Как бы то ни было, Скуратов не только не потерял доверия царского, но с этой поры стал еще драгоценнее Иоанну. Доселе одна Русь ненавидела Малюту, теперь стал ненавидеть его и самый царевич; Иоанн был отныне единственною опорой Малюты. Общая ненависть ручалась царю за его верность.

Намек на Басманова также не прошел даром. В Иоанновом сердце остался зародыш подозрения и хотя не тотчас пустил в нем корни, но значительно охладил расположение его к своему кравчему, ибо царь никогда не прощал тому, кого однажды опасался, хотя бы впоследствии и сам признал свое опасение напрасным.

## **Глава 15. Поцелуйный обряд**

**П**ора нам возвратиться к Морозову. Смущение Елены в присутствии Серебряного не

ускользнуло от пронизательности боярина. Правда, сначала он подумал, что встреча с Вяземским тому причиной, но впоследствии новое подозрение зародилось в душе его.

Простившись с князем и проводив его до сеней, Морозов возвратился в избу. Навислые брови его были грозно сдвинуты; глубокие морщины бороздили чело; его бросало в жар, ему было душно. «Елена теперь спит, — подумал он, — она не будет ждать меня; пройдуся по саду, авось освежу свою голову».

Морозов вышел; в саду было темно. Подходя к ограде, он увидел белую ферязь. Он стал всматриваться.

Внезапно любовные речи поразили его слух. Старик остановился. Он узнал голос жены. За оградой рисовался на звездном небе неопределенный образ всадника. Незнакомец нагнулся к Елене и что-то говорил ей. Морозов притаил дыхание, но порыв ветра потряс вершины деревьев и умчал слова и голос незнакомца. Кто был этот незнакомец? Ужели Вяземский успел своею настойчивостью склонить к себе Елену? Загадочно женское сердце! Ему нравится сегодня, что вчера возбуждало

его ненависть! Или уж не Серебряный ли назначил свидание жене его? Кто знает? Быть может, князь, которого он принял как сына, нанес ему в тот же день кровавое оскорбление, ему, лучшему другу отца его; ему, который готов был подвергнуть опасности собственную жизнь, чтобы скрыть Серебряного от царского гнева!

«Но нет, — подумал Морозов, — это не Серебряный! Это какой-нибудь опричник, новый любимец царский. Им не в диковину бесчестить столбового боярина. А жена-то, змея подколотная! Уж ее ли не любил я! Ее ли не держал как дочь родную! И не вольною ли волей вышла она за меня? Не благодарила ль меня, лукавая? Не клялась ли мне в верности? Нет, не надейся, Дружина Андреич, на верность женскую! Женская верность — терем высокий, дверь дубовая да запоры железные! Поторопился, Дружина Андреич, вручать девке честь свою! Обуяло тебя, старого, сердце пылкое! Провела тебя жена, молодая змея; посмеются над тобою люди московские!»

Так думал Морозов и мучился догадками.

Ему хотелось ринуться вперед. Но всадник мог ускакать, и боярин не узнал бы врага своего. Он решился повременить.

Как нарочно, в эту ночь ветер не переставал шуметь, а месяц не выходил из-за облак. Морозов не узнал ни лица, ни голоса всадника. Он только расслышал, что боярыня сказала ему сквозь слезы:

— Я люблю тебя боле жизни, боле солнца красного! Я никого, кроме тебя, не любила и любить не могу и не буду.

Вскоре Елена прошла мимо Морозова, не заметив его. Медленно последовал за нею Дружина Андреич.

На другой день он не показал и виду, что подозревает Елену. Он был с нею по-прежнему приветлив и ласков. Но временам лишь, когда она того не примечала, боярин забывался, сдвигал брови и грозно смотрел на Елену. Страшную думу думал тогда Дружина Андреич. Он думал, как бы сыскать ему своего недруга.

Прошло дня четыре. Морозов сидел в брусняной избе за дубовым столом. На столе лежала разогнутая книга, оболоченная червчатым

бархатом, с серебряными застежками и жуками. Но боярин думал не о чтении. Глаза его скользили над пестрыми заголовками и узорными травами страницы, а воображение бродило от жениной светлицы к садовой ограде.

Накануне этого дня Серебряный возвратился из Слободы и, по данному обещанию, посетил Морозова.

Елена в этот день сказалась больною и не вышла из светлицы. Морозов ни в чем не изменил своего обращения с Никитой Романовичем. Но, поздравляя его с счастливым возвратом и потчужя прилежно дорогого гостя, он не переставал вникать в выражение его лица и старался уловить на нем признаки предательства. Серебряный был задумчив, но прост и откровенен по-прежнему; Морозов не узнал ничего.

И вот о чем думал он теперь, сидя за столом перед разогнутою книгой.

Размышления его перервал вошедший слуга, но, увидя нахмуренный лоб Морозова, он почтительно остановился. Морозов спросил его взглядом.

— Государь, — сказал слуга, — едут цар-

ские люди. Впереди всех князь Афанасий Иванович Вяземский; уж они близко; прикажешь встречать?

В то же время послышался звон бубна, в который бил кожаную плетью, или вощагой, передовой холоп, чтобы разгонять народ и очищать дорогу господину.

— Вяземский едет ко мне? — сказал Морозов. — Что он, рехнулся? Да может, он едет мимо. Ступай к воротам и подожди! А если он поворотит сюда, скажи ему, что мой дом не кружало, что опричников я не знаю и с ними хлеба-соли не веду! Ступай!

Слуга колебался.

— Что еще? — спросил Морозов.

— Боярин, твоя надо мной воля, а этого не скажу Вяземскому!

— Ступай! — закричал Морозов и топнул ногой.

— Боярин! — сказал, вбегая, дворецкий, — князь Вяземский с опричниками подъезжает к нашим воротам! Князь говорит, я-де послан от самого государя.

— От государя? Он тебе сказал — от государя? Настежь ворота! Подайте золотое блюдо

с хлебом-солью! Вся дворня чтобы шла на встречу посланным государя!

Между тем ближе и ближе слышались звон и бряцанье бубна; человек двадцать всадников, а впереди Афанасий Иванович на статном караковом жеребце, в серебряной сбруе, въехали шагом на двор Морозова. На князе был белый атласный кафтан. Из-за низко вырезанного ворота виднелось жемчужное ожерелье рубахи. Жемчужные запястья плотно стягивали у кистей широкие рукава кафтана, небрежно подпоясанного малиновым шелковым кушаком с выпущенною в два конца золотою бахромой, с заткнутыми по бокам узорными перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены были в желтые сафьянные сапоги, с серебряными скобами на каблуках, с голенищами, шитыми жемчугом и спущенными в частых складках до половины икор. Поверх кафтана надет был внакидку шелковый легкий опашень золотистого цвета, застегнутый на груди двойною алмазною запоной. Голову князя покрывала белая парчовая мурмолка с гибким алмазным пером, которое качалось от каждого движения, играя

солнечными лучами. Черные кудри Афанасия Ивановича, выбегая из-под шапки, смешивались с его бородой, короткой и кудрявою. Легкий ус образовывал над верхнею губой не черную полосу, но лишь темную тень. Стан Вяземского был высок и строен; вид молод и весел.

Согласно роскошному обычаю того времени, пешие конюхи вели за ним под уздцы шесть верховых коней в полном убранстве; из них один был вороной, один буланый, один железно-серый, а три совершенно белой масти. На головах коней качались цветные перья, на хребтах их пестрели звериные кожи или парчовые чепраки и чалдары, усаженные дорогими камнями, и все шестеро звенели на ходу множеством серебряных бубенчиков или золотыми прорезными яблоками, подобранными в согласный звон и висевшими по обеим сторонам налобников длинными гроздами.

При появлении Дружины Андреевича Вяземский и все опричники сошли с коней.

Морозов с золотым блюдом медленно шел к ним навстречу, а за ним шли знакомцы,

держальники и холопы боярские.

— Князь, — сказал Морозов, — ты послан ко мне от государя. Спешу встретить с хлебом-солью тебя и твоих! — И сивые волосы боярина пали ему на глаза от низкого поклона.

— Боярин, — ответил Вяземский, — великий государь велел тебе сказать свой царский указ: «Боярин Дружина! царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси слагает с тебя гнев свой, сымает с главы твоей свою царскую опалу, милует и прощает тебя во всех твоих виновностях; и быть тебе, боярину Дружине, по-прежнему в его, великого государя, милости, и служить тебе и напередки великому государю, и писаться твоей чести по-прежнему ж!»

Изговоря речь, Вяземский заложил одну руку за кушак, другою погладил бороду, приосанился и, устремив на Морозова орлиные глаза, ожидал его ответа.

При начале речи Морозов опустил на колени. Теперь держальники подняли его под руки. Он был бледен.

— Да благословит же святая троица и мос-

ковские чудотворцы нашего великого государя! — произнес он дрожащим голосом, — да продлит прещедрый и премилостивый бог без счету царские дни его! не тебя ожидал я, князь, но ты послан ко мне от государя, войди в дом мой. Войдите, господа опричники! Прошу вашей милости! А я пойду отслужу благодарственный молебен, а потом сяду с вами пировать до поздней ночи.

Опричники вошли.

Морозов подозвал холопа.

— Садись на коня, скачи к князю Серебряному, отвези ему поклон и скажи, что прошу отпраздновать сегодняшний день: царь-де пожаловал меня милостию великою, изволил-де снять с меня свою опалу!

Отдав это приказание и проводив в сени гостей, Морозов отправился через двор в домовую церковь; перед ним шли знакомцы и держальники, а за ним многочисленные холопы. В доме остался лишь дворецкий да сколько нужно было людей для прислуги оприщикам.

Подали разные закуски и наливки, но обед был еще впереди.

Вскоре приехал Серебряный, также сопровождаемый знакомцами и холопями, ибо в тогдашнее время ездить боярину в важных случаях одиночеством или малолюдством считалось порухою чести.

Стол уже был накрыт в большой избе, слуги стояли по местам, все ожидали хозяина.

Дружина Андреевич, отслушав молебен, вошел в добром платье, в парчовом кафтане, с собольей шапкою в руках. Сивые кудри его были ровно подстрижены, борода тщательно расчесана. Он поклонился гостям, гости ему поклонились, и все сели за стол.

Зачался почестный пир, зазвенели кубки и братины, и вместе с ними зазвенел еще другой звон, несовместный со звуками веселого пира. Зазвенели под кафтанами опричников невидимые доспехи.

Но Морозов не услышал зловещего звона. Другие мысли занимали его. Внутреннее чувство говорило Морозову, что ночной его оскорбитель пирует с ним за одним столом, и боярин придумал наконец средство его открыть. Средство это, по мнению его, было надежно.

Уже много кубков осушили гости; пили они про государя, и про царицу, и про весь царский дом; пили про митрополита и про все русское духовенство; пили про Вяземского, про Серебряного и про ласкового хозяина, пили про каждого из гостей особенно. Когда все здоровья были выпиты, Вяземский встал и предложил еще здоровье молодой боярыни.

Того-то и ожидал Морозов.

— Дорогие гости, — сказал он, — непригоже без хозяйки пить про хозяйку! Сходите, — продолжал он, обращаясь к слугам, — сходите за боярыней, пусть сойдет потчевать из своих рук дорогих гостей!

— Ладно, ладно! — зашумели гости, — без хозяйки и мед не сладок!

Через несколько времени явилась Елена в богатом сарафане, сопровождаемая двумя сенными девушками; она держала в руках золотой поднос с одною только чаркой. Гости встали. Дворецкий наполнил чарку тройным зеленчаком, Елена прикоснулась к ней губами и начала обносить ее кругом гостей, кланяясь каждому, малым обычаем, в пояс. По мере того как гости выпивали чарку, дворец-

кий наполнял ее снова.

Когда Елена обошла всех без изъятия, Морозов, пристально за ней следивший, обратился к гостям.

— Дорогие гости, — сказал он, — теперь, по старинной русской обыкlosti, прошу вас, уважили б вы дом мой, не наложили б охулы на мое хозяйство, прошу вас, дорогие гости, не побрезгали бы вы поцеловать жену мою! Дмитриевна, становись в большом месте и отдавай все поцелуи, каждому поочередно!

Гости благодарили хозяина. Елена с трепетом стала возле печи и опустила глаза.

— Князь, подходи! — сказал Морозов Вяземскому. — Нет, нет, по обычаю! — закричали гости, — пусть хозяин поцелует первый хозяйку! Пусть будет по обычаю, как от предков повелось!

— Пусть же будет по обычаю, — сказал Морозов и, подойдя к жене, он сперва поклонился ей в ноги. Когда они поцеловались, губы Елены горели как огонь; как лед были холодны губы Дружины Андреевича.

За Морозовым подошел Вяземский. Морозов стал примечать.

Глаза Афанасья Ивановича сверкали словно уголья, но лицо Елены осталось неподвижно. Она при муже, при Серебряном не боялась нахального князя.

«Не он», — подумал Морозов.

Вяземский положил земной поклон и поцеловал Елену; но как поцелуй его длился дольше, чем было нужно, она отвернулась с приметною досадой.

«Нет, не он!» — повторил про себя Морозов.

За Вяземским подошли поочередно несколько опричников. Они все кланялись, большим обычаем, в землю и потом целовали Елену; но Дружина Андреевич ничего не мог прочесть на лице жены своей, кроме беспокойства. Несколько раз длинные ресницы ее подымались, и взор, казалось, со страхом искал кого-то между гостями.

«Он здесь!» — подумал Морозов.

Вдруг ужас овладел Еленой. Глаза ее встретились с глазами мужа, и, с свойственною женскому сердцу сметливостию, она отгадала его мысли. Под этим тяжелым, неподвижным взором ей показалось невозможным поцело-

вать Серебряного и не быть в тот же миг уличенною. Все обстоятельства их встречи у садовой ограды, в первый приезд Серебряного, живо представились ее памяти. Теперешнее ее положение и ожидающий ее поцелуй показались ей божьим наказанием за ту преступную встречу, за тот преступный поцелуй. Смертельный холод пробежал по ее членам.

— Я нездорова... — прошептала она, — отпусти меня, Дружина Андреич...

— Останься, Елена, — сказал спокойно Морозов, — подожди; ты не можешь теперь уйти; это невидано, неслыхано; надо кончить обряд!

И он проникал жену насквозь испытующим взглядом.

— Ноги не держат меня!.. — произнесла Елена.

— Что? — сказал Морозов, будто не расслышан, — угорела? эка невидаль! Прошу вас, государи, подходите, не слушайте жены! Она еще ребенок; больно застенчива, ей в новинку обряд! Да к тому еще угорела! Подходите, дорогие гости, прошу вас!

«Да где же Серебряный?» — подумал Дру-

жина Андреевич, пробегая глазами гостей.

Князь Никита Романович стоял в стороне. От него не скрылось необыкновенное внимание, с каким Морозов всматривался в жену и в каждого подходившего к ней гостя. Он прочел в лице Елены страх и беспокойство. Никита Романович, всегда решительный, когда совесть его ни в чем не укоряла, теперь не знал, что делать. Он боялся, подойдя к Елене, умножить ее смущение, боялся, оставаясь позади других, возбудить подозрение мужа. Если бы мог он сказать ей хоть одно слово неприметно, он ободрил бы ее и возвратил бы ей, может быть, потерянную силу, но Елену окружали гости, муж не спускал с нее глаз; надо было на что-нибудь решиться.

Серебряный подошел, поклонился Елене, но не знал, смотреть ли ей в глаза или нарочно не встречать ее взора. Это колебание выдавало князя. С своей стороны, Елена не выдержала пытки, которой подвергал ее Морозов.

Елена обманула мужа не по легкомыслию, не по внушению сердца испорченного. Она обманула его потому, что сама обманулась, думая, что может полюбить Дружину Андре-

евича. Когда ночью у садовой ограды она уверяла Серебряного в любви своей, слова вырывались у нее невольно; она не торговалась выражениями, и если бы тогда она увидела за собой мужа, то призналась бы ему во всем чистосердечно. Но воображение Елены было пылко, а нрав робок. После ночного свидания с Серебряным ее не переставали мучить угрызения совести. К ним присоединилось еще смертельное беспокойство об участи Никиты Романовича. Сердце ее раздиралось противоположными ощущениями; ей хотелось пасть к ногам мужа и просить у него прощения и совета; но она боялась его гнева, боялась за Никиту Романовича.

Эта борьба, эти мучения, страх, внушаемый ей мужем, добрым и ласковым, но неумолимым во всем, что касалось его чести, — все это разрушительно потрясло ее телесные силы. Когда губы Серебряного прикоснулись к губам ее, она задрожала как в лихорадке, ноги под ней подкосились, а из уст вырвались слова:

— Пресвятая богородица! пожалей меня!  
Морозов подхватил Елену.

— Эх! — сказал он, — вот женское-то здорovie! Посмотреть, так кровь с молоком, а немного угару, так и ноги не держат. Да ничего, пройдет! Подходите, дорогие гости!

Голос и приемы Морозова ни в чем не изменились. Он так же казался спокоен, так же был приветлив и доброхотен.

Серебряный остался в недоумении, в самом ли деле он проник его тайну?

Когда кончился обряд и Елена, поддерживаемая девушками, удалилась в светлицу, гости, по приглашению Морозова, опять сели за стол.

Дружина Андреевич всех нудил и потчевал с прежнею заботливостью и не забывал ни одной из мелочных обязанностей, доставлявших в те времена хозяину дома славу доброго хлебосола.

Уже было поздно. Вино горячило умы, и странные слова проскакивали иногда среди разговора опричников.

— Князь, — сказал один из них, наклонясь к Вяземскому, — пора бы за дело!

— Молчи! — отвечал шепотом Вяземский, — старик услышит!

— Хоть и услышит, не поймет! — продолжал громко опричник с настойчивостью пьяного.

— Молчи! — повторил Вяземский.

— Я те говорю, князь, пора! Ей-богу, пора! Вот я знак подам!

И опричник двинулся встать. Вяземский сильною рукою пригвоздил его к скамье.

— Уймись, — сказал он ему на ухо, — не то вонжу этот нож тебе в горло!

— Ого, да ты еще грозишь! — вскричал опричник, вставая со скамьи, — вишь, ты какой! Я говорил, что нельзя тебе верить! Ведь ты не наш брат! Уж я бы вас всех, князей да бояр, что наше жалованье заедаете! Да погоди, посмотрим, чья возьмет. Долой из-под кафтана кольчугу-то! Вымай саблю! Посмотрим, чья возьмет!

Слова эти были произнесены неверным языком, среди общего говора и шума; но некоторые из них долетели до Серебряного и возбудили его внимание. Морозов их не слышал. Он видел только, что между гостями вспыхнула ссора.

— Дорогие гости! — сказал он, вставая из-

за стола, — на дворе уж темная ночь! Не пора ли на покой? Всем вам готовы и перины мягкие, и подушки пуховые!

Опричники встали, благодарили хозяина, раскланялись и пошли в приготовленные для них на дворе опочивальни.

Серебряный также хотел удалиться.

Морозов остановил его за руку.

— Князь, — сказал он шепотом, — обожди меня здесь!

И, оставя Серебряного, Дружина Андреевич отправился на половину жены.

## **Глава 16. Похищение**

**В**о время обеда вокруг дома происходило нечто необыкновенное.

С наступлением сумерек новые опричники стали являться по одному возле садовой ограды, возле забора, окружавшего двор, и наконец на самом дворе.

Люди Морозова не обратили на них внимания.

Когда настала ночь, дом был со всех сторон окружен опричниками.

Стремянный Вяземского вышел из застольной, будто бы напоить коня. Но, не дойдя ко-

нюшни, он оглянулся, посмотрел на все стороны, подошел к воротам и просвистал как-то особенно. Кто-то к нему подкрался.

— Все ли вы? — спросил стремянный.

— Все, — отвечал тот.

— Много ли вас?

— Пятьдесят.

— Добро, ожидайте знака.

— А скоро ли? Ждать надоело.

— Про то знает князь. Да слышь ты, Хомяк, князь не велит ни жечь, ни грабить дома!

— Не велит! Да что, он мне господин, что ли?

— Видно, господин, коли Григорий Лукьяныч велел быть тебе сегодня у него в приказе.

— Служить-то я ему послужу, да только ему, а не Морозову. Помогу князю увезти боярыню, а потом уж и мне никто не указывай!

— Смотри, Хомяк, князь не шутит!

— Да что ты, с ума спятил? — сказал Хомяк, злобно усмехаясь. — Князь князем, а я сам по себе. Коли мне хочется погулять, кому какое дело?

В то самое время, как разговор этот происходил у ворот, Морозов, остановив Серебряно-

го, вошел на половину Елены.

Боярыня еще не ложилась. На голове ее уже не было кокошника. Густая, полураспущенная коса упала на ее белые плечи. Летник был на груди расстегнут. Елена готовилась раздеться, но склонила голову на плечо и забылась. Мысли ее блуждали в прошедшем. Она вспоминала первое знакомство с Серебряным, свои надежды, отчаянье, предложение Морозова и данную клятву. Ей живо представилось, как в радуницу, перед самой свадьбой, она, по обычаю сирот, пошла на могилу матери, поставила под крестом чашу с красными яйцами, мысленно христосовалась с матерью и просила благословения на любовь и союз с Морозовым.

Она верила в то время, что переможет первую любовь свою, верила, что будет счастлива за Морозовым; а теперь... Елена вспомнила о поцелуйном обряде, и ее обдало холодом. Боярин вошел, не примеченный ею, и остановился на пороге. Лицо его было сурово и грустно. Несколько времени смотрел он молча на Елену. Она была еще так молода, так неопытна, так неискусна в обмане, что

Морозов почувствовал невольную жалость.

— Елена! — сказал он, — отчего ты смутилась во время обряда?

Елена вздрогнула и устремила на мужа глаза, полные страха. Ей хотелось пасть к его ногам и сказать всю правду, но она подумала, что, может быть, он еще не подозревает Серебряного, и побоялась навлечь на него мщенье мужа.

— Отчего смутилась ты? — повторил Морозов.

— Мне понездоровилось... — отвечала Елена шепотом.

— Так. Тебе нездоровилось, но не телом, а душой. Болезнь твоя душевная. Ты погубишь свою душу, Елена!

Боярыня дрожала.

— Когда сего утра, — продолжал Морозов, — Вяземский с опричниками приехали в дом наш, я читал Священное писание. Знаешь ли, что говорится в Писании о неверных женах?

— Боже мой! — произнесла Елена.

— Я читал, — продолжал Морозов, — о наказании за прелюбодейство...

— Господи! — умоляла боярыня, — будь милостив, Дружина Андреич, пожалей меня, я не столько виновна, как ты думаешь... Я не изменила тебе...

Морозов грозно сдвинул брови.

— Не лги, Елена. Не мудрствуй. Не умножай греха своего лукавою речью. Ты не изменила мне, потому что для измены нужна хотя краткая верность, а ты никогда не была мне верна...

— Дружина Андреич, пожалей меня!

— Ты никогда не была мне верна! Когда нас венчали, когда ты своею великою неправдой целовала мне крест, ты любила другого... Да, ты любила другого! — продолжал он, возвышая голос.

— Боже мой, боже мой! — прошептала Елена, закрыв лицо руками.

— Дмитриевна! А Дмитриевна! Зачем не сказала ты мне, что любишь его!

Елена плакала и не отвечала ни слова.

— Когда я тебя увидел в церкви, беззащитную сироту, в тот день, как хотели выдать тебя насильно за Вяземского, я решился спасти тебя от постылого мужа, но хотел твоей клят-

вы, что не посрамишь ты седых волос моих. Зачем ты дала мне клятву? Зачем не призналась во всем? Словами ты была со мною, а сердцем и мыслию с другим! Если бы знал я про любовь твою, разве я взял бы тебя? Я бы схоронил тебя где-нибудь в глухом поместье, далеко от Москвы, или свез бы в монастырь; но не женился бы на тебе, видит бог, не женился бы! Лучше было отойти от мира, чем достаться постылому. Зачем ты не отошла от мира? Зачем защитилась моим именем, как стеной каменною, а потом насмехалась мне с твоим любовником? Вы думали: Морозов стар, Морозов слаб, нам легко его одурачить!

— Нет, господин мой! — взрыдала Елена и упала на колени, — я никогда этого не думала! Ни в уме, ни в помышлении того не было! Да он же в ту пору был в Литве...

При слове *он* глаза Морозова засверкали, но он овладел собою и горько усмехнулся.

— Так. Вы не в ту пору спознались, но позже, когда он вернулся. Вы спознались ночью, в саду у ограды, в тот самый вечер, когда я принял и обласкал его как сына. Скажи, Елена, ужели в самом деле вы думали, что я не

угадаю вашего замысла, дам себя одурачить, не сумею наказать жену вероломную и злодея моего, ее сводчика? Ужели чаял этот молокосос, что гнусное его дело сойдет ему с рук? Аль не читал он, что в книгах Левит написано: человек аще прелюбы содеет с мужнею женой, смертию да умрут прелюбодей и прелюбодейца!

Елена с ужасом взглянула на мужа. В глазах его была холодная решительность.

— Дружина Андреич! — сказала она в испуге, — что ты хочешь сделать?

Боярин вынул из-под опашня длинную пистоллю.

— Что ты делаешь? — вскричала боярыня и отступила назад.

Морозов усмехнулся.

— Не бойся за себя! — сказал он холодно, — тебя я не убью. Возьми свечу, ступай передо мною!

Он осмотрел пистоллю и подошел к двери. Елена не двигалась с места. Морозов оглянулся.

— Свети мне! — повторил он повелительно.

В эту минуту послышался на дворе шум. Несколько голосов говорили вместе. Слуги Морозова звали друг друга. Боярин стал прислушиваться. Шум усиливался. Казалось, множество людей врывалось в подклети. Раздался выстрел.

Елене представилось, что Серебряный убит по воле Морозова. Негодование возвратило ей силы.

— Боярин! — вскричала она, и взор ее загорелся, — меня, меня убей! Я одна виновна!

Но Морозов не обратил внимания на слова ее. Он слушал, наклоня голову, и лицо его выражало удивление.

— Убей меня! — просила в отчаянье Елена, — я не хочу, я не могу пережить его! Убей меня! Я обманула тебя, я насмеялась тебе! Убей меня!

Морозов посмотрел на Елену, и если бы кто увидел его в это мгновение, тот не решил бы, жалость или негодование преобладали в его взоре.

— Дружина Андреич! — раздался голос снизу, — измена! Предательство! Опричники врываються к жене твоей! Остерегись, Дружи-

на Андреич!

То был голос Серебряного. Узнав его, Елена в неизъяснимой радости бросилась к двери. Морозов оттолкнул жену; задвинул запор и укрепил дверь на железный крюк.

Поспешные шаги послышались на лестнице, потом стук сабель, потом проклятия, борьба, громкий крик и падение. Дверь затрещала от ударов.

— Боярин! — кричал Вяземский, — отопри, не то весь дом раскидаю по бревнам!

— Не верю, князь! — отвечал с достоинством Морозов. — Еще не видано на Руси, чтобы гость бесчестил хозяина, чтобы силой врывался в терем жены его. Хмелен был мед мой; он вскружил тебе голову, князь, поди выспись; завтра всё забудем. Не забуду лишь я, что ты гость мой.

— Отопри! — повторил князь, напирая дверь.

— Афанасий Иваныч! вспомни, кто ты? Вспомни, что ты не разбойник, но князь и боярин!

— Я опричник! слышишь, боярин, я опричник! Нет у меня чести! Полюбилась мне жена

твоя, слышишь, боярин! Не боюсь студного дела; всю Москву пущу на дым, а добуду Елену!

Внезапно изба ярко осветилась. Морозов увидел в окно, что горят крыши людских служб. В то же время дверь, потрясенная новыми ударами, повалилась с треском, и Вяземский явился на пороге, озаренный пожаром, с переломленной саблей в руке.

Белая атласная одежда его была истерзана; по ней струилась кровь. Видно было, что он не без боя достиг до светлицы.

Морозов выстрелил в Вяземского почти в упор, но рука изменила боярину; пуля ударилась в косяк; князь бросился на Морозова.

Недолго продолжалась между ними борьба. От сильного удара рукоятью сабли Морозов упал навзничь. Вяземский подбежал к боярыне, но лишь только кровавые руки его коснулись ее одежды, она отчаянно вскрикнула и лишилась чувств. Князь схватил ее на руки и помчался вниз по лестнице, метя ступени ее распущенною косой.

У ворот дожидались кони. Вскочив в седло, князь полетел с полумертвою боярыней, а за

ним, гремя оружием, полетели его холопы.

Ужас был в доме Морозова. Пламя охватило все службы. Дворня кричала, падая под ударами хищников. Сенные девушки бегали с воплем взад и вперед. Товарищи Хомяка грабили дом, выбегали на двор и бросали в одну кучу дорогую утварь, деньги и богатые одежды. На дворе, над грудой серебра и золота, заглушая голосом шум, крики и треск огня, стоял Хомяк в красном кафтане.

— Эх, весело! — говорил он, потирая руки, — вот пир так пир!

— Хомяк! — вскричал один опричник, — дворня увезла Морозова по реке. Догнать аль не надо?

— Черт с ним! Не до него теперь! Эй, вы! Все на двор, не то скоро задохнемся!

— Хомяк, — сказал другой, — что велишь делать с Серебряным?

— Не трогать его ни пальцем! Приставить к нему сторожевых, чтоб глаз с него не сводили. Отвезем его милость к Слободе с почетом. Ведь видели вы, как он князь Афанасья Иваныча хватил? Как наших саблей крошил?

— Видели, видели!

— А будете в том крест целовать перед государем?

— Будем, будем! Все будем крест целовать!

— Ну ж, смотрите! Теперь чтоб никто не смел его обидеть, а как приедем домой, так уж Григорий Лукьяныч припомнит ему свою оплеуху, а я мои плети!

Долго еще шумели и грабили опричники, и когда поехали они, навьючив лошадей тяжелою добычей, то еще долго после их отъезда видно было зарево над местом, где недавно стоял дом Дружины Андреевича; и Москва-река, протекая мимо, до самого утра играла огненными струями, как растопленным золотом.

## **Глава 17. Заговор на кровь**

Соседние люди, узнав о нападении опричников и видя зарево над двором Морозова, спешили запирать ворота и гасить огонь.

— Господи! — говорили, крестясь, те из них, мимо которых скакал Вяземский с своими холопами, — господи, помилуй нас! проне-си беду мимо!

И лишь топот коней удалялся и бряцанье броней замирало в пустых улицах, жители го-

ворили: «Слава богу, миновала беда!» И опять крестились.

Между тем князь продолжал скакать и уже далеко оставил за собою холопей. Он положил на мысль еще до рассвета достичь деревни, где ожидала его подстава, а оттуда перевезть Елену в свою рязанскую вотчину. Но не проскакал князь и пяти верст, как увидел, что сбился с дороги.

В то же время он почувствовал, что раны, на которые он сторяча не обратил внимания, теперь причиняют ему нестерпимую боль.

— Боярыня! — сказал он, останавливая коня, — мои холопы отстали... надо обождать!

Елена понемногу приходила в себя. Открыв глаза, она увидела сперва зарево, потом стала различать лес и дорогу, потом почувствовала, что лежит на хребте коня и что держат ее сильные руки. Мало-помалу она начала вспоминать события этого дня, вдруг узнала Вяземского и вскрикнула от ужаса.

— Боярыня, — сказал Афанасий Иванович с горькой усмешкой, — я тебе страшен? Ты клянешь меня? Не меня кляни, Елена Дмитриевна! Кляни долю свою! Напрасно хотела

ты миновать меня. Не миновать никому судьбы, не объехать конем суженого! Видно, искони, боярыня, было тебе на роду написано, чтобы досталась ты мне!

— Князь! — прошептала Елена, дрожа от ужаса, — коли нет в тебе совести, вспомни боярскую честь свою, вспомни хоть стыд...

— Нет у меня чести, нет стыда! Все, все отдал я за тебя, Елена Дмитриевна!

— Князь, вспомни суд божий, не погуби души своей!

— Поздно, боярыня! — отвечал Вяземский со смехом. — Я уже погубил ее! Или ты думаешь, кто платит за хлеб-соль, как я, тот может спасти душу? Нет, боярыня! Этою ночью я потерял ее навеки! Вчера еще было время, сегодня нет для меня надежды, нет уж мне прощения в моем окаянстве! Да и не хочу я райского блаженства мимо тебя, Елена Дмитриевна!

Вяземский слабел все более. Он видел свое изнеможение, но тщетно крепился. Бред отуманил его рассудок.

— Елена, — сказал он, — я истекаю кровью, — холопы мои далеко... помощи взять

неоткуда, может быть, чрез краткий час я отойду в пламень вечный... полюби меня, полюби на один час... чтоб не даром отдал я душу сатане!.. Елена! — продолжал он, собирая последние силы, — полюби меня, прилука моего сердца, погубительница души моей!..

Князь хотел сжать ее в кровавых объятиях, но силы ему изменили, поводья выпали из рук, он зашатался и свалился на землю. Елена удержалась за конскую гриву. Не чуя седока, конь пустился вскачь. Елена хотела остановить его, конь бросился в сторону, помчался лесом и унес с собою боярыню.

Долго мчались они в темном бору. Сначала Елена силилась удержать коня, но вскоре руки ее ослабли, она, ухватясь за гриву, отдалась на божью волю. Конь мчался без остановки. Сучья цеплялись за платье Елены, ветви хлестали ее в лицо. Когда неслась она через поляны, освещенные месяцем, ей казалось, что в белом тумане двигаются русалки и манят ее к себе. Она слышала отдаленный однообразный шум. Вот мелькнул огонек, вот как будто серебристый призрак махнул крыльями... вдруг конь остановился, и Елена ли-

шила чувств.

Она очнулась на мягкой траве. Вокруг нее разливалась приятная свежесть. Воздух был напитан древесным запахом; шум еще продолжался, но в нем не было ничего страшного. Он, как старая знакомая песня, убаюкивал и усыплял Елену.

Она с трудом раскрыла глаза. Большое колесо, движимое водою, шумя, вертелось перед нею, и далеко летели вокруг него брызги. Отражая луну, они напомнили ей алмазы, которыми девушки украшали ее в саду в тот день, когда приехал Серебряный.

— Уж не в саду ли я у себя? — подумала Елена. — Ужель опять в саду? Девушки! Пашенька! Дуняша! Где вы?

Но вместо свежего девичья лица седая сморщенная голова нагнулась над Еленой; белая как снег борода почти коснулась ее лица.

— Вишь, как господь тебя соблюл, боярыня, — сказал незнакомый старик, любопытно вглядываясь в черты Елены, — ведь возьми конь немного левее, прямо попала бы в плёс; ну да и конь-то привычный, — продолжал он про себя, — место ему знакомо; слава богу, не

в первый раз на мельнице!

Появление старика испугало было Елену; она вспомнила рассказы про леших, и странно подействовали на нее морщины и белая борода незнакомца, но в голосе его было что-то добродушное; Елена, переменив внезапно мысли, бросилась к нему в ноги.

— Дедушка, дедушка! — вскричала она, — оборони меня, укрой!

Мельник тотчас смекнул, в чем дело: конь, на котором прискакала Елена, принадлежал Вяземскому. По всем вероятностям, она была боярыня Морозова, та самая, которую он пытался приворожить к князю. Он никогда ее не видал, но много узнал о ней через Вяземского. Она не любила князя, просила о помощи, стало быть, она, вероятно, спаслась от князя на его же коне.

Старик вмиг сообразил все эти обстоятельства.

— Господь с тобою, боярыня! — сказал он, — как мне оборонить тебя? Силен князь Афанасий Иваныч, длинны у него руки, погубит он меня, старика!

Елена со страхом посмотрела на мельника.

— Ты знаешь... — сказала она, — ты знаешь, кто я?

— Мало ли что я знаю, матушка Елена Дмитриевна! Много на моем веку нажурчала мне вода, нашептали деревья! Знаю я довольно; не обо всем говорить пригоже!

— Дедушка, коли все тебе ведомо, ты, стало быть, знаешь, что Вяземский не погубит тебя, что он лежит теперь на дороге, изрубленный. Не его боюсь, дедушка, боюсь опричников и холопей княжеских... ради пречистой богородицы, дедушка, укрой меня!

— Ох-ох-ох! — сказал старик, тяжело вздыхая, — лежит Афанасий Иваныч на дороге изрубленный! Но не от меча ему смерть написана. Встанет князь Афанасий Иваныч, прискачет на мельницу, скажет: где моя боярыня-душа, зазноба ретива сердца мово? А какую дам я ему отповедь? Не таков он человек, чтобы толковать с ним. Изрубит в куски!

— Дедушка, вот мое ожерелье! Возьми его! Еще больше дам тебе, коли спасешь меня!

Глаза мельника заблестали. Он взял жемчужное ожерелье из рук боярыни и стал любоваться им на месяце.

— Боярыня, лебедушка моя, — сказал он с довольным видом, — да благословит тебя щедрый господь и московские чудотворцы! Нелегко мне укрыть тебя от княжеских людей, коль, неравно, они сюда наедут! Только уж послужу тебе своею головою, авось бог нас помилует!

Еще не успел старик договорить, как в лесу послышался конский топот.

— Едут, едут! — вскричала Елена. — Не выдавай меня, дедушка!

— Добро, боярыня, сюда ступай за мною!

Мельник поспешно повел Елену в мельницу.

— Притаись здесь, за мешками, — сказал он, запер за нею дверь и побежал к коню.

— Ах, бог ты мой, как бы коня-то схоронить, чтоб не догадались!

Он взял его за узду, отвел на другую сторону мельницы, где была у него пасека, и привязал в кустах за ульями.

Между тем топот коней и людские голоса раздавались ближе. Мельник заперся в камере и задул лучину.

Вскоре показались на поляне люди Вязем-

ского. Двое из холопей шли пешие и несли на сплетенных ветвях бесчувственного князя. У мельницы они остановились.

— Полно, сюда ли мы заехали? — спросил старший из всадников.

— Сюда конь убежал! — отвечал другой. — Я след видел! Да здесь же и знахарь живет. Пусть посмотрит князя!

— Опустите на землю его милость, да с бережением! Что, кровь не унимается?

— Не дает бог легче, — отвечали холопы, — вот уж третий раз князь на ходу очнется, да и опять обомрет! Коли мельник не остановит руды, так и не встать князю, истечет до капли!

— Да где он, колдун проклятый? Ведите его проворней!

Опричники стали стучать в мельницу и в камору. Долго стук их и крики оставались без ответа. Наконец в каморе послышался кашель, из прорубленного отверстия высунулась голова мельника.

— Кого это господь принес в такую пору? — сказал старик, кашляя так тяжело, как будто бы готовился выкашлять душу.

— Выходи, колдун, выходи скорее, кровь унять! Боярин князь Вяземский посечен саблей!

— Какой боярин? — спросил старик, притворяясь глухим.

— Ах ты бездельник! Еще спрашивает: какой? Ломайте двери, ребята!

— Пойдите, кормильцы, пойдите! Сам выйду, зачем ломать? Сам выйду!

— Ага, небось услышал, глухой тетерев!

— Не взыщи, батюшка, — сказал мельник, вылезая, — виноват, родимый, туг на ухо, иного сразу не пойму! Да к тому ж, нечего греха таить, как стали вы, родимые, долбить в дверь да в стену, я испужался, подумал, оборони боже, уж не станичники ли! Ведь тут, кормильцы, их самые засеки и притоны. Живешь в лесу со страхом, все думаешь: что коли, не дай бог, навернутся!

— Ну, ну, разговорился! Иди сюда, смотри: вишь, как кровь бежит. Что, можно унять?

— А вот посмотрим, родимые! Эх, батюшки-светы! Да кто ж это так секанул-то его? Вот будь на полвершка пониже, как раз бы висок рассек! Ну, соблюл его бог! А здесь-то? Плечо

мало не до кости прорубано! Эх, должно быть, ловок рубиться, кто так хватил его милость!

— Можно ль унять кровь, старик?

— Трудно, кормилец, трудно. Сабля-то была наговорная!

— Наговорная? Слышите, ребята, я говорил, наговорная. А то как бы ему одному семерых посесть!

— Так, так! — отозвались опричники, — вестимо, наговорная; куды Серебряному на семерых!

Мельник все слушал и примечал.

— Ишь как руда точится! — продолжал он, — ну как ее унять? Кабы сабля была не наговорная, можно б унять, а то теперь... оно, пожалуй, и теперь можно, только я боюсь. Как стану нашептывать, язык у меня отымет-ся!

— Нужды нет, нашептывай!

— Да! нужды нет! Тебе-то нет нужды, родимый, а мне-то будет каково!

— Истома! — сказал опричник одному холопу, — подай сюда кошель с морозовскими червонцами. На тебе, старик, горсть золотых! Коль уймешь руду, еще горсть дам; не уй-

мешь — дух из тебя вышибу!

— Спасибо, батюшка, спасибо! награди тебя господь и все святые угодники! Нечего делать, кормильцы, постараюсь, хоть на свою голову, горю пособить. Отойдите, родимые, дело глаза боится!

Опричники отошли. Мельник нагнулся над Вяземским, перевязал ему раны, прочитал «Отче наш», положил руку на голову князя и начал шептать:

«Ехал человек стар, конь под ним кар, по ристаням, по дорогам, по притонным местам. Ты, мать, руда жильная, жильная, телесная, остановись, назад воротись. Стар человек тебя запирает, на покой согревает. Как коню его воды не стало, так бы тебя, руда-мать, не бывало. Пух земля, одна семья, будь по-моему! Слово мое крепко!»

По мере того как старик шептал, кровь текла медленнее и с последним словом совсем перестала течь. Вяземский вздохнул, но не открыл глаз.

— Подойдите, отцы родные, — сказал мельник, — подойдите без опасенья; унялась руда, будет жив князь; только мне худо... вот

уж теперь замечаю, язык костенеет!

Опричники обступили князя. Месяц освещал лицо его, бледное как смерть, но кровь уже не текла из ран.

— И впрямь унялась руда! Вишь, старичина, не ударил лицом в грязь!

— На тебе твои золотые! — сказал старший опричник. — Только это еще не все. Слушай, старик. Мы по следам знаем, что этой дорогой убежал княжеский конь, а может, на нем и боярыня ускакала. Коли ты их видел, скажи!

Мельник вытаращил глаза, будто ничего не понимал.

— Видел ты коня с боярыней?

Старик стал было колебаться, сказать или нет? Но тот же час он сделал следующий расчет:

Кабы Вяземский был здоров, то скрыть от него боярыню было бы ой как опасно, а выдать ее куда как выгодно! Но Вяземский оправится ли, нет ли, еще бог весть! А Морозов не оставит услуги без награды. Да и Серебряный-то, видно, любит не на шутку боярыню, коль порубил за нее князя. Стало быть, думал мельник, Вяземский меня теперь не обидит, а Се-

ребряный и Морозов, каждый скажет мне спасибо, коль я выручу боярыню.

Этот расчет решил его сомнения.

— И слухом не слышал, и видом не видал, родимые! — сказал он, — и не знаю, про какого коня, про какую боярыню говорите!

— Эй, не соврал бы ты, старик!

— Будь я анафема! Не видать мне царствия небесного! Вот пусть меня тут же громом хлопнет, коли я что знаю про коня либо про боярыню!

— А вот давай лучину, посмотрим, нет ли следов на песке!

— Да нечего смотреть! — сказал один опричник. — Хотя бы и были следы, наши кони их затоптали. Теперь ничего не увидим!

— Так нечего и смотреть. Отворяй, старик, камору, князя перенести!

— Сейчас, родимые, сейчас. Эх, стар я, кормильцы, а то бы сбегал на постоялый двор, притащил бы вам браги да вина зеленчатого!

— А дома разве нет?

— Нет, родимые. Куда мне, убогому! Нет ни вина, харчей, ни лошадям вашим корма. Вот на постоялом дворе, там все есть. Там такое

вино, что хоть бы царю на стол. Тесненко вам будет у меня, государи честные, и перекусить-то нечего; да ведь вы люди ратные, и без ужина обойдетесь! Кони ваши травку пощиплют... вот одно худо, что трава-то здесь такая... иной раз наестся конь, да так его разопрет, что твоя гора! Покачается, покачается, да и лопнет!

— Черт тебя дери, боровик ты старый! Что ж ты хочешь, чтоб наши кони перелопались?

— Оборони бог, родимые! Коней можно привязать, чтоб не ели травы; одну ночку не беда, и так простоят! А вас, государи, прошу покорно, уважьте мою камору; нет в ней ни сена, ни соломы, земля голая. Здесь не то, что постоялый двор. Вот только, как будете спать ложиться, так не забудьте перед сном прочитывать молитву от ночного страха... оно здесь нечисто!

— Ах ты чертов кум этакий! Провались ты и с своею каморой! Вишь, чем потчевать вздумал! Ребята, едем на постоялый двор! Далеко ль дотудова, старик?

— Ближко, родимые, совсем близко. Вот ступайте этую тропую; как выедете на боль-

шую дорогу, повернете влево, проедете не более версты, тут вам будет и постоялый двор!

— Едем! — сказали опричники.

Вяземский все еще был в обмороке. Холопы подняли его и осторожно понесли на носилках. Опричники сели на коней и поехали вслед.

Лишь только удалилась толпа и не стало более слышно в лесу человеческого голоса, старик отпер мельницу.

— Боярыня! Ушли! — сказал он. — Пожалуй в камору. Ах ты, сотик мой забрушенный, как притаилась-то! Пожалуй в камору, лебедушка моя, там тебе будет получше!

Он настлал свежего моху в углу каморы, зажег лучину и поставил перед Еленой деревянную чашку с медовыми сотами и краюху хлеба.

— Ешь на здоровье, боярыня! — сказал он, низко кланяясь, — вот я тебе сейчас винца принесу.

Сбегав еще раз в мельницу, он вынес из нее большую сулею и глиняную кружку.

— Во здравие твое, боярыня!

Старик, как хозяин, первый опорожнил

кружку. Вино его развеселило.

— Выпей, боярыня! — сказал он, — теперь некого тебе бояться! Они ищут постоянного двора! Найдут ли, не найдут ли, а уж сюда не вернутся; не по такой дороге я их послал, хе-хе! Да что ты, боярыня, винца не отведаешь? А впрочем, и не отведай! Это вино дрянь! Плюнь на него; я тебе другого принесу!

Мельник опять сбегал на мельницу и этот раз воротился с баклагою под мышкой и с серебряным кубком в руках.

— Вот вино так вино! — сказал он, нагибая баклагу над кубком. — Во здравие твое, боярыня! Это вино и с кубком подарил мне добрый человек... зовут его Перстнем... хе-хе! Здесь много живет добрых людей в лесу: все они со мной в дружбе! Ешь, боярыня! Да что же ты сотов не ешь? Это соты не простые. Таких сотов за сто верст не найдешь. А почему они не простые? Потому что я пчелиное дело знаю лучше любого ведуна. Я не так, как другие! Я кажинное лето самый лучший улей в болото бросаю водяному дедушке: на тебе, дедушка, кушай! Хе-хе! А он, боярыня, дай бог ему здоровья, мою пасеку бережет. Ведь от

него-то на земле и пчелы пошли. Как заездил он коня да бросил в болото, так от этого-то коня и пчелы отроились; а рыбаки-то, вишь, закинули невод да вместо рыбы и вытащили пчел... Эх, боярыня! мало ешь, мало пьешь! А вот посмотри, коли не заставлю тебя винца испить... слушай, боярыня! Во здравие... хе-хе! Во здравие князя... князя, то есть, не того, а Серебряного! Дай бог ему здоровья, вишь, как порубил того-то, то есть Вяземского-то! А боярин-то Дружина Андреич, хе-хе! Во здравие его, боярыня! Поживешь у меня денька два в похоронках, а потом куда хошь ступай, хошь к Дружине Андреичу, хошь к Серебряному, мне какое дело! Во здравие твое!

Чудно и болезненно отозвались в груди Елены слова пьяного мельника. Самые сокровенные мысли ее казались ему известны; он как будто читал в ее сердце; лучина, воткнутая в стену, озаряла его сморщенное лицо ярким светом; серые глаза его были отуманены хмелем, но, казалось, проникали Елену насквозь. Ей опять сделалось страшно, она стала громко молиться.

— Хе-хе! — сказал мельник, — молись, мо-

лись, боярыня, я этого не боюсь... меня молитвой не испугаешь, ладаном не выкуришь... я сам умею причитывать... я не какой-нибудь такой... меня и водяной дед знает, и лесовой дед... меня знают русалки... и ведьмы... и кикиморы... меня все знают... меня... меня... вот хошь, я их позову? Шикалу! Ликалу!

— Господи! — прошептала Елена.

— Шикалу! Ликалу! Что? нейдут? Постой, я их приведу! Буду, буду!

Старик встал и, шатаясь и приплясывая, вышел из каморы. Елена в ужасе заперла за ним дверь. Долго мельник разговаривал за дверью сам с собою.

— Меня все знают! — повторял он хвастливым, но уже неверным голосом, — и лесовой дед... и водяной дед... и русалки... и кикиморы... я не какой-нибудь такой!.. меня все знают! Буду, буду!

Слышно было, как старик плясал и притопывал ногами. Потом голос его стал слабеть, он лег на землю, и вскоре раздалось его храпение, которое во всю ночь сливалось с шумом мельничного колеса.

## **Глава 18. Старый знакомый**

На другой день после разорения морозов-ского дома пожилой ратник пробирался на вороной лошади в дремучем лесу. Он беспрестанно снимал шапку и к чему-то прислушивался.

— Тише, Галка, полно те фыркать, — говорил он, трепля лошадь по крутой шее, — вишь, какая неугомонная, ничего расслушать не даст. Фу ты пропасть, никак и места не спознаю! Все липа да орешник, а когда в ту пору ночью ехали, кажись, смолою попахивало!

И всадник продолжал путь свой.

— Постой, Галка! — сказал он вдруг, натянув поводья, — вот теперь опять как будто слышу! Да стой ты смирно, эк тебя разбирает! И вправду слышу! Это уж не лист шумит, это мельничное колесо! Вишь, она, мельница, куда запряталась! Только уж постой! Теперь от меня не уйдешь, тетка твоя подкурятина!

И Михеич, как будто опасаясь опять сбиться с дороги, пустился во всю прыть по направлению шума.

— Ну, слава ти, господи, — сказал он, когда между деревьями стал виднеться поросший мхом сруб с вертящимся колесом, — наси-

лу-то догнал; а то ведь чуть было не уморился: то впереди шум, то за самою спиной, ничего не разберешь! Вот она и мельница! Вон с той стороны мы в ту пору с боярином подъехали, когда станичники-то дорогу указывали. Да как же это опять будет? В ту пору колесо было справа, а теперь слева; в ту пору камора стояла окном к мельнице, а дверью к лесу, а теперь стоит окном к лесу, а дверью к мельнице! Тьфу ты, уж этот мне мельник! Вишь, как глаза отводит! Недаром же я и колесил целый день круг этого места; кабы не боярина выручать, ни за что бы сюда не приехал!

Михеич слез с своей Галки, привязал ее к дереву, подошел с некоторою боязнию к мельнице и постучался в дверь.

— Хозяин, а хозяин!

Никто не отвечал.

— Хозяин, а хозяин!

Внутри мельницы было молчание: только жернова гудели да шестерни постукивали.

Михеич попытался толкнуть дверь; она была заперта.

«Да что он, седой черт, спит али притаился?» — подумал Михеич и стал изо всей мочи

стучать в дверь и руками и ногами. Ответу не было. Михеич начал горячиться.

— Эй ты, хрен! — закричал он, — вылезай, не то огоньку подложу!

Раздался кашель, и сквозь небольшое отверстие над дверью показалась белая борода и лицо, изрытое морщинами, среди которых светились два глаза ярко-серого цвета. Михеичу стало неловко в присутствии мельника.

— Здравствуй, хозяин! — сказал он ласковым голосом.

— Господь с тобою! — отвечал мельник, — чего тебе, добрый человек?

— Аль не узнал меня, хозяин? Ведь я у тебя ономнясь с боярином ночевал.

— С князем-то? Как не узнать, узнал! Что ж, батюшка, с чем бог принес?

— Да что ж ты, хозяин, забился, как филин в дупло! Или меня впусти, или сам выйди; так говорить несподручно!

— Постой, батюшка, дай только хлебушка подсыпать, вот я к тебе сейчас выйду!

«Да! — подумал Михеич, — посмотрел бы я, какого ты, чертов кум, хлеба подсыпешь? Я чай, кости жидовские ведьмам на муку пере-

малываешь! Тут и завозу быть не может; вишь, какая глушь, и колеи-то все травой заросли!»

— Ну вот, батюшка, я к тебе и вышел, — сказал мельник, тщательно запирая за собою дверь.

— Насилу-то вышел! Довольно ты поломался, хозяин.

— Да что, куманек, живу ведь не на базаре, в лесу. Всякому отпирать не приходится; далеко ли до беды: видно, что человек, а почему знать, хлеб ли святой у него под полой или камень булыжник!

«Вишь, мухомор! — подумал Михеич, — прикидывается, что разбойников боится, а я чай, нет лешего, с которым бы детей не крестил!»

— Ну, батюшка, что тебе до меня? Ты мне расскажи, а я послушаю!

— Да вот что, хозяин: беда случилась, хуже смерти пришлось; схватили окаянные опричники господина моего, повезли к Слободе с великою крепостью, сидит он теперь, должно быть, в тюрьме, горем крутит, горе мыкает; а за что сидит, одному богу ведомо; не сотворил

никакого дурна ни перед царем, ни перед господом; постоял лишь за правду, за боярина Морозова да за боярыню его, когда они лукавством своим, среди веселья, на дом напали и дотла разорили.

Глаза мельника приняли странное выражение.

— Ох-ох-ох! — сказал он — худо, кормилец; худо, кормилец; худо карасю, когда в шум заплывет. Худо князю твоему в темнице сидеть, хуже Морозову без жены молодой, еще хуже Вяземскому от чужой жены!

Михеич удивился.

— Да ты почему знаешь, что Вяземский Морозова жену увез? Я тебе ничего про это не сказывал!

— Эх, куманек, не то одно ведомо, что сказывается; иной раз далеко в лесу стукнет, близко отзовется; когда под колесом воды убыло, знать есть засуха и за сто верст, и будет хлебу недород велик, а наш брат, старик, живи себе молча; слушай, как трава растет, да мотай себе за ухо!

— Что ж, хозяин, уж не знаешь ли, как помочь боярину? Я вот все думал да гадал, рас-

кидывал умом-разумом, ничего не придумал. Пойду, говорю, к доброму человеку, попрошу совета. Да, признаться, и тот молодец на уме все мотался, что проводил-то нас до тебя. Говорил мне тогда: коли понадоблюсь, говорит, боярину, приходи, говорит, на мельницу, спроси у дедушки, где Ванюха Перстень, а я, говорит, рад боярину служить; за него, говорит, и живот положу! Вот я к тебе и приехал, хозяин; сделай божескую милость, научи, как боярина вызволить. А научишь, уж не забудет тебя князь Никита Романыч, да и я, горемычный, буду вечным слугою твоим.

«Провалиться бы тебе сквозь землю, тетка твоя подкурятина, — прибавил мысленно Михеич, — вот кому довелось кланяться!»

— Что ж, батюшка, почему не попытаться горю пособить. Плохо дело, что и говорить, да ведь ухватом из поломя горшки вымаются, а бывает инольды, и зернышко из-под жернова цело выскочит; всяко бывает, какое кому счастье!

— Оно так, хозяин, при счастье и петушок яичко снесет, а при несчастье и жук забодает, только бью тебе челом, научи уму-разуму, что

мне теперь делать?

Мельник опустил голову и стал как будто прислушиваться к шуму колеса.

Прошло несколько минут. Старик покачал головой и заговорил, не обращая внимания на Михеича:

«Ходит, ходит колесо кругом, что было высоко, то будет низко, что было низко, будет высоко; слышу, далеко звонит колокол, невесть на похороны, невесть на свадьбу; а кого венчать, кого хоронить, не слышать, вода шумит, не видать за великим дымом!

Слетаются вороны издалека, кличут друг друга на богатый пир, а кого клевать, кому очи вымать, и сами не чувят, летят да кричат! Наточен топор, наряжен палач; по дубовым доскам побегут, потекут теплой крови ручьи; слетят головы с плеч, да неведомо чьи!»

Михеич струсил.

— Что ты, дедушка, говоришь такое, да еще и причитываешь, словно по покойнике?

Мельник, казалось, не слышал Михеича. Он уже ничего не говорил, но только бормотал себе что-то под нос. Губы его без умолку шевелились, а серые глаза смотрели тускло,

как будто ничего не видели.

— Дедушка, а дедушка! — и Михеич дернул его за рукав.

— А? — отозвался мельник и обратился к Михеичу, будто теперь только его заметил.

— Что ты бормочешь, дедушка?

— Эх, куманек! Много слышится, мало скаывается. Ступай теперь путем-дорогой мимо этой сосны. Ступай все прямо; много тебе будет поворотов и вправо и влево, а ты все прямо ступай; верст пять проедешь, будет в стороне избушка, в той избушке нет живой души. Подожди там до ночи, придут добрые люди, от них больше узнаешь. А обратным путем заезжай сюда, будет тебе работа; залетела жар-птица в западню; отвезешь ее к царю Далмату, а выручку пополам!

И, не дожидаясь ответа, старик вошел в мельницу и запер за собою дверь.

— Дедушка! — закричал ему вслед Михеич, — да скажи мне толком, про каких ты людей говоришь, про какую птицу?

Но мельник не отозвался на голос Михеича, и сколько тот ни прислушивался, он ничего не мог услышать, кроме шума воды и стука

колес.

«Вишь, тетка его подкурятина! — подумал Михеич, — куда вздумал посылать! Верст пять будет избушка, в ней жди до ночи, а там черт знает кто придет, больше скажет. Послал бы я тебя самого туда, хрен этакий! Кабы не боярин, уж я бы дал тебе! Вишь, какой, в самом деле! Тьфу! Ну, Галка, нечего делать, давай искать чертовой избушки!»

И, сев на коня, Михеич присвистнул и пустился рысцой по направлению, указанному мельником.

## **Глава 19. Русский человек добро ПОМНИТ**

**Б**ыло уже поздно, когда Михеич увидел в стороне избушку, черную и закоптевшую, похожую больше на полуистлевший гриб, чем на человеческое жилище. Солнце уже зашло. Полосы тумана стлались над высокою травой на небольшой расчищенной поляне. Было свежо и сыро. Птицы перестали щебетать, лишь иные время от времени зачинали сонную песнь и, не окончив ее, засыпали на ветвях. Мало-помалу и они замолкли, и среди общей тишины слышно было лишь слабое

журчанье невидимого ручья да изредка жужжание вечерних жуков.

— Вишь, куда заехали, — сказал Михеич, оглядываясь кругом, — и подлинно тут живой души нет! Подожду, посмотрю, кто такой придет, какого даст совета? Ну, а коли, не дай бог, кто-нибудь такой придет, что... тьфу! С нами крестная сила! Дал бы я карачуна этому мельнику, кабы не боярина выручать.

Михеич слез с своей Галки, стреножил ее путами, снял узду и пустил лошадку на волю божию.

— Щипли себе травку, — сказал он, — а я войду в избу, коли дверь не заперта, посмотрю, нет ли чего перекусить! Хозяйство, может, хоть и недоброе, да ведь и голод не тетка!

Он толкнул ногой низенькую косую дверь; странно раздался в этом безлюдном месте ее продолжительный скрип, почти похожий на человеческий плач. Когда наконец, повернувшись на петлях, она ударилась в стену, Михеич нагнулся и вошел в избу. Его обдало темнотой и запахом остывшего дыма. Пошарив кругом, он оцупал на столе краюху хлеба и

принялся убирать ее за обе щеки. Потом подошел к очагу, порылся в золе, нашел там горячие уголья, раздул их не без труда и зажег лучину, валявшуюся на лавке. Между печью и стеною были укреплены полати. На них лежало разное платье, между прочим один парчовый кафтан, шитый хоть бы на боярина. На стене висела мисюрка с богатою золотою насечкой. Но более всего привлек внимание Михеича стоявший на косяке образ, весь почерневший от дыма. Он примирил его с неизвестными хозяевами.

Михеич несколько раз на него перекрестился, потом погасил лучину, влез на полати, растянулся, побряхтел и заснул богатырским сном. Он спал довольно сладко, когда внезапный удар кулаком в бок свалил его с полатей.

— Это что? — вскричал Михеич, проснувшись уже на голой земле, — кто это дерется? смотри, тетка твоя...

Перед ним стоял детина со включенною бородой, с широким ножом за поясом и готовился попотчевать его новым ударом кулака.

— Не замай! — сказал ему другой дюжий

парень, у которого только что ус пробивался, — что он тебе сделал? А? — При этом он оттер товарища плечом, а сам уставился на Михеича и выпучил глаза.

— Ишь, сядой! — заметил он с каким-то почтительным удивлением.

— Да ты, тюлень, чего ввязался! — закричал на него первый, — что он тебе, отец али сват?

— А то он мне, что старик. Ишь, сядой, потому старик. Я те говорю, не тронь, осерчаю!

Громкий смех раздался между людьми, вошедшими толпою в избу.

— Эй, Хлопко, — сказал один из них, — берегись! Коли Митька осерчает, плохо будет! С ним, брат, не связывайся!

— Леший с ним свяжется! — отвечал Хлопко, отходя в сторону. — Жили, жили в лесу, да и нажили медведя!

Другие молодцы, все вооруженные, обступили Михеича и смотрели на него не слишком ласково.

— Откуда кожан залетел? — спросил один из них, глядя ему прямо в глаза.

Михеич между тем успел оправиться.

«Эге! — подумал он, — да это они-то и есть, станичники-то!»

— Здравствуйте, добрые люди! А где у вас тот, что зовут Ванюхой Перстнем?

— Так тебе атамана надо? Чего ж ты прежде не говорил? Сказал бы сразу, так не отведал бы тумака!

— А вот и атаман! — прибавил другой, указывая на Перстня, который только что вошел в сопровождении старого Коршуна.

— Атаман! — закричали разбойники, — вот пришел человек, про тебя спрашивает!

Перстень окинул быстрым оком Михеича и тотчас узнал его.

— А, это ты, товарищ! — сказал он, — добро пожаловать! Ну, что его княжеская милость, как здоровствует с того дня, как мы вместе Малютиных опричников щелкали? Досталось им от нас на Поганой Луже! Жаль только, что Малюта Лукьяныч ускользнул да что этот увалень, Митька, Хомяка упустил. Несдобровать бы им у меня в руках! Что, я чай, батюшка-царь куда как обрадовался, как царевища-то увидал! Я чай, не нашел, чем пожаловать князь Никиту Романыча!

— Да! — отвечал со вздохом Михеич, — жалует царь, да не жалует псарь! Батюшка-государь Иван Васильич, дай бог ему здоровья, таки миловал господина моего. Только, видно, не угодил Никита Романыч опричникам окаянным. Правда, не за что им и любить нас. Перво в Медведевке мы их плетьюми отшлепали, да вдругорь на Поганой Луже Малюте оплеуху дали, да вот вчера на Москве боярин таки порубил их порядком. А они, окаянные, навалились на него многолюдством, опрокинули, связали, да и повезли к Слободе. Оно бы все ничего, да этот Малюта, песий сын, обнесет нас перед государем, выместит на князе свою оплеуху!

— Гм! — сказал Перстень, садясь на скамью, — так царь не велел повесить Малюту? Как же так? Ну, про то знает его царская милость. Что ж ты думаешь делать?

— Да что, батюшка Иван, не знаю, как и величать твое здоровье по изотчеству...

— Величай Ванюхой, и дело с концом!

— Ну, батюшка Ванюха, я и сам не знаю, что делать. Авось ты чего не пригадаешь ли? Ведь один-то ум хорош, а два лучше! Вот и

мельник ни к кому другому, а к тебе послал: ступай, говорит, к атаману, он поможет; уж я, говорит, по приметам вижу, что ему от этого будет всякая удача и корысть богатая! Ступай, говорит, к атаману!

— Ко мне! Так и сказал, ко мне?

— К тебе, батюшка, к тебе. Ступай, говорит, к атаману, отдай от меня поклон, скажи, чтобы во что б ни стало выручил князя. Я-де, говорит, уж вижу, что ему от этого будет корысть богатая, по приметам, дескать, вижу. Пусть, во что б ни стало, выручит князя! Я-де, говорит, этой службы не забуду. А не выручит атаман князя, всякая, говорит, будет напасть на него; исчахнет, говорит, словно былинка; совсем, говорит, пропадет!

— Вот что! — сказал Перстень, потупя голову и как будто задумавшись. — Ужель и вправду исчахну?

— Да, батюшка, и руки и ноги, говорит, отсохнут; а на голове такая, говорит, пойдет дрянь, что не приведи господи!

Перстень поднял голову и пристально взглянул на Михеича.

— А еще ничего не сказал мельник?

— Как же, батюшка! — продолжал Михеич, поглядывая сбоку на дымящийся горшок щей, который разбойники поставили на стол, — еще мельник сказал так: скажи, дескать, атаману, чтоб он тебя накормил и напоил хорошенько, примерно, как бы самого меня. А главное, говорит, чтоб выручил князя. Вот что, батюшка, мельник сказал.

И Михеич посматривал на атамана, изведывая, какое впечатление произвели его слова?

Но Перстень взглянул на него еще пристальнее и вдруг залился самым громким, самым веселым смехом.

— Эх, старина, старина! Так тебе и вправду мельник сказал, что коли не выручу князя, так вот и пропаду?

— Да, батюшка, — отвечал стремянный, немного запинаясь, — и руки и ноги...

— Хитер же ты, брат! — перебил Перстень, ударив его по плечу и продолжая смеяться, — только меня-то напрасно надувать вздумал! Садись с нами, — прибавил он, придвигаясь к столу, — хлеб да соль! На тебе ложку, повечеряем; а коли можно помочь князю, я и без

твоих выдумок помогу. Только как и чем помочь? Ведь князь-то в тюрьме сидит?

— В тюрьме, батюшка.

— В той самой, что на площади, у Малютина дома?

— Да уж ни в какой другой. Эта будет покрепче!

— А ключи ведь у кого? У Малюты?

— Да как были мы в Слободе, так, бывало, видели, как он хаживал в тюрьму пытаться людей. Ключи, бывало, всегда с ним. А к ночи, бывало, он их к царю относит, а уж царь, всем ведомо, под самое изголовье кладет.

— Ну так вишь ли! — сказал Перстень, опуская ложку в щи, — какой тут бес твоему князю поможет? Ну говори сам: какой бес ему поможет?

Михеич почесал затылок.

— Так ты видишь, что нельзя помочь?

— Вижу, — отвечал Михеич и ложку бросил. — Стало, и мне не жить на белом свете! Пойду к господину, сложу старую голову подле его головы, стану ему на том свете служить, коль на этом заказано!

— Ну, ну, уж и отходную затянул! Еще, мо-

жет, князь твой и не в тюрьме. Тогда и плакать нечего; а коли в тюрьме, так дай подумать... Слободу-то я хорошо знаю; я туда прошедшего месяца медведя водил, и дворец знаю, все высмотрел; думал себе: когда-нибудь пригодится!.. Пстой, дай поразмыслить...

Перстень задумался.

— Нашел! — вскричал он вдруг и вскочил с места. — Дядя Коршун! Нас с тобой князь от смерти спас — спасем и мы его; теперь наша очередь! Хочешь идти со мной на трудное дело?

Старый разбойник нахмурился и покачал кудрявою головой.

— Что, Коршун, нешто не хочется тебе?

— Да что ты, атаман, с ума, что ли, спятил? Аль не слыхал, где сидит князь? Аль не слыхал, что ключи днем у Малюты, а ночью у царя под изголовьем? Что тут делать? Плетью обуха не перешибешь. Пропал он, так и пропал! Нешто из-за него и нам пропадать? Легче ему, что ли, будет, когда с нас шкуру сдерут?

— Оно так, Коршун, да ведь недаром пословица говорится: долг платежом красен! Ведь

не спаси нас в то время князь, где бы мы теперь были? Висели бы где-нибудь на березе, ветер бы нас покачивал! А каково-то ему теперь? Я чай, думает себе: вот, я в ту пору ребяташек вызволил из беды, теперь и они меня вызволят! А как бросим мы его, да как поведут его казнить, — тьфу! скажет, — чтой-то за люди были, воровать-разбойничать умеют, а добра-то не помнят! Только, скажет, кровь неповинную проливают, а христианина спасти не их дело! Я, скажет, за них господу богу и доброго слова не замолвлю! Пусть себе, скажет, и на этом свету и на том пропадают! Вот что скажет князь!

Коршун еще более нахмурил брови. Внутренняя борьба отразилась на суровом лице его. Заметно было, что Перстень удачно тронул живую струну в очерствелом его сердце.

Но недолго продолжалась эта борьба. Старик махнул рукою.

— Нет, брат, — сказал он, — пустое затеваешь; своя рубаха ближе к телу! Не пойду!

— Ну нет так нет! — сказал Перстень. — Подождем утра, авось что другое придумаем, утро вечера мудренее! А теперь, ребяташки,

пора бы и соснуть! Кто может богу молиться, молись, а кто не может, так ложись!

Атаман посмотрел искоса на Коршуна. Видно, знал он что-нибудь за стариком, ибо Коршун слегка вздрогнул и, чтоб никто того не заметил, стал громко зевать, а потом напевать себе что-то под нос.

Разбойники встали. Иные тотчас влезли на полати; другие еще долго молились перед образом. Из числа последних был Митька. Он усердно клал земные поклоны, и если б одежда и вооружение не обличали ремесла его, никто бы по добродушному лицу Митьки не узнал в нем разбойника.

Не таков был старый Коршун. Когда все улеглись, Михеич увидел при слабом мерцании огня, как старик слез с лежанки и подошел к образу. Несколько раз он перекрестился, что-то пробормотал и наконец сказал с сердцем:

— Нет, не могу! А чаял, будет легче сегодня!

Долго слышал Михеич, как Коршун ворочался с боку на бок, ворчал что-то про себя, но не мог заснуть. Перед рассветом он разбудил

атамана.

— Атаман, — сказал он, — а атаман!

— Чего тебе, дядя?

— Пожалуй, я пойду с тобой; веди куда знаешь!

— Что так?

— Да так, спать не могу. Вот уж которую ночь не спится.

— А назад не попятишься?

— Уж сказал иду, так не попячусь!

— Ну, ладно, дядя Коршун, спасибо! Теперь только бы еще одного товарища, а более не надо! Много ли ночи осталось?

— Уж, слышно, птахи заиграли.

— Ну, так уже вволю полежано, и вставать пора, Митька! — сказал Перстень, толкая под бок Митьку.

— А? — отвечал, раскрыв глаза, парень.

— Хочешь идти с нами?

— Кудь?

— Тебе что за дело? Спрашивают тебя, хочешь ли идти со мной да с дедушкой Коршунном?

— А для ча? — отвечал Митька, зевая, и свесил ноги с полатей.

— Ну, за это люблю. Иди куда поведут, а не спрашивай: кудь? Расшибут тебе голову, не твое дело, про то мы будем знать, а тебе какая нужда! Ну, смотри ж, взялся за гуж, не говори: не дюж; попятишься назад, раком назову!

— Ня назовешь! — отвечал Митька и стал обертывать ноги онучами.

Разбойники начали одеваться.

В чем состояла выдумка Перстня и удачно ль он исполнил ее, — узнаем из следующих глав.

## Глава 20. Веселые люди

**В** глубокой и темной тюрьме, которой мокрые стены были покрыты плесенью, сидел князь Никита Романович, скованный по рукам и ногам, и ожидал себе смерти. Не знал он наверно, сколько прошло дней с тех пор, как его схватили, ибо свет ниоткуда не проникал в подземелье; но время от времени доходил до слуха его отдаленный благовест, и, соображаясь с этим глухим и слабым звоном, он рассчитал, что сидит в тюрьме более трех дней. Брошенный ему хлеб был уже давно съеден, оставленный ковш с водою давно выпит, и голод и жажда начинали его мучить,

как непривычный шум привлек его внимание. Над головой его отпирали замок. Заскрипела первая, наружная дверь темницы. Шум раздался ближе. Загремел другой замок, и вторая дверь заскрипела. Наконец отперли третью дверь, и слышались шаги, спускающиеся в подземелье. Сквозь щели последней двери блеснул огонь, ключ с визгом повернулся, несколько засовов отодвинулось, ржавые петли застонали, и яркий, нестерпимый свет ослепил Серебряного.

Когда он опустил руки, которыми невольно закрыл глаза, перед ним стояли Малюта Скуратов и Борис Годунов. Сопровождавший их палач держал высоко над ними смоляный светоч.

Малюта, скрестив руки, глядел, улыбаясь, в лицо Серебряному, и зрачки его, казалось, сжимались и расширялись.

— Здравствуй, батюшка-князь! — проговорил он таким голосом, которого никогда еще не слыхивал Никита Романович, голосом протяжно-вкрадчивым и зловеще-мягким, напоминающим кровожадное мяуканье кошки, когда она подходит к мышеловке, в которой

сидит пойманная мышь.

Серебряный невольно содрогнулся, но вид Годунова подействовал на него благотворно.

— Борис Федорович, — сказал он, отворачиваясь от Малюты, — спасибо тебе, что ты посетил меня. Теперь и умереть будет легче!

И он протянул к нему скованную руку. Но Годунов отступил назад, и на холодном лице его ни одна черта не выразила участия к князю.

Рука Серебряного, гремя цепью, опять упала к нему на колени.

— Не думал я, Борис Федорович, — сказал он с упреком, — что ты отступишься от меня. Или ты только пришел на мою казнь посмотреть?

— Я пришел, — ответил спокойно Годунов, — быть у допроса твоего вместе с Григорьем Лукьяновичем. Отступаться мне не от чего; я никогда не мыслил к тебе и только, ведая государево милосердие, остановил в ту пору заслуженную тобою казнь!

Сердце Серебряного болезненно сжалось, и перемена в Годунове показалась ему тяжелее самой смерти.

— Время милосердия прошло, — продолжал Годунов хладнокровно, — ты помнишь клятву, что дал государю? Покорись же теперь его святой воле, и если признаешься нам во всем без утайки, то минуешь пытку и будешь казнен скорою смертью. Начнем допрос, Григорий Лукьянович!

— Погоди, погоди маленько! — отвечал Малюта, улыбаясь. — У меня с его милостью особые счета! Укороти его цепи, Фомка, — сказал он палачу.

И палач, воткнув светоч в железное кольцо, вделанное в стену, подтянул руки Серебряного к самой стене, так что он не мог ими двинуть.

Тогда Малюта подступил к нему ближе и долго смотрел на него, не изменяя своей улыбки.

— Батюшка, князь Никита Романыч! — заговорил он наконец, — не откажи мне в милости великой!

Он стал на колени и поклонился в землю Серебряному.

— Мы, батюшка-князь, — продолжал он с насмешливою покорностью, — мы перед тво-

ею милостью малые люди; таких больших бояр, как ты, никогда еще своими руками не казнили, не пытывали и к допросу-то приступить робость берет! Кровь-то, вишь, говорят, не одна у нас в жилах течет...

И Малюта остановился, и улыбка его сделалась ядовитее, и глаза расширились более, и зрачки запрыгали чаще.

— Дозволь, батюшка-князь, — продолжал он, придавая своему голосу умоляющее выражение, — дозволь перед допросом, для смелости-то, на твою боярскую кровь посмотреть!

И он вынул из-за пояса нож и подполз на коленях к Серебряному.

Никита Романович рванулся назад и взглянул на Годунова.

Лицо Бориса Федоровича было неподвижно.

— А потом, — продолжал, возвышая голос, Малюта, — потом дозволь мне, худородному, из княжеской спины твоей ремней выкроить! Дозволь мне, холопу, боярскую кожу твою на конский чепрак снять! Дозволь мне, смрадному рабу, вельможным мясом твоим собак моих накормить!

Голос Малюты, обыкновенно грубый, теперь походил на визг шакала, нечто между плачем и хохотом.

Волосы Серебряного стали дыбом. Когда в первый раз Иоанн осудил его на смерть, он твердо шел на плаху; но здесь, в темнице, скованный цепями, изнуренный голодом, он не в силах был вынести этого голоса и взгляда.

Малюта несколько времени наслаждался произведенным им действием.

— Батюшка-князь, — взвизгнул он вдруг, бросая нож свой и подымаясь на ноги, — дозволь мне прежде всего тебе честно долг заплатить!

И, стиснув зубы, он поднял ладонь и замахнулся на Никиту Романовича.

Кровь Серебряного отхлынула к сердцу, и к негодованию его присоединился тот ужас омерзения, какой производит на нас близость нечистой твари, грозящей своим прикосновением.

Он устремил отчаянный взор свой на Годунова. В эту минуту, подъятая рука Малюты остановилась на воздухе, схваченная Борисом Федоровичем.

— Григорий Лукьянович, — сказал Годунов, не теряя своего спокойствия, — если ты его ударишь, он расшибет себе голову об стену, и некого будет нам допрашивать. Я знаю этого Серебряного.

— Прочь! — заревел Малюта, — не мешай мне над ним потешиться! не мешай отплатить ему за Поганую Лужу!

— Опомнись, Григорий Лукьянович! мы отвечаем за него государю!

И Годунов схватил Малюту за обе руки.

Но как дикий зверь, почувявший кровь, Малюта ничего уже не помнил. С криком и проклятиями вцепился он в Годунова и старался опрокинуть его, чтобы броситься на свою жертву. Началась между ними борьба; светоч, задетый одним из них, упал на землю и погас под ногою Годунова.

Малюта пришел в себя.

— Я скажу государю, — прохрипел он, задыхаясь, — что ты стоишь за его изменника!

— А я, — ответил Годунов, — скажу государю, что ты хотел убить его изменника без допроса, потому что боишься его показаний!

Нечто вроде рычания вырвалось из груди

Малюты, и он бросился из темницы, позвав с собою палача.

Между тем как они ощупью взбирались по лестнице, Серебряный почувствовал, что ему отпускают цепи и что он опять может двигаться.

— Не отчаивайся, князь! — шепнул ему на ухо Годунов, крепко сжимая его руку, — главное — выиграть время!

И он поспешил вслед за Малютой, заперев предварительно за собою дверь и тщательно задвинув засовы.

— Григорий Лукьянович, — сказал он Скуратову, догнав его у выхода и подавая ему ключи в присутствии стражи, — ты не запер тюрьмы. Этак делать не годится; неравно, подумают, ты заодно с Серебряным!

В то самое время, как описанное происходило в тюрьме, Иоанн сидел в своем тереме, мрачный и недовольный. Незнакомое ему чувство мало-помалу им овладело. Чувство это было невольное уважение к Серебряному, которого смелые поступки возмущали его самодержавное сердце, а между тем не подходили под собственные его понятия об измене.

Доселе Иоанн встречал или явное своеволие, как в боярах, омрачавших своими раздорами время его малолетства, или гордое непокорство, как в Курбском, или же рабскую низкопоклонность, как во всех окружавших его в настоящее время. Но Серебряный не принадлежал ни к одному из этих разрядов. Он разделял убеждения своего века в божественной неприкосновенности прав Иоанна; он умственно подчинялся этим убеждениям и, более привыкший действовать, чем мыслить, никогда не выходил преднамеренно из повиновения царю, которого считал представителем божией воли на земле. Но несмотря на это, каждый раз, когда он сталкивался с явной несправедливостью, душа его вскипала негодованием, и врожденная прямота брала верх над правилами, принятыми на веру. Он тогда, сам себе на удивление и почти бессознательно, действовал наперекор этим правилам, и на деле выходило совсем не то, что они ему предписывали. Эта благородная непоследовательность противоречила всем понятиям Иоанна о людях и приводила в замешательство его знание человеческого сердца.

ца. Откровенность Серебряного, его неподкупное прямодушие и неспособность преследовать личные выгоды были очевидны для самого Иоанна. Он понимал, что Серебряный его не обманет, что можно на него вернее положиться, чем на кого-либо из присяжных опричников, и ему приходило желание приблизить его к себе и сделать из него свое оружие; но вместе с тем он чувствовал, что оружие это, само по себе надежное, может неожиданно ускользнуть из рук его, и при одной мысли о такой возможности расположение его к Серебряному обращалось в ненависть. Хотя подвижная впечатлительность Иоанна и побуждала его иногда отказываться от кровавых дел своих и предаваться раскаянию, но то были исключения; в обыкновенное же время он был проникнут сознанием своей непогрешимости, верил твердо в божественное начало своей власти и ревниво охранял ее от посторонних посягательств; а посягательством казалось ему всякое, даже молчаливое осуждение. Так случилось и теперь. Мысль простить Серебряного мелькнула в душе его, но тотчас же уступила место убеждению, что

Никита Романович принадлежит к числу людей, которых не должно терпеть в государстве.

«Аще, — подумал он, — целому стаду, идущу одесную, единая овца идет ошую, пастырь ту овцу изъемлет из стада и закланию предаст!» Так подумал Иоанн и решил в сердце своем участь Серебряного. Казнь ему была назначена на следующий день; но он велел снять с него цепи и послал ему вина и пищи от своего стола. Между тем, чтобы разогнать впечатления, возбужденные в нем внутреннею борьбою, впечатления непривычные, от которых ему было неловко, он вздумал проехаться в чистом поле и приказал большую птичью охоту.

Утро было прекрасное. Сокольничий, подсокольничий, начальные люди и все чины сокольничья пути выехали верхами, в блестящем убранстве, с соколами, кречетами и челигами на рукавицах и ожидали государя в поле.

Недаром искони говорилось, что полевая потеха утешает сердца печальные, а кречетья добыча веселит весельем радостным старого

и малого. Сколь ни пасмурен был царь, когда выехал из Слободы с своими опричниками, но при виде всей блестящей толпы сокольников лицо его прояснилось. Местом сборища были заповедные луга и перелески верстах в двух от Слободы по Владимирской дороге.

Сокольничий, в красном бархатном кафтане с золотою нашивкой и золотою перевязью, в парчовой шапке, в желтых сапогах и в нарядных рукавицах, слез с коня и подошел к Иоанну, сопровождаемый подсокольничим, который нес на руке белого кречета, в клубучке и в колокольцах.

Поклонившись до земли, сокольничий спросил:

— Время ли, государь, веселью быть?

— Время, — отвечал Иоанн, — начинай веселье!

Тогда сокольничий подал царю богатую рукавицу, всю испещренную золотыми притчами, и, приняв кречета от подсокольничего, посадил его государю на руку.

— Честные и доброхвальные охотники! — сказал сокольничий, обращаясь к толпе опричников, — забавляйтесь и утешайтесь

славною, красною и премудрою охотой, да исчезнут всякие печали и да возрадуются сердца ваши!

Потом, обратясь к сокольникам:

— Добрые и прилежные сокольники, — сказал он, — напускайте и добывайте!

Тогда вся пестрая толпа сокольников рассеялась по полю. Иные с криком бросились в перелески, другие поскакали к небольшим озерам, разбросанным как зеркальные осколки между кустами. Вскоре стаи уток поднялись из камышей и потянулись по воздуху.

Охотники пустили соколов. Утки бросились было обратно к озерам, но там встретили их другие соколы, и они в испуге разметались, как стрелы, по всем направлениям.

Соколы, дермлиги и разные челиги, ободряемые криками поддатней, нападали на уток, кто вдогонку, кто наперехват, кто прямым боем, сверху вниз, падая, как камень, на спину добычи.

Отличились в этот день и Бедряй, и Смеляй, сибирские челиги, и Арбаси Анпрас, соколы-дикомыты, и Хорьяк, и Худяк, и Малец, и Палец. Досталось от них и уткам и тетере-

вам, которых рядовые сокольники выпугивали бичами из зарослей. Чуден и красносмотрителен был лет разнопородных соколов. Теререва беспрестанно падали, кувыркаясь в воздухе. Несколько раз утки в отчаянье бросались лошадям под ноги и были схвачены охотниками живьем. Не обошлось и без наклада. Молодик Гамаюн, бросившись с высоты на старого косача, летевшего очень низко, ударился грудью оземь и убился на месте.

Астрец и Сородум, два казанские розмытя, улетели из виду охотников, несмотря ни на свист поддатней, ни на голубиные крылья, которыми они махали.

Но всех славнее и удивительнее выказал себя царский кречет, честник, по прозванию Адраган. Два раза напускал его царь, и два раза он долго оставался в воздухе, бил без промаху всякую птицу и, натешившись вдоволь, спускался опять на золотую рукавицу царя. В третий раз Адраган пришел в такую ярость, что начал бить не только полевую птицу, но и самих соколов, которые неосторожно пролетали мимо него. Сокол Смышляй и соколий челиг Кружок упали на землю с подрезанны-

ми крыльями. Тщетно царь и все бывшие при нем сокольники манили Адрагана на красное сукно и на птичьи крылья. Белый кречет чертил в небе широкие круги, подымался на высоту невидимую и подобно молнии стремился на добычу; но вместо того чтоб опускаться за нею на землю, Адраган после каждой новой победы опять взмывал кверху и улетал далеко.

Сокольничий, потеряв надежду достать Адрагана, поспешил подать царю другого кречета. Но царь любил Адрагана и припечалился, что пропала его лучшая птица. Он спросил у сокольничего, кому из рядовых указано держать Адрагана? Сокольничий отвечал, что указано рядовому Тришке.

Иоанн велел позвать Тришку. Тришка, чуя беду, явился бледный.

— Человече, — сказал ему царь, — так ли ты блюдешь честника? На что у тебе вабило, коли ты не умеешь наманить честника? Слушай, Тришка, отдаю в твои руки долю твою: коли достанешь Адрагана, пожалую тебя так, что никому из вас такого времени не будет; а коли пропадет честник, велю, не прогневай-

ся, голову с тебя снять, — и то будет всем за страх; а я давно замечаю, что нет меж сокольников доброго строения и гибнет птичья потеха!

При последних словах Иоанн покосился на самого сокольничего, который, в свою очередь, побледнел, ибо знал, что царь ни на кого не косится даром.

Тришка, не теряя времени, вскочил на конь и поскакал искать Адрагана, молясь своему заступнику, святому угоднику Трифону, чтоб указал он ему потерянного кречета.

Охота меж тем шла своим чередом. Уже не по один час тешился государь, и уже много всякой добычи было ввязано в торока, как новое зрелище обратило на себя внимание Иоанна.

По Владимирской дороге тащились двое слепых, один средних лет, другой старик с седою кудрявою головой и длинною бородой. На них были белые, изношенные рубахи, а на полотенцах, перекинутых через плечи крестнакрест, висели с одной стороны мешок для сбирания милостыни, а с другой — изодраный кафтан, скинутый по случаю жары.

Остальные пожитки, как-то: гусли, балалайки и торбу с хлебом, — они взвалили на дюжего молодого парня, служившего им вожатым. Сначала тот из слепых, который был помоложе, держался за плечо вожатого, а сам тащил за собою старика. Только молодой парень, видно, зазевался на охоту и забыл про товарищей. Слепые отстали от зрячего. Держась один за другого, они щупали землю высокими палками и часто спотыкались. Глядя на них, Иван Васильевич не мог удержаться от смеха. Он подъехал к ним ближе. В это время передний слепой оступился, упал в лужу и потянул за собою товарища. Оба встали покрытые грязью, отплевываясь и браня вожатого, который смотрел, разиня рот, на блестящих опричников. Царь громко смеялся.

— Кто вы, молодцы? — спросил он. — Откуда и куда идете?

— Проваливай! — отвечал младший слепой, не снимая шапки, — много будешь знать, скоро состаришься.

— Дурень! — закричал один опричник, — аль не видишь, кто перед тобой!

— Сам ты дурень, — отвечал слепой, выка-

тив на опричника белки свои, — где мне видеть, коли глаз нетути. Вот ты — дело другое; у тебя без двух четыре, так видишь ты и дале и шире; скажи, кто передо мной, так буду знать!

Царь приказал молчать опричнику и ласково повторил вопрос свой.

— Мы люди веселые, — отвечал слепой, — исходили деревни и села, идем из Мурома в Слободу, бить баклуши, добрых людей тешить, кого на лошадь подсадить, кого спешить!

— Вот как! — сказал царь, которому нравились ответы слепого, — так вы муромцы, калашники, вертячие бобы! А есть еще у вас богатыри в Муроме?

— Как не быть! — отвечал слепой, не запинаясь, — этот товар не переводится; есть у нас дядя Михей: сам себя за волосы на вершок от земли подымает; есть тетка Ульяна: одна ходит на таракана.

Все опричники засмеялись. Царю давно уже не было так весело.

«Вот и вправду веселые люди, — подумал он, — видно, что не здешние. Надоели мне

уже мои сказочники. Всё одно и то же наладили, да уж и скоморохи мне наскучили. С тех пор как пошутил я с одним неосторожно, стали все меня опасаться; смешного слова не добьешься; точно будто моя вина, что у того дурака душа не крепко в теле сидела!»

— Слушай, молодец: что, сказки сказывать умеешь?

— Какова сказка, — отвечал слепой, — и кому сказывать. Вот мы ономясь рассказали старицкому воеводе сказку про козу косматую, да на свою шею: коза-то, вишь, вышла сама воеводша, так он нас со двора и велел согнать, накостылявши затылок. Вперед не расскажем.

Трудно описать хохот, который раздался между опричниками. Старицкий воевода был в немилости у царя. Насмешка слепого пришлась как нельзя более кстати.

— Слушайте, человеки, — сказал царь, — ступайте в Слободу, прямо во дворец, там ждите моего приезда, царь-де вас прислал. Да чтоб вас накормили и напоили, а приеду домой, послушаю ваших сказок!

При слове «царь» слепые оробели.

— Батюшка-государь! — сказали они, упав на колени, — не взыщи за нашу грубую, мужицкую речь! Не вели нам головы сечь, по неведению согрешили!

Царь усмехнулся испугу слепых и поехал опять в поле продолжать охоту, а слепые с вожатым побрели по направлению Слободы.

Пока толпа опричников могла их видеть, они держались один за другого и беспрестанно спотыкались, но лишь только поворот дороги скрыл их из виду, младший слепой остановился, оглянулся во все стороны и сказал товарищу:

— А что, дядя Коршун, устал небось спотыкаться? Ведь пока дело-то недурно идет; что-то будет дале? Да чего ты так брови-то понасупил, дядя? Аль жаль тебе, что дело затеяли?

— Не то, — отвечал старый разбойник, — уж взялся идти, небось оглядываться не стану; да только вот сам не знаю, что со мной случилось; так тяжело на сердце, как отродясь еще не бывало, и о чем ни задумаю, все опять то же да то же на ум лезет!

— А что тебе лезет на ум?

— Слушай, атаман. Вот уж двадцать лет

минуло с той поры, как тоска ко мне прикачнулась, привалилася, а никто ни на Волге, ни на Москве про то не знает; никому я ни слова не вымолвил; схоронил тоску в душе своей, да и ношу двадцать лет, словно жернов на шее. Пытался было раз говеть в великий пост, хотел попу все на духу рассказать, да молиться не смог — и говеть бросил. А вот теперь опять оно меня и душит и давит; кажется, вот как вымолвлю, так будет легче. Тебе-то сказать и не так тяжело, как попу: ты ведь и сам такой же, как я.

Глубокая грусть изображалась на лице Коршуна. Перстень слушал и молчал. Оба разбойника сели на краю дороги.

— Митька, — сказал Перстень вожатому, — садись-ка поодаль да гляди в оба; коли кого дозришь, махни нам; да смотри не забудь: ты глух и нем; слова не вырони!

— Добро, — сказал Митька, — нябось ня выроню!

— Типун тебе на язык, дурень этакий, нишкни! И с нами не говори. Привыкай молчать; не то как раз при ком-нибудь языком брякнешь, тогда и нас и тебя поминай как

звали!

Митька отошел шагов на сто и лег на брюхо, уперев локти в землю, а подбородок в руки.

— Ведь добрый парень, — сказал Перстень, глядя ему вслед, — а глуп, хоть кол на голове теши. Пусти его только, разом проврется! Да нечего делать, лучше его нет; он, по крайней мере, не выдаст; постоит и за себя и за нас, коли, не дай бог, нам круто придется. Ну что, дядя, теперь никто нас не услышит: говори, какая у тебя кручина? Эх, не вовремя она тебя навестила!

Старый разбойник опустил кудрявую голову и провел ладонью по лбу. Хотелось ему говорить, да начать было трудно.

— Вишь, атаман, — сказал он, — довольно я людей перегубил на своем веку, что и говорить! Смолоду полюбилась красная рубашка! Бывало, купец ли заартачится, баба ли запищит, хвачу ножом в бок — и конец. Даже и теперь, коли б случилось кого отправить — рука не дрогнет! Да что тут! не тебя уверять стать; я чай, и ты довольно народу на тот свет спровадил; не в диковинку тебе, так ли?

— Ну, что ж с того? — отвечал Перстень с приметным неудовольствием.

— Да то, что ни ты, ни я, мы не бабы, не красные девицы; много у нас крови на душе; а ты мне вот что скажи, атаман: приходилось ли тебе так, что как вспомнишь о каком-нибудь своем деле, так тебя словно клещами за сердце схватит и холодом и жаром обдаст с ног до головы, и потом гложет, гложет, так что хоть бы на свет не родиться?

— Полно, дядя, о чем спрашивать вздумал, не такое теперь время.

— Вот, — продолжал Коршун, — я много уж и позабыл дел своих, одного не могу забыть. Тому будет полсорока годов, жили мы на Волге, ходили на девяти стругах; атаманом был у нас Данило Кот; о тебе еще и помину не было, меня уже знали в шайке и тогда уже величали Коршуном. Разбивали мы и суда богатые, и пристани грабили, а что, бывало, добудем, то всегда поровну делим, и никакого спору Данило Кот не терпел. Кажется, чего бы лучше? Житье привольное, всегда сыты, одеты. Бывало, как нарядимся в цветные кафтаны, как заломим шапки, да ударим в весла, да за-

тянем удалую, так в деревнях и городах народ на берег и валит, на молодцов посмотреть, на соколов ясных полюбоваться! А мы себе гробем да поем, во всю глотку заливаемся, из пищалей на ветер постреливаем, красным девкам подмигиваем. А иной раз, как посядем с копьями да с рогатинами, так струги наши словно лесом поросли! Хорошо было житье, да подбил меня бес проклятый. Думаю себе раз: что ж? я ведь больше других работаю, а корысть идет мне со всеми ровная! И положил себе на мысль: пойти одному на промысел, зашибить добычи, да не отдавать в артель, а взять на себя одного. Оделся нищим, почитай как теперь, повесил на шею торбу, всунул засапожник за онучу, да и побрел себе по дороге к посаду, не проедет ли кто? Жду себе, жду: ни обозу, ни купца, никого не видать. Разобрала меня досада. Добро ж, говорю, не дает бог корысти, так теперь кто б ни прошел, будь он хоть отец родной, дочиста оберу! Только лишь подумал, идет по дороге баба убогая, несет что-то в лукошке, лукошко холстом обернуто. Лишь только поравнялась она со мной, я и выскочил из-за куста. Стой, гово-

рю, баба! Давай лукошко! Она мне в ноги: что хочешь бери, а лукошко не тронь! Эге, думаю я, так у тебя, видно, казна там спрятана, да и ухватился рукой за лукошко. А баба голосить, ругать меня, кусать за руку. Я уж был больно сердит, что день даром пропал, а тут осерчал еще пуще. Бес толкнул меня под бок, я вытащил засапожник, да и всадил бабе в горло. Как только свалилась она, страх меня взял. Ударился было бежать, да одумался и воротился за лукошком. Думаю себе: уж убил бабу, так пусть же не даром! Взял лукошко, не раскрывая, да и пустился лесом. Отошел не более, как на песий брех, ноги стали подкашиваться, думаю себе: сяду, отдохну да посмотрю, много ли казны добыл? Развернул лукошко, гляжу: ан там лежит малый ребенок, чуть живой, и еле дышит. «Ах ты бесенок! — подумал я, — так вот зачем баба не хотела лукошка отдавать! Так из-за тебя, проклятого, я грех на душу взял!»

Коршун хотел было продолжать, да замолчал и задумался.

— Что ж ты с ребенком сделал? — спросил Перстень.

— Что ж его было, нянчить, что ли? Что сделал? Вестимо что!

Старик опять замолчал.

— Атаман, — сказал он вдруг, — как подумаю об этом, так сердце и защежит. Вот особенно сегодня, как нарядился нищим, то так живо все припоминаю, как будто вчера было. Да не только то время, а не знаю с чего стало мне вдруг памятно и такое, о чем я давно уж не думал. Говорят, оно не к добру, когда ни с того ни с другого станешь вдруг вспоминать, что уж из памяти вышиб!..

Старик тяжело вздохнул.

Оба разбойника молчали. Вдруг свистнули над ними крылья, — и бурый коршун упал кувырком к ногам старика. В то же время кричат Адраган плавно нырнул в воздухе и пронесся мимо, не удостоив спуститься на свою жертву.

Митька махнул рукою. Вдали показались сокольники.

— Дядя! — сказал поспешно Перстень, — забудь прошлое; мы ведь теперь не разбойники, а слепые сказочники. Вон скачут царские люди, тотчас будут здесь. Живо, дядя, при-

осанься, закидай их прибаутками!

Старый разбойник покачал головою.

— Несдобровать мне, — сказал он, показывая на убитого коршуна. — Это меня срезал белый кречет. Вишь, и нет уж его. Убил, да и пропал!

Перстень пристально посмотрел на него и с досадою почесал затылок.

— Слушай, дядя, — сказал он, — кто тебя знает, что с тобою сегодня случилось! Только я тебя неволить не буду. Говорят, сердце вещун. Пожалуй, твое сердце и недаром чует беду. Оставайся, я один пойду в Слободу.

— Нет, — отвечал Коршун, — я не к тому вел речь. Уж если такая моя доля, чтобы в Слободе голову положить, так нечего оставаться. Видно, мне так на роду написано. А вот к чему я речь вел. Знаешь ли, атаман, на Волге село Богородицкое?

— Как не знать, знаю.

— А около того села, верстах в пяти, место, что зовут Попов Круг?

— И Попов Круг знаю.

— А на Поповом Кругу дуб старый, помнишь?

— И дуб помню; только нет уже того дуба, срубили его.

— Дуб-то срубили, да пень оставили.

— Так что ж с того?

— А вот что. Я-то уж никогда Волги-матушки не увижу, а ты, еще статья может, вернешься на родимую сторонушку. Так когда будешь на Волге, ступай на Попов Круг. Отыщи пень старого дуба. Как отыщешь пень, сосчитай полдевяносто ступней на закат солнечный. Сосчитаешь ступни, начинай рыть землю в том месте. Там, — продолжал Коршун, понизив голос, — я в былое время закопал казну богатую. Довольно там лежит корабленников золотых, и червонцев, и рублей серебряных. Откроешь клад, все будет твое. Не взять мне с собою казны на тот свет. А как иной раз подумаешь, что будешь там ответ держать за все, что здесь делал, так в ночное время индо мороз по коже дерет! Ты бы, атаман, как не будет меня, велел по мне панихиду отслужить. Оно все вернее. Да не жалей денег на панихиду. Заплати хорошенько попу; пусть отслужит как следует, ничего не пропустит. А зовут меня, ты знаешь, Амеляном.

Это так только люди Коршуном прозвали; а крестили ведь меня Амеляном; так пусть поп отслужит панихиду по Амеляне; а ты уж заплати ему хорошенько, не пожалей денег, атаман; я тебе казну оставляю богатую, на всю жизнь твою станет!

Коршуна прервали подскакавшие сокольники.

— Эй вы, убогие! — закричал один из них, — говорите, куда полетел крик?

— И рад бы сказать, родимые, — отвечал Перстень, — да вот уж сорок годов глаза запошило!

— Как так?

— Да пошел раз в горы, с камней лыки драть, вижу, дуб растет, в дупле жареные цыплята пищат. Я влез в дупло, съел цыплят, потолстел, вылезти не могу! Как тут быть? Сбегал домой за топором, обтесал дупло, да и вылез; только тесамши-то, видно, щепками глаза засорил; с тех пор ничего не вижу: иной раз щи хлебаю, ложку в ухо сую; чешется нос, а я скребу спину!

— Так это вы, — сказал, смеясь, сокольник, — те слепые, что с царем говорили! Бо-

яре еще и теперь вам смеются. Ну, ребята, мы днем потешали батюшку-государя, а вам придется ночью тешить его царскую милость. Сказывают, хочет государь ваших сказок послушать!

— Дай бог здоровья его царской милости, — подхватил Коршун, внезапно переменяв приемы, — почему не послушать! Коли до ночи не свихнем языков, можем скрозь до утра рассказывать!

— Добро, добро, — сказали сокольники, — в другой раз побалюаем с вами. Теперь едем кречета искать, товарища выручать. Не найдет Трифон Адрагана, быть ему без головы; батюшка-царь не шутит!

Сокольники поскакали в поле. Перстень и Коршун опять уцепились за Митьку и побрели по дороге в Слободу.

Не дошли они до первого подворья, как увидели двух песенников, которые брянчали на балалайках и пели во все горло:

*Как у нашего соседа  
Весела была беседа!*

Когда разбойники с ними поравнялись,

один из песенников, крепкий детина с павлиньим пером на шапке, нагнулся к Перстню.

— Уж дней пять твой князь в тюрьме! — сказал он шепотом, продолжая перебирать лады. — Я все разузнал. Завтра ему карачун. Сидит он в большой тюрьме, против Малютина дома. С которого конца петуха пускать?

— Вот с того! — отвечал Перстень, мигнув на сторону, противоположную тюрьме.

Рыжий песенник щелкнул всеми пальцами по животу балалайки и, отвернувшись от Перстня, будто и не с ним говорил, продолжал тонким голосом:

*Как у нашего соседа  
Весела была беседа!*

## **Глава 21. Сказка**

**И**ван Васильевич, утомленный охотою, удалился ранее обыкновенного в свою опочивальню.

Вскоре явился Малюта с тюремными ключами.

На вопрос царя Малюта ответил, что нового ничего не случилось, что Серебряный повинился в том, что стоял за Морозова на

Москве, где убил семерых опричников и рассек Вяземскому голову.

— Но, — прибавил Малюта, — не хочет он виниться в умысле на твое царское здравие и на Морозова также показывать не хочет. После заутрени учиним ему пристрастный допрос, а коли он и с пытки и с огня не покажет на Морозова, то и ждать нечего, тогда можно и покончить с ним.

Иоанн не отвечал. Малюта хотел продолжать, но в опочивальню вошла старая мамка Онуфревна.

— Батюшка, — сказала она, — ты утром прислал сюда двух слепых: сказочники они, что ли; ждут здесь в сенях.

Царь вспомнил свою встречу и приказал позвать слепых.

— Да ты их, батюшка, знаешь ли? — спросила Онуфревна.

— А что?

— Да полно, слепые ли они?

— Как? — сказал Иоанн, и подозрение мигом им овладело.

— Послушай меня, государь, — продолжала мамка, — берегись этих сказочников; чует-

ся мне, что они недоброе затеяли; берегись их, батюшка, послушай меня.

— Что знаешь ты про них? Говори! — сказал Иоанн.

— Не спрашивай меня, батюшка. Мое знание словами не сказывается; чуется мне, что они недобрые люди, а почему чуется, не спрашивай. Даром я никого еще не остерегала. Кабы послушалась меня покойная матушка твоя, она, может, и теперь бы здравствовала еще!

Малюта поглядел со страхом на мамку.

— Ты чего на меня смотришь? — сказала Онуфревна. — Ты только безвинных губишь, а лихого человека распознать, видно, не твое дело. Чутья-то у тебя на это не хватит, рыжий пес!

— Государь, — воскликнул Малюта, — дозвожь мне попытать этих людей. Я тотчас узнаю, кто они и от кого подосланы!

— Не нужно, — сказал Иоанн, — я их сам попытаю. Где они?

— Тут, батюшка, за дверью, — отвечала Онуфревна, — в сенях стоят.

— Подай мне, Малюта, кольчугу со стены;

да ступай, будто домой, а когда войдут они, вернись в сени, притаись с ратниками за эту дверь. Лишь только я кликну, вбегайте и хватайте их. Онуфревна, подай сюда посох.

Царь вздел кольчугу, надел поверх нее черный стихарь, лег на постель и положил возле себя тот самый посох, или осён, которым незадолго перед тем пронзил ногу гонцу князя Курбского.

— Теперь пусть войдут! — сказал он.

Малюта положил ключи под царское изголовье и вышел вместе с мамкою. Иконные лампы слабо освещали избу. Царь с видом усталости лежал на одре.

— Войдите, убогие, — сказала мамка, — царь велел!

Перстень и Коршун вошли, осторожно передвигая ноги и щупая вокруг себя руками.

Одним быстрым взглядом Перстень обозрел избу и находившиеся в ней предметы.

Налево от двери была лежанка; в переднем углу стояла царская кровать; между лежанкой и кроватью было проделано в стене окно, которое никогда не затворялось ставнем, ибо царь любил, чтобы первые лучи

солнца проникали в его опочивальню. Теперь сквозь окно это смотрела луна, и серебряный блеск ее играл на пестрых изразцах лежанки.

— Здравствуйте, слепые, муромские калашники, вертячие бобы! — сказал царь, пристально, но неприметно взглядываясь в черты разбойников.

— Много лет здравствовать твоей царской милости! — отвечали Перстень и Коршун, кланяясь земно. — Заступи, спаси и помилуй ты мати божия, что жалеешь ты нас, скудных, убогих людей, по земли ходящих, по воды бродящих, света божия не видящих! Сохрани тебя святой Петр и Павел, Иоанн Златоуст, Кузьма со Демьяном, хутынские чудотворцы и все святые угодники! Создай тебе господи, о чем ты молишь и просишь! Вечно бы тебе в золоте ходилось, вкусно елось и пилося, сладко спалось! А супостатам твоим вечно бикалось и голодалось; каждый бы день их дугою корчило, бараньим рогом корбило!

— Спасибо, спасибо, убогие! — сказал Иоанн, продолжая взглядываться в разбойников. — Что ж вы, давно, знать, ослепли?

— Смолоду, батюшка-государь, — отвечал

Перстень, кланяясь и сгибая колени, — оба смолоду ослепли! И не припомним, когда солнышко божее видели!

— А кто же вас научил песни петь и сказки сказывать?

— Сам господь, батюшка, сам господь сподобил, еще в стародавние времена!

— Как так? — спросил Иоанн.

— Старики наши рассказывают, — отвечал Перстень, — и гусяры о том поют. В стародавние то было времена, когда возносился Христос-бог на небо, расплакались бедные, убогие, слепые, хромые, вся, значит, нищая братия: куда ты, Христос-бог, полетаешь? На кого нас оставляешь? Кто будет нас кормить-поить? И сказал им Христос, царь небесный:

«Дам вам, говорит, гору золотую, реку медвяную, сады-винограды, яблони кудрявы; будете сыты да пьяны, будете обуты-одеты!» Тут возговорил Иван Богослов: «Ай же ты спас милосердый! Не давай им ни горы золотые, ни реки медвяные, ни садов-виноградов, ни яблонь кудрявых. Не сумеют они ими владети; наедут к ним сильные богатые, добро-то у

них отымут. А ты дай им, Христос, царь небесный, дай-ко-се имя твое Христовое, дай-ко-се им те песни сладкие, сказаньица великие про стару старину да про божьих людей. Пойдут нищие по земли ходити, сказаньица великие говорити, всякий их приобует-приоденет, хлебом-солью напитает». И рече Христос, царь небесный: «Ин пусть будет по-твоему, Иване! Пусть же им будут песни сладкие, гусли звонкие, сказанья великие; а кто их напоит-накормит, от темныя ночи оборонит, тому я дам в раю место; не заперты в рай тому двери!»

— Аминь! — сказал Иоанн. — Какие же вы знаете сказки?

— Всякие знаем, батюшка-царь, какие твоя милость послушать соизволит. Могу сказать тебе о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове, о семи Семионах, о змие Горынице, о гусях-самогудах, о Добрыне Никитиче, об Акундине...

— Что же, — перебил Иоанн, — разве ты один сказки сказываешь? А старик-то зачем с тобою пришел?

Перстень спохватился, что Коршун почти все время молчал, и чтобы вызвать его из неестественной для сказочника утрюмости,

он вдруг переменял приемы и начал говорить прибаутками.

— Старик-то? — сказал он, наступая неприметно на ногу Коршуна. — Это, вишь, мой товарищ, Амелька Гудок; борода у него длинна, да ум короток; когда я речь веду скоромную, не постную, несу себе околесную, он мне поддакивает, потекает да присвистывает, похваляет да помалчивает. Так ли, дядя, белая борода, утиная поступь, куриные ножки; не сбиться бы нам с дорожки!

— Вестимо, так! — подхватил Коршун, опомнясь. — Наша чара полна зелена вина, а уж налил по край, так пей до дна! Вот как, дядя петушиный голосок, кротовое око; пошли ходить, заберемся далёко!

— Ай люли тарарах, пляшут козы на горах! — сказал Перстень, переминая ногами, — козы пляшут, мухи пашут, а у бабушки Ефросиньи в левом ухе звенит!..

— Ай люлюшеньки люли! — перебил Коршун, также переминая ногами, — ай люлюшеньки люли, сидит рак на мели; не горюет рак, а свистит в кулак; как прибудет вода, так пройдет беда!

— Эх, батюшка-государь, — закончил Перстеня с низким поклоном, — не смотри на нас искоса; это не сказка, а только присказка!

— Добро! — сказал Иоанн, зевая, — люблю молодцов за обычай: начинайте сказку про Добрыню, убогие; авось я, слушая вас, сосну!

Перстеня еще раз поклонился, откашлялся и начал:

— «Во гриднице княженецкой, у Владимира князя киевского, было пируваньє почестный стол, был пир про князей, бояр и могучих богатырей. А и был день к вечеру, а и был стол во полустоле, и послышалось всем за диво: затрубила труба ратная. Возговорил Владимир князь киевский, солнышко Святославьевич: „Гой еси вы, князья, бояре, сильны могучие богатыри! Пошлите опроведать двух могучих богатырей: кто смеловал стать перед Киевом? Кто смеловал трубить ко стольному князю Владимиру?“

Зашумели буйны молодцы посередь двора; зазвенели мечи булатные по крутым бедрам; застучали палицы железные у красна крыльца, закидали шапки разнорядь по поднебесью. Надевают могучи богатыри сбрую рат-

ную, садятся на добрых коней, выезжают во чисто поле...»

— Погоди-ка! — сказал Иоанн, с намерением придать более правдоподобия своему желанию слушать рассказчика, — я эту сказку знаю. Расскажи лучше про Акундина!

— Про Акундина? — сказал Перстень с замешательством, вспомнив, что в той сказке величается опальный Новгород. — Про Акундина, батюшка-государь, сказка-то нехорошая, мужицкая; выдумали ту сказку глупые мужики новгородские; да я, батюшка-царь, как будто и забыл-то ее...

— Рассказывай, слепой! — сказал Иоанн строго, — рассказывай всю, как есть, и не смей пропустить ни единого слова!

И царь внутренно усмехнулся трудному положению, в которое он ставил рассказчика.

Перстень хотя досадовал на себя, что сам предложил эту сказку, но, не зная, до какой степени она уже известна Иоанну, решился, очертя голову, начать свой рассказ, ничего не выкидывая.

— «Как во старом было городе, — начал он, — в Новегороде, как во том ли во Новего-

роде, со посадской стороны, жил Акундин-молодец, а и тот ли Акундин, молодой молодец, ни пива не варил, ни вина не курил, ни в торгу не торговал; а ходил он, Акундин, со повольницей, и гулял он, Акундин, по Волхву по реке на суденьшках. Садится он, Акундин, на суденьшко оснащенное, кладет весельца кленовые во замки дубовые, а сам садится на корму. Поплыло суденьшко по Волхв по реке, и прибыло суденьшко ко круту бережку. Как во ту пору по круту бережку идет калечище перехожее. Берет калечище Акундина за белые руки, ведет его, Акундина, на высок курган, а становивши его на высок курган, говорил такие речи: „Погляди-ка, молодой молодец, на город Ростиславль, на Оке-реке, а поглядевши, поведай, что деется в городе Ростиславле?“ Как глянул Акундин в город во Ростиславль, а там беда великая: исконные слуги молода князя рязанского, Глеба Олеговича, стоят посередь торго, хотят войной город отстоять, да силы не хватит. А по Оке-реке плывет чудовище невиданное, змей Тугарин. Длинною-то был тот змей Тугарин во триста сажень, хвостом бьет рать рязанскую, спиною

валит круты берега, а сам все просит стару дань. В ту пору калечище берет Акундина за его белы руки, молвит таково слово: „Ты гой еси, добрый молодец, назовись по имени по изотчеству!“ На те ли речи спросные говорит Акундин: „Родом я из Новагорода, зовут меня Акундин Акундиныч“.

„Тебя-то, Акундин Акундиныч, я ждал ровно тридцать лет и три года; спознай своего дядюшку родимого Замятню Путятича; а и ведь мой-то брат, Акундин Путятич, был тебе родимый батюшка! А и вот тебе меч-кладенец твоего родимого батюшки, Акундина Путятича!“ Не домолвивши речи вестные, стал Замятня Путятич кончатися, со белым светом расставатися; и, кончаяся, учал отповедь чинить: „А и гой ты еси, мое милое детище, Акундин Акундиныч! Как и будешь ты во славном во Новгороде, и ты ударь челом ему, Новугороду, и ты скажи, скажи ему, Новугороду: а и дай же то, боже, тебе ли, Новугороду, век вековать, твоим ли детушкам славы добывать! Как и быть ли тебе, Новугороду, во могучестве, а твоим детушкам во богатестве...“»

— Довольно! — перебил с гневом царь, за-

бывая в эту минуту, что цель его была только следить за рассказчиком. — Начинай другую сказку!

Перстень, как будто в испуге, согнул колени и поклонился до земли.

— Какую же сказку соизволишь, батюшка-государь? — спросил он с притворным, а может быть, и с настоящим страхом. — Не рассказать ли тебе о Бабе-яге? О Чуриле Пленковиче? О Иване Озере? Или не велишь ли твоей милости что-нибудь божественное рассказать?

Иоанн вспомнил, что он не должен запугивать слепых, а потому еще раз зевнул и спросил уже сонным голосом:

— А что же ты знаешь божественное, убогий?

— Об Алексее божьем человеке, батюшка, о Егории Храбром, об Иосифе Прекрасном или, пожалуй, о Голубиной книге...

— Ну, — сказал Иоанн, которого глаза, казалось, уже смыкались, — расскажи о Голубиной книге. Оно нам, грешным, и лучше будет на ночь что-нибудь божественное послушать!

Перстень вторично откашлялся, выпря-

мился и начал нараспев:

— «Как из тучи было из грозныя, из грозныя тучи страховитыя, подымалась погода божия; во той ли во погоде божией выпадала с небес книга Голубиная. Ко той ли ко книге Голубиной созжалось сорок царей и цариц, сорок королей и королевичей, сорок князей со князевичам, сорок попов со поповичам, много бояр, люду ратного, люду ратного, разного, мелких христиан православных. Из них было пять царей набольших: был Ис-ай-царь, Василей-царь, Костянтин-царь, Володимер-царь Володимерыч, был премудрый царь Давид Евсиевич.

Как проговорил Володимер-царь: „Кто из нас, братцы, горазд в грамоте? Прочел бы эту книгу Голубиную? Сказал бы нам про божий свет: Отчего началось солнце красное? Отчего начался млад светёл месяц? Отчего начались звезды частыя? Отчего начались зори светлыя? Отчего зачались ветры буйныя? Отчего зачались тучи грозныя? Отчего да взялись ночи темныя? Отчего у нас пошел мир-народ? Отчего у нас на земли цари пошли? Отчего зачались бояры-князья? Отчего пошли крестья-

не православные?”

На то все цари приумолкнули. Им ответ держал премудрый царь, премудрый царь Давид Евсиевич: „Я вам, братцы, про то скажу, про эту книгу Голубиную: эта книга не малая, сорока сажень долина ее, поперечина двадцати сажень; приподнять книгу, не поднять будет; на руцех держать, не сдержат будет; по строкам глядеть, все не выгядеть; по листам ходить, все не выходить, а читать книгу — ее некому, а писал книгу Богослов Иван, а читал книгу Исай-пророк, читал ее по три года, прочел в книге только три листа; уж мне честь книгу — не прочесть, божию! Сама книга распечатывалась, сами листы расстилались, сами слова прочитались. Я скажу вам, государи, не выгядя, скажу вам, братцы, не по грамоте, не по грамоте, всё по памяти, про старое, про стародавнее, по-старому, по-писаному:

Началось у нас солнце красное от светлого лица божия; млад светёл месяц от груди его; звезды частые от очей божиих; зори светлыя от риз его; буйны ветры-то — дыханье божее; тучи грозныя — думы божи; ночи темныя от опашня его! Мир-народ у нас от Адамия; от

Адамовой головы цари пошли; от мощей его князи со боярами; от колен крестьяне православные; от того ж начался и женский пол!“

Ему все цари поклонились: „Спасибо, светсударь, премудрый царь, мудрейший царь, Давид Евсиевич! Ты еще, сударь, нам про то скажи, про то скажи, ты поведай нам:

Который царь над царями царь? Кая земля всем землям мати? Которо море всем морям мати? Котора река всем рекам мати? Кая гора всем горам мати? Который город всем городам мати?“»

Здесь Перстень украдкою посмотрел на Ивана Васильевича, которого, казалось, все более клонило ко сну. Он время от времени, как будто с трудом, открывал глаза и опять закрывал их; но всякий раз незаметно бросал на рассказчика испытующий, пронизательный взгляд.

Перстень перемигнулся с Коршуном и продолжал:

— «Им ответ держал премудрый царь, премудрый царь Давид Евсиевич: „Я вам, братцы, и про то скажу, про то скажу, вам поведаю: в Голубиной книге есть написано: у нас Белый

царь будет над царями царь; он верует веру крещеную, крещеную, богомольную; он в мать божию богородицу и в трицу верует неразделимую. Ему орды все преклонилися, все языци ему покорилися; область его надо всей землей, над вселенною; всех выше его рука царская, благоверная, благочестивая; и все к царю Белому приклонятся, потому Белый царь над царями царь! Свято-Русь-земля всем землям матери; на ней строят церкви апостольские, богомольные, соборные. Окиян-море всем морям матери; выходила из него церковь соборная; что во той ли во церкви во соборная почивают мощи попа римского, попа римского Климентия; обошло то море окол всей земли; все реки к морю собегалися, все к окиян-морю приклонилися. Ердань-река всем рекам матери; во славной матушке во Ердань-реке окрестился сам Иисус Христос, небесный царь. А Фавор-гора всем горам матери; как на славная на Фавор-горы преобразился на ней сам Иисус Христос, показал славу ученикам своим. Ерусалим-город всем городам матери; что стоит тот город посреди земли, а в том городе церковь соборная; пребывает

во церкви господень гроб, почивают в нем ризы самого Христа, фимиамы-ладаны рядом курятся, свечи горят неугасимые...“»

Здесь Перстень опять взглянул на Иоанна. Глаза его были закрыты, дыхание ровно. Грозный, казалось, почивал.

Атаман тронул Коршуна локтем. Старик подался шага на два вперед. Перстень продолжал нараспев:

— «Ему все цари поклонилися: „Спасибо, свет-сударь, премудрый царь, Давид Евсиевич! Ты еще, сударь, нам про то скажи: котора рыба всем рыбам мать? Котора птица птицам есть мать? Который зверь над зверями зверь? Который камень всем камням отец? Которо древо древам всем мать? Кая трава всем травам мати?“»

Им ответ держал премудрый царь: „Я еще вам, братцы, про то скажу: у нас Кит-рыба всем рыбам мать: на трех на китах земля стоит; Естрафиль-птица всем птицам мати; что живет та птица на синем море; когда птица вострепенется, все синё море всколебается, потопляет корабли гостиные, побивает суда поморские; а когда Естрафиль вострепещется,

во втором часу после полунощи, запоют петухи по всей земли, осветится в те поры вся земля...»

Перстень покосился на Иоанна. Царь лежал с сомкнутыми глазами; рот его был раскрыт, как у спящего. В то же время, как будто в лад словам своим, Перстень увидел в окно, что дворцовая церковь и крыши ближних строений осветились дальним заревом.

Он тихонько толкнул Коршуна, который подался еще одним шагом ближе к Ивану Васильевичу.

— «У нас Индра-зверь, — продолжал Перстень, — над зверями зверь, и он ходит, зверь, по подземелью, яко солнышко по поднебесью; он копает рогом сыру мать-землю, выкопает ключи всё глубокие; он пускает реки, ручьявиночки, прочищает ручьи и проточины, дает людям питанийца, питанийца, обмыванийца. Алатырь-камень всем камням отец; на белом Алатыре на камени сам Исус Христос опочив держал, царь небесный беседовал со двенадесяти со апостолам, утверждал веру христианскую; утвердил он веру на камени, распуцал он книги по всей земле. Кипа-

рис-древо всем древам мати; из того ли из древа кипарисного был вырезан чуден поклонен крест; на тем на кресте, на животворящим, на распятые был сам Исус Христос, сам Исус Христос, сам небесный царь, промежду двух воров, двух разбойников. Плакун-трава всем травам мати. Когда Христос-бог на распятые был, тогда шла мати божия, богородица, ко своему сыну ко распятому; от очей ея слезы наземь капали, и от тех от слез, от пречистых, зародилася, вырастала мати плакун-трава; из того плакуна, из корени у нас режут на Руси чудны кресты, а их носят старцы иноки, мужие их носят благоверные».

Здесь Иван Васильевич глубоко вздохнул, но не открыл очей. Зарево пожара делалось ярче. Перстень стал опасаться, что тревога подымется прежде, чем они успеют достать ключи. Не решаясь сам тронуться с места, чтобы царь не заметил его движения по голосу, он указал Коршуну на пожар, потом на спящего Иоанна и продолжал:

— «Ему все цари поклонилися: „Спасибо, свет-сударь, премудрый царь, мудрейший царь Давид Евсиевич! Ты горазд сказать по

памяти, говоришь будто по грамоты!“ Тут возговорит Володимер-царь: „Ты еси, премудрый царь, Давид Евсиевич! Ты скажи еще, ты поведай мне: ночеса мне мало спалося, мало спалося, много сиделось: кабы два зверья сходилися, один белый зверь, другой серый зверь, промежду собой подиралися; кабы белый зверь одолеть хочет?“ Что ответ держал премудрый царь, премудрый царь Давид Евсиевич: „Ах ты гой еси, Володимер-царь, Володимер Володимерыч! То не два зверья сходилися, промежду собой подиралися; и то было у нас на сырой земли, на сырой земли, на святой Руси; сходилися правда со кривдою; это белая зверь — то-то правда есть, а серая зверь — то-то кривда есть; правда кривду передалила, правда пошла к богу на небо, а кривда осталась на сырой земле; а кто станет жить у нас правдою, тот наследует царство небесное; а кто станет жить у нас кривдою, отрешен на муки на вечные...“»

Здесь послышалось легкое храпение Иоанна. Коршун протянул руку к царскому изголовью, Перстень же придвинулся ближе к окну, но, чтобы внезапным молчанием не прервать

сна Иоаннова, он продолжал рассказ свой тем же однообразным голосом:

— «Ему все цари поклонилися: „Спасибо, свет-сударь, премудрый царь, премудрый царь Давид Евсиевич! Ты еще, сударь, нам про то скажи: каким грехам прощенье есть, а каким грехам нет прощенья?“ Им ответ держал премудрый царь, премудрый царь Давид Евсиевич: „Кабы всем грехам прощенье есть, трем грехам тяжкое покаяние: кто спознался с кумою крестовья, кто бранит отца с матерью, кто...“»

В это мгновение царь внезапно открыл глаза. Коршун отдернул руку, но уже было поздно: взор его встретился со взором Иоанна. Несколько времени оба неподвижно глядели друг на друга, как бы взаимно скованные обаятельною силой.

— Слепые! — сказал вдруг царь, быстро вскакивая, — третий грех: когда кто нарядится нищим и к царю в опочивальню войдет!

И он ударил острым посохом Коршуна в грудь. Разбойник схватился за посох, закачался и упал.

— Гей! — закричал царь, выдергивая

острие из груди Коршуна.

Опричники вбежали, гремя оружием.

— Хватайте их обоих! — сказал Иоанн.

Как ярый пес, Малюта бросился на Перстня, но с необычайною ловкостью атаман ударил его кулаком под ложку, вышиб ногою оконницу и выскочил в сад.

— Оцепите сад! Ловите разбойника! — заревел Малюта, согнувшись от боли и держась обеими руками за живот. Между тем опричники подняли Коршуна.

Иоанн в черном стихаре, из-под которого сверкала кольчуга, стоял с дрожащим посохом в руке, вперив грозные очи в раненого разбойника. Испуганные слуги держали зажженные свечи. Сквозь разбитое окно виден был пожар. Слобода приходила в движение, вдали гудел набатный колокол.

Коршун стоял, насупив брови, опустив глаза, поддерживаемый опричниками; кровь широкими пятнами пестрила его рубаху.

— Слепой! — сказал царь, — говори, кто ты и что умышлял надо мною?

— Нечего мне таить! — отвечал Коршун. — Я хотел добыть ключи от твоей казны, а над

тобой ничего не умышлял!

— Кто подослал тебя? Кто твои товарищи?

Коршун бесстрашно взглянул на Иоанна.

— Надёжа, православный царь! Был я молод, певал я песню: «Не шуми, мати сыра-дуброва». В той ли песне царь спрашивает у добра молодца, с кем разбой держал? А молодец говорит: «Товарищей у меня было четверо: уж как первый мой товарищ черная ночь; а второй мой товарищ...»

— Будет! — прервал его Малюта, — посмотрим, что ты запоешь, как станут тебя с дыбов рвать, на козел подымать! Да кой прах! — продолжал он, вглядываясь в Коршуна, — я где-то уже видал эту кудластую голову!

Коршун усмехнулся и отвесил поклон Малюте.

— Виделись мы, батюшка, Малюта Скурлатыч, виделись, коли припомнишь, на Поганой Луже...

— Хомяк! — перебил его Малюта, обернувшись к своему стремянному, — возьми этого старика, потолкуй с ним, попроси его рассказать, зачем приходил к его царской милости. Я сейчас сам в застенки приду!

— Пойдем, старина! — сказал Хомяк, ухватя Коршуна за ворот, — пойдем-ка вдвоем, по-толкуем ладком!

— Постой! — сказал Иоанн. — Ты, Малюта, побереги этого старика: он не должен на пытке кончиться. Я придумаю ему казнь примерную, еще небывалую, неслыханную; такую казнь, что самого тебя удивлю, отец параклисиарх!

— Благодарю же царя, пес! — сказал Малюта Коршуну, толкая его, — доведется тебе, должно быть, пожить еще. Мы сею ночью тебе только суставы повывернем!

И вместе с Хомяком он вывел разбойника из опочивальни.

Между тем Перстень, пользуясь общим смятением, перелез через садовый частокол и прибежал на площадь, где находилась тюрьма. Площадь была пуста; весь народ повалил на пожар.

Пробираясь осторожно вдоль тюремной стены, Перстень споткнулся на что-то мягкое и, нагнувшись, оцупал убитого человека.

— Атаман! — шепнул, подходя к нему, тот самый рыжий песенник, который остановил

его утром, — часового-то я зарезал! Давай проворней ключи, отопрем тюрьму, да и прощай; пойду на пожар грабить с ребятами! А где Коршун?

— В руках царя! — отвечал отрывисто Перстенъ.

— Все пропало! Сбирай ребят, да и тягу! Тише; кто это?

— Я! — отвечал Митька, отделяясь от стены.

— Убирайся, дурень! Уноси ноги! Все выбирайтесь из Слободы! Сбор у кривого дуба!

— А князь-то? — спросил Митька протяжно.

— Дурень! Слышишь, все пропало! Дедушку схватили, ключей не добыли!

— А нешто тюрьма на запоре?

— Как не на запоре? Кто отпер?

— А я!

— Что ты, болван? Говори толком.

— Что ж говорить? Прихожу, никого нет; часовой лежит, раскидавши ноги. Я говорю: дай, мол, испробую, крепка ль дверь? Понапер в нее плечиком; а она, как была, так с заклепами и соскочи с петель!

— Ай да дурень! — воскликнул радостно Перстень. — Вот, правду говорят: дураками свет стоит! Ах, дурак, дурак! Ах, губошлеп, губошлеп ты этакий!

И Перстень, схватив Митьку за виски, поцеловал его в обе щеки, причем Митька протянул, чмокая, и свои толстые губы, а потом хладнокровно утерся рукавом.

— Иди же за мной, такой-сякой сын, право! А ты, балалайка, здесь погоди. Коли что будет, свистни!

Перстень вошел в тюрьму. За ним ввалился и Митька.

За первую дверью были еще две другие двери, но те, как менее крепкие, еще легче поддались от богатырского натиска Митьки.

— Князь! — сказал Перстень, входя в подземелье, — вставай!

Серебряный подумал, что пришли вести его на казнь.

— Ужели теперь утро? — спросил он, — или тебе, Малюта, до рассвета не терпится?

— Я не Малюта! — отвечал Перстень. — Я тот, кого ты от смерти спас. Вставай, князь! Время дорого. Вставай, я выведу тебя!

— Кто ты? — сказал Серебряный, — я не знаю твоего голоса!

— И немудрено, боярин; где тебе помнить меня! Только вставай! Нам некогда мешкать!

Серебряный не отвечал. Он подумал, что Перстень один из Малютиных палачей, и принял слова его за насмешку!

— Аль ты не веришь мне, князь? — продолжал атаман с досадою. — Вспомни Медведевку, вспомни Поганую Лужу: я Ванюха Перстень!

Запылала радость в груди Серебряного. Взыграло его сердце и забилося любовью к свободе и к жизни. Запестрели в его мыслях и леса, и поля, и новые славные битвы, и явился ему, как солнце, светлый образ Елены.

Уже он вспрянул с земли, уже готов был следовать за Перстнем, как вдруг вспомнил данную царю клятву, и кровь его отхлынула к сердцу.

— Не могу! — сказал он, — не могу идти за тобою. Я обещал царю не выходить из его воли и ожидать, где бы я ни был, суда его!

— Князь! — отвечал удивленный Перстень, — мне некогда толковать с тобою. Лю-

ди мои ждут; каждый миг может нам головы стоить; завтра тебе казнь, теперь еще время, вставай, ступай с нами!

— Не могу! — повторил мрачно Серебряный, — я целовал ему крест на моем слове!

— Боярин! — вскричал Перстень, и голос его изменился от гнева, — издеваешься ты, что ли, надо мною? Для тебя я зажег Слободу, для тебя погубил своего лучшего человека, для тебя, может быть, мы все наши головы положим, а ты хочешь остаться? Даром мы сюда, что ли, пришли? Скоморохи мы тебе, что ли, дались? Да я бы посмотрел, кто бы стал глумиться надо мной! Говори в последний раз, идешь али нет?

— Нет! — отвечал решительно Никита Романович и лег на сырую землю.

— Нет? — повторил, стиснув зубы, Перстень, — нет? Так не бывать же по-твоему! Митька, хватай его насильно! — И в тот же миг атаман бросился на князя и замотал ему рот кушаком.

— Теперь не заспоришь! — сказал он злобно.

Митька загреб Никиту Романовича в охап-

ку и, как малого ребенка, вынес из тюрьмы.

— Живо! Идем! — сказал Перстень.

В одной улице попались им опричники.

— Кого несете? — спросили они.

— Слободского на пожаре бревном пришибло! — отвечал Перстень. — Несем в скудельницу!

При выходе из Слободы их остановил часовой. Они хотели пройти мимо; часовой разинул рот крикнуть; Перстень хватил его кистенем, и он свалился, не пикнув.

Разбойники вынесли князя из Слободы без дальнейшего препятствия.

## **Глава 22. Монастырь**

**М**ы оставили Максима ненастной ночью, на выезде из Александровой слободы. Косматый Буян лаял и прыгал вокруг него и радовался, что удалось ему сорваться с цепи.

Максим, покидая родительский дом, не успел определить себе никакой цели. Он хотел только оторваться от ненавистной жизни царских любимцев, от их нечестивого веселья и ежедневных казней. Оставляя за собою страшную Слободу, Максим вверился своей судьбе. Сначала он торопил коня, чтобы не

догнали его отцовские холопы, если бы вздумалось Малюте послать за ним погоню. Но вскоре он повернул на проселочную дорогу и поехал шагом.

К утру гроза утихла. На востоке заалело, и Максим яснее стал различать предметы. По сторонам дороги росли кудрявые дубы; промеж них виднелись кусты орешника. Было свежо; дождевые капли бежали с деревьев и лениво хлопали по широким листьям. Вскоре мелкие птички запорхали и защebetали в зелени; дятел застучал в сухое дерево, и вершины дубов озолотились восходящим солнцем. Природа оживлялась все более; конь ступал бодрее. Раскинулась перед Максимом родная Русь; весело мог бы он дышать в ее вольном пространстве; но грусть легла ему на сердце, широкая русская грусть. Задумался он о покинутой матери, о своем одиночестве, обо многом, в чем и сам не отдавал себе отчета; задумался и затянул, в раздумье, протяжную песню...

Чудны задушевные русские песни! Слова бывают ничтожны; они лишь предлог; не словами, а только звуками выражаются глубо-

кие, необъятные чувства.

Так, глядя на зелень, на небо, на весь божий мир, Максим пел о горемычной своей доле, о золотой волюшке, о матери сырой дуброве. Он приказывал коню нести себя в чужедальнюю сторону, что без ветру сушит, без морозу знобит. Он поручал ветру отдать поклон матери. Он начинал с первого предмета, попадавшегося на глаза, и высказывал все, что приходило ему на ум; но голос говорил более слов, а если бы кто услышал эту песню, запала б она тому в душу и часто, в минуту грусти, приходила бы на память...

Наконец, когда тоска стала глубже забирать Максима, он подобрал поводья, поправил шапку, свистнул, крикнул и полетел во всю конскую прыть.

Вскоре забелели перед ним стены монастыря. Обитель была расположена по скату горы, поросшей дубами. Золотые главы и узорные кресты вырезывались на зелени дубов и на синеве неба.

Навстречу Максиму попался отряд монастырских служек в шишаках и кольчугах. Они ехали шагом и пели псалом: «Возлюблю

тя, господи, крепосте моя». Услыша священные слова, Максим остановил коня, снял шапку и перекрестился.

Небольшая речка протекала под горою. Несколько мельниц вертели на ней свои колеса. На берегу паслись коровы пестрыми кучами.

Все вокруг монастыря дышало такою тишиною, что вооруженный объезд казался излишним. Даже птицы на дубах щебетали как будто вполголоса, ветер не шелестел в листьях, и только кузнечики, притаясь в траве, трещали без умолку. Трудно было подумать, чтобы недобрые люди могли возмутить это спокойствие.

«Вот где отдохну я! — подумал Максим. — За этими стенами проведу несколько дней, пока отец перестанет искать меня. Я на исповеди открою настоятелю свою душу, авось он даст мне на время убежище».

Максим не ошибся. Престарелый игумен, с длинною седою бородой, с кротким взглядом, в котором было совершенное неведение дел мирских, принял его ласково. Двое служек взяли под уздцы усталого коня. Третий вынес

хлеба и молока для Буяна; все радушно хлопотали около Максима. Игумен предложил ему отобедать, но Максим захотел прежде всего исповедаться.

Старик взглянул на него испытующим взором, насколько позволяли его добродушные глаза, и, не говоря ни слова, повел его через обширный двор к низкой, одноглавой церкви. Они шли мимо могильных крестов и длинного ряда келий, обсаженных цветами. Попадавшиеся им навстречу братья кланялись молча. Надгробные плиты звенели от шагов Максима; высокая трава пробивалась между плитами и закрывала вполовину надписи, полные смирения; все напоминало о бренности жизни, все вызывало на молитву и созерцание. Церковь, к которой игумен вел Максима, стояла среди древних дубов, и столетние ветви их почти совсем закрывали узкие продольные окна, пропускавшие свет сквозь пыльную слюду, вставленную в мелкие свинцовые оконницы. Когда они вошли, их обдало прохладой и темнотою. Лишь сквозь одно окно, менее других заслоненное зеленью, косые столбы света падали на стен-

ное изображение Страшного суда. Остальные части церкви казались от этого еще мрачнее; но кое-где отсвечивали ярким блеском серебряные яблоки паникадил, венцы на образах да шитые серебром кресты, тропари и кондаки на черном бархате, покрывающем гробницы князей Воротынских, основателей монастыря. Позолота на прорезных травах иконостаса походила местами на уголья, тлеющие под золою и готовые вспыхнуть. Пахло сыростью и ладаном. Мало-помалу глаз Максима стал привыкать к полумраку и различать другие подробности храма: над царскими дверьми виден был спаситель в силах, с херувимами и серафимами, а над ним шестнадцать владычных праздников. Большой местный образ Иоанна Предтечи представлял его крылатым и держащим на блюде отсеченную главу свою. На боковых дверях были написаны грубо и неискусно притча о блудном сыне, прение смерти и живота да исход души праведного и грешного. Мрачные эти картины глубоко подействовали на Максима; все понятия о смирении духа, о безусловной покорности родительской власти, все мысли, в кото-

рых он был воспитан, оживились в нем снова. Он усомнился, прав ли был, что уехал от отца против его воли? Но совесть отвечала ему, что он прав; а между тем она не была спокойна. Картина Страшного суда потрясла его воображение. Когда тень дубовых листьев, колеблемых ветром снаружи окна, трепетала на стене подвижною сеткой, ему казалось, что грешники и диаволы, писанные в человеческий рост, дышат и движутся...

Благоговейный ужас проник его сердце. Он пал ниц перед игуменом.

— Отец мой, — сказал он, — должно быть, я великий грешник!

— Молись, — отвечал кротко старик, — велико милосердие божие; много поможет тебе раскаяние, сын мой!

Максим собрался с силами.

— Тяжело мое преступление, — начал он дрожащим голосом. — Отец мой, слушай! Страшно мне вымолвить: оскудела моя любовь к царю, сердце мое от него отвратилось!

Игумен с удивлением взглянул на Максима,

— Не отвергай меня, отец мой! — продол-

жал Максим, — выслушай меня! Долго боролся я сам с собою, долго молился пред святыми иконами. Искал я в своем сердце любви к царю — и не обрел ее!

— Сын мой! — сказал игумен, глядя с участием на Максима, — должно быть, сатанинское наваждение помрачило твой рассудок; ты клеветешь на себя. Того быть не может, чтобы ты возненавидел царя. Много тяжких преступников исповедовал я в этом храме: были и церковные тати, и смертные убойцы, а не бывало такого, кто повинился бы в нелюбви к государю!

Максим побледнел.

— Стало, я преступнее церковного татя и смертного убойцы! — воскликнул он. — Отец мой, что мне делать? Научи, вразуми меня, душа моя делится надвое!

Старик смотрел на исповедника и все более дивился.

Правильное лицо Максима не являло ни одной порочной или преступной черты. То было скромное лицо, полное добродушия и отваги, одно из тех русских лиц, которые еще ныне встречаются между Москвой и Волгой, в

странах, отдаленных от больших дорог, куда не проникло городское влияние.

— Сын мой, — продолжал игумен, — я тебе не верю; ты клеветешь на себя. Не верю, чтобы сердце твое отвратилось от царя. Этого быть не может. Подумай сам: царь нам более чем отец, а пятая заповедь велит чтить отца. Скажи мне, сын мой, ведь ты следуешь заповеди?

Максим молчал.

— Сын мой, ты чтишь отца своего?

— Нет! — произнес Максим едва внятно.

— Нет? — повторил игумен и, отступив назад, осенился крестным знаменем.

— Ты не любишь царя? Ты не чтишь отца? Кто же ты таков?

— Я... — сказал молодой опричник, — я Максим Скуратов, сын Скуратова-Бельского!

— Сын Малюты?

— Да! — сказал Максим и зарыдал.

Игумен не отвечал. Он горестно стоял перед Максимом. Неподвижно смотрели на них мрачные лики угодников. Грешники на картине Страшного суда жалобно подымали руки к небу, но все молчало. Спокойствие церк-

ви прерывали одни рыдания Максима, щебетанье ласточек под сводами да изредка полугромкое слово среди тихой молитвы, которую читал про себя игумен.

— Сын мой, — сказал наконец старик, — поведай мне все по ряду, ничего не утай от меня: как вошла в тебя нелюбовь к государю?

Максим рассказал о жизни своей в Слободе, о последнем разговоре с отцом и о ночном своем отъезде.

Он говорил медленно, с расстановкой, и часто собирался с мыслями, дабы ничего не забыть и ничего не утаить от духовного отца своего.

Окончив рассказ, он опустил глаза и долго не смел взглянуть на игумена, ожидая своего приговора.

— Все ли ты поведал мне? — сказал игумен. — Не тяготит ли еще что-нибудь душу твою? Не помыслил ли ты чего на царя? Не задумал ли ты чего над святою Русью?

Глаза Максима заблестали.

— Отец мой, скорей дам отсечь себе голову, чем допущу ее замыслить что-нибудь против родины! Грешен я в нелюбви к государю,

но не грешен в измене!

Игумен накрыл его эпитрахилью.

— Очищается раб божий Максим! — сказал он, — отпускаются ему грехи его вольные и невольные!

Тихая радость проникла в душу Максима.

— Сын мой, — сказал игумен, — твоя исповедь тебя очистила. Святая церковь не поставляет тебе в вину, что ты бросил Слободу. Бежать от соблазна волен и должен всякий. Но бойся прельститься на лесть врага рода человеческого. Бойся примера Курбского, который из высокого русского боярина учинился ныне сосуд дьяволу! Премилостивый бог, — продолжал со вздохом старик, — за великие грехи наши попустил ныне быть времени трудному. Не нам суемудрием человеческим судить о его неисповедимом промысле. Когда господь наводит на нас глады и телесные скорби, что нам остается, как не молиться и покоряться его святой воле? Так и теперь: настал над нами царь немилостивый, грозный. Не ведаем, за что он нас казнит и губит; ведаем только, что он послан от бога, и держим поклонную голову не пред Иваном Василье-

вичем, а перед волею пославшего его. Вспомним пророческое слово: «Аще кая земля оправдится перед богом, поставляет им царя и судью праведна и всякое подает благодеяние; аще же которая земля прегрешит пред богом, и поставляет царя и судей не праведна, и наводит на тое землю вся злая!» Останься у нас, сын мой; поживи с нами. Когда придет тебе пора ехать, я вместе с братиею буду молиться, дабы, где ты ни пойдешь, бог везде исправил путь твой! А теперь, — продолжал добродушно игумен, снимая с себя эпитрахиль, — теперь пойдём к трапезе. После духовной пищи не отвергнем телесной. Есть у нас изрядные щуки, есть и караси; отведай нашего творогу, выпей с нами меду черемхового во здравие государя и высокопреосвященного владыки!

И в дружеском разговоре старик повел Максима к трапезе.

## **Глава 23. Дорога**

**Т**ихо и однообразно протекала монастырская жизнь.

В свободное время монахи собирали травы и составляли целебные зелья. Другие занима-

лись живописью, вырезывали из кипариса кресты иль иконы, красили и золотили деревянные чаши.

Максим полюбил добрых иноков. Он не замечал, как текло время. Но прошла неделя, и он решился ехать. Еще в Слободе слышал Максим о новых набегах татар на рязанские земли и давно уже хотел вместе с рязанцами испытать над врагами ратной удачи. Когда он поведал о том игумену, старик опечалился.

— Куда тебе ехать, сын мой? — сказал он. — Мы все тебя любим, все к тебе привыкли. Кто знает, может, и тебя посетит благодать божия, и ты навсегда останешься с нами! Послушай, Максим, не уезжай от нас!

— Не могу, отец мой! Давно уже судьба зовет меня в дальнюю сторону. Давно слышу звон татарского лука, а иной раз как задумаюсь, то будто стрела просвистит над ушами. На этот звон, на этот свист меня тянет и манит!

И не стал игумен долее удерживать Максима, отслужил ему напутный молебен, благословил его, и грустно простилась с ним братия.

И снова очутился Максим на коне, среди зеленого леса. Как прежде, Буян прыгал вокруг коня и весело смотрел на Максима. Вдруг он залаял и побежал вперед. Максим уже схватился за саблю в ожидании недоброй встречи, как из-за поворота показался всадник в желтом кафтане с черным двоеглавым орлом на груди.

Всадник ехал рысью, весело посвистывал и держал на пестрой рукавице белого кречета в клубочке и колокольцах.

Максим узнал одного из царских сокольников.

— Трифон! — вскричал он.

— Максим Григорьич! — отвечал весело сокольник, — доброго здоровья! Как твоя милость здравствует? Так вот где ты, Максим Григорьич! А мы в Слободе думали, что ты и невесть куда пропал! Ну ж как батюшка-то твой осерчал! Упаси господи! Смотреть было страшно! Да еще многое рассказывают про твоего батюшку, про царевича да про князя Серебряного. Не знаешь, чему и верить. Ну, слава богу, добро, что ты сыскался, Максим Григорьич! Обрадуется же твоя матушка!

Максим досадовал на встречу с сокольником. Но Трифон был добрый малый и при случае умел молчать. Максим спросил его, давно ли он из Слободы?

— Да уже будет с неделю, как Адраган с поля улетел! — отвечал сокольник, показывая своего кречета. — Да ведь ты, пожалуй, и не знаешь, Максим Григорьич! Ну уж набрался я было страху, как царь на меня раскручинился! Да сжалился надо мной милосердый бог и святой мученик Трифон! Проявил надо мною свое чудо! — Сокольник снял шапку и перекрестился. — Вишь, Максим Григорьич; выехал государь будет тому с неделю, на птичью потеху. Напускал Адрагана раза два; как на беду, третий-то раз дурь нашла на Адрагана. Стал он бить соколов, сбил Смышляя и Кружка, да и давай тягу! Не успел бы ты десяти просчитать, как он у тебя и с глаз долой. Я было скакать за ним, да куды! Пропал, будто и не бывало. Вот доложил сокольничий царю, что пропал Адраган. Царь велел меня позвать, да и говорит, что ты-де, Тришка, мне головой за него отвечаешь; достанешь — пожалую тебя, не достанешь — голову долой. Как

быть! Батюшка-царь ведь не шутит! Поехал я искать Адрагана; шесть ден промучился; стало мне уж вокруг шеи неловко; думаю, придется проститься с головой. Стал я плакать; плакал, плакал, да с горя и заснул в лесу. Лишь только заснул, явилось мне, сонному, видение: сияние разлилось меж деревьев, и звон пошел по лесу. И, слыша тот звон, я, сонный, сам себе говорю: то звонят Адрагановы колокольцы. Гляжу, передо мной сидит на белом коне, весь облитый светом, молодой ратник и держит на руке Адрагана: «Трифоне! — сказал ратник, — не здесь ищи Адрагана. Встань, ступай к Москве, к Лазареву урочищу. Там стоит сосна, на той сосне сидит Адраган». Проснулся я, и сам не знаю с чего, стало мне попятно, что ратник был святой мученик Трифон. Вскочил я на коня и поскакал к Москве. Что ж, Максим Григорьич, поверишь ли? как приехал на то урочище, вижу: в самом деле сосна, и на ней сидит мой Адраган, точь-в-точь как говорил святой!

Голос сокольника дрожал, и крупные слезы катились из глаз его.

— Максим Григорьич! — прибавил он, ути-

рая слезы, — теперь хоть все животы свои продам без остатку, хоть сам в вековечную кабалу пойду, а построю часовню святому угоднику! На том самом месте построю, где нашел Адрагана. И образ велю на стене написать точь-в-точь как явился мне святой: на белом коне, высоко подняв руку, а на ней белый кречет. Заповедую и детям и внукам славить его, служить ему молебны и ставить писанные свечи, что не захотел он моей гибели, спас от плахи раба своего! Вишь, — продолжал сокольник, глядя на кречета, — вот он, Адраган, цел-целехонек! Дай-ка я сниму с тебя клобучок! Чего кричишь? Небось полетать хочется! Нет, брат, погоди! Довольно, налетался, не пущу!

И Трифон дразнил кречета пальцем.

— Вишь, злобный какой! Так и хватает! А кричит-то как! Я чай, за версту слышно!

Рассказ сокольника запал в душу Максима.

— Возьми ж и мое приношение! — сказал он, бросая горсть золотых в шапку Трифона. — Вот все мои деньги; они мне не нужны, а тебе еще много придется собирать на часовню.

— Да наградит тебя бог, Максим Григорьич! С твоими деньгами уж не часовню, а целую церковь выстрою! Как приду домой, в Слободу, отслужу молебен и выну просвиру во здравие твое! Вечно буду твоим холопом, Максим Григорьич! Что хочешь приказывай!

— Слушай, Трифон! Сослужи мне службу нетрудную: как приедешь в Слободу, никому не заикнись, что меня встретил; а дня через три ступай к матушке, скажи ей, да только ей одной, чтобы никто не слышал, скажи, что сын-де твой, дал бог, здоров, бьет тебе челом.

— Только-то, Максим Григорьич?

— Еще, слушай, Трифон, я еду в далекий путь. Может, не скоро вернусь. Так, коли тебе не в труд, наведывайся от поры до поры к матери, да говори ей каждый раз: я-де, говори, слышал от людей, что сын твой, помощью божией, здоров, а ты-де о нем не кручинься! А буде матушка спросит: от каких людей слышал? и ты ей говори: слышал-де от московских людей, а им-де другие люди сказывали, а какие люди, того не говори, чтоб и концов не нашли, а только бы ведала матушка, что я здравствую.

— Так ты, Максим Григорьич, и вправду не вернешься в Слободу?

— Вернусь ли, нет ли, про то бог знает; ты же никому не сказывай, что меня встретил.

— Уж положишься на меня, Максим Григорьич, не скажу никому! Только коли ты едешь в дальний путь, так я не возьму твоих денег. Меня бог накажет.

— Да на что мне деньги? Мы не в басурманской земле!

— Воля твоя, Максим Григорьич, а мне взять не можно. Добро бы ты ехал домой. А то, что ж я тебя оберу на дороге, как станишник какой! Воля твоя, хоть зарежь, не возьму!

Максим пожал плечами и вынул из шапки Трифона несколько золотых.

— Коли ты не берешь, — сказал он, — авось кто другой возьмет, а мне их не надо.

Он простился с сокольником и поехал далее.

Уже солнце начинало заходить. Длинные тени дерев становились длиннее и застилали поляны. Подле Максима ехала его собственная тень, словно темный великан. Она то бежала по траве, то, когда лес спирал дорогу,

всползала на кусты и деревья. Буян казался на тени огромным баснословным зверем. Мало-помалу и Буян, и конь, и Максим исчезли и с травы и с дерев; наступили сумерки; кое-где забелел туман; вечерние жуки поднялись с земли и, жужжа, стали чертить воздух. Месяц показался из-за лесу; там и сям по темнеющему небу зажглись звезды; вдали засеребрилось необозримое поле.

Родина ты моя, родина! Случалось и мне в позднюю пору проезжать по твоим пустыням! Ровно ступал конь, отдыхая от слепней и дневного жару; теплый ветер разносил запах цветов и свежего сена, и так было мне сладко, и так было мне грустно, и так думалось о прошедшем, и так мечталось о будущем. Хорошо, хорошо ехать вечером по безлюдным местам, то лесом, то нивами, бросить поводья и задуматься, глядя на звезды!

Уже с добрый час ехал Максим, как вдруг Буян поднял морду на ветер и замахал хвостом. Послышался запах дыма. Максим вспомнил о ночлеге и понудил коня. Вскоре увидел он покачнувшуюся на сторону избу. Трубы на ней не было; дым выходил прямо из

крыши. В низеньком окне светился огонь. Внутри слышался однообразный напев. Максим подъехал к окну. Он увидел всю внутренность бедного хозяйства. Пылающая лучина освещала домашнюю утварь; все было дрябно и ветхо. В потолочине торчал наискось гибкий шест, и на конце его висела люлька. Женщина лет тридцати, бледная, хворая, качала люльку и потихоньку пела. Подле нее сидел, согнувшись, мужичок с реденькою бородкой и плел лапти. Двое детей ползали у ног их.

Максиму показалось, что женщина в песни поминает его отца. Сначала он подумал, что ослышался, но вскоре ясно поразило его имя Малюты Скуратова. Полный удивления, он стал прислушиваться.

— Спи, усни, мое дитяtko! — пела женщина.

*Спи, усни, мое дитяtko,  
Покуль гроза пройдет,  
Покуль беда минет!  
Баю-баюшки-баю,  
Баю, мое дитяtko!  
Скоро минет беда наносная,*

*Скоро царь велит отсечь голову  
Злому псу Малюте Скурлатову!  
Баю-баюшки-баю,  
Баю, мое дитяtko!*

Вся кровь Максима бросилась ему в лицо.  
Он слез с коня и привязал его к плетню.

Голос продолжал:

*Как и он ли, злой пес Малюта,  
Задушил святого старца,  
Святого старца Филиппа!  
Баю-баюшки-баю,  
Баю, мое дитяtko!*

Максим не выдержал и толкнул дверь ногою. При виде богатой одежды и золотой сабли опричника хозяева оробели.

— Кто вы? — спросил Максим.

— Батюшка! — отвечал мужичок, кланяясь и заикаясь от страха, — меня-то, не взыщи, меня зовут Федотом, а хозяйку-то, не взыщи, батюшка, хозяйку зовут Марьею!

— Чем вы живете, добрые люди?

— Лыки дерем, родимый, лапти плетем да решета делаем. Купцы проедут и купят.

— А, знать, мало проезжают?

— Малость, батюшка, совсем малость!

Иной раз, придется, и есть нечего. Того и смотри, с голоду али с наготы помрешь. А лошадки-то нет у нас товар в город отвезти. Другой год волки съели.

Максим поглядел с участием на мужика и его хозяйку и высыпал свои червонцы на стол.

— Бог с вами, бедные люди! — сказал он и схватился за дверь, чтобы выйти.

Хозяева повалились ему в ноги.

— Батюшка, родимый, кто ты? Поведай нам, кто ты? За кого нам богу молиться?

— Молитесь не за меня, за Малюту Скуратова. Да скажите, далеко ль до Рязанской дороги?

— Да это она и есть, сокол ты наш, она-то и есть, Рязанская-то. Мы на самом кресте живем. Вот прямо пойдет Муромская, а налево Владимирская, а сюда вправо на Рязань! Да не ездите теперь, родимый ты наш, не ездите теперь, не такая пора; больно стали шалить на дороге. Вот вчера целый обоз с вином ограбили. А теперь еще, говорят, татары опять проявились. Переночуй у нас, батюшка ты наш, отец ты наш, сокол ты наш, сохрани бог, долго ль

до беды!

Но Максиму не хотелось остаться в избе, где недавно еще проклинали отца его. Он уехал искать другого ночлега.

— Батюшка, — кричали ему вслед хозяева, — вернись, родимый, послушай нашего слова! Несдобровать тебе ночью на этой дороге!

Но Максим не послушался и поехал далее.

Не много верст проехал он, как вдруг Буян бросился к темному кусту и стал лаять так зло, так упорно, как будто чуял скрытого врага.

Тщетно отсвистывал его Максим. Буян бросался на куст, возвращался весь оцетиненный и снова рвался вперед.

Наскучив отзывать его, Максим выхватил саблю и поскакал прямо на куст. Несколько человек с поднятыми дубинами выскочили к нему навстречу, и грубый голос крикнул:

— Долой с коня!

— Вот тебе! — сказал Максим, отвечивая удар тому, который был ближе.

Разбойник зашатался.

— Это тебе не в почет! — продолжал Мак-

сим и хотел отвесить ему второй удар; но сабля встретила плашмя дубину другого разбойника и разлетелась наполю.

— Эге, посмотри-ка на его сбрую! Да это опричник! Хватай его живьем! — закричал грубый голос.

— И впрямь опричник! — завизжал другой, — вот потешимся над ним с ребятами!

— Ай да Хлопко! уж ты и рад тешиться!

И в тот же миг все вместе навалились на Максима и стащили его с коня.

## **Глава 24. Бунт станичников**

**В**ерсты полторы от места, где совершилось нападение на Максима, толпы вооруженных людей сидели вокруг винных бочек с выбитыми днами. Чарки и берестовые черпала ходили из рук в руки. Пылающие костры освещали резкие черты, всклокоченные бороды и разнообразные одежды. Были тут знакомые нам лица: и Андрюшка, и Васька, и рыжий песенник; но не было старого Коршуна. Часто поминали его разбойники, хлебая из черпал и осушая чарки.

— Эх, — говорил один, — что-то с нашим дедушкой теперь!

— Вестимо что! — отвечал другой, — рвут его с дыбов, а может, на виске потряхивают.

— А ведь не выдаст старый черт; я чай, словечка не выронит!

— Вестимо, не выронит, не таковский; этого хоть на ключья разорви, не выдаст!

— А жаль седой бороды! Ну да и атаман-то хорош! Сам небось цел, а старика-то выдал!

— Да что он за атаман! Разве это атаман, чтобы своих даром губить из-за какого-то князя!

— Да вишь ты, они с князем-то в дружбе. И теперь, вишь, в одном курене сидят. Ты про князя не говори, неравно, атаман услышит, сохрани бог!

— А что ж, коль услышит! Я ему в глаза скажу, что он не атаман. Вот Коршун, так настоящий атаман! Небось был у Перстня как бельмо на глазу, так вот его нарочно и выдал!

— А что, ребята, ведь, может, и в самом деле он нарочно выдал Коршуна!

Глухой ропот пробежал меж разбойников.

— Нарочно, нарочно выдал! — сказали многие.

— Да что это за князь? — спросил один. —

Зачем его держат? Выкупа за него ждет атаман, что ли?

— Нет, не выкупа! — отвечал рыжий песенник. — Князя, вишь, царь обидел, хотел казнить его; так князь-то от царя и ушел к нам; говорит: я вас, ребяташки, сам на Слободу поведу; мне, говорит, ведомо, где казна лежит. Всех, говорит, опричников перережем, а казною поделимся!

— Вот как! Так что ж он не ведет нас? Уж третьи сутки здесь даром стоим!

— Оттого не ведет, что атаман у нас баба!

— Нет, этого не говори, Перстень не баба!

— А коли не баба, так и хуже того. Стало быть, он нас морочит!

— Стало, — сказал кто-то, — он хочет царскую казну на себя одного взять, а нам чтоб понюхать не досталось!

— Да, да, Перстень продать нас хочет, как Коршуна продал!

— Да не на таковских напал!

— А старика-то выручить не хочет!

— Да что он нам! Мы и без него дедушку выручим!

— И без него казну возьмем; пусть князь

один ведет нас!

— Теперь-то и самая пора: царь, слышно, на богомолье; в Слободе и половины опричников не осталось!

— Зажжем опять Слободу!

— Перережем всех слободских!

— Долой Перстня! Пусть князь ведет нас!

— Пусть князь ведет! Пусть князь ведет! — послышалось отовсюду.

Подобно грому прокатились слова от толпы до толпы, пронеслися до самых отдаленных костров, и все поднялось и закипело, и все обступили курень, где Серебряный сидел в жарком разговоре с Перстнем.

— Воля твоя, князь, — говорил атаман, — сердись не сердись, а пустить тебя не пущу! Не для того я тебя из тюрьмы вызволил, чтоб ты опять голову на плаху понес!

— В голове своей я один волен! — отвечал князь с досадою. — Незачем было меня из тюрьмы вызволять, коли я теперь в неволе сижу!

— Эх, князь, велико дело время. Царь может одуматься, царь может преставиться; мало ли что может случиться; а минует беда,

ступай себе с богом на все четыре стороны! Что ж делать, — прибавил он, видя возрастающую досаду Серебряного, — должно быть, тебе на роду написано пожить еще на белом свете. Ты норовом крут, Никита Романыч, да и я крепко держусь своей мысли; видно, уж нашла коса на камень, князь!

В это мгновение голоса разбойников раздалась у самого куреня.

— В Слободу, в Слободу! — кричали пьяные удалыцы.

— Пустим красного гуся в Слободу!

— Пустим целое стадо гусей!

— Выручим Коршуна!

— Выручим дедушку!

— Выкатим бочки из подвалов!

— Выгребем золото!

— Вырежем опричнину!

— Вырежем всю Слободу!

— Где князь? Пусть ведет нас!

— Пусть ведет князь!

— А не хочет, так на осину его!

— На осину! На осину!

— Перстня туда же!

— На осину и Перстня!

Перстень вскочил с места.

— Так вот что они затевают! — сказал он. — А я уж давно прислушиваюсь, что они там голосят. Вишь, как расходились, вражьи дети! Теперь их сам черт не уймет! Ну, князь, нечего делать, вышло по-твоему; не держу тебя доле: вольному воля, ходячему путь! Выйди к ним, скажи, что ведешь их на Слободу!

Серебряный вспыхнул.

— Чтоб я повел вас на Слободу? — сказал он. — Да скорей вы меня на клочья разорвете!

— Эх, князь, притворись хоть для виду. Народ, ты видишь, нетрезвый, завтра образумятся!

— Князь! — кричали голоса, — тебя зовут, выходи!

— Выйди, князь! — повторил Перстень, — свалятся в курень, хуже будет!

— Добро ж! — сказал князь, выходя из куреня, — посмотрим, как они меня заставят вести их на Слободу!

— Ага! — закричали разбойники, — вылез!

— Веди на Слободу!

— Атаманствуй над нами, не то тебе петлю на шею!

— Так, так! — ревели голоса.

— Бьем тебе челом! — кричали другие, — будь нам атаманом, не то повесим!

— Ей-богу, повесим!

Перстень, зная горячий прав Серебряного, поспешил также выйти.

— Что вы, братцы, — сказал он, — белены, что ль, объелись? Чего вы горла-то дерете? Поведет вас князь, куда хотите; поведет чем свет; а теперь дайте выпасться его милости, да и сами ложитесь; уже вволю повеселились!

— Да ты что нам указываешь! — захрипел один, — разве ты нам атаман!

— Слышь, братцы, — закричали другие, — он не хочет сдать атаманства! Так на осину его! На осину, на осину!

Перстень окинул взором всю толпу и везде встретил враждебные лица.

— Ах вы дураки, дураки! — сказал он. — Да разве я держусь вашего атаманства? Поставьте над собой кого знаете, а я и сам не хочу; наплевать мне на вас.

— Хорошо! — закричал кто-то.

— Красно говорит! — прибавил другой.

— Наплевать мне на вас! — продолжал Перстень, — мало, что ли, таких, как вы? Эка честь над вами атаманствовать! Да захочу, пойду на Волгу, не таких наберу!

— Нет, брат, дудки. От себя не пустим; еще, пожалуй, продашь, как Коршуна продал!

— Не пустим, не пустим; оставайся с нами; слушайся нового атамана!

Дикие крики заглушили голос Перстня.

Разбойник огромного роста подошел к Серебряному с чаркой в руке.

— Батька! — сказал он, ударив его широкою лапой по плечу, — пробазарил ты свою голову, стал нашим братом; так выпьем вместе да поцелуемся!

Бог знает, что бы сделал Серебряный. Пожалуй, вышиб бы он чарку из рук разбойника и разорвала б его на клочья пьяная толпа; но, к счастью, новые крики отвлекли его внимание.

— Смотрите, смотрите! — раздалось в толпе, — опричника поймали! Опричника ведут! Смотрите, смотрите!

Из глубины леса шло несколько людей в изодранных одеждах, с дубинами в руках.

Они вели с собой связанного Максима. Разбойник, которого он ударил саблей, ехал на Максимовом коне. Впереди шел Хлопко, при-свистывая и приплясывая. Раненый Буян тащился сзади.

— Гей, братцы, — пел Хлопко, щелкая пальцами.

Гости съехались ко вдовушкам во дворики, Заходили по головушкам топорики!..

И Хлопко опрокидывался навзничь, бил в ладоши и кружился, словно кубарь.

Глядя на него, рыжий песенник не вытерпел, схватил балалайку и пустился вприсядку помогать товарищу.

Оба стали наперерыв семенить ногами и кривляться вокруг Максима.

— Вишь, дьяволы! — сказал Перстень Серебряному. — Ведь они не просто убьют опричника, а замучат медленною смертью; я знаю обоих: уж коли эти пустились, значит, плохо дело; несдобровать молодцу!

В самом деле, поимка опричника была для всей шайки настоящим праздником. Они собрались выместить на Максиме все, что претерпели от его товарищей.

Несколько человек с зверскими лицами тотчас занялись приготовлениями к его казни.

В землю вколотили четыре кола, укрепили на них поперечные жерди и накалили гвоздей.

Максим смотрел на все спокойным оком. Не страшно было ему умирать в муках; грустно было умереть без меча, со связанными руками, и не слышать в предсмертный час ни бранного окрика, ни ржания коней, а слышать лишь дикие песни да пьяный смех своих мучителей.

«Обмануло меня вещее, — подумал он, — не такого я чаял себе конца. Да будет же надомной божья воля!»

Тут он заметил Серебряного, узнал его и хотел к нему подойти. Но рыжий песенник схватил его за ворот.

— Постлана постель, — сказал он, — сымай кафтан, ложись, что ли!

— Развяжите мне руки! — отвечал Максим, — не могу перекреститься!

Хлопко ударом ножа разрезал веревки, которыми руки Максима были спутаны.

— Крестись, да недолго! — сказал он, и когда Максим помолился, Хлопко и рыжий сорвали с него платье и стали привязывать его руки и ноги к жердям.

Тут Серебряный выступил вперед.

— Ребята! — сказал он голосом, который привык раздаваться в ратном строю, — слушайте!

И звонкие слова резко пронеслись по толпе и, несмотря на шум и крики, долетели до самых отдаленных разбойников.

— Слушайте! — продолжал князь. — Все ли вы хотите, чтоб я был над вами старшим? Может, есть меж вами такие, что не хотят меня?

— Э! — закричал кто-то, — да ты, никак, на попятный двор!

— Слышь ты, с нами не шути!

— Дают атаманство, так бери!

— Принимай честь, пока цел!

— Подайте ж мне атаманский чекан! — сказал Серебряный.

— Дело! — закричали разбойники. — Так-то лучше подобру-поздорову!

Князю подали чекан Перстня.

Никита Романович подошел прямо к ры-

жему песеннику.

— Отвязывай опричника! — сказал он.

Рыжий посмотрел на него с удивлением.

— Отвязывай тотчас! — повторил грозно

Серебряный.

— Вишь ты! — сказал рыжий, — да ты за него, что ль, стоишь? Смотри, у самого крепка ль голова?

— Окаянный! — вскричал князь, — не рассуждай, когда я приказываю!

И, взмахнув чеканом, он разрубил ему череп.

Рыжий повалился, не пикнув.

Поступок Серебряного смутил разбойников. Князь не дал им опомниться.

— Отвязывай ты! — сказал он Хлопку, подняв чекан над его головой.

Хлопко взглянул на князя и поспешил отвязать Максима.

— Ребята! — продолжал Никита Романович, — этот молодец не из тех, что вас обидели; я его знаю; он такой же враг опричнине, как и вы. Сохрани вас бог тронуть его хоть пальцем! А теперь нечего мешкать: берите оружие, стройтесь по сотням, я веду вас!

Твердый голос Серебряного, повелительная осанка и неожиданная решительность сильно подействовали на разбойников.

— Эге, — сказали некоторые вполголоса, — да этот не шутит!

— И впрямь атаман! — говорили другие, — хоть кого перевернет!

— С ним держи ухо востро, не разговаривай! Вишь, как уходил песенника!

Так рассуждали разбойники, и никому не приходило более в голову трепать Серебряного по плечу или с ним целоваться.

— Исполать тебе, князь! — прошептал Перстень, с почтением глядя на Никиту Романовича. — Вишь ты, как их приструнил! Только не давай им одуматься, веди их по дороге в Слободу, а там что бог даст!

Трудно было положение Серебряного. Став в главе станичников, он спас Максима и выиграл время; но все было бы вновь потеряно, если б он отказался вести буйную ватагу. Князь обратился мыслию к богу и предался его воле.

Уже начали станичники готовиться к походу, и только поговаривали, что недостает

какого-то Федьки Поддубного, который с утра ушел с своим отрядом и еще не возвращался.

— А вот и Федька! — сказал кто-то, — эвот идет с ребятами!

Поддубный был сухощавый детина, кривой на один глаз и со множеством рубцов на лице.

Зипун его был изодран. Ступал он тяжело, сгибая колени, как человек, через силу уставший.

— Что? — спросил один разбойник.

— Я чай, опять досталось? — прибавил другой.

— Досталось, да не нам! — сказал Поддубный, садясь к огню. — Вот, ребятушки, много у меня лежало грехов на душе, а сегодня, кажись, половину сбыл!

— Как так?

Поддубный обернулся к своему отряду.

— Давайте сюда языка, братцы!

К костру подвели связанного детину в полосатом кафтане. На огромной голове его торчала высокая шапка с выгнутыми краями. Сплюснутый нос, выдававшиеся скулы, узенькие глаза свидетельствовали о нерусском его

происхождении.

Один из товарищей Поддубного принес копьё, саадак и колчан, взятые на пленном.

— Да это татарин! — закричала толпа.

— Татарин, — повторил Поддубный, — да еще какой! Насилу с ним справились, такой здоровяк! Кабы не Митька, как раз ушел бы!

— Рассказывай, рассказывай! — закричали разбойники.

— А вот, братцы, пошли мы с утра по Рязанской дороге, остановили купца, стали обшаривать; а он нам говорит: «Нечего, говорит, братцы, взять с меня! Я, говорит, еду от Рязани, там всю дорогу заложила татарва, ободрали меня дочиста, не с чем и до Москвы дотащиться».

— Вишь, разбойники! — сказал один из толпы.

— Что ж вы с купцом сделали? — спросил другой.

— Дали ему гривну на дорогу и отпустили, — ответил Поддубный. — Тут попался нам мужик, рассказал, что еще вчера татары напали на деревню и всю выжгли. Вскоре мы сами перешли великую сакму: сметили, по

крайнему счету, с тысячу лошадей. А там идут другие мужики с бабами да с детьми, воют да голосят: и наше-де село выжгла татарва, да еще и церковь ограбили, порубили святые иконы, из риз поделали чепраки...

— Ах они окаянные! — вскричали разбойники, — да как еще их, проклятых, земля держит!

— Попа, — продолжал Поддубный, — к лошадиному хвосту привязали...

— Попа? Да как их, собачьих детей, громом не убило!

— А бог весть!

— Да разве у русского человека рук нет на проклятую татарву!

— Вот то-то и есть, что рук-то мало; все полки распущены, остались мужики, да бабы, да старики; а басурманам-то и любо, что нет ратных людей, что некому поколотить их порядком!

— Эх, дал бы я им!

— И я бы дал!

— Да как вы языка-то достали?

— А вот как. Слышим мы лошадиный топ по дороге. Я и говорю ребятам: схоронимся,

говору, в кусты, посмотрим, кто такой едет? Схоронились, видим: скачет человек тридцать, вот в этаких шапках, с копьями, с колчанами, с луками. Братцы, говорю я, ведь это они, сердечные! Жаль, что нас маленько, а то можно б поколотить! Вдруг у одного отторочился какой-то мешок и упал на землю. Тот остановился, слез с коня подымать мешок да вторачивать, а товарищи его меж тем ускакали. Братцы, говорю я, что бы нам навалиться на него? Ну-тка, робятушки, за мной, разом! И, сказавши, бросились все на татарина. Да куды! Тот только повел плечами, так всех нас и стряхнул. Мы опять на него, он нас опять стряхнул, да и за копье. Тут уж Митька говорит: посторонитесь, братцы, говорит, не мешайте! Мы дали ему место, а он вырвал у татарина копье, взял его за шиворот, да и пригнул к земле. Тут мы ему рукавицу в рот, да и связали, как барана.

— Ай да Митька! — сказали разбойники.

— Да, этот хоть быка за рога свалит! — заметил Поддубный.

— Эй, Митька! — спросил кто-то, — свалишь ты быка?

— А для ча! — ответил Митька и отошел в сторону, не желая продолжать разговора.

— Что ж было в мешке у татарина? — спросил Хлопко.

— А вот смотрите, ребята!

Поддубный развязал мешок и вынул кусок ризы, богатую дарохранительницу, две-три панагии да золотой крест.

— Ах он собака! — закричала вся толпа, — так это он церковь ограбил!

Серебряный воспользовался негодованием разбойников.

— Ребята! — сказал он, — видите, как проклятая татарва ругается над Христовою верой? Видите, как басурманское племя хочет святую Русь известить? Что ж, ребята, разве уж и мы стали басурманами? Разве дадим мы святые иконы на поругание? Разве попустим, чтобы нехристи жгли русские села да резали наших братьев?

Глухой ропот пробежал по толпе.

— Ребята, — продолжал Никита Романович, — кто из нас богу не грешен! Так испушим же теперь грехи наши, заслужим себе прощение от господина, ударим все, как мы

есть, на врагов церкви и земли Русской!

Сильно подействовали на толпу слова Серебряного. Проняла мужественная речь не одно зачерствелое сердце, не в одной косматой груди расшевелила любовь к родине. Старые разбойники кивнули головой, молодые взглянули друг на друга. Громкие восклицания вырвались из общего говора.

— Что ж! — сказал один, — ведь и вправду не приходится отдавать церквей божиих на поругание!

— Не приходится, не приходится! — повторил другой.

— Двух смертей не бывать, одной не миновать! — прибавил третий, — лучше умереть в поле, чем на виселице!

— Правда! — отозвался один старый разбойник, — в поле и смерть красна!

— Эх, была не была! — сказал, выступая вперед, молодой сорвиголова. — Не знаю, как другие, а я пойду на татарву!

— И я пойду! и я! и я! — закричали многие.

— Говорят про вас, — продолжал Серебряный, — что вы бога забыли, что не осталось в вас ни души, ни совести. Так покажите ж те-

перь, что врут люди, что есть у вас и душа и совесть. Покажите, что коли пошло на то, чтобы стоять за Русь да за веру, так и вы постоите не хуже стрельцов, не хуже опричников!

— Постоим! постоим! — закричали все разбойники в одни голос.

— Не дадим поганым ругаться над святою Русью!

— Ударим на нехристей!

— Веди нас на татарву!

— Веди нас, веди нас! Постоим за святую веру!

— Ребята! — сказал князь, — а если поколотим поганых да увидит царь, что мы не хуже опричников, отпустит он нам вины наши, скажет: не нужна мне боле опричина; есть у меня и без нее хорошие слуги!

— Пусть только скажет, — закричали разбойники, — уж послужим ему нашими головами!

— Не по своей же я охоте в станичники пошел! — сказал кто-то.

— А я разве по своей? — подхватил другой.

— Так ляжем же, коли надо, за Русскую землю! — сказал князь.

— Ляжем, ляжем! — повторили разбойники.

— Что ж, ребята, — продолжал Серебряный, — коли бить врагов земли Русской, так надо выпить про русского царя!

— Выпьем!

— Берите ж чарки и мне чару подайте!

Князю поднесли стопу; все разбойники налили себе чарки.

— Да здравствует великий государь наш, царь Иван Васильевич всея Руси! — сказал Серебряный.

— Да здравствует царь! — повторили разбойники.

— Да живет земля Русская! — сказал Серебряный.

— Да живет земля Русская! — повторили разбойники.

— Да сгинут все враги святой Руси и православной Христовой веры! — продолжал князь.

— Да сгинет татарва! Да сгинут враги русской веры, — кричали наперерыв разбойники.

— Веди нас на татарву! Где они, басурма-

ны, что жгут наши церкви?

— Веди нас, веди нас! — раздавалось ото-  
всюду.

— В огонь татарина! — закричал кто-то.

— В огонь его! В поломя! — повторили дру-  
гие.

— Пойдите, ребята! — сказал Серебря-  
ный, — спросим его наперед порядком. От-  
вечай, — сказал князь, обращаясь к татарин-  
ну, — много ль вас? Где вы станом стоите?

Татарин сделал знак, что не понимает.

— Пой, князь, — сказал Поддубный, —  
мы ему развяжем язык! Давай-ка, Хлопко,  
огоньку. Так. Ну что, будешь говорить?

— Буду, бачка! — вскрикнул обожженный  
татарин.

— Много ль вас?

— Многа, бачка, многа!

— Сколько?

— Десять тысяча, бачка; теперь десять ты-  
сяча, а завтра пришла сто тысяча!

— Так вы только передовые! Кто ведет вас?

— Хан тащил!

— Сам хан?

— Не сама! Хан пришла завтра; теперь

пришла ширинский князь Шихмат!

— Где его стан?

Татарин опять показал знаками, что не понимает.

— Эй, Хлопке, огоньку! — крикнул Поддубный.

— Близка стан, бачка, близка! — поспешил отвечать татарин, — не больше отсюда, как десята верста!

— Показывай дорогу! — сказал Серебряный.

— Не можно, бачка! Не можно теперь видеть дорога! Завтра можно, бачка!

Поддубный поднес горячую головню к святым рукам татарина.

— Найдешь дорогу?

— Нашла, бачка, нашла!

— Хорошо, — сказал Серебряный, — теперь перекусите, братцы, накормите татарина, да тотчас и в поход! Покажем врагам, что значит русская сила!

## Глава 25. Приготовление к битве

В шайке началось такое движение, беготня и крики, что Максим не успел сказать и спасибо Серебряному. Когда наконец станич-

ники выстроились и двинулись из лесу, Максим, которому возвратили коня и дали оружие, поравнялся с князем.

— Никита Романыч, — сказал он, — отплатил ты мне сегодня за медведя!

— Что ж, Максим Григорьевич, — ответил Серебряный, — на то на свете живем, чтоб помогать друг другу!

— Князь, — подхватил Перстень, ехавший также верхом возле Серебряного, — смотрел я на тебя и думал: эх, жаль, что не видит его один низовой молодец, которого оставил я на Волге! Хоть он и худой человек, почитай мне ровня, а полюбил бы ты его, князь, и он тебя полюбил бы! Не в обиду тебе сказать, а схожи вы нравом. Как заговорил ты про святую Русь да загорелись твои очи, так я и вспомнил Ермака Тимофеича. Любит он родину, крепко любит ее, нужды нет, что станичник. Не раз говаривал мне, что совестно ему землю даром бременить, что хотелось бы сослужить службу родине. Эх, кабы теперь его на татар! Он один целой сотни стоит. Как крикнет: за мной, ребята! так, кажется, сам станешь и выше и сильнее, и ничто тебя уже не остановит,

и все вокруг тебя так и валится. Похож ты на него, ей-богу похож, Никита Романыч, не в укор тебе сказать!

Перстень задумался. Серебряный ехал осторожно, вглядываясь в темную даль; Максим молчал. Глухо раздавались по дороге шаги разбойников; звездная ночь безмолвно раскинулась над спящею землей. Долго шла толпа по направлению, указанному татаринном, которого вели под саблей Хлопко и Поддубный.

Вдруг принесли издали какие-то странные, мерные звуки.

То был не человеческий голос, не рожок, не гусли, а что-то похожее на шум ветра в тростнике, если бы тростник мог звенеть, как стекло или струны.

— Что это? — спросил Никита Романыч, останавливая коня.

Перстень снял шапку и наклонил голову почти до самой луки.

— погоди, князь, дай порасслушать!

Звуки лились мерно и заунывно, то звонкими серебряными струями, то подобные шуму колеблемого леса, — вдруг замолкли, как

будто в порыве степного ветра.

— Кончил! — сказал Перстень, смеясь. — Вишь, грудь-то какова! Я чай, с полчаса дул себе, не переводя духа!

— Да что это? — спросил князь.

— Чебузга! — отвечал Перстень. — Это у них, почитай, что у нас рожок или жалейка. Должно быть, башкирцы. Ведь тут разный сброд с ханом, и казанцы, и астраханцы, и всякая ногайская погань. Слышь, вот опять наигрывать стали!

Вдали начался как будто новый порыв вихря, обратился в длинные, грустно-приятные переливы и через несколько времени кончился отрывисто, подобно конскому фырканию.

— Ага! — сказал Перстень, — это колено вышло покороче; должно быть, надорвался, собачий сын!

Но тут раздались новые звуки, гораздо звончее. Казалось, множество колокольных звенели безостановочно.

— А вот и горло! — сказал Перстень. — Ведь издали подумаешь и невесть что; а они это горлом выделывают. Вишь, их разобрало,

вражьих детей!

Грустные, заунывные звуки сменялись веселыми, но то была не русская грусть и не русская удаль. Тут отражалось дикое величие кочующего племени, и попрыски табунов, и богатырские набеги, и переходы народов из края в край, и тоска по неизвестной, первобытной родине.

— Князь, — сказал Перстень, — должно быть, близко стан; я чаю, за этим пригорком и огни будут видны. Дозволь, я пойду повысмотрю, что и как; мне это дело обычное, дозволено я их за Волгой встречал; а ты бы пока ребятам дал вздохнуть да осмотреться.

— Ступай с богом, — сказал князь, и Перстень соскочил с коня и исчез во мраке.

Разбойники оправились, осмотрели оружие и сели на землю, не изменя боевого порядка. Глубокое молчание царствовало в шайке. Все понимали важность начатого дела и необходимость безусловного повиновения. Между тем звуки чебузги лились по-прежнему, месяц и звезды освещали поле, все было тихо и торжественно, и лишь изредка легкое дуновение ветра волновало ковыль серебри-

стыми струями.

Прошло около часа; Перстень не возвращался. Князь стал уже терять терпение, но вдруг шагах в трех от него поднялся из травы человек. Никита Романович схватился за саблю.

— Тише, князь, это я! — произнес Перстень, усмехаясь. — Вот так точно подполз я и к татарам; все высмотрел, теперь знаю их стан не хуже своего куреня. Коли дозволишь, князь, я возьму десяток молодцов, пугну табун да переполошу татарву; а ты тем часом, коли рассудишь, ударь на них с двух сторон, да с добрым криком; так будь я татарин, коли мы их половины не перережем! Это я так говорю, только для почину; ночное дело мастера боится; а взойдет солнышко, так уж тебе указывать, князь, а нам только слушаться!

Серебряный знал находчивость и сметливость Перстня и дал ему действовать по его мысли.

— Ребятушки, — сказал Перстень разбойникам, — повздорили мы немного, да кто старое помянет, тому глаз вон! Есть ли промеж вас человек десять охотников со мной вместе

к стану идти?

— Выбирай кого знаешь, — отвечали разбойники, — мы все готовы!

— Спасибо же вам, ребяташки; а коли уж вы меня уважили, так я беру вот каких: ступай сюда, Поддубный, и ты, Хлопко, и ты, Дятел, и ты, Лесников, и ты, Решето, и Степка, и Мишка, и Шестопер, и Наковальня, и Саранча! А ты куда лезешь, Митька? Тебя я не звал; оставайся с князем, ты к нашему делу непригоден. Сымайте, ребята, сабли, с ними ползти неладно, будет с нас и ножей. Только, ребята, чур слушать моего слова, без меня ни на шаг! Пошли в охотники, так уж что укажу, то и делать. Чуть кто-нибудь не так, я ему тут же и карачун!

— Добро, добро! — отвечали выбранные Перстнем, — как скажешь, так и сделаем. Уж пошли на святое дело, небось не повздорим!

— Видишь, князь, этот косогор? — продолжал атаман. — Как дойдешь до него, будут вам их костры видны. А мой совет — ждать вам у косогора, пока не услышите моего визга. А как пугну табун да послышится визг и крик, так вам и напускаться на нехристей; а

им деться некуда; коней-то уж не будет; с одной стороны мы, с другой пришла речка с болотом.

Князь обещался делать все по распоряжению Перстня.

Между тем атаман с десятью удальцами пошли на звук чебузги и вскоре пропали в траве. Иной подумал бы, что они тут же и притаились; но зоркое око могло бы заметить колебание травы, независимое от ветра и не по его направлению.

Через полчаса Перстень и его товарищи были уже близко к татарским кибиткам.

Лежа в ковыле, Перстень приподнял голову.

Шагов пятьдесят перед ним горел костер и озарял несколько башкирцев, сидевших кружком, с поджатыми под себя ногами. Кто был в пестром халате, кто в бараньем тулупе, а кто в изодранном кафтане из верблюжины. Воткнутые в землю копыя торчали возле них и докидывали длинные тени свои до самого Перстня. Табун из нескольких тысяч лошадей, вверенный страже башкирцев, пасся неподалеку густою кучей. Другие костры, ша-

гах во сто подале, освещали бесчисленные войлочные кибитки.

Не зорко смотрели башкирцы за своим табуном. Пришли они от Волги до самой Рязани, не встретив нигде отпора; знали, что наши войска распущены, и не ожидали себе неприятеля; а от волков, думали, обережемся чебузгой да горлом. И четверо из них, уперев в верхние зубы концы длинных репейных дудок и набрав в широкие груди сколько могли ветру, дули, перебирая пальцами, пока хватало духа. Другие подтягивали им горлом, и огонь освещал их скулистые лица, побагровевшие от натуги.

Несколько минут Перстень любовался этою картиной, раздумывая про себя: броситься ли ему тотчас с ножом на башкирцев и, не дав им опомниться, перерезать всех до одного? Или сперва разогнать лошадей, а потом уже начать резать?

И то и другое его прельщало. «Вишь, какой табун, — думал он, притаив дыхание, — коли пугнуть его умеючи, так он, с напуску, все их кибитки переломает; такого задаст переполоху, что они своих не узнают. А и эти-то вра-

жьи дети хорошо сидят, больно хорошо! Вишь, как наяривают; можно к ним на два шага подползти!»

И не захотелось атаману отказаться от кровавой потехи над башкирцами.

— Решето, — шепнул он притаившемуся возле него товарищу, — что, у тебя в горле не першит? Сумеешь взвизгнуть?

— А ты-то что ж? — ответил шепотом Решето.

— Да как будто осип маненько.

— Пожалуй, я взвизгну. Пора, что ли?

— Постой, рано. Заползи-ка вон оттоль как можно ближе к табуну; ползи, пока не сметят тебя кони; а лишь начнут ушьми трясти, ты и гикни, да пострашнее, да и гони их прямо на кибитки!

Решето кивнул головой и исчез в ковыле.

— Ну, братцы, — шепнул Перстень остальным товарищам, — ползите за мной под нехристей, только чур осторожно. Вишь, их всего-то человек двадцать, а нас девятеро; на каждого из вас будет по два, а я на себя четырех беру. Как услышите, что Решето взвизгнуло, так всем разом и загикать да прямо на

них! Готовы, что ли?

— Готовы! — отвечали шепотом разбойники.

Атаман перевел дыхание, оправился и начал потихоньку вытаскивать из-за пояса длинный нож свой.

## Глава 26. Побратимство

Пока все это происходило у татарского стана, Серебряный, за полверсты оттуда, ожидал нетерпеливо условленного знака.

— Князь, — сказал ему Максим, не отходивший все время от него, — недолго нам ждать, скоро начнется бой; как взойдет солнышко, так уже многих из нас не будет в живых, а мне бы хотелось попросить тебя...

— О чем, Максим Григорьич?

— Дело-то нетрудное, да не знаю, как тебе сказать, совестно мне...

— Говори, Максим Григорьич, было бы вмоготу!

— Видишь ли, князь, скажу тебе всю истину. Я ушел из Слободы тайно, против воли отца, без ведома матери. Невтерпеж мне стало служить в опричниках; такая нашла тошнота, что хоть в воду кинуться. Видишь ли, бо-

ярин, я один сын у отца у матери, брата у меня никогда не бывало. От покрова пошел мне девятнадцатый год, а поверишь ли, до сей поры не с кем было добрым словом перемолвиться. Живу промеж них один-одинешенек, никто мне не товарищ, все чужие. Всяк только и думает, как бы другого извести, чтобы самому в честь попасть. Что ни день, то пытки да казни. Из церкви, почитай, не выходят, а губят народ хуже станичников. Было б им поболее казны да поместий, так, по ним, хоть вся Русь пропадай! Как царь ни грозен, а ведь и тот иногда слушает истину; так у них, хоть бы у одного, язык повернулся правду вымолвить! Все так ему и поддакивают, так и лезут выслужиться! Поверишь ли, князь, как увидел тебя, на сердце у меня повеселело, словно родного встретил! Еще и не знал я, кто ты таков, а уж полюбился ты мне, и очи у тебя не так глядят, как у них, и речь звучит иначе. Вот Годунов, пожалуй, и лучше других, а все не то, что ты. Смотрел я на тебя, как ты без оружия супротив медведя стоял; как Басманов, после отравы того боярина, и тебе чашу с вином поднес; как тебя на плаху вели; как ты с станичника-

ми сегодня говорил. Так меня и тянуло к тебе, вот так бы и кинулся к тебе на шею! Не дивись, князь, моей глупой речи, — прибавил Максим, потупя очи, — я не набиваюсь к тебе на дружбу, знаю, кто ты и кто я; только что ж мне делать, коли не могу слов удержать; сами рвутся наружу, сердце к тебе само так и мечется!

— Максим Григорьич, — сказал Серебряный и крепко сжал его руку, — и ты полюбился мне, как брат родной!

— Спасибо, князь, спасибо тебе! А коли уж на то пошло, то дай мне разом высказать, что у меня на душе. Ты, я вижу, не брезгаешь мной. Дозволь же мне, князь, теперь, перед битвой, по древнему христианскому обычаю, побрататься с тобой! Вот и вся моя просьба; не возьми ее во гнев, князь. Если бы знал я наверно, что доведется нам еще долгое время жить вместе, я б не просил тебя; уж помнил бы, что тебе непригоже быть моим названным братом; а теперь...

— Полно бога гневить, Максим Григорьич! — прервал его Серебряный, — чем ты не брат мне? Знаю, что мой род честнее твое-

го, да то дело думное и разрядное; а здесь, перед татарами, в чистом поле, мы равны, Максим Григорьич, да везде равны, где стоим пред богом, а не пред людьми. Побратаемся, Максим Григорьич!

И князь снял с себя крест-тельник на узорной золотой цепи и подал Максиму.

Максим также снял с шеи крест, простой, медный, на шелковом гайтане, поцеловал его и перекрестился.

— Возьми его, Никита Романьич; им благословила меня мать, когда еще мы были бедными людьми, не вошли еще в честь у Ивана Васильича. Береги его, он мне всего дороже.

Тогда оба еще раз перекрестились и, поменявшись крестами, обняли друг друга.

Максим просветлел.

— Теперь, — сказал он радостно, — ты мне брат, Никита Романьич! Что бы ни случилось, я с тобой неразлучен, кто тебе друг, тот друг и мне; кто тебе враг, тот и мне враг; буду любить твоею любовью, опаляться твоим гневом, мыслить твоею мыслию! Теперь мне и умирать веселее, и жить не горько; есть с кем жить, за кого умереть!

— Максим, — сказал Серебряный, глубоко тронутый, — видит бог, и я тебе всею душой учинился братом; не хочу разлучаться с тобою до скончания живота!

— Спасибо, спасибо, Никита Романыч, и не след нам разлучаться! Коли, даст бог, останемся живы, подумаем хорошенько, поищем вместе, что бы нам сделать для родины, какую службу святой Руси сослужить? Быть того не может, чтобы все на Руси пропало, чтоб уж нельзя было и царю служить иначе, как в опричниках!

Максим говорил с непривычным жаром, но вдруг остановился и схватил Серебряного за руку.

Пронзительный визг раздался в отдалении. Воздух как будто задрожал, земля затряслась, смутные крики, невнятный гул принесли от татарского стана, и несколько коней, грива дыбом, проскакали мимо Серебряного и Максима.

— Пора! — сказал Серебряный, садясь в седло, и вынул саблю. — Чур меня слушаться, ребята, не сбиваться в кучу, не рассыпаться врозь, каждый знай свое место. С богом, за

мною!

Разбойники вспрыгнули с земли.

— Пора, пора! — раздалось во всех рядах. —  
Слушаться князя!

И вся толпа двинулась за Серебряным и перевалилась через холм, заграждавший им до толе неприятельские костры. Тогда новое неожиданное зрелище поразило их очи. Справа от татарского стана змеился по степи огонь, и неправильные узоры его, постепенно расширяясь и сливаясь вместе, ползли все ближе и ближе к стану.

— Ай да Перстень! — вскричали разбойники, — ай да наши! Вишь, зажгли степь, пустили огонь по ветру, прямо на басурманов!

Пожар рос с неимоверною быстротой, вся степь по правую сторону стана обратилась в пылающее море, и вскоре огненные волны охватили крайние кибитки и озарили стан, похожий на встревоженный муравейник.

Татары, спасаясь от огня, бежали в беспорядке навстречу разбойникам.

— На них, ребята! — загремел Серебряный, — топчите их в воду, гоните в огонь!

Дружный крик отвечал князю, разбойники

бросились на татар, и закипела резня.

...Когда солнце взошло, бой еще продолжался, но поле было усеяно убитыми татарами.

Теснимые с одной стороны пожаром, с другой — дружиной Серебряного, враги не успели опомниться и кинулись к топким берегам речки, где многие утонули. Другие погибли в огне или задохлись в дыму. Испуганные табуны с самого начала бросились на стан, переломали кибитки и привели татар в такое смятение, что они давили друг друга и резались между собою, думая отбивать неприятеля. Одна часть успела прорваться через огонь и рассеялась в беспорядке по степи. Другая, собранная с трудом самим ширинским мурзою Шихматом, переплыла через речку и построилась на другом берегу. Тысячи стрел сыпались оттуда на торжествующих русских. Разбойники, не имея другого оружия, кроме рукопашного, и видя стреляющих врагов, защищенных топкою речкой, не выдержали и смешались.

Напрасно Серебряный просьбами и угрозами старался удержать их. Уже отряды татар начали, под прикрытием стрел, обратно пере-

плывать речку, грозя ударить Серебряному в тыл, как Перстень явился внезапно возле князя. Смуглое лицо его разгорелось, рубаха была изодрана, с ножа капала кровь.

— Стойте, други! стойте, ясные соколы! — закричал он на разбойников. — Аль глаза вам запорошило? Аль не видите, к нам подмога идет?

В самом деле, на противоположном берегу подвигалась рать в боевом порядке; ее копыта и бердыши сверкали в лучах восходящего солнца.

— Да это те же татары! — сказал кто-то.

— Сам ты татарин! — возразил Перстень, негодуя. — Разве так идет орда? Разве бывает, чтоб татары шли пешие? А этого не видишь впереди на сером коне? Разве на нем татарская бронь?

— Православные идут! — раздалось между разбойниками. — Стойте, братцы, православные к нам на помощь идут!

— Видишь, князь, — сказал Перстень, — они, вражьи дети, и стреляют-то уж не так густо, значит, смекнули, в чем дело! А как схватится с ними та дружина, я покажу тебе брод,

перейдем да ударим на них сбоку!

Новая рать подвигалась все ближе, и уже можно было распознать ее вооружение и одежду, почти столь же разнообразную, как и на разбойниках. Над головами ратников болтались цепи, торчали косы и рогатины. Они казались наскоро вооруженными крестьянами, и только на передовых были одноцветные кафтаны, а в руках их светились бердыши и копья. Тут же ехало человек сто всадников, также в одноцветных кафтанах. Предводитель этой дружины был стройный молодой человек. Из-под сверкающего шлема висели у него длинные русые волосы. Он ловко управлял конем, и конь серебристо-серой масти то взвивался на дыбы, то шел, красуясь, ровным шагом и ржал навстречу неприятелю.

Туча стрел встретила вождя и дружину.

Между тем Никита Романович вместе с своими перешел речку вброд и врезался в толпу врагов, на которых в то же время наперла с другой стороны вновь пришедшая подмога.

Уже с час кипела битва.

Серебряный на мгновение отъехал к речке напоить коня и перетянуть подпруги. Максим увидел его и подскакал к нему.

— Ну, Никита Романыч, — сказал он весело, — видно, бог стоит за святую Русь. Смотри, коли наша не возьмет!

— Да, — ответил Серебряный, — спасибо вон тому боярину, что подоспел к нам на прибавку. Вишь, как рубит вправо и влево! Кто он таков? Я как будто видал его где-то?

— Как, Никита Романыч, ты не признал его?

— А ты его разве знаешь?

— Мне-то как не знать его, бог с ним! Много грехов отпустится ему за нынешний день. Да ведь и ты знаешь его, Никита Романыч. Это Федька Басманов.

— Басманов? Этот! Неужто он!

— Он самый, и на себя не похож стал. Бывало, и подумать соромно, в летнике, словно девушка, плясывал; а теперь, видно, разобрало его: поднял крестьян и дворовых и напал на татар; должно быть, и в нем русский дух заговорил. А сила-то откуда взялась, подумаешь! Да как и не перемениться в этакый

день, — продолжал Максим с одушевлением, и глаза его блистали радостью. — Поверишь ли, Никита Романыч, я сам себя не узнаю. Когда ушел я из Слободы, все казалось, что недолго уже доводится жить на свете. Тянуло померяться с нехристями, только не с тем, чтобы побить их; на то, думал, найдутся лучше меня; а с тем, чтобы сложить голову на татарскую саблю. А теперь не то; теперь мне хочется жить! Слышишь, Никита Романыч, когда ветер относит бранный гул, как в небе жаворонки звенят? Вот так же весело звенит и у меня на сердце! Такая чуется сила и охота, что целый век показался бы короток. И чего не передумал я с тех пор, как заря занялась! Так стало мне ясно, так понятно, сколько добра еще можно сделать на родине! Тебя царь помилует; быть того не может, чтоб не помиловал. Пожалуй, еще и полюбит тебя. А ты возьми меня к себе; давай вместе думать и делать, как Адашев с Сильвестром. Все, все расскажу тебе, что у меня на мысли, а теперь прости, Никита Романыч, пора опять туда; кажись, Басманова окружили. Хоть он и худой человек, а надо выручить!

Серебряный посмотрел на Максима почти отеческим взором.

— Побереги себя, Максим, — сказал он, — не мечись в сечу даром; смотри, ты и так уж в крови!

— То, должно быть, вражья кровь, — ответил Максим, весело посмотрев на свою рубаху, — а на мне и царапины нет; твой крест соблюдает меня!

В это время притаившийся в камышах татарин выполз на берег, натянул лук и пустил стрелу в Максима.

Зазвенел тугой татарский лук, спела тетива, провизжала стрела, угодила Максиму в белую грудь, угодила каленая под самое сердце. Закачался Максим на седле, ухватился за конскую гриву; не хочется пасть добру молодцу, но доспел ему час, на роду написанный, и свалился он на сырую землю, зацепя стремя ногою. Поволок его конь по чисту полю, и летит Максим, лежа навзничь, раскидав белые руки, и метут его кудри мать сыру-земли, и бежит за ним по полю кровавый след.

Придет в Слободу весть недобрая, разрыдается мать Максимова, что не стало ей на по-

мин души поминщика и некому ее старых очей закрыть. Разрыдается слезами горючими, не воротить своего детища!

Придет в Слободу весть недобрая, заскрежет Малюта зубами, налетит на пленных татар, насечет в тюрьмах копны голов и упьется кровью до жадной души: не воротить своего детища!

Забыл Серебряный и битву и татар, не видит он, как Басманов гонит нехристей, как Перстень с разбойниками перенимают бегущих; видит только, что конь волочит по полю его названного брата. И вскочил Серебряный в седло, поскакал за конем и, поймав его за узду, спрянул на землю и высвободил Максима из стремени.

— Максим, Максим! — сказал он, став на колени и приподымая его голову, — жив ли ты, названный брат мой? Открой очи, дай мне отповедь!

И Максим открыл туманные очи и протянул к нему руки.

— Прости, названный брат мой! Не довелось пожить нам вместе. Сделай же один, что хотели мы вдвоем сделать!

— Максим, — сказал Серебряный, прижимая губы к горячему челу умирающего, — не заповедаешь ли мне чего?

— Отвези матери последний поклон мой, скажи ей, что я умер, ее поминая...

— Скажу, Максим, скажу, — ответил Серебряный, едва удерживаясь от слез.

— А крест, — продолжал Максим, — тот, что на мне, отдай ей... а мой носи на память о брате твоём...

— Брат мой, — сказал Серебряный, — нет ли еще чего на душе у тебя? Нет ли какой зазнобы в сердце? Не стыдись, Максим, кого еще жаль тебе, кроме матери?

— Жаль мне родины моей, жаль святой Руси! Любил я ее не хуже матери, а другой зазнобы не было у меня!

Максим закрыл глаза. Лицо его горело, дыхание делалось чаще.

Через несколько мгновений он опять взглянул на Серебряного.

— Брат, — сказал он, — кабы мне напиться воды, да постуденее!

Река была недалеко, князь встал, зачерпнул в шлем воды и подал Максиму.

— Теперь как будто полегчало, — сказал умирающий, — приподыми меня, помоги перекреститься!

Князь приподнял Максима. Он повел кругом угасающим взором, увидел бегущих татар и улыбнулся.

— Я говорил, Никита Романыч, что бог стоит за нас... смотри, как они рассыпались... а у меня уж и в глазах темнеет... ох, не хотелось бы умереть теперь!..

Кровь хлынула из уст его.

— Господи, прими мою душу! — проговорил Максим и упал мертвый.

## **Глава 27. Басманов**

Люди Басманова и разбойники окружили Серебряного. Татары были разбиты наголову, многие отдались в плен, другие бежали. Максиму вырыли могилу и похоронили его честно. Между тем Басманов велел раскинуть на берегу речки свой персидский шатер, а дворецкий его, один из начальных людей рати, доложил Серебряному, что боярин бьет ему челом, просит не побрезгать походным обедом.

Лежа на шелковых подушках, Басманов,

уже расчесанный и надушенный, смотрелся в зеркало, которое держал перед ним молодой стремянный, стоя на коленях. Вид Басманова являл странную смесь лукавства, надменности, изнеженного разврата и беспечной удали; и сквозь эту смесь проглядывало то недоброжелательство, которое никогда не покидало опричника при виде земского. Предполагая, что Серебряный должен презирать его, он, даже исполняя долг гостеприимства, придумывал заранее, как бы отомстить гостю, если тот, неравно, выкажет свое презрение. При входе Серебряного Басманов приветствовал его наклонением головы, но не тронулся с места.

— Ты ранен, Федор Алексеич? — спросил Серебряный простодушно.

— Нет, не ранен, — сказал Басманов, принимая эти слова за насмешку и решившись встретить ее бесстыдством, — нет, не ранен, а только уморился немного, да вот лицо как будто загорело. Как думаешь, князь, — прибавил он, продолжая смотреться в зеркало и поправляя свои жемчужные серьги, — как думаешь, скоро сойдет загар?

Серебряный не знал, что и отвечать.

— Жаль, — продолжал Басманов, — сегодня не успеем в баню; до вотчины моей будет верст тридцать, а завтра, князь, милости просим, угощу тебя лучше теперешнего, увидишь мои хороводы: девки все на подбор, а парни — старшему двадцати не будет.

Говоря это, Басманов сильно картавил.

— Спасибо, боярин, я спешу в Слободу, — отвечал сухо Серебряный.

— В Слободу? Да ведь ты, никак, из тюрьмы убежал.

— Не убежал, Федор Алексеич, а увели меня насильно. Давши слово царю, я сам бы не ушел, и теперь опять отдаюсь на его волю.

— Тебе, стало, хочется на виселицу? Вольному воля, спасенному рай! А я уж не знаю, вернуться ли мне?

— Что так, Федор Алексеич?

— Да что! — сказал Басманов, предаваясь досаде или, может быть, желая только внушить Серебряному доверие, — служишь царю всею правдой, отдаешь ему и душу и плоть, а он, того и смотри, посадит тебе какого-нибудь Годунова на голову!

— Да тебя-то, кажется, жалует царь.

— Жалует! До сей поры и окольниковым сдeлать не хочет! А уж кажется, я ли ему не холоп! Небось Годунов не по-моему служит. Этот бережет себя, как бы земские про него худо не подумали. «Эй, Борис, ступай в застенок, боярина допрашивать!» — «Иду, государь, только как бы он не провел меня, я к этому делу не привычен, прикажи Григорию Лукьянычу со мной идти!» — «Эй, Борис, вон за тем столом земский боярин мало пьет, поднеси ему вина, разумеешь?» — «Разумею, государь, да только он на меня подозрение держит, ты бы лучше Федьку Басманова послал!» А Федька не отговаривается, куда пошлют, туда и идет. Поведи лишь царь очами, брата родного отравил бы и не спросил бы за что. Помнишь, как я тебе за столом чашу от Ивана Васильича-то поднес? Ведь я думал, она сядом, ей-богу, думал!

Серебряный усмехнулся.

— А где ему, — продолжал Басманов, как бы подстрекаемый к большей наглости, — где ему найти слугу краше меня? Видал ли ты такие брови, как у меня? Чем эти брови не собо-

льи? А волосы-то? Тронь, князь, пощупай, ведь шелк, право, ну шелк!

Отвращение выразилось на лице Серебряного. Басманов это заметил и продолжал, как будто желая поддразнить своего гостя:

— А руки-то мои, посмотри, князь, чем они не девичьи? Только вот сегодня намозолил маленько. Такой уж у меня нрав, ни в чем себя не жалею!

— И подлинно не жалеешь, — сказал Серебряный, не в силах более сдержать своего негодования, — коли все то правда, что про тебя говорят...

— А что же про меня говорят? — подхватил Басманов, лукаво прищурясь.

— Да уж и того бы довольно, что ты сам рассказываешь; а то говорят про тебя, что ты перед царем, прости господи, как девушка, в летнике пляшешь!

Краска бросилась в лицо Басманова, но он призвал на помощь свое обычное бесстыдство.

— А что ж, — сказал он, принимая беспечный вид, — если и в самом деле пляшу?

— Тогда прости, — сказал Серебряный, —

мне не только с тобой обедать, но и смотреть на тебя соромно!

— Ага! — вскричал Басманов, и поддельная беспечность его исчезла, и глаза засверкали, и он уже забыл картавить, — ага! выговорил наконец! Я знаю, что вы все про меня думаете! Да мне, вот видишь ли, на всех вас наплевать!

Брови Серебряного сдвинулись, и рука опустилась было на крыж его сабли, но он вспомнил, с кем говорит, и только пожал плечами.

— Да что ты за саблю-то хватаешься? — продолжал Басманов. — Меня этим не напугаешь. Как сам примусь за саблю, так еще посмотрим, чья возьмет!

— Прости! — сказал Серебряный и приподнял завесу шатра, чтобы выйти.

— Слушай, — вскричал Басманов, хватая его за полу кафтана, — кабы на меня кто другой так посмотрел, я, видит бог, не спустил бы ему, но с тобой ссориться не хочу; больно хорошо татар рубишь!

— Да и ты, — сказал добродушно Серебряный, останавливаясь у входа и вспомнив, как дрался Басманов, — да и ты не хуже меня ру-

бил их. Что ж ты опять вздумал ломаться, словно баба какая!

Лицо Басманова опять сделалось беспечно.

— Ну, не сердись, князь! Я ведь не всегда таков был; а в Слободе, сам знаешь, поневоле всему научишься!

— Грешно, Федор Алексеич! Когда сидишь ты на коне, с саблей в руке, сердце, глядя на тебя, радуется. И доблесть свою показал ты сегодня, любо смотреть было. Брось же свой бабий обычай, остриги волосы, как бог велит, сходи на покаяние в Киев или в Соловки, да и вернись на Москву христианином!

— Ну, не сердись, не сердись, Никита Романыч! Сядь сюда, пообедай со мной, ведь я не пес же какой, есть и хуже меня; да и не все то правда, что про меня говорят; не всякому слуху верь. Я и сам иногда с досады на себя наклеплю!

Серебряный обрадовался, что может объяснить поведение Басманова в лучшую сторону.

— Так это неправда, — поспешил он спросить, — что ты в летнике плясал?

— Эх, дался тебе этот летник! Разве я по

своей охоте его надеваю? Иль ты не знаешь царя? Да и что мне, в святые себя прочить, что ли? Уж я и так в Слободе пощусь ему в угождение; ни одной заутрени не проспал; каждую среду и пятницу по сту земных поклонов кладу; как еще лба не расшиб! Кабы тебе пришлось по целым неделям в стихаре ходить, небось и ты б для перемены летник надел!

— Скорей пошел бы на плаху! — сказал Серебряный.

— Ой ли? — произнес насмешливо Басманов, и, бросив злобный взгляд на князя, он продолжал с видом доверчивости: — А ты думаешь, Никита Романыч, мне весело, что по царской милости меня уже не Федором, а Федорой величают? И еще бы какая прибыль была мне от этого! А то вся прибыль ему, а мне один сором! Вот хоть намедни, еду вспольем мимо Дорогомиловской слободы, ан мужичье-то пальцами на меня показывают, а кто-то еще закричи из толпы: «Эвот царская Федора едет!» Я было напустился на них, да разбежались. Прихожу к царю, говорю, так и так, не вели, говорю, дорогомиловцам холопа

твоего корить, вот уж один меня Федорой назвал. «А кто назвал?» — «Да кабы знал кто, не пришел бы докучать тебе, сам бы зарезал его». — «Ну, говорит, возьми из моих кладовых сорок соболей на душегрейку». — «А на что мне она! Небось ты не наденешь душегрейки на Годунова, а чем я хуже его?» — «Да что же тебе, Федя, пожаловать?» — «А пожалуй меня окольниковичим, чтоб люди в глаза не корили!» — «Нет, говорит, окольниковичим тебе не бывать; ты мне потешник, а Годунов советник; тебе казна, а ему почет. А что Дорогомиловцы тебя Федорой называли, так отписать за то всю Дорогомиловщину на мой царский обиход!» Вот тебе и потешник! Да с тех пор, как бросили Москву, и потехи-то не было. Всё постились да богу молились. Со скуки уж в вотчину отпросился, да и там надоело. Не век же зайцев да перепелов травить! Поневоле обрадовался, как весть про татар пришла. А ведь хорошо мы их отколотили, ей-богу, хорошо! Довольно и полону пригоним к Москве! Да я было и забыл про полон! Стреляешь ты из лука, князь?

— А что?

— Да так. После обеда привяжем татарина шагах во сто: кто первый в сердце попадет. А что не в сердце, то не в почет. Околеет, другого привяжем.

Открытое лицо Серебряного омрачилось.

— Нет, — сказал он, — я в связанных не стреляю.

— Ну так велим ему бежать: кто первый на бегу свалит.

— И того не стану, да и тебе не дам! Здесь, слава богу, не Александрова слобода!

— Не дашь? — вскричал Басманов, и глаза его снова загорелись, но, вероятно, не вошло в его расчет ссориться с князем, и, внезапно переменив приемы, он сказал ему весело: — Эх, князь! Разве не видишь, я шучу с тобой! И про летник ты поверил! Вот уж полчаса я потешаюсь, а ты, что ни скажу, все за правду примаешь! Да мне хуже, чем тебе, слободской обычай постыл! Разве ты думаешь, я лажу с Грязным, али с Вяземским, али с Малютой? Вот те Христос, они у меня как бельмо на глазу! Слушай, князь, — продолжал он вкрадчиво, — знаешь ли что? Дай мне первому в Слободу вернуться, я тебе выпрошу прощение у

царя, а как войдешь опять в милость, тогда уж и ты сослужи мне службу. Стоит только шепнуть царю сперва про Вяземского, а там про Малюту, а там и про других, так посмотри, коли мы с тобой не останемся сам-друг у него в приближении. А я уж знаю, что ему про кого сказать, да только лучше, чтоб он со стороны услышал. Я тебя научу, как говорить, ты мне спасибо скажешь!

Странно сделалось Серебряному в присутствии Басманова. Храбрость этого человека и полувысказанное сожаление о своей постыдной жизни располагали к нему Никиту Романовича. Он даже готов был подумать, что Басманов в самом деле перед этим шутил или с досады клепал на себя, но последнее предложение его, сделанное, очевидно, не в шутку, возбудило в Серебряном прежнее отвращение.

— Ну, — сказал Басманов, нагло смотря ему в глаза, — пополам, что ли, царскую милость? Что ж ты молчишь, князь? Аль не веришь мне?

— Федор Алексеич, — сказал Серебряный, стараясь умерить свое негодование и быть

повежливее к угощавшему его хозяину, — Федор Алексеич, ведь то, что ты затеял, оно... как бы тебе сказать? ведь это...

— Что? — спросил Басманов.

— Ведь это скаредное дело! — выговорил Серебряный и подумал, что, смягчив голос, он скрасил свое выражение.

— Скаредное дело! — повторил Басманов, перемогая злобу и скрывая ее под видом удивления. — Да ты забыл, про кого я тебе говорю. Разве ты мыслишь к Вяземскому или к Малюте?

— Гром божий на них и на всю опричнину! — сказал Серебряный. — Пусть только царь даст мне говорить, я при них открыто скажу все, что думаю и что знаю, но шептать не стану ему ни про кого, а кольми паче с твоих слов, Федор Алексеич!

Ядовитый взгляд блеснул из-под ресниц Басманова.

— Так ты не хочешь, чтоб я с тобой царскою милостью поделился?

— Нет, — отвечал Серебряный.

Басманов повесил голову, схватился за нее обеими руками и стал перекачиваться со сто-

роны на сторону.

— Ох, сирота, сирота я! — заговорил он нараспев, будто бы плача, — сирота я горькая, горемычная! С тех пор как разлюбил меня царь, всяк только и норовит, как бы обидеть меня! Никто не приласкает, никто не приголубит, все так на меня и плюют! Ой, житье мое, житье нерадостное! Надоело ты мне, собачье житье! Захлесну поясок за перекладинку, продену в петельку головушку бесталанную!

Серебряный с удивлением смотрел на Басманова, который продолжал голосить и причитывать, как бабы на похоронах, и только иногда, украдкой, вскидывал исподлобья свой наглый взор на князя, как бы желая уловить его впечатление.

— Тьфу! — сказал наконец Серебряный и хотел было выйти, но Басманов опять поймал его за полу.

— Эй! — закричал он, — песенников!

Вошло несколько человек, вероятно ожидавших снаружи. Они загородили выход Серебряному.

— Братцы, — начал Басманов прежним

плаксивым голосом, — затяните-ка песенку, да пожалобнее, затяните такую, чтобы душа моя встосковалась, надорвалась, да и разлучилась бы с телом!

Песенники затянули длинную, заунывную песню, вроде похоронной, в продолжение которой Басманов все переваливался со стороны на сторону и приговаривал:

— Протяжнее, протяжнее! Еще протяжнее, други! Отпевайте своего боярина, отпевайте! Вот так! Вот хорошо! Да что ж душа не хочет из тела вон! Или не настал еще час ее? Или написано мне еще на свете помяться? А коли написано, так надо маяться! А коли сказано жить, так надо жить! Плясовую! — крикнул он вдруг, без всякого перехода, и песенники, привыкшие к таким переменам, грянули плясовую.

— Живей! — кричал Басманов и, схватив две серебряные стопы, начал стучать ими одна о другую. — Живей, соколы! Живей, бесовы дети! Я вас, разбойники!

Вся наружность Басманова изменилась. Ничего женоподобного не осталось на лице его. Серебряный узнал того удальца, который

утром бросался в самую сечу и гнал перед собою толпы татар.

— Вот этак-то получше! — проговорил князь, одобрительно кивнув головой.

Басманов весело на него взглянул.

— А ведь ты опять поверил мне, князь! Ты подумал, я и вправду расхныкался! Эх, Никита Романыч, легко ж тебя провести! Ну, выпьем же теперь про наше знакомство. Коли проживем вместе, увидишь, что я не такой, как ты думал!

Беспечный разгул и бешеное веселье подействовали на Серебряного. Он принял кубок из рук Басманова.

— Кто тебя разберет, Федор Алексеич! Я никогда таких не видывал. Может, и вправду ты лучше, чем кажешься. Не знаю, что про тебя и думать, но бог свел нас на ратном поле, а потому: во здравие твое!

И он осушил кубок до дна.

— Так, князь! Так, душа моя! Видит бог, я люблю тебя! Еще одну стопу на погибель всех татар, что остались на Руси!

Серебряный был крепок к вину, но после второй стопы мысли его стали путаться. На-

питок ли был хмельнее обыкновенного или подмешал туда чего-нибудь Басманов, но у князя голова заходила кругом; заходила кругом, и ничего не стало видно Никите Романовичу; слышалась только бешеная песня с при- свистом и топанием да голос Басманова:

— Живей, ребята! Во сне, что ли, поете? Ко- го хороните, воры!

Когда Серебряный пришел в себя, пение еще продолжалось, но он уже не стоял, а по- лусидел, полулежал на персидских подушках, Басманов старался, с помощью стремянного, напялить на него женский летник.

— Надевай же свой опашень, боярин, — го- ворил он, — на дворе уже сыреть начинается!

Песенники в это время, окончив колено, переводили дух. В глазах Серебряного еще ря- било, мысли его еще не совсем прояснились, и он готов был вздеть летник, принимая его за опашень, как среди наставшей тишины по- слышалось протяжное завыванье.

— Это что? — спросил гневно Басманов.

— На Скуратова могиле пес воет! — отве- тил стремянный, выглянув из шатра.

— Подай сюда лук да стрелу, я научу его

выть, когда мы с гостем веселимся.

Но при имени Скуратова Серебряный совершенно отрезвился.

— Пстой, Федор Алексеич! — сказал он, вставая, — это Максимов Буян, не тронь его. Он зовет меня на могилу моего названного брата; не в меру я с тобой загулялся; прости, пора мне в путь!

— Да надень же сперва опашень, князь.

— Не на меня шит, — сказал Серебряный, распознавая летник, который протягивал ему Басманов, — носи его сам, как доселе нашивал.

И, не дожидаясь ответа, он плюнул и вышел из шатра.

За ним посыпались проклятия, ругательства и богохульства Басманова; но, не обращая на них внимания, он подошел к могиле Максима, положил поклон своему названному брату и, сопровождаемый Буяном, присоединился к разбойникам, которые под начальством Перстня уже расположились на отдых вокруг пылающих костров.

## **Глава 28. Расставание**

Едва занялась заря, как уж Перстень поднял Шайку.

— Ребятушки! — сказал он разбойникам, когда они собрались вокруг него и Серебряного. — Настал мне час расстаться с вами. Простите, ребятушки! Иду опять на Волгу. Не поминайте меня лихом, коли я в чем согрубил перед вами.

И Перстень поклонился в пояс разбойникам.

— Атаман! — заговорила в один голос вольница, — не оставляй нас! Куда мы пойдём без тебя!

— Идите с князем, ребятушки. Вы вашим вчерашним делом заслужили вины свои; можете опять учиниться, чем прежде были, а князь не оставит вас!

— Добрые молодцы, — сказал Серебряный, — я дал царю слово, что не буду уходить от суда его. Вы знаете, что я из тюрьмы не по своей воле ушел. Теперь должен я сдержать мое слово, понести царю мою голову. Хотите ли идти со мною?

— А простит ли он нас? — спросили разбойники.

— Это в божьей воле; не хочу вас обманывать. Может, простит, а может, и нет. Подумайте, потолкуйте меж собою, да и скажите мне, кто идет и кто остается.

Разбойники переглянулись, отошли в сторону и начали вполголоса советоваться. Через несколько времени они вернулись к Серебряному.

— Идем с тобой, коли атаман идет!

— Нет, ребятушки, — сказал Перстень, — меня не просите. Коли вы и не пойдете с князем, все ж нам дорога не одна. Довольно я погулял здесь, пора на родину. Да мы же и поздорили немного, а порванную веревку как ни вяжи, все узел будет. Идите с князем, ребятушки, или выберите себе другого атамана, а лучше послушайтесь моего совета, идите с князем; не верится мне после нашего дела, чтобы царь и его и вас не простил!

Разбойники опять потолковали и после краткого совещания разделились на две части. Большая подошла к Серебряному.

— Веди нас! — сказали они, — пусть будет с нами, что и с тобой!..

— А другие-то что ж? — спросил Серебря-

ный.

— Другие выбрали в атаманы Хлопко, мы с ним не хотим!

— Там все, что похуже, остались, — шепнул Перстень князю, — они и дрались-то вчера не так, как эти!

— А ты, — сказал Серебряный, — ни за что не пойдешь со мной?

— Нет, князь, я не то, что другие. Меня царь не простит, не таковы мои винности. Да признаться, и соскучился по Ермаке Тимофеевичу; вот уж который год не видал его. Прости, князь, не поминай лихом!

Серебряный сжал руку Перстня и обнял его крепко.

— Прости, атаман, — сказал он, — жаль мне тебя, жаль, что идешь на Волгу; не таким бы тебе делом заниматься.

— Кто знает, князь, — ответил Перстень, и отважный взор его принял странное выражение, — бог не без милости, авось и не всегда буду тем, что теперь!

Разбойники стали приготовляться к походу.

Когда взошло солнце, на берегу речки уже

не было видно ни шатра, ни людей Басманова. Федор Алексеевич поднялся еще ночью, чтобы первому принести царю известие об одержанной победе.

Прощаясь с товарищами, Перстень увидел возле себя Митьку.

— Прости ж и ты, губошлеп! — сказал он весело, — послужил ты вчера царю за четверых, не оставит он тебя своей милостью!

Но Митька, как бы в недоумении, почесал затылок.

— Ну что? — спросил Перстень.

— Ничаво! — отвечал лениво Митька, почесывая одною рукой затылок, другою поясницу.

— Ну, ничего так ничего! — И Перстень уже было отошел, как Митька, собравшись с духом, сказал протяжно:

— Атаман, а атаман!

— Что?

— Я в Слободу не хочу!

— Куда ж ты хочешь?

— А с тобой!

— Нельзя со мной; я на Волгу иду.

— Ну и я на Волгу!

— Зачем же не с князем?

Митька подвинул одну ногу вперед и устался, как бы в замешательстве, на свой лапоть.

— Опричников, что ли, боишься? — спросил насмешливо Перстень.

Митька стал почесывать то затылок, то бока, то поясицу, но не отвечал ничего.

— Мало ты их видел? — продолжал Перстень, — съели они тебя, что ли?

— Невесту взяли! — проговорил нехотя Митька.

Перстень засмеялся.

— Вишь, злопамятный! не хочет с ними хлеба-соли вести! Ну, примкнись к Хлопку.

— Не хочу, — сказал решительно Митька, — хочу с тобой на Волгу!

— Да я не прямо на Волгу!

— Ну и я не прямо!

— Куда ж ты?

— А куда ты, туда и я!

— Эх, пристал, как банный лист! Так знай же, что мне сперва надо в Слободе побывать!

— Зачем? — спросил Митька и выпучил глаза на атамана.

— Зачем! Зачем! — повторил Перстень, начиная терять терпение, — затем, что я там прошлого года орехи грыз, скорлупу забыл!

Митька посмотрел было на него с удивлением, но тотчас же усмехнулся и растянул рот до самых ушей, а от глаз пустил по вискам лучеобразные морщины и придал лицу своему самое хитрое выражение, как бы желая сказать: меня, брат, надуть не так-то легко; я очень хорошо знаю, что ты идешь в Слободу не за ореховою скорлупою, а за чем-нибудь другим! Однако он этого не сказал, а только повторил, усмехаясь:

— Ну и я с тобой!

— Что с ним будешь делать! — сказал Перстень, пожимая плечами. — Видно, уж не отвязаться от него, так и быть, иди со мной, дурень, только после не пеняй на меня, коли тебя повесят!

— А хоча и повесят! — отвечал Митька равнодушно.

— Ладно, парень. Вот за это люблю! Прощай же скорей с товарищами, да и в путь!

Заспанное лицо Митьки не оживилось, но он тотчас же начал неуклюже подходить к то-

варищам и каждого, хотевшего и не хотевшего, чмокнул по три раза, кого добровольно, кого насильно, кого загребая за плечи, кого ухватив за голову.

— Атаман, — сказал Серебряный, — стало, мы с тобой по одной дороге?

— Нет, боярин. Где я пройду, там тебе не проехать. Я в Слободе буду прежде тебя, и если бы мы встретились, ты меня не узнавай; а впрочем, мы и не встретимся; я до твоего приезда уйду; надо только кое-какие дела покончить.

Серебряный догадался, что у Перстня было кое-что спрятано или зарыто в окрестностях Слободы, и не настаивал.

Вскоре два отряда потянулись по двум разным направлениям.

Большой шел за Серебряным вдоль речки по зеленому лугу, еще покрытому следами вчерашней битвы, и за ним, повеся голову и хвост, тащился Буян. Он часто подбегал к Серебряному, жалобно повизгивал и потом обращивался на свежий могильный холм, пока наконец не скрыли его из виду высокие камыши.

Другой, меньший отряд пошел за Хлопко.

Перстень удалился в третью сторону, а за ним, не спеша и переваливаясь с боку на бок, последовал Митька.

Опустела широкая степь, и настала на ней прежняя тишина, как будто браный гул и не возмущал ее накануне. Только кой-где паслись разбежавшиеся татарские кони да валялись по пожарищу разбросанные доспехи. Вдоль цветущего берега речки жаворонки по-прежнему звенели в небесной синеве, лыски перекликались в густых камышах, а мелкие птички перепархивали, чирикавая, с тростника на тростник или, заливаясь песнями, садились на пернатые стрелы, вонзившиеся в землю во время битвы и торчавшие теперь на зеленом лугу, меж болотных цветов, как будто бы и они были цветы и росли там уже бог знает сколько времени.

## **Глава 29. Очная ставка**

С неделю после поражения татар царь принимал в своей опочивальне Басманова, только что прибывшего из Рязани. Царь знал уже о подробностях битвы, но Басманов думал, что объявит о ней первый. Он надеялся

приписать себе одному всю честь победы и рассчитывал на действие своего рассказа, чтобы войти у царя в прежнюю милость.

Иван Васильевич слушал его со вниманием, перебирая четки и опустив взор на алмазное кольцо, которым был украшен указательный перст его; но когда Басманов, окончив рассказ и тряхнув кудрями, сказал с самодовольным видом:

— Что ж, государь, мы, кажется, постарались для твоей милости!

Иоанн поднял глаза и усмехнулся.

— Не пожалели себя, — продолжал вкрадчиво Басманов, — так уж и ты, государь, не пожалей наградить слугу твоего!

— А чего бы тебе хотелось, Федя? — спросил Иоанн, принимая вид добродушия.

— Да пожалуй меня хоть окольниковым, чтобы люди-то не корили.

Иоанн посмотрел на него пристально.

— А чем мне Серебряного пожаловать? — спросил он неожиданно.

— Опальника-то твоего? — сказал Басманов, скрывая свое смущение под свойственным ему бесстыдством, — да чем же, коли не

виселицей? Ведь он ушел из тюрьмы да с своими станичниками чуть дела не испортил. Кабы не переполошил он татар, мы бы всех, как перепелов, накрыли.

— Полно, так ли? А я так думаю, что татары тебя в торока ввязали б, как в тот раз, помнишь? Ведь тебе уже не впервой, дело знакомое!

— Знакомое дело за тебя горе терпеть, — продолжал Басманов дерзко, — а вот это незнакомое, чтобы спасибо услышать. Небось тебе и Годунов, и Малюта, и Вяземский не по моему служат, а наград ты для них не жалеешь.

— И подлинно не по-твоему. Где им плясать супротив тебя!

— Надёжа-государь, — ответил Басманов, теряя терпение, — коли не люб я тебе, отпусти меня совсем!

Басманов надеялся, что Иоанн удержит его; но отсутствие из Слободы, вместо того чтоб оживить к нему любовь Иоанна, охладило ее еще более; он успел от него отвыкнуть, а другие любимцы, особенно Малюта, оскорбленный высокомерием Басманова, восполь-

зовались этим временем, чтоб отвратить от него сердце Иоанна.

Расчет Басманова оказался неверен. Заметно было, что царь забавляется его досадой.

— Так и быть, — сказал он с притворною горестью, — хоть и тошно мне будет без тебя, сироте одинокому, и дела-то государские, пожалуй, замутятся, да уж нечего делать, промаюсь как-нибудь моим слабым разумом. Ступай себе, Федя, на все четыре стороны! Я тебя насильно держать не стану.

Басманов не мог долее скрыть своей злобы. Избалованный прежними отношениями к Иоанну, он дал ей полную волю.

— Спасибо тебе, государь, — сказал он, — спасибо за твою хлеб-соль! Спасибо, что выгоняешь слугу своего, как негодного пса! Буду, — прибавил он неосторожно, — буду хвалиться на Руси твоею лаской! Пусть же другие послужат тебе, как служила Федора! Много грехов взял я на душу на службе твоей, одного греха не взял, колдовства не взял на душу!

Иван Васильевич продолжал усмехаться, но при последних словах выражение его изменилось.

— Колдовства? — спросил он с удивлением, готовым обратиться в гнев, — да кто ж здесь колдует?

— А хоть бы твой Вяземский! — отвечал Басманов, не опуская очей перед царским взором. — Да, — продолжал он, не смущаясь грозным выражением Иоанна, — тебе, видно, одному неизвестно, что когда он бывает на Москве, то по ночам ездит в лес, на мельницу, колдовать; а зачем ему колдовать, коли не для того, чтоб известить твою царскую милость?

— Да тебе-то отчего оно ведомо? — спросил царь, пронзая Басманова испытующим оком.

На этот раз Басманов несколько струсил.

— Ведь я, государь, вчера только услышал от его же холопей, — сказал он поспешно. — Кабы услышал прежде, так тогда и доложил бы твоей милости.

Царь задумался.

— Ступай, — сказал он после краткого молчания, — я это дело разберу; а из Слободы погоди уезжать до моего приказа.

Басманов ушел, довольный, что успел заронить во мнительном сердце царя подозре-

ние на одного из своих соперников, но сильно озабоченный холодностью государя.

Вскоре царь вышел из опочивальни в приемную палату, сел на кресло и, окруженный опричниками, стал выслушивать поочередно земских бояр, приехавших от Москвы и от других городов с докладами. Отдав каждому приказания, поговорив со многими обстоятельно о нуждах государства, о сношениях с иностранными державами и о мерах к предупреждению дальнейшего вторжения татар, Иоанн спросил, нет ли еще кого просящего приема?

— Боярин Дружина Андреевич Морозов, — отвечал один стольник, — бьет челом твоей царской милости, просит, чтобы допустил ты его пред твои светлые очи.

— Морозов? — сказал Иоанн, — да разве он не сгорел на пожаре? Живуч старый пес! Что ж? Я снял с него опалу, пусть войдет!

Стольник вышел; вскоре толпа царедворцев раздвинулась, и Дружина Андреевич, поддерживаемый двумя знакомцами, подошел к царю и опустился перед ним на колени.

Внимание всех обратилось на старого бо-

ярина.

Лицо его было бледно, дородства много прибавилось, на лбу виден был шрам, нанесенный саблею Вяземского, но впалые очи являли прежнюю силу воли, а на сдвинутых бровях лежал по-прежнему отпечаток непреклонного упрямства.

Вопреки обычаю двора, одежда его была *смирная*.

Иоанн смотрел на Морозова, не говоря ни слова. Кто умел читать в царском взоре, тот прочел бы в нем теперь скрытую ненависть и удовольствие видеть врага своего униженным; но поверхностному наблюдателю выражение Иоанна могло показаться благосклонным.

— Дружина Андреевич, — сказал он важно, но ласково, — я снял с тебя опалу; зачем ты в смирной одежде?

— Государь, — отвечал Морозов, продолжая стоять на коленях, — не пригоже тому рядиться в парчу, у кого дом сожгли твои опричники и насильно жену увезли. Государь, — продолжал он твердым голосом, — бью тебе челом в обиде моей на оружничего

твоего, Афоньку Вяземского!

— Встань, — сказал царь, — и расскажи дело по ряду. Коли кто из моих обидел тебя, не спущу я ему, будь он хотя самый близкий ко мне человек.

— Государь, — продолжал Морозов, не вставая, — вели позвать Афоньку. Пусть при мне даст ответ твоей милости!

— Что ж, — сказал царь, как бы немного подумав, — просьба твоя дельная. Ответчик должен ведать, что говорит истец. Позвать Вяземского. А вы, — продолжал он, обращаясь к знакомцам, отошедшим на почтительное расстояние, — подымите своего боярина, посадите его на скамью; пусть подождет ответчика!

Со времени нападения на дом Морозова прошло более двух месяцев. Вяземский успел оправиться от ран. Он жил по-прежнему в Слободе, но, не ведая ничего об участии Елены, которую ни один из его рассыльных не мог отыскать, он был еще пасмурнее, чем прежде, редко являлся ко двору, отговариваясь слабостью, не участвовал в пирах, и многим казалось, что в приемах его есть признаки поме-

шательства. Иоанну не нравилось удаление его от общих молитв и общего веселья; но он, зная о неудачном похищении боярыни, приписывал поведение Вяземского мучениям любви и был к нему снисходителен. Лишь после разговора с Басмановым поведение это стало казаться ему неясным. Жалоба Морозова представляла удобный случай выведать многое через очную ставку, и вот почему он принял Морозова лучше, чем ожидали царедворцы.

Вскоре явился Вяземский. Наружность его также значительно изменилась. Он как будто постарел несколькими годами, черты лица сделались резче, и жизнь, казалось, сосредоточилась в огненных и беспокойных глазах его.

— Подойди сюда, Афоня, — сказал царь. — Подойди и ты, Дружина. Говори, в чем твое челобитье. Говори прямо, рассказывай все как было.

Дружина Андреевич приблизился к царю. Стоя рядом с Вяземским, но не удостоивая его взгляда, он подробно изложил все обстоятельства нападения.

— Так ли было дело? — спросил царь, обращаясь к Вяземскому.

— Так! — сказал Вяземский, удивленный вопросом Иоанна, которому давно все было известно. Лицо Ивана Васильевича омрачилось.

— Как отчаялся ты на это? — сказал он, устремив на Вяземского строгий взор, — разве я дозволяю разбойничать моим опричникам?

— Ты знаешь, государь, — ответил Вяземский, еще более удивленный, — что дом разграблен не по моему указу, а что я увез боярыню, на то было у меня твое дозволение!

— Мое дозволение? — произнес царь, медленно выговаривая каждое слово. — Когда я дозволял тебе?

Тут Вяземский заметил, что напрасно хотел опереться на намек Ивана Васильевича, сделанный ему иносказательно во время пира, намек, вследствие которого он почел себя вправе увезти Елену силою. Не отгадывая еще цели, с какою царь отказывался от своих поощрений, он понял, однако, что надобно изменить образ своей защиты. Не из трусости и

не для сохранения своей жизни, которая, при переменчивом нраве царя, могла быть в опасности, решился Вяземский оправдаться. Он не потерял еще надежды добыть Елену, и все средства казались ему годными.

— Государь, — сказал он, — я виноват перед тобой, ты не дозволял мне увезти боярыню. Вот как было дело. Послал ты меня к Москве, снять опалу с боярина Морозова, а он, ты знаешь, издавна держит на меня вражду за то, что еще до свадьбы спознался я с женою его. Как прибыл я к нему в дом, он и порешил вместе с Никитой Серебряным известить меня. После стола они с холопями напали на нас предательским обычаем; мы же дали отпор, а боярыня-то Морозова, ведая мужнину злобу, побоялась остаться у него в доме и упросила меня взять ее с собою. Уехала она от него вольною волею, а когда я в лесу обеспамятовал от ран, так и досель не знаю, куда она девалась. Должно быть, нашел ее боярин и держит где-нибудь взаперти, а может быть, и со свету сжил ее! Не ему, — продолжал Вяземский, бросив ревнивый взор на Морозова, — не ему искать на мне бесчестия. Я сам, госу-

дарь, бью челом твоей милости на Морозова, что напал он на меня в доме своем вместе с Никитой Серебряным!

Царь не ожидал такого оборота. Клевета Вяземского была очевидна, но в расчет Иоанна не вошло ее обнаружить. Морозов в первый раз взглянул на врага своего.

— Лжешь ты, окаянный пес! — сказал он, окидывая его презрительно с ног до головы, — каждое твое слово есть негодная ложь; а я в своей правде готов крест целовать! Государь! вели ему, окаянному, выдать мне жену мою, с которою повенчан я по закону христианскому!

Иоанн посмотрел на Вяземского.

— Что скажешь ты на это? — спросил он, сохраняя хладнокровную наружность судьи.

— Я уже говорил тебе, государь, что увез боярыню по ее же упросу; а когда я на дороге истек кровью, холопи мои нашли меня в лесу без памяти. Не было при мне ни коня моего, ни боярыни, перенесли меня на мельницу, к знахарю; он-то и зашептал кровь. Боле ничего не знаю.

Вяземский не думал, что, упоминая о мель-

нице, он усилит в Иоанне зародившееся подозрение и придаст вероятие наговору Басманова; но Иоанн не показал вида, что обращает внимание на это обстоятельство, а только записал его в памяти, чтобы воспользоваться им при случае; до поры же до времени затаил свои мысли под личиною беспристрастия.

— Ты слышал? — сказал он Вяземскому, — боярин Дружина готов в своих речах крест целовать? Как очистишься перед ним?

— Боярин волен говорить, — ответил Вяземский, решившийся во что бы ни стало вести свою защиту до конца, — он волен клепать на меня, а я ищу на нем моего увечья и сам буду в правде моей крест целовать.

По собранию пробежал ропот. Все опричники знали, как совершилось нападение, и сколь ни закоренели они в злодействе, но не всякий из них решился бы присягнуть ложно.

Сам Иоанн изумился дерзости Вяземского; но в тот же миг он понял, что может через нее погубить ненавистного Морозова и сохранить при том вид строгого правосудия.

— Братия! — сказал он, обращаясь к собранию, — свидетельствуюсь вами, что я хотел

узнать истину. Не в обычае моем судить, не услышав оправдания. Но в одном и том же деле две стороны не могут крест целовать. Один из противников солживит свою присягу. Я же, яко добрый пастырь, боронящий овцы моя, никого не хочу допустить до погубления души. Пусть Морозов и Вяземский судятся судом Божиим. От сего числа через десять ден назначаю им поле, здесь в Слободе, на Красной площади. Пусть явятся с своими стряпчими и поручниками. Кому бог даст одоление, тот будет чист и передо мною, а кто не вынесет боя, тот, хотя бы и жив остался, тут же примет казнь от рук палача!

Решение Иоанна произвело в собрании сильное впечатление. Во мнении многих оно равнялось для Морозова смертному приговору. Нельзя было думать, чтобы престарелый боярин устоял против молодого и сильного Вяземского. Все ожидали, что он откажется от поединка или, по крайней мере, попросит позволения поставить вместо себя наемного бойца. Но Морозов поклонился царю и сказал спокойным голосом:

— Государь, пусть будет по-твоему! Я стар

и хвор, давно не надевал служилой брони; но в божьем суде не сила берет, а правое дело! Уповаю на помощь господя, что не оставит он меня в правом деле моем, покажет пред твоею милостью и пред всеми людьми неправду врага моего!

Услыша царский приговор, Вяземский было обрадовался, и очи его уже заплыли надеждой; но уверенность Морозова немного смутила его. Он вспомнил, что, по общепринятому понятию, в судном поединке бог неминуемо дарует победу правой стороне, и невольно усумнился в своем успехе.

Однако, подавив минутное смущение, он также поклонился царю и произнес:

— Да будет по-твоему, государь!

— Ступайте, — сказал Иоанн, — ищите себе поручников, а через десять ден, с восходом солнца, будьте оба на Красной площади, и горе тому, кто не выдержит боя!

Бросив на обоих глубокий необъяснимый взор, царь встал и удалился во внутренние покои, а Морозов вышел из палаты, полный достоинства, в сопровождении своих знакомцев, не глядя на окружающих его опрични-

## Глава 30. Заговор на железо

На следующий день Вяземский уехал к Москве.

Во всякое другое время, готовясь к поединку, он положился бы на свою силу и ловкость; но дело шло об Елене. Поединок был не простой; исход его зависел от суда божия, а князь знал свою неправость, и сколь ни показался бы ему Морозов презрителен в обыкновенной схватке, но в настоящем случае он опасался небесного гнева, страшился, что во время боя у него онемеют или отымутся руки. Опасение это было тем сильнее, что недавно зажившие раны еще причиняли ему боль и что по временам он чувствовал слабость и изнеможение. Князь не хотел ничем пренебрегать, чтоб упрочить за собою победу, и решился обратиться к знакомому мельнику, взять у него какого-нибудь зелья и сделать чрез колдовство удары свои неотразимыми.

Полный раздумья и волнений, ехал он по лесу шагом, наклоняясь время от времени на седле и разбирая тропинки, заросшие папоротником. После многих поворотов попал он

на более торную дорогу, осмотрелся, узнал на деревьях заметы и пустил коня рысью. Вскоре послышался шум колеса. Подъезжая к мельнице, князь вместе с шумом стал различать человеческий говор. Он остановился, слез с седла и, привязав коня в орешнике, подошел к мельнице пешком. У самого сруба стоял чей-то конь в богатой сбруе. Мельник разговаривал с стройным человеком, но Вяземский не мог видеть лица его, потому что незнакомец повернулся к нему спиною, готовясь сесть в седло.

— Будешь доволен, боярин, — говорил ему мельник, утвердительно кивая головою, — будешь доволен, батюшка! Войдешь опять в царскую милость, и чтобы гром меня тут же прихлопнул, коли не пропадет и Вяземский, и все твои вороги! Будь спокоен, уж противу тирлича-травы ни один не устоит!

— Добро, — отвечал посетитель, взлезая на коня, — а ты, старый черт, помни наш уговор: коли не будет мне удачи, повешу тебя как собаку!

Голос показался Вяземскому знаком, но колесо шумело так сильно, что он остался в

недоумении, кто именно был говоривший.

— Как не быть удаче, как не быть, батюшка, — продолжал мельник, низко кланяясь, — только не сымай с себя тирлича-то; а когда будешь с царем говорить, гляди ему прямо и весело в очи; смело гляди ему в очи, батюшка, не показывай страху-то; говори ему шутки и прибаутки, как прежде говаривал, так будь я анафема, коли опять в честь не войдешь!

Всадник повернул коня и, не замечая Вяземского, проехал мимо его рысью.

Князь узнал Басманова, и ревнивое воображение его закипело. Занятый одною мыслью об Елене, он не обратил внимания на речи мельника, но, услышав свое имя, подумал, что видит в Басманове нового неожиданного соперника.

Мельник между тем, проводив глазами Басманова, присел на заваленку и принялся считать золотые деньги. Он весело ухмылялся, перекладывая их с ладони на ладонь, как вдруг почувствовал на плече своем тяжелую руку.

Старик вздрогнул, вскочил на ноги и чуть не обмер от страха, когда глаза его встрети-

лись с черными глазами Вяземского.

— О чем ты, колдун, с Басмановым толковал? — спросил Вяземский.

— Ба... ба... батюшка! — произнес мельник, чувствуя, что ноги под ним подкашиваются, — батюшка, князь Афанасий Иваныч, как изволишь здравствовать?

— Говори! — закричал Вяземский, схватив мельника за горло и таща его к колесу, — говори, что вы про меня толковали? И он перегнул старика над самым шумом.

— Родимый! — простонал мельник, — все скажу твоей милости, все скажу, батюшка, отпусти лишь душу на покаяние.

— Зачем приезжал к тебе Басманов?

— За корнем, батюшка, за корнем! А я ведь знал, что ты тут, я знал, что ты все слышишь, батюшка; затем-то я и говорил погромче, чтобы ведомо тебе было, что Басманов хочет погубить твою милость!

Вяземский отшвырнул мельника от става.

Старик понял, что миновался первый порыв его гнева.

— Какой же ты, родимый, сердитый! — сказал он, поднимаясь на ноги. — Говорю те-

бе, я знал, что твоя милость близко; я с утра еще ожидал тебя, батюшка!

— Ну, что же хочет Басманов? — спросил князь смягченным голосом.

Мельник между тем успел совершенно оправиться.

— Да, вишь ты, — сказал он, придавая лицу своему доверчивое выражение, — говорит Басманов, что царь разлюбил его, что тебя, мол, больше любит и что тебе, да Годунову Борису Федорычу, да Малюте Скурлатову только и идет от него ласка. Ну, и пристал ко мне, чтобы дал ему тирлича. Дай, говорит, тирлича, чтобы мне в царскую милость войти, а их чтобы разлюбил царь и опалу чтобы на них положил! Что ты будешь с ним делать! Пристал с ножом к горлу, вынь да положи; не спорить мне с ним! Ну и дал я ему корешок, да и корешок-то, батюшка, дрянной. Так, завалящий корешишка дал ему, чтобы только жива оставил. Стану я ему тирлича давать, чтобы супротив тебя его царь полюбил!

— Черт с ним! — сказал равнодушно Вяземский. — Какое мне дело, любит ли царь его или нет! Не за тем я сюда приехал. Узнал

ли ты что, старик, про боярыню?

— Нет, родимый, ничего не узнал. Я и гонцам твоим говорил, что нельзя узнать. А уж как старался-то я для твоей милости! Семь ночей сряду глядел под колесо. Вижу, едет боярыня по лесу, сам-друг со старым человеком; сама такая печальная, а стар человек ее утешает, а боле ничего и не видно; вода замутилась, и ничего боле не видно!

— Со старым человеком? Стало быть, с Морозовым? С мужем своим?

— Нет, не должно быть: Морозов будет по-дороднее, да и одежда-то его другая. На этом простой кафтан, не боярский; должно быть, простой человек!

Вяземский задумался.

— Старик! — сказал он вдруг, — умеешь ты сабли заговаривать?

— Как не уметь, умею. Да тебе на что, ба-тюшка? Чтобы рубила сабля али чтоб тупилась от удара?

— Вестимо, чтобы рубила, леший!

— А то, бывает, заговаривают вражьи сабли, чтобы тупились али ломались о бронь...

— Мне не вражью саблю заговаривать, а

свою. Я буду биться на поле, так надо мне во что бы ни стало супротивника убить, слышишь?

— Слышу, батюшка, слышу! Как не слышать! — И старик начал про себя думать: «С кем же это он будет биться? Кто его враги? Уж не с Басмановым ли? Навряд ли! Он сейчас о нем отзывался презрительно, а князь не такой человек, чтоб умел скрывать свои мысли. Разве с Серебряным?» Но мельник знал через Михеича, что Серебряный вкинут в тюрьму, а от посланных Вяземского, да и от некоторых товарищей Перстня слышал, что станичники освободили Никиту Романыча и увели с собой; стало быть, не с Серебряным. Остается один боярин Морозов. Он за похищение жены мог вызвать Вяземского. Правда, он больно стар, да и в судном поединке дозволяется поставить вместо себя другого бойца. «Стало быть, — расчел мельник, — князь будет биться или с Морозовым, или с наймитом его».

— Дозволь, батюшка, — сказал он, — воды зачерпнуть, твоего супостата посмотреть!

— Делай как знаешь, — возразил Вяземский и сел, в раздумье, на сваленный пень.

Мельник вынес из каморы бадью, опустил ее под самое колесо и, зачерпнув воды, поставил возле князя.

— Эх, эх! — сказал он, нагнувшись над бадьей и глядя в нее пристально, — видится мне твой супротивник, батюшка, только в толк не возьму! Больно он стар. А вот и тебя вижу, батюшка, как ты сходишься с ним...

— Что ж? — спросил Вяземский, тщетно стараясь увидеть что-нибудь в бадье.

— Ангелы стоят за старика, — продолжал мельник таинственно и как бы сам удивленный тем, что он видит, — небесные силы стоят за него; трудно будет заговорить твою саблю!

— А за меня никто не стоит? — спросил князь с невольною дрожью.

Мельник смотрел все пристальнее, глаза его сделались совершенно неподвижны; казалось, он, начав морочить Вяземского, был поражен действительным видением и ему представилось что-то страшное.

— И у твоей милости, — сказал он шепотом, — есть защитники... А вот теперь уж ничего не вижу, вода потемнела!

Он поднял голову, и Вяземский заметил, что крупный пот катился со лба его.

— Есть и у тебя защитники, батюшка, — прошептал он боязливо. — Можно будет заговорить твое оружие.

— На, — сказал князь, вынимая из ножен тяжелую саблю, — на, заговаривай!

Мельник перевел дух, разгреб руками яму и вложил в нее рукоять сабли. Затоптав землю, он утвердил лезвёе острием вверх и начал ходить кругом, причитывая вполголоса:

— «Выкатило солнышко из-за моря Хвалынского, восходил месяц над градом каменным, а в том граде каменном породила меня матушка и, рожая, приговаривала: будь ты, мое дитячко, цел-невредим — от стрел и мечей, от бойцов и борцов. Опоясывала меня матушка мечом-кладенцом. Ты, мой меч-кладенец, вертись и крутись, ты вертись и крутись, как у мельницы жернова вертятся, ты круши и кроши всяку сталь, и уклад, и железо, и медь; пробивай, прорубай всяко мясо и кость; а вражьи удары чтобы прядали от тебя, как камни от воды, и чтобы не было тебе от них ни царапины, ни зазубрины! Заговариваю ра-

ба Афанасья, опоясываю мечом-кладенцом. Чур слову конец, моему делу венец!»

Он вытащил саблю и подал ее князю, отряхнув с рукояти землю и бережно обтерев ее полою.

— Возьми, батюшка, князь Афанасий Иванович. Будет она тебе служить, лишь бы супротивник твой свою саблю в святую воду не окунул!

— А если окунет?

— Что ж делать, батюшка! Против святой воды наговорное железо не властно. Только, пожалуй, и этому пособить можно. Дам я тебе голубца болотного, ты его в мешочке на шею повесь, так у врага своего глаза отведешь.

— Подавай голубец! — сказал Вяземский.

— Изволь, батюшка, изволь; для твоей княжеской милости и голубца не пожалею.

Старик сходил опять в камору и принес князю что-то зашитое в тряпице.

— Дорого оно мне досталось, — сказал он, как бы жалея выпустить из рук тряпицу, — трудно его добывать. Как полезешь за ним не в урочный час в болото, такие на тебя нападут страхи, что господи упаси!

Князь взял зашитый предмет и бросил мельнику мошну с золотыми.

— Награди господь твою княжескую милость! — сказал старик, низко кланяясь. — Только, батюшка, дозвожь еще словцо тебе молвить: теперь уже до поединка-то в церковь не ходи, обедни не слушай; не то, чего доброго! и наговор-то мой с лезвья соскочит.

Вяземский ничего не отвечал и направился было к месту, где привязал коня, но вдруг остановился.

— А можешь ты, — сказал он, — наверно узнать, кто из нас жив останется?

Мельник замялся.

— Да, должно быть, ты, батюшка! Как тебе живу не остаться! Я тебе и прежде говаривал: не от меча твоей милости смерть написана! — Посмотри еще раз в бадью!

— Что ж еще смотреть, батюшка! Теперь ничего не увидишь, и вода-то уж помутилась.

— Зачерпни свежей воды! — сказал Вяземский повелительно.

Мельник повиновался нехотя.

— Ну, что там видно? — спросил князь нетерпеливо.

Старик с приметным отвращением нагнулся над бадьею.

— Ни тебя не видно, батюшка, ни супротивника твоего! — сказал он, бледнея, — видна площадь, народу полна; много голов на кольях торчит; а в стороне костер догорает и человеческие кости к столбу прикованы!

— Чьи головы на кольях торчат? — спросил Вяземский, пересиливая невольный страх.

— Не вижу, батюшка, все опять помутилось; один костер еще светится, да кости чьи-то висят у столба!

Мельник с усилием поднял голову и, казалось, с трудом отвел взор от бадьи. Его дергали судороги, пот катился с лица его; он, стоная и охая, дотащился до завалины и упал на нее в изнеможении.

Вяземский отыскал своего коня, сел в седло и, полный раздумья, поехал к Москве.

### **Глава 31. Божий суд**

**В** отсутствие Вяземского Малюте было поручено важное дело. Царь приказал ему захватить ближайших слуг князя Афанасья Ивановича и пытаться их накрепко, ездил ли

господин их на мельницу колдовать, и сколько раз он был на мельнице, и что именно замышляет противу его, государского, здоровья?

Большая часть слуг не созналась ни в чем, но некоторые не выдержали пытки и показали все то, что Малюта вложил им в уста. Показали они, что князь ездил на мельницу с тем, чтоб испортить государя, что он вымал царские следы и жег их на огне; а некоторые показали даже, что Вяземский мыслит ко князю Владимиру Андреевичу и хочет посадить его на царский престол. Сколь ни были нелепы эти показания, они тщательнo записывались дьяками со слов истязаемых и прочитывались царю. Верил ли им Иван Васильевич или нет — бог весть! Но он строго приказал Малюте, по возвращении Вяземского, скрыть от него причину, по которой захвачены его слуги, а сказать, что взяты-де они по подозрению в воровстве из царских кладовых.

В показаниях их, однако, было много противоречий, и Иоанн послал за Басмановым, чтобы заставить его повторить все, что он, по доносу своему, слышал от холопей Вяземско-

го.

Басманова не нашли в Слободе. Он накануне уехал к Москве, и царь опалился, что осмелился он отлучиться вопреки его приказанию. Малюта воспользовался этим, чтобы взвести подозрение на самого Басманова.

— Кто знает, государь, — сказал Скуратов, — зачем он ослушался твоей милости? Быть может, он заодно с Вяземским и только для виду донес на него, чтобы вернее погубить тебя!

Царь велел Малюте пока молчать обо всем и, когда воротится Басманов, не показывать ему вида, что его отсутствие было замечено.

Между тем настал день, назначенный для судного поединка. Еще до восхода солнца народ столпился на Красной площади; все окна были заняты зрителями, все крыши ими усыпаны. Весть о предстоящем бое давно разнеслась по окрестностям. Знаменитые имена сторон привлекли толпы из разных сел и городов, и даже от самой Москвы приехали люди всех сословий посмотреть, кому господь дарует одоление в этом деле.

— Ну-ка, брат, — говорил один щегольски

одетый гусяр своему товарищу, дюжему молодому парню с добродушным, но глуповатым лицом, — ступай вперед, авось тебе удастся продраться до цепи. Эх, народу, народу-то! Дайте пройти, православные, дайте и нам, владимирцам, на суд божий посмотреть!

Но увещания его оставались безуспешны. Толпа была так густа, что и при добром желании не было бы возможности посторониться.

— Да ступай же, тюлень ты этакий! — повторил гусяр, толкая товарища в спину, — аль не сумеешь продраться?

— А для ча! — отвечал вялым голосом дедина.

И, выставив вперед дюжее плечо свое, он принялся раздвигать толпу, словно железным клином. Раздались крики и ругательства, но оба товарища подвигались вперед, не обращая на них внимания.

— Правей, правей! — говорил старший, — чего стал влево забирать, дурень? Сверли туда, где копыя торчат!

Место, на которое указывал гусяр, было приготовлено для самого царя. Оно состояло из дощатого помоста, покрытого червленым

сукном. На нем были поставлены царские кресла, а торчавшие там копья и рогатины принадлежали опричникам, окружавшим помост. Другие опричники стояли у цепи, протянутой вокруг поля, то есть просторного места, приготовленного для конного или пешего боя, смотря по уговору бойцов. Они отгоняли народ бердышами и не давали ему напирать на цепь.

Подвигаясь вперед шаг за шагом, гусляр и дюжий парень добрались наконец до самого поля.

— Куда лезете! — закричал один опричник, замахнувшись на них бердышом.

Парень разинул рот и в недоуменье обернулся на своего товарища, но тот снял обеими руками свой поярковый грешневик, обвитый золотою лентой с павлиньим пером, и, кланяясь раз за разом в пояс, сказал опричнику:

— Дозвольте, господа честные, владимирским гуслярам суд божий посмотреть! От самого от города Володимира пришли! Дозвольте постоять, господа честные!

И лукаво заискивающею улыбкой он выказывал из-под черной бороды свои белые зубы.

— Ну, так и быть! — сказал опричник, — назад уж не пролезете; стойте здесь; только чур вперед не подаваться, башку раскрою!

Внутри оцепленного места расхаживали поручники и стряпчие обеих сторон. Тут же стояли боярин и окольный, приставленные к полю, и два дьяка, которым вместе с ними надлежало наблюдать за порядком боя. Одни из дьяков держал развернутый судебник Владимира Гусева, изданный еще при великом князе Иоанне Васильевиче III, и толковал с товарищем своим о предвиденных случаях поединка.

— «А досудятся до поля, — читал он, указывая пальцем на одно место в судебнике, — а у поля, не стояв, помирятся...» — как дьяка прервали восклицания толпы.

— Царь едет! Царь едет! — говорили все, волнуясь и снимая шапки.

Окруженный множеством опричников, Иван Васильевич подъехал верхом к месту поединка, слез с коня, взошел по ступеням помоста и, поклонившись народу, опустился на кресла с видом человека, готовящегося смотреть на занимательное зрелище.

Позади и около него разместились стоя царедворцы.

В то же время на всех слободских церквях зазвонили колокола, и с двух противоположных концов въехали во внутренность цепи Вяземский и Морозов, оба в боевых нарядах. На Морозове был дощатый доспех, то есть стальные бахтерцы из наборных блях, навешенных через ряд серебром. Наручи, рукавицы и поножи блестели серебряными разводами. Голову покрывал высокий шишак с серебром и чернью, и из-под венца его падала на плечи боярина кольчатая бармица, скрещенная на груди и укрепленная круглыми серебряными бляхами. У бедра его висел на узорном поясе, застегнутом крюком, широкий прямой тесак, которого крыж, ножновые обоймицы и наконечник были также серебряные.

К правой стороне седла привешен был концом вниз золоченый шестопер, оружие и знак достоинства, в былые годы неразлучный с боярином в его славных битвах, но ныне, по тяжести своей, вряд ли кому по руке.

Под Морозовым был грудастый черно-пе-

гий конь с подпалинами. Его покрывал бархатный малиновый чалдар, весь в серебряных бляхах. От кованого налобника падали по сторонам малиновые шелковые морхи, или кисти, перевитые серебряными нитками, а из-под шеи до самой груди висела такая же кисть, больше и гуще первых, называвшаяся наузом. Узда и поводья состояли из серебряных цепей с плоскими вырезными звеньями неравной величины.

Мерно шел конь, подымая косматые ноги в серебряных наколенниках, согнувши толстую шею, и когда Дружина Андреевич остановил его саженьях в пяти от своего противника, он стал трясти густою волнистою гривой, достававшею до самой земли, грызть удила и нетерпеливо рыть песок сильным копытом, выказывая при каждом ударе блестящие шипы широкой подковы. Казалось, тяжелый конь был подобран под стать дородного всадника, и даже белый цвет его гривы согласовался с седою бородой боярина.

Вооружение Вяземского было гораздо легче. Еще страдая от недавних ран, он не захотел надеть ни зеркала, ни бахтерцов, хотя

они и считались самой надежной броней, но предпочел им легкую кольчугу. Ее ожерелье, подол и зарукавья горели дорогими каменьями. Вместо шишака на князе была ерихонка, то есть низкий, изящно выгнутый шлем, имевший на венце и ушах золотую насечку, а на тулье высокий сноп из дрожащих золотых проволок, густо усыпанных во всю длину их яхонтовыми искрами. Сквозь полку шлема проходила отвесно железная золоченая стрела, предохранявшая лицо от поперечных ударов; но Вяземский, из удалства, не спустил стрелы, а напротив, поднял ее посредством щурепца до высоты яхонтового снопа, так что бледное лицо его и темная борода оставались совершенно открыты, а стрела походила на золотое перо, щегольски воткнутое в полку ерихонки. На поясе, плотно стянутом пряжкой поверх кольчуги и украшенном разными привесками, звенцами и бряцальцами, висела кривая сабля, вся в дорогих каменьях, та самая, которую заговорил мельник и на которую теперь твердо надеялся Вяземский. У бархатного седла фиолетового цвета с гороцатыми серебряными гвоздями и с такими же ко-

ваными скобами прикреплен был булатный топорок с фиолетовым бархатным черенком в золотых поясках. Из-под нарядного подола кольчуги виднелась белая шелковая рубаша с золотым шитьем, падавшая на зарбасные штаны жаркого цвета, всунутые в зеленые сафьянные сапоги, которых узорные голенищи, не покрытые поножами, натянуты были до колен и перехватывались под сгибом и у щиколоток жемчужною тесьмою.

Конь Афанасья Ивановича, золотисто-буланый аргамак, был весь увешан, от головы до хвоста, гремучими цепями из дурых серебряных бубенчиков. Вместо чепрака или чалдара пардовая кожа покрывала его спину. На вороненом налобнике горели в золотых гнездах крупные яхонты. Сухие черные ноги горского скакуна не были вовсе подкованы, но на каждой из них, под бабкой, звенело по одному серебряному бубенчику.

Давно уже слышалось на площади звонкое ржание аргамака. Теперь, подняв голову, раздвигая огненные ноздри и держа черный хвост на отлете, он сперва легкою поступью, едва касаясь земли, двинулся навстречу коню Мо-

розова; но когда князь, не съезжаясь с противником, натянул гремучие поводья, аргамак прыгнул в сторону и перескочил бы через цепь, если бы седок ловким поворотом не заставил его вернуться на прежнее место. Тогда он взвился на дыбы и, крутясь на задних ногах, норовил опрокинуться навзничь, но князь нагнулся на луку, отпустил ему поводья и вонзил в бока его острые кизилбашские стремяна. Аргамак сделал скачок и остановился как вкопанный. Ни один волос его черной гривы не двигался. Налитые кровью глаза косились по сторонам, и по золотистой шерсти разбегались надутые жилы узорною сеткой.

При появлении Вяземского, когда он въехал, гремя и блестя и словно обрызганный золотым и алмазным дождем, владимирский гусяр не мог удержаться от восторга; но удивление его относилось еще более к коню, чем ко всаднику.

— Эх, конь! — говорил он, топая ногами и хватаясь в восхищении за голову, — экий конь! подумаешь. И не видывал такого коня! Ведь всякие перебивали, а небось такого бог

не послал! Что бы, — прибавил он про себя, — что бы было в ту пору этому седоку, как он есть, на Поганую Лужу выехать! Слышь ты, — продолжал он весело, толкая локтем товарища, — слышь ты, дурень, который конь тебе боле по сердцу?

— А тот! — отвечал парень, указывая пальцем на морозовского коня.

— Тот? А зачем же тот?

— А затем, что поплотняе! — ответил парень лениво.

Гусляр залился смехом, но в это время раздался голос бирючей:

— Православные люди! — кричали они в разные концы площади, — зачинается судный бой промеж оружнического царского, князь Афанасья Иваныча Вяземского и боярина Дружины Андреича Морозова. Тягаются они в бесчестии своем, в бою, и увечье, и в увозе боярыни Морозовой! Православные люди! Молитесь пресвятой троице, дабы даровала она одоление правой стороне!

Площадь затихла. Все зрители стали креститься, а боярин, приставленный ведать поединок, подошел к царю и проговорил с низ-

КИМ ПОКЛОНОМ:

— Прикажешь ли, государь, начинаться по-лю?

— Зачинайте! — сказал Иоанн.

Боярин, окольниковый, поручники, стряпчие и оба дьяка отошли в сторону.

Боярин подал знак.

Противники вынули оружие.

По другому знаку надлежало им скакать друг на друга, но, к изумлению всех, Вяземский закачался на седле и выпустил из рук поводья. Он свалился бы на землю, если б поручник и стряпчий не подбежали и не помогли ему сойти с коня. Подоспевшие конюхи успели схватить аргамака под уздцы.

— Возьмите его! — сказал Вяземский, озираясь померкшими очами, — я буду биться пешой!

Видя, что князь сошел с коня, Морозов также слез с своего черно-пегого и отдал его конюхам.

Стряпчий Морозова подал ему большой кожаный щит с медными бляхами, приготовленный на случай пешего боя.

Стряпчий Вяземского поднес ему также

щит, вороненый, с золотою насечкой и золотою бахромой.

Но Афанасий Иванович не имел силы вздеть его на руку. Ноги под ним подкосились, и он упал бы вторично, если б его не подхватили.

— Что с тобой, князь? — сказали в один голос стряпчий и поручник, с удивлением глядя ему в очи, — оправься, князь! У поля не стоять, все равно, что побиту быть!

— Сымите с меня бронь! — проговорил Вяземский, задыхаясь, — сымите бронь! Корень душит меня!

Он сбросил с себя ерихонку, разорвал ожерелье кольчуги и сдернул с шеи гайтан, на котором висела шелковая ладанка с болотным голубцом.

— Анафема тебе, колдун! — вскричал он, бросая гайтан далеко от себя, — анафема, что обманул меня!

Дружина Андреевич подошел к Вяземскому с голым тесаком.

— Сдавайся, пес, — сказал он, замахнувшись, — сознайся в своем окаянстве!

Поручники и стряпчие бросились между

князя и Морозова.

— Нет! — сказал Вяземский, и отуманенный взор его вспыхнул прежнею злобою, — рано мне сдаваться! Ты, старый ворон, испортил меня! Ты свой тесак в святую воду окунул! Я поставлю за себя бойца, и тогда увидим, чья будет правда!

Между стряпчими обеих сторон зачался спор. Один утверждал, что суд окончен в пользу Морозова, другой, что суда вовсе не было, потому что не было боя.

Царь между тем заметил движение Вяземского и велел подать себе брошенную им ладанку. Осмотрев ее с любопытством и недоверчивостью, он подозревал Малюту.

— Схорони это! — шепнул он, — пока не спрошу! А теперь, — произнес он громко, — подвести ко мне Вяземского!

— Что, Афоня? — сказал он, усмехаясь двусмысленно, когда подошел к нему Вяземский, — видно, Морозов тебе не под силу?

— Государь, — ответил князь, которого лицо было покрыто смертельною бледностью, — враг мой испортил меня! Да к тому ж я с тех пор, как оправился, ни разу брони не

надевал. Раны мои открылись; видишь, как кровь из-под кольчуги бежит! Дозволь, государь, бирюч кликнуть, охотника вызвать, чтобы вместо меня у поля стал!

Домогательство Вяземского было противно правилам. Кто не хотел биться сам, должен был объявить о том заранее. Вышедши раз на поединок, нельзя было поставить вместо себя другого. Но царь имел в виду погибель Морозова и согласился.

— Вели кричать бирюч, — сказал он, — авось кто поудалее тебя найдется! А не выйдет никто, Морозов будет чист, а тебя отдадут палачам!

Вяземского отвели под руки, и вскоре, по приказанию его, глашатаи стали ходить вдоль цепи и кричать громким голосом:

— Кто хочет из слободских, или московских, или иных людей выйти на боярина Морозова? Кто хочет биться за князя Вяземского? Выходите, бойцы, выходите стоять за Вяземского!

Но площадь оставалась безмолвна, и ни один охотник не являлся.

— Выходите, охотники, хорошие бойцы! —

кричали бирючи, — выходите! Кто побьет Морозова, тому князь все свои вотчины отдаст, а буде побьет простой человек, тому князь пожалует всю казну, какая есть у него!

Никто не откликнулся; все знали, что дело Морозова свято, и царь, несмотря на ненависть свою к Дружине Андреевичу, уже готовился объявить его правым, как вдруг послышались крики:

— Идет охотник! Идет! — И внутри оцепленного места явился Матвей Хомяк.

— Гойда! — сказал он, свистнув саблюю по воздуху. — Подходи, боярин, я за Вяземского!

При виде Хомяка Морозов, дожидавшийся доселе с голым тесаком, обратился с негодованием к приставам поединка.

— Не стану биться с наймитом! — произнес он гордо. — Невместно боярину Морозову меряться со стремянным Гришки Скуратова.

И, опустив тесак в ножны, он подошел к месту, где сидел царь.

— Государь, — сказал он, — ты дозволил вору моему поставить бойца вместо себя; дозволь же и мне найти наймита против наймита, не то вели отставить поле до другого ра-

за.

Как ни желал Иван Васильевич погубить Морозова, но просьба его была слишком справедлива. Царю не захотелось в божьем суде прослыть пристрастным.

— Кричи бирюч! — сказал он гневно, — а если не найдешь охотника, бейся сам или со знайся в своей кривде и ступай на плаху!

Между тем Хомяк прохаживался вдоль цепи, махая саблей и посмеиваясь над зрителями.

— Вишь, — говорил он, — много вас, ворон, собралось, а нет ни одного ясного сокола промеж вас! Что бы хоть одному выйти, мою саблю обновить, государя потешить! Молотимши, видно, руки отмахали! На печи лежат, бочка отлежали!

— Ах ты черт! — проговорил вполголоса гуслиар. — Уж я б тебе дал, кабы была при мне моя сабля! Смотри! — продолжал он, толкая под бок товарища, — узнаешь ты его?

Но парень не слышал вопроса. Он разинул рот и, казалось, впился глазами в Хомяка.

— Что ж? — продолжал Хомяк, — видно, нет между вами охотников? Эй вы, аршинни-

ки, калашники, пряжи, ткачихи? Кто хочет со мной померяться?

— А я? — раздался неожиданно голос парня, и, ухватясь обеими руками за цепь, он перекинул ее через голову и чуть не вырвал дубовых кольев, к которым она была приделана.

Он очутился внутри ограды и, казалось, сам был удивлен своею смелостью.

Выпучив глаза и разиня рот, он смотрел то на Хомяка, то на опричников, то на самого царя, но не говорил ни слова.

— Кто ты? — спросил его боярин, приставленный к полю.

— Я-то? — сказал он и, подумав немного, усмехнулся.

— Кто ты? — повторил боярин.

— А Митька! — ответил он добродушно и как бы удивляясь вопросу.

— Спасибо тебе, молодец! — сказал Морозов парню, — спасибо, что хочешь за правду постоять. Коли одолеешь врага моего, не пожалею для тебя казны. Не все у меня добро разграблено; благодаря божьей милости, есть еще чем бойца моего наградить!

Хомяк видел Митьку на Поганой Луже, где парень убил под ним коня ударом дубины и, думая навалиться на всадника, притиснул под собою своего же товарища. Но в общей свалке Хомяк не разглядел его лица, да, впрочем, в Митькиной наружности и не было ничего примечательного. Хомяк не узнал его.

— Чем хочешь ты драться? — спросил представленный к полю боярин, глядя с любопытством на парня, у которого не было ни брони, ни оружия.

— Чем драться? — повторил Митька и обернулся назад, отыскивая глазами гусяра, чтобы с ним посоветоваться.

Но гусяр, видно, отошел на другое место, и сколько ни глядел Митька, он не мог найти его.

— Что ж, — сказал боярин, — бери себе саблю да бронь, становись к полю!

Митька стал озираться в замешательстве.

Царю показались приемы его забавными.

— Дать ему оружие! — сказал он. — Посмотрим, как он умеет биться!

Митьке подали полное вооружение; но он, сколько ни старался, никак не мог пролезть в

рукава кольчуги, а шлем был так мал для головы его, что держался на одной макушке.

В этом наряде Митька, совершенно растерянный, оборачивался то направо, то налево, все еще надеясь найти гусляра и спросить его, что ему делать?

Глядя на него, царь начал громко смеяться. Примеру его последовали сперва опричники, а потом и все зрители.

— Чаво вы горла дярете-то? — сказал Митька с неудовольствием, — я и без вашего колпака и без железной рубахи-то на энтова пойду!

Он указал пальцем на Хомяка и начал стаскивать с себя кольчугу.

Раздался новый хохот.

— С чем же ты пойдешь? — спросил боярин.

Митька почесал затылок.

— А нет у вас дубины? — спросил он протяжно, обращаясь к оприщикам.

— Да что это за дурень? — вскричали они, — откуда он взялся? Кто его втолкнул сюда? Или ты, болван, думаешь, мы по-мужицки дубинами бьемся?

Но Иван Васильевич забавлялся наружностью Митьки и не позволил прогнать его.

— Дать ему ослоп, — сказал он, — пусть бьется как знает!

Хомяк обиделся.

— Государь, не вели мужику на холопа твоего порухи класть! — воскликнул он. — Я твоей царской милости честно в опричниках служу и сроду еще на ослопах не бился!

Но царь был в веселом расположении духа.

— Ты бейся саблей, — сказал он, — а парень пусть бьется по-своему. Дать ему ослоп. Посмотрим, как мужик за Морозова постоит!

Принесли несколько дубин.

Митька взял медленно в руки одну за другой, осмотрел каждую и, перебрав все дубины, повернулся прямо к царю.

— А нет ли покрепчае? — произнес он вялым голосом, глядя вопросительно в очи Ивану Васильевичу.

— Принести ему оглоблю, — сказал царь, заранее потешаясь ожидающим его зрелищем.

Вскоре в самом деле явилась в руках Мить-

ки тяжелая оглобля, которую опричники вывернули насмех из стоявшего на базаре воза.

— Что, эта годится? — спросил царь.

— А для ча! — отвечал Митька, — пожалуй, годится.

И, схватив оглоблю за один конец, он для пробы махнул ею по воздуху так сильно, что ветер пронесся кругом и пыль закружилась, как от налетевшего вихря.

— Вишь, черт! — промолвили, переглянувшись, опричники.

Царь обратился к Хомяку.

— Становись! — сказал он повелительно и прибавил с усмешкой: — Погляжу я, как ты увернешься от мужицкого ослопа!

Митька между тем засучил рукава, плюнув в обе руки и сжавши ими оглоблю, потряхивал ею, глядя на Хомяка. Застенчивость его исчезла.

— Ну, ты! становись, што ли! — произнес он с решимостью. — Я те научу нявест красть!

Положение Хомяка, ввиду непривычного оружия и необыкновенной силы Митьки, было довольно затруднительно, а зрители очевидно принимали сторону парня и уже начи-

нали посмеиваться над Хомяком.

Замешательство стремянного веселило царя. Он уже смотрел на предстоящий бой с тем самым любопытством, какое возбуждали в нем представления скоморохов или медвежья травля.

— Зачинаяйте бой! — сказал он, видя, что Хомяк колеблется.

Тогда Митька поднял над головою оглоблю и начал кружить ее, подступая к Хомяку скоком.

Тщетно Хомяк старался улучшить мгновение, чтобы достать Митьку саблей. Ему осталось только поспешно сторониться или увертываться от оглобли, которая описывала огромные круги около Митьки и делала его недосягаемым.

К великой радости зрителей и к немалой потехе царя, Хомяк стал отступать, думая только о своем спасении; но Митька с медвежьей ловкостью продолжал к нему подсакивать, и оглобля, как буря, гудела над его головою.

— Я те научу нявест красть! — говорил он, входя постепенно в ярость и стараясь задеть

Хомяка по голове, по ногам и по чем ни пошло.

Участие зрителей к Митьке проявлялось одобрительными восклицаниями и наконец дошло до восторга.

— Так! Так! — кричал народ, забывая присутствие царя, — хорошенько его! Ай да парень! Отстаивай Морозова, стой за правое дело!

Но Митька думал не о Морозове.

— Я те научу нявест красть! — приговаривал он, кружа над собою оглоблю и преследуя Хомяка, который увивался от него во все стороны.

Несколько раз опричникам, стоявшим вдоль цепи, пришлось присесть к земле, чтоб избежать неминуемой смерти, когда оглобля, завывая, проносилась над их головами.

Вдруг раздался глухой удар, и Хомяк, пораженный вбок, отлетел на несколько сажень и грянулся оземь, раскинувши руки.

Площадь огласилась радостным криком.

Митька тотчас навалился на Хомяка и стал душить его.

— Полно! Полно! — закричали опричники,

а Малюта поспешно нагнулся к Ивану Васильевичу и сказал ему с озабоченным видом:

— Государь, вели оттащить этого дьявола! Хомяк у нас лучший человек во всей опричнине!

— Тащить дурака за ноги! — закричал царь, — окатить его водой, только чур жива оставить!

С трудом удалось опричникам оттащить Митьку, но Хомяка подняли уже мертвого, и когда внимание всех обратилось на посиневшее лицо его, рядом с Митькой очутился владимирский гусяр и, дернув его за полу, сказал шепотом:

— Иди, дурень, за мной! Уноси свою голову!

И оба исчезли в толпе народа.

## **Глава 32. Ладанка Вяземского**

**И**ван Васильевич велел подозвать Морозова.

Площадь снова затихла. Все в ожидании устремили взоры на царя и притаили дыхание.

— Боярин Дружина! — сказал торжественно Иоанн, вставая с своего места, — ты бо-

жым судом очистился предо мною. Господь бог, чрез одоление врага твоего, показал твою правду, и я не оставлю тебя моею милостью. Не уезжай из Слободы до моего приказа. Но это, — продолжал мрачно Иоанн, — только половина дела. Еще самый суд впереди. Привести сюда Вяземского!

Когда явился князь Афанасий Иванович, царь долго глядел на него невыразимым взглядом.

— Афоня, — сказал он наконец, — тебе ведомо, что я твердо держусь моего слова. Я положил, что тот из вас, кто сам собой или чрез бойца своего не устоит у поля, смерти предан будет. Боец твой не устоял, Афоня!

— Что ж, — ответил Вяземский с решимостью, — вели мне голову рубить, государь!

Странная улыбка прозмеилась по устам Иоанна.

— Только голову рубить? — произнес он злобно. — Или ты думаешь, тебе только голову срубят? Так было бы, пожалуй, когда б ты одному Морозову ответ держал, но на тебе еще и другая кривда и другое окаянство. Малюта, подай сюда его ладанку!

И, приняв из рук Малюты гайтан, брошенный Вяземским, Иоанн поднял его за кончик.

— Это что? — спросил он, страшно глядя в очи Вяземского.

Князь хотел отвечать, но царь не дал ему времени.

— Раб лукавый! — произнес он грозно, и пожилам присутствующих пробежал холод, — раб лукавый! Я приблизил тебя ко престолу моему; я возвеличил тебя и осыпал милостями; а ты что учинил? Ты в смрадном сердце своем, аки аспид, задумал погубить меня, царя твоего, и чернокнижием хотел извести меня, и затем, должно быть, ты в опричнину просился? Что есть опричнина? — продолжал Иоанн, озираясь кругом и возвышая голос, дабы весь народ мог услышать его. — Я, аки господин винограда, поставлен господом богом над народом моим, возделывати виноград мой. Бояре же мои, и Дума, и советники не захотели помогать мне и замыслили погубить меня; тогда взял я от них виноград мой и отдал другим делателям. И се есть опричнина! Званные мною на пир не пришли, и я послал на торжища и на исходища путей и по-

велел призывать елицех, какие обретутся. И се опять есть опричнина! Теперь спрашиваю всех: что заслужил себе гость, пришедший на пир, но не облекшийся в одеяние брачное? Как сказано о нем в Писании? «Связавше ему руце и нозе, возьмите его и вверзите во тьму кромешную: ту будет плач и скрежет зубов!»

Так говорил Иоанн, и народ слушал безмолвно это произвольное применение евангельской притчи, не сочувствуя Вяземскому, но глубоко потрясенный быстрым падением сильного любимца.

Никто из опричников не смел или не хотел вымолвить слова в защиту Вяземского. На всех лицах изображался ужас. Один Малюта в зверских глазах своих не выказывал ничего, кроме готовности приступить сейчас же к исполнению царских велений, да еще лицо Басманова выражало злобное торжество, хотя он и старался скрыть его под личиною равнодушия.

Вяземский не почел нужным оправдываться. Он знал Иоанна и решил перенести терпеливо ожидавшие его мучения. Вид его остался тверд и достоин.

— Отведите его! — сказал царь. — Я положу ему казнь наравне с тем станичником, что забрался ко мне в опочивальню и теперь ожидает мзды своей. А колдуна, с которым спознался он, отыскать и привести в Слободу. Пусть на пристрастном допросе даст еще новые указания. Велика злоба князя мира сего, — продолжал Иоанн, подняв очи к небу, — он, подобно льву рыкающему, ходит вокруг, ищуще пожрати мя, и даже в синклите моем находит усердных слуг себе. Но я уповаю на милость божию и, с помощью господя, не дам укорениться измене на Руси!

Иоанн сошел с помоста и, сев на коня, отправился обратно ко дворцу, окруженный безмолвною толпою опричников.

Малюта подошел к Вяземскому с веревкой в руках.

— Не взыщи, князь! — сказал он с усмешкой, скручивая ему руки назад, — наше дело холопское!

И, окружив Вяземского стражей, он повел его в тюрьму.

Народ стал расходиться молча или толкуя шепотом обо всем случившемся, и вскоре опу-

стела еще недавно многолюдная площадь.

### **Глава 33. Ладанка Басманова**

**В**яземский был подвергнут допросу, но никакие мучения не заставили его выговорить ни одного слова. С необыкновенною силою воли переносил он молча бесчеловечные истязания, которыми Малюта старался вынудить у него сознание в замысле на государя. Из гордости, из презрения или потому, что жизнь ему опротивела, он даже не попытался ослабить клевету Басманова, показав, что его самого он встретил на мельнице.

По приказанию царя мельника схватили и тайно привезли в Слободу, но к пытке его не приступали.

Басманов приписал успех своего доноса действию тирлича, который он всегда носил на себе, и тем более убедился в его чародейной силе, что Иоанн не показывал ни малейшего подозрения и что хотя по-прежнему посмеивался над Басмановым, но был к нему довольно ласков.

Погубив одного из своих соперников, видя рождающееся вновь расположение к себе Ивана Васильевича и не зная, что мельник

уже сидит в слободской тюрьме, Басманов сделался еще высокомернее. Он, следуя данным ему наставлениям, смело глядел в очи царя, шутил с ним свободно и дерзко отвечал на его насмешки.

Иван Васильевич все сносил терпеливо.

Однажды, в один из своих обычных объездов, он с ближайшими любимцами, в том числе и с обоими Басмановыми, отслушав в соседнем монастыре раннюю обедню, зашел к настоятелю в келью и удостоил его принять угощение.

Царь сидел на скамье под образами, любимцы, исключая Скуратова, которого не было в объезде, стояли у стен, а игумен, низко кланяясь, ставил на стол медовые соты, разное варенье, чаши с молоком и свежие яйца.

Царь был в добром расположении духа, он отвеживал от каждого блюда, милостиво шутил и вел душеспасительные речи. С Басмановым он был ласковее обыкновенного, и Басманов еще более убедился в неотразимой силе тирлича.

В это время послышался за оградой конский топот.

— Федя, — сказал Иоанн, — посмотри, кто там приехал?

Басманов не успел подойти к двери, как она отворилась, и у порога показался Малюта Скуратов.

Выражение его было таинственно, и в нем проглядывала злобная радость.

— Войди, Лукьяныч! — сказал приветливо царь. — С какою тебя вестью бог принес?

Малюта переступил через порог и, переглянувшись с царем, стал креститься на образа.

— Откуда ты? — спросил Иоанн, как будто он вовсе не ожидал его.

Но Малюта, не спеша ответом, сперва ответил ему поклон, а потом подошел к игумену.

— Благослови, отче! — сказал он, нагибаясь, а между тем покосился на Федора Басманова, которого вдруг обдало недобрым предчувствием.

— Откуда ты? — повторил Иоанн, подмигнув неприметно Скуратову.

— Из тюрьмы, государь, колдуна пытал.

— Ну, что же? — спросил царь и бросил беглый взгляд на Басманова.

— Да все бормочет; трудно разобрать. Одно поняли мы, когда стали ему вертлюги ломать: «Вяземский, дескать, не один ко мне езживал; езживал и Федор Алексеевич Басманов, и корень-де взял у меня, и носит тот корень теперь на шее!»

И Малюта опять покосился на Басманова.

Басманов изменился в лице. Вся наглость его исчезла.

— Государь, — сказал он, делая необыкновенное усилие, чтобы казаться спокойным, — должно быть, он за то облыгает меня, что выдал я его твоей царской милости!

— А как стали мы, — продолжал Малюта, — прижигать ему подошвы, так он и показал, что был-де тот корень нужен Басманову, чтоб твое государское здоровье испортить.

Иоанн пристально посмотрел на Басманова, который зашатался под этим взглядом.

— Батюшка-царь! — сказал он, — охота тебе слушать, что мельник говорит! Кабы я знался с ним, стал ли бы я на него показывать?

— А вот увидим. Расстегни-ка свой кафтан, посмотрим, что у тебя на шее?

— Да что же, кроме креста да образов, государь? — произнес Басманов голосом, уже потерявшим всю свою уверенность.

— Расстегни кафтан! — повторил Иван Васильевич.

Басманов судорожно отстегнул верхние пуговицы своей одежды.

— Изволь, — сказал он, подавая Иоанну цепь с образками.

Но царь, кроме цепи, успел заметить еще шелковый гайтан на шее Басманова.

— А это что? — спросил он, отстегивая самяхонтовую запонку его ворота и вытаскивая из-за его рубахи гайтан с ладанкой.

— Это, — проговорил Басманов, делая над собою последнее, отчаянное усилие, — это, государь... материнское благословение.

— Посмотрим благословение! — Иоанн передал ладанку Грязному. — На, распори ее, Васюк.

Грязной распорол ножом оболочку и, развернув зашитый в нее кусок холстины, высыпал что-то на стол.

— Ну, что это? — спросил царь, и все с любопытством нагнулись к столу и увидели ка-

кие-то корешки, перемешанные с лягушечьи-ми костями.

Игумен перекрестился.

— Этим благословила тебя мать? — спросил насмешливо Иван Васильевич.

Басманов упал на колени.

— Прости, государь, холопа твоего! — вскричал он в испуге. — Видя твою нелюбовь ко мне, надрывался я сердцем и, чтоб войти к тебе в милость, выпросил у мельника этого корня. Это тирлич, государь! Мельник дал мне его, чтоб полюбил ты опять холопа твоего, а замысла на тебя, видит бог, никакого не было!

— А жабьи кости? — спросил Иоанн, наслаждаясь отчаянием Басманова, коего наглость ему давно наскучила.

— Про кости я ничего не ведал, государь, видит бог, ничего не ведал!

Иван Васильевич обратился к Малюте.

— Ты говоришь, — сказал он, — что колдун показывает на Федьку; Федька-де затем к нему ездил, чтоб испортить меня?

— Так, государь! — И Малюта скривил рот, радуясь беде давнишнего врага своего.

— Ну что ж, Федюша, — продолжал с усмешкою царь, — надо тебя с колдуном оком к оку поставить. Ему допрос уж чинили; отдай же и ты пытки, а то скажут: царь одних земских пытает, а опричников своих бережет.

Басманов повалился Иоанну в ноги.

— Солнышко мое красное! — вскричал он, хватаясь за полы царского охабня, — светик мой, государь, не губи меня, солнышко мое, месяц ты мой, соколик мой, горностаек! Вспомни, как я служил тебе, как от воли твоей ни в чем не отказывался!

Иоанн отвернулся.

Басманов в отчаянье бросился к своему отцу.

— Батюшка! — завопил он, — упроси государя, чтобы даровал живот холопу своему! Пусть наденут на меня уж не сарафан, а дурацкое платье! Я рад его царской милости шутком служить!

Но Алексею Басманову были равно чужды и родственное чувство, и сострадание. Он боялся участием к сыну навлечь опалу на самого себя.

— Прочь, — сказал он, отталкивая Федо-

ра, — прочь, нечестивец! Кто к государю не мыслит, тот мне не сын! Иди, куда шлет тебя его царская милость!

— Святой игумен, — зарыдал Басманов, тащась на коленях от отца своего к игумну, — святой игумен, умоли за меня государя!

Но игумен стоял сам не свой, потупя очи в землю, и дрожал всем телом.

— Оставь отца игумна! — сказал холодно Иоанн. — Коли будет в том нужда, он после по тебе панихиду отслужит.

Басманов обвел кругом умоляющим взором, но везде встретил враждебные или уstraшенные лица.

Тогда в сердце его произошла перемена.

Он понял, что не может избежать пытки, которая жестокостью равнялась смертной казни и обыкновенно ею же оканчивалась; понял, что терять ему более нечего, и с этим убеждением возвратилась к нему его решимость.

Он встал, выпрямил стан и, заложив руку за кушак, посмотрел с наглою усмешкой на Иоанна.

— Надёжа-государь! — сказал он дерзко,

тряхнув головою, чтобы оправить свои рас-  
трепанные кудри, — надёжа-государь. Иду я  
по твоему указу на муку и смерть. Дай же мне  
сказать тебе последнее спасибо за все твои  
ласки! Не умышлял я на тебя ничего, а гре-  
хи-то у меня с тобою одни! Как поведут каз-  
нить меня, я все до одного расскажу перед на-  
родом! А ты, батька игумен, слушай теперь  
мою исповедь!..

Опричники и сам Алексей Басманов не да-  
ли ему продолжать. Они увлекли его из кельи  
на двор, и Малюта, посадив его, связанного,  
на конь, тотчас повез к Слободе.

— Ты зришь, отче, — сказал Иоанн игум-  
ну, — коликими я окружен и явными и скры-  
тыми врагами! Моли бога за меня, недостой-  
ного, дабы даровал он добрый конец моим на-  
чинаниям, благословил бы меня, многогреш-  
ного, извести корень измены!

Царь встал и, перекрестившись на образа,  
подошел к игумну под благословение.

Игумен и вся братия с трепетом проводили  
его за ограду, где царские конюха дожидались  
с богато убранными конями; и долго еще, по-  
сле того как царь с своими полчанами скрыл-

ся в облаке пыли и не стало более слышно звука конских подков, монахи стояли, потупя очи и не смея поднять головы.

### **Глава 34. Шутовской кафтан**

**В** это самое утро к Морозову, который по воле царя остался в Слободе, явились два стольника с приглашением к царскому столу.

Когда Дружина Андреевич приехал во дворец, палаты уже были полны опричников, столы накрыты, слуги в богатых одеждах готовили закуску.

Боярин, осмотревшись, увидел, что, кроме его, нет ни одного земского, и понял, что царь оказывает ему особенную честь.

Вот зазвонили дворцовые колокола, затрубили трубы, и Иван Васильевич с благосклонным, приветливым лицом вошел в палату в сопровождении чудовского архимандрита, Левкия, Василия Грязного, Алексея Басманова, Бориса Годунова и Малюты Скуратова.

Приняв и отдав поклоны, он сел за свой прибор, и все за столом его разместились починам. Осталось одно пустое место, ниже Годунова.

— Садись, боярин Дружина! — сказал лас-

ково царь, указывая на пустое место.

Лицо Морозова побагровело.

— Государь, — ответил он, — как Морозов во всю жизнь чинил, так и до смерти чинить будет. Стар я, государь, перенимать новые обычаи. Наложил опять опалу на меня, прогони от очей твоих — а ниже Годунова не сяду!

Все в изумлении переглянулись. Но царь, казалось, ожидал этого ответа. Выражение лица его осталось спокойно.

— Борис, — сказал он Годунову, — тому скоро два года, я боярина Дружину за такой же ответ выдал тебе головою. Но, видно, мне пора изменить мой обычай. Должно быть, уж не мы земским, а земские нам будут указывать! Должно быть, уж я и в домишке моем не хозяин! Придется мне, убогому, забрать свою рухлядишку и бежать с людишками моими куда-нибудь подале! Прогонят они меня отсюда, калику перехожего, как от Москвы прогна-ли!

— Государь, — сказал смиренно Годунов, желая выручить Морозова, — не нам, а тебе о местах судить. Старые люди крепко держатся старого обычая, и ты не гневись на боярина,

что помнит он разряды. Коли дозволишь, государь, я сяду ниже Морозова; за твоим столом все места хороши!

Он сделал движение, как бы готовясь встать, но Иоанн удержал его взглядом.

— Боярин подлинно стар! — сказал он хладнокровно, и умеренность его в виду явно-го непокорства исполнила всех ожиданием. Все чувствовали, что готовится что-то необыкновенное, но нельзя было угадать, как проявится царский гнев, коего приближение выказывала лишь легкая судорога на лице, напоминающая дрожание отдаленной зарницы.

Все груди были стеснены, как перед наступающей бурей.

— Да, — продолжал спокойно Иоанн, — боярин подлинно стар, но разум его молод не по летам. Больно он любит шутить. Я тоже люблю шутить и в свободное от дела и молитвы время я не прочь от веселья. Но с того дня, как умер шут мой Ногтев, некому потешать меня. Дружине, я вижу, это ремесло по сердцу; я же обещал не оставить его моею милостию, а потому жалую его моим первым шу-

том. Подать сюда кафтан Ногтева и надеть на боярина!

Судороги на лице царя заиграли чаще, но голос остался по—прежнему спокоен. Морозов стоял как пораженный громом. Багровое лицо его побледнело, кровь отхлынула к сердцу, очи засверкали, а брови сначала заходили, а потом сдвинулись так грозно, что даже вблизи Ивана Васильевича выражение его показалось страшным. Он еще не верил ушам своим; он сомневался, точно ли царь хочет обесчестить всенародно его, Морозова, гордого боярина, коего заслуги и древняя доблесть были давно всем известны?

Он стоял молча, вперив в Иоанна неподвижный, вопрошающий взор, как бы ожидая, что он одумается и возьмет назад свое слово. Но Василий Грязной, по знаку царя, встал из-за стола и подошел к Дружине Андреевичу, держа в руках пестрый кафтан, полупарчовый, полусермяжный, со множеством заплат, бубенчиков и колокольцев.

— Надевай, боярин! — сказал Грязной, — великий государь жалует тебя этим кафтаном с плеча выбылого шута своего Ногтева!

— Прочь! — воскликнул Морозов, отталкивая Грязного, — не смей, кромешник, касаться боярина Морозова, которого предкам твоим предки в псарях и в холопах служили!

И, обращаясь к Иоанну, он произнес дрожащим от негодования голосом:

— Государь, возьми назад свое слово! Вели меня смерти предать! В голове моей ты волён, но в чести моей не волён никто!

Иван Васильевич посмотрел на опричников.

— Правду я говорил, что Дружина любит шутить? Вы слышали? Я не волён жаловать его кафтаном!

— Государь! — продолжал Морозов, — именем господа бога молю тебя, возьми свое слово назад! Еще не родился ты, когда уже покойный батюшка твой жаловал меня! Когда я вместе с Хабаром Симским разбил чуваш и черемис на Свияге, когда с князьями Одоевским и Мстиславским прогнал от Оки крымского царевича и татарский набег от Москвы отвратил! Много ран получил я, много крови пролил на службе батюшки твоего и на твоей, государь! Не берег я головы ни в ратном

деле, ни в Думе боярской, спорил, в малолетство твое, за тебя и за матушку твою с Шуйскими и с Вольскими! Одною только честью дорожил я и никому в целую жизнь мою не дал запятнать ее! Ты ли теперь опозоришь мои седые волосы? Ты ли наругаешься над слугою родителя твоего? Вели казнить меня, государь, вели мне голову на плаху понести, и я с радостью пойду на мученья, как прежде на битвы хаживал!

Все молчали, потрясенные сильною речью Морозова; но среди общей тишины раздался голос Иоанна.

— Довольно болтать! — сказал он грозно, переходя от насмешливости к явному гневу, — твои глупые речи, старик, показали, что ты добрым будешь шутом. Надевай дурацкое платье! Вы! — продолжал царь, повернувшись к опричникам, — помогите ему; он привык, чтоб ему прислуживали!

Если бы Морозов покорился или, упав к ногам царя, стал бы униженно просить о пощаде, быть может, и смягчился бы Иван Васильевич. Но вид Морозова был слишком горд, голос слишком решителен; в самой просьбе

его слышалась непреклонность, и этого не мог снести Иоанн. Он ощущал ко всем сильным нравам неодолимую ненависть, и одна из причин, по коим он еще недавно, не отдавая себе отчета, отвратил сердце свое от Вяземского, была известная ему самостоятельность князя.

В один миг опричники сорвали с Морозова верхнюю одежду и напялили на него кафтан с колокольцами.

После последних слов Иоанна Морозов перестал противиться. Он дал себя одеть и молча смотрел, как опричники со смехом поправляли и обдергивали на нем кафтан. Мысли его ушли в глубь сердца; он сосредоточился в самом себе.

— А шапку-то позабыли? — сказал Грязной, надевая на голову Морозова пестрый колпак, и, отступив назад, он поклонился ему до полу.

— Дружина Андреич! — сказал он, — бьем тебе челом на новой должности! Потешай нас, как покойный Ногтев потешал!

Тогда Морозов поднял голову и обвел глазами собрание.

— Добро! — сказал он громко и твердо, — принимаю новую царскую милость. Боярину Морозову неместно было сидеть рядом с Годуновым; но царскому шуту пристойно быть за царским столом с Грязными и Басмановыми. Раздвиньтесь, страдники! место новому скомороху! Пропустите шута и слушайте все, как он будет потешать Ивана Васильича!

Морозов сделал повелительный знак, и опричники невольно посторонились.

Гремя колокольцами, боярин подошел к столу и опустился на скамью, напротив Иоанна, с такою величественною осанкой, как будто на нем вместо шутовского кафтана была царская риза.

— Как же мне потешать тебя, государь? — спросил он, положив локти на стол, глядя прямо в очи Ивану Васильевичу. — Мудрен ты стал на потехи, ничем не удивишь тебя! Каких шуток не перешучено на Руси, с тех пор как ты государишь! Потешался ты, когда был еще отроком и конем давил народ на улицах; потешался ты, когда на охоте велел псарям князя Шуйского зарезать; потешался, когда выборные люди из Пскова пришли пла-

каться тебе на твоего наместника, а ты приказал им горячею смолою бороды палить!

Опричники хотели вскочить с своих мест и броситься на Морозова; царь удержал их знаком.

— Но, — продолжал Морозов, — то все было ребяческое веселье; оно скоро тебе надоело. Ты начал знаменитых людей в монахи постригать, а жен и дочерей их себе на потеху позорить. И это тебе прискучило. Стал ты выбирать тогда лучших слуг твоих и мукам предавать. Тут дело пошло повеселее, только ненадолго. Не все же ругаться над народом да над боярами. Давай и над церковью Христовою поглумимся! Вот и набрал ты всякой голи кабацкой, всякой скаредной сволочи, нарядил ее в рясы монашеские и сам монахом нарядился, и стали вы днем людей резать, а ночью акафисты петь. Сам ты, кровью обрызган, и пел, и звонил, и чуть ли обедню не служил. Эта потеха вышла изо всех веселейшая, такой, опричь тебя, никому и не выдумать!

Что же сказать тебе, государь? Как еще распотешить тебя? А разве вот что скажу: пока ты с своею опричниной в машкерах пля-

пешь, к заутрени звонишь да кровью упиваешься, наступит на тебя с заката Жигимонт, напрут с полуночи немцы да чудь, а с полудня и с восхода подыметя хан. Нахлынет орда на Москву, и не будет воевод отстаивать святыни господней! Запылают храмы божи с мощами святителей, настанут опять Батыевы времена. И будешь ты, царь всея Руси, в ноги кланяться хану и, стоя на коленях, стремя его целовать!

Морозов замолк.

Никто не прерывал его речи; всем она захватила дыханье. Царь слушал, наклонясь вперед, бледный, с пылающими очами, с пеною у рта. Судорожно сжимал он ручки кресел и, казалось, боялся проронить единое слово Морозова и каждое врезывал в памяти, чтобы за каждое заплатить ему особою мукой.

Все опричники были бледны; никто не решался взглянуть на царя. Годунов опустил глаза и не смел дышать, чтобы не привлечь на себя внимание. Самому Малюте было неловко.

Вдруг Грязной выхватил нож, подбежал к

Иоанну и сказал, указывая на Морозова:

— Дозволь, государь, ему глотку заткнуть!

— Не смей! — проговорил царь почти шепотом и задыхаясь от волнения, — дай его милости до конца договорить!

Морозов гордо повел очами.

— Еще шуток хочешь, государь? Изволь, я тебя потешу! Оставался у тебя из верных слуг твоих еще один, древнего, боярского рода; его ты откладывал казнить, потому ли, что страшился божьего гнева или что не придумал еще достойной казни ему. Жил он далеко от тебя, под опалою, и мог бы ты забыть про него; но ты, государь, никого не забываешь! Послал ты к нему своего окаянного Вяземского, сжечь его дом и жену увезти. Когда ж он пришел к тебе просить суда на Вяземского, ты заставил их биться себе на потеху, чая, что Вяземский убьет старого слугу твоего. Но бог не захотел его погибели, показал его правду.

Что же ты сделал тогда, государь? Тогда, — продолжал Морозов, и голос его задрожал, и колокольцы затряслись на одежде, — тогда тебе показалось мало бесчестия на слуге твоём, и ты порешил опозорить его еще неслы-

ханным, небывалым позором! Тогда, — воскликнул Морозов, отталкивая стол и вставая с места, — тогда ты, государь, боярина Морозова одел в шутовской кафтан и велел ему, спасшему Тулу и Москву, забавлять тебя вместе со скаредными твоими кромешниками!

Грозен был вид старого воеводы среди безмолвных опричников. Значение шутовской его одежды исчезло. Из-под густых бровей сверкали молнии. Белая борода величественно падала на грудь, приявшую некогда много вражьих ударов, но испещренную ныне яркими заплатами; а в негодующем взоре было столько достоинства, столько благородства, что в сравнении с ним Иван Васильевич показался мелок.

— Государь, — продолжал, возвышая голос, Морозов, — новый шут твой перед тобою. Слушай его последнюю шутку! Пока ты жив, уста народа русского запечатаны страхом; но минует твое зверское царенье, и останется на земле лишь память дел твоих, и перейдет твое имя от потомков к потомкам на вечное проклятие, доколе не настанет Страшный суд господень! И тогда все сотни и тысячи изби-

енных тобою, все сонмы мужей и жен, младенцев и старцев, все, кого ты погубил и измучил, все предстанут пред господом, вопия на тебя, мучителя своего! И в оный страшный день предстану и я перед вечным судьей, предстану в этой самой одежде и потребую обратно моей чести, что ты отнял у меня на земле! И не будет с тобою кромешников твоих заградить уста вопиющих, и услышит их судия, и будешь ты ввергнут в пламень вечный, уготованный диаволу и аггелом его!

Морозов замолчал и, бросив презрительный взор на царских любимцев, повернулся к ним спиною и медленно удалился.

Никто не подумал остановить его. Важно прошел он между рядами столов, и только когда замер звон его колокольцев, опричники очнулись от оцепенения; а Малюта, встав из-за стола, сказал Ивану Васильевичу:

— Прикажешь сейчас порешить его, государь, или пока в тюрьму посадить?

— В тюрьму! — произнес Иоанн, переводя дыханье. — Беречь его! Кормить его! Не пытаться, чтобы не издох до времени; ты отвечаешь за него головой!

Вечером у царя было особенное совещание с Малютой.

Колычевы, давно уже сидевшие в тюрьме и пытаемые Малютой, частью сознались во взводимой на них измене, частью были, по мнению Иоанна, достаточно уличены друзьями их и холопами, которые, не выдержав пытки, на них показывали.

Много и других лиц было замешано в это дело. Схваченные по приказанию царя и жестоко истязуемые, кто в Москве, кто в Слободе, они, в свою очередь, называли много имен, и число пытаемых росло с каждым днем и выросло наконец до трехсот человек.

Иван Васильевич, дорожа мнением иностранных держав, положил подождать отъезда бывших тогда в Москве литовских послов и учинить осужденным в один день общую казнь; а дабы действие ее было поразительнее и устрашило бы мятежников на будущее время, казни сей надлежало совершиться в Москве, в виду всего народа.

В тот же самый день царь назначил казнить Вяземского и Басманова. Мельник как чародей осужден был к сожжению на костре,

а Коршуну, дерзнувшему забраться в царскую опочивальню и которого берегли доселе на торжественный случай, Иоанн готовил исключительные, еще небывалые муки. Той же участи он обрек и Морозова.

О подробностях этой общей казни царь разговаривал до поздней ночи, и петухи уже два раза пропели, когда он отпустил Малюту и удалился в свою образную.

### **Глава 35. Казнь**

**П**о отъезде литовских послов, накануне дня, назначенного для торжественной казни, московские люди с ужасом увидели ее приготовления.

На большой торговой площади, внутри Китай-города, было поставлено множество виселиц. Среди их стояло несколько срубов с плахами. Немного подале висел на перекладине между столбов огромный железный котел. С другой стороны срубов торчал одинокий столб с приделанными к нему цепями, а вокруг столба работники наваливали костер. Разные неизвестные орудия виднелись между виселицами и возбуждали в толпе боязливые догадки, от которых сердце заранее сжи-

малось.

Мало-помалу все пришедшие торговать на базар разошлись в испуге. Опустела не только площадь, но и окрестные улицы. Жители заперлись в домах и шепотом говорили о предстоящем событии. Слух о страшных приготовлениях разнесся по всей Москве, и везде воцарилась мертвая тишина. Лавки закрылись, никто не показывался на улицах, и лишь время от времени проскакивали по ним гонцы, посылаемые с приказаниями от Арбата, где Иоанн остановился в любимом своем тереме. В Китай-городе не слышно было другого шума, кроме стука плотничьих топоров да говора опричников, распоряжавшихся работами.

Когда настала ночь, затихли и эти звуки, и месяц, поднявшись из-за зубчатых стен Китай-города, осветил безлюдную площадь, всю взъерошенную кольями и виселицами. Ни одного огонька не светилось в окнах; все ставни были закрыты; лишь кой-где тускло теплились лампы перед наружными образами церквей. Но никто не спал в эту ночь, все молились, ожидая рассвета.

Наконец роковое утро настало, и в небе по-

слышалось усиленное карканье ворон и галок, которые, чуя близкую кровь, слетались отовсюду в Китай-город, кружились стаями над площадью и унизывали черными рядами церковные кресты, князьки и гребни домов и самые виселицы.

Тишину прервал отдаленный звон бубен и тулумбасов, который медленно приближался к площади. Показалась толпа конных опричников, по пяти в ряд. Впереди ехали бубенцики, чтобы разгонять народ и очищать дорогу государю, но они напрасно трясли свои бубны и били воцагами в тулумбасы: нигде не видно было живой души.

За опричниками ехал сам царь Иван Васильевич, верхом, в большом наряде, с колчаном у седла, с золоченым луком за спиной. Венец его шишака был украшен деисусом, то есть изображением на финифти спасителя, а по сторонам богородицы, Иоанна Предтечи и разных святых. Чепрак под ним блистал дорогими камнями, а на шее у вороного коня вместо науза болталась собачья голова.

Рядом с царем был виден царевич Иоанн, а позади ехала толпа ближайших царедворцев,

по три в ряд. За ними шло с лишком триста человек осужденных на смерть. Скованные цепями, изнуренные пыткой, они с трудом передвигали ноги, повинувшись понуждающим их опричникам.

Шествие заключал многочисленный отряд конницы.

Когда поезд въехал в Китай-город и все войско, спешившись, разместилось у виселиц, Иоанн, не сходя с коня, посмотрел кругом и с удивлением увидел, что на площади не было ни одного зрителя.

— Сгонять народ! — сказал он опричникам. — Да никто не убоится! Поведайте людям московским, что царь казнит своих злодеев, безвинным же обещает милость.

Вскоре площадь стала наполняться народом, ставни отворились, и у окон показались бледные, боязливые лица.

Между тем костер, разложенный под котлом, запылал, и на срубы взошли палачи.

Иоанн велел вывести из числа осужденных некоторых, менее виновных.

— Человеки! — сказал он им громко и внятно, дабы все на площади могли его слы-

шать, — вы дружбой вашею и хлебом-солью с изменщиками моими заслужили себе равную с ними казнь; но я, в умилении сердца, скорбя о погублении душ ваших, милую вас и дарую вам живот, дабы вы покаянием искупили вины ваши и молились за меня, недостойного!

По знаку царя прощенных отвели в сторону.

— Люди московские! — сказал тогда Иоанн, — вы узрите ныне казни и мучения; но караю злодеев, которые хотели предать врагам государство! Плачуще, предаю телеса их терзанию, яко аз есмь судия, поставленный господом судити народы мои! И несть лицепрятія в суде моем, яко, подобно Аврааму, подъявшему нож на сына, я самых ближних моих на жертву приношу! Да падет же кровь сия на главу врагов моих!

Тогда из среды оставшихся осужденных вывели прежде всех боярина Дружину Андреевича Морозова.

Иоанн, в первом порыве раздражения, обрек было его на самые страшные муки; но, по непонятной изменчивости нрава, а может быть, и вследствие общей любви москвитян к

боярину, он накануне казни отменил свои распоряжения и осудил его на менее жестокую смерть.

Думный дьяк государев, стоя у сруба, развернул длинный свиток и прочел громогласно:

— Бывший боярин Дружина! Ты хвалился замутить государство, призвать крымского хана и литовского короля Жигимонта и многие другие беды и тесноты на Руси учинить. Ты же дерзнул злыми, кусательными словами поносить самого государя, царя и великого князя всея Руси, и добрых слуг его на непокорство подымать. Заслужил ты себе истязания паче смерти; но великий государь, помня прежние доблести твои, от жалости сердца, повелел тебя, особно от других и минуя прочие муки, скорою смертью казнить, голову тебе отсечь, остатков же твоих на его государский обиход не отписывать!

Морозов, уже взошедший на сруб, перекрестился.

— Ведаю себя чистым пред богом и пред государем, — ответствовал он спокойно, — предаю душу мою господу Иисусу Христу, у госу-

даря же прошу единой милости: что останется после меня добра моего, то все пусть разделится на три части: первую часть — на церкви божии и на помин души моей; другую — нищей братии; а третью — верным слугам и холопям моим; а кабальных людей и рабов отпускаю вечно на волю! Вдове же моей прощаю, и вольно ей выйти за кого похочет!

С сими словами Морозов еще раз перекрестился и опустил голову на плаху.

Раздался глухой удар, голова Дружины Андреевича покатилась, и благородная кровь его обагрила доски помоста.

За ним oprичники, к удивлению народа, вывели оружничего государева князя Вяземского, кравчего Федора Басманова и отца его Алексея, на которого Федор показал на пытке.

— Люди московские! — сказал Иоанн, указывая на осужденных, — се зрите моих и ваших злодеев! Они, забыв крестное свое целование, теснили вас от имени моего и, не страшась суда божия, грабили животы ваши и губили народ, который я же их поставил бороться. И се ныне примут, по делам своим, достойную мзду!

Вяземский и оба Басмановы, как обманувшие царское доверие, были осуждены на жестокие муки.

Дьяк прочел им обвинение в намерении извести царя чарами, в преступных сношениях с врагами государства и в притеснении народа именем Иоанновым.

Когда палачи, схватив Федора Басманова, взвели его на помост, он обернулся к толпе зрителей и закричал громким голосом:

— Народ православный! хочу перед смертью покаяться в грехах моих! Хочу, чтобы все люди ведали мою исповедь! Слушайте, православные...

Но Малюта, стоявший сзади, не дал ему продолжать. Он ловким ударом сабли снес ему голову в тот самый миг, как он готовился начать свою исповедь.

Окровавленный труп его упал на помост, а отлетевшая голова подкатилась, звеня серьгами, под ноги царскому коню, который откачнулся, фыркая и косясь на нее испуганным оком. Басманов последнею наглостью избавился от ожидавших его мучений.

Отец его Алексей и Вяземский не были

столько счастливы. Их, вместе с разбойником Коршуном, взвели на сруб, где ожидали их страшные снаряды. В то же время старого мельника потащили на костер и приковали к столбу.

Вяземский, измученный пыткой, не имея силы стоять на ногах, поддерживаемый под руки палачами, бросал дикие взгляды по сторонам. В глазах его не было заметно ни страха, ни раскаянья. Увидев прикованного к столбу мельника и вокруг него уже вьющиеся струи дыма, князь вспомнил его последние слова, когда старик, заговорив его саблю, смотрел на бадью с водою; вспомнил также князь и свое видение на мельнице, когда он в лунную ночь, глядя под шумящее колесо, старался увидеть свою будущность, но увидел только, как вода почервонела, подобно крови, и как заходили в ней зубчатые пилы и стали отмыкаться и замыкаться железные клещи...

Мельник не заметил Вяземского. Углубленный в самого себя, он бормотал что-то себе под нос и с видом помешательства приплясывал на костре, гремя цепями.

— Шикалу! Ликалу! — говорил он, — слете-

лись вороны на богатый пир! Повернулося колесо, повернулося! Что было высоко, то стало низко! Шагадам! Подымися, ветер, от мельницы, налети на ворогов моих! Кулла! Кулла! Разметай костер, загаси огонь!

И в самом деле, как будто повинуюсь заклипаниям, ветер поднялся на площади, но, вместо того чтобы загасить костер, он раздул подложенный под него хворост, и пламя, вырвавшись сквозь сухие дрова, охватило мельника и скрыло его от зрителей.

— Шагадам! Кулла! Кулла! — слышалось еще за облаком дыма, и голос замер в треске пылающего костра.

Наружность Коршуна почти вовсе не изменилась ни от пытки, ни от долгого томления в темнице. Сильная природа его устояла против приготовительного допроса, но в выражении лица произошла перемена. Оно сделалось мягче; глаза глядели спокойнее.

С той самой ночи, как он был схвачен в царской опочивальне и брошен в тюрьму, угрызения совести перестали терзать его. Он тогда же принял ожидающую его казнь как искупление совершенных им некогда зло-

действ, и, лежа на гнилой соломе, он в первый раз после долгого времени заснул спокойно.

Дьяк прочел перед народом вину Коршуна и ожидающую его казнь.

Коршун, взошедши на помост, перекрестился на церковные главы и положил один за другим четыре земных поклона народу, на четыре стороны площади.

— Прости, народ православный! — сказал он, — прости меня в грехах моих, в разбое, и в воровстве, и в смертном убийстве! Прости во всем, что я согрешил перед тобою. Заслужил я себе смертную муку, отпусти мне вины мои, народ православный!

И, повернувшись к палачам, он сам проделал руки в приготовленные для них петли.

— Привязывайте, что ли! — сказал он, тряхнув седою, кудрявою головой, и не прибавил боле ни слова.

Тогда, по знаку Иоанна, дьяк обратился к прочим осужденным и прочел им обвинение в заговоре против государя, в намерении отдать Новгород и Псков литовскому королю и в преступных сношениях с турецким султаном.

Их готовились повести, кого к виселицам, кого к котлу, кого к другим орудиям казни.

Народ стал громко молиться.

— Господи, господи! — раздавалось на площади, — помилуй их, господи! Приими скорее их души!

— Молитесь за нас, праведные! — кричали некоторые из толпы, — помяните нас, когда приидете во царствие божие!

Опричники, чтобы заглушить эти слова, начали громогласно взывать:

— Гойда! Гойда! Да погибнут враги государевы!

Но в эту минуту толпа заколебалась, все головы обратились в одну сторону, и послышались восклицания:

— Блаженный идет! Смотрите, смотрите! Блаженный идет!

В конце площади показался человек лет сорока, с реденькою бородой, бледный, босой, в одной полотняной рубахе. Лицо его было необыкновенно кротко, а на устах играла странная, детски добродушная улыбка.

Вид этого человека посреди стольких лиц, являвших ужас, страх или зверство, резко от

них отделялся и сильно на всех подействовал. Площадь затихла, казни приостановились.

Все знали блаженного, но никто еще не видывал на лице его такого выражения, как сегодня. Против обыкновения, судорога подергивала эти улыбающиеся уста, как будто с кротостию боролось другое, непривычное чувство.

Нагнувшись вперед, гремя веригами и железными крестами, которыми он весь был обвешан, блаженный пробирался сквозь раздвигающуюся толпу и шел прямо на Иоанна.

— Ивашко! Ивашко! — кричал он издали, перебирая свои деревянные четки и продолжая улыбаться, — Ивашко! Меня-то забыл!

Увидев его, Иоанн хотел повернуть коня и отъехать в сторону, но юродивый стоял уже возле него.

— Посмотри на блаженного! — сказал он, хватаясь за узду царского коня. — Что ж не велишь казнить и блаженного? Чем Вася хуже других?

— Бог с тобой! — сказал царь, доставая горсть золотых из узорного мешка, висевшего на золотой цепочке у его пояса, — на, Вася,

ступай, помолись за меня!

Блаженный подставил обе руки, но тотчас же отдернул их, и деньги посыпались на землю.

— Ай, ай! Жжется! — закричал он, дуя на пальцы и потряхивая их на воздухе. — Зачем ты деньги в огне раскалил? Зачем в адовом огне раскалил?

— Ступай, Вася! — повторил нетерпеливо Иоанн, — оставь нас, тебе здесь не место!

— Нет, нет! Мое место здесь, с мучениками! Дай и мне мученический венчик! За что меня обходишь? За что обижаешь? Дай и мне такой венчик, какие другим раздаешь!

— Ступай, ступай! — сказал Иоанн с зарождающимся гневом.

— Не уйду! — произнес упорно юродивый, уцепясь за конскую сбрую, но вдруг засмеялся и стал пальцем показывать на Иоанна. — Смотрите, смотрите! — заговорил он, — что это у него на лбу? Что это у тебя, Ивашко? У тебя рога на лбу! У тебя козлиные рога выросли! И голова-то твоя стала песья!

Глаза Иоанна вспыхнули.

— Прочь, сумасшедший! — закричал он,

и, выхватив копьё из рук ближайшего опричника, он замахнулся им на юродивого.

Крик негодования раздался в народе.

— Не тронь его! — слышалось в толпе, — не тронь блаженного! В наших головах ты волен, а блаженного не тронь!

Но юродивый продолжал улыбаться полудетски, полубезумно.

— Пробори меня, царь Саул! — говорил он, отбирая в сторону висевшие на груди его кресты, — пробори сюда, в самое сердце! Чем я хуже тех праведных? Пошли и меня в царствие небесное! Аль завидно тебе, что не будешь с нами, царь Саул, царь Ирод, царь крошечный?

Копьё задрожало в руке Иоанна. Еще единый миг, оно вонзилось бы в грудь юродивого, но новый крик народа удержал его на воздухе. Царь сделал усилие над собой и переломил свою волю, но буря должна была разразиться.

С пеной у рта, с сверкающими очами, с поднятым копьём, он стиснул коня ногами, налетел вскачь на толпу осужденных, так что искры брызнули из-под конских подков, и

пронзил первого попавшегося ему под руку.

Когда он вернулся шагом на свое место, опустив окровавленный конец копья, опричники уже успели оттереть блаженного.

Иоанн махнул рукой, и палачи приступили к работе.

На бледном лице Иоанна показался румянец; очи его сделались больше, на лбу надулись синие жилы, и ноздри расширились...

...Когда наконец, сытый душегубством, он повернул коня и, объехав вокруг площади, удалился, сам обрызганный кровью и окруженный окровавленным полком своим, вороны, сидевшие на церковных крестах и на гребнях кровель, взмахнули одна за другой крыльями и начали спускаться на груды истерзанных членов и на трупы, висящие на виселицах...

Бориса Годунова в этот день не было между приехавшими с Иоанном. Он еще накануне вызвался провожать из Москвы литовских послов.

На другой день после казни площадь была очищена и мертвые тела свезены и свалены в кремлевский ров.

Там граждане московские впоследствии соорудили несколько деревянных церквей, *на костях и на крови*, как выражаются древние летописи.

Прошли многие годы; впечатление страшной казни изгладилось из памяти народной, но долго еще стояли вдоль кремлевского рва те скромные церкви, и приходившие в них молиться могли слышать панихиды за упокой измученных и избитых по указу царя и великого князя Иоанна Васильевича Четвертого.

### **Глава 36. Возвращение в Слободу**

**П**оразив ужасом Москву, царь захотел явиться милостивым и великодушным. По приказанию его темницы были отперты, и заключенные, уже не чаявшие себе прощения, все освобождены. Некоторым Иоанн послал подарки. Казалось, давно кипевшая в нем и долго разгоравшаяся злоба разразилась последнею казнью и вылетела из души его, как пламенный сноп из горы огнедышащей. Рассудок его успокоился, он перестал везде отыскивать измену.

Не всякий раз после безвинной крови

Иоанн предавался угрызениям совести. Они зависели также от других обстоятельств. Небесные знамения, внезапно ударивший гром, проявление народных бедствий устрашали его чуткое воображение и подвигали его иногда на всенародное покаяние; но когда не случалось ни знамений, ни голода, ни пожаров, внутренний голос его молчал и совесть дремала. Так и в настоящее время состояние души Иоанна было безмятежно. Он чувствовал после совершенных убийств какое-то удовлетворение и спокойствие, как голодный, насытившийся пищей. Более из привычки и принятого правила, чем от потребности сердца, он, возвращаясь в Слободу, остановился на несколько дней молиться в Троицкой лавре.

Во всю дорогу пристава, ехавшие перед ним, бросали горстями серебряные деньги нищим, а уезжая из Лавры, он оставил архимандриту богатый вклад на молебны за свое здравие.

В Слободе между тем готовилось никем не ожидаемое событие.

Годунов, посланный вперед приготовить

государю торжественный прием, исполнив свое поручение, сидел у себя в брусняной избе, облокотясь на дубовый стол, подперши рукою голову. Он размышлял о случившемся в эти последние дни, о казни, от которой удалось ему уклониться, о загадочном нраве грозного царя и о способах сохранить его милость, не участвуя в делах опричнины, как вошедший слуга доложил, что у крыльца дожидается князь Никита Романович Серебряный.

Годунов при этом имени в удивлении встал со скамьи.

Серебряный был опальник государев, осужденный на смерть. Он ушел из тюрьмы, и всякое сношение с ним могло стоить головы Борису Федоровичу. Но отказать князю в гостеприимстве или выдать его царю было бы делом недостойным, на которое Годунов не мог решиться, не потеряв народного доверия, коим он более всего дорожил. В то же время он вспомнил, что царь находится теперь в милостивом расположении духа, и в один миг сообразил, как действовать в этом случае.

Не выходя на крыльцо встречать Серебря-

ного, он велел немедленно ввести его в избу. Посторонних свидетелей не было, и, положив раз принять князя, Годунов не захотел показать ему неполное радушие.

— Здравствуй, князь, — сказал он, обнимая Никиту Романовича, — милости просим, садись; как же ты решился вернуться в Слободу, Никита Романыч? Но дай сперва угостить тебя, ты, я чаю, с дороги устал.

По приказанию Годунова поставили на стол закуску и несколько кубков вина.

— Скажи, князь, — спросил Годунов заботливо, — видели тебя, как ты вошел на крыльцо?

— Не знаю, — отвечал простодушно Серебряный, — может быть, и видели; я не хоронился, прямо к твоему терему подъехал. Мне ведомо, что ты не тянешь к опричнине!

Годунов поморщился.

— Борис Федорыч, — прибавил Серебряный доверчиво, — я ведь не один; со мной пришло сотни две станичников из-под Рязани.

— Что ты, князь? — воскликнул Годунов.

— Они, — продолжал Серебряный, — за за-

ставой остались. Мы вместе несем наши головы государю; пусть казнит нас или милует, как ему угодно!

— Слышал я, князь, слышал, как ты с ними татар разбил; но ведомо ли тебе, что с тех пор на Москве было?

— Ведомо, — отвечал Серебряный и нахмурился. — Я шел сюда и думал, что опричнине конец, а у вас дела хуже прежнего. Да простит бог государю! А тебе грех, Борис Федорыч, что ты только молчишь да глядишь на все это!

— Эх, Никита Романыч, ты, я вижу, все тот же остался! Что ж бы я сказал царю? Послушался бы он меня, что ли?

— А хотя бы и не послушался, — возразил упрямо Серебряный, — все ж тебе говорить следует. От кого ж ему правду знать, коли не от тебя?

— А ты думаешь, он правды не знает? Ты думаешь, он и в самом деле всем тем изветам верит, по которым столько людей казнено?

И, сказав это, Годунов закусил было язык, но вспомнил, что говорит с Серебряным, которого открытое лицо исключало всякое подозрение в предательстве.

— Нет, — продолжал он вполголоса, — напрасно ты винишь меня, князь. Царь казнит тех, на кого злобу держит, а в сердце его не волен никто. Сердце царево в руке божией, говорит Писание. Вот Морозов попытался было прямить ему; что ж вышло? Морозова казнили, а другим не стало от того легче. Но ты, Никита Романыч, видно, сам не дорожишь головою, что, ведая московскую казнь, не убоялся прийти в Слободу?

При имени Морозова Серебряный вздохнул. Он любил Дружину Андреича, хотя боярин и похитил его счастье.

— Что ж, Борис Федорыч, — ответил он Годунову, — чему быть, того не миновать! Да правду сказать, и жить-то мне надоело; не красно теперь житье на Руси!

— Послушай, князь, ты сам себя не бережешь; такой, видно, уж нрав у тебя; но бог тебя бережет. Как ты до сих пор ни лез в петлю, а все цел оставался. Должно быть, не написано тебе пропасть ни за что ни про что. Кабы ты с неделю тому вернулся, не знаю, что бы с тобой было, а теперь, пожалуй, есть тебе надежда; только не спеши на глаза Ивану Васи-

льевичу; дай мне сперва увидеть его.

— Спасибо тебе, Борис Федорыч; да ты обо мне-то больно не хлопочи; а вот станичников, коли можно, вызволи из беды. Они хоть и худые люди, а вины свои хорошо заслужили!

Годунов взглянул с удивлением на Никиту Романовича. Он не мог привыкнуть к простоте князя, и равнодушие его к собственной жизни показалось Годунову неестественным.

— Что ж ты, князь, — спросил он, — с горя, что ли, жить не хочешь?

— Пожалуй, что и с горя. К чему еще жить теперь? Веришь ли, Борис Федорыч, иной раз поневоле Курбский на ум приходит; подумаю про него, и самому страшно станет: так, кажется, и бросил бы родину и ушел бы к ляхам, кабы не были они враги наши.

— Вот то-то, князь! В теперешнее время нам только и есть, что две дороги: или делать, как Курбский, — бежать навсегда из родины, или так, как я, — оставаться около царя и искать его милости. А ты ни то, ни другое; от царя не уходишь, а с царем не мыслишь; этак нельзя, князь; надо одно из двух. Уж коли хо-

чешь оставаться на Руси, так исполняй волю цареву. А если полюбит он тебя, так, пожалуй, и сам от опричнины отворотится. Вот, примерно, кабы нас было двое около него, один бы другого поддерживал; сегодня бы я заронил словечко, завтра ты; что-нибудь и осталось бы у него в памяти; ведь и капля, говорят, когда все на одно место капает, так камень насквозь долбит. А нахрапом, князь, ничего не возьмешь!

— Кабы не был он царь, — сказал мрачно Серебряный, — я знал бы, что мне делать; а теперь ничего в толк не возьму; на него идти бог не велит, а с ним мыслить мне невмочь; хоть он меня на клочья разорви, с опричной хлеба-соли не поведу!

— Погоди, князь, не отчаивайся. Вспомни, что я тебе тогда говорил? Оставим опричников; не будем перечить царю; они сами перегубят друг друга! Вот уж троих главных не стало: ни обоих Басмановых, ни Вяземского. Дай срок, князь, и вся опричина до смерти перегрызется!

— А до того что будет? — сказал Серебряный.

— А до того, — ответил Годунов, не желая сразу настаивать на мысли, которую хотел заронить в Серебряном, — до того, коли царь тебя помилует, ты можешь снова на татар идти; за этими дело не станет!

В мыслях Серебряного нелегко укладывалось два впечатления разом, и надежда идти на татар вытеснила на время овладевшее им уныние.

— Да, — сказал он, — только нам одно и осталось, что татар колотить! Кабы не ждать их в гости, а ударить бы на Крым всеми полками разом, да вместе с казаками, так, пожалуй, что и Крым взяли бы!

Он даже усмехнулся от удовольствия при этой мысли.

Годунов вступил с ним в разговор о его насильственном освобождении и о рязанском побоище. Уже начинало темнеть, а они всё еще сидели, беседуя за кубками.

Наконец Серебряный встал.

— Прости, боярин, — сказал он, — уже скоро ночь на дворе!

— Куда ты, Никита Романыч? Остайся у меня, переночуй, завтра приедет царь, я доло-

жу о тебе!

— Нельзя, Борис Федорыч, пора мне к своим! Боюсь, чтоб они с кем не повздорили. Кабы царь был в Слободе, мы прямо б к нему с повинною пришли, и пусть бы случилось, что богу угодно; а с здешними душегубцами не убережешься. Хоть мы и в сторонке, под самым лесом остановились, а все же может какой-нибудь объезд наехать!

— Ну, прости, Никита Романыч! Смотри ж ты, не суйся царю на глаза, погоди, чтоб я прислал за тобой.

— Да постой, не туда ты идешь, князь, — прибавил Годунов, видя, что Серебряный направляется к красным сеням, и, взяв его за руку, он проводил его на заднее крыльцо.

— Прости, Никита Романыч, — повторил он, обнимая Серебряного, — бог не без милости, авось и уладится твое дело!

И, подождав, чтобы князь сел на коня и выехал заднею околицею, Годунов вернулся в избу, весьма довольный, что Серебряный не принял предложения переночевать у него в доме.

На другое утро царь с торжеством въехал в

Слободу, как после одержанной победы. Опричники провожали его с криками «гойда! гойда!» от заставы до самого дворца.

Одна старая мамка Онуфревна приняла его с бранью.

— Зверь ты этакий! — сказала она, встречая его на крыльце, — как тебя еще земля держит, зверя плотоядного? Кровью от тебя пахнет, душегубец! Как смел ты к святому угоднику Сергию явиться после твоего московского дела? Гром господень убьет тебя, окаянного, вместе с дьявольским полком твоим!

Но в этот раз увещания мамки не произвели никакого действия. На дворе не было ни грома, ни бури. Солнце великолепно сияло в безоблачном небе, и ярко играли краски и позолота на пестрых теремках и затейливых главах дворца. Иоанн не ответил ни слова и прошел мимо старухи во внутренние свои покои.

— Погоди, погоди! — продолжала она, глядя ему вслед и стуча о пол клюкою, — разразится гром божий над теремом твоим, выжжет он всю твою нечестивую Слободу!

И старуха удалилась в свою светлицу, мед-

ленно передвигая ноги и бросая сердитые взгляды на царедворцев, которые сторонились от нее с суеверным страхом.

В этот день, после обеда, Годунов, видя, что царь весел и доволен и, против обыкновения, готовится отдохнуть, последовал за ним в опочивальню. Расположение к нему Ивана Васильевича давало это право Годунову, особенно когда ему было о чем доложить, что не всякому следовало слышать.

В царской опочивальне стояли две кровати: одна, из голых досок, на которой Иван Васильевич ложился для наказания плоти, в минуты душевных тревог и сердечного раскаянья; другая, более широкая, была покрыта мягкими овчинами, пуховиком и шелковыми подушками. На этой царь отдыхал, когда ничто не тревожило его мыслей. Правда, это случалось редко, и последняя кровать большею частью оставалась нетронутою.

Надобно было хорошо знать Ивана Васильевича, чтобы не ошибиться в действительном расположении его духа. Не всегда во время мучений совести он был склонен на милосердие. Он часто приписывал угрызения свои

наваждению сатаны, старающегося отвлечь его от преследования измены, и тогда, вместо того чтобы смягчить свое сердце, он, назло дьяволу, творя молитвы и крестные знамения, предавался еще большей жестокости. Не всегда также спокойствие, написанное на лице его, могло достоверно ручаться за внутреннюю безмятежность. Оно часто бывало одною личиною, и царь, одаренный редкою проницательностью и способностью угадывать чужие мысли, любил иногда обманывать расчеты того, с кем разговаривал, и поражать его неожиданным проявлением гнева в то самое время, когда он надеялся на милость.

Но Годунов успел изучить малейшие оттенки царского нрава и с необыкновенным чутьем отгадывал и объяснял себе неуловимые для других изменения лица его.

Подождав, чтобы Иоанн лег на пуховую постель, и не видя в его чертах ничего, кроме усталости, Борис Федорович сказал безо всяких приготовлений:

— Ведомо ли тебе, государь, что опальник твой сыскался?

— Какой? — спросил Иоанн, зевая.

— Никита Серебряный, тот самый, что Вяземского, изменника твоего, саблей посек и в тюрьму был посажен.

— А! — сказал Иоанн, — поймали воробья! Кто же взял его?

— Никто, государь. Он сам пришел и всех станичников привел, которые с ним под Рязанью татар разбили. Они вместе с Серебряным принесли твоей царской милости повинные головы.

— Опомнились! — сказал Иоанн. — Что ж, видел ты его?

— Видел, государь; он прямо ко мне приехал; думал, твоя милость в Слободе, и просил, чтоб я о нем сказал тебе. Я хотел было захватить его под стражу, да подумал, неравно Григорий Лукьяныч скажет, что я подыскиваюсь под него; а Серебряный не уйдет, коли он сам тебе свою голову принес.

Годунов говорил прямо, с открытым лицом, безо всякого замешательства, как будто в нем не было ни тени хитрости, ни малейшего участия к Серебряному. Когда он накануне проводил его задним крыльцом, он поступил так не с тем, чтобы скрыть от царя его посе-

щение (это было бы слишком опасно), но чтобы кто из слободских не предупредил Иоанна и, как первый известитель, не настроил бы его против самого Годунова. Намек же на Вяземского, выставляющий Серебряного врагом казненного князя, был обдуман и приготовлен Борисом Федоровичем заранее.

Царь зевнул еще раз, но не отвечал ничего, и Годунов, улавливая каждую черту лица его, не прочел на нем никакого признака ни явного, ни скрытого гнева. Напротив, он заметил, что царю понравилось намерение Серебряного предаться на его волю.

Иоанн, проливая кровь и заставляя всех трепетать, хотел вместе с тем, чтоб его считали справедливым и даже милосердным; душегубства его были всегда облечены в наружность строгого правосудия, и доверие к его великодушию тем более льстило ему, что такое доверие редко проявлялось.

Подождав немного, Годунов решился вызвать Ивана Васильевича на ответ.

— Как прикажешь, государь, — спросил он, — позвать к тебе Григорья Лукьяныча?

Но последние казни уже достаточно насы-

тили Иоанна; несколько лишних голов не могли ничего прибавить к его удовлетворению, ни возбудить в нем уснувшую на время жажду крови.

Он пристально посмотрел на Годунова.

— Разве ты думаешь, — сказал он строго, — что я без убийства жить не могу? Иное злодеи, подрывающие государство, иное Никита, что Афоньку порубил. А из станичников посмотрю, кого казнить, кого помиловать. Пусть все, и с Никитой, соберутся перед Красным крыльцом на дворе. Когда выйду из опочивальни, увижу, что с ними делать!

Годунов пожелал царю доброго отдыха и удалился с низким поклоном.

Все зависело теперь от того, в каком расположении проснется Иоанн.

### **Глава 37. Прощение**

**И**звещенный Годуновым, Никита Романович явился на царский двор с своими станичниками.

Перераненные, оборванные, в разнообразных лохмотьях, кто в зипуне, кто в овчине, кто в лаптях, кто босиком, многие с подвязанными головами, все без шапок и без оружия,

стояли они молча друг подле друга, дожидаясь царского пробуждения.

Не в первый раз видели молодцы Слободу; приходили они сюда и гусярами, и нищими, и поводитильщиками медведей. Некоторые участвовали и в последнем пожаре, когда Перстень с Коршуном пришли освободить Серебряного. Много было между ними знакомых нам лиц, но многих и недоставало. Недоставало всех, которые, отстаивая Русскую землю, полегли недавно на рязанских полях, ни тех, которые после победы, любя раздолье кочующей жизни, не захотели понести к царю повинную голову. Не было тут ни Перстня, ни Митьки, ни рыжего песенника, ни дедушки Коршуна. Перстень, появившись в последний раз в Слободе в день судного поединка, исчез бог весть куда; Митька последовал за ним, песенника еще прежде уходил Серебряный, а Коршуна теперь под стеною кремлевскою терзали псы и клевали вороны...

Уже часа два дожидались молодцы, потупя очи и не подозревая, что царь смотрит на них из небольшого окна, проделанного над самым крыльцом и скрытого узорными терем-

ками. Никто из них не говорил ни с товарищами, ни с Серебряным, который стоял в стороне, задумавшись и не обращая внимания на множество людей, толпившихся у ворот и у калиток. В числе любопытных была и государева мамка. Она стояла на крыльце, нагнувшись на клюку, и смотрела на все безжизненными глазами, ожидая появления Иоанна, быть может, с тем, чтобы своим присутствием удержать его от новой жестокости.

Иван Васильевич, наглядевшись вдоволь из потаенного окна на своих опальников и насладившись мыслию, что они теперь стоят между жизнью и смертью и что нелегко у них, должно быть, на сердце, показался вдруг на крыльце в сопровождении нескольких стольников.

При виде царя, одетого в золотую парчу, опирающегося на узорный посох, разбойники стали на колени и преклонили головы.

Иоанн помолчал несколько времени.

— Здравствуйте, оборванцы! — сказал он наконец и, поглядев на Серебряного, прибавил: — Ты зачем в Слободу пожаловал? По тюрьме, что ли, соскучился?

— Государь, — ответил Серебряный скромно, — из тюрьмы ушел я не сам, а увели меня насильно станичники. Они же разбили ширинского мурзу Шихмата, о чем твоей милости, должно быть, уже ведомо. Вместе мы били татар, вместе и отдаемся на твою волю; казни или милуй нас, как твоя царская милость знает!

— Так это за ним вы тот раз в Слободу приходили? — спросил Иоанн у разбойников. — Откуда ж вы знаете его?

— Батюшка-царь, — отвечали вполголоса разбойники, — он атамана нашего спас, когда его в Медведевке повесить хотели. Атаман-то и увел его из тюрьмы!

— В Медведевке? — сказал Иоанн и усмехнулся. — Это, должно быть, когда ты Хомяка и с объездом его шелепугами отшлепал? Я это дело помню. Я отпустил тебе эту первую вину, а был ты, по уговору нашему, посажен за новую вину, когда ты вдругорядь на моих людей у Морозова напал. Что скажешь на это?

Серебряный хотел отвечать, но мамка предупредила его.

— Да полно тебе вины-то его высчиты-

вать! — сказала она Иоанну сердито. — Вместо чтоб пожаловать его за то, что он басурманов разбил, церковь Христову отстоял, а ты только и смотришь, какую б вину на нем найти. Мало тебе было терзанья на Москве, волк ты этакий!

— Молчи, старуха! — сказал строго Иоанн, — не твое бабье дело указывать мне!

Но, досадуя на Онуфреву, он не захотел раздражать ее и, отвернувшись от Серебряного, сказал разбойникам, стоявшим на коленях:

— Где атаман ваш, висельники? Пусть выступит вперед!

Серебряный взялся отвечать за разбойников.

— Их атамана здесь нет, государь. Он тот же час после рязанской битвы ушел. Я звал его, да он идти не захотел.

— Не захотел! — повторил Иоанн. — Сдается мне, что этот атаман есть тот самый слепой, что ко мне в опочивальню со стариком приходил. Слушайте же, оборванцы! Я вашего атамана велю сыскать и на кол посадить!

— Уж самого тебя, — проворчала мамка, —

на том свету черти на кол посадят!

Но царь притворился, что не слышит, и продолжал, глядя на разбойников:

— А вас, за то, что вы сами на мою волю от-  
дались, я, так и быть, помилую. Выкатить им  
пять бочек меду на двор! Ну что? Довольна  
ты, старая дура?

Мамка зажевала губами.

— Да живет царь! — закричали разбойни-  
ки. — Будем служить тебе, батюшка-государь!  
Заслужим твое прощение нашими головами!

— Выдать им, — продолжал Иоанн, — по  
доброму кафтану да по гривне на человека. Я  
их в опричнину впишу. Хотите, висельники,  
мне в опричниках служить?

Некоторые из разбойников замялись, но  
большая часть закричала:

— Рады служить тебе, батюшка, где укажет  
твоя царская милость!

— Как думаешь, — сказал Иоанн с доволь-  
ным видом Серебряному, — пригодны они в  
ратный строй?

— В ратный-то строй пригодны, — ответил  
Никита Романович, — только уж, государь, не  
вели их в опричнину вписывать!

Царь подумал, что Серебряный считает разбойников недостойными такой чести.

— Когда я кого милую, — произнес он торжественно, — я не милую вполонину!

— Да какая ж это милость, государь! — вырвалось у Серебряного.

Иоанн посмотрел на него с удивлением.

— Они, — продолжал Никита Романович, немного запинаясь, — они, государь, ведь доброе дело учинили; без них, пожалуй, татары на самую бы Рязань пошли!

— Так почему ж им в опричнине не быть? — спросил Иоанн, пронзая глазами Серебряного.

— А потому, государь, — выговорил Серебряный, который тщетно старался прибрать выражения поприличнее, — потому, государь, что они, правда, люди худые, а всё же лучше твоих кромешников!

Эта неожиданная и невольная смелость Серебряного озадачила Иоанна. Он вспомнил, что уже не в первый раз Никита Романович говорит с ним так откровенно и прямо. Между тем он, осужденный на смерть, сам добровольно вернулся в Слободу и отдавался на

царский произвол. В строптивости нельзя было обвинить его, и царь колебался, как принять эту дерзкую выходку, как новое лицо привлекло его внимание.

В толпу разбойников незаметно втерся посторонний человек лет шестидесяти, опрятно одетый, и старался, не показываясь царю, привлечь внимание Серебряного. Уже несколько раз он из-за переднего ряда протягивал украдкой руку и силился поймать князя за полу, но, не достав его, опять прятался за разбойников.

— Это что за крыса? — спросил царь, указывая на незнакомца.

Но тот уже успел скрыться в толпе.

— Раздвиньтесь, люди! — сказал Иоанн, — достать мне этого молодца, что там сзади хронится!

Несколько опричников бросились в толпу и вытащили виновного.

— Что ты за человек? — спросил Иоанн, глядя на него подозрительно.

— Это мой стремянный, государь! — поспешил сказать Серебряный, узнав своего старого Михеича, — он не видал меня с тех пор...

— Так, так, батюшка-государь! — подтвердил Михеич, заикаясь от страха и радости, — его княжеская милость правду изволит говорить!.. Не виделись мы с того дня, как схватили его милость! Дозволь же, батюшка-царь, на боярина моего посмотреть! Господи-светы, Никита Романыч! Я уже думал, не придется мне увидеть тебя!

— Что же ты хотел сказать ему? — спросил царь, продолжая недоверчиво глядеть на Михеича, — зачем ты за станичниками хоронился?

— Поопасывался, батюшка-государь Иван Васильич, опричников твоих поопасывался! Это ведь, сам знаешь, это ведь, государь, всё такой народ...

И Михеич закусил язык.

— Какой народ? — спросил Иоанн, стараясь придать чертам своим милостивое выражение. — Говори, старик, без зазора, какой народ мои опричники? Михеич поглядел на царя и успокоился.

— Да такого мы до литовского похода отродясь не видывали, батюшка! — проговорил он вдруг, ободренный милостивым выражением

царского лица, — не в укор им сказать, ненадежный народ, тетка их подкурятина!

Царь пристально посмотрел на Михеича, дивясь, что слуга равняется откровенностью своему господину.

— Ну что ты на него глаза таращишь? — сказала мамка. — Съесть его, что ли, хочешь? Разве он не правду говорит? Разве видывали прежде на Руси кромешников?

Михеич, нашед себе подмогу, обрадовался.

— Так, бабуся, так! — сказал он. — От них-то все зло и пошло на Руси! Они-то и боярина оговорили! Не верь им, государь, не верь им! Песьи у них морды на сбруе, песий и брех на языке! Господин мой верно служил тебе, а это Вяземский с Хомяком наговорили на него. Вот и бабуся правду сказала, что таких сыроядцов и не видано на Руси!

И, озираясь на окружающих его опричников, Михеич придвинулся поближе к Серебряному. Хоть вы-де и волки, а теперь не съедите!

Когда царь вышел на крыльцо, он уже решил простить разбойников. Ему хотелось только продержат их некоторое время в

недоумении. Замечания мамки пришлись некстати и чуть было не раздражили Иоанна, но, к счастью, на него нашла милостивая полоса, и вместо того, чтоб предаться гневу, он вздумал посмеяться над Онуфревной и уронить ее значение в глазах царедворцев, а вместе и подшутить над стремянным Серебряного.

— Так тебе не любя опричнина? — спросил он Михеича с видом добродушия.

— Да кому ж она любя, батюшка-государь? С того часу, как вернулись мы из Литвы, всё от нее пошли сыпаться беды на боярина моего. Не будь этих, прости господи, живодеров, мой господин был бы по-прежнему в чести у твоей царской милости.

И Михеич опять опасно посмотрел на царских телохранителей, но тот же час подумал про себя: «Эх, тетка их подкурятина! Уж погублю свою голову, а очищу перед царем господина моего!»

— Добрый у тебя стремянный! — сказал царь Серебряному. — Пусть бы и мои слуги так ко мне мыслили! А давно он у тебя?

— Да я, батюшка Иван Васильевич, — под-

хватил Михеич, совершенно ободренный царскою похвалою, — я князю с самого с его сыздетства служу. И батюшке его покойному служил я, и отец мой деду его служил, и дети мои, кабы были у меня, его бы детям служили!

— А нет у тебя разве детушек, старичок? — спросил Иоанн еще милостивее.

— Было двое сыновей, батюшка, да обоих господь прибрал. Оба на твоём государском деле под Полоцком полегли, когда мы с Никитой Романычем да с князем Пронским Полоцк выручали. Старшему сыну, Василью, вражий лях, налетев, саблей голову раскроил, а меньшему-то, Степану, из пищали грудь прострелили, сквозь самый наплечник, вот настолько повыше левого соска!

И Михеич пальцем показал на груди своей место, где в Степана попала пуля.

— Вишь! — проговорил Иоанн, покачивая головой и как будто принимая большое участие в сыновьях Михеича. — Ну, что ж делать, старичок, этих бог прибрал, других наживешь!

— Да откуда нажить-то их, батюшка? Хо-

зьяка-то у меня померла, а из рукава-то новых детей не вытрусил!

— Что ж, — сказал царь, как бы желая утешить стремянного, — еще, даст бог, другую хозяйку найдешь!

Михеич ощущал немалое удовольствие в разговоре с царем.

— Да этого добра как не найти, — ответил он, ухмыляясь, — только не охоч я до баб, бабюшка-государь, да уж и стар становлюсь таким делом заниматься!

— Баба бабе рознь! — заметил Иоанн и, схватив Онуфреву за душегрейку, — вот тебе хозяйка! — сказал он и выдвинул мамку вперед. — Возьми ее, старина, живи с ней в любви и в совете, да детей приживай!

Опричники, поняв царскую шутку, громко захохотали, а Михеич, в изумлении, посмотрел на царя, не смеется ли и он, но на лице Иоанна не было улыбки.

Безжизненные глаза мамки вспыхнули.

— Срамник ты! — закричала она на Иоанна, — безбожник! Я тебе дам ругаться надомной! Срамник ты, тьфу! Еретик бессовестный!

Старуха застучала клюкою о крыльцо, и губы ее еще сердитее зажевали, а нос посинел.

— Полно ломаться, бабушка, — сказал царь, — я тебе доброго мужа сватаю; он будет тебя любить, дарить, уму-разуму научать! А свадьбу мы сегодня же после вечерни сыграем! Ну, какова твоя хозяйка, старичина?

— Умилосердись, батюшка-государь! — проговорил Михеич в совершенном испуге.

— Что ж? Разве она тебе не по сердцу?

— Какое по сердцу, батюшка! — простонал Михеич, отступая назад.

— Стерпится — слюбится! — сказал Иоанн. — Да дам за ней доброе приданое!

Михеич с ужасом посмотрел на Онуфреву, которую царь все еще держал за душегрейку.

— Батюшка, Иван Васильевич! — воскликнул он вдруг, падая на колени, — вели меня казнить, только не вели этакого сраму на себя принимать! Скорей на плаху пойду, чем женюсь на ее милости, тетка ее подкурятина!

Иван Васильевич немного помолчал и вдруг разразился громким продолжительным смехом.

— Ну, — сказал он, выпуская наконец Онуфреву, которая поспешила уйти, ругаясь и отплевываясь, — честь приложена, убытку бог избавил! Я хотел вашего счастья, а насильно венчать вас не буду! Служи по-прежнему боярину твоему, старичина, а ты, Никита, подойди сюда. Отпускаю тебе и вторую вину твою. А этих голоштанников в опричнину не впишу; мои молодцы, пожалуй, обидятся. Пусть идут к Жиздре, в сторожевой полк. Коли охочи они на татар, будет им с кем переведаться. Ты же, — продолжал он особенно милостивым голосом, без примеси своей обычной насмешливости и положив руку на плечо Серебряного, — ты оставайся у меня. Я помирю тебя с опричниной. Когда узнаешь нас покороче, перестанешь дичиться. Хорошо бить татар, но мои враги не одни татары; есть и хуже их. Этих-то научись грызть зубами и метлой выметать!

И царь потрепал Серебряного по плечу.

— Никита, — прибавил он благовольтельно и оставляя свою руку на плече князя, — у тебя сердце правдивое, язык твой не знает лукавства; таких-то слуг мне и надо. Впишись в

опричинну; я дам тебе место выбылого Вяземского! Тебе я верю, ты меня не продашь.

Все опричники с завистью посмотрели на Серебряного; они уже видели в нем новое возникающее светило, и стоявшие подале от Иоанна уже стали шептаться между собою и выказывать свое неудовольствие, что царь, без внимания к их заслугам, ставит им на голову опального пришельца, столбового боярина, древнего княжеского рода.

Но сердце Серебряного сжалось от слов Иоанновых.

— Государь, — сказал он, сделав усилие над собою, — благодарствую тебе за твою милость; но дозвожь уж лучше и мне к сторожевому полку примкнуться. Здесь мне делать нечего, я к слободскому обычаю не привычен, а там я буду служить твоей милости, доколе сил хватит!

— Вот как! — сказал Иоанн и снял руку с плеча Серебряного, — это значит, мы не угодны его княжеской милости! Должно быть, с ворами оставаться честнее, чем быть моим оружничим! Ну что ж, — продолжал он насмешливо, — я никому в дружбу не набива-

юсь и никого насильно не держу. Свыклись вместе, так и служите вместе! Доброго пути, разбойничий воевода!

И, взглянув презрительно на Серебряного, царь повернулся к нему спиной и вошел во дворец.

## **Глава 38. Выезд из Слободы**

Годунов предложил Серебряному остаться у него в доме до выступления в поход. Этот раз предложение было сделано от души, ибо Борис Федорович, наблюдавший за каждым словом и за каждым движением царя, заключил, что грозы более не будет и что Иоанн ограничится одною холодностью к Никите Романовичу.

Исполняя обещание, данное Максиму, Серебряный прямо с царского двора отправился к матери своего названного брата и отдал ей крест Максимов. Малюты не было дома. Старушка уже знала о смерти сына и приняла Серебряного как родного; но, когда он, окончив свое поручение, простился с нею, она не посмела его удерживать, боясь возвращения мужа, и только проводила до крыльца с благословениями.

Вечером, когда Годунов оставил Серебряного в опочивальне и удалился, пожелав ему спокойного сна, Михеич дал полную волю своей радости.

— Ну, боярин, — сказал он, — выпал же мне наконец красный денек после долгого горя! Ведь с той поры, как схватили тебя, Никита Романыч, я словно света божьего не вижу! То и дело по Москве да по Слободе слоняюсь, не проведу ль чего про тебя? Как услышал сегодня, что ты с станичниками вернулся, так со всех ног и пустился на царский двор; ан царь-то уж на крыльце! Я давай меж станичников до тебя пробираться, да и не вытерпел, стал ловить тебя за полу, а царь-то меня и увидел. Ну, набрался же я страху! Век не забуду! Два молебна завтра отслужу, один за твое здоровье, а другой — что соблюл меня господь от этой ведьмы, не дал надо мною такому скверному делу совершиться!

И Михеич начал рассказывать все, что с ним было после разорения морозовского дома, и как он, известив Перстня и вернувшись на мельницу, нашел там Елену Дмитриевну и взялся проводить ее до мужниной вотчины,

куда слуги Морозова увезли его во время пожара.

Серебряный нетерпеливо слушал многократные отступления Михеича.

— Ведь я, Никита Романыч, — говорил старик, — ведь я не слеп; хоть и молчу, а все вижу. Признаться, батюшка, не нравилось мне крепко, когда ты к Дружине Андреичу-то ездил, не выйдет добра из этого, думал я, да и совестно, правду сказать, за тебя было, когда ты с ним за одним столом сидел, из одного ковша пил. Ты меня, батюшка, понимаешь. Хоть ты, положим, и не виноват в этом; кто его знает, как оно к человеку приходит! Да против него-то грешно было. Ну, а теперь, конечно, дело другое; теперь ей некому ответа держать, царствие ему небесное! Да и молода она, голубушка, вдовой оставаться!

— Не кори меня, Михеич, — сказал Серебряный с неудовольствием, — а скажи, где она теперь и что ты про нее знаешь?

— Позволь, батюшка, погоди; дай мне все по порядку тебе доложить. Вот, изволишь ли видеть, как я от станичников-то на мельницу вернулся, мельник-то мне и говорит: залете-

да, говорит, жар-птица ко мне; отвези се, говорит, к царю Далмату! Я сначала не понял, что за птица и что за Далмат такой; только уже после, когда показал он мне боярыню-то, тогда уж смекнул, что он про нее говорил. Вот и поехали мы с нею в вотчину Дружины Андреича. Сначала она ничего, молчит себе и очей не подымает; потом стала потихоньку про мужа спрашивать; а потом, батюшка, туда, сюда, да и про тебя спросила, только, вишь, не прямо, а так, как бы нехотя, отворотимшись. Известно, женское дело. Я ей все рассказал, что было мне ведомо, а она, сердечная, еще кручиннее прежнего стала, повесила головушку, да уже во всю дорогу ничего и не говорит. Вот как стали подъезжать к вотчине, поприщ этак будет за десять, она, вижу, зачинает беспокоиться. «Что ты, говорю, сударыня, беспокоиться изволишь?» Она, батюшка, в слезы. Я ее утешать. «Не кручинься, говорю, боярыня, Дружина Андреич здравствует!» А она, при имени Дружины-то Андреича, давай еще горше плакать. Я этак посмотрел на нее, да уж не знаю, что и говорить ей. «И князь Никита Романыч, говорю, хоча и в тюрьме,

а должно быть, также здравствует!» Уж не знал, батюшка, что и сказать ей, чувствую, что не то говорю, а все же что-нибудь сказать надо. Только как назвал я тебя, батюшка, так она вдруг и останови коня. «Нет, говорит, дядюшка, не могу ехать в вотчину!» — «Что ты, боярыня, куда ж тебе ехать?» — «Дядюшка, говорит, видишь, золоченые кресты из-за лесу виднеются?» — «Вижу, сударыня». — «То, говорит, девичий монастырь; я узнаю те кресты, проводи меня туда, дядюшка!» Я было отговариваться, только она стоит на своем: проводи да проводи! — «Я, говорит, там с недельку обожду, богу помолюсь, а потом повещу Дружине Андреичу; он пришлет за мной!» Нечего было делать, проводил ее, батюшка; там и оставил на руках у игуменьи.

— Сколько будет до того монастыря? — спросил Серебряный.

— От мельницы было поприщ сорок, батюшка; от Москвы, пожалуй, будет подале. Да оно нам, почитай, по дороге приходится, коли мы на Жиздру походом.

— Михеич! — сказал Серебряный, — сослужи мне службу. Я прежде утра выступить не

властен; надо моим людям царю крест целовать. Но ты сею же ночью поезжай одвуконь, не жалея ни себя, ни коней; попросись к боярыне, расскажи ей все; упроси ее, чтобы приняла меня, чтобы ни на что не решалась, не повидавшись со мною!

— Слушаю, батюшка, слушаю, да ты уж не опасаясь ли, чтоб она постриглась? Этого не будет, батюшка. Пройдет годок, поплачет она, конечно; без этого нельзя; как по Дружине Андреиче не поплакать, царствие ему небесное! А там, посмотри, и свадьбу сыграем. Не век же нам, батюшка, горе отбывать!

Михеич в эту же ночь отправился в монастырь, а Серебряный, лишь только занялась заря, пошел проститься с Годуновым.

Борис Федорович уже вернулся от заутрени, которую, по обычаю своему, слушал вместе с царем.

— Что ты так рано поднялся, князь? — спросил он Никиту Романовича. — Это хорошо нам, слободским, а ты мог бы и поотдохнуть после вчерашнего дня. Или тебе неспокойно у меня было?

Но тонкий взгляд Годунова показывал, что

он знал причину бессонницы князя.

Приветливость Бориса Федоровича, его неподдельное участие к Серебряному, услуги, им столько раз оказанные, а главное, его совершенное несходство с другими царедворцами привлекали к нему сильно Никиту Романовича. Он открылся ему в любви своей к Елене.

— Все это мне давно уже ведомо! — сказал, улыбаясь, Годунов. — Я догадался об этом еще в первый твой приезд в Слободу из того, как ты смотрел на Вяземского. А когда я нарочно завел с тобою речь о Морозове, ты говорил о нем неохотно, несмотря что был с ним в дружбе. Ты, князь, ничего не умеешь хоронить в себе. О чем ты ни подумаешь, все у тебя на лице так и напишется. Да и говоришь-то ты уж чересчур правдиво, Никита Романыч, позволь тебе сказать. Я за тебя вчера испугался, да и подосадовал-таки на тебя, когда ты напрямик отвечал царю, что не хочешь вписаться в опричнину.

— А что же мне было отвечать ему, Борис Федорыч?

— Тебе было поблагодарить царя и при-

нять его милость.

— Да ты шутишь, Борис Федорыч, али вправду говоришь? Как же мне за это благодарить царя? Да ты сам разве вписан в опричнину?

— Я дело другое, князь. Я знаю, что делаю. Я царю не перечу; он меня сам не захочет вписать; так уж я поставил себя. А ты, когда поступил бы на место Вяземского да сделался бы оружничим царским, то был бы в приближении у Ивана Васильевича, ты бы этим всей земле послужил. Мы бы с тобой стали идти заодно и опричнину, пожалуй, подсекли бы!

— Нет, Борис Федорыч, не сумел бы я этого. Сам же ты говоришь, что у меня все на лице видно.

— Оттого, что ты не хочешь приневолить себя, князь. Вот кабы ты решился перемочь свою прямоту да хотя бы для виду вступил в опричнину, чего мы бы с тобой не сделали! А то, посмотри на меня; я один бьюсь, как щука об лед; всякого должен опасаться, всякое слово обдумывать; иногда просто голова кругом идет! А было бы нас двое около царя, и силы бы удвоились. Таких людей, как ты, немного,

князь. Скажу тебе прямо: я с нашей первой встречи рассчитывал на тебя!

— Не гожусь я на это дело, Борис Федорыч. Сколько раз я ни пытался подладиться под чужой обычай, ничего не выходит. Вот ты, дай бог тебе здоровья, ты на этом собаку съел. Правду сказать, сначала мне не по сердцу было, что ты иной раз думаешь одно, а говоришь другое; но теперь я вижу, куда ты гнешь, и понимаю, что по-твоему делать лучше. А я б и хотел, да не умею; не сподобил меня бог такому искусству. Впрочем, что теперь и говорить об этом? Сам знаешь, царь меня, по моему же упросу, в сторожевой полк посылает.

— Это ничего, князь. Ты опять татар побьешь, царь опять тебя пред свои очи пожалует. Оружничим тебе, конечно, уже не бывать, но если попросишься в опричнину, тебя впишут. А хотя бы и не случилось тебе татар побить, все же ты приедешь на Москву, когда Елене Дмитриевне вдовий срок минет. Того не опасайся, чтоб она постриглась; этого не будет, Никита Романыч; я лучше тебя человеческое сердце знаю; не по любви она за Моро-

зова вышла, незачем ей и постригаться теперь. Дай только остыть крови и высохнуть слезам; я же буду, коли хочешь, твоим дружкой.

— Спасибо тебе, Борис Федорыч, спасибо. Мне даже совестно, что ты уже столько сделал для меня, а я ничем тебе отплатить не могу. Кабы пришлось за тебя в пытку идти или в бою живот положить, я бы не задумался. А в опричнину меня не зови, и около царя быть мне также не можно. Для этого надо или совсем от совести отказаться, или твое уменье иметь. А я бы только даром душой кривил. Каждому, Борис Федорыч, господь свое указал: у сокола свой лет, у лебедя свой; лишь бы в каждом правда была.

— Так ты меня уж боле не винишь, князь, что и не прямою, а окольную дорогой иду?

— Грех было бы мне винить тебя, Борис Федорыч. Не говорю уже о себе; а сколько ты другим добра сделал! И моим ребятам без тебя, пожалуй, плохо пришлось бы. Недаром и любят тебя в народе. Все на тебя надежду полагают; вся земля начинает смотреть на тебя!

Легкий румянец пробежал по смуглому ли-

цу Годунова, и в очах его блеснуло удовольствие. Примирить с своим образом действий такого человека, как Серебряный, было для него немалым торжеством и служило ему мерилом его обаятельной силы.

— В мою очередь, спасибо тебе, князь, — сказал он. — Об одном прошу тебя: коли ты не хочешь помогать мне, то, по крайней мере, когда услышишь, что про меня говорят худо, не верь тем слухам и скажи клеветникам моим все, что про меня знаешь!

— Уж об этом не заботься, Борис Федорыч! Я никому не дам про тебя и помыслить худо, не только что говорить. Мои станичники и теперь уже молятся о твоём здравии, а если вернуться на родину, то и всем своим ближним закажут. Дай только бог уцелеть тебе!

— Господь хранит ходящих в незлобии! — сказал Годунов, скромно опуская глаза. — А впрочем, всё в его святой воле! Прости же, князь; до скорого свидания; не забудь, что ты обещал позвать меня на свадьбу.

Они дружески обнялись, и у Никиты Романовича повеселело на сердце. Он привык к мысли, что Годунов нелегко ошибается в сво-

их предположениях, и недавние опасения его насчет Елены рассеялись.

Вскоре он выехал в главе своего пешего отряда; но еще прежде, чем они оставили Слободу, случилось одно обстоятельство, которое, по тогдашним понятиям, принадлежало к недобрым предзнаменованиям.

Близ одной церкви отряд был остановлен столплением нищих, которые теснились у паперти во всю ширину улицы и, казалось, ожидали богатой милостыни от какого-нибудь знатного лица, находившегося в церкви.

Подвигаясь медленно вперед, чтобы дать время толпе раздвинуться, Серебряный услышал панихидное пение и спросил, по ком идет служба? Ему отвечали, что то Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский справляет поминки по сыне Максиме Григорьевиче, убитом татарами. В то же время послышался громкий крик, и из церкви вынесли старушку, лишенную чувств; исхудалое лицо ее было облито слезами, а седые волосы падали в беспорядке из-под бархатной шапочки. То была мать Максима. Малюта, в смирной одежде, показался на крыльце, и глаза его встрети-

лись с глазами Серебряного; но в чертах Малуты не было на этот раз обычного зверства, а только какая-то тупая одурелость, без всякого выражения. Приказав положить старушку на паперти, он воротился в церковь дослушивать панихиду, а станичники с Серебряным, снявши шапки и крестясь, прошли мимо церковных врат, и слышно им было, как в церкви торжественно и протяжно раздавалось: «Со святыми упокой!»

Это печальное пение и мысль о Максиме тяжело подействовали на Серебряного, но ему вспомнились успокоительные слова Годунова и скоро изгладили грустное впечатление панихиды. На изгибе дороги, входящей в темный лес, он оглянулся на Александрову слободу, и когда скрылись от него золоченые главы дворца Иоаннова, он почувствовал облегчение, как будто тяжесть свалилась с его сердца.

Утро было свежее, солнечное. Бывшие разбойники, хорошо одетые и вооруженные, шли дружным шагом за Серебряным и за всадниками, его сопровождавшими. Зеленый мрак охватывал их со всех сторон. Конь Се-

ребрянного, полный нетерпеливой отваги, срывал мимоходом листья с нависших ветвей, а Буян, не оставлявший князя после смерти Максима, бежал впереди, подымал иногда, нюхая ветер, косматую морду или нагибал ее на сторону и чутко навастривал ухо, если какой-нибудь отдаленный шум раздавался в лесу.

### **Глава 39. Последнее свидание**

**Н**есколько дней шел Серебряный с своим Нотрядом. На одном ночлеге, откуда был поворот к девичьему монастырю, он оставил людей своих и поехал один навстречу Михеичу, обещавшему привезти ему ответ от боярыни.

Всю ночь он ехал безостановочно. На заре, приближаясь к одному перекрестку, увидел он догорающий костер и сидящего близ него Михеича. Обе его лошади паслись неподалеку, оседланные.

Услышав конский топ, Михеич вскочил на ноги.

— Батюшка, князь Никита Романыч! — вскричал он, узнавая князя, — не ездь дале, батюшка! Вернись назад, нечего там тебе де-

лать!

— Что случилось? — спросил Серебряный, и сердце его замерло.

— Все кончено, батюшка! Не судил нам господь счастья!

Серебряный спрянул на землю.

— Говори! — сказал он, — что случилось с боярыней?

Старик молчал.

— Что случилось с Еленой Дмитриевной? — повторил в испуге Серебряный.

— Нет боле Елены Дмитриевны, батюшка! — сказал мрачно Михеич. — Есть только сестра Евдокия!

Серебряный зашатался и прислонился к дереву. Михеич смотрел на него горестно.

— Что ж делать, Никита Романыч! Видно, на то была божья воля. Не в счастливый мы, видно, век родились!

— Рассказывай все! — сказал Серебряный, оправившись. — Не жалея меня. Когда постриглась боярыня?

— Когда узнала о казни Дружины Андреича, батюшка; когда получили в монастыре синодик от царя, с именами всех казненных и с

указом молиться за их упокой; накануне того самого дня, как я к ней приехал.

— Видел ты ее?

— Видел, батюшка.

Серебряный хотел что-то сказать и не мог.

— На самый краткий миг видел, — прибавил Михеич, — не хотела она меня допустить сперва.

— Что она велела сказать мне? — проговорил с трудом Серебряный.

— Чтобы ты за нее молился, батюшка.

— И боле ничего?

— Ничего, батюшка.

— Михеич, — произнес князь после краткого молчания, — проводи меня в монастырь; я хочу проститься с ней...

Старик покачал головой.

— Зачем тебе к ней, батюшка? Не смущай ее боле; она теперь все равно, что святая. Вернемся лучше к отряду и пойдем прямо к Жиздре!

— Не могу! — сказал Серебряный.

Михеич опять покачал головою и подвел к нему одного из своих коней.

— Садись же на этого, — сказал он, взды-

хая, — твой больно заморился!

Они молча поехали к монастырю.

Дорога шла все время лесом. Вскоре послышалось журчанье воды, и ручей, пробиравшийся меж камышами, сверкнул сквозь густую зелень.

— Узнаешь ты это место, князь? — спросил грустно Михеич.

Серебряный поднял голову и увидел свежее пожарище. Кой-где земля была недавно изрыта, а остатки строения и сломанное водяное колесо показывали, что тут была мельница.

— Это когда они колдуна схватили, — заметил Михеич, — то и жилье его разорили; думали тут клад найти, тетка их подкурятина!

Серебряный бросил рассеянный взгляд на пожарище, и они молча поехали далее.

Через несколько часов лес начал редеть. Меж деревьями забелела каменная ограда, и на расчищенной поляне показался монастырь. Он не стоял, подобно иным обителям, на возвышенном месте. Из узких решетчатых окон не видно было обширных монастырских угодий, и взор везде упирался лишь в голые

стволы и мрачную зелень сосен, опоясывавших тесным кругом ограду. Окрестность была глуха и печальна; монастырь, казалось, принадлежал к числу бедных.

Всадники сошли с коней и постучались в калитку.

Прошло несколько минут; послышалось бряцание ключей.

— Слава господу Иисусу Христу! — сказал тихо Михеич.

— Во веки веков, аминь! — отвечала сестра-вратница, отворяя калитку.

— Кого вам надобно, государи?

— Сестру Евдокию, — произнес вполголоса Михеич, боясь этим названием растравить душевную рану своего господина. — Ты меня знаешь, матушка; я недавно был здесь.

— Нет, государь, не знаю; я только сегодня ко вратам приставлена, а до меня была сестра Агния...

И монахиня посмотрела опасливо на приезжих.

— Нужды нет, матушка, — продолжал Михеич, — пусти нас. Доложи игуменье, что князь Никита Романыч Серебряный приехал.

Вратница окинула боязливым взглядом Серебряного, отступила назад и захлопнула за собою калитку.

Слышно было, как она поспешно удалялась, приговаривая: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас!»

«Что бы это значило? — подумал стрмянный, — зачем она боится моего боярина?»

Он посмотрел на князя и понял, что его пыльные доспехи, одежда, изорванная колючим кустарником, и встревоженное выражение лица испугали вратницу. В самом деле черты Никиты Романовича так изменились, что сам Михеич не узнал бы его, если бы не приехал с ним вместе.

Через несколько времени слышались опять шаги вратницы.

— Не взыщите, государи, — сказала она неверным языком сквозь калитку, — теперь игуменья нельзя принять вас; приходите лучше завтра, после заутрени!

— Я не могу ждать! — вскричал Серебряный, и, ударив ногою в калитку, он вышиб запоры и вошел в ограду.

Перед ним стояла игуменья, почти столь

же бледная, как и он сам.

— Во имя Христа-спасителя, — сказала она дрожащим голосом, — остановитесь! Я знаю, зачем ты пришел... но господь карает душегубство, и безвинная кровь падет на главу твою!

— Честная мать! — отвечал Серебряный, не понимая ее испуга, но слишком встревоженный, чтобы удивляться, — честная мать,пусти меня к сестре Евдокии! Дай на один миг увидеть ее! Дай мне только проститься с ней!

— Проститься? — повторила игуменья, — ты в самом деле хочешь только проститься?

— Дай мне с ней проститься, честная мать, и я все мое имущество на твой монастырь отдам!

Игуменья взглянула на него недоверчиво.

— Ты вломился насильно, — сказала она, — ты называешься князем, а бог весть кто ты таков, бог весть зачем приехал... Знаю, что теперь ездят опричники по святым монастырям и предают смерти жен и дочерей тех праведников, которых недавно на Москве казнили!.. Сестра Евдокия была женою каз-

ненного боярина...

— Я не опричник! — вскричал Серебряный, — я сам отдал бы всю кровь мою за боярина Морозова! Пусти меня к боярыне, честная мать, пусти меня к ней!

Должно быть, правда и искренность написались на чертах Серебряного. Игуменья успокоилась и посмотрела на него с участием.

— Погрешила же я перед тобою! — сказала она. — Но, слава Христу и пречистой его матери, вижу теперь, что ошиблась. Слава же Христу, пресущественной троице и всем святым угодникам, что ты не опричник! Напугала меня вратница; я уже думала, как бы только время выиграть, сестру Евдокию схоронить! Трудные у нас годы настали, государь! И в божьих обителях опальным укрыться нельзя. Слава же господу, что я ошиблась! Если ты друг или родственник Морозовых, я поведу тебя к Евдокии. Ступай за мною, боярин, сюда, мимо усыпальницы; ее келья в самом саду.

Игуменья повела князя через сад к одинокой келье, густо обсаженной шиповником и жимолостью. Там, на скамье, перед входом,

сидела Елена в черной одежде и в покрывале. Косые лучи заходящего солнца ударяли на нее сквозь густые клены и позлащали над нею их увядающие ветви. Лето приходило к концу; последние цветы шиповника облетали; черная одежда инокини была усеяна их алыми лепестками. Грустно следила Елена за медленным и однообразным падением желтых кленовых листьев, и только шорох приближающихся шагов прервал ее размышления. Она подняла голову, узнала игуменью и встала, чтоб идти к ней навстречу, но, увидев внезапно Серебряного, вскрикнула, схватилась за сердце и в изнеможении опустилась на скамью.

— Не пугайся, дитяtko! — сказала ей ласково игуменья, — это знакомый тебе боярин, друг твоего покойного мужа, приехал нарочно проститься с тобой!

Елена не могла отвечать. Она только дрожала и, будто в испуге, смотрела на князя. Долго оба молчали.

— Вот, — проговорил наконец Серебряный, — вот как нам пришлось свидеться!

— Нам нельзя было свидеться иначе!.. —

сказала едва внятно Елена.

— Зачем не подождала ты меня, Елена Дмитриевна? — сказал Серебряный.

— Если б я подождала тебя, — прошептала она, — у меня не достало бы силы... ты не пустил бы меня... довольно и так греха на мне, Никита Романыч...

Настало опять молчание.

Сердце Серебряного сильно билось.

— Елена Дмитриевна! — сказал он прерывающимся от волнения голосом, — я навсегда прощаюсь с тобой, навсегда, Елена Дмитриевна... Дай же мне в последний раз взглянуть на тебя... дай на твои очи в последний раз посмотреть... откинь свое покрывало, Елена!

Елена исхудалою рукой подняла черную ткань, закрывавшую верхнюю часть ее лица, и князь увидел ее тихие глаза, красные от слез, и встретил знакомый кроткий взор, отуманенный бессонными ночами и душевным страданием.

— Прости, Елена! — вскричал он, падая ниц и кланяясь ей в ноги, — прости навсегда! Дай господь забыть мне, что могли мы быть счастливы!

— Нет, Никита Романыч, — сказала грустно Елена, — счастья нам не было написано. Кровь Дружины Андреича была бы между счастьем и нами. За меня он пошел под опалу, я же погрешила против него, я виновница его смерти! Нет, Никита Романыч, мы не могли быть счастливы. Да и кто теперь счастлив?

— Да, — повторил Серебряный, — кто теперь счастлив! Не милостив господь ко святой Руси; а все же не думал я, что нам заживо придется разлучиться навеки!

— Не навеки, Никита Романыч, — улыбнулась грустно Елена, — а только здесь, в этой жизни. Так должно было быть. Не личила бы нам одним радость, когда вся земля терпит горе и скорбь великую!

— Зачем, — сказал с мрачным видом Серебряный, — зачем не сложил я голову на татарскую саблю! Зачем не казнил меня царь, когда я ему повинную принес! Что мне теперь осталось на свете?

— Неси крест свой, Никита Романыч, как я мой крест несу. Твоя доля легче моей. Ты можешь отстаивать родину, а мне остается только молиться за тебя и оплакивать грех мой!

— Какая родина! Где наша родина! — вскричал Серебряный. — От кого нам ее отстаивать? Не татары, а царь губит родину! Мысли мои помешались, Елена Дмитриевна... Ты одна еще поддерживала мой разум; теперь все передо мной потемнело; не вижу боле, где ложь, где правда. Все доброе гибнет, все злое одолевает! Часто, Елена Дмитриевна, приходил мне Курбский на память, и я гнал от себя эти грешные мысли, пока еще была цель для моей жизни, пока была во мне сила; но нет у меня боле цели, а сила дошла до конца... рас-судок мой путается... — Просвети тебя боже, Никита Романыч! Ужели оттого, что твое счастье погибло, ты сделаешься врагом государевым, пойдешь наперекор всей земле, которая держит пред ним поклонную голову? Вспомни, что бог посылает нам испытание, чтобы могли мы свидеться на том свете! Вспомни всю жизнь свою и не солги против самого себя, Никита Романыч!

Серебряный опустил голову. Вскипевшее в нем негодование уступило место строгим понятиям долга, в которых он был воспитан и которые доселе свято хранил в своем сердце,

хотя и не всегда был в силах им покоряться.

— Неси крест свой, Никита Романыч! — повторила Елена. — Иди, куда посылает тебя царь. Ты отказался вступить в опричнину, и совесть твоя чиста. Иди же на врагов земли Русской; а я не перестану молиться за нас обоих до последнего моего часа!

— Прости же, Елена, прости, сестра моя! — воскликнул Серебряный, бросаясь к ней.

Она встретила спокойным взглядом его сокрушенный взгляд, обняла его, как брата, и поцеловала три раза, без страха и замешательства, ибо в этом прощальном лобзании уже не было того чувства, которое за два месяца, у ограды морозовского сада, кинуло ее в объятия князя невольно и бессознательно.

— Прости! — повторила она и, опустив покрывало, поспешно удалилась в свою келью.

Стали звонить к вечерне. Серебряный долго глядел вслед Елене. Он не слышал, что говорила ему игуменья, не почувствовал, как она взяла его за руку и проводила к ограде. Молча сел он на коня; молча поехал с Михеичем обратным путем по сосновому лесу. Звон монастырского колокола вызвал его наконец

из оцепенения. Он только теперь понял всю тяжесть своего несчастья. Сердце его разрывалось от этого звона, но он стал прислушиваться к нему с любовью, как будто в нем звучало последнее прощание Елены, и когда мерные удары, сливаясь в дальний гул, замерли наконец в вечернем воздухе, ему показалось, что все родное оторвалось от его жизни и со всех сторон охватило его холодное, безнадежное одиночество...

На другой день отряд Никиты Романовича продолжал свой путь, углубляясь все далее в темные леса, которые, с небольшими прогулами, соединялись с Брянским дремучим лесом. Князь ехал впереди отряда, а Михеич следовал за ним издали, не смея прерывать его молчание.

Ехал Серебряный, понуря голову, и среди его мрачных дум, среди самой безнадежности светило ему, как дальняя заря, одно утешительное чувство. То было сознание, что он в жизни исполнил долг свой, насколько позволило ему умение, что он шел прямою дорогой и ни разу не уклонился от нее умышленно. Драгоценное чувство, которое, среди скорби и

бед, как неотъемлемое сокровище, живет в сердце честного человека и пред которым все блага мира, все, что составляет цель людских стремлений, — есть прах и ничто!

Одно это сознание давало Серебряному возможность переносить жизнь, и он, проходя все обстоятельства своего прощания с Еленой, повторяя себе каждое ее слово, находил грустную отраду в мысли, что в самом деле было бы совестно радоваться в теперешнее время и что он не отчуждает себя от братьев, но несет вместе с ними свою долю общего бедствия.

Слова Годунова также пришли ему на память, и он горько усмехнулся, вспомнив, с какою уверенностью Годунов говорил о своем знании человеческого сердца. «Видно, — подумал он, — не все умеет угадывать Борис Федорыч! Государственное дело и сердце Ивана Васильевича ему ведомы; он знает наперед, что скажет Малюта, что сделает тот или другой опричник; но как чувствуют те, которые не ищут своих выгод, это для него потемки!»

И невольно вспомнил Серебряный о Максиме и подумал, что не так посудил бы назва-

ный брат его. Он не сказал бы ему: «Она не по любви вышла за Морозова, она будет ждать тебя!» Он сказал бы: «Спеши, брат мой! Не теряй ни мгновения; замори коня и останови ее, пока еще время!»

И при мысли о Максиме одиночество Никиты Романовича представилось ему еще безотраднее, ибо он ведал, что никто уже не сойдется с ним так близко, никто не пополнит свою душу его души, не поможет ему выяснить себе многое, что в честном сердце своем он сознавал смутно, но чего, в тревоге событий, он не успел облечь в ясные очертания...

И будет его жизнь идти своим чередом, не спрашивая, укладываются или нет его лучшие стремления в ее тяжелые требования, и долго, может быть, она будет плести свой пестрый узор, где каждая подробность, взятая отдельно, не имеет понятного смысла, но где все явления держатся меж собою неразрывною цепью, истекая одно из другого со строго последовательностью.

Понурил Серебряный голову, и бросил поводья, и ехал шагом в глухом бору, столь же мрачном, как и его думы. Мерные шаги раз-

бойников прерывали тишину пустыни. Дикие жители ее, белки и верхолазы, не привыкшие в этом безлюдном месте бояться человека, не прятались при виде ратников, а только взбирались на верхние сучья и любопытно глядели оттуда на проходивших. Пестрые дятлы продолжали цепляться за мшистую кору древесных стволов, повертывали свои красные головы на прищельцев и опять принимались стучать в сухое дерево.

Один из ратников, возбужденный торжественностью природы, затянул вполголоса протяжную песню; другие стали ему подтягивать, и вскоре все голоса слились в один хор, который звучными переливами далеко раздавался под дремучим навесом деревьев...

Здесь можно бы кончить эту грустную повесть, но остается сказать, что было с другими лицами, которые, быть может, разделяли с Серебряным участие читателя. О самом Никите Романовиче услышим мы еще раз в конце нашего рассказа; но для этого надобно откинуть семнадцать тяжелых лет и перенестись в Москву в славный год завоевания Сибири.

## Глава 40. Посольство Ермака

Много времени протекло с того дня, как Серебряный выехал из Слободы во главе прощенных станичников. Разные перемены произошли с тех пор на Руси. Но Иоанн по-прежнему то предавался подозрениям и казнил самых лучших, самых знаменитых граждан, то приходил в себя, каялся всенародно и посылал в монастыри богатые вклады и длинные синодики с именами убиенных, приказывая молиться за их упокой. Из прежних его любимцев не уцелело ни одного. Последний и главный из них, Малюта Скуратов, не испытав ни разу опалы, был убит при осаде Пайды, или Вейсенштейна, в Ливонии, и в честь ему Иоанн сжег на костре всех пленных немцев и шведов.

Сотни и тысячи русских, потеряв всякое терпение и надежду на лучшие времена, уходили толпами в Литву и Польшу.

Одно только счастливое событие произошло в течение этих лет: Иоанн постиг всю бесполезность разделения земли на две половины, из которых меньшая терзала большую, и по внушению Годунова уничтожил нена-

вистную опричнину. Он возвратился на жительство в Москву, а страшный дворец в Александровой слободе запустел навсегда.

Между тем много бедствий обрушилось на нашу родину. Голод и мор опустошали города и селения. Несколько раз хан вторглся в наши пределы, и в один из своих набегов он сжег все посады под Москвою и большую часть самого города. Шведы нападали на нас с севера; Стефан Баторий, избранный сеймом после Жигимонта, возобновил литовскую войну и, несмотря на мужество наших войск, одолел нас своим умением и отнял все наши западные владения.

Царевич Иоанн, хотя разделял с отцом его злодейства, но почувствовал этот раз унижение государства и попросился у царя с войском против Батория. Иоанн увидел в этом замысел свергнуть его с престола, и царевич, спасенный когда-то Серебряным на Поганой Луже, не избежал теперь лютой смерти. В припадке бешенства отец убил его ударом острого посоха. Рассказывают, что Годунов, бросившийся между них, был жестоко изранен царем и сохранил жизнь только благода-

ря врачебному искусству пермского гостя Строгонова.

После этого убийства Иоанн, в мрачном отчаянье, созвал Думу, объявил, что хочет идти в монастырь, и приказал приступить к выбору другого царя. Снисходя, однако, на усиленные просьбы бояр, он согласился остаться на престоле и ограничился одним покаянием и богатыми вкладами; а вскоре потом снова начались казни. Так, по свидетельству Одерборна, он осудил на смерть две тысячи триста человек за то, что они сдали врагам разные крепости, хотя сам Баторий удивлялся их мужеству.

Теряя свои владения одно за другим, теснимый со всех сторон врагами, видя внутреннее расстройство государства, Иоанн был жестоко поражен в своей гордости, и это мучительное чувство отразилось на его приемах и наружности. Он стал небрежен в одежде, высокий стан его согнулся, очи померкли, нижняя челюсть отвисла, как у старика, и только в присутствии других он делал усилие над собою, гордо выпрямлялся и подозрительно смотрел на окольных, не замечает ли кто в

нем упадка духа. В эти минуты он был еще страшнее, чем во дни своего величия. Никогда еще Москва не находилась под таким давлением уныния и боязни.

В это скорбное время неожиданная весть пришла от крайнего востока, и ободрила все сердца, и обратила общее горе в радость.

От отдаленных берегов Камы прибыли на Москву знатные купцы Строгоновы, родственники того самого гостя, который излечил Годунова. Они имели от царя жалованные грамоты на пустые места земли Пермской и жили на них владетельными князьями, независимо от пермских наместников, с своею управой и с своею дружиной, при единственном условии охранять границы от диких сибирских народов, наших недавних и сомнительных данников. Тревожимые в своих деревянных крепостях ханом Кучумом, они решились двинуться за Каменный Пояс и сами напасть на неприятельскую землю. Для успешнейшего исполнения этого замысла они обратились к нескольким разбойничьим, или, как они себя называли, казачьим атаманам, опустошавшим в то время с шайками

своими берега Волги и Дона. Главнейшими из них были Ермак Тимофеев и Иван Кольцо, осужденный когда-то на смерть, но спасшийся чудесным образом от царских стрельцов и долгое время пропадавший без вести. Получив от Строгоновых дары и грамоту, которою они призывались на славное и честное дело, Ермак и Кольцо с тремя другими атаманами подняли знамя на Волге, собрали из удалой вольницы дружину и явились на зов Строгоновых. Сорок стругов были тотчас нагружены запасами и оружием, и небольшая дружина под воеводством Ермака, отслушав молебен, поплыла с веселыми песнями вверх по реке Чусовой к диким горам Уральским. Разбивая везде враждебные племена, перетаскивая суда из реки в реку, они добрались до берегов Иртыша, где разбили и взяли в плен главного воеводу сибирского, Маметкула, и овладели городом Сибирью на высоком и крутом обрыве Иртыша. Не довольствуясь этим завоеванием, Ермак пошел далее, покорил весь край до Оби и заставил побежденные народы целовать свою кровавую саблю во имя царя Ивана Васильевича всея Руси. Тогда только он дал

знать о своем успехе Строгоновым и в то же время послал любимого своего атамана Ивана Кольцо к Москве бить челом великому государю и кланяться ему новым царством.

С этою-то радостною вестью Строгоновы приехали к Иоанну, и вскоре после них прибыло Ермаково посольство. Ликованье в городе было неслыханное. Во всех церквях служили молебны, все колокола звонили, как в светлое Христово воскресенье. Царь, обласкав Строгоновых, назначил торжественный прием Ивану Кольцу.

В большой кремлевской палате, окруженный всем блеском царского величия, Иван Васильевич сидел на престоле в Мономаховой шапке, в золотой рясе, украшенной образами и дорогими камнями. По правую его руку стоял царевич Федор, по левую Борис Годунов. Вокруг престола и дверей размещены были рынды, в белых атласных кафтанах, шитых серебром, с узорными топорами на плечах. Вся палата была наполнена князьями и боярами.

Воспрянув духом после известия, приведенного Строгоновыми, Иоанн смотрел не так

уже мрачно, и на устах его даже появлялась улыбка, когда он обращался к Годунову с каким-нибудь замечанием. Но лицо его сильно постарело, морщины сделались глубже, на голове осталось мало волос, а из бороды они вылезли вовсе.

Борис Федорович в последние годы пошел быстро в гору. Он сделался шурином царевича Федора, за которого вышла сестра его Ирина, и имел теперь важный сан конюшего боярина. Рассказывали даже, что царь Иван Васильевич, желая показать, сколь Годунов и невестка близки его сердцу, поднял однажды три перста кверху и сказал, дотрогиваясь до них другою рукой:

«Се Феодор, се Ирина, се Борис; и как руке моей было бы одинаково больно, который из сих перстов от нее бы ни отсекли, так равно тяжело было бы моему сердцу лишиться одного из трех возлюбленных чад моих».

Такая необыкновенная милость не родила в Годунове ни надменности, ни высокомерия. Он был по-прежнему скромн, приветлив к каждому, воздержан в речах, и только осанка его получила еще более степенности и ту спо-

койную важность, которая была прилична его высокому положению.

Не без ущерба своему нравственному достоинству достиг, однако, Годунов такого влияния и таких почестей. Не всегда удавалось его гибкому нраву устранять себя от дел, не одобряемых его совестью. Так, он, видя в Малюте слишком сильного соперника и потеряв надежду уронить его в глазах Иоанна, вошел с ним в тесную дружбу и, чтобы связать сильнее их обоюдные выгоды, женился на его дочери. Двадцать лет, проведенных у престола такого царя, как Иоанн Грозный, не могли пройти даром Борису Федоровичу, и в нем уже совершился тот горестный переворот, который, по мнению современников, обратил в преступника человека, одаренного самыми высокими качествами.

Глядя на царевича Феодора, нельзя было удержаться от мысли, что слабы те руки, которым по смерти Иоанна надлежало поддерживать государство. Ни малейшей черты ни умственной, ни душевной силы не являло его добродушное, но безжизненное лицо. Он был уже два года женат, но выражение его оста-

лось детское. Ростом он был мал, сложением дрябл, лицом бледен и опухловат. Притом он постоянно улыбался и смотрел робко и запуганно. Недаром ходили слухи, что царь, жалея о старшем сыне, говаривал иногда Феодору: «Пономарем бы тебе родиться, Федя, а не царевичем!»

«Но бог милостив, — думали многие, — пусть царевич слаб; благо, что не пошел он ни в батюшку, ни в старшего брата! А помогать ему будет шурин его, Борис Федорович. Этот не попустит упасть государству!»

Шепот, раздавшийся по дворне между придворными, был внезапно прерван звуками труб и звоном колоколов. В палату вошли, предшествуемые шестью стольниками, посланные Ермака, а за ними Максим и Никита Строгоновы с дядею их Семеном. Позади несли дорогие меха, разные странные утвари и множество необыкновенного, еще не виданного оружия.

Иван Кольцо, шедший во главе посольства, был человек лет под пятьдесят, среднего роста, крепкого сложения, с быстрыми, пронзительными глазами, с черною, густою, но

короткою бородой, подернутою легкою проседью.

— Великий государь! — сказал он, приблизившись к ступеням престола, — казацкий твой атаман Ермак Тимофеев, вместе со всеми твоими опальными волжскими казаками, осужденными твоею царскою милостью на смерть, старались заслужить свои вины и бьют тебе челом новым царством. Прибавь, великий государь, к завоеванным тобою царствам Казанскому и Астраханскому еще и это Сибирское, доколе всевышний благоволит стоять миру!

И, проговорив свою краткую речь, Кольцо вместе с товарищами опустил на колени и преклонил голову до земли.

— Встаньте, добрые слуги мои! — сказал Иоанн. — Кто старое упомянет, тому глаз вон, и быть той прежней опале не в опалу, а в милость. Подойди сюда, Иван!

— И царь протянул к нему руку, а Кольцо поднялся с земли и, чтобы не стать прямо на червленое подножие престола, бросил на него сперва свою баранью шапку, наступил на нее одною ногою и, низко наклонившись,

приложил уста свои к руке Иоанна, который обнял его и поцеловал в голову.

— Благодарю преблагую и пресущест венную трицу, — сказал царь, подымая очи к небу, — зрю надо мною всемогущий промысел божий, яко в то самое время, когда теснят меня враги мои, даже ближние слуги с люто-стью умышляют погубить меня, всемилостивый бог дарует мне верх и одоление над погаными и славное приращение моих государств! — И, обведя торжествующим взором бояр, он прибавил с видом угрозы: — Аще господь бог за нас, никто же на ны! Имеющие уши слышати да слышат!

Но в то же время он почувствовал, что напрасно омрачает общую радость, и обратился к Кольцу, милостиво смягчая выражение очей.

— Как нравится тебе на Москве? Видывал ли ты где такие палаты и церкви? Или, может, ты уже прежде бывал здесь?

Кольцо улыбнулся скромно-лукавою улыбкой, и белизна зубов его как будто осветила его смуглое загорелое лицо.

— Где нам, малым людям, такие чудеса ви-

деть! — сказал он, смиренно пожимая плечами. — Нам и во сне такой лепоты не снилось, великий государь! Живем на Волге по-мужицки, про Москву только слухом слышим, а в этом краю отродясь не бывывали!

— Поживи здесь, — сказал Иоанн благоволительно, — я тебя изрядно велю угостить. А грамоту Ермака мы прочли и вразумели и уже приказали князю Болховскому да Ивану Глухову с пятьюстами стрельцов идти помогать вам.

— Премного благодарствуем, — отвечал Кольцо, низко кланяясь, — только не мало ли будет, великий государь?

Иоанн удивился смелости Кольца.

— Вишь ты, какой прыткий! — сказал он, глядя на него строго. — Уж не прикажешь ли мне самому побежать к вам на прибавку? Ты думаешь, мне только и заботы, что ваша Сибирь? Нужны люди на хана и на Литву. Бери что дают, а обратным путем набирай охотников. Довольно теперь всякой голи на Руси. Вместо чтоб докучать мне по все дни о хлебе, пусть идут селиться на те новые земли! И архиерею вологодскому написали мы, чтоб от-

рядил десять попов обедни вам служить и всякие требы исполнять.

— И на этом благодарим твою царскую милость, — ответил Кольцо, вторично кланяясь. — Это дело доброе; только не пожалей уж, великий государь, поверх попов, и оружия дать нам сколько можно, и зелья огнестрельного поболее!

— Не будет вам и в этом оскудения. Есть Болховскому про то указ от меня.

— Да уж и пообносились мы больно, — заметил Кольцо, с заискивающею улыбкой и пожимая плечами.

— Небось некого в Сибири по дорогам грабить? — сказал Иоанн, недовольный настойчивостью атамана. — Ты, я вижу, ни одной статьи не забываешь для своего обихода, только и мы нашим слабым разумом обо всем уже подумали. Одежу поставят вам Строгоновы; я же положил мое царское жалованье начальным и рядовым людям. А чтоб и ты, господин советчик, не остался без одежды, жалую тебе шубу с моего плеча!

По знаку царя два стольника принесли дорогую шубу, покрытую золотою парчой, и на-

дели ее на Ивана Кольцо.

— Язык-то у тебя, я вижу, остер, — сказал Иоанн, — а есть ли острая сабля?

— Да была недурна, великий государь, только поиступилась маленько о сибирские головы!

— Возьми из моей оружейной саблю, какая тебе боле приглянется, да смотри, выбирай по сердцу, которая покраще, впрочем, ты, я думаю, чиниться не будешь.

Глаза атамана загорелись от радости.

— Великий государь! — воскликнул он, — изо всех твоих милостей эта самая большая! Грех было бы мне чиниться на твоём подарке! Уж выберу в твоей оружейной что ни на есть лучшее! Только, — прибавил он, немного подумав, — коли ты, государь, не жалеешь своей сабли, то дозвожь лучше отвезти ее от твоего царского имени Ермолаю Тимофеичу!

— Об нем не хлопочи, мы и его не забудем. А коли ты боишься, что я не сумею угодить на его милость, то возьми две сабли, одну себе, другую Ермаку.

— Исполать же тебе, государь! — воскликнул Кольцо в восхищении. — Уж мы этими

двумя саблями послужим твоему царскому здоровью!

— Но сабель не довольно, — продолжал Иоанн. — Нужны вам еще добрые брони. На тебя-то мы, примеривши, найдем, а на Ермака как бы за глаза не ошибиться. Какого он будет роста?

— Да, пожалуй, будет с меня, только в плечах пошире. Вот хоть бы с этого молодца, — сказал Кольцо, оборачиваясь на одного из своих товарищей, здорового детину, который, принеся огромную охапку оружия и свалив ее на землю, стоял позади его с разинутым ртом и не переставал дивиться то на золотую одежду царя, то на убранство рынд, окружавших престол. Он даже попытался вступить потихоньку с одним из них в разговор, чтоб узнать, не все ли они царевичи? Но рында посмотрел на него так сурово, что тот не возобновлял более вопроса.

— Принести сюда, — сказал царь, — большую броню с орлом, что висит в оружейной на первом месте. Мы примерим ее на этого пучеглазого!

Вскоре принесли тяжелую железную коль-

чугу с медною каймой вокруг рукавов и подола и с золотыми двуглавыми орлами на груди и спине.

Кольчуга была скована на славу и возбудила во всех одобрителный шепот.

— Надевай ее, тюлень! — сказал царь.

Детина повиновался, но, сколько ни силился, он не мог в нее пролезть и допихнул руки только до половины рукавов.

Какое-то давно забытое воспоминание мелькнули при этом виде в памяти Иоанна.

— Будет! — сказал Кольцо, следивший заботливо за детиною, — довольно пялить царскую кольчугу-то! Пожалуй, разорвешь ее, медведь! Государь, — продолжал он, — кольчуга добрая, и будет Ермолаю Тимофеичу в самую пору; а этот потому пролезть не может, что ему кулаки мешают. Этаких кулаков ни у кого нет, кроме его!

— А ну-ка, покажи свой кулак? — сказал Иоанн, с любопытством вглядываясь в детину. Но детина смотрел на него в недоумении, как будто не понимая приказания.

— Слышь ты, дурень, — повторил Кольцо, — покажи кулак его царской милости!

— А коли он мне за то голову срубит? — сказал детина протяжно, и на глупом лице его изобразилось опасение.

Царь засмеялся, и все присутствующие с трудом удержались от смеха.

— Дурак, дурак! — сказал Кольцо с досадою, — был ты всегда дурак и теперь дураком остался!

И, высвободив детину из кольчуги, он подтащил его к престолу и показал царю его широкую кисть, более похожую на медвежью лапу, чем на человеческую руку.

— Не взыщи, великий государь, за его простоту. Он в речах глуп, а на деле парень добрый. Он своими руками царевича Маметкула полонил.

— Как его зовут? — спросил Иоанн, все пристальнее вглядываясь в детину.

— А Митькою! — отвечал тот добродушно.

— Постой! — сказал Иоанн, узнавая вдруг Митьку, — ты, никак, тот самый, что в Слободе за Морозова бился и Хомяка оглоблей убил?

Митька глупо улыбнулся.

— Я тебя, дурня, сначала не признал, а те-

перь вспоминаю твою рожу!

— А я тебя сразу признал! — ответил Митька с довольным видом, — ты на высоком ослоне у самого поля сидел!

Этот раз все громко засмеялись.

— Спасибо тебе, — сказал Иоанн, — что не забыл ты меня, малого человека. Как же ты Маметкула-то в полон взял?

— Жовотом навалился! — ответил Митька равнодушно и не понимая, чему опять все захохотали.

— Да, — сказал Иоанн, глядя на Митьку, — когда этакий чурбан навалится, из-под него уйти нелегко. Помню, как он Хомяка раздавил. Зачем же ты ушел тогда с поля? Да и как ты из Слободы в Сибирь попал?

Атаман толкнул Митьку неприметно локтем, чтобы он молчал, но тот принял этот знак в противном смысле.

— А он меня с поля увел! — сказал он, тыкнув пальцем на атамана.

— Он тебя увел? — произнес Иван Васильевич, посматривая с удивлением на Кольцо. — А как же, — продолжал он, вглядываясь в него, — как же ты сказал, что в первый раз в

этом краю? Да погоди-ка, брат, мы, кажется, с тобой старые знакомые. Не ты ли мне когда-то про Голубиную книгу рассказывал? Так, так, я тебя узнаю. Да ведь ты и Серебряного-то из тюрьмы увел. Как же это, божий человек, ты прозрел с того времени? Куда на богомолье ходил? К каким мощам прикладывался?

И, наслаждаясь замешательством Кольца, царь устремлял на него свой пронизательный, вопрошающий взгляд.

Кольцо опустил глаза в землю.

— Ну, — сказал наконец царь, — что было, то было; а что прошло, то травой поросло. Поведай мне только, зачем ты, после рязанского дела, не захотел принести мне повинной вместе с другими ворами?

— Великий государь, — ответил Кольцо, собирая все свое присутствие духа, — не заслужил я еще тогда твоей великой милости. Совестно мне было тебе на глаза показаться; а когда князь Никита Романыч повел к тебе товарищей, я вернулся опять на Волгу, к Ермаку Тимофеичу, не приведет ли бог какую новую службу тебе сослужить!

— А пока мою казну с судов воровал да послов моих кизилбашских на пути к Москве грабил?

Вид Ивана Васильевича был более насмешлив, чем грозен. Со времени дерзостной попытки Ванюхи Перстня, или Ивана Кольца, прошло семнадцать лет, а злопамятность царя не продолжалась так долго, когда она не была возбуждена прямым оскорблением его личного самолюбия.

Кольцо прочел на лице Иоанна одно желание посмеяться над его замешательством. Соображаясь с этим расположением, он потушил голову и погладил затылок, сдерживая на лукавых устах своих едва заметную улыбку.

— Всякого бывало, великий государь! — проговорил он вполголоса. — Виноваты перед твоєю царскою милостью!

— Добро! — сказал Иоанн, — вы с Ермаком свои вины загладили, и все прошлое теперь забыто; а кабы ты прежде попался мне в руки, ну, тогда не прогневайся!..

Кольцо не отвечал ничего, но подумал про себя: «Затем-то и тогда и не пошел к тебе с повинною, великий государь!»

— Погоди-ка, — продолжал Иоанн, — здесь должен быть твой приятель!

— Эй! — сказал он, обращаясь к царедворцам, — здесь ли тот разбойничий воевода, как бишь его? Микита Серебряный?

Говор пробежал по толпе, и в рядах сделалось движение, но никто не отвечал.

— Слышите? — повторил Иоанн, возвышая голос, — я спрашиваю, тут ли тот Микита, что отпросился к Жиздре с ворами служить?

На вторичный вопрос царя выступил из рядов один старый боярин, бывший когда-то воеводою в Калуге.

— Государь, — сказал он с низким поклоном, — того, о ком ты спрашиваешь, здесь нет. Он в тот самый год, как пришел на Жиздру, тому будет семнадцать лет, убит татарами, и вся его дружина вместе с ним полегла.

— Право? — сказал Иоанн, — а я и не знал! Ну, — продолжал он, обращаясь к Кольцу, — на нет и суда нет, а я хотел вас свести да посмотреть, как вы поцелуетесь!

На лице атамана выразилась печаль.

— Жаль тебе, что ли, товарища? — спросил Иоанн с усмешкой.

— Жаль, государь! — отвечал Кольцо, не боясь раздражить царя этим признанием.

— Да, — сказал царь презрительно, — так оно и должно быть; свой своему поневоле брат!

Вправду ли Иоанн не ведал о смерти Серебряного или притворился, что не ведает, чтоб этим показать, как мало он дорожит теми, кто не ищет его милости, бог весть! Если же в самом деле он только теперь узнал о его участи, то пожалел ли о нем или нет, это также трудно решить; только на лице Иоанна не написано сожаления. Он, по-видимому, остался так же равнодушен, как и до полученного им ответа.

— Поживи здесь, — сказал он Ивану Кольцу, — а когда придет время Болховскому выступать, иди с ним обратно в Югорскую землю... Да я было и забыл, что Болховской свое колено от Рюрика ведет. С этими вельможными князьями управиться нелегко; пожалуй, и со мной захотят в разрядах считаться! Не все они, как тот Микита, в станичники просятся. Так чтобы не показалось ему обидным быть под рукою казацкого атамана, жалую ныне

же Ермака князем Сибирским! Щелкалов, — сказал он стоявшему поодаль думному дьяку, — изготвь к Ермаку милостивую грамоту, чтобы воеводствовать ему надо всею землей Сибирскою, а Маметкула чтобы к Москве за крепким караулом прислал. Да кстати, напиши грамоту и Строгоновым, что жалую-де их за добрую службу и радение: Семену Большую и Малую Соль на Волге, а Никите и Максиму торговать во всех тамошних городах и острожках беспошлинно.

Строгоновы низко поклонились.

— Кто из вас, — спросил вдруг Иоанн, — излечил Бориса в ту пору, как я его осном поранил?

— То был мой старший брат, Григорий Аникин, — отвечал Семен Строгонов. — Он волею божьею прошлого года умре!

— Не Аникин, а Аникьевич, — сказал царь с ударением на последнем слогe, — я тогда же велел ему быть выше гостя и полным отчеством называться. И вам всем указываю писаться с *вичем* и зваться не гостями, а именитыми людьми!

Царь занялся рассмотрением мягкой рух-

ляди и прочих даров, присланных Ермаком, и отпустил Ивана Кольцо, сказав ему еще несколько милостивых насмешек.

За ним разошлось и все собрание.

В этот день Кольцо вместе с Строгоновыми обедал у Бориса Федоровича за многолюдным столом.

После обычного осушения кубков во здравие царя, царевича, всего царского дома и высокопреосвященного митрополита Годунов поднял золотую братину и предложил здорovie Ермака Тимофеевича и всех его добрых товарищей.

— Да живут они долго на славу Русской земли! — воскликнули все гости, вставая с мест и кланяясь Ивану Кольцу.

— Бьем тебе челом ото всего православно-го мира, — сказал Годунов с низким поклоном, — а в твоём лице и Ермаку Тимофеевичу, ото всех князей и бояр, ото всех торговых людей, ото всего люда русского! Приими ото всей земли великое челобитие, что сослужили вы ей службу великую!

— Да перейдут, — воскликнули гости, — да перейдут имена ваши к сыновьям, и ко вну-

кам, и к поздним потомкам, на вечную славу, на любовь и образец, на молитвы и поучение!

Атаман встал из-за стола, чтобы благодарить за честь, но выразительное лицо его внезапно изменилось от душевного волнения, губы задрожали, а на смелых глазах, быть может первый раз в жизни, навернулись слезы.

— Да живет Русская земля! — проговорил он тихо и, поклонившись на все стороны, сел опять на свое место, не прибавляя ни слова.

Годунов попросил атамана рассказать что-нибудь про свои похождения в Сибири, и Кольцо, умалчивая о себе, стал рассказывать с одушевлением про необыкновенную силу и храбрость Ермака, про его строгую справедливость и про христианскую доброту, с какою он всегда обходился с побежденными.

— На эту-то доброту, — заключил Кольцо, — Ермак Тимофеевич взял, пожалуй, еще более, чем на свою саблю. Какой острог или город ихний, бывало, ни завоюем, он тотчас всех там обласкает, да еще и одарит. А когда мы взяли Маметкула, так он уж не знал, как и честить его; с своих плеч шубу снял и надел

на царевича. И прошла про Ермака молва по всему краю, что под его руку сдаваться не тяжело; и много разных князьков тогда же сами к нему пришли и ясак принесли. Веселое нам было житье в Сибири, — продолжал атаман, — об одном только жалел я: что не было с нами князя Никиты Романыча Серебряного; и ему бы по сердцу пришлось, и нам вместе было бы моготнее. Ты, кажется, Борис Федорыч, был в дружбе с ним. Дозволь же теперь про его память выпить!

— Царствие ему небесное! — сказал со вздохом Годунов, которому ничего не стоило выказать участие к человеку, столь уважаемому его гостем. — Царствие ему небесное! — повторил он, наливая стопу, — часто я о нем вспоминаю!

— Вечная ему память! — сказал Кольцо, и, осушив свою стопу, он опустил голову и задумался.

Долго еще разговаривали за столом, а когда кончился обед, Годунов и тут никого не отпустил домой, но пригласил каждого сперва отдохнуть, а потом провести с ним весь день. Угощения следовали одно за другим, бе-

седа сменяла беседу, и только поздним вечером, когда объезжие головы уже несколько раз проехали по улицам, крича, чтобы гасили кормы и огни, гости разошлись, очарованные радушием Бориса Федоровича.

\* \* \*

Прошло более трех веков после описанных дел, и мало осталось на Руси воспоминаний того времени. Ходят еще в народе предания о славе, роскоши и жестокости грозного царя, поются еще кое-где песни про осуждение на смерть царевича, про нашествия татар на Москву и про покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем, которого изображения, вероятно, несходные, можно видеть доселе почти во всех избах сибирских; но в этих преданиях, песнях и рассказах — правда мешается с вымыслом, и они дают действительным событиям колеблющиеся очертания, показывая их как будто сквозь туман и дозволяя воображению восстанавливать по произволу эти неясные образы.

Правдивее говорят о наружной стороне того царствования некоторые уцелевшие здания, как церковь Василия Блаженного, коей

пестрые главы и узорные теремки могут дать понятие о причудливом зодчестве Иоаннова дворца в Александровой слободе; или церковь Трифона Напрудного, между Бутырскою и Крестовскою заставами, построенная сокольником Трифоном вследствие данного им обета и где доселе видно изображение святого угодника на белом коне, с кречетом на рукавице [6].

Слобода Александрова, после выезда из нее царя Ивана Васильевича, стояла в забвении, как мрачный памятник его гневной набожности, и оживилась только один раз, но и то на краткое время. В смутные годы самозванцев молодой полководец князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, в союзе с шведским генералом Делагарди, сосредоточил в ее крепких стенах свои воинские силы и заставил оттуда польского воеводу Сапегу снять долговременную осаду с Троицко-Сергиевской лавры.

Впоследствии, рассказывает предание, в одну жестокую зиму, в январе месяце, к ужасу жителей, нашла на Александрову слободу черная туча, спустилась над самым дворцом

и разразилась над ним громовым ударом, от которого запылали терема и вся Слобода обратилась в пепел. От жилища роскоши, разврата, убийств и святотатных богослужений не осталось и следа...

Да поможет бог и нам изгладить из сердец наших последние следы того страшного времени, влияние которого, как наследственная болезнь, еще долго потом переходило в жизнь нашу от поколения к поколению. Простим грешной тени царя Иоанна, ибо не он один несет ответственность за свое царствование; не он один создал свой произвол, и пытки, и казни, и наушничество, вошедшее в обязанность и в обычай. Эти возмутительные явления были подготовлены предыдущими временами, и земля, упавшая так низко, что могла смотреть на них без негодования, сама создала и усовершенствовала Иоанна, подобно тому как раболепные римляне времен упадка создавали Тивериев, Неронов и Калигул.

Лица, подобные Василию Блаженному, князю Репнину, Морозову или Серебряному, являлись нередко как светлые звезды на без-

отрадном небе нашей русской ночи, но, как и самые звезды, они были бессильны разогнать ее мрак, ибо светились отдельно и не были сплочены, ни поддерживаемы общественным мнением. Простим же грешной тени Ивана Васильевича, но помянем добром тех, которые, завися от него, устояли в добре, ибо тяжело не упасть в такое время, когда все понятия извращаются, когда низость называется добродетелью, предательство входит в закон, а самая честь и человеческое достоинство почитаются преступным нарушением долга! Мир праху вашему, люди честные! Платя дань веку, вы видели в Грозном проявление божьего гнева и сносили его терпеливо; но вы шли прямою дорогой, не бояся ни опалы, ни смерти; и жизнь ваша не прошла даром, ибо ничто на свете не пропадает, и каждое дело, и каждое слово, и каждая мысль вырастает, как древо; и многое доброе и злое, что как загадочное явление существует поныне в русской жизни, таит свои корни в глубоких и темных недрах минувшего.

*Конец 1840-х гг — 1861*

# Статьи

## Письмо к издателю

**В** настоящую минуту, когда в России кипят жизненные интересы, когда завязывается и разрешается столько общественных вопросов, — внимание публики к чистому искусству значительно охладело и предметы мышления, находящиеся вне жизни гражданской, занимают весьма немногих. Искусство уступило место административной полемике, и художник, не желающий подвергнуться порицанию, должен наряжаться публицистом, подобно тому как в эпохи политических переворотов люди, выходящие из домов своих, надевают кокарду торжествующей партии, чтобы пройти по улице безопасно. Мнение, что искусство без применения его к какой-нибудь гражданской цели — бесполезно и даже вредно, как занимающее в жизни напрасное место, сильно распространилось и находит себе много приверженцев.

Отдавая полную справедливость непосред-

ственным двигателям отечественного преобразования, ставя гражданскую деятельность весьма высоко, я не могу, однако, не упрекнуть врагов искусства в некоторой близорукости. Они как будто забыли, что брожение вопросов и интересов, которые так сильно и так справедливо занимают их, есть не что иное, как применение к жизни общих теоретических истин, не принадлежащих исключительно той или другой стране, тому или другому веку, но составляющих достояние всего человечества, в какие бы то ни было времена. Уяснение этих истин и приведение к общим законам есть задача философии, а облечение их в художественную форму — задача искусства. Отвергать искусство или философию во имя непосредственной гражданской пользы все равно, что не хотеть заниматься механикой, чтоб иметь более времени строить мельницы. Dièse Herren, как выражаются немцы, seher von lauter Bâumen den Wald nicht[7]. А по-русски это называется: слона-то я и не приметил.

Велика заслуга гражданина, который путем разумных учреждений возводит государ-

ство на более высокую степень законности и свободы. Но свобода и законность, чтобы быть прочными, должны опираться на внутреннее сознание народа; а оно зависит не от законодательных или административных мер, но от тех духовных стремлений, которые вне всяких материальных побуждений. Удовлетворение этих стремлений столь же важно для духовной стороны человека (без которой никакое общество немыслимо), сколько важны для его физической стороны воздух, пища, одежда и пр. Стремления эти проявляются в безотчетном чувстве прекрасного и нераздельны с любовью к искусству для искусства. Чувство прекрасного в большей или меньшей степени врождено всякому народу, и хотя может быть заглушено и подавлено в нем внешними обстоятельствами, но не иначе как в ущерб его нравственному совершенству. Чувство это так тонко и нежно, что легко улетучивается. Оно проявляется только в народе, достигшем известной степени нравственной развитости; но в этом-то и признак его превосходства над материальной стороной человека. Тот народ, в котором оно разви-

то сильно и полно, в котором оно составляет потребность жизни, тот народ не может не иметь вместе с ним и чувства законности, и чувства свободы. Он уже готов к жизни гражданской, и законодателю остается только облечь в форму и освятить уже существующие элементы гражданственности. Пример народов, не имеющих большого художественного смысла, не опровергает этой истины. Гражданственность может существовать без чувства прекрасного, но чувство прекрасного, в своем полном развитии, не может проявляться без чувства свободы и законности. В Италии гражданственность и искусство жили и умерли вместе и, вероятно, вместе воскреснут.

Не признавать в человеке чувства прекрасного, находить это чувство роскошью, хотеть убить его и работать только для материального благосостояния человека — значит отнимать у него его лучшую половину, значит низводить его на степень счастливого животного, которому хорошо, потому что его не бьют и сытно кормят. Художественность в народе не только не мешает его граждан-

ственности, но служит ей лучшим союзником. Эти два чувства должны жить рука об руку и помогать одно другому. Их можно сравнить с двумя колоннами храма или с двумя колесами, на которых движется государственная колесница. Храм об одной колонне непрочен; колесница об одном колесе тащится на боку. Вот, однако, к чему клонится в своем дальнейшем развитии учение о бесполезности чистого искусства. Учение это в последнее время действовало, к сожалению, довольно успешно. В самом деле, наше общество уже мало сочувствует художеству. В литературе оно интересуется только тем, что прямо или косвенно затрагивает его непосредственные жизненные интересы, оставляя без внимания вопросы общие и чисто человеческие.

При таких невыгодных обстоятельствах писатель, посвятивший себя искусству для искусства, должен опасаться от большинства публики холодной или неприязненной встречи. Таково было и мое положение, когда я решил выступить перед публикой с драматической поэмой «Дон Жуан», напечатанною в апрельской книге «Русского вестника». Остав-

для совершенно в стороне достоинство этой поэмы, которая, быть может, мне и не удалась и которой, во всяком случае, я не судья, скажу только, что смысл ее был общечеловеческий, а содержание не только <не> относилось к современным вопросам, но вращалось именно на любви к прекрасному безо всякого применения к пользе. Это был случайный и невольный протест против практического направления нашей беллетристики. Мне неизвестно, как вообще поэма была принята публикой, но я слышал, что в одном кругу ее даже почли с моей стороны за неучтивость. «Что, мол, когда дело идет о мировых посредниках, он пришел толковать нам о каком-то испанце, который, может быть, никогда и не существовал?»

У тех, которые это говорят, я прошу прощения и становлюсь под покровительство тех, которые еще сочувствуют искусству для искусства. Если «Дон Жуан» доставил им хотя малую долю художественного удовольствия, если возбудил в них какую-нибудь новую мысль или родил в них какое-нибудь новое чувство, это послужит для меня большим уте-

шением, ибо я не могу сказать, как Гёте: «Das Lied, das aus der Kehle dringt, ist Lohn der reichlich lohnet»[8]. Я даже сомневаюсь в совершенной искренности Гёте, когда он это сказал. По моему мнению, ни самый Гёте, ни Данте, ни Байрон не продолжали бы петь, если б их постигла участь Робинсона и пришлось бы им жить на необитаемом острове. Для художника необходима среда, в которой отражалась бы его мысль; иначе он будет как свеча, горящая в пространстве и которой лучи но во что не упираются. Но если хотя несколько человек склоняют свои слух к песне певца, тогда он поет не даром и получает от слушателей своих новые силы. Да простят же меня враги чистого искусства, если, имея в виду немногих друзей его, я после напечатания моей поэмы старался, по крайнему разумению, ее усовершенствовать и исправить. Некоторые сцены показались мне не довольно ясными, особенно сцена Сатаны и духов на кладбище, составляющая как бы узел драмы. Большую часть этой сцены я переделал совершенно и покорнейше прошу вас, м. г., если найдете возможным, поместить ее в новом

виде в вашем журнале. Не знаю, скажет ли критика что-нибудь о произведении несовременном и *антипрактическом*, но не могу устоять против соблазнительного случая оправдаться теперь же перед некоторыми лицами, коих суждения мне сделались известны и могут быть разделяемы другими. Меня обвиняют в подражании «Фаусту». Положа руку на сердце, скажу, что такое обвинение, относящееся, впрочем, до одного пролога, мне не кажется основательным. Не говоря уже о том, что попытка подражать созданию, получившему известность и значение всемирные, была бы бесполезною дерзостью и обнаружила бы не только неуважение к образцу, но и неуважение к самому искусству, я замечу, что обвинение, падая на сходство внешней формы обоих прологов, по мнению моему, не довольно серьезно. В «Дон Жуане», как и в «Фаусте», выведены на сцену злой дух и добрые духи; но говорят они совершенно другое. Значение пролога «Фауста» — это *борьба в человеке* света и тьмы, добра и зла. Значение пролога «Дон Жуана» — *необходимость* зла, истекающая *органически* из существования добра.

Самая форма фаустовского пролога не принадлежит Гёте исключительно, но заимствована из средневековых мистерий и потому есть достояние всех писателей. Если б основывать обвинение в подражании на тождественности действующих лиц, в таком случае «Дон Жуан» есть еще более подражание Тирсо де Молина, Мольеру, Байрону, Пушкину, и, наконец, всего более аббату Да-Понте, сочинителю либретто моцартовской оперы. Но не одна тождественность лиц навлекла на меня порицание. Те же, впрочем, благоволительные, обвинители находят, что Сатана говорит у меня языком Мефистофеля. Это совершенная правда. Черт есть черт. Он может говорить только на два лада: или возвышенно, как Сатана Мильтона и Луцифер Байрона, или обыденно и тривьяльно, как гётевский Мефистофель. Середина была бы бесхарактерностию. По моему же мнению, так как злое начало есть противоположность доброго, то и язык ему лучше дать противоположный языку доброго начала. Это побудило меня избрать для Сатаны не возвышенность, но иронию и тривиальность, и с *этой стороны* он

сделался похож на Мефистофеля, как был бы похож на Луцифера, если бы говорил возвышенно. Главное, что Мефистофель и Сатана говорят совершенно другое и действуют совершенно иначе. Они даже по характеру несхожи. Мефистофель ближе к человеку; он есть более личность; он, но ясно выраженному намерению Гёте, есть черт чисто земной, черт 14-го класса:

*Von Sonn' und Welten weiss' ich  
nichts zu sagen,  
Ich sehe nur wie sich die Menschen  
plagen[9].*

Сатана же в «Дон Жуане» есть более отвлеченное понятие зла. Миросозерцание их также различно. Мне кажется, что, кроме наружной формы речи, в них нет ничего общего.

Что же касается до содержания самой драмы, то я полагаю, что упрек в подражании собственно к нему не относится. Стремление Фауста заключается в жажде бесконечности и проявляется особенно ненасытностью знания. Дон Жуан стремится только к прекрасному, которое есть лишь один из видов беско-

нечности, и сосредоточивает свое стремление в любви к женщине. Окончательная и недостижимая цель обоих есть — совершенство; но пути, которыми они идут, столь различны и рождают столь различные психические положения, что всякое заимствование делается невозможным.

Предлагаемая здесь сцена, как развитие идеи пролога, может, надеюсь, способствовать к моему оправданию и очистит меня от подозрения в святотатном посягательстве на великое создание Гёте.

1862

# Проект постановки на сцену трагедии «Смерть Иоанна Грозного»

## Предисловие

Готовясь поставить на сцену трагедию «Смерть Иоанна Грозного», я считаю необходимым изложить для руководства художников, которые её исполнят, как общую идею этой трагедии, так и все её характеры, в том смысле, как я понимаю то и другое. Верное определение идеи уяснит каждому исполнителю степень важности занимаемого им места и те пределы яркости, через которые он не должен переступить под опасением нарушить гармонию целого.

Верное понимание отдельных характеров будет иметь следствием возможное совершенство игры, что самое облегчит зрителю понимание общей идеи. Тогда только возникнет перед публикою цельное и осмысленное создание, где не только ни один из исполнителей не понесёт ущерба в своих правах, но где каждому без исключения представится случай показать себя настолько великим художником, насколько он будет способство-

вать к единству и гармонии целого.

## **Общая идея трагедии**

**О**бщая идея трагедии очень проста. Иоанн, властолюбивый от природы, испорченный лестью окружающих его царедворцев и привычкой к неограниченной власти, сверх того раздражён случившимися в его детстве попытками некоторых бояр завладеть им как орудием для своего честолюбия. С тех пор он видит врагов во всех, кто стоит выше обыкновенного уровня, всё равно чем: рождением ли, заслугами ли, общим ли уважением народа. Ревнивая подозрительность и необузданная страстность Иоанна побуждают его ломать и истреблять всё, что кажется ему препятствием, всё, что может, по его мнению, нанести ущерб его власти, сохранение и усиление которой есть цель его жизни.

Таким образом, служа одной исключительной идее, губя всё, что имеет тень оппозиции или тень превосходства, что, по его мнению, одно и то же, он под конец своей жизни остаётся один, без помощников, посреди расстроенного государства, разбитый и униженный врагом своим, Баторием, и умирает, не унося

с собою даже утешения, что наследник его, слабоумный Фёдор, сумеет достойно бороться с завещанными ему опасностями, с бедствиями, вызванными и накликаемыми на землю самим Иоанном чрез те самые меры, которыми он мечтал возвысить и утвердить свой престол.

Бояре, с своей стороны, думавшие только о своих личных выгодах, пренебрегавшие благом всей земли для достижения мелких, честолюбивых целей, раболепные перед Иоанном, но разъединённые между собою, интригующие друг против друга, бояре, из которых каждый надеялся по смерти самодержца наследовать частью его власти, — видят себя, вследствие своего эгоизма и распада, в руках и под полной зависимостью гениально-честолюбца, который при жизни Иоанна умел незаметно их опутать и проложить себе путь для собственного возвышения.

В этой трагедии все виноваты и все наказаны, не какую-нибудь властью, поражающею их извне, но силою вещей, результатом, истекающим с логическою необходимостью из образа действий каждого, подобно тому как из

зерна образуется растение и приносит свой собственный плод, себе одному свойственный.

Торжествуют один Годунов и клевет его Битяговский, но зритель предчувствует, что и им также придётся пожать плоды посеянного ими семени.

### **Необходимое условие успеха на сцене**

Если кто-нибудь из художников наших театров понимает Иоанна иначе, чем я, то он не должен своего личного взгляда вносить в исполнение. Его дело быть истолкователем поэта, и для этого ему предоставлено широкое поприще.

Поэт же имеет только одну обязанность: быть верным самому себе и создавать характеры так, чтобы они сами себе не противоречили; *человеческая правда* — вот его закон; *исторической правдой* он не связан. Укладывается она в его драму — тем лучше; не укладывается — он обходится и без неё. До какой степени он может пользоваться этим правом, признаваемым за ним всеми эстетическими критиками, начиная от Аристотеля до Рётчера и Белинского, это дело его совести и его по-

этического такта. На сценических же исполнителях лежит обязанность проникнуться духом характеров, как понимал их поэт, написавший драму, хотя бы другие поэты, или даже историки, понимали их иначе. Только полное согласие исполнителей и поэта упрочивает художественный успех представления; антагонизм их ведёт неминуемо к ослаблению или запутанности впечатления, а затем и к падению пьесы.

Приступим теперь к объяснению характеров, сперва мужских, потом женских, и начнём с Иоанна.

## Характеры Иоанн

Он является в драме в последний год своей жизни, весь сгоревший в страстях, истёрзанный угрызениями совести, униженный победами Батория, но не исправленный несчастием и готовый при первом благоприятном обороте дел воспрянуть с прежнею энергиею и снова начать дело всей своей жизни, *дело великой крови и великого поту*, борьбу со мнимой оппозицией, которой давно не существует. После безграничного само-

властия вторая черта в Иоанне — это страстность и впечатлительность. Весьма ошибся бы сценический художник, который, передавая его выходки раскаянья, его желание оставить свет, его самоунижение, вложил бы в свою роль хотя лёгкий оттенок притворства. Иоанн слишком страстен и слишком проникнут божественностью своих прав, он слишком презирает людей, чтобы низойти до притворства с ними. Он всегда искренен и чистосердечен, но он не может долго оставаться под одним впечатлением. Он жесток по природе и по системе; он не для того только губит, чтобы губить; он губит с политической целью, но пользуется случаем, чтобы потешить свою жестокость. Он чрезвычайно умен и проницателен, и, если бы природные его способности не были затемнены постоянною мыслию об измене, которая сделалась его хроническою болезнью, он был бы великим государём. Эта боязнь измены, это беспокойное охранение своей власти, которую никто у него не оспаривает, эта злопамятная подозрительность ко всему, что превышает обыкновенный уровень, — составляет третью глав-

ную черту его характера.

Он также чистосердечно религиозен, но религиозен по-своему. Он служит богу, как бояре служат ему: по страху наказания и в надежде награды. Он хочет купить царствие небесное вкладами, синодиками, земными поклонами и постом, и как в нём нет ничего мелкого, то он щедро сыплет вкладами и поклонами и изнуряет себя постом до полусмерти, пока другое впечатление не заменит первого.

Эта искренность Иоанна во всех проявлениях его характера есть единственная сторона, которая примиряет с ним зрителя, и поэтому исполнитель должен всегда иметь её в виду. Он должен показать, что Иоанн не простой злодей или сумасшедший, как какой-нибудь Нерон, но что у него есть цель, что он даже хочет блага России, разумеется по-своему, т. е. первым благом России считает безграничное увеличение произвола для себя и для своих наследников. Он верит своему призванию и своей непогрешимости в делах правления; он проникнут мыслию, что может ошибаться и грешить как человек, но как царь

никогда! Художник, который возьмёт на себя роль Иоанна, должен возбудить в зрителе впечатление, что Иоанн глубоко несчастен; что если он предавался разврату, то разврат его не удовлетворял, а только заглушал в нём на время его душевные страдания; что если Иоанн палач России, то он вместе с тем и свой собственный палач; наконец, художник, играющий Иоанна, должен, среди самых безумных проявлений этого характера, давать просвечивать тем качествам, которые могли бы сделать из него великого человека, если бы не были подавлены страстями, раболепством его окружающих и раннею привычкою к неограниченной власти. Качества эти: глубокий государственный ум, неутомимая деятельность, необыкновенная энергия, страшная сила воли и полная искренность в убеждениях. Но всё это испорчено, помрачено, подточено в корне пороками и произволом, и ничего не идёт ему впрок.

В роле Иоанна есть три главных вида. Сначала он является мучимый угрызениями совести вследствие убиения своего старшего сына. Он хочет оставить свет и уступить свой

престол другому. Он согбен и подавлен, но он не окончательно сломан. Решимость его удалиться от царства есть добровольная. В этой решимости он ещё выказывает собственную волю, которой земля должна подчиниться. Он знает, что от него зависит переменить своё намерение, когда ему вздумается, и в этой уверенности есть для него нечто утешительное. Это своего рода удовлетворение произвола, своего рода наслаждение властью.

Второй вид — это пробуждение Иоанна к жизни и к жажде государственной деятельности вследствие благоприятного известия об отбитии Баториева приступа ко Пскову.

С этой минуты забыты все угрызения; он сожалеет о своём желании оставить свет, и горе боярам, которые, по его приказанию, дерзнули бы выбрать другого царя! Бранное письмо Курбского разжигает в нём ещё более сознание силы и жажду власти, которую он чуть было не выпустил из рук. Он принимает прошение бояр остаться на престоле как должную дань, и с этого времени его высокомерие, его самоуверенность, его ничем не удержимый произвол растут с усугублённою

силой до той минуты, когда он, ослеплённый удачею, оскорбляет Гарабурду и узнает от него, что войска его разбиты и что шведы идут на Новгород.

Здесь наступает третий вид. Бедствия за бедствиями обрушаются на Иоанна. Баторий, шведы, татары, черемисы — всё идёт на него. Дурные известия приходят одно за другим, и на небе является комета как знаменье божьего гнева. Иоанн понимает, что его звезда зашла навсегда, что ему теперь уже не подняться. Теперь он сломан окончательно. Силы его упали, энергия его оставила, он ожидает смерти, он хочет примириться с богом. Но он не забыл, что он царь, что на нём лежит до конца ответственность за государство; он, среди самого страха загробных возмездий, даёт наставления сыну и делает распоряжения о заключении мира с Баторием.

В этом месте роли Иоанна есть для сценического художника интересная и благодарная задача.

Он должен показать, как в этом характере перепутываются чувство высоких обязанностей, сознание сделанных ошибок и раская-

ные в бесполезных преступлениях с закоренелою привычкою не знать ничего, кроме своего произвола, и не терпеть противоречия ни в чём и ни от кого. Иоанн искренно хочет спасти Россию, но он до конца проникнут мыслию, что она, дарованная ему в собственность божьею милостью, не что, как материал, из которого он может делать, что ему угодно; он убеждён, что Россия есть тело, а он душа этого тела и потому вправе оторвать от России часть, как вправе отрезать у себя палец. Его уступки Баторию кажутся ему государственною необходимостью; но, рядом с этим, он, считая себя тождественным с Россией, приносит её в жертву для искупления своих грехов, как не усомнился бы принести в жертву своё тело для спасения души.

В этом Иоанн совершенно наивен, и художник, его представляющий, должен играть так, чтобы зритель, осуждая Иоанна, вместе с тем ощущал к нему сожаление.

Новое пробуждение Иоанна к энергии, являющееся в пятом действии вследствие улучшения его здоровья, в тот самый день, когда ему предсказана смерть, — есть только искус-

ственное. Иоанн сам не уверен, что он спасён; он только старается себя в этом уверить.

Тут опять художнику представляется случай выказать своё понимание характера в полной силе. Настал тот день, которого Иоанн ожидал с трепетом, к которому готовился с той минуты, когда волхвы предсказали ему смерть. К его удивлению, к его радости, ему в этот день лучше. Мысль, что волхвы ошиблись, которая, как слабая надежда, мелькала иногда перед ним, но на которой он не смел остановиться, теперь принимает значение вероятности. Иоанн, с свойственной ему страстностью, хватается за эту мысль и, в противоположность слабым характерам, боящимся сглазить то, чего они желают, предаётся надежде, которую тотчас же облекает в форму полной уверенности, потому что вообще половинные или неполные ощущения ему несносны. Он объявляет, что снова принял отменённое им недавно намерение жениться на Марии Гастингс, велит себя нести в палату, где собраны его сокровища, и выбирает подарки для невесты. Он кажется спокоен и даже весел, но, вопреки его желанию считать

себя выздоровевшим, предсказание волхвов беспрестанно приходит ему на ум и тревожит его. Кириллин день ещё не прошёл! Он это знает, он знает также, что царедворцы смотрят на него с недоумением, и он подозрительно прислушивается к их разговорам. Каждое слово, каждое движение кажется ему намёком на его близкую смерть, и он, в нетерпении, прежде окончания дня, посылает Годунова объявить казнь волхвам, как бы для того, чтобы убедить самого себя в лживости их предсказания и сделать эту лживость неисправимою. «Царь приказал казнить волхвов; царь ошибиться не может; стало быть, волхвы виноваты; стало быть, они солгали». Так точно Иоанн, в конце третьего действия, услышав, что войска его разбиты, приказывает служить победные молебны, как бы для того, чтобы этою мерою обратить в ложь известие, привезённое гонцами. Между тем, лишь только Годунов ушёл, беспокойство Иоанна увеличивается. Он хочет, чтобы царедворцы подтвердили ему, что предсказание было ложно, он требует от них поддакивания своим словам. Он насмехается над волхвами и

говорит утвердительно, что никто не может сказать вперёд, ни когда, ни как он умрёт, но тотчас же сам себе противоречит, объявляя, что он проживёт довольно лет, чтобы устроить царство, а умрёт, окружённый святым синклитом и напутствуемый молитвами митрополита. Это противоречие Иоанн должен высказать как будто под невольным влиянием роковой силы, которая обращает в насмешку над ним самим только что им сказанное. Играющий его роль должен обдумать это место и выставить его так, чтобы оно поразило зрителя.

Дабы дать мыслям Иоанна другое направление, Бельский привлекает внимание его на шахматы. Хитрость удалась, и Иоанн начинает играть с Бельским. Но он играет рассеянно; он судорожно подвигает фигуры и время от времени смотрит на дверь, ожидая возвращения Годунова. Во всех его шутках проглядывает теперь принуждённость, и надо полагать, что Бельский нарочно даёт ему себя обыгрывать. Наконец Годунов возвращается и не приметно становится напротив Иоанна в то время, как глаза последнего опущены на шахмат-

ную доску. Но Иоанн магнетически почувствовал его присутствие и поднял голову. Глаза их встретились, и, прежде чем Годунов открыл рот, Иоанн уже понял, в чём дело. Он понял, что ответ Годунова недобрый, понял также, с каким намерением Годунов готовится к этому ответу.

Здесь представляется художнику случай выразить немою игрой всё, что происходит в сердце Иоанна.

Услыша свой приговор, он, верный своему характеру, предаётся порыву гнева, но с гневом смешан ужас смерти и ужас Годунова, которого он узнаёт только в эту последнюю минуту. Как истинный царь, он и теперь не забывает о государстве, но зовёт своего наследника, чтобы предостеречь его от Годунова. Напрасно! Час его пробил, и он падает навзничь, сражённый нервическим ударом, не успев распорядиться об устранении того, которого слушаться он сам велел своему сыну. Фёдор и вся Россия будут в руках его убийцы. Лёжа на полу, поддерживаемый Шуйским, Иоанн ещё раз открывает глаза и зовёт духовника. Наместо его вбегают скоморохи. Здесь

предстоит художнику выразить немою игрой, как Иоанн объясняет себе появление в его смертный час этих безобразных, кривляющихся существ и какой смысл его совесть может придать их бессмысленной песне.

Предостерегаю художника в одном. Он не должен хотеть развивать эту сцену; довольно одного намёка. Ужас в лице Иоанна, отчаянное движение назад и вытаращенные глаза, которые, прежде чем закрыться навеки, вперяются в скоморохов, достаточно объяснят зрителю, за кого он их принимает.

Остаётся сказать несколько слов о наружной стороне этой роли. Иоанн был высок, строен, имел орлиный нос, пронизательные глаза, чувственные губы с опущенными краями, русые волосы и русую бороду. Но в последние годы его жизни стан его согнулся и волосы и борода почти вылезли. Когда он является в драме, ему пятьдесят четыре года, но он кажется гораздо старше. Представить его на сцене плешивым и безбородым было бы не художественно. Достаточно дать ему редкие волосы и бороду, расположенную сивыми ключьями. Приёмы Иоанна всегда важны и

благородны. Он никогда не перестаёт быть царём, даже когда стоит на коленях перед боярами и просит у них прощения. На лице его написано глубокое убеждение в своём призвании и в своих божественных правах. Речь его отзывается презрением к людям. Глаза смотрят то гордо, то подозрительно и всегда готовы вспыхнуть. Движения, обыкновенно спокойные, делаются судорожными в минуту душевных волнений. Вся его наружность должна производить впечатление, что он истёрзан страстями, которых никогда не умел и не хотел обуздывать.

Задача сценического художника — разыграть всю гамму самых противоположных состояний души, начиная от иронии до отчаянья, и мотивируя каждое из них искусными переходами, так чтобы зритель сказал: иначе и быть не могло!

У нас нет удовлетворительных портретов Иоанна.

Что касается до его одежды, её можно найти в «Собрании русских древностей» Солнцева. В первом действии он является сперва в шёлковом домашнем кафтане, сверх которого

надета простая чёрная ряса. Голова открыта. Потом, сверх того же кафтана, он, вместо рясы, надевает всем известное царское облачение. Во втором действии на нём может быть другой кафтан, опашень и колпак. В третьем действии, в сцене с царицей, на нём опять домашний шёлковый кафтан; в сцене же с Гарабурдой опять царское облачение. В четвёртом действии он входит в комнату в шубе и меховой шапке потому, что возвращается с Красного крыльца, с которого он наблюдал комету. Шубу он скидает и остаётся в домашнем кафтане, но уже не шёлковом, а бархатном. Шапка ни в каком случае не должна на нём быть высокая, в каких обыкновенно во все эпохи являются у нас на сцене бояре. Таких шапок при Иоанне не носили. Его шапка, как и все тогдашние шапки, низкая, круглая и мягкая, с меховой опушкой, какую мы видим у Герберштейна на портрете Василья Иоанновича, отца Иоанна Грозного. В пятом действии он в халате и в колпаке, который может снять или оставить на голове, по произволу. На руках у него всегда кольца и перстни с дорогими камнями. Сапоги его жёлтые,

зелёные или красные, смотря по большей или меньшей нарядности остального костюма. Посох, вроде теперешних поповских, но с историческим железным остриём, у него всегда или в руке, или под рукою, исключая первой сцены, где он удалил его как орудие смерти своего сына, в которой он в эту минуту раскаивается.

## Годунов

Роль не менее важная Иоанновой — есть роль Годунова. Постараемся рассмотреть и объяснить её, как она понята в трагедии. По праву драматурга я сжал в небольшое пространство несколько периодов жизни этого лица, которых историческое развитие требовало гораздо дольшего времени.

По тому же праву я позволил себе здесь, равно как и в роле Иоанна, отступить от истории везде, где того требовали выгоды трагедии.

Годунов есть во многих отношениях противоположность Иоанна. Энергия и сила у них одни, ум Годунова равняется уму Иоанна. Но насколько Иоанн раб своих страстей, настолько Годунов всегда господин над самим

собою, и это качество даёт ему огромный перевес над Иоанном.

Честолюбие Годунова столь же неограниченно, как властолюбие Иоанна, но с ним соединено искреннее желание добра, и Годунов добивается власти с твёрдым намерением воспользоваться ею ко благу земли. Эта любовь к добру не есть, впрочем, идеальная, и Годунов сам себя обманывает, если он думает, что любит добро для добра. Он любит его потому, что светлый и здоровый ум его показывает ему добро как первое условие благоустройства земли, которое одно составляет его страсть, к которому он чувствует такое же призвание, как великий виртуоз к музыке.

Годунов страдает, глядя на заблуждения, на произвол, на жестокость Иоанна потому, что видит во всем этом государственные ошибки. Он, как гениальный анатом, присутствующий при трудной операции, негодует на хирурга, заставляющего бесполезно страдать своего пациента, и хотел бы вырвать у него инструмент, чтобы самому приступить к операции, не потому, что ему жалко пациента, а потому, что он боготворит свою науку и

не терпит на неё посягательств. Годунов, в начале своей драмы, способен пожертвовать своими личными интересами для блага государства, но пожертвовать ими только временно, то есть добровольно замедлить своё возвышение; совершенно же уничтожиться он неспособен; тогда как Иоанн (не исторический, а мой Иоанн), если бы ему сказали, что, сойдя с престола, он может упрочить за своими наследниками положение богов на земле, был бы в состоянии принести эту жертву, которую, вероятно, не выдержал бы, но на которую бы решился с увлечением и искренностью, свойственными его характеру. В этом отношении он стоит выше Годунова. В начале трагедии Годунов ещё не переступил за черту, за которую он делается безусловным честолюбцем. Участие его в России равносильно его желанию возвыситься. В первом действии он говорит в пользу Иоанна потому, что в самом деле считает удержание его на престоле условием спасения земли. Во втором он видит, что Иоанн может своим разводом с царицей восстановить против себя духовенство и повредить своей популярности. По соб-

ственному побуждению и под впечатлением своего разговора с Захарьиным он высказывает Иоанну свои опасения. Он решается, для блага земли, удержать его от развода, несмотря на то, что он этим спасает своих врагов, Нагих, которые, как братья царицы, потеряли бы всякое значение, когда бы царь взял другую жену. Иоанн с оскорбительною насмешкой отвергает его предостережение. Тогда Годунов отказывается навсегда от всякой попытки действовать прямо и начинает тот знаменитый окольный путь, который со временем приведёт его к престолу. Но пока о престоле нет ещё и помину. Честолюбие Годунова ещё не представляет ему другой цели, как упрочить себе влияние на Иоанна и быть первым боярином в Думе.

Чрез своих лазутчиков Годунов узнал все подробности существующего против него заговора. Он идёт к Шуйскому, застаёт своих врагов врасплох и одним взглядом узнает Битяговского, долженствующего служить им орудием. Гости Шуйского уходят в замешательстве, он остаётся с хозяином и ведёт с ним незначительный разговор, чтобы про-

длить время, пока, по его распоряжению, слуга Шуйского, давно уже им купленный, придёт вызвать своего господина и оставит Годунова глаз на глаз с Битяговским. Чтобы показать зрителю, что этот вызов подготовлен заранее, Годунов, разговаривая с Шуйским, должен иногда оборачиваться на дверь, как будто кого-то поджидая. Вообще как в этом месте, так и в других сценический художник должен пополнять немою игрой то, что автор не мог высказать, не расширив условленных пределов драмы.

По уходе Шуйского Годунов легко подчиняет себе Битяговского и с этой минуты растёт до конца. В третьем действии роль его не представляет больших затруднений. Он докладывает Иоанну о своих переговорах с послами, а после приёма Гарабурды вбегает в престольную палату с известием о поражении наших войск.

Четвёртое действие самое трудное для художника. В нём Годунов постоянно на сцене, но почти вовсе не говорит. Он только читает Иоанну синодик, докладывает в двух словах содержание грамот из Серпухова и из Казани,

а в конце акта, подхватывая шатающегося Иоанна, восклицает: «Государю дурно! Позвать врачей!» С первого взгляда казалось бы, что автор в этом действии вовсе забыл о роли Годунова, но он нигде не предоставил художнику такого широкого поля для игры, как именно здесь. Один из лучших немецких актёров, дрезденский артист Квантер (который теперь сошёл со сцены), готовился играть эту роль по превосходному переводу г-жи Павловой и более всего рассчитывал для своего успеха на четвёртое действие. В самом деле, Годунов, хотя без слов, играет здесь от начала до конца, и художник, взявший его роль, не будучи ни в чём стеснён автором, может воспроизводить по своему личному воззрению все рефлексy, которые отражаются на Годунове многочисленными и разнообразными событиями этого действия.

Годунов, в числе прочих бояр сопровождавший Иоанна на Красное крыльцо, откуда больной царь наблюдал комету, возвращается с ним вместе в палату и поддерживает его.

Что выражает теперь лицо Годунова?

Царь ещё не объявил заключение, которое

он вывел из своих наблюдений, но пронизательный Годунов, умеющий читать в его чертах, уже догадался, что настала минута решительная. Он весь превратился в ожидание, которое старается скрыть от Иоанна. К счастью, царь слишком занят своими мыслями, чтобы обратить на него внимание. Он объявляет присутствующим о своей близкой смерти. Фёдор падает на колени, женщины поднимают вопль, бояре пугаются. Как держит себя в это время Годунов? Это минута опасная. Всякая неловкость может раздражить Иоанна. Недаром он прикрикнул на женщин и на сына. Годунов должен найти середину между явным выказываньем скорби, которое может показаться Иоанну навязчивым, и излишнею сдержанностью, которая может навлечь на него подозрение в равнодушии. Истинный художник найдёт эту середину. Годунов должен держать себя так, чтобы Иоанн заметил и мнимую его скорбь и благоговение, мешающее её высказать. Вместе с тем Годунов не должен играть свою комедию слишком ярко, иначе он покажется отвратительным зрителю. Следуют сцена с доктором и сцена с волх-

вами. К обоим Годунов относится как тайный наблюдатель. Приказание Иоанна принести синодик выводит его на время из напряжённого положения. Он читает синодик с покорностью, подобающей слуге, не имеющему своей воли. Чтение прерывается дворецким Александровой слободы, привёзшим известие о сожжении Иоаннова дворца грозой. Царь, в припадке угрызений и ужаса, просит на коленях прощения у бояр. Здесь Годунов не только не суётся вперёд, но с дипломатическим благоразумием становится позади других, дабы царь его не заметил. Неловкая выходка Шуйского спасает Годунова от личного обращения к нему Иоанна, которое этот вряд ли простил бы ему, если б впоследствии выздоровел. Следуют наставления царевичу, известия о хане и о черемисах и, наконец, доклад о приходе схимника, после чего Годунов удаляется из палаты вместе с другими. Когда все, кроме женщин, возвращаются, Иоанн заставляет Годунова вместе с Захарьиным, Мстиславским и Бельским целовать крест в верности Фёдору. Затем он приказывает унижительное посольство к Баторию. Приказ этот про-

буждает в боярах столь долго дремавшее чувство чести. Они протестуют и наперерыв предлагают Иоанну свою кровь и своё имущество, чтобы он не уступал врагам русских городов. Годунов в это время, один между всеми, — молчит. И молчание это выказывает его характер красноречивее всяких слов. Заявление патриотизма было бы теперь оппозицией, а Годунов не может быть в оппозиции. И он прав; сопротивление ни к чему не послужит; Иоанн ссылкой на Святое писание и на божественность своих прав убьёт боярский патриотизм, как будто бы его и не бывало, а Годунов выждет время и найдёт случай иначе парализовать царскую волю. Постыдное посольство отправится в путь, но будет остановлено и вернётся с дороги. Решившись на неслыханное унижение и подавив сопротивление бояр, Иоанн шатается и готов упасть. Здесь место Годунову быть впереди всех. Он, а не кто другой, подхватывает Иоанна и зовёт врачей ему на помощь. Таким образом, играющий Годунова не остаётся празден ни на одну минуту во всё продолжение четвертого действия. Он обдумает заранее, как ему войти,

где ему стать, на какую сторону перейти, когда выступить вперёд и когда ступешаться с толпою. Он взвесит заранее каждое своё движение, каждое изменение своего лица и не забудет, что каждое из них знаменательно, потому что зритель не спускает с него глаз и делит своё участие между ним и Иоанном. Если же играющий Годунова даровит, он найдёт тысячу оттенков, которых невозможно предвидеть и на которые я мог только намекнуть. Само собой разумеется, что в этом действии первая роль принадлежит Иоанну и что Годунов не должен отвлекать от него внимание. У Годунова есть другие акты, где он стоит на первом плане, и ему принадлежит конец трагедии. Здесь же он особенно должен быть замечен своею преднамеренною незаметностью.

Пятый акт открывается разговором Годунова с царевичем. Кириллин день настал, будущий царь уже весь в руках Годунова. Но чем выше восходит Годунов, тем выше он жаждет подняться. Ему уже не довольно сделаться правителем государства; он сожалеет, что не рождён на престоле. Это первое место

в трагедии, где Годунов выказывает всю глубину своего честолюбия. Оно должно сделать на зрителя впечатление бессознательности. Годунов не часто бывает так откровенен, но здесь он у себя, дома, без свидетелей, он уверен в жене и может наконец перестать наблюдать над собою. Человеческие отношения его к жене служат, между прочим, и контрастом отношений Иоанна к царице. Они должны также примирить зрителя с постоянной скрытностью Годунова, которая иначе могла бы сделаться утомительною. Здесь он должен быть прост и естествен. По уходе жены он впускает волхвов, и в разговоре его с ними сквозит досада, что здоровье Иоанна поправилось. Предвещание ему престола поражает его как электрический удар. Всё, что доселе смутно носилось перед ним, выступает ясно и осязательно. Слово выговорено, и цель его воплотилась. Он уже не может отвлечь очей от этой цели; он должен идти к ней безостановочно, что бы ему ни попало на дороге. С этой минуты он переродился. Взгляд его стал повелителен, приёмы решительны, голос потерял обычную мягкость. В монологе, кото-

рый он произносит по удалении волхвов, зритель должен слышать, что хотя он ещё и не думает об убиении Димитрия, но не остановится перед преступлением, если ценою его будет престол. С лихорадочным нетерпением он заботится теперь об устранении ближайших препятствий. Но дело ещё далеко не выиграно, и он должен продолжать носить личину. С притворным участием расспрашивает он у доктора о состоянии царского здоровья и об условиях его исцеления.

*А если бы, не дай бог, чем-нибудь  
Он раздражился?*

В этих словах Годунова, выговоренных медленно, с расстановкой, с испытующим взглядом на доктора, должен звучать для зрителя смертный приговор Иоанну. Приказанья, отдаваемые Битяговскому, которыми заключается первая половина пятого действия, подтверждают в зрителе убеждение, что Годунов теперь не остановится ни перед чем, и должны возбудить ожидание трагического исхода.

Во второй половине того же действия Году-

нову опять приходится играть немую, но немаловажную роль до того места, где он, исполнив царское поручение, возвращается в палату и застаёт Иоанна, играющего в шахматы. В появлении Годунова должно теперь быть нечто торжественное. Он решился на поступок, который, если не удастся, будет стоить ему головы. Он играет ва-банк; он пани или пропал; но он действует не очертя голову, а взвесив все возможные случайности, и, по закону вероятностей, дерзкое предприятие должно удалиться. Бледный, но решительный, он медленным, но твёрдым шагом подходит к группе бояр, и, узнав от одного из них, что Иоанн находится в раздражённом состоянии, то есть именно в том, которое ему нужно, он не спеша обходит шахматный стол и становится напротив Иоанна. Он неподвижно встречает и выдерживает царский взгляд. Он своим взглядом заставляет Иоанна затрепетать и отшатнуться. Он нарочно медлит ответом, чтобы продлить в Иоанне нервическое ожидание и потом сразить его наверняка резко и отчётливо выговоренным ответом. Он от самого своего прихода до произнесения этого

рокового ответа как будто натягивает лук и выискивает место в своей жертве, куда бы удобнее пустить стрелу. Вся эта сцена должна быть художественно развита до малейших подробностей. Чем долее она продлится, тем лучше. Здесь нечего опасаться утомить зрителя; если Годунов сыграет свою роль хорошо и найдёт в других артистах добросовестное и понятливое содействие, зритель не останется равнодушен.

Но вот ответ произнесён, Иоанн упал на землю, врачи подтвердили его смерть, Годунов удостоверился, что царское сердце более не бьётся, и, открыв окно, возвещает народу, что не стало царя Ивана Васильича.

Глухая буря подымается на площади, а Годунов уходит, чтобы окончить начатое и приготовить последнюю сцену, где он явится полным господином царства и поставит ногу на первую ступень, ведущую к престолу. С благоговейною торжественностью возвращается он в палату и опускается на колени перед растерявшимся Фёдором. Фёдор передаёт ему правление, и Годунов, не колеблясь, вступает в свои права, как будто они ему не новы и он

уже повелевал всю свою жизнь. Не дав никому опомниться, он с неожиданною решительностью избавляется от своих главных врагов. Фёдор, рыдая, бросается ему на шею, и народ смешивает их имена в своём приветственном восклицании. Этим кончается роль Годунова, а с нею и трагедия. Ему принадлежит последнее слово, и зритель понимает, что он не остановится на этой ступени, но сумеет осуществить сделанное ему предсказание.

Роль Годунова несравненно труднее роли Иоанна. В ней нет той яркости, благодаря которой Иоанн виден из каждого своего слова, почти без комментариев. Здесь автор предоставил всё личному воззрению художника.

Наружность исторического Годунова была самая привлекательная. Он был, так же как Иоанн, высок и строен. Лицо его было смутло; чёрные глаза, осенённые тёмными бровями, глядели ласково. Короткая тёмная борода окаймляла правильный очерк лица, и на изящно выгнутых губах играла приветливая улыбка. Годунов подчинял себе людей столько же превосходством своего ума, сколько своею обходительностью.

Литографированную копию с современно-го портрета можно видеть в сочинении Висковатого: «Вооружение русских войск».

В трагедии приёмы Годунова благородны и сдержанны. Голос его никогда не возвышается, исключая в разговоре с волхвами и в следующем за ним монологе, но и то умеренно.

Держит он себя сообразно тому, с кем имеет дело. К равным он относится скромно, к Иоанну с благоговением, к Захарьину с почтительною доверчивостью, к царевичу Фёдору, до его вступления на престол, с родственною дружбою, не забывающею расстояния, которое их разделяет. С Битяговским он говорит повелительно и смотрит на него как на червяка, которого может раздавить во всякую минуту. Сверх того, Годунов мастер изменять свои приёмы смотря по обстоятельствам. Вызванный Захарьиным на говорение в Думе, он начинает свою речь чрезвычайно скромно, но, по мере успеха, голос его получает уверенность, и под конец в нем слышится власть, которая даётся сознанием превосходства. В споре своём с Сицким он отличается умеренностью с лёгким оттенком иронии, и

этот оттенок становится чувствительнее, когда он несостоятельным боярам предлагает в цари одного за другим таких людей, которых они только что отвергли. Но верхом дипломатического расчёта есть тон его с Иоанном, когда он, как выборный от бояр, приносит ему решение Думы. Несмотря на раболепный оборот в конце речи, Годунов произносит её не как уничиженное моление, но как приказ от всех к одному. И расчёт оказывается верен. Иоанн доволен, что его *принуждают*; он *покоряется* Думе и, целуя Годунова в голову, говорит:

*Я дерзкую охотно слышу речь,  
Текущую от искреннего сердца!*

В разговоре Годунова с Захарьиным, в начале второго акта, есть смесь искренности с долею притворства. Он действительно потому идёт окольным путём, что не может идти иначе, но он не столько об этом сожалеет, как показывает. Сожаление выставлено более для Захарьина, коего прямая натура не могла бы иначе примириться с характером Годунова. С Шуйским Годунов, когда приходит к нему в

дом, говорит с полным самообладанием, не отступая ни на шаг от принятой на себя роли, и спокойствие его составляет контраст с суетливым радушием Шуйского. К Битяговскому, когда он остаётся с ним глаз на глаз, Годунов обращается с неумолимым хладнокровием. Здесь особенно он должен сделать на зрителя впечатление неумолимости. В самом деле, Иоанна легче умолить, чем Годунова. Иоанн может иногда, по капризу, помиловать, кого он осудит; но кого в своём сердце осудит Годунов, того он никогда не помилует. Приговоры его внушены ему не гневом, не мстительностью, но холодным убеждением в их необходимости. Иоанн губит своих врагов со злобою, Годунов безо всякой злобы устраняет их как препятствия. Он вовсе не жесток от природы, но когда он думает, что жестокость нужна для устрашения его врагов, она его не пугает. Он это доказал впоследствии, когда, чтобы заставить молчать угличан, обвинявших его в убийстве Дмитрия, он разом велел казнить двести человек и всех жителей Углича переселил в отдалённые области.

О других изменениях наружности Годуно-

ва, в остальных частях трагедии, уже сказано выше.

Одежда его обыкновенная боярская. При великолепной постановке он может переменить её несколько раз в продолжение пьесы.

## **Шуйский**

После Годунова первые два места в трагедии занимают Захарьин и Шуйский. Начнём с последнего, которого характер примыкается естественно к характеру Годунова. Шуйский есть в некотором смысле слабый и искажённый с него снимок. Он неудачная попытка природы произвести Годунова. Когда Годунов прибегает к хитрости, он делает это потому, что не имеет лучшего способа для достижения своих целей. Если б он мог достичь их прямо, он отверг бы хитрость как замедляющее средство. Шуйский, напротив, любит хитрость для хитрости. Он в ней катается как сыр в масле. Ему доставляет удовольствие сначала притвориться, а потом поразить всех неожиданным эффектом. Он по своей природе заговорщик, тогда как Годунов уже потому не может быть заговорщиком, что он ни с кем не делится своими планами, а всех употреб-

ляет как свои орудия, и друзей и врагов. Годунов знает всю подноготную Иоанна; Шуйский знает только его главные черты. Оттого он и суётся так неудачно с своею фразой, когда Иоанн просит у него на коленях прощения. Цель Годунова, ещё до мысли о престоле, это — подчинить себе всю Россию; цель Шуйского — составить себе партию. Годунова взвела на престол Россия; Шуйского взвела партия; оттого он и не удержался. Но рядом с этою посредственностью у Шуйского есть и хорошие качества. Он неустрашим в опасности и твёрд в несчастьи. Когда он сделался царём, он соблюдал законность; когда народная дума свела его с престола, он показал достоинство; когда его насильно постригали, он отказался произносить монашеский обет; когда Жолкевский привёз его, пленником, в Варшаву, он не хотел кланяться королю и, лишённый престола, явил истинно царское величие. Но все эти черты лежат вне трагедии, и я только для того указываю на них, чтобы исполняющий роль Шуйского получил ясное о нём понятие.

Наружность Шуйского не имела благород-

ства наружности Иоанна и Годунова. Его описывают толстым, небольшого роста, с маленькими глазами. Портрет его, находящийся, кажется, в московской оружейной палате, вряд ли даёт о нем верное понятие.

Приёмы его должны быть льстивы, особенно с Иоанном; лицо хитро и подозрительно, хотя и видна в нём решительность; он высматривает и выслушивает; он не умеет скрыть то, что он хитёр. Он прислуживается и поддакивает Иоанну, но вместе с тем он не должен казаться хамом. Этот оттенок принадлежит скорее Нагим, братьям царицы, о которых речь будет после.

## **Захарьин**

Захарьин, известный Никита Романович, брат царицы Анастасии, первой жены Иоанна, дядя царевича Фёдора, родоначальник Романовых, есть, по народным преданиям, олицетворение добра в тёмную эпоху Иоанна.

Он является в старинных песнях как добрый гений, как противоположность Малюты Скуратова; он даёт добрые советы Иоанну, он удерживает его от казней. Характер этот я старался сохранить ему и в трагедии. Он в

полном смысле честный и прямой человек, готовый всегда идти на плаху скорее, чем покривить душой или промолчать там, где совесть велит ему говорить. Но он живёт в эпоху Иоанна, в такую эпоху, где злоупотребление власти, раболепство, отсутствие человеческого достоинства сделались нормальным состоянием общества.

На всё это он насмотрелся вдоволь, и его способность негодовать притупилась. В нём есть только протест, в нём нет инициативы. Он не герой; он может быть только мучеником; он стоит ниже Сицкого, в котором негодование кипит в полной силе. Смирение Захарьина смешано с долей апатии. В том-то и проклятие времён нравственного упадка, что они парализуют лучшие силы лучших людей. Подобные примеры мы видим в истории Рима и Византии. Захарьин свыкся с окружающим его порядком, и энергия его пробуждается только в экстренных случаях, когда Иоанн уже чересчур далеко хватит. В трагедии я избежал выставить все ужасы Иоанновой эпохи и указал на них только рефлексам. Это спасает роль Захарьина, иначе зритель не мог бы

помириться с его терпимостью. Захарьин, как он стоит в трагедии, должен быть противоположностью всех низких, злых и эгоистических начал, которые кишат вокруг него. Он, как брат Анастасии, первой и более всех любимой жены Иоанна, уцелел от его периодических казней. Со времени смерти сестры он пережил шесть цариц и привязался к последней, к Нагой, напоминающей ему Анастасию своею кротостью. Он любит её как дочь, называет её дитяtkом, а она его дядюшкой, и между ними существует чистая и нежная привязанность, на которой зритель должен отдохнуть после всего грубого и нечистого, представленного ему доселе. Лучшая минута Захарьина — это его монолог к Иоанну перед приёмом Гарабурды. Здесь он выходит из своей обычной пассивности. Он начинает сдержанно, голос его дрожит, но мало-помалу он одушевляется, говорит с жаром и кончает с энергией, доходящей до негодования. Второе место, где Захарьин выходит из своего спокойствия — это обращение его к Годунову после смерти Иоанна. Он уже перестал называть его «Борисом», когда Годунов велел Шуй-

ского и Бельского схватить стрельцам. «Ты скор, боярин!» — говорит он ему с неудовольствием. Теперь же, когда Годунов отправляет царицу и Нагих в Углич, терпение его истощилось. «Боярин Годунов», — говорит старик,

*Я вижу, ты распорядиться ма-  
стер!*

*Всем место ты нашёл — лишь од-  
ного*

*Меня забыл ты! Говори, куда  
Идти я должен? В ссылку? В мо-  
настырь?*

*В тюрьму? Или на плаху?*

Слова эти должны быть произнесены с достоинством и благородством оскорблённого нравственного чувства и обманутого доверия к Годунову.

В следующих затем словах, которые Захарьин произносит после обращения к нему царицы и которые суть его последние:

*О царь Иван! Прости тебя гос-  
подь!*

*Прости нас всех! вот самовла-  
стья кара!*

*Вот распаденья нашего исход!*

должны звучать глубокая горесть и предвиденье будущих несчастий. В них заключается смысл и синтез всей трагедии, и потому весьма важно, чтобы художник произнёс их верно и чтобы они сделали должное впечатление на зрителя. Игравшего роль Захарьина считаю нужным предостеречь в одной опасности. Он не должен забывать, что Захарьин не есть отвлечённая личность, на которой лежит обязанность читать мораль другим, но живой человек со всеми свойствами человека; иначе он рискует сделаться похожим на Правдина, Здравомысла и других благонамеренных резонёров наших комедий прошлого века.

Не знаю, существует ли где портрет Захарьина, но наружность его не может не быть достаточно почтенна. Высокий рост, седые волосы и седая борода очень пристанут его характеру.

## **Бельский**

Союзник Шуйского во вражде его к Годунову есть Богдан Яковлевич Бельский, думный боярин и оружничий государев. Роль его в драме очень коротка, но, как историческое

лицо, он заслуживает некоторых указаний. После смерти Малюты Скуратова он наследовал при Иоанне место доверенного человека по всем тайным и кровавым поручениям. Он был решителен и заносчив, любил роскошь и сыпал деньгами. Из этого видно, что выражение его должно быть сурово, а приёмы надменны. Собственно о его наружности мы не знаем ничего, кроме что у него была длинная и окладистая борода, которую Годунов впоследствии велел у него выщипать.

В сцене шахматной игры мне некоторые заметили, что Бельский должен не сидеть, но стоять перед Иоанном. Я с ними не согласен. Иоанн не подчинялся церемониалу до такой степени, чтобы пожертвовать ему своим комфортом. Если бы Бельский, играя, стоял, то Иоанну пришлось бы смотреть ему в живот или, говоря с ним, поднимать голову. Он не для Бельского, а для собственного удобства велит ему сесть, как велел бы ему лечь, если б нашёл это сподручнее. К тому же, если б даже сиденье Бельского и не было согласно с обычаем, то здесь необходимо отступление от исторической правды для сценических требова-

ний. Годунов, вернувшийся с ответом, должен один, отдельно от всех, стоять пред Иоанном и господствовать над ним всею осанкой. Другой, стоящий рядом с Годуновым, испортил бы картину и ослабил бы впечатление.

## **Мстиславский**

Второй союзник Шуйского, Мстиславский, старший боярин в Думе, не замечателен ничем ни в истории, ни в драме. Положением своим он обязан не личным достоинствам, но знатности, которою он очень гордится.

## **Братья Нагие**

Нагие, братья царицы, оба грубые люди, дурного воспитания, попавшие в честь, которой они и во сне не ожидали и которая вскружила им голову. Михайло Нагой, сверх того, ещё и пьяница. В сцене своей с Салтыковым он должен быть немного подгулявши.

У Григория Нагого есть довольно интересное место: чтение письма Курбского. Он должен читать так, чтобы в его голосе слышался страх, но чтобы чрез то не была ослаблена язвительность письма и ни одна из дерзостей Курбского не прошла бы незамеченною.

## **Сицкий**

Сицкий — благородная, горячая натура, один из тех людей, которые являлись, как исключения, в царствованье Иоанна и весьма скоро сходили со сцены, не поддержанные общим мнением. Замечание Годунова: «Меня князь Сицкий старше» относится не к летам его, но к породе. Он должен быть молод, потому что при Иоанне такие люди до старости не достигали. Речь его дышит пылкостью и благородством. Эта роль не велика, но очень эффектна. Её не надобно давать статисту, она стоит тщательного исполнения.

### **БИТЯГОВСКИЙ**

Битяговский и Кикин — два мошенника, один на другого не похожие. Битяговский — мошенник грандиозный. Он кинулся во все пороки очертя голову и отказался от совести безо всякого сожаления и усилия. У него нет ничего святого.

Отличительные черты его — смелость и наглость. Проигравшись в карты, он продаётся Замойскому, потом продаётся Шуйскому, а наконец, продаётся Годунову и служит ему верно потому, что находит в том свою выгоду. Он сорвиголова; любит разгул и удалство; но

в присутствии людей высшего круга ему не совсем ловко, не потому, чтобы он чувствовал к ним почтение, а потому, что привычки у них другие. Когда Шуйский и его гости толкуют с ним о способе погубить Годунова, он отказывается сесть, отвечает сурово и односложно. Зато на базаре, среди простого народа, он в своём элементе. Он затягивает песню, говорит речисто, смеётся и исполняет своё поручение с молодецкой развязностью.

## **Кикин**

Кикин, напротив того, обыкновенный плут; между ним и Битяговским такое же расстояние, как между Шуйским и Годуновым.

Чтобы взбунтовать народ, он прибегает к переодеванью, он изменяет свою речь и приёмы; он забирает издалека, чтобы наклеветать на Годунова. Битяговский же является на площадь, как он есть, и отхватывает свою клевету на Шуйского и Бельского безо всяких приготовлений. Наружность их также противоположна. Битяговский человек сильного телосложения, вид его разбойничий; волосы и борода нечёсанные, цвет лица бледный, глаза воспалённые, взгляд дерзкий; голос хриплый

от водки.

Кикин человек низенький, пухленький, с заплывшими глазками, с круглым красным носом, с лысиной на лбу; приёмы его добродушны, голос масляный. Он хотя тоже гуляка, но совсем другого рода. Когда Битяговский целые ночи просиживал в кабаке, а утром вставал из-за стола как встрёпанный, Кикин после первого штофа спускался под стол. Когда Битяговский смело передёргивал карты, не заботясь о том, заметят ли это или нет, Кикин осторожно пускал в ход сверленные кости. Когда Битяговский хватался за нож, Кикин хватался за шапку. Роль Битяговского важнее роли Кикина, но обе требуют понятливых исполнителей, ибо они освещают целую сторону драмы: отражение на народе придворных интриг.

## **Гарабурда**

Михайло Богданович Гарабурда, секретарь великого княжества Литовского и посол короля Батория, является только один раз в драме, в одной из самых коротких сцен, но на нём основан перелом Иоанновой судьбы, и он представляет ту ось, на которой совершается

оборот всего хода событий, когда драматическое движение из восходящего превращается в нисходящее. Он есть вершина драматической пирамиды, и потому коротенькая роль его одна из самых важных. К тому ж он поставлен к Иоанну в исключительное положение явного антагониста, положение, в котором из всех прочих дано стоять одному Годунову, да и этому только в конце трагедии. Если Годунов убивает Иоанна физически, Гарабурда является в самой середине трагедии, чтобы убить его морально и приготовить его физическую смерть. На эту роль нельзя достаточно обратить внимания, ни приложить к ней слишком много старанья. Художник, берущий её на себя, никак не должен увлекаться оттенком комисма, который слышится в словах Гарабурды. Развивать этот комисм, например, заставляя Гарабурду говорить ломаным русским языком или придавать ему ужимки из оперы «Москаль-чаривныйк», — было бы грубой ошибкой. Малороссийское происхождение Гарабурды достаточно обозначено оборотами его речи. Играющий его может прибавить к этому более мягкий выго-

вор, например, ве́ди-е́р произносит как ве́ди, а не как ферт, и более ничего.

Национальность Гарабурды заключается в его характере.

Приехав в Москву во время продолжительной и неудачной осады Пскова, когда счастье Батория грозило ему изменить, он, вероятно, был уполномочен на уступки. Но в самый день, назначенный для его приёма, к нему прискакал литовский гонец и привёз известие о победе короля над русскими войсками, а вместе с тем и новые инструкции. Иоанн об этом ещё не знает, но уже отзывался презрительно о Батории. Гарабурда не говорит никому ни слова и решается проучить Иоанна. Он вступает в престольную палату с скромным достоинством, и лицо его не выражает ни малейшего торжества. Он терпеливо сносит насмешки Иоанна, но когда царь задевает его короля, он сам принимает иронический тон и, не выходя из своего хладнокровия, осаждает Иоанна. Если это место будет сыграно хорошо, оно должно произвести большой эффект. Это первое унижение, претерпенное Иоанном на сцене. Надобно вообразить себе

неограниченного владыку, перед кем всё трепещет, окружённого всем блеском своего величия, которому, в присутствии его рабов, иностранный посол, русский по происхождению, даёт урок. Но Иоанн скрывает свою досаду под презрительную насмешку и велит послу продолжать. Тогда Гарабурда тем же хладнокровным тоном высказывает ему неожиданные и неумеренные требования Батория. Ропот раздаётся в собрании, буря собирается в сердце Иоанна, и чем более он её сдерживает, тем сильнее она должна разразиться. Это минута всеобщего ожидания. Гарабурда, не изменяя своего голоса, предлагает Иоанну поединок от имени Батория и бросает перед ним перчатку (западный рыцарский обычай, о котором вряд ли московский царь имеет и понятие).

*Из вас обоих кто сошёл с ума?  
Ты иль король? К чему перчатка  
эта? —*

начинает Иоанн сдержанным голосом, которого поддельное хладнокровие составляет контраст с действительным хладнокровием

Гарабурды. Но вскоре царь не в силах себя сдерживать. Он уже не владеет собою. Очи его вспыхнули, он весь задрожал, ругательства загремели из уст его, и, выхватив у рынды топор, он бросает его в посла.

*Поторопился ж ты, пан царь! —*

говорит Гарабурда с невозмутимым спокойствием и объявляет Иоанну, что он разбит и что шведы взяли Нарову и идут на Новгород. Вот где перелом в судьбе Иоанна, вот откуда он начинает падать, и вот где обратная точка трагедии, дающая такую важность этой сцене.

Гарабурда остаётся хладнокровным до конца. Отличительная черта его невозмутимость. На лице написаны ум, твёрдость и скрытность.

Он, как малороссиянин, хотя и прикидывается добродушно-простоватым, но этот оттенок никогда не доходит до карикатурности.

Исторический Гарабурда приезжал несколько раз в Россию и пользовался у нас большим уважением. Он был православной веры и хорошо знал русский язык. Наруж-

ность его нам неизвестна. Одежда должна быть малороссийская, вроде той, какую мы видим на портретах гетманов; волосы острижены в кружок, борода бритая, усы длинные; лет ему под пятьдесят.

## **Царевич Фёдор**

Царевич Фёдор Иоаннович играет весьма незначительную роль в трагедии, но как он историческое лицо и как личность Иоанна отражается в нём рефлексамии, то необходимо сказать несколько слов и о нём.

Это доброе, ограниченное и забитое существо. Он более, чем другие, боится Иоанна. Он застенчив и набожен; ему хотелось бы сходить пешком к Троице, но он боится попроситься у батюшки. Он пугается мысли взойти на престол; он знает о политических событиях только через Бориса; второе слово его: Борис. В нём он видит наставника и будущего своего спасителя. Он плачет, когда Годунов отсылает в Углич его мачеху и брата, но он не смеет противиться Борису. Всё внимание артиста должно быть обращено на то, чтобы не сделать его смешным. Он должен возбуждать жалость, а не смех, и на всех его приёмах

должно быть видно влияние Иоанна.

Здесь считаю уместным заметить вообще, что всем лицам трагедии предстоит постоянно отражать это влияние, каждому по-своему. Например, перед всяким появлением Иоанна во всех присутствующих заметно волнение. Иной оправится, другой откашлянется, третий погладит бороду, и все лица напрягают своё выражение; никто не остаётся самим собою, разве только один Захарьин.

Фёдор же, когда услышит батюшкины шаги, сперва засуетится, а потом так и замрёт.

Портреты Фёдора не внушают мне доверия. Но мы знаем, что он был мал, дрябл и опухловат. В бороде природа ему отказала или дала такую жиденькую, что о ней не стоит и говорить. Одежда его должна быть самая богатая, не потому, чтобы он любил наряжаться, но потому, что Иоанн не позволил бы ему ходить как-нибудь. Он хочет, чтобы всё к нему близкое, всё ему принадлежащее, носило печать его собственности и его величия. Фёдор, одетый в парчу и бархат, должен казаться как не в своём платье. Ему бы скорее хотелось надеть подрясник, но батюшка не

велит. Все движения его нерешительны, и главный характер его наружности — запуганность.

## СХИМНИК

Схимник — роль очень эффектная, но довольно лёгкая. Тут нужно более отрицательных, чем положительных качеств. Исполнитель должен только помнить, что он уже тридцать лет отказался от света, не видел людей, не знает ничего и весь ушёл в себя. Глаза его потухли, стан согнулся, голос ослаб от непривычки говорить, лицо выражает равнодушие и кротость. Когда он входит, в нём не заметно никакого любопытства узнать, зачем он понадобился Иоанну. Только при воспоминании о Казани он относительно оживляется. Он сам брал Казань, он знает всех знаменитых воевод того времени, и картина минувшей славы мало-помалу воскресает в его воображении и облекается в яркие краски. На минуту, но только на одну минуту, он забывает, что он схимник, и воображает себя снова воином, когда он говорит:

*Встань, государь! И за святое дело*

*Сам поведи на брань свои полки!*

Ни малейшего волнения не производит в нём грозное восклицание Иоанна, когда царь слышит от него имя своего убитого сына:

*...Царь, твой гнев  
Не страшен мне, хотя и не понятен.  
Уже давно я смерти жду, мой сын!*

Эти слова схимник произносит совершенно просто и спокойно, без малейшего пафоса.

Признания Иоанна во всех казнях и убийствах потрясают эту чистую душу, и когда на вопрос царя:

*И никакого наставленья боле  
Ты мне не дашь? —*

он отвечает:

*...Прикажи меня  
Отвезь обратно в келию мою, —*

в его кротком голосе слышится ужас, внушаемый ему Иоанном. Считаю почти излишним заметить, что все вопросы схимника о казнённых воеводах совершенно наивны и

что в них нет и тени желания попрѣкнуть Иоанна. Схимник действительно ничего не знает. Отличительные черты его — это кротость и простота.

Если бы он мог явиться на сцену в схиме, эта живописная, мрачная одежда произвела бы прекрасный контраст с богатою одеждой Иоанна; но как по нашим театральным правилам схима не допускается, то пусть он будет в простой чёрной рясе, вроде той, в которую одет Иоанн в первом действии.

Пусть, по той же причине, он назовѣтся на афише не схимником, а старцем.

## **Гонец из Пскова**

Коротенькая роль гонца из Пскова также требует скорее предостережений, чем указаний. Важнее всего, чтобы исполнитель избегал напыщенности, а говорил бы просто; иначе он будет напоминать расиновского Фермена. Гонец человек военный; он прибыл из осаждённого города, где мало занимаются церемониалом. Поэтому, при всём его благоговении к Иоанну, в нём нет того оттенка роблепства, который более или менее заметен в других лицах трагедии. В нём видны радость

успеха и чистосердечная благодарность к богу. Одежда его бранная; на голове шлем или мисюрка. Он прямо с коня явился к Иоанну, и потому доспехи его не могут блестеть, как только что вычищенные наждаком, а должны быть запылены и заржавлены. На такого рода мелочи слишком мало обращается внимания, а между тем они много способствуют к впечатлению правды или, лучше сказать, их несоблюдение сильно разрушает это чувство.

## Шут

Про шута, являющегося во второй половине последнего действия, не могу сказать ничего, кроме, что он есть арабеск, долженствующий усилить наружную пестроту обстановки. Всё, что в конце трагедии блестит и сверкает вокруг Иоанна, есть золотистый грунт, на котором отделяется мрачная катастрофа. Чем цветистее и ярче эта наружная сторона, тем зловещее чувствуется приближающееся событие. Но шут имеет ещё и другое назначение; он даёт повод Иоанну обнаружить некоторые черты своего характера, которые высказать доселе не было случая. Иоанн шутлив; он лю-

бит фарсы. Грубое издевание над Нагим, выходка насчёт бояр, насмешка над королём — находят в нём одобрение. Только перед возвращением Годунова Иоанном овладевает беспокойство, и весёлость его делается натянутой. Когда он роняет шахматного короля, а шут неосторожно восклицает: «Царь шлёпнулся!» — это восклицание должно произвести впечатление невольного пророчества, а вспышка Иоанна напомнить, что жизнь его висит на волоске. Шут не должен хотеть занимать собою публику. Когда говорят другие, он должен теряться в толпе. Всякое излишнее или неуместное кривляние было бы верхом не только безвкусыя, но и непонимания своего назначения. Одежда шута полусермяжная, полупарчовая, во всяком случае очень пёстрая, а на голове у него колпак с бубенчиками.

## **Скоморохи**

Здесь кстати сказать несколько слов о скоморохах. Они должны быть как можно более безобразны: с горбами, с большими носами, с пеньковыми бородами, некоторые, пожалуй, с золочёными рогами, иные в польских, другие в немецких одеждах того времени в на-

смешку шведам и полякам, врагам Иоанновым. Им не только позволяется, но ставится в обязанность кривляться. Они появляются два раза: сначала когда шут представляет их Бельскому, потом в минуту смерти Иоанна. Первое появление имеет целью врезать их наружность и некоторые из их слов в памяти зрителя, второе должно только *напомнить* о них зрителю, так, чтобы он им не удивился, а тотчас понял бы, что это ему знакомые скоморохи и что они вбежали по ошибке. В первый раз они могут проплясать пред Бельским целую маленькую пантомиму, то есть ровно столько времени, сколько нужно, чтоб пропеть свои пять стихов; второе появление должно быть мгновенное. Бояре не дают им добежать до авансцены, и как скоро Иоанн их увидел, они должны исчезнуть. Это чрезвычайно важно, чтобы не возбудить рукоплесканий в райке. Последнее появление должно быть одним намёком. Скоморохов не следует представлять страшными; они только уродливы; одна нечистая совесть Иоанна может насчёт их ошибиться.

## **Волхвы**

Роль двух волхвов не так легка, как она кажется с первого взгляда. Если где-либо нужен такт, то, конечно, в этой роли. Малейшая фальшивая нота может сделать их смешными и испортить впечатление двух весьма важных сцен в трагедии. Первою заботою играющих должно быть отсутствие всего риторического и *театрального*, при некоторой торжественности речи. Эту середину найти довольно трудно. Волхвы не обманщики; они убеждены в истине своей науки. Многие опыты показали им, что предвещения их сбываются, и это объяснить нетрудно. Сильно потрясённое воображение часто производит то, чего оно желает или чего боится. Таким образом, не прибегая даже к сверхъестественному (которое до известной степени допускается в трагедиях), могло бы случиться, что Иоанн, потрясённый ожиданием предстоящей ему смерти, действительно умер бы в назначенный день, даже и без содействия Годунова. Жизнь его висит на волоске, он верит в предсказание, и Годунов даёт лишь толчок дереву, уже подпиленному у корня. Он совершает убийство, не предвиденное уголовными уло-

жениями. Предсказание Годунову престола (если оно действительно случилось, как говорят летописи) также должно было немало способствовать к его успеху. Если бы Макбету шотландский трон не был предсказан, он, вероятно, на него не взошёл бы.

Итак, прежде всего, волхвы люди убеждённые. Вид их мрачен, как сдружившихся с недоброю силой. Иоанн спрашивает их, христиане ли они? Волхвы отвечают, что их *крестили*. Двусмысленность этого ответа не должна пройти незамеченною. Она должна набросить на всю сцену колорит чего-то недоброго и нечистого, внушающего ужас Иоанну, который, по своему обыкновению, отделяется от него, обрекая на казнь людей, его испугавших.

Я нарочно одного из волхвов назвал карелом, другого литвином. Это даёт случай к разнообразию костюмов. Не знаю, как одевались карелы того времени, но полагаю, что вроде нынешних чухонцев. Волосы у карела должны быть чёрные, плоские и длинные, борода и усы бритые, на теле рысий или волчий полушубок, на ногах сапоги. Рожа у него вроде

старушечьей, но с сильно развитыми скулами, со впалыми и беспокойными глазами, цвет лица нечистый. Литвин может быть рыж и с бородой. На нём что-нибудь вроде белорусской свитки, а на ногах лапти. У обоих волхвов на поясах разные медные привески и побрякушки, как у теперешних коновалов, между которыми и поныне есть знахари. У одного из них может быть заткнут за поясом короткий ореховый прут. Шапки нет ни у одного. Они их из почтения бросили в сених. Боже сохрани сделать волхвов в чём-либо похожими на западных астрологов. Они из простого народа, и хотя читают в «Рафлях», но не имеют никакого образования. В их речи звучит убеждение, таинственность, иногда торжественность, но отнюдь не высокопарность.

## **Врачи Эльмс и Якоби**

Иностранные врачи Эльмс и Якоби также представляют камень преткновения для исполнителей. Из них Якоби говорит в двух сценах довольно продолжительно, Эльмсу же приходится сказать только несколько слов над умершим Иоанном. Но чем короче роль, тем требовательнее к ней зритель. Беда, если

она будет поручена непонятливым статистам. Они в состоянии испортить не только её, но целые те сцены, и очень важные, где участвуют врачи.

Есть люди, наделённые от природы смешным голосом. Когда роль их длинна, публика мало-помалу к ним привыкает; но если они являются только для того, чтобы сказать два слова, и эти два слова пропищат или прокричат в нос, то результатом бывает всеобщий смех. Мне помнится один герольд в «Роберте», который приходил вызывать его на поединок от имени гренадского принца. Кажется, чему бы тут смеяться? Но голос герольда был таков, что вся зала тряслась от смеха, и эффект разрушался надолго. Этого знаменитого герольда ещё кое-как спасала музыка, но что спасёт врачей, когда они, нагнувшись над Иоанном, начнут, с неверными интонациями, говорить:

- *Не бьётся пульс!*
- *Не бьётся — нет!*
- *Не бьётся сердце!*
- *Умер!*
- *Окончил жизнь!*

Эта минута торжественная, и играющие должны, сверх приличного голоса, иметь ещё довольно уха, чтобы попасть в надлежащую ноту. Весьма было бы желательно, чтобы хорошие артисты пожертвовали собой и взяли на себя роли волхвов и врачей.

Трудно вообразить, какое значение получает самая незначительная роль, когда она сыграна мастерски, тем более роль, так тесно связанная с жизненными частями трагедии. Если б я был великим артистом, я бы нарочно искал случая играть иногда второстепенные, даже самые последние роли, чтобы показать товарищам моим, что нет такой роли, которой бы следовало пренебрегать, а публике, что нет такой роли, из которой нельзя бы сделать чего-нибудь примечательного. Я сейчас употребил слово: пожертвовать собой. Это выражение неверно. Нигде талант сценического художника не находит такого случая заявить своё превосходство, как именно в ролях по-видимому бесцветных. Чтобы испортить яркую, цветистую роль, где самый текст указывает и предписывает характер игры, нужно быть решительно посредственным актёром;

но малейший недостаток драматического чутья достаточен, чтобы испортить роль, где автор не указал ни на что, а всё предоставил такту художника.

Врачи носят европейскую одежду XVI века, присвоенную их званию, но говорят самым чистым русским языком.

## **Пристава**

В роле двух приставов, являющихся в первой части четвёртого действия, можно допустить маленькую карикатурность. Вся эта часть написана тоном ниже остальных; здесь нет ничего возвышенного, и зрителю можно дать случай раза два улыбнуться прежде, чем он будет введён в мрачный покой Иоаннов, где начнутся сцены видений, раскаянья и приготовлений к смерти.

Итак, пусть пристава будут пузатые, румяные, заплывшие жиром, который они высосали из народа. Пусть их наружность составляет контраст с бледными, испитыми лицами голодных людей, толпящихся вокруг лабаза. На головах у них колпаки, в руках высокие палки.

## **Григорий Годунов**

О Григории Годунове, являющемся в конце той же сцены, говорить нечего. Это роль статиста, одарённого громким голосом. Но можно заметить нечто о его лошади и о лошадях бирючей, его сопровождающих. Нет ничего более неприятного, как стук лошадиных копыт по театральным доскам. Во-первых, он мешает слушать играющих, а во-вторых, у зрителя тотчас отымается иллюзия, что он под открытым небом, и вся искусственность театрального устройства неумолимо бросается ему в глаза. Устранить это неудобство очень легко. Стоит только подковать лошадей толстой гуттаперчей.

Дворецкий кремлёвского дворца и ключник, открывающие вторую половину пятого действия, суть только средства посвятить зрителя в положение дел. Это роли совершенно понятные, и потому о них говорить нечего.

### **Дворецкий Александровой слободы**

Дворецкий Александровой слободы, приносящий Иоанну весть о пожаре его терема, должен находиться под страхом ответственности за этот пожар, произведённый грозой. Ему, по-настоящему, следовало бы броситься

Иоанну в ноги; но в трагедии и без того уже столько коленапреклонений и земных поклонов, что они могут утомить зрителя. Поэтому достаточно, чтобы голос и колени дворецкого дрожали и он всё своё извинение искал бы в повторении слов: «Гнев божий!»

Стрелецкий голова, стрелецкий сотник и лабазник, равно и все стольники и слуги, не требуют никаких замечаний, исключая, что последние не менее бояр боятся Иоанна и дрожат при его приближении.

Перебрав все главные и второстепенные мужские роли, обратимся к женским.

Их всего четыре: царица, царевна Ирина, Мария Годунова и мамка. Из них важна одна царица, во-первых, сама по себе, а во-вторых, как повод для Иоанна выказать пароксизм своего произвола.

## **Царица Мария Фёдоровна**

Царица Мария Фёдоровна Нагая, после царевича Фёдора, более всех чувствует гнёт Иоаннова характера. Мягкая и женственная натура её совершенно им подавлена.

Здоровье её расстроено, а нервы приведены в такое раздражение, что они чувствуют

как бы атмосферу событий ещё прежде их наступления. Так для страдающего невралгией бывает ощутительно не только малейшее прикосновение, но и самая близость иных предметов.

Та невидимая оболочка нашей души, которая отделяет её от внешнего мира и замедляет его впечатления, — исчезла для царицы. Она всё воспринимает непосредственно. Она чувствует, что царь хочет с ней развестись; она знает, что её сыну грозит опасность от Годунова. Это болезненное ясновидение есть дело Иоанна. Его влияние отражается постоянно на всех лицах трагедии.

Брошенная насильственно в среду для неё враждебную, постигая всех и опасаясь каждого, царица счастлива, что встретила Захарьина и что может ему довериться. Дружба к нему и любовь к своему ребёнку — единственная светлая сторона её жизни. Такою она должна показаться зрителю с первого своего появления. В разговоре с болтливой мамкой видна её материнская заботливость, но она не совсем верит и мамке и потому не высказывает ей своей антипатии к Годунову,

а только велит ей никому не давать говорить с её сыном. С Захарьиным она вполне открыта. В присутствии Иоанна она чувствует себя парализованною до той минуты, когда он объявляет ей о разводе. Здесь материнское чувство берёт верх, и она, вопреки предостережениям Захарьина, восклицает вне себя: «Так это правда?», но тотчас же подавляет своё волнение и с тоном совершенной покорности просит пощады для сына. Когда Иоанн после наблюдения кометы объявляет о близкой своей смерти, царица плачет не из одной обрядности, но и по человеческому чувству, внушающему нам прощать, в минуту их смерти, тем, кто нам сделал зло. Если все эти переходы из одного состояния души в другое будут выражены верно, роль царицы выйдет привлекательна и интересна.

Царица должна быть непременно молода и красива. Иначе Иоанн не женился бы на ней. Речь её беспокойна, неровна, лихорадочна, но отнюдь не плаксива. Она меняет свой костюм четыре раза. В сцене с мамкой и с Захарьиным она является во вседневной домашней одежде. Потом, для принятия Иоан-

на, надевает большой, или царский, наряд. В четвёртом действии, когда она смотрит на комету, на ней снова домашняя одежда, но богаче первой, и наконец, в последней сцене пятого действия, она одета в праздничное платье по случаю улучшения Иоаннова здоровья.

Прекрасные образцы женских одежд можно найти в «Русских древностях» Солнцева.

## **Мария Годунова и царица Ирина**

Мария Годунова — характер сильнее царицы. Она, не будучи в постоянном соприкосновении к Иоанну и чувствуя в муже своём сильную опору, не так запугана. То же можно сказать и о царице Ирине, в которой есть доля нравственной силы её брата, Годунова. Но прекрасный исторический характер Ирины не мог быть развит в трагедии, и ей приходится сказать только несколько слов. Тем не менее они должны быть сказаны с достоинством и скромностью, составлявшими её особенность.

Мария Годунова, когда муж её, в пятом действии, обнаруживает при ней всю глубину своего честолюбия, должна испугаться, а весь разговор её с мужем должен дать зрителю

возможность заглянуть в душу Годунова, до толе непроницаемую. Этим установится переход к следующей сцене (Годунова с волхвами), к которой зритель должен быть подготовлен заранее, так чтобы поворот в Годунове не показался ему сюрпризом.

Вообще никаких психологических сюрпризов не должно быть в трагедии. Я старался избегать их в тексте, но многие переходы должен был подразумевать, за недостатком места. На сценических артистах и артистках лежит обязанность пополнять и объяснять эти переходы своею игрою.

Царевна Ирина и Мария Годунова также молоды и красивы. В «Русских древностях» Солнцева они найдут себе богатый выбор костюмов.

## **Мамка**

О мамке царевича Дмитрия необходимо сказать только, что она не та историческая мамка, боярыня Василиса Волохова, которая участвовала в убиении царевича. Волохова была приставлена к Дмитрию позже. Моя мамка — простая, добрая и бестолковая баба, как большая часть мамок. На ней парчовая

душегрейка и такая же шапочка.

Здесь кончается обзор всех наших отдельно действующих лиц; но нам остаётся разоб-  
раться ещё два важных характера в трагедии,  
а именно: бояр и народ.

## **Бояре и народ**

Когда дед Иоанна Грозного, Иван Васильевич III, положил конец удельной системе, независимые князья, лишившиеся своих дружин и владений, стали в ряды московских царедворцев, уже испорченных и порабощённых. Областные интересы обратились в придворные, характеры измельчали, и началась пора местничества, явления уродливого, смеси западной родовой гьерархии с каким-то чиновничеством и генеральством. На первых порах эта запутанность понятий и сбивчивость положений много способствовали к усилению верховной власти, которая пользовалась ими, руководствуясь правилом: *Divide et impera*. Но впоследствии местничество стало большим неудобством для самой верховной власти, особенно во время внешних опасностей. Управление делами замедлялось, сражения проигрывались, потому что воеводы и

военачальники спорили о первенстве в самые решительные минуты и ни один не хотел быть под начальством другого на том основании, что отец или дед его занимал когда-нибудь высшее место. Сама железная воля Иоанна Грозного не могла искоренить этот пагубный обычай, и царь в важных случаях должен был довольствоваться временным приказанием: быть без мест.

Таково положение общества, когда открывается трагедия.

Несостоятельность бояр должна с первого раза броситься в глаза. Созванные для избрания нового государя, они думают только о том, как бы не уронить своего личного звания. Все понятия о чести у них извратились, вся энергия сосредоточилась в заботе каждого о себе самом на счёт всех прочих.

Безусловно покоряясь высшему произволу, они, в свою очередь, позволяют себе безусловный произвол над низшими и всячески угнетают народ. Явление понятное: кто не признаёт за собою никаких человеческих прав, тот не признаёт и никаких обязанностей в отношении других, и наоборот. Интриги, доно-

сы, клевета и обрядность — вот жизненное содержание этих растленных бояр, низошедших до рабства, но жадных ко власти и к почестям. Рядом с этим, они мужественно дерутся в боях и почти равнодушно умирают на плахе. Странное противоречие, которое вряд ли достаточно объясняется их фатализмом, облечённым в религиозную форму; явление, которому трудно было бы поверить, если бы история Византии не представляла нам сходных примеров. Исключений, слава богу, было немало, но они тем не менее оставались исключениями, и общий уровень был самый безотрадный.

Иоанн, после бурной своей юности начавший под руководством Адашева и Сильвестра заниматься делами, между прочим обратил внимание и на угнетённое состояние народа.

Он издал судебник, ограничил права воевод и областных судей и положил строгое наказание за кривосудие и лихоимство. Народ вздохнул под его правлением, и когда вскоре потом начались боярские казни, он ими не возмутился, видя в казнённых своих угнетателей. Но Иоанн казнил бояр не для того, что-

бы оградить народ (для этого не нужно было такого сильного средства); не для того даже, чтобы сделаться популярным. Он казнил их от страха и из мщения: от страха измены, которой не существовало; из мщения за их олигархические попытки во время его детства. Если б он был тот друг народа, которым старается выставить его новая школа, он не велел бы избивать целые деревни, целые сёла и посады, принадлежащие опальным боярам; он не травил бы медведями нищих, приходивших просить у него милостыни; он, чтобы сделать неприятность своим сановникам, не приказывал бы резывать их слуг.

Нет, Иоанн не знал лицепрятия к сословиям. Народ был для него таким же материалом, как и бояре, и он убивал крестьян своих опальников так точно, как убивал их скот и разорял их жатвы. Он действительно хотел равенства, но того равенства, которое является между колосьями поля, потоптанного конницею или побитого градом. Он хотел стоять над порабощённой землею один, *аки дуб во чистом поле*. Тщетно историк будет искать последовательности или системы в его дей-

ствиях. Он везде наткнётся на противоречия. Единственная система Иоанна было ломание и уничтожение всего, что с поводом или без повода подпадало под его немилость. Единственный способ объяснить его характер это признать, что он был раб своих страстей и жил в такую пору, когда нация не только не протестовала против произвола, но как будто стоворилась помогать ему всеми силами. Если может быть извинение Иоанну, то его следует искать в сообщничестве всей России. Что была возможность ему противостоять это доказывает, между прочим, и самое местничество, которого он не в силах был истребить, потому что оно имело свой корень в *убеждении всех*.

Итак, если народ вздохнул под правлением Иоанна, то относительное благоденствие его было непродолжительно. Удалив Сильвестра и Адашева, Иоанн стал первый попирать ногами собственные свои законы. Неустройство земли под конец его царствования достигло высшей степени. Она была разорена и опричиною, и войнами, и ханскими набегами, и голодом, и алчностью воевод, которым

царь в последние годы отпустил поводья. Когда частные случаи неправосудия или лихоимства доходили до него, он казнил виновных и в этом походил на известного доктора Санградо, лечившего все болезни одним и тем же средством. Не менее того эти отдельные случаи скорого правосудия получали известность в народе, который, не будучи избалован и не находясь в личном соприкосновении к Иоанну, продолжал видеть в нём защитника и славил издали его справедливость. Всё доброе относилось к нему, всё дурное к его воеводам, Иоанн же был огромная сила, а сила всегда нравится народу.

О стремлении к настоящему и прочному ограждению от административного произвола не было в народе и понятия. Ни народ, ни бояре не заботились об общих началах. Всякий думал лишь о настоящем дне и радовался беде своего врага или угнетателя, не помышляя о том, что и над ним всякую минуту могла разразиться такая же беда. Никто не искал от произвола другого средства, кроме произвола; он был и болезнью и лекарством. Ни в боярах, ни в народе не было чувства законно-

сти, и в этом заключается их вина и трагическая сторона, которую я старался выразить.

Передать эту вину игрою в отдельных сценах почти невозможно. Она должна явствовать из целой трагедии; но я считал нужным указать на неё здесь, потому что она набрасывает свет на все характеры и события вообще.

Что касается до игры масс, то я замечу следующее. Вся сцена Боярской думы должна идти как можно живее. Она только вступительный аккорд, которым зритель посвящается в положение России и готовится к своему знакомству с Иоанном. Все споры, восклицания, перебивки и то, что я назвал говором, должны сыпаться как горох. В некоторых местах следует всем говорить вместе. Не беда, если зритель и проронит иное слово; где играют массы, важны не слова, а общие психические движения.

После сцены в Думе бояре являются ещё массою, когда просят Иоанна остаться на престоле; потом при приёме Гарабурды; потом когда восстают против унижительного посольства, и наконец, в последней сцене, когда Иоанн умирает.

Во всех этих случаях им предстоит немая игра, сообразная с их положением. Они не должны стоять неподвижно, пока говорят другие, но и не должны метаться, как танцующие балет. Умеренное движение в их рядах, обращение время от времени одного к другому, выражение на лицах радости, ужаса или иного чувства, вызванного обстоятельствами, покажут их участие к драматическому действию и свяжут их с отдельными лицами трагедии. Сверх того следует заметить, что бояре, хотя и раболепные, соблюдают степенность, считавшуюся в то время главною принадлежностью высокого сана.

Когда они, в первом действии, преклоняют колена перед Иоанном, на их лицах изображается страх и недоумение. Когда царь, принимающий Гарабурду, обращается к ним с вопросом:

*Ужель забавным я кажусь?*

некоторые смущаются, другие готовы броситься на Гарабурду. Когда царь настаивает на своём унижительном посольстве, взрыв негодования слышится в их ответе:

*Нет, государь! Нет! Этого нельзя! —*

Они наконец (увы, ненадолго!) почувствовали своё достоинство, и ответ их должен греметь таким единодушием, что он всякого, кроме Иоанна, заставил бы войти в себя. Но Иоанн знает, с кем имеет дело. Медленно встаёт он с своего кресла; медленным и сдержанным голосом начинает:

*...Так-то  
Присягу бережёте вы свою?  
Так помните Писанье?*

И когда он доходит до места:

*Ниц! В прах передо мною!  
Я ваш владыко!.. —*

бояре преклоняют головы.

Когда, наконец, в последнем действии, Иоанн падает мёртвый, когда врачи объявили, что он действительно умер, на лицах бояр изображается тупая одурелость. Они, как узники, прошедшие половину жизни в тюрьме и выпущенные внезапно на волю, не радуются божьему свету. Они обступают умершего царя, смотрят на него и ничего не понимают,

пока Захарьин не говорит им:

*Чего же мы стоим и ждём, бояре?*

Тогда они со страхом приближаются к Иоанну, с робостью поднимают его и бережно кладут на скамью.

В следующей за тем сцене, когда Годунов берёт в руки правление царством и отделяется от своих врагов, лица бояр выражают изумление, страх, досаду или зависть.

Одежда их разнообразна; в ней допускаются многие цвета, но она всегда богата, ибо они являются или в Думе, или в присутствии государя. В Иоанново время бояре стригли волосы коротко. Длинные волосы были признаком опалы, а причёска *à la tougique* вовсе не существовала. В Думе они сидят в шапках; в царских палатах стоят с обнажённой головой.

Народ является только в одной сцене, в первой половине четвёртого действия. Она, равно как и Боярская дума, должна быть сыграна живо везде, где говорят массы. Таких мест в ней четыре. Сперва напор голодного народа на мучной лабаз; потом восстание на

Годунова; потом предложение повесить Битяговского и Кикина; и наконец, восклицания в пользу Годунова и нападение на Кикина. В этой короткой сцене психические движения масс очень разнообразны, и все они должны быть выражены дружно, с некоторым обдуманым беспорядком. Когда он доходит до взрыва, все должны кричать вместе, перебивая друг друга. Криков unisono в общем движении быть не может. Следует ещё заметить, что в народе две партии: умеренные и отчаянные. Первые вступаются за Годунова довольно вяло и робко, а вторые тотчас берут над ними верх, как оно обыкновенно бывает в подобных случаях.

Одежда народа та же самая, как и в наше время, но она потёрта и изношена; многие в лохмотьях. Они давно голодают, продали и заложили всё, что у них было получше; на многих не сапоги, а лапти; иные даже босиком. Лица их бледны, изнурённы; глаза беспокойны; они в отчаянье; они готовы на всё.

Теперь мы разобрали весь живой и человеческий элемент трагедии.

Посмотрим на местность, в которой он

движется.

## Декорации

В каждом из пяти актов есть две половины, и каждая половина имеет свою декорацию, итого десять декораций, а именно: 1) Боярская дума; 2) опочивальня Иоаннова; 3) покой в царском тереме; 4) покой в доме Шуйского; 5) покой на царицыной половине; 6) престольная палата; 7) площадь в Замоскворечье; 8) внутренний царский покой с видом из окна на Кремль, на комету и на звёздное небо; 9) покой в доме Годунова и, наконец, 10) великолепная палата, наполненная Иоанновыми сокровищами, также с окном, выходящим на Кремль.

Описывать подробно все эти декорации здесь не место, но некоторые из них находятся в тесной связи с игрою, и потому можно сказать о них несколько слов.

Опочивальня Иоанна должна носить характер её хозяина и его настоящего настроения. Все в ней просто, она похожа на келью. Стены тесовые, печь или лежанка изразцовая, в стороне простая кровать из голых досок. Единственным украшением служит бога-

тый кивот с образами. Но здесь представляется затруднение, которое может быть устранено двояким способом. Показывать образа на сцене у нас запрещается, но один кивот вряд ли подпадает под это запрещение. Я предлагаю или показать его наискось (в перспективе), так чтобы образов не было видно, или задёрнуть его пологом, что было в обычаях наших предков.

К тому же способу можно прибегнуть и в доме Шуйского, и на царицыной половине.

Внутренний царский покой, из которого царица и другие женщины смотрят на комету, должен быть освещён слабо, дабы всей сцене придать более таинственности.

Палата, где Иоанн осматривает свои сокровища, не может быть достаточно великолепна. Пусть декоратор истощит всё своё воображение, чтобы представить нам московско-византийскую залу, с низкими сводами, с вычурными столбами, с живописью на стенах, с лежащими на столах и наваленными в кучах на полу грудями золотых и шёлковых материй, сосудов, ковшей, чаш и черпал, драгоценного оружия, конских сбруй, одним сло-

вом, всего, что способствует к блеску впечатления и гармонирует с действительными предметами, принесёнными на сцену.

Когда, по смерти Иоанна, Годунов отворяет окно, чтобы объявить о ней народу, комета опять видна на небе, но уже не так близко, как в четвёртом действии, и не в том направлении. Она совершила своё дело; приходила предвестить нам кончину Иоанна со всеми её последствиями и уходит теперь в неведомые пространства предвещать другим мирам другие бедствия.

Подробности мебелировки можно найти в брошюре Костомарова: «Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа», а также и в сочинении Забелина: «Домашний быт русских царей», а рисунки утвари и оружия в «Русских древностях» Солнцева.

### **Общий рисунок трагедии**

**Т**еперь собраны перед нами все отдельные материалы для постановки трагедии; но как всякая картина или всякая симфония, независимо от своих подробностей, украшений, эпизодов и прочих составных частей, должна иметь свой особенный, основной ри-

сунок, который остаётся виден даже по их устранении, так и трагедия имеет свой твёрдый остов, который не всегда бывает заметен, но на который следует указать сценическим художникам, чтобы они могли сразу обозреть архитектуру трагедии и чрез это облегчить себе цельность исполнения.

В «Смерти Иоанна Грозного» мы видим две восходящих линии, из которых одна подымается как ракета, держится некоторое время на воздухе и потом быстро опускается, описывая параболу; другая подымается вслед за ней, пересекает её в нисходящем её пути, а сама не падает, но теряется в небе, выходя из рамы трагедии.

Первая линия принадлежит Иоанну, вторая Годунову. Судьба Иоанна с той минуты, когда он сожалеет о своём намерении сойти с престола, до той, когда он падает мёртвый, составляет одно цельное происшествие, с его развитием, апогеею и катастрофой. Судьба Годунова не кончается в трагедии; она, когда опускается занавес, находится в периоде полного развития и образует как бы пролог для новой драмы.

Пункт апогеи Иоанна — это приём Гарабурды; пункт пресечения его нисходящей линии восходящею линиею Годунова — это конец народной сцены в четвёртом действии. Отсюда Годунов продолжает подыматься, а Иоанн продолжает падать. Не выпускать из виду этих двух линий очень важно для исполнителей, потому что на этих линиях должно быть основано *crescendo* общей игры.

### **Общий колорит трагедии**

Далее. Как в живописи каждая картина, так в драматическом искусстве каждое произведение имеет свой особенный колорит, которому подчиняются и с которым гармонируют все прочие цвета, как бы они ни были между собою различны.

Господствующий колорит «Смерти Иоанна Грозного» есть давление, производимое Иоанном на всё его окружающее. Оно заметно и тогда, когда его нет на сцене, но при каждом его появлении в воздухе чувствуется как будто перемена температуры. Становится душно, и дышится тяжелее.

Иоанн в трагедии то же, что бас в симфонии. Он тот знаменатель, к которому приво-

дятся все дроби, какого бы они ни были названия. Он также камертон, по которому строятся все инструменты. Между лицами трагедии он представляет солнце, вокруг которого вращаются все планеты, не исключая и самого Годунова. Один Гарабурда пересекает эту систему, как налетевшая на неё комет. Вот почему роль Иоанна, в содержании своём равная важностью роли Годунова, несравненно её важнее в исполнении, хотя последняя и требует более искусства. Если роль Годунова будет сыграна слабо, трагедия ещё может существовать; если же будет испорчена роль Иоанна, пропала вся трагедия.

В заключение да будет мне позволено напомнить нашим артистам, что успех каждого преимущественно зависит от содействия ему всех прочих. Мнение, что плохая игра одного выставляет в выгодном свете хорошую игру другого, весьма ошибочно. Одно из главных сценических условий — это иллюзия; а ничто так не разрушает иллюзию, как ошибочность реплики. Слушатель, присутствующий при правильном чтении драмы кем-нибудь одним, полнее переносится в её мир, чем зри-

тель, видящий перед собою декорации и костюмы, когда рядом с наслаждением превосходной игрой он получает нестерпимые моральные толчки. Знаменитая Рашель среди отличной труппы в Париже была несравненно выше, чем окружённая какими-то жиденятами, наряженными в Орестов и Эссексов, которых она навезла с собою в Россию. В каждой правильно и верно сказанной фразе соревнующего художника есть что-то электрическое, вызывающее на правильность возражения. Напротив того, неверность дикции в другом парализует самый высокий талант, и чем талант выше, чем вернее его драматическое ухо, тем труднее ему удержаться на своей высоте, когда играющие с ним фальшивят.

Он тогда находится в положении певца, если б оркестр стал вдруг повышать или понижать тон аккомпанеента. Или, чтобы употребить другое музыкальное сравнение, он будет как превосходная скрипка среди бессовестных дёргачей. Нет сомнения, что и достоинство и оценка этой скрипки сильно страдают от общей разладицы.

Итак, наши первостатейные художники поступят и благородно и благоразумно, если будут всеми силами помогать играющим с ними достигнуть до возможной для них высоты. Дело, за которое все принимаются дружно, совершается легко и выносится на плечах, к очевидной выгоде каждого.

Ещё одно, последнее замечание.

Трагедия написана стихами, и к ним приложено много старанья. Надобно, чтобы все играющие выучили свои роли твёрдо наизусть. Полагаться на суфлёра вещь вообще сомнительная, но в прозе она сходит иногда с рук. В стихах же вовсе не всё равно, которое слово будет сказано прежде и которое после. Каждая перестановка и каждое неправильное ударение может поразить слушателя как ударом по лбу. Это, конечно, говорится не для первоклассных художников, которым оно и без того известно, но, при многочисленности действующих лиц, надобно иметь в виду всех без исключения.

### **Антракты и музыка**

**А**нтракты должны быть как можно короче. На хорошо организованных сценах они

не превышают пяти минут. Только после третьего действия, в конце которого совершается перелом в судьбе Иоанна, антракт может быть длиннее, потому что здесь трагедия делится как бы на две половины: восходящее движение кончилось и начинается нисходящее. Весьма было бы желательно, чтобы все антракты были наполнены музыкой русского характера, которая согласовалась бы с содержанием следующего за ней действия. Так, перед первым действием небольшая увертюра могла бы выразить спор бояр, раскаянье Иоанна и торжество его нового вступления на престол. Перед четвертым действием можно бы включить в музыкальную пьесу, исполненную диссонансов, несколько аккордов из «Со святыми упокой!». А перед последним действием музыка могла бы изобразить радость о выздоровлении Иоанна, принять в себя песнь и пляску скоморохов и кончиться беспорядочным рушеньем трагического здания.

В третьем действии Иоанн входит в престольную палату при звуке труб и звоне колоколов. Я бы заставил трубы сыграть одну фра-

зу из народной обрядной песни «Слава» и кончить тушем «Многие лета!».

### **Заключение**

**Т**еперь, кажется, сказано о постановке все, что было нужно. Я не имею притязания, что при разборе характеров я истощил предмет и указал на все его стороны и оттенки. Даровитый художник найдёт, без сомнения, множество таких, о которых я и сам не подозреваю. Цель моя была только определить главные линии, дабы творчество исполнителей не шло врозь с творчеством поэта, коих согласие составляет первое и необходимое условие успеха.

<1866>

## «Смерть Иоанна Грозного» на веймарской сцене

*Из письма к Б. М. Маркевичу*

...Вы желали, чтоб я описал вам подробно, как сошло с рук представление на веймарской сцене моей трагедии «Смерть Иоанна Грозного», в превосходном переводе г-жи Павловой. Спешу исполнить ваше желание.

Я приехал в Веймар поздно вечером и на другой же день был приглашен на первую репетицию. С веймарскою труппой познакомился я в самом театре. Главного трагика, Лefeldа, я знал уже с прошлого года, и как в тот же раз, так и теперь, был поражен его наружностью. Игры его я еще ни разу не видал, но если бы мне было предоставлено заказать фигуру Грозного по историческим преданиям и по собственным моим понятиям, я не мог бы вздумать ничего лучше. Рост его высок, осанка величественна, голос звучен, выразительные, резкие и подвижные черты страстно-зловещего типа кажутся созданными олицетворять гнев. Где бы я ни встретил этого че-

ловека, мне непременно пришло бы в голову: «Вот лицо, подходящее к Иоанну Грозному!» Характер этого артиста, как я узнал после, вполне соответствует его наружности. Ему на представлении не дают ничего острого в руки; платья шьют на него прочнее, чем на других. Он в моем присутствии подошел к директору театра, или, как его там называют, к гофинтенданту, барону Лону, и сказал ему с озабоченным видом: «Ради бога, господин барон, не велите в сцене с Гарабурдой давать мне металлического топора, *или я не отвечаю ни за что!*» Исторический посох Иоанна, с железным концом, был для него нарочно сделан *тупой*. Впоследствии я имел случай убедиться, что эти предосторожности не излишни. Но, несмотря на свою страстность, г. Лефельд человек совершенно благовоспитанный, образованный и в высшей степени добросовестный. Это качество он разделяет со всею веймарскою труппой, и я на первой же репетиции был поражен той совестливостью, тою любовью и тем глубоким уважением к искусству, которыми проникнут каждый из артистов. Какие бы ни были их личные отноше-

ния между собою, отношения эти забываются и исчезают пред общим делом. Искусство есть для веймарских артистов как бы священнодействие, к которому они готовятся, каждый по мере сил. К моему удивлению и удовольствию, я тотчас же убедился, что артисты были знакомы с моею брошюрой: «Проект постановки на сцену „Смерть Грозного“». Готовясь поставить трагедию и узнав, что есть такая брошюра, дирекция позаботилась добыть с нее перевод, и добыла отличный, который я видел в рукописи у гофинтенданта. О том, что все актеры, от первого до последнего, знали свои роли совершенно твердо, — нечего и говорить. Лефельд несколько раз просил суффлера не подсказывать ему, говоря, что он только мешает, и когда я выразил ему по этому поводу мое удивление, он отвечал мне: «Это моя первая обязанность; если б я не знал своей роли наизусть, я заслуживал бы, чтобы меня со стыдом согнали со сцены!» Лефельд один из первых трагиков Германии, а в роли короля Лира считается решительно первым. Это не мешало ему выслушивать все мои замечания не только со вниманием, но даже с призна-

тельностью. То же делали и прочие артисты. Каждый из них просил меня остановить его, если я найду, что он говорит или играет не так. Случаев испытать их готовность представлялось немного, и они более относились к произношению собственных имен и к ударениям, но и эта трудность была скоро побеждена, исключая имя: *Мстиславский*, которое до конца произносилось *Mistislavski*. Некоторого труда стоило мне отучить бояр от поклонов со сложенными крестообразно на груди руками. Они привыкли так кланяться в разных «Лжедмитриях», начиная от шиллеровского до написанного Геббелем. «Aber es ist ja orientalisches!» — говорили они мне. — «Darum eben muss nicht sein!»[10] — отвечал я с невольною досадою на это постоянное смешивание нас с турками и татарами. Легче было мне заставить бояр становиться пред Иоанном на оба колена, вместо того чтобы преклонять одно, как они делали сначала. Пред начатием репетиции некоторые актеры подошли к барону Лону и спросили его восстановить кое-какие места, вычеркнутые для сокращения драмы. Сокращения эти были сде-

ланы того же утра бароном Лоном вместе со мною. Но когда я предложил ему сократить сцену схимника, он на это не согласился, говоря, что она, наверно, понравится публике. Ни из этой сцены, ни из чтения синодика не было выкинуто ни слова. Зато в Боярской думе мы вычеркнули почти все начало, и хорошо сделали. Она вышла несравненно живее. Я не мог также не одобрить, что после речи Сяцкого все бояре вскочили с своих мест, вышли на середину сцены и продолжали так играть до конца.

Лефельд перед репетицией объявил мне, что этот раз он будет не играть, а только говорить, и просил меня не иметь о нем еще никакого суждения; но мало-помалу он увлекся. Его сокрушение, его радость при добрых известиях из Пскова, его гнев на Курбского, его ирония с боярами, его хладнокровный приговор Сицкому и, сверх всего, его царственный вид и голос — все было великолепно. Без гримировки, без костюма, я увидел иред собой настоящего Иоанна Грозного, каким я его воображаю.

В этот день репетировали только три пер-

вые действия, от 4 до 7 1/2 часов. Годунов (г. L'Hamé) был также очень хорош и понял свою роль верно. В сцене, где Шуйский угощает своих гостей, я заметил за кулисами одного человечка в очках, с длинным носом, с отвислыми губами и с подвязанною рукой, который, казалось, смотрел с любопытством на угощение Шуйского. Довольно неприятная его наружность отвлекала мое внимание от актеров.

«Что это за фигура в очках? — думал я, — и зачем она тут стоит? Должно быть, какой-нибудь отставной учитель математики!» К немалому моему удивлению, Шуйский обратился к нему со словами:

*Войди, Данилыч!*

«Ну, хорошего же прибрали вы Битяговского!» — подумал я, но с первых же слов человека изменил свое о нем мнение. Трудно определить, в чем именно заключается верность дикции, но каждое слово Битяговского в очках было сказано так верно, что тотчас же исчезли и очки, и длинный нос, и отвислые губы. Это был тот бессовестный кутила, которо-

го я старался описать в моей брошюре. Все движения его были художественны, естественны и картинны. За ножом он полез в свой сапог таким молодцом, что страшно стало за Годунова. Когда кончилась сцена, я пошел за кулисы и, еще не зная его имени, крепко пожал ему здоровую, неподвязанную руку. Он извинился за больную, сказав, что недавно сломал ее, но что на представлении он ее скроет. «Нет, пожалуйста, оставайтесь, как вы есть, — отвечал я, — это вам к лицу и совершенно к вашей роли; вы подрались в кабаке, и ваша рука пострадала!» Я узнал, что этот человек весьма известный и даровитый актер Кнопц, которого я видел прошлого года на веймарской сцене в роли венгерского цыгана, где он играл на скрипке чардаш, пел, как цыган, и выговаривал, как венгерец, но без всякого преувеличения. Меня тогда же поразила необыкновенная правда и верность его игры. Я рад был с ним познакомиться.

Гарабурда оказался слаб. Он не был ни тем молодцеватым, вызывающим паном, каким представляет его Бурдин, ни тем сосредоточенным, невозмутимым малороссиянином,

каким я описываю его в моей брошюре. Роль Гарабурды более вертится на его национальности, а немцы не понимают славянских оттенков. Я пожалел, что Гарабурда достался не Кноппу. Тот бы, наверно, понял.

*И ныне же молебны  
Победные служить по всем церк-  
вам! —*

прохрипел, задыхаясь, Иоанн и упал в изнеможении на свой престол, совершенно как стоит у меня в тексте. Этим кончилась первая репетиция. Когда я подошел к Лефельду, руки его были холодны и пот катился с его лица.

— Это вы называете не играть, а говорить? — сказал я.

— Пожалуйста, не судите обо мне, — отвечал Лефельд, — я берегу мои средства!

«Ну!» — подумал я.

В этот же день я познакомился с заслуженным семидесятилетним актером Франке, которому выпала на долю роль Мстиславского. Он хорошо знал Гёте, помнил много анекдотов того времени, и я обещал себе немалое удовольствие от его рассказов, но, к моему и к

общему сожалению, с ним случился на другой же день удар, и роль была передана другому.

На следующее утро репетировали два последние действия. Великий герцог приехал на репетицию. Я познакомился с царицей, царевной и Марией Годуновой. Все три молоды, красивы и представительны, особенно царица (m-lle Charles), родом стирийка и, вероятно, с примесью славянской крови: так она похожа на русскую.

Народную сцену репетировали раз шесть сряду; она все шла не довольно живо, по мнению режиссера, г. Подольского. Персонал веймарской труппы невелик, и в толпу народа надо было примешать много женщин. Здесь мне пришлось отстаивать характер и достоинство русской женщины. Режиссер непременно хотел, чтобы крики: «Порешим Годунова! Вздернем Битяговского! Разнесем на клоу чья Кикина!» — пали на долю женщин. Он даже показывал им, как они должны потирать руки от удовольствия, и приводил им в пример *dames de la halle*[11] во время французского террора. Я насилу убедил его, что это не в

русских нравах, и скромные статистки благодарили меня за избавление их от не свойственной им кровожадности.

Народная сцена под конец пошла отлично. Битяговский играл мастерски, но Кикин был решительно плох. В пятом действии явились скоморохи. То были почтенные отцы семейства, с седыми бакенбардами, кривляющиеся основательно и добросовестно. Лефельд заставил их вбегать несколько раз сряду, прежде чем определилась мера их кривляний и то место, где они должны были остановиться, чтобы дать себя увидеть умирающему Иоанну, а его не загородить от зрителей, ибо Лефельд много, и совершенно справедливо, рассчитывал на свою мимику в этой сцене. Он, уже лежа на полу, привстал при виде скоморохов, отполз от них в ужасе и окончательно упал навзничь. Он исполнил слово в слово совет мой в брошюре о постановке, и немая игра его вышла потрясательна для самих актеров.

Теперь вся трагедия была предо мною, и я не мог не порадоваться тому старанию, уважению и даже любви, с которыми все актеры

к ней относились. Никто из них не сомневался в успехе, и на мои сомнения Лефельд отвечал теперь, как и прошлого года, со свойственной ему страстностью: «Если эта пьеса не будет иметь величайшего успеха, — назовите меня подлецом! Nennen Sie mich einen Schuft. Буду виноват я, а не вы!»

Вообще участие в трагедии и ее постановке было общее. О ней говорил весь Веймар, и это счастливое обстоятельство я приписываю прежде всего моему доброму приятелю Листу (ныне аббату Листу), который три года тому назад прочел в Риме первый акт, в переводе г-жи Павловой, напечатанном в «Russische Revue»[12] покойного Вольфзона, и остался им так доволен, что рекомендовал его великому герцогу Веймарскому. Великий герцог через Листа предложил мне поставить трагедию на его театр, и я принял предложение с благодарностью. С тех пор великий герцог не переставал интересоваться трагедией. В прошлом году я доставил ему рисунки нашего академика Шварца. Он поручил мне написать к г. Шварцу, находившемуся в Париже, и пригласить его на возвратном пути заехать в

Веймар. Г. Шварц остался вполне доволен сделанным ему приемом. Он успел осмотреть готовые костюмы, дать кое-какие советы о постановке и составить некоторые новые рисунки. При этом он имел случай, как и я, оценить горячую любовь великого герцога к искусству, его уважение к истории и к археологии и радушную добросовестность его дирекции.

Было еще две репетиции всей трагедии два дня сряду; последняя была утром в день представления. Великий герцог приезжал каждый раз на некоторое время в свою ложу. В эти четыре дня актеры успели отлично сыграть, и пьеса обещала идти хорошо. Все были в этом уверены, только Лефельд, простудившийся накануне, боялся за свой голос. В этот день я в первый раз увидел декорации. Они были неудовлетворительны для русского археологического глаза и большею частью подобраны из других пьес. Залы в византийском вкусе, взятые из «Велизария» и «Тангейзера», более всего подходили к русскому характеру. Я пошел посмотреть костюмы и главными остался очень доволен. Царское об-

лечение и Мономахова шапка были превосходны, шубы и кафтаны бояр совершенно приличны. Женские костюмы я увидел только вечером, на представлении. Тут чуть было не случилась беда. Осматривая костюмы, я заметил на одной полке штук десять каких-то тюрбанов, вроде тех пирогов, которые подают к чаю, но отороченных мехом. Рустан, мамелюк Наполеона I, также носил на голове такой пирог. Зловещее предчувствие мною овладело.

— Скажите, — спросил я костюмьера, — ведь это не для моей трагедии приготовлено?

— Для вашей! — отвечал он, приятно улыбаясь.

— Помилуйте, да это не по рисункам Шварца.

— Нет, — ответил костюмьер, — *das ist aus dem Demetrius*[13].

Мы это наденем на тех статистов, которые появятся при приеме посла.

— Но таких пирогов русские никогда не носили!

— *Aber es ist orientalisch!*[14] — отвечал костюмьер.

Опять orientalisch! и я в отчаянии побежал отыскивать гофинтенданта.

— Ради бога, велите это прибрать в кладовую и запереть на ключ, наденьте на статистов, что вам угодно, только не это!

Барон Лон обещал мне исполнить мою просьбу, и тюрбаны были прибраны.

Когда настало время представления, я отправился в маленькую боковую ложу великого герцога, предоставленную на этот раз мне одному. Она была с решеткой, которую я мог отворять, и с дверью, ведущею на сцену. Ложа гофинтенданта была напротив меня. Сам великий герцог с семейством находился в большой средней ложе. Театр был полон, все билеты давно разобраны, и многим желающим не достало мест. Не знаю почему, я не ощущал никакого волнения, и мне казалось, что я готовлюсь смотреть не на свою, но на чужую драму. На репетициях, напротив, особенно в первый раз, когда я взошел на сцену и почувствовал под собою те самые доски, по которым лет за шестьдесят ходили Гёте и Шиллер, дыханье мое сперлось, и слезы навернулись на глаза.

Условный знак был подан, и началась увертюра «Кориолана»

После ее мастерского исполнения послышались споры бояр, занавесь поднялась, я увидел волнующуюся Думу и тотчас же услышал монолог Захарьина о цели собрания, который в несокращенной сцене говорится позже. Захарьина играл Herr von Milde, доктор философии, трагик и вместе первый баритон веймарской оперы. Он играл хорошо и с достоинством, но далеко не так симпатично и художественно, как наш почтенный Леонидов. Годунов (г. L'Hamé) был очень хорош. Сицкий также.

Вообще, благодаря движению, введенному режиссером, в более скорому темпу веймарской труппы, сцена Боярской думы сошла с рук живо и вовсе не скучно. Когда она кончилась, единодушные рукоплескания наградили актеров.

Перемена декораций совершилась очень быстро. Я не видал Лефельда с последней репетиции и увидел его в первый раз в costume. Он сидел на своем кресле с опущенным взором, с опущенною рукой, державшею чет-

ки, у стола, на котором лежали бармы и шапка Мономаха. (Все совершенно согласно с текстом трагедии.) Лицо его вовсе не было гримировано, да и не оказывалось в том надобности. Чтобы сделать из него Иоанна Грозного, до гачно было редкой русой бороды и редких волос. Это, в самом деле, был Иоанн Грозный — и никто другой! Он говорил сдержанно, умеренно, глухим голосом, до самого письма Курбского, которое, в роли Нагого, отлично прочел молодой, красивый и даровитый серб Савич, единственный из актеров, умевший произносить имя Мстиславского. Когда кончилось чтение, Лефельд вскочил, вырвал письмо у Нагого и громким голосом потряс весь театр. Это, по моему мнению, была ошибка. Он слишком скоро превратился в богатыря. Но зато какой богатырь!

Я не видал Мочалова, но Лефельда могу сравнить только с Каратыгиным и не знаю, кому дать преимущество. Когда надели на него полное облачение, царственная фигура его явилась во всем его величии. Слова: «Теперь идем в собор перед всевышним преклонить колена!» — он произнес с необыкновен-

ным достоинством, и в театре послышался взрыв уже прежде начинавшихся, но доселе сдержанных рукоплесканий, которые продолжались и после опущения занавеси. Ко мне вбежал режиссер, уверяя, что это меня вызывают, но я не имел причины ему поверить и велел просить Лефельда, чтоб он вышел на сцену. Лефельд вышел неохотно, и когда я в антракте отыскал его в уборной, он казался в отчаянии, чуть не сорвал с себя парика, метался во все стороны и повторял: «Я играю отвратительно!. Я играю отвратительно!»

— Что с вами? — спросил я, — вы играли прекрасно!

— Нет, нет, я простудился, у меня катар, у меня нет голоса!

— Помилуйте, у вас такой голос, какой дай бог всякому!

— Aber ich kann nicht mit der Stimme malen! (Я не могу живописать своим голосом!) — отвечал он и, бросившись в кресла, закрыл лицо руками. Мне показалось, что он плакал. Меня позвали в мою ложу, куда пришел великий герцог поздравить меня с успехом. Я рассказал ему о состоянии Лефельда, и он, с своей-

ственным ему добротой, пошел сам на сцену ободрить унывающего артиста. Это удалось ему не вполне; Лефельд был неутешен.

После второго акта возобновились рукоплескания, режиссер опять вбежал ко мне, уверяя, что публика меня вызывает, но я, не слыша слова «автора!», опять выслал на сцену Лефельда и Ламе (Годунов), сказавшего свой монолог замечательно хорошо.

В третьем акте я, к сожалению, нашел, что Лефельд на репетициях играл лучше. Он был теперь слишком энергичен, тратил слишком много силы, но это заметил только я, а не публика. Очень приятно поразила меня своею картинностью m-lle Charles в костюме царицы. Она была великолепно: костюм богат и верен, наружность свежей и красивой ярославской девушки; игра очень хороша.

В Гарабурду Лефельд не пустил топором, но только замахнулся и откинул топор в сторону. Это было благоразумно: в его встревоженном состоянии он и деревянным топором раскроил бы Гарабурде голову.

Опять начались рукоплескания, опять вошел режиссер, а с ним и сам гофинтендант,

уверяя меня, что я не хочу показаться публике.

— Но они не зовут автора!

— У нас никогда автора не зовут, но если в новой пьесе хлопают продолжительно, это значит, что хотят видеть автора.

Я еще колебался, как вошел в ложу один знакомый и сказал мне, что публика на меня негодует.

— Wir klatschen uns die Hände wund, und er will nicht er-scheinen! (У нас от хлопанья болят руки, а он не показывается!)

Сомнения не оставалось, я должен был показаться. Меня вызвали два раза.

В четвертом акте случился сюрприз.

Пред поднятием занавеси я пошел на сцену и осмотрел Кикина. Он был одет как следует, только усы закрутил себе ужасно молодецки, что придавало ему вид италиянского браво, тем более, что он был огромного роста, выше всех головой. «Так нехорошо, — сказал я, — позвольте вам опустить усы!» — и, опустив ему усы, я возвратился в ложу. Народная сцена пошла отлично, но вот явился Кикин, и, к ужасу моему, я увидел, что он успел всу-

нуть свои длинные ноги до половины икор в какие-то соломенные корзины, которые, должно быть, приберег для большего эффекта до последней минуты. Корзины эти, как я узнал после, особенно понравились публике. Она увидела в них этнографическую точность, *couleur locale*[15]; но я на другой же день написал к гофинтенданту, прося его запереть их в кладовую на ключ вместе с тюрбанами. Кикин был невероятно плох, и когда пришлось ему убежать от толпы, ноги его оказались так длинны, что они с своими корзинами могли сделать только два шага чрез всю сцену. Зато Битяговский был прекрасен, и вообще вся сцена сыграна мастерски.

Во второй половине этого действия Лефельд опять выказал слишком много энергии. Он раза два без нужды бросался на пол и тем ослабил впечатление того места, где он становится пред боярами на колени. Но стал он на колени отлично, а пред этим, когда вскочил с кресла со словами:

*Что там скребет в подполье? —*

он в лице и голосе выразил такой ужас,

что у меня, от художественного чувства, волосы зашевелились на голове, и многие из зрителей привстали с своих мест. Это, кажется, была его лучшая минута.

Но вот настала сцена со схимником. Изнеможенный Иоанн говорил вяло, схимник отвечал ему вяло. Завязалось между ними нечто вроде дуэта на одни и те же ноты, как будто они бились об заклад, кто кому прежде надоест. Это было так нестерпимо, что мною овладела зевота и почувствовалась тоска в ногах. Кто тут был виноват? Я или они? Кажется, они. Иоанн и схимник не могут и не должны говорить в одном тоне, да еще в певучем. Тут, более чем где-либо, необходим контраст. По мне, этой сцене следовало провалиться, но она понравилась публике. Окончание акта:

*Боже всемогущий!  
Ты своего помазанника видишь,  
и пр. —*

было сказано прекрасно и покрыто рукоплесканиями.

В сцене с волхвами актер L'Hamé даже уди-

вил публику. Он считался доселе приличным *jeune premier*[16], но в этой сцене выказал себя настоящим трагиком и вырос в общем мнении. Он сказал мне потом, что очень любил свою роль и по мере игры все более в нее вживался.

Окончание пятого акта: игра в шахматы, появление Годунова, его взгляд на Иоанна, гнев и смерть Иоанна, а в особенности его трагическое движение при появлении скомоухов — произвели глубокое впечатление на публику. Мне сказали, что зрители, бывшие на задних местах, все встали, когда вышел Годунов, и не садились до самого конца.

Вообще всю вторую половину пятого акта в театре царствовало глубокое молчание, и только по опущении занавеси начались громкие и продолжительные рукоплескания, и я был вызван два раза сряду.

Я пошел на сцену и благодарил всех актеров. Успех трагедии был несомнителен. Он превзошел их собственные ожидания. Все были довольны, все меня поздравляли; один Лефельд ходил, повеся голову.

— Не судите обо мне, — говорил он, — ради

бога, не судите обо мне, я играл прескверно, но в следующий раз вы меня не узнаете! Из всего моего репертуара роль Иоанна моя любимейшая. Она как будто скроена для меня (sie ist für mich geschnitten), но моя простуда, мой катар совершенно меня расстроили.

Я не считал нужным сообщать ему теперь мои замечания о сделанных им ошибках, а напротив, высказал ему мое чистосердечное восхищение общим характером его игры. По моему мнению, Лефельд актер, обладающий средствами необыкновенными, но из двух условий великого артиста: способности вживаться в роль и способности управлять собою, он усвоил себе только первую. Он так вживается в роль, что перестает сомневаться в своей тождественности с представляемым лицом; но его необузданность есть враг его таланта.

Как бы то ни было, немецкая публика приняла русскую трагедию с давно не виданною благоволительностью. «Wir müssten weit zurückgreifen, — говорили мне актеры, — um uns eines solchen Erfolgs zu erinnern»[17]. Я спросил их, не из уважения ли к одобрению

великого герцога это случилось? Но мне отвечали, что веймарская публика очень самостоятельна и даже любит противоречить.

Второго представления я не видал. Оно было назначено через неделю, преимущественно для иногородних, то есть для жителей Йены, Эрфурта и Мейнингена, в каком случае обыкновенно учреждается экстренный вечерний поезд.

Теперь вот мой общий вывод: успехом своим и самым появлением в Веймаре трагедия прежде всего обязана мастерскому, высокохудожественному переводу г-жи Павловой. Я не считал возможным передать так верно и так поэтично, стих в стих, весь характер русского оригинала, со всеми его особенностями и архаизмами. Подобного перевода я не знаю ни на каком языке. Потом живому участию великого герцога, и наконец, необыкновенной добросовестности самих артистов, сохранивших на своей сцене еще гетевские предания. Что касается до материальных средств веймарского театра, они уступают не только нашим но и других главных городов Германии. Один актер должен часто играть две и три ро-

ли в той же пьесе. Так, у меня Сицкого и схимника играл один и тот же. Роли Григория Нагого и гонца были слиты в одну роль. Из двух волхвов один взял на себя роли обоих а другой молчал. Из двух врачей явился только один. Все стольники и слуги были заменены, к моему прискорбию, мальчиками, коих представляли женщины, названные на афише (увы!) пажами. Из сорока четырех лиц «Смерти Иоанна» явилось только тридцать три. Бирючей в народной сцене не было вообще, а вместо Григория Годунова верхом явился пеший пристав. Костюмы главных ролей то есть Иоанна, царицы, Феодора, Годунова. Ирины и Марии Годуновой, были прекрасны и богаты, прочие только приличны. Народ одет очень странно и совсем не по-русски. Декорации очень не удовлетворительны и небогаты. Но веймарская публика в этом отношении нетребовательна. Она, не избалованная внешнею постановкой, обращает внимание только на игру.

Из моего пребывания в Веймаре я вынес чувство уважения к труппе, благодарности к радушию великого герцога и признательно-

сти ко вниманию публики.

Лефельд сказал мне, что, если б его пригласили играть Иоанна в Петербурге на немецком театре, он вменил бы себе это в честь и в удовольствие.

1868

## **Письмо к г. Ростиславу по поводу появления г. Нильского в роли Иоанна Грозного**

**В**ы принимали такое живое участие в трагедии «Смерть Иоанна Грозного» с самой ее постановки на сцену (ваши журнальные статьи служат тому доказательством), что я чувствую потребность высказать вам мое мнение об игре г. Нильского в роли Иоанна. По моему убеждению, ни один из русских артистов не передал этого характера так удовлетворительно, как г. Нильский. Я знаю, что многие со мной не согласятся и скажут, что я подкуплен тем, что г. Нильский всегда твердо знает свою роль. Сознаюсь, что обстоятельство это расположило меня в пользу Нильского с первого моего с ним знакомства. В одной

французской поварской книге сказано: чтобы сделать соус из зайца, нужно прежде всего достать зайца. Изречение мудрое, которое можно перефразировать так: чтобы хорошо сыграть свою роль, нужно прежде всего ее выучить. Г. Нильский выучил обе свои роли (Годунова и Иоанна) почти безукоризненно. Я говорю почти и этим заявляю мое беспристрастие, но и некоторые вкравшиеся неправильности в ролях г. Нильского доказывают только одно: что предание строгой драматической школы на нашей сцене потеряно. Ни сам автор, ни большинство публики не поражаются перестановкой слов, искажающей стих и глубоко оскорбляющей метрическое ухо.

Из всех наших артистов (за исключением Леонидова) Нильский один знал свою роль наизусть и тем исполнил первое условие, требуемое от драматического артиста.

Но он не ограничился одним зданием: он проникнулся характером представляемого им лица, не пренебрег ни одной его чертой и разрешил трудную задачу соединить царственность со всеми видами страсти. Некоторые места вышли у него потрясательны. Так, на-

пример, при чтении синодика он превосходно сказал:

*Пятнадцать? Их было боле —  
двадцать запиши!*

Эхо место не только не вызвало у зрителей улыбки, как случилось на разных сценах, где давали «Смерть Иоанна», но произвело глубокое впечатление.

Слушая Нильского, я вспомнил, что сказал веймарский актер Лефельд, когда я, опасаясь неудачи, предложил выпустить это место.

— Ни за что! — возразил Лефельд. — Ich werde ihnen schon das Lachen vertreiben! (Я отобью у них охоту смеяться!). Действительно, никто не улыбнулся. У Лефельда несравненно более природных средств, чем у Нильского; но в том-то и заключается заслуга Нильского, что он воспользовался всеми своими средствами, которые, впрочем, далеко не малы.

Прекрасно выразил он ужас Иоанна в словах:

*Что так скребет в подполье?*

Прекрасно упал на колени перед боярами

и прекрасно прервал Шуйского словами:

*Молчи, холоп!*

за которыми произнес первые строки своего покаяния голосом гнева и угрозы. Это намеренное противоречие голоса с содержанием слов произвело эффект сильный, психически верный и совершенно новый. Очень тонко выразил Нильский в сцене Иоанна с волхвами то чувство, которое овладевает Иоанном в присутствии недоброй силы. Он ее и вызывает, и отрекается от нее, и боится ее, и хочет ее наказать. Все это слышалось в его голосе и виделось на его лице. Таких тонких черт у Нильского было много, но были также и недостатки.

В сцене с Гарабурдою он показался мне несколько однообразен. Когда Гарабурда бросил ему перчатку, он должен был, по моему мнению, помолчать и дотом начать совершенно тихо и сдержанно, почти шепотом:

*Из вас обоих кто сошел с ума?  
Ты иль король? К чему перчатка  
эта?*

а затем уже дать волю своему гневу и дей-

ти до бешенства.

В пятом акте, когда его вносят на креслах, он был недовольно хил и изнурен. В самой последней сцене он добровольно лишил себя такого огромного эффекта, которым так удачно воспользовался Лефельд, когда, уже лежа на полу, он увидал скоморохов и отполз от них в ужасе.

Гримирован был Нильский, в день своего дебюта, неудовлетворительно; но зато в следующий раз нельзя было желать лучшей фигуры и лучшей маски. Вы видите, что я говорю о Нильском беспристрастно, pro и contra. Повторяю, что, по моему мнению, он был на русской сцене лучший из всех Иоаннов, и предсказываю ему вообще, как трагическому актеру, блистательную будущность, если он при своем понимании и при своих средствах выработает в себе ту строгую школу, без которой невозможна серьезная драма. Как ни велики дарования актера, он не достигает совершенства одним вдохновением, как не достигает его и певец при самом прекрасном голосе без школы и методы. Естественность в искусстве, конечно, необходима; всякое появ-

ление в его области, к какой бы отрасли оно ни принадлежало, должно быть естественно, т. е. должно согласоваться с законами правды; но сущность искусства есть высшая красота, или высшая правда (что одно и то же), и потому не всякое естественное проявление годится в искусстве, которое отвергает все случайное, все ненужное и сохраняет только то, что ведет прямо к цели, т. е. к выражению заданной идеи.

Фотография, воспроизводящая все случайности природы, никогда не войдет в область искусства; но живопись, игнорирующая бесполезные подробности и признающая только те черты подлинника, которые составляют его характер, есть одно из высших выражений искусства. В сценическом воспроизведении характеров более, чем в каком либо другом, должно держаться одного необходимого, одного ведущего к цели. Сценическое искусство менее, чем всякое другое, допускает случайности. Каждое лишнее движение (я уже не говорю о движениях фальшивых) не только бесполезно, но и вредно. Рама, в которой вращается драматическое представление, так

узкая, время, ему уделенное, так ограничено, что каждая минута драгоценна для артиста, каждое его движение знаменательно. Он не имеет права не только на что-нибудь ложное, но и на что-нибудь индифферентное. Индифферентизм на сцене есть потеря времени, которая ничем не вознаграждается. Места, произносимые актером бесцветно или в которых он встает, или садится, или ходит взад и вперед без надобности, равняются местам, вычеркнутым из его роли, если (что еще вероятнее) они не наводят скуки на зрителей.

Сказать, что Нильский вполне сознал всю важность этого правила, значило бы отклониться от истины; но я смею утверждать, что он сознал его лучше, чем другие, виденные мною Иоанны. Могу сказать так же, что если не все места были переданы им равно знаменательно, то он ни одного не передал фальшиво.

Видеть и слышать Нильского доставило мне художественное наслаждение, и я сожалел только об одном, что, приобрев в нем замечательного Иоанна, публика лишилась замечательного Годунова, которого она не це-

нила по заслугам, но которого достоинство почувствуется чрез его потерю.

*Гр. А. Толстой*

## **Проект постановки на сцену трагедии «Царь Федор Иоаннович»**

### **Предисловие**

**Х**отя в настоящую минуту мне ещё неизвестно, будет ли дана эта драма, но я нахожу нелишним изложить мои объяснения теперь же, в надежде, что некоторые из них окажутся бесполезными для драматических артистов вообще и что, во всяком случае, они могут пригодиться на частном театре.

«Царь Фёдор» есть особая, замкнутая в себе драма, но вместе с тем она служит продолжением трагедии «Смерть Иоанна Грозного» и составляет следующее за ней звено. Многие в нём связано с предшествующим, и потому, разбирая «Царя Фёдора», мне придётся иногда оглядываться на «Смерть Иоанна».

В проекте о постановке последней пьесы я, в самом конце, очень осторожно упомянул о необходимости всем исполнителям знать

свои роли наизусть. Опыт показал, что не только напоминание не было лишним, но что я не доволен на нём настаивал.

Ввиду этого факта я считаю весьма важным поставить теперь в самой главе настоящей статьи энергичное заявление о том, что первое условие порядочного исполнения есть знание ролей *совершенно буквально*.

У каждого автора как выбор выражений, так и порядок размещения слов составляет его особенность и физиогномию. Изменять этот порядок — значит отнимать у него его физиогномию, давать его речи чуждой ей колорит. Если такое обращение не допускается в прозе, то в стихах оно двойко непозволительно, ибо посягает не только на колорит автора, но и на слух публики. Не всё равно сказать:

*Ох, тяжела ты, шапка Мономаха,*

или:

*Ох, шапка Мономаха, ты тяжела.*

В первом случае это пятистопный ямб, во втором — вовсе не стих.

Какое же впечатление сделает на публику актёр, который, не довольствуясь перестановкой слов, вместо:

*Ох, тяжела ты, шапка Мономаха,*

скажет:

*Ох, как меня давит Рюрикова фуражка!*

А искажения, довольно близко подходящие к этому примеру, можно, к сожалению, слышать иногда на нашей сцене.

Итак, если трагедия «Царь Фёдор» будет дана, то прежде всего *надобно выучить её наизусть.*

Приступаю к её разбору.

### **Основная идея**

Две партии в государстве борются за власть: представитель старины, князь Шуйский, и представитель реформы, Борис Годунов. Обе партии стараются завладеть слабонравным царём Фёдором как орудием для своих целей. Фёдор, вместо того чтобы дать перевес той или другой стороне или же подчинить себе ту и другую, колеблется между обеими и чрез свою нерешительность делается причиной:

1) восстания Шуйского и его насильственной смерти, 2) убиения своего наследника, царевича Димитрия, и пресечения своего рода. Из такого чистого источника, какова любящая душа Фёдора, истекает страшное событие, разразившееся над Россией долгим рядом бедствий и зол.

Трагическая вина Иоанна было поправление им всех человеческих прав в пользу государственной власти; трагическая вина Фёдора — это исполнение власти при совершенном нравственном бессилии.

### **Архитектура трагедии**

**П**остроение «Царя Фёдора» — не знаю, к выгоде или ко вреду его — есть совершенно исключительное и не встречается, сколько мне известно, ни в какой другой драме. Борьба происходит не между главным героем и его оппонентами (*Spiel — und Gegenspiel*), как во всех драмах, но между двумя вторыми героями; главный же герой, на котором эта борьба вертится, как на своей оси, вовсе в ней не участвует; он, напротив, всеми силами старается прекратить её, но самым своим вмешательством решает её трагический исход.

В отношении Шуйского и Годунова Фёдор играет роль древней греческой судьбы, толкающей своих героев всё вперёд к неизбежной катастрофе, с тою разницей, что Фёдор не отвлечённая идея, но живое лицо, имеющее само свою судьбу, которая истекает из его характера и действий. Таким образом, трагедия является как бы сплетённою из двух отдельных драм, из коих одна имеет предметом фактическую борьбу Шуйского с Годуновым, другая моральную борьбу Фёдора с окружающим его миром и с самим собою.

Если представить себе всю трагедию в форме треугольника, то основанием его будет состязание двух партий, а вершиною весь душевный микрокосм Фёдора, с которым события борьбы связаны как линии, идущие от основания треугольника к его вершине или наоборот. Из этого естественно выходит, что одна сторона трагедии выдержана более в духе романской школы, а другая более в духе германской.

### **Колорит трагедии**

**Ц**арь Иван умер. Гроза, свирепствовавшая над русской землёй, утихла; небо проясни-

лось, вся природа оживает. Оживают и те могучие силы, которые сдерживала железная рука царя Ивана, как шлюзы сдерживают напирющую воду. В государстве являются политические партии, действующие смело и открыто. Все сословия принимают участие в их борьбе; жизнь, со всеми её сторонами, светлыми и тёмными, снова заявляет свои права.

В «Смерти Иоанна» господствующим колоритом было давление власти на всю землю; в настоящей трагедии господствующий колорит есть пробуждение земли к жизни и сопряжённое с ним движение. Оно должно сразу почувствоваться в первой сцене первого акта, которая служит драме изложением. Светлый колорит проходит через всю трагедию, до четвёртого акта; все лица держат себя свободнее, чем в «Смерти Иоанна», темп общей игры идёт живее.

## **Характеры Царь Фёдор**

**Н**е отступая от указаний истории, но пополняя её пробелы, я позволил себе изобразить Фёдора не просто слабодушным, кротким постником, но человеком, наделённым

от природы самыми высокими душевными качествами, при недостаточной остроте ума и совершенном отсутствии воли. Природная неспособность его к делам ещё умножена гнѣтом его отца и постоянным страхом, в котором он находился до 27 лет, эпохи смерти царя Ивана.

Доброта Фѣдора выходит из обыкновенных границ. Она так велика, что может иногда достигь высоты, где чувство и ум, составляющие на низших степенях отдельные свойства, сходятся вместе и смешиваются в нераздельном сознании правды. Поэтому Фѣдор, несмотря на свою умственную ограниченность, способен иногда иметь взгляды, не уступающие мудростью государственным взглядам Годунова. Так, в сцене доклада о боярах, бежавших в Литву, оба приходят к тому же заключению, Годунов умом, а Фѣдор — сердцем.

Но эта способность заменять ум чувством не всегда присуща Фѣдору. Она в обыкновенных случаях затемняется некоторыми недостатками, неразлучными со слабостью характера. Он, например, не любит сознаваться,

что он слаб, ни перед другими, ни перед самим собой, и это часто приводит его к неуместному, хотя скоро проходящему упрямству. Ему хочется иногда показать, что он самостоятелен, и ничем нельзя так польстить ему, как упрекнув его в непреклонности или суровости.

Он большой хлопотун во всём, что не касается государственных дел; никто, по его мнению, не знает так, как он, человеческое сердце; для него примирить враждующих — есть не только долг, но и наслаждение. Набожность его происходит от природного расположения; но она перешла в постничество вследствие раннего протеста против разврата и жестокости его отца; впоследствии постничество стало ему привычкой, но он нисколько не сделался педантом; он не смотрит на мирское веселие как на грех; он любит медвежью травлю и не видит в представлениях скомоухов служения сатане. Как все люди робкие, он чувствует большое уважение к смелости; геройский характер князя Шуйского и удалство купца Красильникова затрогивают в нём те же сочувственные струны.

Великодушные Фёдора не имеет пределов. Личных обид для него не существует, но всякая обида, нанесённая другому, способна вывести его из обычной кротости, а если обида касается кого-нибудь особенно им любимого, то негодование лишает его всякого равновесия; он кричит и шумит, ничего не видя, кроме совершенной несправедливости. Попав в такую колею, он спешит воспользоваться своим настроением, и, зная, что оно недолго продолжится, он наскоро предписывает строгие меры, справедливые, по его убеждению, но несогласные с его характером.

Когда Фёдор взошёл на престол, он не обманывался насчёт своей неспособности и передал Годунову полное управление царством, с намерением сам ни во что не вмешиваться. Но в расчёт Годунова не входило взять на первых порах всю ответственность на себя. Он нашёл полезным прикрыться авторитетом Фёдора, сохранил ему весь наружный вид неограниченного владыки, докладывал ему обо всём, испрашивал на всё его решений, и Фёдор мало-помалу, при содействии неизбежных придворных льстецов, уверился, что он

не так неспособен, как полагал. На этом периоде застаёт его трагедия. Лень и природное отвращение продолжают удалять его от дел; но он уже привык думать, что Годунов действует по его инструкциям. Только в важных кризисах жизни, когда воля Годунова прямо противоречит благости Фёдора, как, например, когда Годунов грозит его оставить, если он не выдаст ему Шуйского, самообольщение Фёдора исчезает; он убеждается в независимой силе Годунова и, не умея бороться с ним в качестве царя, даёт ему отпор как человек и христианин. На этой почве он стоит всегда неизмеримо выше и Годунова, и самого Шуйского, и всех его окружающих. Ошибка Фёдора состоит в том, что он не постоянно держится своего призвания быть человеком, а пытается иногда играть роль царя, которая не указана ему природой. Этой роли он не выдерживает, но от неё не отказывается; не может обойтись без руководителя, но ему не подчиняется. Такое ложное положение рождает беспрестанное противоречие между его природой и обязанностями его сана. В этом его и трагическая и комическая стороны.

Роль Фёдора очень многосложна и проходит через самые разнообразные состояния души, от добродушной весёлости, когда он шутит с Ириной, до исступления, когда он узнаёт о смерти Шуйского. Из всех лиц как первой трагедии, так и этой лицо Фёдора, по моему мнению, самое трудное. Оно требует большого изучения и большой тонкости уже потому, что в нём трагический элемент и оттенок комизма переливаются один в другой, как радужные цвета на раковине. С этим комизмом сценический художник должен обращаться чрезвычайно осторожно и никак не доводить его до яркости. Это не что иное, как фольга, слегка окрашивающая чистую душу Фёдора, прозрачную, как горный кристалл. Прибавлять после этого, что в его роль не следует вмешивать карикатурности, — я считаю излишним. Одно предположение такой возможности было бы для исполнителя оскорблением, ибо заключало бы в себе самое низкое мнение о его понимании искусства.

Первое появление Фёдора, в короткой сцене со стремянным, с Ириной и с Годуновым, есть вступительный аккорд в его характер и

должно быть именно так понято исполнителем. Ребяческий гнев на вздыбившегося коня, заблуждение насчёт своей физической силы, добродушное поддразнивание Ирины, скорбь о разделении царства на партии, жадно схваченный намёк Годунова, что он не прочь от мира с Шуйским, уверенность в знании человеческого сердца и равнодушие к делам — всё это, проникнутое добротой и хлопотливостью, заключает в себе зародыши полного характера, которые должны быть сразу и гармонически переданы.

Когда, в следующем акте, Фёдор является примирителем Годунова с Шуйским, зритель должен быть уже настолько знаком с Фёдором, чтобы его интересовало узнать, как этакая личность возьмётся за такое дело? В приготовлениях Фёдора, в наставлениях его Годунову, Ирине, духовным лицам и боярам видна виртуозность человека, который чувствует себя в своём элементе, которому приятно взяться за трудное дело, где он, по своему мнению, мастер. Но по мере приближения решительной минуты Фёдором овладевает робость, и когда он начинает увещевать Шуй-

ского, застенчивость его так велика, что он не находит слов и передаёт речь Годунову. Во всё продолжение спора обоих противников Фёдор следит за ними с бьющимся сердцем. На лице его написаны напряжение и беспокойство до той минуты, когда противники берутся за руки. Тут радость его проявляется взрывом, как то бывает у добрых детей, получивших наконец, чего они давно желали, но на что не смели надеяться. Детская сторона Фёдора должна особенно быть видна в его разговоре с выборными. Я не опасаюсь того рода смеха, который возбудят в публике перебивки старика Курюкова, рассказ Фёдора о медведе или его советы Шаховскому, как биться на кулачках. Это будет смех добрый, не умаляющий нисколько уважения к высоким достоинствам Фёдора; и когда он уйдёт от выборных, затыкая уши, то, при хорошей игре, публика успеет достаточно полюбить его, чтобы над ним не смеяться, а разве только улыбнуться неловкому положению, в которое он себя поставил. Есть большая разница между тем, что смешно (*drôle*), и тем, что достойно осмеяния (*ridicule*). Первое совместно

с любовью и с уважением, второе исключает эти чувства. На русском языке оба понятия выражаются тем же словом, но они от этого не менее различны. Ребёнку часто подобает эпитет: *drôle*, но ему не может подобать эпитет: *ridicule*. Фёдор же в этой сцене должен быть изображён ребёнком в самом хорошем значении слова. Впоследствии он покажет, что может быть и чем-нибудь иным; но если бы, несмотря на свою благость, он кому-нибудь представился не довольно достойным, мы того попросили бы подождать до третьего акта. Вообще в искусстве бояться выставлять недостатки любимых нами лиц — не значит оказывать им услугу. Оно, с одной стороны, предполагает мало доверия к их качествам; с другой — приводит к созданию безукоризненных и безличных существ, в которые никто не верит. Здесь кстати заметить, в ответ на некоторые опасения об унижении царского достоинства в лице Фёдора, что значение каждой пьесы определяется общим его впечатлением, а не отдельными частями, тем менее отдельными фразами или словами. Общее впечатление Фёдора не должно быть

иное, как сочувственное; а сочувствия нет там, где нет правдоподобия, которое исчезнет, когда отнять у Фёдора его слабые стороны. Если роль будет сыграна хорошо, то отвлечённая идея царского достоинства не пострадает от того, что публика увидит на сцене подтверждение факта, известного ей из истории, то есть что последний государь из династии Рюриковичей был слаб и ограничен. Царское достоинство может разве пострадать от плохой игры, и то не в одной роли Фёдора, но и в роли всякого венценосца, хотя бы он был Август.

Итак, от драматического артиста зависит передать Фёдора, как он понят автором, то есть исполненным высоких душевных достоинств, далеко превышающих его недостатки.

После сцены доклада характер Фёдора является с новой стороны. Желая выписать царевича Дмитрия из Углича, он бунтуется против Годунова, не соглашающегося на эту меру, и старается сбросить его иго. Эта попытка ему не удаётся потому, что он противопоставит Годунову свою самую слабую сторону, своё качество неограниченного царя. Зато в следую-

щей сцене, где Годунов требует выдачи Шуйского, Фёдор остаётся победителем, потому что, вместо царской власти, опирается на свою самую сильную сторону, на качество человека и христианина. Он уже не спрашивает с сердцем:

*Я царь или не царь?*

но откровенно и кротко говорит:

*Какой я царь? Меня во всех делах  
И с толку сбить, и обмануть  
нетрудно.*

Эти две сцены нарочно сопоставлены вместе, чтобы первая усиливала вторую своим с ней контрастом и чтобы Фёдор, внезапно сознающийся в неспособности быть царём, вырос во мнении зрителя как человек.

Переход Фёдора от несостоятельного царя к человеку, сильному одним человеческим чувством, его искание и обретение убежища от собственной слабости в христианском смирении — должны быть ярко и выпукло выставлены. Когда, по удалении Годунова, Фёдор бросается на шею Ирине, зритель должен видеть, какого усилия стоил ему разрыв с

правителем и как дорого он ему обошёлся. Лицо Фёдора изменилось, как после болезни, но оно преображено сознанием, что он поступил по совести; оно выражает теперь его полное согласие с самим собой, и когда он, сломанный физически своей моральной победой, опирается на руку Ирины, — его прежние недостатки, его ограниченность, его комисм должны представиться зрителю в ином значении, и он должен понять, что они были нужны, дабы Фёдор явился велик не какими-нибудь блестящими качествами, но именно христианским смирением, лишённым всякого блеска.

Если бы Фёдор мог удержаться на этой высоте, он бы заслуживал быть причисленным к лику святых, но человеческая слабость берет своё. В четвёртом акте он, сидя за кипой бумаг, которых не может понять, сожалеет о своей ссоре с Годуновым и готов сделать ему уступки. Клешнин приносит ему ультиматум правителя, но Годунов требует слишком много, Фёдор не соглашается и по-прежнему не верит измене Шуйских — следует очная ставка Клешнина с Шуйским. Непроницатель-

ность Фёдора, смешанная с великодушием и упрямством, выказывается здесь ярче, чем где-либо. Когда он, добиваясь от Шуйского оправдательного ответа, тем самым вынуждает у него признание в измене, этот неожиданный оборот приводит его в такой испуг, что не Шуйский, а он кажется попавшим в западню. Чтобы выручить Шуйского, Фёдор не находит лучшего средства, как уверять, что Шуйский по его приказанию объявил царём Димитрия. Комисм этой уловки не должен мешать зрителю быть тронутым великодушием Фёдора и согласиться с Шуйским, когда он говорит:

*...Нет, он святой!*

*Бог не велит подняться на него.*

Задача исполнителя в этом трудном месте — заставить публику улыбаться сквозь слёзы.

Если оно удастся, то публика поймёт, в каком раздражении находятся нервы Фёдора, когда он узнаёт из бумаги, поданной ему Шаховским, что тот самый Шуйский, которого он только что спас, за которого поссорился с

Годуновым, — хотел развести его с женою, так нежно и горячо им любимой.

Восстание Шуйского, как обида личная, не возбудило в Фёдоре ни малейшего гнева. Он не принял это восстание ни как государственное преступление, ни как обиду; оно представилось ему только с точки зрения опасности, которой подвергался глубоко чтимый им воевода, тот, кому земля обязана спасеньем. Но когда Шуйский затронул его Ирину, Фёдор сперва плачет, потом выходит из себя. Он не соображает хронологического отношения измены, им только что прощённой, с челобитней о разводе, не поданной Шуйским; не соображает, что челобитня предшествовала измене, а измена исключает челобитню; поступок Шуйского представляется ему как чёрная неблагодарность, и, ничего не разбирая, ничего не видя, кроме оскорбления своей Ирины, он яростно кричит:

*В тюрьму! В тюрьму!*

и прихлопывает печатью заготовленный Клешнинным приказ.

Не смею утверждать, что поспешность Фё-

дора происходит от одного негодования и что к ней не примешивается облегчительного чувства, что он может теперь, не греша против совести, исполнить требование правителя и с ним помириться. Во всяком случае, Фёдор уже смотрит на восстание иначе, чем за несколько минут, ибо чувство его к Шуйскому изменилось, а в природе человеческой окрашивать чужие поступки нашим личным расположением к их совершителям.

В пятом акте нет вовсе комисма; заключительный аккорд должен быть чисто трагический. Обращение Фёдора к усопшему родителю после панихиды есть последнее его усилие выдержать неподобающую ему роль. Его исступление при вести о смерти Шуйского, его возглас:

*...Палачей!*

не должны возбуждать улыбки. Это слово, хотя не имеет в устах Фёдора того значения, какое имело бы в устах его отца, — должно быть произнесено с неожиданной, потрясающей энергией. Это высший пароксизм страдания, до которого доходит Фёдор, так что силы

его уже истощены, когда он узнаёт о смерти Димитрия, и эта вторая весть действует на него уже подавляющим образом. Подозрение на Годунова, мелькнувшее в нём по поводу Шуйского, ещё раз промелькивает как молния относительно Димитрия:

*...Ты, кажется, сказал:  
Он удавился? Митя ж закололся?  
Арина — а? Что, если...*

Последнюю строку Фёдор произносит с испугом, чтобы зритель понял, какая ужасная мысль его поразила. Годунов устраняет её предложением послать в Углич Василия Шуйского, племянника удушенного князя; Фёдор бросается ему на шею, прося прощения, что мысленно оскорбил его, — и совершенно теряется. Он хочет дать наставления Василию Шуйскому, но рыдания заглушают его слова. Теперь он сознаёт, что по его вине погибли Шуйский и Димитрий, а царство осталось без преемника, и в первый раз постигает, до какой степени было несостоятельно его притязание государить. Почва царственности проваливается под ним окончательно, он окон-

чательно отказывается от всякой попытки на ней удержаться. Отныне он уже ни во что не вмешивается, он умер для мира, он весь принадлежит богу.

Это отречение от жизни, этот разрыв с прошедшим должны быть символически означены обстановкой Фёдора в последней сцене трагедии. Все окружавшие его лица удалились. Осталась одна Ирина, да толпа нищих, да, пожалуй, два-три стольника с царской стряпнёй, чтобы не слишком отступить от этикета. В этом скромном окружении Фёдор произносит свой заключительный монолог, а нищая братия в то же время затягивает вполголоса псалом, и на его «покаянном» напеве слова Фёдора вырезаются как старинная живопись на золотом поле.

Мы видели из предшествующего обзора, что в характере Фёдора есть как бы два человека, из коих один слаб, ограничен, иногда даже смешон; другой же, напротив, велик своим смирением и почтенен своей нравственной высотой. Но эти два человека редко являются отдельно; они большею частью слиты в одну цельную личность, и воплощение

этой цельности составляет главную задачу драматического исполнителя.

Наружность Фёдора уже описана в постановке «Смерти Иоанна». Он был мал, дрябл, склонен к водяной болезни и почти безбород. Цвет лица его бледно-желтоватый (sallow complexion, по выражению Флетчера), ноги слабы, поступь неровна, нос соколиный, губы улыбающиеся. Это очевидно не *мой* Фёдор. *Моему* Фёдору можно от его исторической наружности сохранить только малый рост, отсутствие бороды, неровность поступи и улыбающиеся черты лица. Портрет Фёдора над его гробницей в Архангельском соборе, воспроизведённый Солнцевым в «Русских древностях», не имеет никакого значения, ибо это не портрет, а просто человеческое лицо без всякой физиогномии, вроде тех, какие рисуют дети. Воззрение на эти черты профессора Снегирёва для меня непонятно.

В трагедии я придал Фёдору более живости, чем у него было на деле, но она проявляется только в его хлопотливости, когда он хочет что-нибудь *устроить*, обыкновенно же он скорее ленив и вял; но как у меня он почти

всегда занят желанием кого-нибудь поми- рить, или оправдать, или спасти, то он почти непрерывно хлопочет. Приёмы его робки, вид застенчив, голос и взгляд чрезвычайно кротки, при большом желании казаться твёрдыми и решительными.

Через всю роль Фёдора проходит одна черта, дающая ему особенный колорит: это его любовь к Ирине. Она ему и друг, и опора, и утешительница в скорбях. Мысль о ней не покидает его ни на миг и примешивается ко всем его душевным движениям. Всё, что с ним случается, он относит к ней; горе ли с ним приключится или обрадуется он чему, он тотчас бежит к Ирине и делится с ней своим впечатлением. Также, если он что-нибудь затеет, Ирина непременно должна ему помогать.

Особенно же он рассчитывает на поддержку Ирины, когда Годунов требует от него чего-нибудь противного его благодушию. Но бывает, что он и не соглашается с Ириной, особенно в мелочах, потому что ему хочется показать, что он всё-таки царь и господин в своём доме. Иногда он любит и подразнить Ири-

ну, но это делается очень добродушно и только с тем, чтобы тотчас же выказать к ней ещё большую нежность.

Для передачи Фёдора требуется не только тонкий ум, но и сердечное понимание. Если же исполнитель, сверх того, ещё и полюбит его, сживется с ним и войдёт к нему в душу, то в его роли может оказаться много оттенков, не тронутых в этом обзоре, и много эффектов, мною не предвиденных. Из всех наших артистов я никого так не желал бы видеть в роли Фёдора, как Сергея Васильевича Шумского.

## **Годунов**

В проекте о постановке моей первой трагедии я описал подробно его характер и потому ограничусь здесь только теми особенностями, которые принадлежат ему как правителю царства.

Получив верховную власть, Годунов, верный своим правилам, остаётся наружно на втором плане. Он всегда держит себя с Фёдором чрезвычайно почтительно; с Ириной же при свидетелях даже преувеличивает своё благоговение, ибо хочет подавать пример

другим, и, возвышая свою сестру в общем мнении, сам делается сильнее. Мы видим из истории, что он ничем не пренебрегал, чтобы окружить Ирину царскою пышностью и упрочить ей любовь народа. Он умножил число её боярынь, дал ей целый полк личных телохранителей и в торжественные дни, особенно в день её рождения, издавал грамоты о прощении виновных одним её именем, не упоминая о Фёдоре. В сношениях с иностранными державами он выставлял Ирину как участницу в управлении царством, так что Елисавета Английская почла нужным писать лично к Ирине, чтобы этой любезностью расположить её к себе в деле об уменьшении пошлин с английских купцов. Действуя на тщеславие бояр, Годунов завёл званые царские обеды, на которые иногда сам не был приглашаем; но кто в такой день обедал у царя, тот завидовал гостям Годунова. В Думе он сидел не на первом, а на четвёртом месте.

Эта сдержанность, умеренность и наружное смирение видны во всех его приёмах, но теперь сознание власти просвечивает в них более, чем в «Смерти Иоанна». Годунов при

случае умеет быть гордым, даже с Фёдором.

Когда Шуйский приносит на него жалобу, а Фёдор его спрашивает:

*То правда ль, шурин?*

он отвечает: «Правда», — с таким видом, из которого ясна его уверенность, что не Фёдор, а он — настоящий господин царства.

То же чувство сквозит в его обращении к Ирине:

*...Не дельно ты, сестра,  
Вмешалася, во что не разумеешь,*

равно как и в его замечании на удостоверение Фёдора Шуйскому, что Димитрий будет перевезён в Москву:

*А я на то ответил государю,  
Что в Угличе остаться должен  
он.*

Но Годунов обнаруживает сознание своей власти только в исключительных случаях. Обыкновенно же он скрывает его под видом полной зависимости от Фёдора:

*...Твоему желанью  
Повиноваться — долг мой, госу-*

*дарь!*

говорит он в сцене примирения так скромно, как будто оно не им самим возбуждено, а принято из покорности к Фёдору. В продолжение своего спора с Шуйским он держит себя чрезвычайно достойно, но вместе с тем очень скромно, и умеренность его составляет контраст с кипучею гордостью Шуйского.

Когда он объявляет Фёдору о необходимости взять Шуйского под стражу, в его невозмутимом спокойствии слышится непреклонность. Он знает, чего хочет, и не останавливается перед последствиями. Неожиданный отказ Фёдора поражает его удивлением, ибо он не привык ошибаться в людях и думал доселе, что знает Фёдора насквозь. Но здесь случилось, что случается иногда с людьми, привыкшими играть другими как пешками: они в своих сметах слишком дёшево ставят нравственное чувство человека — и расчёт их бывает неверен.

Монолог Годунова в четвёртом акте, где он говорит о своём отрешении, должен быть произнесён с непривычным ему волнением. Зритель должен видеть, что в нём, как и в

Шуйском, произошёл переворот, решающий направление всей его жизни.

Сцена с Клешниным, где речь идёт о Волоховой, очень трудна. Годунов не велит убить Димитрия. Он, напротив, три раза сряду говорит Клешнину: «Скажи ей, чтоб она царевича блюла!» — и, несмотря на то, Клешнин должен понять, что Димитрий осуждён на смерть. Это одно из тех мест, где исполнителю предоставляется обширное поле для его художественных соображений. Троекратное: *Чтобы она блюла царевича* — должно каждый раз быть сказано иначе. Мысль Годунова, противоречащая его словам, сначала едва сквозит; потом она как будто самого его пугает, и он готов от неё отказаться; в третий же раз, после слов:

*Убит, но жив —*

эта мысль является установившеюся, и наставление блюсти царевича должно звучать как смертный ему приговор.

Отказ Годунова увидеть Волохову также должен быть связан знаменательно: Годунов, с одной стороны, отклоняет ответственность

на случай нескромности Волоховой; с другой — чувствует невольное содрогание вступить в личные переговоры с своим гнусным орудием. Все эти подробности должны быть в действии так отчеканены, чтобы они подготовили зрителя к тому чувству чего-то недоброго, которое, при хорошей игре, исполнит его в следующей сцене, Клешнина с Волоховой.

После разговора с Клешниным Годунов является в начале пятого акта, сперва в сцене с Василием Шуйским, потом в сцене с Ириной. Первая сцена не важна в отношении характеристики Годунова; цель её только подготовить отправку Василия Шуйского на углицкое следствие; но вторая имеет особенную важность. Она, по положению своему в экономике драмы, принадлежит к разряду замедляющих; ибо драматическое движение быстро спешит к концу, а ему бросают навстречу препятствие, чтобы, опрокинув его, оно тем неудержимее ринулось в катастрофу. По содержанию своему эта сцена синтетическая, ибо она в своём фокусе собирает весь характер Годунова, определяет значение Фёдора и заставляет зрителя оглянуться на пройден-

ную им дорогу. Сверх того, в ней полнее определяется характер Ирины. По форме эта сцена лирическая и в этом качестве должна быть играна с некоторым пафосом. Ирина просит Годунова пощадить Шуйского; он ей отказывает — вот и всё внешнее содержание. Но в нём, с обеих сторон, много психических движений, а непреклонность Годунова является теперь в строгой форме государственной необходимости. Как ни жестоки его меры, зритель должен видеть, что они внушены ему не одним честолюбием, но и более благородною целью, благом всей земли, и если не простить ему приговора Димитрия, то понять, что Димитрий есть действительно препятствие к достижению этой цели. Свой монолог:

*...Высокая гора  
Был царь Иван... —*

Годунов произносит внятно, не спеша, как бы погружённый в самого себя. Когда он доходит до места:

*Семь лет с тех пор, кладя за кам-  
нем камень... —*

голос его одушевляется, и в нём слышатся гнев и скорбь, а последние слова:

*Им места нет, быть места не должно!..*

он выговаривает с решительностью, не допускающей возражения. Но Ирина не считает себя побеждённой. Она истощает все доводы в пользу Шуйского. Годунов их все опровергает и, переходя из оборонительного положения в наступательное, требует от Ирины, чтобы она сама помогла ему погубить Шуйских. Ирина отвергает это требование, и брат и сестра расходятся как достойные противники, знающие друг друга и не теряющие лишних слов, а зритель остаётся в недоумении, кому из двух будет принадлежать победа.

Эта сцена должна усилить ожидание развязки, и на неё нельзя не обратить главного внимания.

В конце пятого акта Годунов, в числе прочих бояр, выходит с Фёдором из собора.

Когда Фёдор, узнав об умерщвлении Шуйского, обращается к Годунову со словами:

*...Ты ведал это?*

а Годунов отвечает:

*Видит, бог — не ведал!*

в его ответе есть и правда и ложь; он действительно не знал, что Шуйский удушен, но, приставив к нему его смертельного врага, Туренина, он имел повод ожидать, что дело именно так кончится.

При известии о смерти Димитрия Годунов не может казаться равнодушен. Его волнение видно сквозь наружное спокойствие; но он скоро оправляется и с невозмущённым видом предлагает послать на следствие Василия Шуйского.

Слова свои, обращённые вполголоса к Ирине:

*Пути сошлись наши! —*

он произносит с сдержанным торжеством и, став под начало Мстиславского (факт исторический), покидает сцену с эффектом, но без напыщенности, оставляя зрителю искупающее впечатление человека, которому участь земли дороже всего и который умеет не только повелевать, но и подчиняться другому, ко-

гда благо государства того требует.

Темп его роли в конце пятого акта идёт очень быстро, как и всех прочих ролей, ибо действие напирает на катастрофу, нет более места для анализа, и события изображены *под титлами или en pasoursi*.

Подобно как в «Смерти Иоанна», так и в этой драме судьба Годунова ею не оканчивается, но, пронизывая насквозь обе трагедии, теряется в будущем.

Насчёт его наружности и приёмов отсылаю исполнителя к «Постановке» «Смерти Иоанна».

## **Князь Иван Петрович Шуйский**

Этот враг, соперник и жертва Годунова представляет разительную с ним противоположность. Отличительные качества его — прямота, благородство и великодушие; отличительные недостатки — гордость, стремительность и односторонность. К этому присоединяется некоторая мягкость сердца, не чуждая сильному характеру, но всегда вредная для достижения политических целей.

*Зело он мягкосерд, —*

говорит про него благовещенский прото-  
поп.

*Младенец сущий!* —

говорит его племянник, Василий Шуйский

*Скор больно князь Иван,* —

говорит Дмитрий Шуйский.

*Трудно кривить душой!*

говорит он сам про себя.

Понятно, что такой человек не мог выдержать борьбу с Годуновым, который не был ни односторонен, ни мягкосерд, ни стремителен в своих действиях, ни разборчив в средствах и которому ничего не стоило кривить душой для достижения своих целей. Но на стороне Шуйского как главы партии были такие преимущества, которых не доставало Годунову. Военская слава князя Ивана Петровича гремела не только по всей России, но в целом образованном мире, читавшем ещё недавно на всех европейских языках описания знаменитой осады Пскова и восторженные хвалы его защитнику. Его великодушный, доблестный нрав, с оттенком западного рыцарства, был

ведом друзьям и недругам. Вызов его Замойскому на единоборство, на который намекает Шаховской в первой сцене трагедии, есть факт исторический. Гейденштейн и русская хроника рассказывают, что во время псковского obleжания Шуйский получил из литовского стана письмо от одного немца, Моллера, изъявлявшего желание перейти на нашу сторону. При этом Моллер послал Шуйскому тяжёлый ящик с просьбой вынуть из него казну и блюсти до его прибытия. Из предосторожности Шуйский поручил искусному мастеру открыть ящик, и в нём оказалось 24 заряженные ствола со взведёнными курками, которые произвели бы взрыв, если б ящик был открыт неумеючи.

Приписывая это коварство, быть может ошибочно, Замойскому, Шуйский послал ему письменный укор, что он поступил нечестно, и предложил ему, вместо того, померяться с ним на саблях, лицом к лицу. Одна эта черта освещает всего Шуйского со стороны его благородства и будущей несостоятельности как руководителя заговора. Воевода, имевший под своей ответственностью многие тысячи

людей и согласившийся играть жизнью в личном деле, из одного чувства прямоты, — есть тот самый человек, который впоследствии, на очной ставке с Клешниным, предпочтёт погубить свою голову, чем ответить неправду на вопрос царя, сделанный ему именем его чести. И Фёдор, с верным чутьём высокой души, узнающей другую высокую душу, не ошибается в Шуйском, когда не требует от него ни клятвы, ни целования иконы, а говорит:

*Скажи по чести мне. По чести  
только,  
И слова твоего с меня довольно!*

Вообще причина любви Фёдора к Шуйскому — это испытанная прямота и благородство последнего: они — два родственные характера. Имей Фёдор силу и ум, он был бы похож на Шуйского.

Как в роли Фёдора, так и в роли Шуйского главные основания изложены во вступительной сцене. Из первых слов Шуйского мы узнаем его ненависть к Годунову и упорную привязанность к старине; из возражения Васи-

лию Шуйскому его честность с самим собой; из ответа Головину — его доселе неколебимую верность Фёдору; а из заключительного монолога — его отвращение от кривых путей. Сверх того, в этой сцене рассеяно, в разговорах разных лиц, много рефлексов, объясняющих другие стороны Шуйского, так что при помощи этих данных исполнителю будет нетрудно воплотить его личность и сделать её для зрителя несомнительною.

В сцене примирения прежде всего бросается в глаза гордость Шуйского. Слова:

*...Государь,  
Мне в Думе делать нечего, —*

должны быть сказаны даже с некоторою суровостью. Она продолжает являться и во всех возражениях его Годунову, и в первом ответе царице. Только после монолога Ирины, когда она, кланяясь ему, говорит:

*...Моим большим поклоном  
Прошу тебя, забудь свою вражду! —*

ледяной панцирь, которым Шуйский обложил своё сердце, растаивает, и в голосе его

слышится дрожание, когда он отвечает:

*...Царица-матушка! Ты на меня  
Повеяла как будто тихим летом!*

Этот переход от суровости к умилению, это преклонение мужественного характера перед женскою благостью — лучше всего обрисовывает Шуйского, и драматический артист делает хорошо, если обратит большое внимание на это место.

Со словами Шуйского:

*Вот моя рука! —*

которые он выговаривает с откровенною решимостью, всё враждебное исчезает из его сердца и с его лица. Он искренно помирился с Годуновым, искренно верит его обещаниям и с полным чистосердечием произносит свою клятву. К выборным, дерзающим сомневаться, что правитель сдержит своё слово, Иван Петрович обращается с гневным упрёком в то самое время, как Годунов шепчет Клешнину:

*...Заметь их имена  
И запиши.*

Здесь особенно виден контраст между ха-

рактерами Годунова и Шуйского. Оба исполнителя должны на репетициях усвоить себе: первый — благозвучную убедительность голоса и невозмутимое спокойствие приёмов; другой — сначала гордую суровость, потом стремительную доверчивость в своих новых отношениях к примирённому врагу.

В третьем акте, при вести о вероломстве Годунова, Шуйский сперва не может ей поверить, потом вскипает негодованием. Когда же братья его хлопотливо предлагают каждый свою меру, он молчит, сдвинув брови, погружённый сам в себя, и вдруг, как будто опомнившись и удивляясь, что они так долго ищут исхода, восклицает:

*Вы словно все в бреду! —*

и решается идти к царю, уверенный, что прямой путь самый лучший. Его слова:

*...И можем ныне мы,  
Хвала творцу, не погрешая сами,  
Его низвергнуть чистыми рука-  
ми! —*

должны звучать уверенностью в успехе, а следующие затем:

*Наружу ложь! И сгинет Годунов,  
Лишь солнце там, в востоке, заси-  
яет! —*

торжеством победы, как звуки бранной трубы.

«Младенец!» — замечает, пожимая плечами, Василий Шуйский, когда дядя его удалился. И в самом деле, князь Иван Петрович в этом случае такой же младенец, как и сам Фёдор, такой же, как и всякий чистый человек, не верящий, что наглая неправда может взять верх над очевидной правдой.

Опыт доказывает, что он слишком много рассчитывал на Фёдора. Эта слабая опора под ним подламывается, и когда он уходит с негодующими словами:

*Прости, великий царь! —*

зритель должен видеть и слышать, что в нём произошёл один из тех переворотов, которые изменяют всю жизнь человека.

Свои распоряжения насчёт восстания он делает стремительно и отдаёт свои приказания отрывисто, с лихорадочною решимостью. Ему нелегко отказаться от долголетней верно-

сти царю, от тех начал законности, во имя которых он жил доселе; но он думает, что того требует благо земли, а оскорблённая гордость ему поддакивает. Но если бы Фёдор ещё одумался и сменил Годунова, Шуйский отказался бы от восстания. Поэтому, когда Фёдор за ним посылает, он повинуется, предполагая, что Фёдор хочет дать ему удовлетворение.

Вместо того происходит сцена очной ставки, и Шуйский, из чувства чести, выдаёт себя головой. Здесь, быть может, бесполезно сделать возражение на ошибочное мнение, что чувство чести в XVI веке было исключительной принадлежностью Запада. К прискорбию, мы не можем скрыть от себя, что в московский период нашей истории, особенно в царение Ивана Грозного, чувство это, в смысле охранения собственного достоинства, значительно пострадало или уродливо исказилось и что если мы обязаны московскому периоду нашим внешним величием, то, купив его внутренним своим унижением, мы дорого за него заплатили. Но в смысле долга, признаваемого человеком над самим собой и обрекающего его, в случае нарушения, собственному

презрению, чувство чести, слава богу, у нас уцелело. Древняя юридическая формула: «Да будет мне стыдно!» — была отменена и забыта, но дух её не вовсе исчез из народного сознания. Чему приписать иначе столько случаев именно в царение Грозного, где его жертвы предпочитали смерть *студному делу*? Чему приписать поступок князя Репнина, умершего, чтобы не плясать перед царём? Или поступок наших пушкарей под Венденом, лишивших себя жизни, чтобы не быть взятыми в плен? Или (если не ограничиваться одними мужскими примерами) поступок боярынь княгини Старицкой, жены князя Владимира Андреевича, избравших казнь и мучения, чтобы не принять царских милостей? Солгать же из желания спасти свою жизнь, без сомнения, считалось не менее постыдным, чем отдался живым неприятелю.

Связь с Византией и татарское владычество не дали нам возвестить идею чести в систему, как то совершилось на Западе, но святость слова осталась для нас столь же обязательною, как она была для древних греков и римлян. Довольно потеряли мы нашего досто-

инства в тяжёлый московский период, довольно приняли унижений всякого рода, чтобы не было нужно отымать у наших лучших людей того времени ещё и возможности *религии честного слова* потому только, что это чувство есть также западное<sup>[3]</sup>.

Как ни известна Шуйскому благость Фёдора, но после своего признанья он не ожидал того оборота, который Фёдор даст его делу. Последнее усилие Шуйского выдержать свой характер выражается в словах:

*...Не вздумай, государь,  
Меня простить. Я на тебя бы снова  
Тогда пошёл.*

Слова эти он выговаривает гордо и сурово, как бы для того, чтобы отнять у Фёдора всякую возможность его помиловать. Но с Фёдором сладить нелегко, когда он взял себе в голову спасти утопающего. Он, как неустрашимый пловец, бросается за ним в воду, хватается за руки, хватается за волосы, хватается за что попало и против воли тащит на берег. Суровость Шуйского разбивается вдребезги об это беспредельное великодушие. Он побеждён им

теперь, как прежде был побеждён благостью Ирины; слезы брызнули из его глаз, и со словами:

*...Нет, он святой!  
Бог не велит подняться на  
него, —*

он упал бы на колени перед Фёдором, если б тот не вытолкнул его из покоя, говоря:

*Ступай, ступай! Разделай, что  
ты сделал!*

После этой сцены мы видим Шуйского в последний раз, в кандалах, под стражею, ведомого в тюрьму его заклятым врагом, Турениным, назначенным ему в пристава. Он принял свой приговор как заслуженное наказание, и в его осанке, в его голосе должны чувствоваться раскаяние, участие к народу, достоинство и преданность судьбе. Совесть уже не позволяет ему идти против Фёдора, но он не может пристать к Годунову; ему остаются только — тюрьма или смерть. Его слова к народу суть его последние в трагедии; исполнитель произнесёт их как можно проще, но с большим чувством, так, чтобы они сделали

впечатление на зрителя.

Разобрав роль Шуйского, мы приходим к заключению, что это человек гордый и сильный, способный даже к мерам суровым, сознательно совершающий несправедливости, когда они, по его убеждению, предписаны общею пользою, но слабый против движений своего сердца. Такие люди могут приобрести восторженную любовь своих сограждан, но они не созданы осуществлять перевороты в истории. На это нужны не Шуйские, а Годуновы.

Летописи не сохранили нам наружности Ивана Петровича, но в трагедии она должна быть представительна. Мы можем вообразить его человеком высокого роста, лет шестидесяти, с проседью. Осанка его благородна, голос резок, поступь тверда, приёмы с равными повелительны, с низшими благосклонны.

*...С купцом, со смердом ласков,  
А с нами горд, —*

говорит про него Клешнин, и этот оттенок не должен пропасть в исполнении.

**Ирина**

Как ангел-хранитель Фёдора, как понуждающее, сдерживающее и уравнивающее начало во всех его душевных проявлениях, стоит возле него царица Ирина.

Это одна из светлых личностей нашей истории. Русские и иностранцы удивлялись её уму и восхищались её красотой. Её сравнивали с Анастасией, первой женой Ивана Грозного, той, кому Россия обязана краткими годами его славы. После смерти Фёдора она была единодушно признана его преемницей, и хотя тогда же постриглась под именем Александры, но таково было к ней уважение земли, что Боярская дума нашла нужным издавать грамоты не иначе, как от имени царицы Александры, до самого избрания Годунова.

Редкое сочетание ума, твёрдости и кроткой женственности составляют в трагедии её основные черты. Никакое мелкое чувство ей недоступно. У неё все великие качества Годунова без его тёмных сторон. Всё её честолюбие обращено на Фёдора. Ей больно, что он так слаб: ей хотелось бы пробудить в нём волю; она не только не выставляет наружу своё влияние на него, но тщательно его скрывает,

стараясь всегда оставаться в тени, а его выказывать в самом выгодном свете. Она бережно обращается с его слабостями; знает его желание казаться самостоятельным и никогда ему не перечит. Любовь её к Фёдору есть любовь материнская; она исполняет его капризы, поддаётся его поддразниванию, занимает его, нянчится с ним, но не пропускает случая напомнить ему, что он царь, что он имеет право и обязанность повелевать, где того требует его совесть. Нет сомнения, что Годунов преимущественно обязан ей своей силой; но она поддерживает брата не из родственного чувства, а по убеждению, что он единственный человек, способный править царством. Тем не менее её оскорбляет слишком полное подчинение ему Фёдора. Ей хотелось бы, чтобы он не только казался, но действительно был господином в своём доме. Она, наперекор брату, напоминает Фёдору, что выписать Дмитрия из Углича есть дело не государственное, но семейное, в котором он должен быть судьёю. С её высоким умом, с её благородством сердца, она не могла не оценить Ивана Петровича Шуйского и хотя не разделяет его поли-

тических мнений, но понимает его оппозицию и находит, что брат её должен бы склонить Шуйского на свою сторону, а не стараться его погубить. Она, как и Фёдор, хотела бы согласить всё разнородное, примирить всё враждующее, но когда это невозможно, она, не колеблясь, становится на ту сторону, где, по её убеждению, правда.

Хотя роль Ирины не ярко проходит через трагедию, но она освещает её всю своим индивидуальным светом, ибо все нити событий сходятся в Фёдоре, а Фёдор неразрывно связан с Ириной.

В Ирине характер не выказывается сразу, как в Фёдоре и в Шуйском. Она в своей первой сцене видна только со стороны своей кротости, заботливости о Фёдоре и готовности попасть в тон его шутивого настроения. Это сцена интимная, где Ирина не царица, а добрая, любящая жена.

В следующем акте качество это отступает на второй план и даёт место, в сцене примирения, другому качеству: официальной представительности. Здесь Ирина не иначе относится к Фёдору, как к государю. К Шуйскому

она обращается как царица и даже даёт ему, хотя косвенно и осторожно, почувствовать расстояние, их разделяющее. Тем сильнее она действует на Шуйского, когда, напомнив ему, что он слуга и подданный, она кланяется ему в пояс и просит его забыть свою вражду к Годунову. Этот поклон и предшествующий ему монолог Ирины должны быть проникнуты таким чувством и достоинством, чтобы всем стало понятно, что Шуйскому невозможно противостоять им.

В конце третьего акта Ирине предстоит довольно трудная немая игра, с того места, где Годунов отрекается от правления, до того, где Фёдор, дав ему уйти, бросается к ней на шею. Все страдания Фёдора, его изнеможение, борьба с самим собой и, наконец, победа над собственной слабостью отражаются на лице Ирины участием, боязнью, состраданием и радостью. Нежность её к Фёдору, когда она обнимает его, со словами:

*Нет, Фёдор, нет! Ты сделал так,  
как должно! —*

имеет характер сердечного порыва и про-

изведёт тем полнейшее впечатление, чем сдержаннее будет перед этим исполнительница.

В четвёртом акте, в сцене очной ставки, Ирина с первого появления Шуйского догадалась, что в нём таится враждебный замысел. Она следит с беспокойством за его выражением, и когда Фёдор требует от него ответа, она с необыкновенным присутствием духа, чтобы спасти Шуйского и вместе обязать его в верности, просит Фёдора не спрашивать его о прошедшем, но только взять с него слово за будущее. Во всей этой сцене, а равно и в следующей, где Фёдор, узнав о челобитне Шуйских, посылает их в тюрьму, Ирина своим благоразумием, спокойствием и присутствием духа представляет контраст с хлопотливостью и растерянностью Фёдора.

В пятом акте Ирина является вместе с княжной Мстиславской. Чувство ревности, которое так легко западает в сердце даже великодушной женщины, не коснулось Ирины. В ласковом обращении с своей невольной соперницей она не выказывает преувеличения, как сделала бы на её месте другая, победив-

шая свою ревнивость. С заботливой добротой и с женской солидарностью она поправляет расстроенные поднизи Мстиславской и не думает показать этим великодушие; её участие и солидарность разумеются для неё сами собою. Коленопреклонение Ирины перед Фёдором, её просьба за Шуйского — всё должно быть просто и естественно, без малейшей торжественности. Весть о смерти Шуйского, а потом о смерти Димитрия поражают её сильно, но не лишают присутствия духа, и, утешая Фёдора, она не упускает из вида участи государства. Её соболезнование проникнуто несказанною горестью, а её ответ Годунову, торжествующему, что их пути сошлись, тяжёлым сознанием, что действительно оба страшные события их сблизили. Её восклицание:

*О, если б им сойтись не довелось! —*

которым оканчивается её роль, есть болезненный крик, вырвавшийся из самой глубины её сердца.

К сожалению, у нас нет портретов Ирины.

Одежда её всегда богата, а в торжественных случаях великолепна. Архиепископ элассонский Арсений, бывший в 1588 году в Москве вместе с константинопольским патриархом Иеремиею, видел её в длинной мантии, поверх бархатной одежды, осыпанной жемчугом. На груди у неё была цепь из драгоценных камней, а на голове корона с двенадцатью жемчужными зубцами. Одежда её божественно была белая как снег. Англичанин Горсей также говорит, что Ирина в день венчания Фёдора сидела на престоле у открытого окна, в короне, вся в жемчуге и драгоценных камнях. В трагедии она переменяет одежду несколько раз, смотря по обстановке, в которой находится.

Самое задушевное желание Ирины было иметь детей, и в своём свидании с константинопольским патриархом она так трогательно просила его молить о том бога, что патриарх заплакал. Но бог не услышал их молитв, и единственный ребёнок Ирины, девочка, названная Феодосиею, умерла вскоре после рождения.

Во всей наружности Ирины разлито

скромное достоинство. Взгляд её умён, улыбка добра и приветлива; каждое её движение плавно; голос её тих и благозвучен, скорее контральто, чем сопрано. Атмосфера спокойствия её окружает; при ней каждый невольно становится на своё место, и ему от этого делается легко; её присутствие вызывает в каждом его лучшие стороны; при ней делаешься добрее, при ней дышится свободнее; от неё, по выражению Шуйского, веет тихим летом.

## **Князь Василий Шуйский**

Об этом хитром, но неглубоком человеке я говорил подробно в моём первом «Проекте», так что не много придётся здесь прибавить. Он представлен у меня изобретателем и зачинщиком сложной козни против Годунова. Мастер в такого рода делах, он чрезвычайно осторожен и не суётся в опасность, не упрочив себе возможности отступления. Он не прочь и свергнуть Фёдора, чтобы посадить на царство Димитрия, но находит, что это дело недостаточно подготовлено, и говорит Головину:

*Так, зря, нельзя.*

По этой причине, а не из верности Фёдору, он и дядю отговаривает от восстания. Держать же в своих руках нити замысловатой интриги, имеющей за собой вероятие успеха, — ему очень приятно. Ему улыбается мысль, что духовенство и граждане, подписав челобитню о разводе, попались в западню и должны, хотя или нехотя, идти вместе с Шуйскими. Он выказывает большую виртуозность в уговариванье Мстиславского отказать Шаховскому и сделать из сестры своей царицу.

Когда его приводят, арестованного, к Годунову, он не показывает смущения, но говорит очень спокойно, что затеял челобитню ему же в услугу. При этом он нисколько не ожидает, что Годунов ему поверит, но употребляет этот изворот только для благовидности, чтобы перейти на сторону Годунова не в качестве переметчика, но давнишнего его приверженца. И Годунов, знающий его насквозь, не тратит с ним лишних слов, но принимает его уверение в преданности и верит ей теперь, потому что она в интересах Шуйского. Некоторые критики заметили мне, что Василий

Шуйский, сделавшись так легко орудием Годунова, играет невыгодную для себя роль — и я не могу с ними не согласиться.

Нельзя дать драматическому артисту лучшего совета, как играть Шуйского так, как играет его г. Зубров в «Дмитрии Самозванце» Чаева и в моей «Смерти Иоанна».

### **Головин**

Этот также интригант, и в том же самом деле, но с особенным индивидуальным оттенком. Он заносчивее Шуйского. Ставя свою цель выше, он более рискует и, надеясь на свою находчивость, не подготавливает себе задней двери на случай неудачи. В нём более дерзости, чем хитрости.

### **Луп-Клешнин**

Этот заслуживает более подробного рассмотрения. Это тип мошенника преимущественно русский; по крайней мере его редко встречаешь между иностранцами. Можно бы назвать его мошенником сугубым или мошенником с перехватом. Каждую свою плутню он совершает не просто, а посредством другой, предварительной плутни. Так, например, когда льстит, он не просто льстит, но по-

средством грубости, заключающей в себе похвалу; и на людей не особенно тонких такая лесть действует тем сильнее, чем грубее её оболочка. Образчиком тому служит его упрёк Фёдору, что он «пошёл весь в батюшку». Нас редко оскорбляет обвинение в пороках, которых мы решительно чужды, тем менее обвинение в излишней силе. А Фёдору такой упрёк настоящая лафа. Как ему не согласиться, что он действительно суров и крут, когда его обвиняет в том его дядька, старый, испытанный слуга, известный своей простотой и откровенностью? Мало-помалу этот приём перешёл Клешнину в привычку, и он грубит даже бескорыстно. Для Годунова такой человек — находка. Когда ему нужно, чтобы что-нибудь было высказано, чего он сам не хочет высказать, по принятому правилу сдержанности и скромности, то высказывает Клешнин без обиняков, а Годунову остаётся только извинять его простоту. Клешнин же предан Годунову столько же из личных выгод, сколько от скрытого презрения к Фёдору. Он не в состоянии понять Фёдоровой благости и откровенно предпочитает ему батюшку Ивана

Васильича, который ни с кем долго толковать не изволил. Клешнин человек очень решительный, ничем не стесняющийся, без совести и предрассудков, не белоручка и большой циник. Он из числа тех людей, которые говорят: «Мы люди простые, люди русские! Рук не моем, ковшей не полощем! То всё про больших господ, про бояр да про немцев; а наш брат по простоте: морду зовёт рылом, а пощечину — оплеухой!» И за этой простотой, за этой грубостью таится целый механизм кознодейства. Впрочем, Клешнин мало кого обманывает; он для этого не довольно изворотлив; да оно ему и не нужно; с него довольно, чтобы его боялись как годуновского человека и сторонились от него, как от быка.

В его роли два важные места: вербование Василисы Волоховой и очная ставка с князем Иван Петровичем. Оба места сами по себе понятны и не требуют пояснений.

Предложение его ехать в Углич, на следствие, исполнитель должен сказать, обдумавши его хорошенько; оно знаменательно для всей трагедии и намекает на исторический факт.

Наружность Клешина грубая, циническая, а взгляд его волчий. Он впоследствии, убоясь огня ада, пошёл в монахи и посхимился под именем отца Левкея.

## **Князь Туренин**

Это роль нетрудная, заключающаяся только в непримиримой вражде ко князю Ивану Шуйскому, которая должна быть выставлена как можно ярче. Так как между его первым и вторым появлением есть большой промежуток, то наружность его должна быть очень заметна, дабы, когда он ведёт Ивана Шуйского в тюрьму, зритель тотчас его припомнил и узнал, что это именно Туренин, а не кто другой, кому теперь поручается участь Шуйского. Выражение Туренина мрачное и мстительное.

## **Василиса Волохова**

Роль очень эффектная и не совсем лёгкая, если не брать её с одной внешней стороны. Из разных её проявлений зритель должен ещё до сцены с Клешиным составить себе полное понятие о характере Волоховой, так чтобы её готовность совершить преступление его не удивила. Клешин определяет её верно, го-

воря про неё:

*...На все пригодна руки!  
Гадальщица, лекарка, сваха, свод-  
ня,  
Усердна к богу, с чёртом не в раз-  
ладе.*

Единственный двигатель всех действий Волоховой — это деньги. Из-за них она пускается на всевозможные ремёсла и, как Протей, принимает всевозможные виды. У неё, как у Клешнина, нет ничего святого, но она с большою готовностью подлаживается под все вкусы. Цинизм её не менее бесстыден, чем цинизм Клешнина, но он гораздо наивнее, ибо она судит обо всех по себе и высказывает часто самые рискованные убеждения, полагая, что кто не дурак, у того и быть иных не может. В молодости она была баба весёлая, нестрогая к добрым молодцам, когда к ней обращались не с пустыми руками; теперь же она принимает большое участие в сердечных делах других: кого посватает, кому и так доставит свидание. Её мнение о людях самое низкое; она полагает, что нет человека, который за деньги не сделал бы всего на свете, не

отравил бы отца и матери; но это, по её словам, от немощи человеческой, и быть иначе не может; стало, тут нет ничего и дурного, а глуп тот, кто ближнего не бережётся, а паче всего собственных детей; на то и разум человеку дан.

Она большая богомолка, охотница прикладываться к иконам, знает всех московских игумений и игумнов и вхожа в лучшие дома. Боярыни от неё души не чают, она им и солит, и варит, и летники кроит, и ферьязи шьёт; а боярышням про суженых гадает; а боярам от разных скорбей нашёптывает; а всем вместе переносит сплетни из дома в дом; одних поссорит, других помирит и с обеих сторон выпросит себе подарок. Самые сложные обряды она знает наизусть, и нет свадьбы, и нет помолвки, и нет крестин, и нет именин, и нет похорон, где бы она не играла роли. За каждый свой совет, за каждую услугу она получает от кого ширинку, от кого пару соболей, от кого деньги, и всё это прячется под замок, от которого ключ она носит на шее, вместе с образками и ладанками. Она любит говорить про свою нищету и вдовье сиротство, но она

не робкого свойства, за словом в карман не полезет и, при случае, великая мастерица ругаться. Бывает, что иной боярин, который нравом покруче, велит за какую-нибудь проделку согнать её со двора; но она, вышмыгивая из ворот, успеет при всей дворне насыпать ему такую кучу разных бед, что, узнав о том, боярин призадумается. А если вскоре захворает в доме ребёнок или начнётся пожар, то на представления жены боярин скажет: «Ну, ну, добро, пошли этот кошель чёртовой бабе, чтоб она порчи у нас не чинила!»

Тип её, с неизбежными изменениями, сохранился до нашего времени, и потому наружность её и приёмы не требуют описания. Не думаю, чтобы кто-либо мог передать Волохову лучше нашей заслуженной, необыкновенно умной и тонкой артистки, г-жи Линской.

## **Князь Шаховской и княжна Мстиславская**

Эти два лица играют хотя краткую, но необходимую роль в трагедии, по их органической связи с её механизмом: без Мстиславской не было бы отказа Шаховскому; без Ша-

ховского Фёдор не послал бы Шуйских в тюрьму. Но оба лица, как эпизодические, особенно Мстиславская, едва очерчены и не дают времени исполнителям углубиться в их характеры. Мстиславская — красивая девушка, привязанная к своему дяде и воспитателю, Ивану Шуйскому, которого она очень боится; жениха же своего, Шаховского, она любит и сильно с ним кокетничает.

Шаховской — красивый, удалой молодец, благородный, отважный, ловкий во всех телесных упражнениях, но нелегко связывающий две идеи вместе. Отличительная его черта — необдуманность, и критики, порицая его за этот недостаток, доказали свою проницательность, равно как и открытием, что Иван Петрович Шуйский неспособен быть главою политической партии.

## **Митрополит Дионисий; архиепископ Иов; архиепископ Варлаам и прочие духовные лица**

Хотя ни одному из них не суждено явиться на сцену иначе, как *инкогнито*, но для полноты обзора не мешает сказать о них несколько слов.

Дионисий был человек достойный, всеми уважаемый, заслуживший от современников своею учёностью и красноречием прозвание *мудрого грамматика*. Главной его заботой было расширение церковных прав. Он не поддавался Годунову, которому не раз приходилось его задобривать, и грамота, вручённая ему во втором акте, есть факт исторический. Когда начался процесс Шуйских, он и крутицкий архиепископ Варлаам — оба энергически протестовали против их осуждения и оба были сведены с престолов. Иов же, архиепископ ростовский, напротив, всегда держал сторону Годунова и был возведён в сан патриарха всея Руси. Роль его в деле об убиении царевича Дмитрия — очень незавидная. Экономия трагедии не допускала развития святительских характеров, но в ней сохранены самостоятельность Дионисия и подобострастие Иова. На сцене они могут показаться только в условном виде *старцев*, равно как и благовеценский протопоп и чудовский архимандрит. Духовника же Фёдора можно и вовсе исключить.

**Богдан Курюков и прочие купцы**

Роль первого требует некоторого пояснения; другие только способствуют колориту трагедии. Курюков — человек минувшего века, когда ещё значение удельных князей было только побеждено, а не вовсе уничтожено. В его время народ принимал ещё участие в делах земли, и сочувствие его давало перевес той или другой стороне. На него опирались политические партии с успехом, не так, как попытался опереться Шуйский, когда уже царь Иван истолок, как в ступе, все исторические отношения, связывавшие народ с удельным княжеством. Курюков ещё помнит эти отношения и держится их свято. Другие купцы привержены к Шуйским более по тождественности их интересов и по личному сочувствию; но для Курюкова Шуйские представляют знамя, которому он служит по преданию и за которое умирает. Это одна из тех богатырских фигур допетровского времени, про которые поляк Пасек говорит, что когда они стояли в сомкнутом строю с бердышами в руках, то казалось, что идёшь «на отцов родных». Но в трагедии Курюков является уже как развалина былого, навсегда прошедшего времени.

Он стал слаб и болтлив, и часто заговаривается. Только когда идёт дело о Шуйских, он находит свою прежнюю ясность и прежнюю энергию. Лицо его умно и добродушно, рост высок, вся фигура живописна.

Иван Красильников и Голубь-сын — оба дюжие молодцы, особенно второй. Их ролей не следует давать тщедушным статистам, иначе выйдет смешное противоречие между их наружностью и приписываемой им силой. Одно из назначений обоих — это показать не изгладившиеся ещё или возобновившиеся после Иоанна отношения взаимного доверия между народом и боярством.

## **Князь Андрей, Дмитрий и Иван Шуйские; князь Мстиславский и князь Хворостинин**

Все три Шуйские были обвинены в измене и сосланы в заточение, где одновременно с Иваном Петровичем удушены также Иван Иванович и Андрей Иванович. Последний, настаивающий в третьем акте на убиении Годунова, был признан главным преступником.

Желательно, чтобы у всех троих в осанке и приёмах была видна родственная черта гор-

дой независимости, которою они, вместе с Иваном Петровичем, отличаются в большей мере, чем другие бояре, их сторонники.

О Хворостинине и Мстиславском не могу сказать ничего, кроме, что первый был известен умом и воинскою доблестью, а второй, подобно своему отцу, постриженному Годуновым, одною доблестью. У Мстиславского есть сцена, требующая большой живости в исполнении, именно сцена, где он даёт отказ Шаховскому.

## **Федюк Старков**

Этот шпион, слуга князя Ивана Петровича и его предатель, почти вовсе не говорит, но является в трёх важных местах трагедии. Чтобы придать ему некоторую оригинальность, я предлагаю представить его седым человеком самого почтенного вида, которого одна наружность вселяет доверие. Он как будто ничего не видит и не знает, кроме своей должности дворецкого; но, когда на него не смотрят, глаза его бегают как мыши, а уши так и навастриваются. Если за эту роль возьмётся умеющий, она даст ему случай к интересной немой игре.

## Гусляр

Он должен быть молод, а не стар, чтобы его наружность составляла контраст с Курюковым. Песня его о Шуйском переделана из настоящей народной песни и большая часть стихов сохранена. Очень важно подобрать под них приличный напев, чтобы несведущий в археологии исполнитель не вздумал угостить публику каким-нибудь романсом. Худшей услуги он бы не мог оказать народной сцене на Яузском мосту.

В собрании Стаховича он найдёт характерные и подходящие мотивы. Одежда гусляра бедна, но опрятна.

## Нищие

Эти должны быть в лохмотьях, и чем они будут оборваннее, тем живописнее выйдет последняя картина. Когда Годунов со Мстиславским уходят со сцены, а бояре и народ спешат за ними, нищие затягивают псалом, но так тихо, что он только слышится сквозь последний монолог Фёдора, но его не заглушает. Некоторые особенности одежды, а главное, оригинальный народный напев можно найти в «Калеках переходящих» г. Бессонова.

## Декорации

Большая часть декораций «Смерти Иоанна Грозного» годится и для «Царя Фёдора», но если он будет дан, то надобно сделать три новые:

Первую, в начале третьего акта:

### **Сад князя Ивана Петровича Шуйского**

На первом плане кусты смородины и большие подсолнечники; в стороне забор с калиткой; в глубине пруд, с отражением в нём звёздного неба, и крыльцо княжеского дома, по которому сходят действующие лица. Сначала ночь, потом занимающаяся заря.

Вторую, в конце четвёртого акта:

### **Мост через Язу**

Он должен идти от зрителей в глубину сцены, немного наискось, чтобы всё на нём происходящее было видно. За рекой угол укрепления с воротами, через которые выводят Шуйских на мост. Вдали рощи и монастыри.

Третью, в конце пятого акта:

### **Площадь перед Архангельским собором**

Церковные врата должны находиться на первом плане, справа или слева, ибо вся сцена происходит у самого собора.

### **Общие замечания**

**П**ри не установленной ещё у нас театральной критике, при отсутствии общепризнанной теории драматической игры, артисты наши бывают постоянно сбиваемы самыми разнородными взглядами не только на их исполнение, но и на основные правила искусства.

Да будет же мне позволено, не вдаваясь в подробную теорию, которой здесь не место, заявить только о коренном законе, долженствующем руководить исполнителей всякой серьёзной драмы. Закон этот для них тот же самый, как и для драматического поэта: он предписывает взаимное проникновение идеализма и реализма, или, простыми словами, соединение правды с красотой.

Полная и голая правда есть предмет науки, а не искусства. Искусство не должно *противоречить* правде, но оно не принимает её в себя всю, как она есть. Оно берёт от каждого явления только его типические черты и отбрасывает

вает всё несущественное. Этим живопись отличается от фотографии, поэзия от истории и, в частности, драма от драматической хроники. Иллюзия, производимая искусством, не должна быть иллюзией полного обмана. Удовольствие, ощущаемое нами при виде художественного портрета, есть иное чувство, чем созерцание оригинала в зеркале. Напротив, оригинал часто бывает нам неприятен, а воспроизведение нас привлекает. Причина тому, что живопись (когда она достойна этого имени) отбрасывает всё, что в оригинале случайно, незначительно, *индифферентно*, и сохраняет только его сущность. Она возводит единичное явление природы в тип или в идею, другими словами, она его *идеализирует* и тем придаёт ему красоту и значение. То же делает драматург с историческим событием; то же должны делать с ним и драматические исполнители, которых обязанность: облекать в плоть и кровь идею драматурга. Как его фигуры в драме не суть повторения живых личностей, но идеи этих личностей, очищенные от всего, что не принадлежит к их сущности, так и драматический артист должен в испол-

нении воздерживаться от всего, что не составляет сущность его роли, но тщательно отыскивать и воспроизводить все её типические черты. Его игра должна быть согласна с природой, но не быть её повторением. Нет сомнения, что Юлию Кесарю случалось иногда кашлять и чихать, как и всем другим смертным, и художник, который в его роли вздумал бы кашлять и чихать, не отступил бы от природы, но он своим реализмом умалил бы идею Юлия Кесаря, ибо его сущность состояла не в чиханье, которое он разделял и с другими римлянами, но в чертах, ему одному принадлежащих. Исполнитель серьезной роли не должен забывать, что, при ограниченности драматической рамы, каждое его движение, каждая его интонация имеют значение; он не должен позволять себе ничего лишнего и не должен упускать ничего существенного: одним словом, он должен проникнуться *идеей*, им представляемой, и постоянно держаться на её высоте, имея в виду *идеальную*, а не реальную правду. Я настаиваю на этом законе так положительно потому, что он найден не мной, а Аристотелем. К нему же пристали все

великие критики нашего времени, в том числе Лессинг и Гёте, и в этом смысле он может по справедливости назваться законом европейским. Хотя многие у нас находят, что мы не обязаны подчиняться этим законам «потому, что мы не европейцы», подождём, чтобы Азия или Новая Голландия выслали нам более верную эстетику или же чтобы явились особенные русские законы искусства, которые ещё не открыты, но скоро должны открыться; а до того, за неимением лучшего, будем держаться как в технике драмы, так и в её исполнении законов европейских, под опасением попасть в беззаконность.

Если бы кто нашёл, что все сказанное мною разумеется само собой и что я, по французскому выражению, взламываю незамкнутую дверь, — я тому отвечу, что совершенно с ним согласен, но в оправдание себе укажу на распространившуюся доктрину о каких-то *русских началах*, на которых должны у нас развиваться наука и искусство.

Есть русские нравы, русская физиогномия, русская история, русская археология; есть даже русское искусство — но нет *русских начал*

искусства, как нет русской таблицы умножения. Нет, в строгом смысле, и *европейских начал*, а есть начала абсолютные, общие, вечные. Можно сомневаться в верности их определения, но не их существования; можно спорить о их сущности, но не о их применимости. И если бы даже которое-нибудь из этих начал не было достаточно уяснено, то с минуты своего уяснения оно станет обязательно для всех наций без исключения. Которое же из них признано годным для одного народа, то годно для всех народов, ибо перед законодательством искусства нет привилегированных классов.

С этими абсолютными началами не следует смешивать ни ту национальную физиогномию, которую *невольно* выказывает каждый драматург и каждый исполнитель и которая в иных случаях бывает недостатком; ни те национальные особенности, которые принадлежат *по праву* всем драматическим лицам, смотря по их народности, и с которыми соотноситься есть долг и обязанность. Мы требуем как от драматурга, так и от исполнителя, чтобы каждое лицо действовало в нравах сво-

ей нации (русская ли она или другая — всё равно), и несоблюдение этого правила заслуживает порицания; но иное грешить против национальности, иное против законов искусства, и каждый из этих проступков подлежит особой подсудности. Спутывать национальные нравы с небывалыми национальными началами искусства — значит вносить неясность в понятия не только артистов и публики, но и самих писателей. Так называемая живая струя, «которая бьёт из самобытного родника русского творчества», если она рождает действительно художественные произведения, бьёт, без сомнения, из родника, общего всему художеству, как бы ни были национальны её краски. Если же она бьёт из другого источника, то, при всей национальности красок, никогда ничего не произведёт истинно художественного. Туманные выражения вроде: «Своеобычная форма исторического развития русского народа», или «Родовые черты бытового начала», или «Условия родовых отличий русской жизни» — и так далее, которые выдаются нам за предтечи новых, оригинальных законов творчества, переводятся очень про-

сто словами: «Русские нравы, русская физиогномия». Само собою разумеется, что держаться этих условий на русской сцене есть долг как драматурга, так и исполнителя; но нет причины давать этому простому правилу какой-то глубокий, таинственный смысл. Писатель, который заставил бы Дмитрия Донского петь серенаду под балконом своей возлюбленной, или актёр, который в роли Пожарского стал бы расшаркиваться, держа шапку под мышкой, оба провинились бы не перед русскими началами искусства, а перед русскими нравами и русской физиогномией. И странно было бы говорить про них, что они нарушили «своеобычные условия родовых отличий», или приписывать их нелепость тому, что ещё не открыта какая-то «струя» или «своеобычная форма русской исторической драмы». Такого рода фразы затемняют самые простые понятия и уподобляются учёному, глубокомысленному отыскиванию рукавиц, торчащих за поясом.

Итак, пусть не смущаются ими наши исполнители, но, оставаясь русскими с головы до ног, тем не менее свято соблюдают общие

законы искусства, обязательные для всех наций, и не упускают из вида главного из них: *закона идеальной правды*, который есть краеугольный камень всякого художества.

В заключение скажу, что, какому бы искусству мы себя ни посвятили, оно никогда не даётся нам даром и что если нет художника без вдохновения, то одно вдохновение не составляет художника. Какие бы ни были природные дарования живописца, зодчего, ваятеля, музыканта или поэта, если они не подвергнут себя *самой строгой дисциплине*, они не возвысятся над посредственностью. Успех же, приобретаемый ими, иногда на счёт честного исполнения дела — есть стыд, а не торжество.

Первая степень дисциплины драматического артиста — это буквальное изучение своей роли; вторая — присвоение себе передаваемого характера в его малейших подробностях, с отбрасыванием всего, что не составляет его сущность; третья — согласование своей роли с прочими ролями пьесы и держание себя на подобающем градусе яркости, ни выше, ни ниже.

Это согласование ролей, которое называется у нас неприятным именем: *ансамбль*, и которое можно бы заменить словом: *дружность*, есть преимущественно дело режиссёра. Оно так важно, что без него никакое художественное исполнение немислимо. Живописец, ваятель, зодчий или поэт зависит каждый от себя самого; но драматический артист, равно как и музыкант, участвующий в симфонии, зависят каждый от своих товарищей, как и эти от него зависят. Малейшее между ними несогласие производит диссонанс, разладицу, фальшь, и ответственность за это лежит на режиссёре, который есть капельмейстер труппы.

Мы удивляемся иногда, что между драматическими художниками, которых общее согласие единственно упрочивает успех их общего дела, так трудно найти это согласие; но причина тому в самом существе их искусства. Исполнитель живёт только в настоящем времени; в нём одном лежат его успех и торжество. Другие художники, если они не признаны современниками, могут надеяться на одобрение потомства; исполнитель ожидает

его только от современников. Отсюда его жажда рукоплесканий; отсюда его уступки вкусу публики, хотя бы этот вкус противоречил его артистическим убеждениям; отсюда его желание быть замеченным, во что бы то ни стало, хотя бы в ущерб пиесе. Но действующий так — ошибается. Правда окончательно берёт верх над неправдой, и хотя у исполнителя короче срок, чем у другого художника, чтобы заставить публику его оценить — но жизни его на это достаточно. Вспомним покойного Щепкина, который, никогда не спускаясь до уровня толпы, тем самым заставлял толпу подыматься до его высоты. Художник, жертвующий своею совестью минутному торжеству, перестаёт быть художником, ибо он забывает, что уже одно служение искусству заключает в себе свою награду. Пусть лучше он останется непризнанным, пусть лучше вся пиеса упадёт и провалится, чем допустится посягательство на достоинство искусства! В этой области более, чем во всякой другой, должно царить правило: «Вершися правда, хоть свет пропадай!» *Fiat justitia, pereat mundus!*

<1868>

# Приложение

## Басня о том, что, дискать, как один философ остался без огурцов

Вот, я вам скажу, был однажды один — огородник. А что вы думали, я скажу один философ? нет, не философ; философ будет после, а это только огородник, вот так только огородник, да и полно. Ну вот этот огородник, знаете, когда пришла осень, то-есть не осень, а весна, начал сажать разные овощи, там бобы, картофель, стручки разные и прочее. Вот он, знаете, так землю копает, потеет, а в зубах держит финик. Вот на ту пору проходит его отец, г. Златогор, и говорит ему, что ты дискать дурак, ибо финик требует достаточного времени, чтобы вырасти и дать плод. Огородник, знаете, был не промах, он слушал, слушал, плюнул и сказал: «К сладостям робята падки, а финики ведь сладки». Вот и выходит, что отец остался в дураках, то есть это еще не самая басня, а так, интермедия, а басня будет после обеда, поевши мягкого хлеба. Ну вот,

этот, как бишь его? огородник! хорошо, да, огородник, и копает землю и так, знаете, потеет, так, знаете, и лоснится, даже индо гадко смотреть точно свинья, переверни страницу, точно свинья, так и кряхтит и копает, даже вонь от него идет, так и пахнет гумми эластиком, а петух, знаете подбирает из-под него жемчужные зерна и говорит, что дискать легче своротить солнце с пути его, нежели Фабриция с пути чести. После того проходит мимо Философ. Вот видите, дождались же философ! проходит мимо философ. Вот, увидев философа, огородник и думает: дай-ка я ему сделаю штуку! и начал кричать изо всего горла: философ, а философ! а философ! тот воротился и говорит: чего тебе, а? чего тебе? а? — **Огородник.** Как ты думаешь, что я теперь делаю? **Философ.** Ты делаешь яму. **Огородник.** На что? **Философ.** Так, на что-нибудь. **Огородник.** Нет, не так! **Философ.** А как? **Огородник.** А вот так. **Философ.** Как так? **Огородник.** Я буду сажать. **Философ.** Что ты будешь сажать? **Огородник.** Отгадай! **Философ.** Капусту? **Огородник.** Больше. **Философ.** Морковь? **Огородник.** Больше. **Философ.** Стрючки? **Ого-**

**родник.** Больше. **Философ.** Ну так говори сам, дурак. **Огородник.** Я буду сажать — слушай — я буду сажать — огурцы! **Философ.** Огурцы? — **Огородник.** Огурцы! — Ну тут, знаете, философ и говорит ему этак высокопарно, знаете этак торжественно, этак все тезоименитным слогом — ведь они все, философы такие, ведь и Вольтер был философ, и Дидерот был философ! Они все этак, знаете, красно говорят, кажется сначала этак все приятно, а посмотришь? и выйдет Пюсель д'Орлеан! Ну так вот я говорит, что, говорю, что философ этак и говорит огороднику, что, говорит, ты напрасно, говорит, трудишься, говорит, огурцы, говорит, можно сажать и не трудясь, говорит. Я, говорит, хочу сам сажать огурцы, без всяких трудов, а только помощью геометрических исчислений. Ну вот, знаете, покамест философ трудится, ломает голову, у огородника огурцы так, знаете, и растут, вот так и растут. Ну вот, тут приезжают к г. Златогору гости и их всех подчивают огурцами. Г. Златогор этак радуется и целует огородника в лоб. Ну а философ — ха, ха, ха! — философ остался — философ остался без — философ остался

без — чего вы думаете? — Ну уж сами отгадайте я не скажу. — Ну уж так и быть, скажу: философ остался — без моркови! А что вы думали? я скажу без огурцов? Так нет-же, без моркови! — А мухи-то, высунули свои машинки и говорят: мы пахали!

**Нравоучение.** Надобно, чтоб каждый почетный гражданин старался быть огородником.

*Конец 1830-х гг.*

## **О том, как юный президент Вашингтон в скором времени сделался человеком**

**Н**у что вы думаете, ведь Вашингтон не всегда же был президентом! Он, я вам скажу, был прежде вот то есть так просто мальчишкой; не то чтобы иным чем, а вот так просто-таки мальчишкой в лавочке. Вот, знаете, он и начал собирать: сперва булавки. Вот как увидит на полу булавку, вот он, знаете, так и лезет прямо на булавку; потом ниточки, а там, знаете, вот, например, ореховую скорлупу или там прочее что, знаете, например, ног-



*Юный президент Вашингтон.*

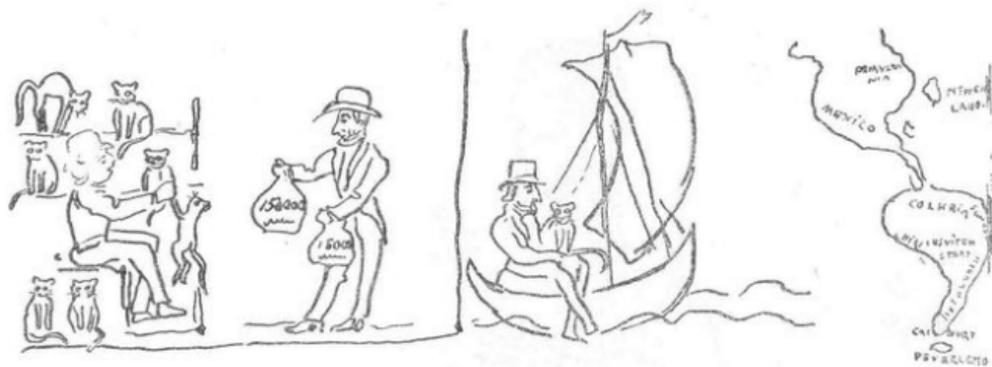
ти и т. д.



*Вашингтон собирает разные вещи.*

Ну вот, знаете, он эдаким образом все соби-  
рал, собирал и наконец собрал сколько вы ду-  
маете? Он собрал, я вам скажу, 300 000 000  
миллионов. Ну что ему делать с этими 300 000

000 миллионами? Вот он, знаете, и купил себе — кошку! Купил себе кошку и поехал в Америку.



*Вашингтон покупает кошку. Вашингтон едет в Америку.*

Вот, знаете, он подъезжает к Америке, слышит ужасный шум. «Что там такое?» — спрашивает юный Вашингтон. «Это, — говорят ему, — мыши съедают все кушанье у нашего Касика Инки». — «Это что за такой за Инка?» — спрашивает юный Вашингтон. «Это так, ничего, не будем об этом говорить; детям про это не нужно знать, — отвечают ему жители Америки. — Но, впрочем, что это у вас за зверь?» — «Это так, ничего, — отвечает юный Вашингтон, — но, впрочем, посмотрите». И вот, знаете, он как пустит своего Ваську-то, так тот, знаете, мышей так и уписывает. В

скором времени он от мышей очистил всю Америку. Инка был так поражен сим зрелищем и между тем таким проникнут к юному Вашингтону почтением, что он перед ним вытянулся как струнка, не смея произнести ни одного слова. Постояв немного в таком положении, он вскричал: «Великий юный Вашингтон! Ты, верно, умеешь брить! У моего народа, у американцев, очень густые бороды и волосы; плешивых новее не видать, а при таком ужасном зное и жаре это пренесносно. Обрей нас, великий юный Вашингтон!» А надобно вам сказать, что лавочка, в которой юный Вашингтон воспитывался, была лавочка одного цирюльника.

Юный Вашингтон там в продолжение четырех лет брил у мужиков колены, а у прохожих шляпы за самую сходную пену. Вот он, знаете, и вынимает из кармана бритву, намазывает сперва Инке голову и выбривает ему плешь наподобие как у капуцинов. Потом, знаете, он принимается и за прочих своих антиподов и всех очень чисто обривает, так, знаете, кому голову, кому бороду, так что все, знаете, очень довольны.



*Юный Вашингтон бредет антиподов.*

Ну вот, обривши антиподов, он и говорит Инке, что, дискать, еще надобно округлить все шероховатости. Только Инка, знаете, никак на это не согласился.



*Юный Вашингтон говорит Инке, что надобно округлить все шероховатости.*

Вот, знаете, Инка и говорит юному Вашингтону, что вот, говорит, дискать, ты у ме-

ня проси все, чего ни захочешь. «Сделайте меня президентом Соединенных Штатов!» — восклицает юный Вашингтон. «Изволь!» — отвечает Инка. Ну вот он и сделался президентом Соединенных Штатов, поехал в Альгамбру и получил имя: *Вашингтон Ирвинг*. А *Ирвинг* — это сокращенные слова: *Инке Резал Волосы Иностраный Негоциант Георгий* (ибо его звали George William Washington).

Ну вот и все.

# Примечания

# 1

О боже! бедняжка! проклятая дорога! (итал.)

[^^^]

## 2

Известное явление, которое французы называют mirage. (Прим. автора)

[^^^]

Кстати (фр.).

[^^^]

## 4

Эту песню А. К. Толстой приводит в главе 5 «Князя Серебряного».

[^^^]

А тут рабское терпение и такое количество пролитой дома крови утомляет душу и сжимает ее печалью. И я не стал бы просить у читателей в свое оправдание ничего другого, кроме позволения не ненавидеть людей, так равнодушно погибающих. *Тацит. Летопись. Книга 16 (лат.).*

[^^^]

## 6

С тех пор как это написано, церковь Трифона Напрудного так переделана, что ее узнать нельзя. Снаружи приделки, а внутренность переписана и перештукатурена в новом вкусе. Все это вследствие пожертвований *добрых дателей*, как объясняют причетники. (Прим. автора.)

[^^^]

# 7

Эти господа из-за деревьев не видят леса.

[^^^]

# 8

Песня, рвущаяся из горла, сама является наградой, которая щедро вознаграждает.

[^^^]

# 9

О солнце и других мирах я ничего не могу сказать, я вижу лишь, как мучаются люди.

[^^^]

«Но ведь это восточное!» — «Потому-то этого и не следует делать!» (*нем.*)

[^^^]

РЫНОЧНЫХ ТОРГОВОК (*франц.*).

[^^^]

«Русском обозрении» (нем.).

[^^^]

Это из «Димитрия» (нем.).

[^^^]

Но это восточное! (нем.)

[^^^]

Местный колорит (*франц.*).

[^^^]

Первым любовником (*франц.*).

[^^^]

Мы должны были бы обратиться к далекому прошлому, чтобы вспомнить о подобном успехе (*нем.*).

[^^^]